



*Журнал*  
*Редактор Евгений Беркович*

# СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

*7 / 2014*

**Журнал**

**«Семь искусств»**

**Июль 2014**

Главный редактор  
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:  
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,  
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,  
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,  
Борис Кушнер, Александр Ласкин, Мина Полянская  
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-98669-3

Семь искусств  
Ганновер 2014

**Журнал**

**«Семь искусств»**

**Июль 2014**

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое  
редактирование Изабеллы Побединой

Семь искусств  
Ганновер 2014

# Оглавление

## Мир науки

Евгений Беркович	
Антиподы.....	5
Михаил Севрюк	
О Владимире Игоревиче Арнольде.....	53

## Культура

Павел Нерлер	
Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама.....	65
Соломон Воложин	
Мне смешно.....	97
Эдуард Гетманский	
Книжный знак Российской империи.....	101

## Музыка

Эммануил Борок, Артур Штильман	
О жизни под звуки скрипки.....	147

## Галерея

Григорий Подольский, Галина Подольская	
Рисунок на голубом картоне: Шалом Райзер.....	186

## История и современность

Ефим Курганов	
Шпион его величества, или 1812 год.....	198

## Психологические тетради

Андрей Масевич	
De natura humana... Я тоже знал Кона.....	264

## Мемуары

Виктор Гопман	
Перерыв на обед.....	299
Дмитрий Бобышев	
Я в нетях. Человекотекст, книга 3.....	307

## Люди

Игорь Рейф	
Юрий Трифонов: 30 лет спустя.....	344
Николай Овсянников	
Волошин и Фетисов.....	361
Оскар Рохлин	
Мой учитель Владимир Павлович Эфроимсон.....	381



## Поэзия

Марина Вирга	
Два голоса. Стихи .....	406
Ян Пробштейн	
Переключка с собой .....	418
Марк Троицкий	
Мы живём в ожидании смерти... ..	429
Александр Танков	
Тема и вариации .....	438
Елена Аксельрод	
С природы .....	447
Виктор Каган	
Отзвуки детства .....	455

## Проза

Виктор Леденев	
Дорога домой.....	467
Александр Бабушкин	
Невидимка .....	477
Борис Геллер	
Два рассказа.....	485
Мина Полянская	
Андреевская лента .....	504
Шуламит Шалит	
Голуби.....	523

## Театр

Егор Черлак	
Катили апельсину по городу Берлину .....	530

## Переводы

Александр Ситницкий	
Переводы .....	572

## Читальный зал

Михаил Юдсон	
Бес Божества.....	587
Козаровецкий Владимир	
К вопросу о Пушкинском авторстве сказки «Конёк-Горбунок» .....	591

## Страны и народы

Виктор Захаров	
Футбол по-чешски .....	600
Об авторах .....	610

# Евгений Беркович Антиподы

## Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории

### «Релятивистский еврей»



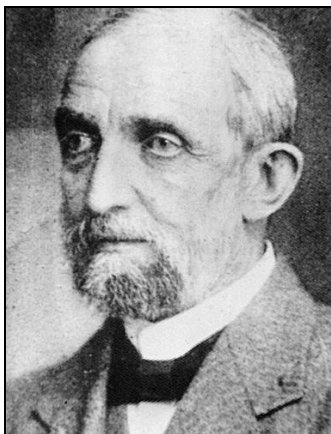
Звестие о назначении Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии застало Альберта Эйнштейна в Америке. По договоренности с Прусской академией наук он полгода работал в Берлине, а полгода читал лекции в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, вблизи Лос-Анджелеса. Вскоре Эйнштейн должен был ехать назад, в Германию, но весть о смене правительства 30 января 1933 года перечеркнуло все планы: он решил не возвращаться на родину, пока у власти находятся нацисты.



Альберт и Эльза на корабле возвращаются из Америки в Европу

Завершив дела в Пасадене, Альберт и его жена Эльза отправились на корабле из Америки в Европу. Прибыв 28 марта 1933 года в бельгийское курортное местечко Ле Кок-сур-мер недалеко от города Остенде, ученый сразу отправил письмо

руководству Прусской академии наук, в котором отказывался от звания академика. А еще через неделю, 4 апреля 1933 года, Эйнштейн второй раз в жизни заявил, что отказывается быть гражданином Германии<sup>1</sup>.



Филипп Ленард в 30-х годах XX века

То, что создатель теории относительности не вернулся в Берлин, огорчило его немецких друзей, но обрадовало недоброжелателей. Самый известный идеологический противник и научный оппонент Эйнштейна Филипп Ленард<sup>2</sup> в газете национал-социалистов *«Фёлькише Beobachter»* от 13 мая 1933 года с глубоким удовлетворением писал о том, что *«релятивистский еврей, чья лоскутная математическая теория начинает малопомалу разваливаться на куски, покинул Германию»*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Подробнее обо всех перипетиях лишения Эйнштейна академического звания и немецкого гражданства см. в моей статье *Беркович Евгений. Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры. «Нева», №5 2009, стр. 146-159.*

<sup>2</sup> Филипп Ленард (Philipp Lenard, 1862-1947) — немецкий физик, автор многих выдающихся работ в области атомной физики, в последние годы жизни активный сторонник национал-социализма, создатель «арийской физики».

<sup>3</sup> Цитируется по книге *Schönbeck Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard. Springer, Berlin 2000, S. 1.* Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Schönbeck» и номером страницы. Везде, если не указано иное, перевел с немецкого автор настоящей статьи.

У двух выдающихся ученых были принципиально различные подходы к объяснению физических явлений, противоположные политические установки, в корне не совпадающие мировоззрения. Их противостояние не удержалось в рамках традиционных научных дискуссий, оно стало достоянием улицы, выплеснулось на страницы газет, в радиоэфир...

Конфликт между Эйнштейном и Ленардом обострился летом 1920 года и достиг кульминации во время очной дуэли ученых на ежегодном заседании «Общества немецких естествоиспытателей и врачей»<sup>4</sup> в сентябре того же года в курортном городке Бад Наухайм. Упомянутая статья Ленарда в «Фёлькише Беобахтер» поставила точку в многолетнем противостоянии.

Непримиримая борьба одного из первых нобелевских лауреатов по физике Филиппа Ленарда с автором теории относительности хорошо известна историкам науки и биографам Эйнштейна. Менее известна предыстория конфликта, а она тоже весьма поучительна.

### **«Молодец-профессор»**

Когда Альберт Эйнштейн в 1905 году опубликовал в «*Анналах физики*» знаменитые статьи, с которых началась его мировая слава, научный мир не знал скромного технического эксперта третьего класса, служившего в патентном бюро швейцарскогоерна. Не слышал имени Эйнштейна и ординарный профессор, директор института физики Кильского университета Филипп Ленард. Зато молодой автор трех статей в «*Анналах физики*» был в курсе трудов Ленарда и не раз цитировал его результаты в своем исследовании фотоэффекта с помощью недавно введенного Максом Планком<sup>5</sup> понятия «квант света». Именно за эту работу Эйнштейн в 1922 году получит Нобелевскую премию по физике, хотя любая их трех статей, опубликованных в 1905 году, заслуживала эпитета «гениальная». Не зря биографы великого ученого называют этот год «годом чудес».

---

<sup>4</sup> Общество немецких естествоиспытателей и врачей (Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e.V. - GDNÄ) – основанное в 1822 году старейшее и самое большое немецкое общество ученых разных специальностей.

<sup>5</sup> Макс Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck; 1858-1947) — выдающийся немецкий физик, основоположник квантовой физики.

Достоверно установлено, что имя профессора Ленарда стало известно Эйнштейну еще в студенчестве. В октябре 1897 года восемнадцатилетний студент третьего семестра Цюрихского политехнического института получил письмо из Гейдельберга от своей подруги, посещавшей местный университет:

*«О, вчера было очень мило на лекции проф. Ленарда, он рассказывает сейчас о кинетической теории теплоты в газах. Рассматривалась молекула кислорода, которая движется со скоростью 400 м в секунду, молодец-профессор считал, считал, строил уравнения, дифференцировал, интегрировал, что-то преобразовывал и, в конце концов, вывел, что молекулы хоть и движутся с такой скоростью, но проходят путь всего в одну сотую толщины волоса» (Schönbeck, 2).*



Альберт и Милева Марич поженились в 1903 году

Подругу Эйнштейна звали Милева Марич<sup>6</sup>, она училась в Цюрихском политехе на том же курсе, что и Альберт. Почему зимний семестр 1897/98 учебного года Милева решила провести в Гейдельберге, не очень ясно. То ли родители девушки настаивали на этом, желая охладить слишком горячие отношения молодых людей, то ли сами Альберт и Милева решили проверить разлукой свои чувства. В отличие от либеральной Швейцарии, где девушки могли, окончив гимназию, официально учиться в университетах, женщины в Германии практически не имели прав на полноценное высшее образование. В Гейдельберге Милева записалась

---

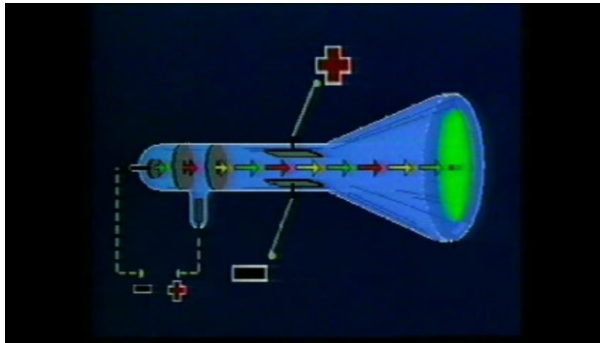
<sup>6</sup> Милева Эйнштейн-Марич (Mileva Marić; 1875-1948) — первая жена Альберта Эйнштейна.



вольнослушательницей, она могла посещать лекции, но студенткой не считалась.

Через пять лет, в 1903 году, молодые люди поженились в Берне. Отношения Альберта Эйнштейна с первой женой подробно описаны его биографами. Для нашего рассказа важно отметить: из письма Милевы следует, что имя профессора Ленарда было известно студенту Эйнштейну в 1897 году.

Строго говоря, полным профессором тридцатичетырехлетний Ленард в то время еще не был. Это заветное звание, означавшее вершину научной и педагогической карьеры любого ученого в Германии, он получит через год, когда его назначат ординарным профессором университета в Киле. А в Гейдельберге Филипп занимал должность экстраординарного профессора теоретической физики. Однако имя в научном мире Ленард к этому времени завоевал. Основные работы, за которые он в 1905 году получит Нобелевскую премию, уже были опубликованы.

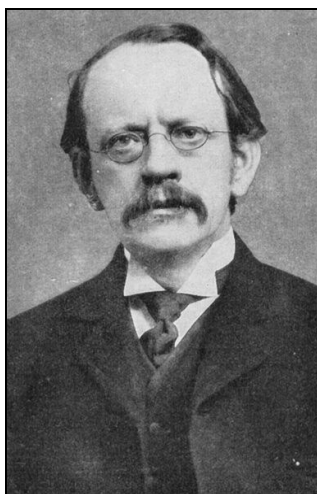


Филипп Ленард придумал разрядную трубку с «окном Ленарда»

Филипп Ленард принадлежал к когорте блестящих физиков-экспериментаторов, которыми славилась в то время Германия. В 1892 году он усовершенствовал «разрядную трубку», ставшую на время основным инструментом в опытах по исследованию микромира. Устройство этого прибора очень простое: стеклянная трубка, в которую впаяны два электрода, к ним прикладывалось высокое напряжение. Из трубки откачивали воздух, и при определенном разрежении между отрицательным электродом, катодом, и положительным, анодом, начинал протекать электрический ток. Внутренность трубки при этом светилась голубоватым светом. Считалось, что это свечение – особые, катодные, лучи.

Сейчас мы знаем, что катодные лучи – это электроны, несущиеся от катода к аноду под воздействием электрического поля. Синеватое свечение внутри трубки – свет, электромагнитное излучение, которое испускают атомы газа, возбуждаемые столкновениями с электронами.

Ленард тщательно исследовал катодные лучи, фактически доказав, что это поток каких-то мельчайших частиц. До обнаружения электрона ему оставался лишь один шаг, но историческое открытие сделал другой физик – англичанин Джозеф Джон Томсон <sup>7</sup> – в 1897 году. Годом ранее Ленард сам демонстрировал английским коллегам свои опыты с катодными лучами. Дж.Дж. Томсон весьма заинтересованно следил за экспериментами Ленарда и быстро сообразил, что они на самом деле означают. Когда в 1906 году британский ученый получил Нобелевскую премию за свое достижение 1897 года, он даже не вспомнил о молодом немецком физике, проложившем своими трудами дорогу к открытию электрона. Ни одного слова благодарности Ленард от Дж.Дж. Томсона так и не дождался.



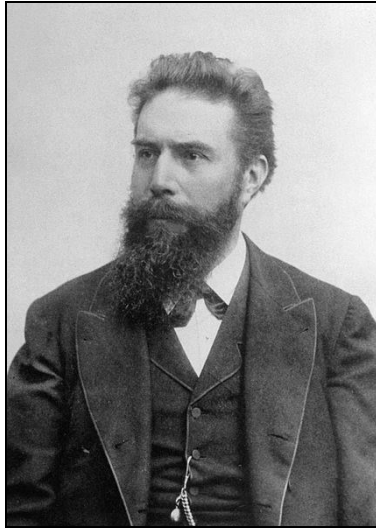
Джозеф Джон Томсон

Похожая история произошла и с открытием рентгеновских лучей. Ленард передал Вильгельму Конраду

---

<sup>7</sup> Джозеф Джон Томсон (Joseph John Thomson, 1856-1940) — английский физик, открывший электрон, профессор Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года.

Рентгену<sup>8</sup> свою разрядную трубку, с помощью которой и были в 1895 году открыты таинственные «X-лучи», позволявшие видеть кости под кожей человека. За это профессор Рентген получил в 1901 году самую первую Нобелевскую премию по физике и тоже не упомянул заслуг Ленарда в этом открытии.



Вильгельм Конрад Рентген

Эта неблагодарность коллег-ученых всю жизнь не давала Ленарду покоя.

### **«Это были счастливые годы»**

Как и его кумир Адольф Гитлер, Филипп Ленард вырос не в Германии, а в Австро-Венгерской империи. Только фюрер немецкого народа родился в австрийском Браунау, а второй немецкий нобелевский лауреат по физике – в городе Прессбурге, входившем в состав Венгерского королевства.

Отец будущего физика владел в этом городе – ныне это столица Словакии Братислава – винным магазином. Филипп родился 7 июня 1862 года. О своем взрослении Ленард подробно рассказал в автобиографии, которую он многозначительно назвал

---

<sup>8</sup> Вильгельм Конрад Рёнтген (Wilhelm Conrad Röntgen; 1845-1923) — немецкий физик, профессор Вюрцбургского, а затем Мюнхенского университетов, открывший рентгеновские лучи, лауреат Нобелевской премии по физике 1901 года.

«Воспоминания естествоиспытателя, жившего во времена Кайзеровского рейха, еврейского господства и Гитлера». Под «еврейским господством» здесь имеется в виду Веймарская республика. Объемная рукопись, готовившаяся в 1931-1943 годах, при жизни автора опубликована не была. Она увидела свет только в наши дни<sup>9</sup>.



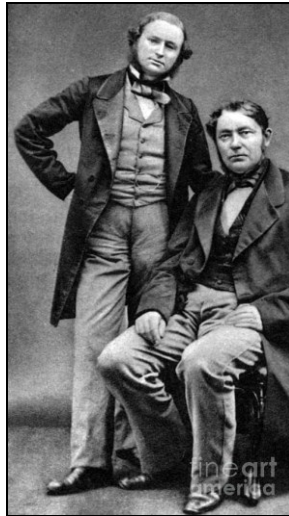
Прессбург в середине XIX века.  
Картина художника Рудольфа фон Альта (1812-1905)

Как обычно, отец хотел, чтобы сын продолжил семейное дело, но мальчик не проявлял к торговле вином никакого интереса. После окончания венгерской школы Филипп несколько лет метался между сыновним долгом и желанием стать ученым. То он работал в магазине отца, то изучал естествознание и химию в политехническом институте Вены и в университете Будапешта. Результатами обучения Ленард остался недоволен – почти все, что рассказывали на лекциях, он уже знал из прочитанных в школе книг.

Наконец, когда ему исполнился двадцать один год, окончательное решение было принято: Ленард едет в Германию, чтобы получить достойное образование. Отец смирился с тем, что его сын не создан для торговли. С 1883 по 1886 годы Филипп изучает физику и химию в Гейдельбергском университете. Лекции

<sup>9</sup> *Arne Schirrmacher*. Philipp Lenard: Erinnerungen eines deutschen Naturforschers. Kritische annotierte Ausgabe des Originaltyposkriptes von 1931/1943. Springer Verlag, Berlin 2010. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Ленард» и номером страницы.

по химии читал знаменитый профессор Роберт Бунзен<sup>10</sup> (помните из школьного курса химии «горелку Бунзена»?), внедривший в науку вместе со своим другом физиком Густавом Кирхгофом<sup>11</sup> (помните знаменитые «законы Кирхгофа»?) методы спектрального анализа (1859 г.). Совместная работа физика Кирхгофа и химика Бунзена позволила добиться выдающегося результата: по крупинке вещества ничтожной массы в доли миллиграмма можно было точно определить, какие элементы присутствуют в этом образце, и в каком процентном отношении. Более того, изучая свет от Солнца и других небесных объектов, можно было установить их химический состав.



Роберт Бунзен, Густав Кирхгоф

О философском значении этого достижения говорит такой забавный факт. Умерший за два года до открытия Кирхгофа и Бунзена философ Огюст Конт утверждал в духе предложенного им нового подхода к науке – позитивизма, – что не нужно заниматься заведомо нерешаемыми проблемами, и в качестве примера привел как раз задачу определения химического состава далеких звезд.

---

<sup>10</sup> Роберт Вильгельм Бунзен (Robert Wilhelm Bunsen, 1811-1899) — немецкий химик-экспериментатор, профессор университета в Гейдельберге.

<sup>11</sup> Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887) — немецкий физик, один из выдающихся ученых XIX века, профессор университета в Гейдельберге, потом в Берлине.



Как был бы удивлен Огюст Конт, если бы узнал, что в 1868 году по результатам исследования солнечного спектра был открыт новый химический элемент, названный впоследствии «гелием».

Филиппу Ленарду, безусловно, повезло, что он попал к таким учителям. У Бунзена учились молодые люди из разных стран, в том числе и из России. Некоторые из его учеников стали классиками: Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, А.Г. Столетов...



Огюст Конт

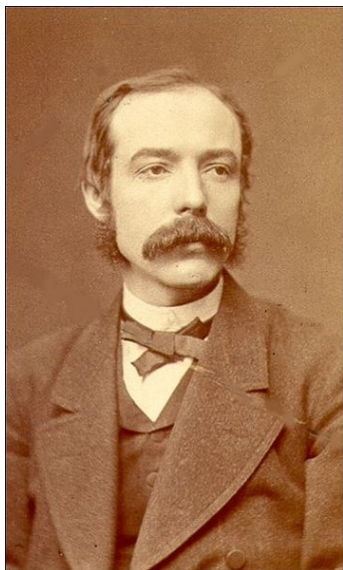
Как было принято в то время, Филипп не ограничился занятиями в одном университете, два семестра он провел в Берлине, где слушал лекции самого Гельмгольца. Завершилось университетское образование Ленарда защитой докторской диссертации в Гейдельберге под руководством профессора Квинке<sup>12</sup>. Эта фамилия известна современному читателю, скорее всего, благодаря младшему брату профессора – Генриху, талантливому врачу, чьим именем назван «отёк Квинке», знакомый многим аллергикам.

После защиты диссертации нужно было найти место работы, которое бы не просто обеспечивало сносную жизнь, но и предоставляло условия для проведения физических экспериментов,

---

<sup>12</sup> Георг Герман Квинке (Georg Hermann Quincke, 1834-1924) — немецкий физик, профессор университета в Гейдельберге.

без которых Ленард уже не мог обойтись. Найти подходящую лабораторию оказалось непросто. Полгода он провел в Будапеште, где требуемых условий для физических опытов практически не было. К счастью, освободилось место ассистента в Гейдельберге, и профессор Квинке пригласил своего бывшего ученика к себе. Филипп с радостью согласился и проработал в этой должности три года – с 1886 по 1889.



Георг Герман Квинке

Вот как вспоминал Ленард об этом времени:

*«Это были счастливые годы, наполненные успешной работой, для которой вспомогательные материалы всегда находились. Время шло, и мне хотелось получить больше самостоятельности, но в Германии, похоже, это было невозможно. Так как я уже имел опыт переселения в другую страну – из Венгрии в Германию – и при этом нашел окружение, которое мне гораздо лучше подходило, чем на родине, я решил еще на одну эмиграцию: в Англию» (Lenard, 50).*

На этот раз переселение оказалось неудачным, Англия разочаровала начинающего ученого. В воспоминаниях, написанных во времена Третьего рейха, Ленард подчеркивает: *«Англия уже была в те времена весьма существенно обьевреена, чего я тогда еще отчетливо себе не представлял» (Lenard, 51).* Трудностей с английским языком у Филиппа не было, но

британские физики, по его словам, встретили немецкого коллегу недружелюбно. Он объясняет это искусственно подогреваемой враждебностью к иностранцам, которая пришла на смену былому товариществу ученых разных стран. Как бы то ни было, неприязненное чувство к англичанам Ленард сохранил на всю жизнь.



Здание физического института гейдельбергского университета

Через полгода Ленард вернулся в Германию, и поиски работы продолжились. Какое-то время он поработал ассистентом в университете Бреслау (ныне это польский город Вроцлав), а затем на четыре года (1891-1894) осел в Боннском университете, где физикой заведовал легендарный Генрих Герц<sup>13</sup>, прославившийся открытием радиоволн.

Время работы с профессором Герцем Ленард относит к счастливым периодам своей научной карьеры. В Бонне Филипп защитил вторую докторскую диссертацию и получил звание приват-доцента, давшее право читать лекции в университетах. Под руководством Герца начались первые эксперименты с катодными лучами.

То, что Генрих Герц – еврей, нисколько не смущало тогда Ленарда. Он относился к профессору с глубоким уважением. Когда в 1894 году Герц неожиданно скончался, Ленард надолго прервал собственные эксперименты, чтобы подготовить к изданию последнюю книгу своего шефа.

В чём-чём, а в антисемитизме на том этапе Ленарда упрекнуть было нельзя. В это трудно поверить, зная публичные заявления отца «арийской физики» во времена Третьего рейха, но

---

<sup>13</sup> Генрих Герц (Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894) — немецкий физик, профессор Боннского университета, доказал существование электромагнитных волн.

факты однозначно свидетельствуют: никакого предубеждения к евреям он не показывал.

Тепло вспоминал Ленард математика из Гейдельберга Лео Кёнигсбергера<sup>14</sup>, чьи лекции он слушал студентом. Профессор Кёнигсбергер был рецензентом докторской диссертации Ленарда. Как пишет сам Филипп в воспоминаниях, *«он стал моим большим покровителем, единственным из влиятельных старых профессоров Германии, который стоял на моей стороне до тех пор, пока я в этом нуждался. Он был чистокровным евреем»* (Lenard, 143).



Генрих Герц

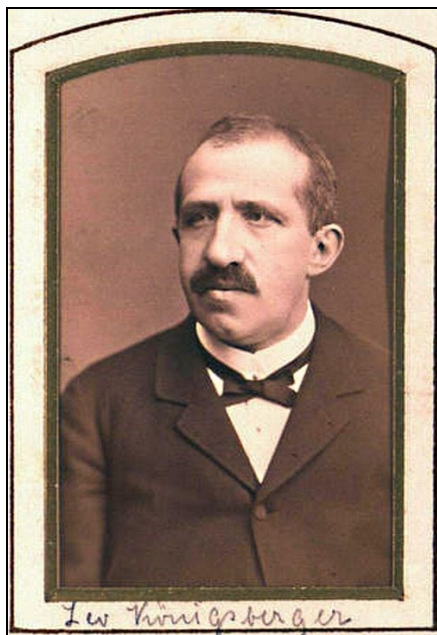
В годы Третьего рейха, когда автору «арийской физики» нужно было примирить свои добрые чувства к профессору Кёнигсбергеру и обязательную ненависть к евреям, он нашел выход. Согласно объяснению Ленарда, его покровитель жил в то время, когда недавним выходцам из гетто еще нужно было завоевать достойное место среди немцев. Поэтому евреи тщательно прятали все свои национальные черты, стараясь ничем не отличаться от остальных граждан. После того, как желаемое положение в обществе было достигнуто, маскироваться под

---

<sup>14</sup> Лео Кёнигсбергер (Leo Koenigsberger, 1837-1921) — немецкий математик, профессор Гейдельбергского университета.

немцев стало излишне, и отвратительные национальные еврейские черты стали бросаться в глаза.

Но к этому «открытию» Ленард пришел лишь под старость. А в молодые годы единственное, что действительно его раздражало – это необходимость прерывать свою работу в лаборатории ради других дел.



Лео Кёнигсбергер

Когда книга Герца была подготовлена к печати, пришло приглашение занять должность экстраординарного профессора в Бреслау. В этом университете он немного поработал в 1890 году и знал, что условий для продуктивных занятий экспериментальной физикой там нет. Однако по совету друзей не стал отказываться от назначения, ибо предложил его на новую должность сам всемогущий Фридрих Альтхофф<sup>15</sup>, директор департамента науки и высшего образования Прусского министерства культуры<sup>16</sup>. Ссора с таким чиновником могла стоить ученому карьеры – именно

---

<sup>15</sup> Фридрих Альтхофф (Friedrich Althoff, 1839-1908) – немецкий политик в области культуры и высшего образования.

<sup>16</sup> См., например, *Беркович Евгений*. Феликс Клейн и его команда. «Еврейская Старина», №6 2008.



Альтхофф выбирал из предложенных университетами кандидатур того, кто будет назначен на вакантную должность. Да и звание профессора, пусть и экстраординарного, было заманчивым для начинающего приват-доцента.



Университет в Бреслау и Фридрих Альтхофф

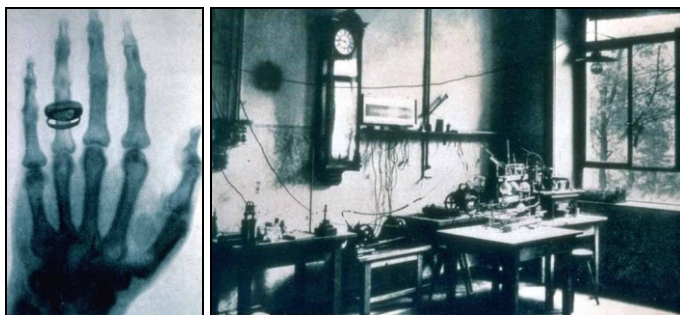
Однако через год Ленард понял, что зря согласился на новое назначение. Работа над катодными лучами не продвинулась ни на шаг, ему никак не удавалось наладить нормальную работу лаборатории: то не хватало нужных приборов, то не было под рукой необходимых реактивов. Поэтому когда в Техническом институте Ахена освободилось место ассистента, Филипп ни минуты не колебался и ради продолжения экспериментов пожертвовал престижным местом профессора и спустился по карьерной лестнице на ступеньку ниже: снова стал ассистентом.

Такой радикальный шаг весьма необычен и ярко характеризует молодого Ленарда, для которого наука всегда имела приоритет перед карьерой. В поиске истины он был готов отказаться от помощников, положенных профессору, и самому выполнить всю кропотливую работу экспериментатора.

В Ахене Ленард узнал ошеломившую его новость об открытии рентгеновских лучей. Филипп был уверен, что если бы не вынужденные перерывы в работе, он бы сам непременно сделал это открытие. Даже через треть века боль потери не утихла в нем, он вспоминал: *«Каждое утро, просыпаясь, я не мог поверить, что это в действительности произошло, и я стал понимать чувства матери, у которой забрали ребенка еще до того, как она его увидела»* (Lenard, 52).

Впоследствии Ленард не раз называл Рентгена только повитухой, а себя – истинной матерью открытия. И больше всего поражала Филиппа человеческая неблагодарность: имя Ленарда было вскользь упомянуто в первом сообщении об открытии «X-

лучей» как автора одного из приборов, с помощью которых можно наблюдать новое излучение. И до конца своих дней Рентген не нашел случая что-либо к этому добавить, хотя разрядная трубка, на которой он ставил свои опыты по исследованию нового излучения, была изготовлена собственноручно Ленардом и подарена им «другу Вильгельму».



Сделанная в лаборатории Рентгена  
фотография руки Альберта фон Кёликера

Горечь обиды утоляла только работа. Ленард ставил все новые и новые эксперименты с катодными лучами, публиковал и другие результаты.

Хотя сам Ленард считал, что коллеги в Германии, в отличие от зарубежных ученых, не ценят его в должной мере, авторитет скромного ассистента из Ахена рос от публикации к публикации. И в 1897 году Филиппа снова пригласили стать экстраординарным профессором, на этот раз в университет Гейдельберга. Именно в это время его лекции слушала Милена Марич, делившаяся своими впечатлениями с будущим создателем теории относительности.

Перед тем, как переехать из Ахена в Гейдельберг, Ленард в качестве почетного гостя Британской ассоциации содействия прогрессу в науке («British Association for the Advancement of Science») посетил конференцию в Ливерпуле. Здесь он показал коллегам свои опыты и выступил с докладом о катодных лучах. Сообщение вызвало оживленную дискуссию, английские коллеги сравнивали Ленарда с Колумбом, открывшим Америку (Lenard, 176). Председателем секции, на которой выступал Ленард, был недавно назначенный директор Кавендишской лаборатории в Кембридже Дж.Дж. Томсон. Как уже упоминалось, он внимательно следил за опытами и высказываниями Ленарда и через год опубликовал доказательства того, что катодные лучи

есть поток отрицательно заряженных крохотных частиц, получивших название «электроны». Масса электрона оказалась много меньше, чем масса атома.

Ленард на всю жизнь сохранил ощущение, что еще одно фундаментальное открытие «уплыло» из его рук. Если бы не потерянное время в Бреслау, он бы и сам мог открыть эту элементарную частицу.

В Гейдельберге Ленард преподавал недолго – уже в 1898 году его призвали в Кильский университет на должность полного профессора. Полный, или ординарный, профессор – высшая ступенька в карьерной лестнице немецкого ученого и преподавателя, гарантия пожизненной материальной независимости и научной свободы. В Киле Ленарду достался старый физический институт, по его словам, ничем не лучше того, что был в Бреслау. Но теперь Филипп обладал другими возможностями, и ему удалось на базе старого построить вполне современный исследовательский центр, где можно было проводить самые изощренные эксперименты. В частности, Ленард в 1899 году осуществил серию опытов по фотоэффекту. Это явление мы уже упоминали, оно состоит в том, что из освещаемого светом катода могут вылетать электроны, образуя нечто похожее на катодные лучи. Ленард давно ими занимался, поэтому и к фотоэффекту смог приложить свой богатый опыт и получить новые результаты. О них он с гордостью писал в своих воспоминаниях: *«несмотря на длившиеся годами задержки моей работы, никто не пришел к этим результатам раньше меня»* (Lenard, 191).

Отчет о проведенных экспериментах под названием *«Создание катодных лучей с помощью ультрафиолетового света»* Ленард опубликовал не в привычных *«Анналах физики»*, а в *«Отчетах о заседаниях Венской академии наук»* в октябре 1899 года<sup>17</sup>. Это был жест благодарности за то, что Венская академия незадолго до того наградила его престижной премией имени Баумгартена. Оттиски этой статьи автор послал нескольких своим коллегам, в том числе и Дж.Дж. Томсону в Кембридж.

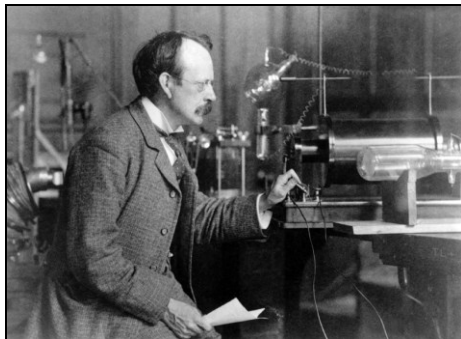
Через год журнал *«Анналы физики»* все же перепечатал статью Ленарда<sup>18</sup>, и каково же было удивление ученого, когда в работе Томсона о катодных лучах и электронах, написанной в 1903 году, он увидел ссылку на свою более позднюю публикацию,

---

<sup>17</sup> *Lenard Philipp*. Erzeugung von Katodenstrahlen durch ultraviolette Licht. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Wien, Okt. 1899.

<sup>18</sup> *Lenard Philipp*. Erzeugung von Katodenstrahlen durch ultraviolette Licht. Annalen der Physik, №2 1900, S. 359-375.

а не на первую, венскую. Эта, казалось бы, мелочь была, тем не менее, очень важна для установления приоритета: Томсон сам опубликовал аналогичные результаты до публикации Ленарда в «*Анналах*», но после публикации в венских «*Отчетах*». У читателя книги Томсона могло сложиться убеждение, что приоритет в открытии принадлежит автору книги, а не немецкому физика. И многие коллеги Ленарда разделяли это мнение, что, естественно, выводило Филиппа из себя.



Дж. Дж. Томсон в лаборатории

Дж.Дж. Томсон начинал как математик, но потом целиком отдал себя физике. Он занимался и теорией, и экспериментом и показал себя талантливым ученым в разных областях. Его сын, тоже нобелевский лауреат по физике, отмечал, однако, и человеческие слабости отца:

*«У него было много идей, значительная часть которых оказались ложными. В экспериментах его не интересовали точность и тщательность, ему часто было достаточно лишь качественного результата. Дж.Дж. хотел всегда в любой области быть первым и презирал людей, которые претендовали на то, чтобы о каком-то предмете сказать последнее слово»<sup>19</sup>.*

Эти человеческие недостатки Ленард считал общими, во-первых, для всех англичан и, во-вторых, для всех физиков-теоретиков.

В математических выкладках, которыми оперировал Томсон, Ленард не был силен. Его коньком считались эксперименты, и здесь он добивался предельной убедительности, чего, по его мнению, не хватало работам Дж.Дж. и других

<sup>19</sup> Thomson George P. J.J. Thomson and Cavendish Laboratory in His Day. N.Y. Doubleday Garden City 1965, S. 169-170.

английских коллег. Он даже ввел термин «английский стиль» для публикаций, сделанных на основе непроверенных и неполных данных. Сам Ленард всегда отдавал предпочтение точности, надежности и обоснованности опытных данных. Он был готов в десятый и в сотый раз тщательно повторять эксперимент, пока не становился абсолютно уверенным в его результатах.

То, что многие коллеги считали эксперимент ниже теории, просто бесило классического физика-экспериментатора. Он не понимал, что времена меняются, и в новой физике отношения теории и эксперимента становятся совсем не теми, что были в девятнадцатом веке.

Эйнштейновский «год чудес», т. е. 1905 год, и для сорокатрехлетнего Ленарда выдался удачным: его достижения получили мировое признание, он вторым из немецких ученых стал Нобелевским лауреатом по физике – за исследование катодных лучей. Даже это радостное событие не смягчило горечь обиды, и он потом не раз сетовал на моральную нечистоплотность английского ученого.

Тем не менее, в следующем, 1906 году Дж.Дж. Томсон тоже был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие электрона.

### **«Терпите все капризы Ленарда, сколько бы их ни было»**

В одной из трех эпохальных работ 1905 года, а именно, в упомянутой статье о фотоэффекте<sup>20</sup>, Эйнштейн с уважением отмечает публикацию Филиппа Ленарда 1902 года:

*«Обычное представление, будто энергия света непрерывно распространяется в пространстве, вызывает в опыте с фотоэлектрическими явлениями особенно большие трудности, которые изложены в новаторской работе господина Ленарда»<sup>21</sup>.*

И далее Альберт пишет, что зависимость между частотой падающего света и энергией вылетающих электронов, установленная в экспериментах кильского профессора, согласуется с предложенными им, Эйнштейном, формулами.

Неизвестно, послал ли Альберт копию этой статьи Ленарду или тот сам обратил внимание на упоминание своего

---

<sup>20</sup> *Einstein Albert. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik, 4. Folge, Bd.17 (1905), S. 132-148.*

<sup>21</sup> *Annalen der Physik, 4. Folge, Bd.8 (1902), S. 169-170.*

имени в публикации незнакомого автора, но Филипп отправил молодому коллеге оттиск своей новой заметки, опубликованной в том же 1905 году в том же томе журнала *«Анналы физики»*, что и работа о фотоэффекте Эйнштейна. Тот ответил из Берна благодарственным письмом от 16 ноября 1905 года:

*«Глубокоуважаемый господин профессор! Сердечно благодарю Вас за присланную работу, которую я проштудировал с тем же чувством восхищения, что и Ваши предыдущие работы»<sup>22</sup>.*



Дом, где жил Яков Лауб в Гейдельберге 1908 -1911 гг.

Далее в этом письме Эйнштейн высказал несколько важных гипотез о строении атома, которые были подтверждены только спустя двадцать с лишним лет развившейся к тому времени квантовой механикой.

На это письмо Ленард ответил только спустя четыре года, в 1909 году, когда не прямые контакты между ним и Эйнштейном возобновились с помощью молодого физика и математика Йохана Якоба Лауба<sup>23</sup>. Он был родом из Галиции и защитил в 1906 году в Вюрцбурге докторскую диссертацию *«О вторичных катодных лучах»*. Научным руководителем Лауба был в то время профессор

<sup>22</sup> Kleinert Andreas, Schönbeck Charlotte. Lenard und Einstein. Ihr Briefwechsel und ihr Verhältnis vor der Nauheimer Diskussion von 1920. In: Gesnerus 35(1978), S. 319. Далее ссылки на эту работу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Kleinert» и номером страницы. Повтор слова «работа» в одном предложении - в оригинале письма. В книге *Schönbeck Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard* (см. прим. 3) это письмо ошибочно датируется 1906 годом.

<sup>23</sup> Йохан Якоб Лауб (Johann Jakob Laub, 1882-1962) – немецкий физик и математик, первый соавтор Альберта Эйнштейна.

Вильгельм Вин<sup>24</sup>, известный своими работами по излучению абсолютно черного тела. Лауб был одним из первых в мире физиков, который оценил теорию относительности Эйнштейна и применил ее в своей работе. Это отметил Макс Планк, когда в зимний семестр 1905/1906 года Лауб докладывал свои результаты на физическом семинаре в Берлине.

Молодой человек был настолько увлечен идеями автора теории относительности, что попросил разрешения приехать к нему для обсуждения некоторых физических проблем. Эйнштейн, конечно, не был против, в результате апрель и май 1908 года Лауб провел в Берне. Итогом их встреч стали три статьи в «*Анналах физики*», подписанные двумя авторами – Альбертом Эйнштейном и Якобом Лаубом. Так Якоб стал первым в мире соавтором великого физика. Между ним и Альбертом установились добрые, товарищеские отношения, о чем свидетельствует их переписка.

В 1907 году Филипп Ленард заменил своего учителя Георга Квинке на кафедре экспериментальной физики Гейдельбергского университета и на посту директора Физического института. Якобу Лаубу удалось в 1908 году получить место ассистента профессора Ленарда, чему молодой физик был несказанно рад. В письме Эйнштейну от 16 мая 1909 года Лауб поделился своей удачей:

*«Дорогой друг! Что касается Ленарда, то он вообще известен как сатрап, который плохо обходится со своими ассистентами. По моему мнению, эти люди заслужили такое обращение, ибо зачем они вообще ползают перед ним на брюхе? Я могу только сказать, что Ленард в отношении меня выбрал совсем другой тон и что я обладаю полной свободой».*

Далее Лауб рассказал о своих коллегах по Физическому институту и поведал, как он изучает современную физику, не привлекая внимания своего руководителя:

*«Особенно приятен и скромен проф. Покельс<sup>25</sup>. Мы организовали (без Ленарда) один неофициальный коллоквиум на квартире Покельса, где обсуждается теория относительности. Следующей темой должна стать квантовая теория света... Я очень рассчитываю на Ваш приезд. Это ведь не так далеко от Гейдельберга» (Schönbeck, 8-9).*

---

<sup>24</sup> Вильгельм Вин (Wilhelm Wien, 1864-1928) – немецкий физик, профессор Вюрцбургского, затем Мюнхенского университетов, автор «закона Вина», описывающего излучение абсолютно черного тела в области коротких волн.

<sup>25</sup> Фридрих Покельс (Friedrich Pockels, 1865-1913) – немецкий физик-теоретик, экстраординарный профессор университета в Гейдельберге.

То, как высоко ценил в то время Эйнштейн Ленарда-ученого, видно из письма Лаубу, написанного 17 мая 1909 года. Очевидно, Альберт еще не получил письма Якоба, отправленного накануне:

*«Дорогой господин Лауб! Прежде всего, мое сердечное поздравление по случаю ассистентства и связанным с ним окладом. Меня очень порадовало это известие. Но я полагаю, что возможность работать вместе с Ленардом стоит еще больше, чем ассистентство и оклад вместе взятые! Терпите все капризы Ленарда, сколько бы их ни было. Он великий мастер, оригинальная голова! Возможно, он будет вполне обходителен с тем человеком, с кем он решил считаться».*

И несколькими строчками ниже Эйнштейн еще раз подчеркивает свое уважение к гейдельбергскому профессору:

*«Вы можете себя поздравить с тем, что работаете с Ленардом, к тому же Вы – как кажется – понимаете, как с ним следует ловко обходиться. Он не только умелый мастер в своем цеху, но, действительно, гений»* (Schönbeck, 9).

Зная независимый характер Эйнштейна и его критическое отношение ко многим коллегам-физикам, нужно признать, что эти необычно высокие оценки говорят о неподдельном восхищении работой Ленарда. Тот, в свою очередь, тоже весьма похвально отзывался о ранних статьях начинающего физика из Берна, особенно нравилось Ленарду объяснение фотоэффекта. Об этом позднее сообщал Якоб Лауб первому биографу Альберта Эйнштейна Карлу Зеелигу<sup>26</sup>.

Но и в теории относительности, против которой Ленард так активно выступал в двадцатые и тридцатые годы, в описываемое время он не находил ничего предосудительного. В июне 1909 года он рекомендовал в труды недавно созданной Гейдельбергской академии наук статью своего ассистента Лауба, посвященную теории Эйнштейна. Ленард был одним из основателей этой академии. На следующий год Ленард дал согласие еще на одну публикацию Лауба под характерным названием *«Экспериментальные основания принципа относительности»*<sup>27</sup>. В ней, в частности, был приведен полный список всех научных работ Эйнштейна. Так как ни одна статья не выходила из стен Физического института без одобрения директора,

<sup>26</sup> Карл Зеелиг (Carl Seelig, 1894-1962) – швейцарский журналист, писавший по-немецки, биограф Эйнштейна.

<sup>27</sup> *Laub Jacob. Über die experimentellen Grundlagen des Relativitätsprinzips.* In: Stark Johannes (Hrsg.). Jahrbuch für Radioaktivität und Elektronik. 7(1910), S. 405-420.



можно быть уверенным, что Ленард был в курсе того, чем вообще занимался создатель теории относительности.

В июне 1909 года, спустя почти четыре года после получения упомянутого письма Эйнштейна от 16 ноября 1905 года, Ленард все же собрался ответить:

*«Глубокоуважаемый господин коллега! Позвольте мне поблагодарить Вас за дружеские строки по поводу моего последнего послания. Что может быть мне приятнее, чем факт, что глубокий, разносторонний мыслитель находит удовольствие от чтения моей работы. По этому поводу я Вам должен также сказать, что Ваше содержательное послание от 16 ноября 1905 года постоянно лежит на моем письменном столе, сначала в Киле, теперь здесь, и я непрерывно размышляю о наших различных точках зрения на фотоэлектрические скорости и на то, что с ними связано. Я думаю, что в известном смысле мы оба правы; но я буду только тогда доволен, когда я увижу, как многогранные, чудесные, Вами найденные отношения подходят ко всему остальному, что я себе представляю как одно целое...»*

*«Возможно, необычайная близость Вашего места проживания даст мне удовольствие Вас здесь увидеть»* (Schönbeck, 10).

В этом письме упоминаются «различные точки зрения на фотоэлектрические скорости». Имеется в виду различный подход к объяснению фотоэффекта. Эйнштейн в своей «квантовой гипотезе фотоэффекта» допускал, что каждый квант света «выбивает» из освещенного катода один электрон, которому передает свою энергию, пропорциональную частоте света. Это совершенно новое представление, невозможное в рамках классической физики. Ленард, напротив, был убежден, что все можно объяснить, оставаясь в этих рамках. Он считал, в частности, что внутри атома происходят какие-то сложные движения, и при освещении возникает явление резонанса, в результате чего атом испускает электроны. Объяснить явление так просто и лаконично, как сделал Эйнштейн, Ленард не мог, но не терял надежды, что в будущем это ему удастся.

Уже в этом первом заочном столкновении мнений двух выдающихся физиков определилось принципиальное различие их подходов к изучению новых явлений. В последующих дискуссиях о теории относительности оно проявится еще отчетливее. Это различие состоит в следующем. Если какое-то физическое явление не удается понять на основе классических представлений, то Эйнштейн был готов этими представлениями пожертвовать и дать простое объяснение в рамках новой теории. С этим Ленард

смириться не мог и всегда искал пусть сложную, но принципиально классическую модель явления. Он был убежден, что на основе классических физических принципов можно объяснить все, что происходит в природе, и отказываться от них только потому, что мы еще не можем понять результаты того или иного эксперимента, неразумно. Ленард всю жизнь был предан классической физике, как прусский офицер верен данной кайзеру присяге.



Здание физического института в Гейдельберге до 1912 г.

Несмотря на эти принципиальные расхождения, отношения между Ленардом и Эйнштейном в эти годы были взаимно уважительны. Каждый отдавал должное профессиональным достижениям своего коллеги. Сказанное справедливо в отношении Ленарда вплоть до 1913 года. В этом году умер уже упоминавшийся экстраординарный профессор теоретической физики Гейдельбергского университета Фридрих Покельс. Ленард написал по этому случаю письмо главе мюнхенской школы физиков-теоретиков Арнольду Зоммерфельду, в котором предлагал создать в Гейдельберге должность ординарного профессора теоретической физики, *«коль скоро в нашем распоряжении есть такая личность как Эйнштейн»* (Schönbeck, 11).

Однако с 1910 года между Эйнштейном и Ленардом стало нарастать напряжение, связанное с различными подходами к другому основополагающему понятию классической физики девятнадцатого века – мировому эфиру.

### «Ленард в этих вещах сильно заблуждается»

Концепцию мирового эфира как некой всепроникающей среды, колебания которой проявляются в форме электромагнитных волн, в частности, света, выдвинул в семнадцатом веке Рене Декарт. В девятнадцатом веке эфир стал неотъемлемой частью волновой оптики и электромагнитной теории Максвелла. Эфир позволял дать простые, наглядные, «механические» объяснения сложным электродинамическим явлениям.

Однако к концу века в теории эфира появились серьезные противоречия, которые классическая физика разрешить не могла. Например, почему Земля движется в упругой среде эфира без потери скорости? Созданием специальной теории относительности в 1905 году Эйнштейн одним ударом разрешил все проблемы, связанные с мировым эфиром: он просто объявил его несуществующим. Для описания физических явлений в новой теории эфир оказался не нужным.

Для многих ученых, выросших на представлениях классической физики девятнадцатого века, прежде всего, для Ленарда, отказ от эфира был неприемлем. Филипп просто не мог себе представить электромагнитные волны, открытые его учителем Генрихом Герцем, распространяющиеся в пространстве без присутствия носителя – эфира. Наглядность объяснения, механическая интерпретация любого явления были для Ленарда непременным условием научного видения мира. Поэтому он не мог принять специальную теорию относительности, выбрасывающую понятие «эфир» из лексикона физики.

На открытое выступление против концепции Эйнштейна Ленард решился в 1910 году. Свое видение проблемы он изложил в докладе на заседании Гейдельбергской академии наук 4 июня. Доклад назывался «*Об эфире и материи*». Этот доклад был опубликован в трудах академии<sup>28</sup>, а затем в виде отдельной брошюры. В 1911 году вышло ее второе издание<sup>29</sup>.

По сути, это был призыв вернуться к представлениям ньютоновской механики и электродинамики девятнадцатого века и искать решение возникающих противоречий теории и эксперимента, не отказываясь от основных постулатов классической физики. Знакомство с принципом относительности Ленард не скрывает, хотя ни одной ссылки на работы Альберта

---

<sup>28</sup> *Lenard Philipp*. Über Äther und Materie. In: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 1910, 16. Abh.

<sup>29</sup> *Lenard Philipp*. Über Äther und Materie. Heidelberg 1911.

Эйнштейна в его докладе не было. Автор доклада допускает, что теорию эфира необходимо существенно дополнить, может быть, ввести так называемый «метаэфир», но отказываться от самого понятия нельзя ни в коем случае.

Идея доказать экспериментально, что эфир существует, стала главной для гейдельбергского профессора. Он задумал серию опытов с сильными электрическими и магнитными полями, в результате которых можно было бы измерить физические характеристики эфира. Эти опыты Ленард поручил провести своему ассистенту Якобу Лаубу.

Это было нелегкое задание: ведь Лауб был твердым приверженцем теории Эйнштейна и считал, что эфира в природе нет. Но задание шефа – закон, и требуемые эксперименты были проведены. Результаты, естественно, оказались отрицательными – эфир так и не был обнаружен. Об этом Ленард сообщает в брошюре 1911 года и поясняет в примечании: *«Возможно, все дело в том, что эти опыты проводил господин Я. Лауб, который придерживается особого мнения, о чем он собирается сам обстоятельно доложить»* (Schönbeck, 13).

Это примечание – не просто свидетельство разногласий между юным ассистентом и всемогущим директором Физического института. Это знак смены поколений в физике: старое поколение не принимает новые подходы, которые для молодого поколения – естественны и понятны. Другими словами это называется «смена парадигмы», которая и происходила в физике в начале двадцатого века.

Как только Эйнштейн узнал о докладе Ленарда, он написал Лаубу, что он обо всем этом думает. Еще недавно он называл профессора гением. Теперь в письме от 27 августа 1910 года оценка совсем другая:

*«Ленард в этих вещах сильно заблуждается. Его последний доклад об этом бессмысленном эфире кажется мне почти инфантильным. Далее, исследования, которые он Вам поручил (Зоммерфельд и Покельс мне об этом рассказали), просто смехотворны. Весьма сожалею, что Вы должны тратить свое время на подобные глупости»* (Schönbeck, 14).

И через два месяца, в письме от 4 ноября 1910 года Эйнштейн возвращается к той же теме: *«Потом боль из-за этого сумасшедшего Л. Вы правы, что ищите куда уйти, и я Вам в этом хочу помочь»*. И через неделю еще откровенней:

*«Что за вздорный тип, этот Ленард! Весь состоит из желчи и интриг. Вы выглядите в этом деле значительно лучше, чем он. Вы можете от него уйти, а он должен с этим чудовищем»*

*орудовать, пока оно его не сожрет. Я хочу теперь сделать все, что в моих силах, чтобы найти Вам место ассистента».*

Под интригами здесь понимается следующее. Когда Лауб сообщил Ленарду, что хочет найти себе другое место, профессор настоял на том, чтобы Якоб продолжал выполнять свои обязанности ассистента, пока новое место не будет действительно найдено, при этом распорядился, чтобы деньги за это время в университетской кассе Лаубу не выдавали до последнего дня.

Через несколько дней Эйнштейн докладывает Лаубу о проделанной работе:

*«Я написал в Лампа<sup>30</sup> и Нернсту, а также дал задание одному хорошему знакомому мне господину, который имеет в Чили влиятельные связи и как раз туда вчера отъехал, подобрать там для Вас место работы. Пусть Ленард копошится. Вы уже одной ногой стоите вне сферы его власти».*

О том же Эйнштейн писал в новогоднем пожелании Лаубу на 1911 год: *«Я желаю вам веселого нового года, и чтобы Вы поскорее ушли от Ленарда»* (Schönbeck, 14).

Пожелание старшего друга сбылось – летом 1911 года Лауб стал профессором теоретической физики, правда, не в Чили, а в университете аргентинского города Ла Плата. Незадолго до этого, в 1905 году, университет стал государственным и считался одним из лучших в стране. Об этом назначении мы узнаем из письма Эйнштейна Лаубу от 10 августа 1911 года. Здесь же он весьма резко отзывается о моральных качествах бывшего шефа Якоба: *«Ленард и его товарищи есть и остаются мерзкими свиньями»* (Schönbeck, 16).

Такую оценку директор Физического института в Гейдельберге заслужил из-за следующего эпизода, ставшего известным благодаря письмам Фридриха Покельса Якобу Лаубу, написанным после ухода Лауба из университета. Эти письма хранятся сейчас в рукописном отделе Немецкого музея Мюнхена. Как мы знаем, Якоб подружился с Фридрихом и рассказывал ему о своих опытах и расчетах. В одном из писем Покельс сообщил Лаубу, что Август Беккер, старейший ассистент Ленарда, опубликовал статью в Трудах Гейдельбергской академии наук и использовал в ней расчеты Лауба, не упомянув его в качестве автора.

Лауб, конечно, возмутился и решил обратиться в академический суд чести, чтобы обвинить Беккера в плагиате. Покельс отговаривал молодого друга от этого шага, который, по

---

<sup>30</sup> Лампа (Lampa) – город в Чили.

его мнению, не имел шансов на успех: голос Ленарда в Гейдельбергской академии был решающим. Так и вышло. В протоколе заседания отделения математики и естествознания Гейдельбергской академии наук от 4 мая 1911 года стояла запись: «доложено доктором Лаубом», однако эта строчка была зачеркнута. И неудивительно: председательствовал на заседании сам Ленард.

Больше ничего о продолжении этой истории из писем Покельса узнать не удалось. Как уже упоминалось, их автор умер в 1913 году.

### **«Одиночество мне необходимо для мыслей»**

Если давать общую оценку работам Филиппа Ленарда до Первой мировой войны, то нужно отметить, что независимо от их физического содержания они не содержали никаких политических, идеологических оценок или суждений. В них нет ни капли национализма и антисемитизма, которыми наполнены его поздние труды времен Третьего рейха. Критика Дж.Дж. Томсона легко объяснима личной обидой за неблагодарность английского ученого, не отметившего вклад Ленарда в открытие электрона.



Филипп Ленард

То, что Ленард жестко контролировал все работы, выполняемые в институте, и не давал своим ассистентам свободы

научного поиска, было проявлением его личных качеств руководителя и не связано ни с каким «принципом фюрера», ставшим обязательным во всех сферах общественной жизни Германии после прихода Гитлера к власти.

В годы до Первой мировой войны совершенно не заметны и другие особенности «позднего» Ленарда: не было и речи о шовинизме, предвзятом отношении к иностранцам: студенты из разных стран свободно учились и работали в Физическом институте Гейдельберга. Даже «фирменный» антисемитизм создателя «арийской физики» в то время не проявлялся ни в чем. То, что ассистент Лауб был евреем, ни разу не было упомянуто в их спорах об эфире или принципе относительности. Тем более Ленард ни разу не вспомнил о происхождении Альберта Эйнштейна.

Противостояние Эйнштейна и Ленарда стало заметно уже и в эти годы, но оно носило характер научного диспута, демонстрировало разные подходы к природе физических явлений. В области политики, расовой теории, других идеологических установок между двумя учеными не было никаких разногласий. То, что Эйнштейну не нравился стиль работы Ленарда с учениками и ассистентами, не имело политической подоплеки.

Привязанность Ленарда к концепции мирового эфира создатель теории относительности мог понять: ведь и он не сразу пришел к идее невозможности абсолютной системы отсчета, которая и была связана с эфиром. Первая, еще ученическая, работа Эйнштейна была тоже вполне в рамках классической физики. Она называлась «*Об исследовании состояния эфира в магнитном поле*» и была написана в 1895 году, когда начинающему физика было только шестнадцать лет. Эту статью Эйнштейн никогда не публиковал, он послал ее своему дяде Цезарю Коху. Рукопись была обнаружена уже после смерти великого физика и опубликована в 1971 году.

Повзрослев, Эйнштейн порвал с этими представлениями и стал пионером нового, современного подхода к теоретической физике, где важную роль играют аксиоматические конструкции и математические модели.

Все это было чуждо Ленарду, верному принципам классической физики и ставящему на первое место эксперимент и наглядность объяснения любых явлений природы. Парадоксально, но блестящий экспериментатор Ленард стал автором многих опытов, легших в основу новой физики, но ее принципы он не понимал и не принимал. По его глубокому убеждению не было необходимости создавать какие-то иные подходы,

противоречащие классике. Непознанные пока явления можно объяснить и в рамках старых теорий, если их слегка расширить и обобщить.

Здесь, пожалуй, уместно будет отметить одну особенность характера Ленарда, на которую обратил внимание его ученик, ставший знаменитым физиком, Карл Рамзауэр<sup>31</sup>. Он считал Ленарда, с которым работал в Гейдельберге в 1907-1928 гг., «трагической личностью». Его авторитарная манера руководить институтом, как своей вотчиной, скрывала, на самом деле, его ранимую и чувствительную душу. Она проявлялась, в частности, в том, как Ленард делал небольшие, но тщательно продуманные подарки своим студентам и ассистентам<sup>32</sup>.

Хотя Ленард женился в 1897 году на дочери гейдельбергского судьи Катарине Шленер<sup>33</sup>, он всю жизнь чувствовал себя одиноким странником. У него почти не было близких друзей. В *«Воспоминаниях»* Филипп прямо пишет: *«одиночество мне необходимо для мыслей»* (Lenard, 164). Обычно он не ходил в гости, отклонял приглашения своих коллег и даже начальства. Будучи ассистентом в Ахене, Ленард вдруг засомневался в правильности такого поведения. Он написал письмо в Бонн вдове своего покойного руководителя Генриха Герца и попросил совета. С семьей Герца Ленард долго поддерживал сердечные отношения. Госпожа Герц отчитала Филиппа за неразумное поведение, которое может разрушить его карьеру. Необщительный и недружелюбный человек, писала она, даже при великолепных научных результатах, не будет назначен профессором. А стать профессором, получив свободу научного поиска, было заветной мечтой немецкого ученого. Пришлось уже немолодому приват-доценту преодолевать свою стеснительность и робость и налаживать контакты с коллегами.

В его душе с детства боролись два чувства: тяга к людям, желание сделать им добро, и страх ошибиться, нарваться на обман, предательство... Он жалуется, что ему мало встречалось людей, достойных его любви. В предисловии к *«Воспоминаниям»* Ленард признается: *«У меня всю жизнь была огромная потребность любить людей. Предлагаемые воспоминания показывают, однако,*

---

<sup>31</sup> Карл Рамзауэр (Carl Ramsauer, 1879-1955) – немецкий физик, в 1940-1945 гг. – президент Немецкого физического общества, с 1945 г. профессор Берлинского университета.

<sup>32</sup> Ramsauer Carl. Physik-Technik-Pädagogik: Erfahrungen und Erinnerungen. Braun, Karlsruhe 1949, S. 110-111.

<sup>33</sup> Катарина Шленер (Katharina Schlehner, 1870-1946).



*что мне это часто давалось с большим трудом. В большинстве случаев я недолго этого хотел» (Lenard, 36).*

Не исключено, что глубоко укоренившееся чувство одиночества, с одной стороны, и желание найти единомышленников и товарищей, с другой, и толкнули Ленарда на путь сотрудничества с нацистами, которые обещали: кто пойдет за Гитлером, обретет чувство единства и сплоченности с соратниками.

Следующие после 1911 года шесть лет между Эйнштейном и Ленардом не было никаких контактов, каждый занимался своим делом. Ленард ставил многочисленные эксперименты в своем институте, пытаясь определить плотность эфира и доказать, что он материально существует. Кроме того, он писал обобщающие труды и учебники для студентов.

Альберт Эйнштейн закончил в 1909 году свою деятельность в патентном бюро Берна и после ряда назначений оказался весной 1914 года в Берлине. Этот переезд стоит описать подробнее.

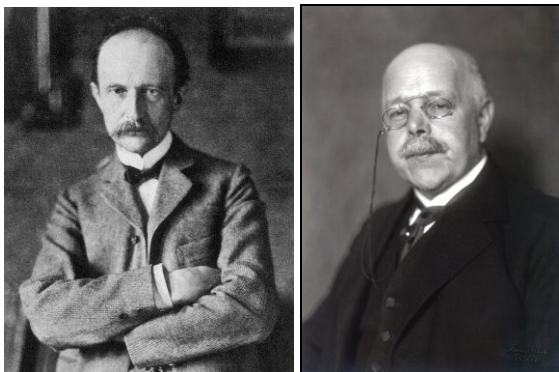
### **«Это колоссальная честь - занять место ван'т Хоффа»**

К Берлину у великого физика было двойственное отношение. С одной стороны, он всегда ненавидел все, связанное с войной, а в прусской столице казарменный дух ощущался сильнее других немецких городов. С другой стороны, Берлин в начале двадцатого века был, безусловно, мировой столицей физики, и здесь можно было вести научные беседы с ведущими учеными того времени – Максом Планком, Генрихом Рубенсом, Эмилем Варбургом, Вальтером Нернстом, Фрицем Габером...

Эйнштейна после его феноменальных открытий 1905 и последующих годов не пригласил на профессорскую должность ни один немецкий университет. Получив докторскую степень в 1906 году, через два года защитив вторую докторскую диссертацию, звание ординарного профессора Эйнштейн добился впервые только в 1911 году в Немецком университете в Праге, для чего ему даже пришлось принять австрийское гражданство – Прага входила тогда в состав Австро-Венгрии. Через год он вернулся профессором в свою альма-матер – Цюрихский университет. Сюда и приехали в июле 1913 года Макс Планк и Вальтер Нернст с необычным предложением.

Макс Планк, с которым Эйнштейн переписывался с 1906 года, одним из первых оценил гениальность теории относительности. Личное знакомство состоялось на ежегодном

заседании Общества немецких естествоиспытателей и врачей в 1909 году в Зальцбурге. Фриц Габер встретился с Эйнштейном впервые на таком же заседании два года спустя в Карлсруэ. Ведущего немецкого химика заинтересовал оригинальный подход Эйнштейна к тепловому балансу химических реакций с точки зрения квантовой гипотезы Планка. А Эмиль Варбург познакомился с молодым физиком в том же 1911 году на первом Сольвеевском конгрессе<sup>34</sup> в Брюсселе. Варбурга давно интересовало влияние света на химические реакции, и объяснение Эйнштейном фотоэлектрического эффекта произвело на него сильное впечатление. Все трое ведущих берлинских ученых были покорены глубиной и многогранностью таланта Эйнштейна и решили добиться его перевода в немецкую столицу.



Макс Планк и Вальтер Нернст

Вакантных мест профессора физики в Берлинском университете не было, да и вероятность того, что туда примут профессора-еврея, существовала минимальная, поэтому Планк и его коллеги решили действовать иначе. В Прусской академии наук существовала оплачиваемая должность профессора-исследователя. Ее с 1896 года занимал голландский химик Якобус ван'т Хофф<sup>35</sup>. После его кончины 1 марта 1911 года это место оставалось свободным. В июне 1913 года Планк предложил Прусской

<sup>34</sup> Сольвеевские конгрессы по физике начались по инициативе Эрнеста Сольве (Ernest Solvay, 1838–1922) в 1911 году и продолжаются под руководством основанного им Международного института физики. Оказали большое влияние на развитие современной физики.

<sup>35</sup> Якобус ван'т Хофф (Jacobus Henricus van 't Hoff, 1852-1911) – голландский химик, член Прусской академии наук, первый лауреат Нобелевской премии по химии.

академии принять Эйнштейна в свои члены. Предложение Планка поддержали академики Нернст, Рубенс и Варбург (Габер не был членом Прусской академии и не мог участвовать в выборах новых членов).

В начале июля общее собрание физико-математического отделения Прусской академии наук большинством голосов (один голос против) приняло Альберта Эйнштейна в число академиков. Академия согласилась также, чтобы физик из Цюриха занял место покойного профессора ван'т Хоффа. Оклад академическому профессору устанавливался в двенадцать тысяч марок в год. Меценат Коппель брал на себя выплату половины оклада в течение двенадцати лет. Кроме того, как члену академии Эйнштейну полагалось еще девятьсот марок в год<sup>36</sup>.

Это были неплохие условия – директор Института химии недавно созданного Общества кайзера Вильгельма Эрнст Бекман<sup>37</sup> получал десять тысяч марок в год, а оклад профессора университета составлял девять тысяч. Оставалось получить согласие самого Эйнштейна и утвердить его назначение на общем собрании академии. Так как в августе и сентябре члены академии разъезжались на каникулы, приходилось спешить. Вот почему вечером в пятницу 11 июля 1913 года Макс Планк и Вальтер Нернст с женами сели в поезд и утром в субботу прибыли в Цюрих, чтобы передать автору теории относительности предложение стать профессором в Берлине. В качестве дополнительного стимула было обещано, что в будущем будет создан институт теоретической физики, директором которого станет Эйнштейн. На размышления ему отвели сутки. В воскресенье супружеские пары из Берлина гуляли по окрестностям Цюриха, а вечером пришли на вокзал, чтобы ночным поездом вернуться домой. С большим облегчением Планк и Нернст увидели среди провожающих Альберта Эйнштейна, махавшего им белым платком – это был условный знак, что предложение принято.

У великого физика были свои резоны радоваться предложению из Берлина. *«Это колоссальная честь – занять место ван'т Хоффа»*, – писал Эйнштейн своей кузине Эльзе Лёвенталь через несколько дней после отъезда Планка и Нернста (Goenner, 38). Профессорская должность в академии не предполагала обязательных лекций в университете и других

---

<sup>36</sup> *Goenner Hubert*. Einstein in Berlin. Verlag C. H. Beck, München 2005, S. 37. Далее ссылки на эту работу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Goenner» и номером страницы.

<sup>37</sup> Эрнст Бекман (Ernst Otto Beckmann, 1853-1923) – немецкий химик.

занятий со студентами. На новом месте ничто не должно было отвлекать от работы над новой проблемой, которая занимала его последние годы. Докладывая Прусской академии наук о научных интересах кандидата на профессорскую должность, наблюдательный Планк отметил, что в 1912 и 1913 годах Эйнштейн написал вдвое больше работ, посвященных гравитации, чем квантовым явлениям и излучению. В 1909 и 1910 годах все было не так.

Планк не ошибся: автора специальной теории относительности интересовала теперь теория тяготения, которая, по мнению большинства физиков, была уже построена трудами Исаака Ньютона. Однако Эйнштейн считал иначе. И он надеялся, что условия работы в Берлине позволят ему завершить этот гигантский проект, который должен был перевернуть представление человечества о строении Вселенной.

Но была и еще одна причина, не столь грандиозная, но по-человечески важная для него, из-за которой Эйнштейн стремился попасть в Берлин. Здесь жила женщина, в которую он был влюблен, с которой уже два года тайно от всех переписывался. Новой возлюбленной Эйнштейна стала уже упомянутая Эльза Лёвенталь, в девичестве носившая ту же фамилию, что и Альберт. Она приходилась ему двоюродной сестрой по матери и троюродной - по отцу. Альберт сблизился с ней, когда в 1912 году навещал свою родню в Берлине. Брак с первой женой - Милевой Марич - явно не складывался, дело шло к разводу, а роман с Эльзой набирал обороты. Через несколько лет она станет его второй женой. А пока, в июле 1913 года, после разговора с Планком и Нернстом он писал ей: *«Самое позднее следующей весной приеду в Берлин. Предвкушаю счастливое время, которое мы проведем вместе»* (Goepfer, 38).

Заручившись согласием Эйнштейна, Планк уладил с Академией все формальности, и 12 ноября 1913 года вышел императорский указ о назначении Эйнштейна профессором Прусской академии наук.

Альберт получил официальное письмо Академии в конце ноября и подтвердил, что приступит к выполнению своих новых обязанностей в первые дни апреля. Свое обещание он сдержал: в столицу Эйнштейн прибыл 29 марта 1914 года.

### **«Призыв к культурному миру»**

Разразившаяся в августе 1914 года мировая война поляризовала общество, заставила многих аполитичных прежде людей определить свое отношение к развернувшейся бойне, и

прежние единомышленники в один миг становились врагами. Яркий пример: отношения братьев Томаса и Генриха Маннов.

Уже в первые дни августа 1914 года в Томасе Манне проснулся ярый националист, превыше всего ставивший победу культурной Германии над цивилизованной Антантой. В письме Генриху от 7 августа из Бад-Тельца он признается:

*«Я все еще как во сне – и все же, наверно, должен теперь стыдиться, что не считал этого возможным и не видел неизбежности катастрофы. Какое испытание! Как будет выглядеть Европа, внутренне и внешне, когда все пройдет? Я лично должен подготовиться к полной перемене материальной основы своей жизни. Если война затянется, я буду почти наверняка, что называется, «разорен». Ради бога! Что это значит по сравнению с переворотами, особенно психологическими, которые последуют за подобными событиями по большому счету! Не впору ли быть благодарным за совершенно неожиданную возможность увидеть на своем веку такие великие дела? Главное мое чувство – невероятное любопытство и, признаюсь, глубочайшая симпатия к этой ненавистной, роковой и загадочной Германии, которая, хоть доселе она и не считала «цивилизацию» высшим благом, пытается, во всяком случае, разбить самое подлое в мире полицейское государство»<sup>38</sup>.*

В эти дни стала углубляться пропасть между братьями в оценке «германской войны». Если Томас разделял с большинством своих сограждан «глубочайшую симпатию» к своей воюющей родине, Генрих открыто призывал к поражению Германии и считал, что «война ведется... одной лишь буржуазией в интересах ее кармана и ее идеологии, которая так великолепно способствует его пополнению». Даже мать братьев, Юлия Манн, увещевала своего старшего сына «не говорить с чужими людьми дурно о Германии»<sup>39</sup>.

Вернувшись в Мюнхен, Томас риторически спрашивает брата в письме от 18 сентября: «неужели ты действительно думаешь, что эта великая, глубоко порядочная, даже торжественная народная война отбросит Германию в ее культуре и цивилизованности так далеко назад...»<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Цитируется по книге Г. Манн – Т. Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. «Прогресс», М. 1988, стр. 156. Томас Манн имел в виду Россию.

<sup>39</sup> Там же, стр. 431-432.

<sup>40</sup> *Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 22. Briefe II. 1914-1923. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2004, стр. 42.* Русский перевод С. Апта из книги Г. Манн – Т. Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество (см. прим. 39), стр. 158.

После этого переписка братьев прекратилась на долгие три года, а настоящее примирение состоялось только в 1922 году, уже в другом политическом ландшафте их родины.

К крайним националистам примкнул с начала войны и Филипп Ленард. Как и Томас Манн, Ленард полностью оправдывал войну Германии за общечеловеческие ценности, причем главным врагом своей родины он видел не Францию или Россию, а Англию. Такого же мнения придерживалось и большинство немецких профессоров. *«Герои против торговцев»* - так определяли ученые из Германии противостояние их родины и туманного Альбиона<sup>41</sup>. Они рассматривали войну как борьбу немецкой культуры и западной (прежде всего, английской) цивилизации. «Цивилизация» понималась как вульгарный материализм, замаскированный популистскими лозунгами о всеобщем процветании. Чтобы разъяснить принципиальную разницу между «цивилизацией» и «культурой», а заодно оправдать «справедливую» войну Германии против Антанты, Томас Манн прервал на несколько лет работу над двумя художественными романами и написал огромную публицистическую книгу *«Размышления аполитичного»*, вышедшую в свет в 1918 году.

В своей первой редакции эта книга пришлось по душе самым отъявленным националистам, охотно принявшим ее автора в свой лагерь. Крайне консервативный университет в Бонне даже присвоил Томасу Манну в 1919 году степень почетного доктора наук, желая отметить его, прежде всего, как автора *«Размышлений аполитичного»*.

В глазах сторонних наблюдателей Томас Манн и в самом деле был «оголтелым националистом». Ромен Роллан сравнил его с *«разъяренным быком, с опущенной головой несущимся на шпагу матадора»*<sup>42</sup>. В России А.В. Луначарский, готовя в 1915 году рецензию на книгу Генриха Манна, рисует его младшего брата каким-то ненормальным фанатиком: *«В настоящее время Томас Манн является совершенно сумасшедшим шовинистом,*

<sup>41</sup> Schwabe Klaus. Wissenschaft und Kriegsmoral: Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grundfragen des Ersten Weltkrieges. Musterschmidt, Göttingen, Zürich, Frankfurt a.M. 1969, S. 26.

<sup>42</sup> Томас Манн цитирует выражение Романа Роллана в книге *«Размышления аполитичного»*: *Mann Thomas. Betrachtungen eines Unpolitischen*. In: *Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 13.1.* S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2009, S. 51-52. Русский перевод первых двух глав см. в книге *Манн Томас. Аристократия духа. Изд. «Культурная революция», М. 2009, стр. 60-68.*

*истерические вопли которого даже в глазах самых заядлых пангерманистов кажутся компрометирующими»<sup>43</sup>.*

Окрыленный новым чувством национального единства, Ленард тоже откликнулся на начало военных действий литературным трудом – не таким огромным, конечно, как Томас Манн – Филипп написал брошюру *«Англия и Германия ко времени великой войны»*. Он осуждает Англию за несправедливое участие в конфликте и переносит личные обиды на всю английскую нацию. Вот характерный отрывок из этой брошюры, в котором явно чувствуются взаиморасчеты с Дж.Дж. Томсоном:

*«В литературе по моей области науки за последние десять лет можно заметить следующее: Англия выдает себя за единственного лидера; все ведущиеся в мире разработки основательно используются, но признается это открыто только для тех работ, которые не играют существенной роли. Для других же исследований применяется такой трюк: ссылка на оригинальную работу находится в каком-нибудь потайном месте глубоко внутри публикации или дается в какой-нибудь трудно находимой побочной статье. Иногда прибегают к помощи прямой фальсификации. Короче говоря, для отдельных англичан, даже если они естествоиспытатели, налицо, в принципе, та же картина, что мы имеем для английской политики»<sup>44</sup>.*

Далее Ленард предлагает начать интеллектуальную блокаду Англии.

Наряду со сражениями на фронтах шли жестокие словесные схватки между учеными разных стран. Четвертого октября 1914 года был опубликован манифест девяноста трех выдающихся немецких интеллектуалов, озаглавленный *«Призыв к культурному миру»* («*Aufruf an die Kulturwelt*»). Среди подписавших призыв насчитывалось 58 профессоров, из них 22 по естествознанию и медицине. Под обращением поставили свои подписи Макс Планк, Пауль Эрлих, Конрад Рентген, Альберт Найссер, Фриц Габер, Вальтер Нернст... С воодушевлением подписался под манифестом и профессор Ленард.

Отказались присоединиться к воинственным патриотам Давид Гильберт и Альберт Эйнштейн.

Каждый абзац в манифесте начинался со слова «Неправда»: *«Неправда, что Германия повинна в этой войне»* и

---

<sup>43</sup> Цитируется по книге *Ант С.К.* Томас Манн. Серия «Жизнь замечательных людей». Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва 1972, стр. 170.

<sup>44</sup> *Lenard Philipp.* England und Deutschland zur Zeit des großen Krieges. Winter, Heidelberg 1914, S. 5.

т.д. Патриотический угар был так силен, что некоторые подписывали текст, не читая.



### Манифест «Призыв к культурному миру»

Через несколько лет многие выражали сожаление, что участвовали в этом протесте. Планк уже в 1916 году написал открытое письмо, в котором отказывался безоговорочно поддерживать действия немецких военных.

Вместо понимания манифест вызвал бурю протестов в странах, воюющих на стороне Антанты. Многие английские и американские ученые выступили с резкой критикой Германии, поток писем с взаимными упреками и обвинениями долго не утихал с обеих сторон. И после войны манифест не забыли: немецким ученым объявили международный бойкот, им не разрешали участвовать в симпозиумах и конференциях. Например, организаторы международных математических конгрессов в Страсбурге (1920 год) и в Торонто (1924) не пригласили ни одного математика из Германии. Потребовалась настойчивая и терпеливая разъяснительная работа Эйнштейна, Гильберта, Планка и других немецких корифеев, чтобы бойкот был, в конце концов, отменен.

Во время войны, как и в предыдущие годы, Ленард не давал повода упрекнуть себя в антисемитизме. Он охотно общался



с коллегами-евреями. Джеймс Франк вспоминал, как поразило его письмо Филиппа, полученное на фронте. Ленард писал, что немцы обязаны победить англичан, потому что они нечестно цитируют чужие работы<sup>45</sup>.

В военных действиях Ленард не участвовал, но старался помочь фронту, чем только мог. Он перестал курить свои любимые сигары, чтобы экономить табак для воюющих солдат. Для нужд армии он отдал немало ценного оборудования своей лаборатории. Из-за настоящей, а не интеллектуальной блокады, устроенной Британией, ученый голодал вместе со своими детьми.

Поражение Германии в ноябре 1918 года стало для Ленарда шоком. Он не мог понять, как страна, не допустившая вражеских солдат на свою территорию, вынуждена подписать безоговорочную капитуляцию на оскорбительно кабальных условиях. Единственной правдоподобной причиной проигрыша войны могло быть предательство немецкого правительства и самого императора Вильгельма Второго. Отречение Вильгельма от престола и побег в Голландию виделся как подтверждение его измены немецкому народу в час тяжелого испытания.

### **«Призыв к европейцам»**

Эйнштейн приехал в Берлин убежденным пацифистом, хотя до начала войны у него не было поводов выступать с этим открыто. Друг молодости Морис Соловин вспоминал, что Альберта *«всегда возмущали предрассудки, несправедливость и реакционные идеи»*<sup>46</sup>.

В отличие от большинства своих коллег, Эйнштейн ни минуты не сомневался: война – это катастрофа для всех, и нужно приложить все силы, чтобы это несчастье прекратить. В письме другу Паулю Эренфесту в голландский университет Лейдена от 19 августа 1914 года, спустя неполных три недели после начала войны, Альберт писал:

*«Невероятно, но наступает пора безумия Европы. В такое время видно, к какой жалкой породе скота принадлежит человек. Я возжусь со своими мирными размышлениями и ощущаю смесь сострадания и отвращения. Мой добрый астроном*

---

<sup>45</sup> *Beyerchen Alan*. Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich. Ullstein Sachbuch, Frankfurt a.M., Berlin, Wien 1982, S. 123. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Beyerchen» и номером страницы.

<sup>46</sup> *Nathan Otto, Norden Heinz* (Hrsg.) Albert Einstein: über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang? Parkland Verlag, Köln 2004, S. 19.

Фройндлих <sup>47</sup> в России вместо наблюдения за солнечным затмением оказался военнопленным. Мне жутко за него»<sup>48</sup>.

Под «мирными размышлениями», с которыми уже не первый год «возился» Эйнштейн, имелись в виду его подходы к общей теории относительности, окончательно оформленной в 1915-16 годах. Из новой теории тяготения, которую строил великий физик, вытекали следствия, подлежащие экспериментальной проверке. Именно за такую проверку и взялся молодой астроном и математик Эрвин Фройндлих. В 1914 году он пытался экспериментально проверить выводы из теории Эйнштейна, наблюдая солнечное затмение в России, но был с началом войны интернирован в лагерь для военнопленных.

Другое письмо Эренфесту, написанное в начале декабря 1914 года, содержит горькое примечание:

*«Международная катастрофа тяжело отзывается во мне, человеке интернациональном. Тот, кто живет в это „великое время“, начинает осознавать, что принадлежит сумасшедшему, опустившемуся виду, которому к тому же дарована свобода воли. Если бы был где-нибудь остров для доброжелательных и светлых людей. Вот там хотел бы я быть пламенным патриотом»*<sup>49</sup>.

«Призыв к культурному миру», оправдывающий войну, был созвучен настроению подавляющего числа немцев. Против войны выступали единицы, не побоявшиеся плыть против течения. Прошло всего несколько дней после публикации воззвания девяноста трех, как известный врач-кардиолог, профессор Берлинского университета Георг Фридрих Николаи<sup>50</sup> подготовил ответ, получивший характерное название «*Призыв к европейцам*». Это был рискованный шаг, который в условиях военного времени мог быть расценен как предательство. Европейская война в двадцатом веке рассматривалась в этом документе как варварство. Развитие техники и средств связи сделало континент фактически единым государством, и война в Европе напоминает гражданскую войну между городами-полисами в Древней Греции, погубившую великую цивилизацию. Автор манифеста призывал людей, которым дорога культура, объединиться и создать «Союз

<sup>47</sup> Эрвин Фройндлих (Erwin Freundlich, 1885-1964) – немецкий астроном и математик, ученик Феликса Клейна.

<sup>48</sup> Nathan Otto, Norden Heinz (Hrsg.) Albert Einstein: über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang? (см. прим. 47), стр. 20.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Георг Фридрих Николаи (Georg Friedrich Nicolai; 1874-1964) – немецкий врач, физиолог, психиатр.

*европейцев*», под управлением которого войны на континенте станут столь же невозможными, как война между Баварией и Вюртембергом внутри Германии.



Георг Фридрих Николаи

Альберт Эйнштейн горячо поддержал идею Николаи, даже внес в окончательный текст документа несколько редакционных изменений. И, конечно, первым подписал *«Призыв к европейцам»*. Но инициатива Николаи и Эйнштейна провалилась. Практически ни один из берлинских интеллектуалов не последовал примеру создателя теории относительности. Кроме авторов, антивоенную декларацию подписали еще только два человека: восьмидесятидвухлетний директор Берлинской обсерватории Вильгельм Фёрстер<sup>51</sup> и юный Отто Бюк<sup>52</sup>, недавно окончивший университет в Гейдельберге. Забавно, что престарелый астроном подписал и *«Призыв девяноста трех»*, видимо, уже слабо понимая, что оба документа несовместимы.

---

<sup>51</sup> Вильгельм Фёрстер (Wilhelm Foerster, 1832-1921) – немецкий астроном,

<sup>52</sup> Отто Бюк (Otto Bueck, 1873-1966) – немецкий философ, писатель и переводчик (в том числе, с русского языка).

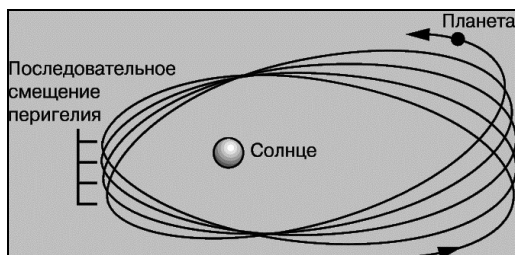
Остальные преподаватели Берлинского университета, которым Николаи зачитывал свой манифест, на словах одобряли текст, но подписывать не соглашались: лучшие немцы не были готовы стать «добрыми европейцами», как называл людей культуры великий Гете.

Вскоре Николаи был отправлен на Восточный фронт рядовым сотрудником лазарета. В конце войны ему удалось бежать из Германии в нейтральную Данию.

Для Эйнштейна *«Призыв к европейцам»* был первым политическим документом, который он подписал. За свою жизнь великий физик подписал или сам составил немало подобных обращений. Они свидетельствуют о том, что свои политические взгляды и убеждения он не менял в течение всей своей жизни.

### «Ленард просто не в состоянии понять суть учения Эйнштейна»

Время Первой мировой войны оказалось для творчества Эйнштейна одним из самых продуктивных. За четыре года, с 1915 по 1918, он опубликовал около тридцати статей, полностью обосновав еще один свой грандиозный вклад в мировую науку: общую теорию относительности (ОТО).



Явление смещения перигелия планеты

Уже первые работы Эйнштейна 1915 и 1916 годов в этом направлении побудили Ленарда снова обратиться к проблеме эфира и отрицающей его теории относительности, что неминуемо вело к противостоянию с ее автором. Первая атака на ОТО была предпринята в 1917 году.

Здесь следует упомянуть, что заметным успехом новой теории было объяснение и количественный расчет так называемого аномального смещения перигелия орбиты Меркурия. Перигелий – это точка орбиты планеты, ближайшая к Солнцу. Измерения астрономов показывали, что эта точка расположена не

там, где предсказывала классическая небесная механика. Объяснить это смещение законы Ньютона не могли. А общая теория относительности смогла, причем из нее следовала величина смещения, очень близкая к наблюдаемой астрономами.



Эрнст Герке

Один из самых непримиримых противников теории относительности, физик Эрнст Герке<sup>53</sup>, нашел давнюю работу другого физика, Пауля Гербера<sup>54</sup>, напечатанную в «Журнале математики и физики» («Zeitschrift für Mathematik und Physik») еще в 1898 году<sup>55</sup>. Гербер привел формулу для смещения перигелия Меркурия, которая давала такое же хорошее совпадение с результатами наблюдений, как и теория Эйнштейна. Герке и Ленард добились того, чтобы в 1917 году статья Гербера была перепечатана в солидном журнале «Анналы физики». Этим они хотели доказать, что аномалия с перигелием Меркурия может

---

<sup>53</sup> Эрнст Герке (Ernst Gehrcke, 1878-1960) – немецкий физик, после войны профессор Йенского университета.

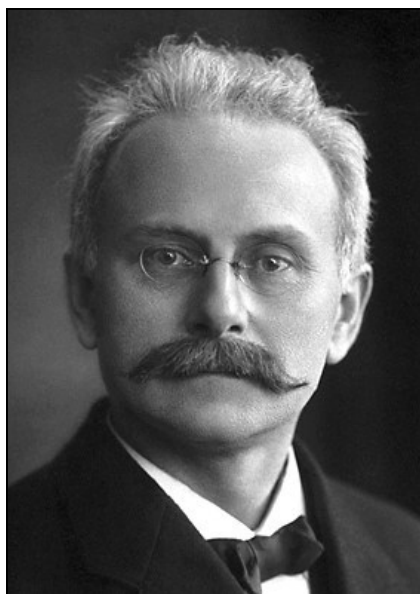
<sup>54</sup> Пауль Гербер (Paul Gerber, 1854-1909) – немецкий физик, преподаватель гимназии.

<sup>55</sup> Gerber Paul. Die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Gravitation. Zeitschrift für Mathematik und Physik, 43 (1898), S. 93-104.

быть рассчитана и без новой теории, и никакой заслуги Эйнштейна в объяснении этого явления нет.

Но Филиппу этого показалось мало, он решил развить успех и рассказать о статье Гербера в «Ежегоднике радиоактивности и электроники», который издавался единомышленником Ленарда – Йоханнесом Штарком<sup>56</sup>. В письме издателю «Ежегодника» от 10 июля 1917 года Ленард просит:

*«Одновременно я хотел бы узнать, возможна ли быстрая публикация моей небольшой оригинальной заметки (менее одного листа) об эфире и гравитации (в связи с работой Гербера, которая по моей инициативе появилась в „Анналах“»*)» (Kleinert, 323).



Йоханнес Штарк

Штарк ответил через четыре дня (14 июля):

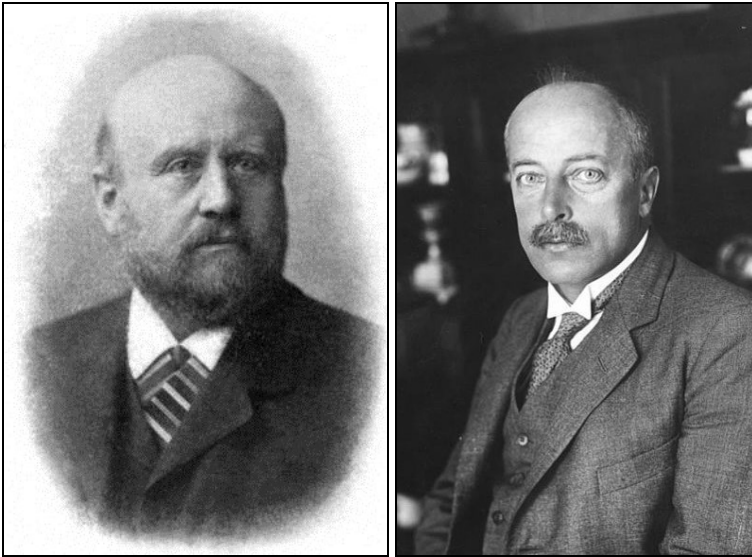
*«Ваше исследование об эфире и гравитации я охотно приму в издаваемый мною Ежегодник. Конкретно я хочу, чтобы оно появилось уже в четвертой тетради этого года. То, что Вы инициировали прием работы Гербера в «Анналы», я приветствую. Она физически хорошо продумана и мне симпатичнее, чем*

---

<sup>56</sup> Йоханнес Штарк (Johannes Stark, 1874-1957) – немецкий физик, Нобелевский лауреат по физике 1919 года. Активно участвовал в националистическом движении «Арийская физика».

*некоторые теоретические работы наших дней, которые с помощью дидактически-математического волшебства успешно симулируют решение сложных физических проблем» (Kleinert, 323).*

Через два дня (16 июля) Ленард поблагодарил Штарка за принятие материала в «Ежегодник» и еще раз уточнил, какие цели он преследует своей новой публикацией. Помимо того, чтобы отстоять приоритет Пауля Гербера и показать, что без общей теории относительности можно обойтись, профессор Гейдельбергского университета мечтал дать объяснение гравитации, основываясь на понятии «мирового эфира», так как *«оно столь простое, что для всего подходит».*



Хуго фон Зелигер и Макс фон Лауэ

Но мечтам Ленарда не суждено было сбыться: произошло то, чего он никак не ожидал. В следующем номере «*Анналов*» были опубликованы сразу две работы, остро критикующие статью Гербера. Одна из них – астронома Хуго фон Зелигера<sup>57</sup>, другая – физика-теоретика Макса фон Лауэ<sup>58</sup>. Оказалось, что Гербер

---

<sup>57</sup> Хуго фон Зелигер (Hugo von Seeliger, 1849-1924) – немецкий астроном.

<sup>58</sup> Макс фон Лауэ (Max von Laue, 1879-1960) – немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1914 год.

допустил ошибку в математических расчетах, что обесценивало его результаты.

Ленард среагировал мгновенно: послал Штарку телеграмму с просьбой приостановить публикацию статьи в «Ежегоднике». Более подробно о сложившейся ситуации он написал в письме от 20 октября 1917 года:

*«После сообщения ф[он] Зелигера я должен либо его опровергнуть, либо вычеркнуть из моей статьи похвалу Герберу. Для первого мне в настоящий момент не хватает времени, так как я глубоко погружен в другую работу, на второе я не могу сразу решиться. Поэтому пусть моя статья полежит, пока я не распоряджусь иначе, и я надеюсь на Ваше согласие в этом вопросе. Вообще, кажется, что работа Гербера может оказаться не такой уж ошибочной, так как ныне можно не сомневаться в распространении грав[итации] со скоростью света вследствие принципа относительности (в его первоначальной, несомненно, справедливой форме)»* (Kleinert, 324).

Примечательно, что из этого сообщения следует полное согласие Ленарда со специальной теорией относительности (СТО) Эйнштейна, или, как он назвал, с «*принципом относительности в его первоначальной форме*». Возражения вызывает у гейдельбергского профессора только общая теория относительности. Через три года, в 1920 году, он изменит свое мнение и начнет критиковать также и специальную теорию относительности, как она была представлена в знаменитой статье 1905 года.

В феврале 1918 года Ленард послал Штарку свою переработанную статью под названием «*О принципе относительности, эфире и гравитации*»<sup>59</sup>. Похвальных отзывов о работе Гербера в ней уже почти не было, специальную теорию относительности автор принимал полностью, сравнивая ее с законом сохранения энергии. Он считал, что СТО уже можно рассматривать как общепринятый факт. А вот ОТО Ленард отказывал во всеобщности, ограничивая ее действие только такими системами, где действуют силы, пропорциональные массе тела, например, только гравитационные силы.

Альберт Эйнштейн не оставил эту работу Ленарда без внимания: в том же году в журнале «*Естественные науки*» появился его ответ под названием «*Диалог о возражениях против*

<sup>59</sup> *Lenard Philipp*. Über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. In: Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik, 15(1918). S. 117-136.



*теории относительности»*<sup>60</sup>. Статья построена в форме беседы между «Критиком», отстаивавшим взгляды Ленарда, и «Релятивистом», защищавшим теорию относительности. Подходы Ленарда и самого Эйнштейна в этой статье представлены с исключительной ясностью и литературным мастерством. Это одна из лучших научно-популярных работ великого физика. Но на оппонента она не произвела никакого впечатления, он непоколебимо оставался при своем мнении.

Через два года после первого появления работы «*О принципе относительности, эфире и гравитации*» Ленард публикует ее второе издание в виде отдельной брошюры, в которой упоминает статью Эйнштейна в «*Естественных науках*»:

*«Что касается высказываний господина Эйнштейна, которые он озвучил устами «Релятивиста», то они не убеждали и не убеждают меня, главных проблем они касаются слишком мало или вообще никак»* (Schönbeck, 21).

Как и раньше, Ленард был убежден в существовании эфира, признавал справедливость ОТО только для сил типа гравитационных, но в этой брошюре появилось и нечто новое. Ее автор впервые формулирует требования наглядности и «*простого, здорового человеческого понимания*». С этого момента указанные требования будут постоянно в лексиконе Ленарда, когда речь пойдет о современной физике. Сложные математические конструкции общей теории относительности или квантовой механики были неприемлемы для твердого сторонника классической науки девятнадцатого века.

Пожалуй, ключевой вопрос – выбор подходящей системы отсчета для описания того или иного движения тела. Эйнштейн на основании общей теории относительности был убежден, что все системы отсчета в принципе являются равноправными, и исследователь может выбрать любую, которая ему больше подходит. Руководствоваться нужно лишь математическим удобством и целесообразностью.

Ленард, напротив, считал, что при выборе системы отсчета нужно руководствоваться чувством «*простого, здорового человеческого понимания*». То, что предлагал Эйнштейн, выходило за рамки этого чувства, было абсолютно непонятно верному рыцарю классической физики. Он жаловался, что Эйнштейн не может или не хочет понять его возражения.

---

<sup>60</sup> Einstein Albert. Dialog über die Einwände gegen die Relativitätstheorie. In: Die Naturwissenschaften 6(1918), S. 697-702.

Наблюдавший за развитием этого научного спора Герман Вейль в октябре 1920 года сделал достаточно жесткий вывод: «Ленард просто не в состоянии понять суть учения Эйнштейна» (Schönbeck, 22).

Все же нужно отдать должное Ленарду: хотя в своей последней работе он достаточно резко критиковал эйнштейновский принцип относительности, но по форме критика оставалась в рамках научного спора. Не было ни перехода на личность противника, ни антисемитских замечаний, которыми полны работы Ленарда в эпоху Третьего Рейха. Тем не менее, продолжать полемику с человеком, который не может понять суть нового подхода, было неразумно. Поэтому на новые нападки Ленарда Эйнштейн публично больше не отвечал.

*(окончание следует)*



# Михаил Севрюк О Владимире Игоревиче Арнольде



ыдающийся математик современности, академик РАН Владимир Игоревич Арнольд скоропостижно скончался в Париже 3 июня 2010 года, не дожив 9 дней до своего 73-летия (он родился в Одессе 12 июня 1937 года). О нем уже много написано (см., например, [1-6]) и будет написано еще гораздо больше. Настоящая статья – это существенно переработанный перевод на русский язык заметки [7], в которой я поделился некоторыми своими воспоминаниями об Арнольде и постарался кратко рассказать о его роли в создании теории Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ).

## 1. Арнольд, каким я его помню

С Владимиром Игоревичем (далее – В.И.) связан огромный пласт моей жизни. Я стал заниматься у него в начале 1980 года, еще будучи первокурсником мехмата МГУ. Под его руководством я писал курсовые работы, диплом и кандидатскую диссертацию. В конце первого года аспирантуры Арнольд предложил мне подготовить монографию по т.н. обратимым динамическим системам для серии “Lecture Notes in Mathematics”, и написание этой книги, вышедшей в издательстве Springer [8], было одним из ключевых событий моей научной биографии. Я общался с В.И. последний раз 3 ноября 2009 года на его семинаре на мехмате и видел В.И. последний раз 15 декабря 2009 года на заседании Московского математического общества...

Если бы меня попросили назвать одну самую характерную черту Арнольда, каким я его запомнил, я бы ответил “подвижность”. Он стремительно шагал по коридорам МГУ (быстрее, чем большинство студентов, не говоря уже о преподавателях), его речь была очень быстрой и четкой, он почти всегда мгновенно реагировал на любую реплику собеседника, часто совершенно неожиданным образом. Его фантастическая работоспособность в науке и многочисленные спортивные увлечения общеизвестны в математической среде [2-4].

Своим ученикам В.И. всегда уделял поразительно много сил и времени. Среди его студентов и аспирантов были и весьма слабые, но я не помню случая, чтобы он отказался даже от явно “не тянущего” студента. В 80-е годы почти каждое заседание его знаменитого семинара по теории особенностей дифференцируемых отображений на мехмате МГУ (об этом семинаре подробно рассказано в статье С.К.Ландо [5]) начиналось со сбора “урожая” – записок учеников, где те излагали свои последние продвижения, или черновиков научных работ (при этом Арнольд возвращал студентам предыдущий “урожай” со своими замечаниями). После семинара или лекции спецкурса он часто еще 1-3 часа беседовал с несколькими участниками или слушателями. Щедрость В.И. проявлялась во всем. Он неоднократно давал многостраничные письменные математические консультации даже незнакомым людям, писал на представленные в журналы статьи рецензии, объемом превышающие саму статью. В последние годы он со всей присущей ему энергией пытался остановить обвальную деградацию школьного математического (и не только математического) образования.

О своих математических занятиях под руководством В.И. во время учебы в МГУ я постарался рассказать в заметке [9]. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что у Арнольда не было никакого шаблона в общении со своими учениками. В одних случаях он лишь сообщал студенту – на чисто идейном уровне – что в огромном математическом мире есть такой-то заманчивый малоисследованный уголок, и если студент брался этот уголок обживать, то он должен был и находить основную литературу по данному вопросу, и изучать ее, и ставить новые задачи, и придумывать пути их решения, и воплощать эти замыслы в жизнь практически самостоятельно. Конечно, при этом В.И. держал руку на пульсе (я помню, как на пятом курсе, после того, как я долго не приносил “урожай”, но в конце концов добился существенных успехов, Арнольд с облегчением воскликнул: “Ну слава Богу, а я уже начал бояться, что мне придется Вам помогать”). В других ситуациях, напротив, Арнольд интенсивно обсуждал с учеником ту или иную проблему и привлекал его к совместному исследованию – так, например, возникла наша работа [10]. В случае необходимости В.И. прибегал и к довольно жестким методам. Я был свидетелем того, как он сказал одному своему студенту: “Вы слишком медленно работаете, я думаю, будет лучше, если Вы теперь раз в неделю будете мне рассказывать, что сделали за прошедшую неделю”. Арнольд никогда не старался щадить самолюбие собеседника.

В.И. обладал удивительным чувством единства математики, всего естествознания и всего сущего в целом. Он рассматривал математику как часть физики, и его “экономическое” определение математики как раздела физики, где эксперименты дешевы [11, 12], широко цитируется. От себя добавлю, что я бы предпочел охарактеризовать математику как естественнонаучную дисциплину, изучающую феномен бесконечности, – по аналогии с малоизвестным, но замечательным определением топологии как науки, изучающей феномен непрерывности (это определение топологии я услышал в студенческие годы от своего сокурсника С.А.Спирина). Впрочем, специфику математики Арнольд видел и в другом: “Как справедливо отмечают, физики ссылаются на первого автора, а математики – на последнего” (этот афоризм он высказал на одном из заседаний семинара). В.И. вообще придавал колоссальное значение адекватности ссылок и другим вопросам, связанным с приоритетом, что было естественным продолжением его духовной щедрости, и убеждал учеников, что в статьях “благодарить надо по максимуму”.

В.И. последовательно боролся с “бурбакизмом” – самоубийственной тенденцией представить математику как формальный и бесцельный вывод следствий из немотивированных аксиом. Математика, по Арнольду, нужна для открытия новых законов природы, а не для “строгого” обоснования очевидных вещей. Восприятие математики и естествознания как единого инструмента постижения мира В.И. стремился передать и своим ученикам. Когда мне после окончания аспирантуры в силу ряда обстоятельств понадобилось частично переквалифицироваться в химика, я не испытал при этом – пройдя математическую школу Арнольда – никакого психологического дискомфорта.

## 2. Теория КАМ

Фундаментальные математические достижения Арнольда, так же как и его учителя академика Андрея Николаевича Колмогорова, охватывают почти всю математику. Возможно, что В.И. – последний универсал в истории этой науки. Ни один из учеников Арнольда не смог даже приблизиться к подобной универсальности в своем собственном творчестве. Моей математической специализацией является теория КАМ (Колмогорова-Арнольда-Мозера) – теория т.н. квазипериодических движений в неинтегрируемых динамических системах, основанная Колмогоровым, Арнольдом и Мозером

(Jürgen Kurt Moser), выдающимся американским математиком немецкого происхождения, в 50-х – 60-х годах.

Об истории становления и некоторых фундаментальных результатах теории КАМ (или, как ее еще называют, КАМ-теории) рассказано, например, в блестящей популярной книге [13]. Из руководств на русском языке в качестве введения в теорию КАМ можно рекомендовать добавление 8 (с. 320–335) в учебнике [14], § 6.3 (с. 229–260) монографии [15] или лекционный курс [16], но эти книги рассчитаны скорее на старшекурсников математических специальностей. Я попытаюсь здесь изложить некое “понятийное ядро” теории КАМ в максимально общих терминах.

Если кто-нибудь случайно изменит всего один символ в компьютерной программе, то с весьма высокой вероятностью эта программа станет абсолютно неработоспособной (если, конечно, мы не используем специальные технологии типа помехоустойчивого кодирования). Аналогичным образом, мутация, затрагивающая всего лишь один нуклеотид в ДНК, вполне может быть летальной. С другой стороны, единичная опечатка в книге почти никогда не приводит к сколько-нибудь серьезным последствиям. Представим теперь динамическую систему (например, совокупность материальных точек в поле некоторых сил), характеризующуюся очень упорядоченными движениями (подобно планетам, обращающимся вокруг звезды по кеплеровым эллипсам под действием гравитационного притяжения к этой звезде, но не притягивающим друг друга). Такие динамические системы называются интегрируемыми. Изменим немного (как говорят в точных науках, возмутим) законы движения (например, начнем учитывать взаимное притяжение планет). Что произойдет? Может быть, регулярная картина движения полностью разрушится, и движение сразу станет хаотическим, как в случае компьютерной программы (большинство физиков до создания теории КАМ склонялись именно к такой точке зрения)? Или, может быть, малое возмущение лишь незначительно повлияет на общий вид движения в динамической системе, как в примере с книгой? Именно на эти вопросы и дает ответ теория КАМ. Отметим, что великий французский математик и физик А. Пуанкаре (Henri Poincaré) в конце XIX века назвал изучение малых возмущений интегрируемых гамильтоновых систем “основной задачей динамики” ([17], с. 34).

Оказывается, что при достаточно малом возмущении интегрируемой системы общего вида большинство траекторий движения остаются регулярными, но между этими упорядоченными движениями возникают зоны хаоса. Их

совокупный объем невелик (и стремится к нулю, если рассматривать всё меньшие и меньшие возмущения), но зоны хаотического движения пронизывают всё пространство подобно дыркам в губке. Таким образом, возмущения интегрируемых динамических систем приводят к результатам, в некотором смысле промежуточным между последствиями опечатки в компьютерной программе и опечатки в книге.

Конечно, описать роль Арнольда в становлении теории КАМ, не прибегая уже к строгой математической терминологии, практически невозможно. Сам В.И. в сборнике избранных работ [18], посвященном его 60-летию, приводит следующий перечень основных результатов, полученных им (в 1958–65 годах) в той области качественной теории динамических систем, за которой позднее закрепилось название “теория КАМ” (см. с. XLIII):

а) Решение проблемы Биркгофа об устойчивости неподвижной точки в общем эллиптическом случае.

б) Доказательство теоремы об адиабатической инвариантности на бесконечных интервалах времени.

в) Доказательство вырожденной теоремы КАМ (из которой вытекает существование квазипериодических движений планетного типа в планетных системах с достаточно малыми планетами).

г) Открытие универсального механизма неустойчивости, названного физиками «диффузией Арнольда».

д) Основание теории эволюции при переходе через резонансы в многочастотных системах.

е) Формулировка гипотез о сопряженности повороту (одна из них была позже доказана М.Р.Эрманом, некоторые другие близки к результатам Ж.-К.Иоккоса, но до сих пор не доказаны).

Подробно вклад каждого из трех основателей теории КАМ описан Арнольдом в статьях [19, 20]. Следует отметить, что в подавляющем большинстве работ по теории КАМ рассматриваются только гамильтоновы системы (не обязательно конечномерные), однако Мозер еще в середине 60-х годов получил параллельные результаты для обратимых систем, а впоследствии разными авторами были сформулированы обобщения и для других классов динамических систем. В начале 80-х годов В.И. на короткое время вернулся к теории КАМ и исследовал некоторые виды квазипериодических движений в обратимых системах. Как раз в этот момент я приступал к выполнению дипломной работы. Так Арнольд заставил меня изучить и полюбить и причудливый мир обратимых систем, и невыразимо прекрасную теорию КАМ, за что я буду ему благодарен до конца жизни.

### 3. Развенчание мифов

Как это часто бывает, после безвременной кончины В.И. российский печатный и Интернет захлестнула волна некрологов и воспоминаний, изобилующих неточностями, ошибками и просто выдумками. Даже КАМ-теория кое-где превратилась в К-теорию (между прочим, К-теория – реально существующий раздел математики, не имеющий ничего общего с теорией КАМ). В потрясающе безответственном некрологе, опубликованном в солидной, казалось бы, газете «Известия» [21], можно прочесть, например, следующее:

“Владимир Арнольд был знаменит своими чудачествами. Он никогда не давал интервью, никогда не пользовался интернетом и электронной почтой... Однажды во Франции Арнольд в ходе научного спора вызвал на дуэль своего оппонента, тоже академика. Они помирились на том основании, что математика позволяет сотрудничать со своим оппонентом”.

Конечно, то, что обозреватель газеты ничтоже сумняшеся употребляет слово “чудачества” по отношению к крупнейшему ученому, неприемлемо в любом случае. Но и с чисто фактической стороны этот пассаж чрезвычайно далек от истины.

Во-первых, за свою жизнь В.И. дал очень много интервью самым разным изданиям, как отечественным, так и зарубежным. Некоторые из них перепечатаны в сборниках [2] (интервью «Новой газете», с. 149-151, интервью газете «Троицкий вариант», с. 179-185, интервью В.Б.Демидовичу для сборника «Мехматяне вспоминают – 2», с. 217-249, интервью В.С.Губареву для журнала «Наука и жизнь», с. 283-293) и [18] (интервью S.H.Lui для Hong Kong Mathematical Society Newsletter, с. 713-726). Из других известных интервью можно отметить [22-25]. Ряд интервью собран на интернетовой странице [26].

Во-вторых, я не был свидетелем того, как В.И. пользовался Интернетом, однако в 90-е годы не раз общался с ним по e-mail в режиме реального времени (посылал ему письмо и тут же получал ответное письмо). Впрочем, в начале 2000-х Арнольд действительно прекратил пользоваться электронной почтой, когда число ежедневно получаемых им сообщений – настоящих сообщений, не считая спама – достигло, как он рассказывал, трех тысяч. Мнение, что Арнольд никогда не пользовался e-mail из принципиальных соображений, – уже устоявшийся миф (см., например, воспоминания в сборнике [2] на с. 48 или упомянутый там некролог [27]).

В-третьих, в математическом сообществе хорошо известен эпизод, когда выдающийся французский математик Ж.-



П.Серр (Jean-Pierre Serre) вызвал Арнольда на публичный диспут о влиянии группы Бурбаки на развитие математики. Об этом диспуте, состоявшемся 13 марта 2001 года в Институте А.Пуанкаре в Париже, В.И. рассказал в своем эссе “Математическая дуэль вокруг Бурбаки” [28]. В известном некрологе [21] этот эпизод мило проинтерпретирован таким образом, что не Арнольда вызвали, а он вызвал, причем на настоящую дуэль!

В том же некрологе [21] говорится, что международный язык математики – французский (на самом деле, конечно, английский, как и всего естествознания, а до Второй мировой войны был скорее немецкий), есть и другие грубые несуразности.

Другой пример. Сразу же после смерти В.И. в сетевом издании «Утро.ru» появился уже упоминавшийся некролог [27] с характерным названием “Умер математик, ненавидевший компьютеры”, где можно прочесть следующее:

“Из других чудачеств ученого известна его неприязнь к компьютерам и особенно Интернету. Арнольд до последних дней своей жизни упорно не пользовался электронной почтой и верил, что компьютерщики «разрушают мировую науку и культуру»”.

Про “чудачества” и электронную почту я уже разъяснил выше. Что же касается компьютеров вообще, то вовсе не ненавидел их В.И., рассматривая компьютеры, в частности, как совершенно необходимый инструмент математического моделирования там, где речь идет о действительно больших объемах вычислений. Он был инициатором многих компьютерных экспериментов в теории динамических систем и теории чисел и сам иногда участвовал в их проведении (см., например, воспоминания [20], с. 45). Однако к агрессивному проникновению компьютерных технологий во все поры общества и к тенденции превращения человека в утративший собственный разум беспомощный придаток интеллектуальных устройств Арнольд, конечно, относился резко отрицательно. Делить 111 на 3 все-таки надо уметь без электроники, а желательно и без бумажки (см. по этому поводу, например, [2], с. 284).

Миф о том, что Арнольд в принципе не принимал компьютеры, очень широко распространен, поэтому я позволю себе привести здесь четыре короткие цитаты из двух брошюр В.И. последних лет (см. также [2], с. 231). После этих цитат читатель сможет сам решить, была ли присуща Арнольду неприязнь к компьютерам как таковым или нет.

“Я к тому времени успел уже не только посотрудничать с «генералом», но и серьезно возражать генеральскому мнению: он

считал, что Советскому Союзу не надо разрабатывать новую компьютерную технику, так как наши математики настолько сильны, что и без компьютеров сумеют всё рассчитать, что надо. Мои возражения на его решение, далеко отодвинувшее страну назад, не повлияли. Но высказанные мною в этих спорах идеи о методах (компьютерного) расчета орбит спутников всё же сегодня всюду используются.” ([29], с. 50)

“Когда коэффициенты многочлена известны, проверка того, сколько у него овалов в параболической кривой, занимает, даже без компьютера, считанные минуты. Так что из окончательных теорем компьютерный эксперимент можно было бы и выбросить. Но найти эти замечательные многочлены без компьютера никак не удавалось, так что вклад этого компьютерного эксперимента в трудное решение описываемой задачи оказался решающим” ([30], с. 10).

“Я сделал в этом направлении только первые шаги, но при привлечении надлежащей компьютерной техники можно быстро продвинуться вперед в этих эмпирических исследованиях.” ([30], с. 102)

“Вычисления для  $\sigma = 97$  и  $199$  – компьютерные, их провел по моей просьбе А.Годер.” ([30], с. 104)

К сожалению, неверная информация об Арнольде иногда встречается даже в воспоминаниях его учеников. Например, в замечательной статье С.К.Ландо [5] сказано следующее:

“Сам Владимир Игоревич не слишком высоко ставил свое участие в решении 13-й проблемы Гильберта и развитии КАМ-теории. Он полагал, что основные продвижения в проблеме Гильберта о представлении функции в виде композиции функций от меньшего числа переменных и в теории КАМ получены его учителем А.Н.Колмогоровым, а его собственный вклад состоит лишь в уточнении и подробной записи результатов Колмогорова”.

В действительности Арнольд никоим образом не “полагал, что основные продвижения в проблеме Гильберта о представлении функции в виде композиции функций от меньшего числа переменных и в теории КАМ получены его учителем А.Н.Колмогоровым, а его собственный вклад состоит лишь в уточнении и подробной записи результатов Колмогорова”, просто потому, что это объективно совершенно не так. Вклад В.И. можно назвать продолжением и далеким развитием результатов Колмогорова, но никак не “уточнением”. На с. XLIII сборника [18] приведены составленные самим Арнольдом списки его основных результатов, относящихся к теории КАМ (этот список процитирован выше в пункте 2) и к 13-й проблеме Гильберта. В

воспоминаниях [19] в том же сборнике В.И. непосредственно рассказывает о своем вкладе в теорию суперпозиций функций (13-я проблема Гильберта) и в теорию КАМ. Я ограничусь двумя цитатами, относящимися к теории КАМ.

“После этого я обратился к собственному вырождению. Сначала, в качестве модельной задачи, я рассмотрел случай негамильтоновой системы, в которой отношение частот пропорционально параметру возмущения (ДАН, 1961, 138, № 1, 13–15). Этот случай уже не укладывается в стандартные рамки теории возмущений и метода Колмогорова, так как решение не разлагается в ряд Тейлора по параметру возмущения.” ([19], с. 736)

“Главное из моих собственных достижений в теории возмущений неинтегрируемых гамильтоновых систем было опубликовано в ДАН, 1964 (156, № 1, 9–12). Эта работа описывает универсальный механизм неустойчивости гамильтоновых систем со многими степенями свободы, который позже физики назвали «диффузией Арнольда». Эта «диффузия» противоречила интуиции Колмогорова, который думал, что устойчивость может сохраняться и в многомерных системах общего положения, несмотря на то, что устойчивость в этих случаях не обеспечивается существованием инвариантных торов.” ([19], с. 740)

Как видно хотя бы из этих цитат, Арнольд вовсе не считал свое участие в развитии теории КАМ всего лишь “уточнением и подробной записью результатов Колмогорова”.

#### 4. О веселом

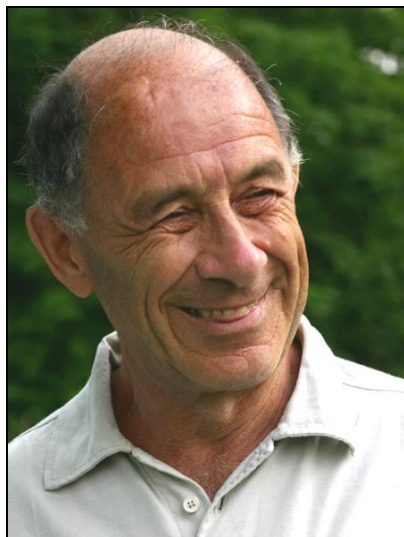
В.И. было присуще тонкое чувство юмора. Его своеобразную задорную улыбку забыть невозможно.

Я хотел бы в заключение поделиться с читателями пятью шутками В.И. (которые я сам слышал) – с надеждой, что они помогут ощутить неповторимое обаяние этого человека (впрочем, понимание этих шуток требует известной математической квалификации).

Докладчик на семинаре без конца повторяет слова “можем поднять” (ту или иную структуру с базы на пространство расслоения). Арнольд: “Такое впечатление, что у Вас доклад про достижения в тяжелой атлетике – можем поднять, можем поднять”.

После студенческой научной конференции присутствующие в аудитории путем тайного голосования выявляют лучшие доклады. Каждый голосующий оценивает каждый доклад определенным числом баллов. Потом дежурные

подсчитывают суммарное число баллов, полученных каждым докладом. Видно, что они последовательно определяют, сколько людей выставили данному докладу максимальное число баллов, сколько – на единицу меньше, и т.д. Арнольд (наблюдая за работой дежурных): “По Лебегу считают!”



Эта фотография, сделанная С. Третьяковой, взята из раздела «Фотографии для официальных целей» страницы [1]

Арнольд читает лекцию, доказательство некоторой теоремы требует длинных вычислений: “Каждый должен один раз проделать эти вычисления – но только один раз. Я их в свое время уже провел, так что теперь повторять не буду и оставляю слушателям”.

Арнольд рассказывает на семинаре о своих недавних исследованиях: “Я проделал эти вычисления три раза, и в двух случаях из трех получил один и тот же результат, который и выписал на доске. Так что в его правильности нет никаких сомнений”.

Осень 1987 года. В СССР набирает силу горбачевская перестройка. Докладчик на семинаре рисует серию картинок, изображающих перестройку некоторого геометрического объекта при изменении параметра. Арнольд: “Что-то тут не то. Почему у Вас центральный страт везде одинаковый? Перестройка всегда начинается в центре, а потом распространяется к периферии”.

## Литература

1. Страница памяти В.И.Арнольда на сайте Московского центра непрерывного математического образования: <http://www.mccme.ru/arnold/>.
2. Мы – математики с Ленинских гор. Вып. 5: В.И.Арнольд (составитель А.Д.Белова). – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2011. 352 с. (воспоминания однокурсников, друзей и учеников, а также несколько статей и интервью самого Арнольда).
3. Tribute to Vladimir Arnold (B.A.Khesin, S.L.Tabachnikov, coordinating editors) // Notices of the American Mathematical Society, 2012, Vol. 59, № 3, P. 378–399 (воспоминания учеников и коллег).
4. Memories of Vladimir Arnold (B.A.Khesin, S.L.Tabachnikov, coordinating editors) // Notices of the American Mathematical Society, 2012, Vol. 59, № 4, P. 482–502 (воспоминания учеников и коллег).
5. С. К. Ландо. Владимир Игоревич Арнольд // Математика в высшем образовании, 2012, № 10, С. 99–110; Семь искусств, 2013, № 6(43) (краткий очерк, рассказывающий о вкладе Арнольда в математику, его стиле работы и его взаимоотношениях с учениками).
6. А. Д. Белова. Великий мир Великого Арнольда (поэма) / В кн.: Алла Белова. Собрание сочинений. Том 3. Поэмы. – М., 2013, С. 173–243.
7. М. В. Sevryuk. Some recollections of Vladimir Igorevich // Notices of the American Mathematical Society, 2012, Vol. 59, № 3, P. 390–392.
8. М. В. Sevryuk. Reversible Systems. Lecture Notes in Mathematics. Vol. 1211. – Berlin: Springer-Verlag, 1986. v+319 p.
9. М. Б. Севрюк. Мой научный руководитель – В.И.Арнольд // Математическое просвещение (3-я серия), 1998, Вып. 2, С. 13–18.
10. V. I. Arnold, M. V. Sevryuk. Oscillations and bifurcations in reversible systems / In: Nonlinear Phenomena in Plasma Physics and Hydrodynamics (R.Z.Sagdeev, editor). – Moscow: Mir, 1986, P. 31–64.
11. В. И. Арнольд. О преподавании математики // Успехи математических наук, 1998, Том 53, Вып. 1, С. 229–234.
12. В. И. Арнольд. Математика и физика: родитель и дитя или сестры? // Успехи физических наук, 1999, Том 169, № 12, С. 1311–1323.
13. H. S. Dumas. The KAM Story: A friendly introduction to the content, history, and significance of classical Kolmogorov–Arnold–Moser theory. – Singapore: World Scientific, 2014. xv+361 p.
14. В. И. Арнольд. Математические методы классической механики. 4-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 408 с.
15. В. И. Арнольд, В. В. Козлов, А. И. Нейштадт. Математические аспекты классической и небесной механики. 2-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. 416 с.
16. Р. де ла Яве (Rafael de la Llave). Введение в КАМ-теорию. – Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 176 с.
17. А. Пуанкаре. Избранные труды в трех томах. Том I. Новые методы небесной механики. – М.: Наука, 1971. 772 с.
18. В. И. Арнольд. Избранное–60. – М.: ФАЗИС, 1997. xlviii+770 с.
19. В. И. Арнольд. От суперпозиций до теории КАМ / В кн.: В. И. Арнольд. Избранное–60. – М.: ФАЗИС, 1997, С. 727–740.

20. В. И. Арнольд. От проблемы Гильберта о суперпозициях до динамических систем / В кн.: Математические события XX века. Сборник статей. – М.: ФАЗИС, 2003, С. 19–51.
21. С. Лесков. Он был Моцартом науки // Известия, 7 июня 2010, № 101, С. 11.
22. S. Zdravkovska. Conversation with Vladimir Igorevich Arnold // The Mathematical Intelligencer, 1987, Vol. 9, № 4, P. 28–32.
23. С. Л. Табачников. Интервью с В.И.Арнольдом // Квант, 1990, № 7, С. 2–7, 15.
24. M. Audin, P. Iglésias. Questions à V.I.Arnold // Gazette des Mathématiciens, 1992, № 52, P. 5–12.
25. Д. С. Шмерлинг. Считаются не только деньги (интервью с В.И.Арнольдом) // Московские новости, 16-22 октября 2001, № 42, С. 19.
26. Коллекция публицистических статей и интервью В.И.Арнольда на сайте Московского центра непрерывного математического образования: <http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn>.
27. С. Николаев. Умер математик, ненавидевший компьютеры // <http://www.utro.ru/articles/2010/06/03/898581.shtml>; <http://www.gazeta.lv/story/14880.html>.
28. В. И. Арнольд. Математическая дуэль вокруг Бурбаки // Вестник РАН, 2002, Том 72, № 3, С. 245–250.
29. В. И. Арнольд. Наука математика и искусство математиков. Лекция лауреата Государственной премии Российской Федерации 2007 года в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. Москва, 24 июня 2008 г. – М.: Изд-во МГУ, 2008. 58 с.
30. В. И. Арнольд. Экспериментальное наблюдение математических фактов. 2-е изд. – М.: Изд-во МЦНМО, 2012. 120 с.



# Павел Нерлер

## Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама

*Делиру Лахути*

*Композиция складывается не в результате накопления частных, а вследствие того, что одна за другой деталь отщепляется от системы, уходит в свое функциональное пространство... Таким образом вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана..<sup>1</sup>.  
Бежит волна-волной, волне хребет ломая...<sup>2</sup>*

1



окончанием цензурного этапа в советско-русском книгоиздании у критических издателей Мандельштама возникли — и слава богу — совершенно другие проблемы: не цензурные и автоцензурные, а внутренние и творческие.

В частности, композиционные: как, в какой последовательности печатать его стихи?

Традиционно ли — по «книгам», а потом, в виде дополнений и прибавлений, — все остальное?

В десятые и двадцатые годы Мандельштам издавал и сам строил свои книги, но он не строил их так, чтобы с ними после выхода в свет никаких проблем уже не оставалось. И тут текстолог сталкивается с проблемой наложения сразу нескольких авторских волей, — сталкивается и разбивает об нее лоб.

Но в тридцатые годы никаких книжных зацепок нет. Есть условные «тетради», внутри которых нет канона ни в чем.

Тогда, может быть, отказавшись от книг, — сплошным хронологическим потоком, то есть выстраивая композицию по мере и в порядке написания стихов?

Или, может быть, — тем же потоком, но с обозначением какой-то иерархии текстов, если она просматривается?

---

<sup>1</sup> О. Мандельштам. Разговор о Данте.

<sup>2</sup> О. Мандельштам. «Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»

Хронологические композиции бесценны и для анализов типа гаспаровского<sup>3</sup>, когда ставится задача проследить от стихотворения к стихотворению эволюцию темы или мотива.

С издательско-составительской, или эдиционной, точки зрения проблема композиции стихотворений 1930-х годов распадалась на несколько более дробных — своего рода этапов:

1) *иерархии* текстов, что выводит на проблему состава *основного корпуса*;

2) собственно *композиции*.

Проблема «основного» корпуса особенно тяжела именно для стихов тридцатых годов. Нелегка она и для более ранних этапов, но там все-таки есть цепочка авторских книг, за которую можно «зацепиться».

В поздних же стихах ничего подобного нет. Речь об издании стихов если и заходила, то не настолько, чтобы всерьез определяться с порядком стихотворений. Прямых и однозначных указаний на авторскую волю не имеется. Определенные высказывания или жесты, могущие быть интерпретированными как авторские волеизъявления, делались в разное время и часто противоречат друг другу. Как правило, они не составляют целого, их детали не стыкуются друг с другом, и остается — и останется — множество вопросов, ответы на которые уже никогда не смогут удовлетворить *всех*.

Но при этом нельзя и сказать, что Мандельштам не придавал этой проблеме, в отличие, скажем, от проблемы пунктуации, никакого значения. Придавал — и сам неоднократно возвращался к ней, продумывал эти вопросы, — но прямых ответов, увы, не оставил.

Тем не менее «традиция» отказа тем или иным стихотворениям в праве принадлежности к основному корпусу уже сложилась.

Так, считается, что «Ода» или «просоветский цикл» лета 1935 года — заведомо недостойны стоять рядом с другими стихами из-за своей конъюнктурности и сервилизма.

Но, во-первых, так ли уж верно само последнее утверждение? (Оставляем это здесь в стороне.)

А во-вторых — почему для стихотворения «Если б меня наши враги взяли?..» резервируется место в корпусе, а «Оде», вокруг которой организована вся «Вторая тетрадь» (отчего Надежда Яковлевна очень точно называла ее «маткой»), — только

---

<sup>3</sup> В: *Гаспаров*, 1996



вне корпуса? <sup>4</sup> Есть ли тут логика, кроме тайной надежды дожидаться появления неоспоримого аргумента, позволяющего раскрыть мандельштамовскую конспирацию и заменить — просталинское «будить» на антисталинское «губить»?

Может быть, правы те, кто сомневается в принадлежности к основному корпусу и «Если б меня наши враги взяли?...»? Именно такова принципиальная позиция А.Г. Меца. Сначала он сформулировал ее <sup>5</sup>, а потом и реализовал, выведя в своих изданиях упомянутые *verse terrible* — из основного корпуса в разряд «не вошедших в основное собрание»<sup>6</sup>.

В качестве обоснования Мец выстраивает следующую логическую цепочку: 1) охватывающий «Новые стихи» и стихи «Первой Воронежской тетради» так называемый «Ватиканский список» (ВС) — каноничен; 2) из него вырезаны (буквально) стихотворения «Мне кажется, мы говорить должны...» и «Мир начинался, страшен и велик...» — вырезаны, как представляется Мецу, по причине наличия в них просоветской лексики («большевик», «ленинское-сталинское слово»). А раз так — то 3): «С той же мерой мы подходим и к стихам «Второй» и «Третьей» тетрадям, исключая из них стихотворения «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» (т. е. «Оду» — П. Н.) и «Если б меня наши враги взяли...» и сохраняя остальные»<sup>7</sup>.

Но при таком подходе «под подозрение» редактора должны были бы подпасть и стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой...» (там есть слова «краснознаменная» или «товарищи»), «День стоял о пяти головах...» («ГПУ») и «Стансы» («колхоз», «красноармейской», «большевеея»), «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» («Красная площадь», «советские машины») или «Средь народного шума и сбега...» («Кремль»). Они и подпали, наверное, но все же выдержали этот своеобразный редакторский тест на отсутствие просоветскости — тот самый, который «не выдержали» высланные из корпуса два других стихотворения<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Именно так поступил и я в поэтическом томе «черного» («худлитовского») двухтомника.

<sup>5</sup> См.: Григорьев [Мец] А.Г. Первая книга о Мандельштаме на родине // РМ. 1991, 28 июня: Литературное приложение № 12. С. III.

<sup>6</sup> См. это его эдиционное решение сначала в издании «Новой библиотеки поэта» (*Мандельштам*, 1995. С. 359—362), а затем повторил этот композиционный жест в первом томе мандельштамовского трехтомника под своей редакцией (*Мандельштам*, 2009. С. 308—311).

<sup>7</sup> *Мандельштам*, 1995. С. 606.

<sup>8</sup> О желании обезопасить таким образом Мандельштама от угрозы его политической «дискредитации» говорит и допущение Мецем варианта с

А мне было очень интересно узнать от М.Л. Гаспарова о существовании в 1960-е годы бродячих списков, в которых находилась и «Ода»<sup>9</sup>.

Есть и другой род «сомнений»: относится ли стихотворение к разряду «серьезных» или «шуточных»? По крайней мере, для стихотворений «Татары, узбеки и ненцы...» и «Клейкой клятвой липнут почки...» такие сомнения если и не преодолеваются, то по крайней мере возникают.

Тут, впрочем, полегче: «на помощь» можно позвать и другие критерии. Шуточные стихи суть неизменно домашние, бытовые, встроенные в конкретные жизненные конструкции (и вне их — лишённые смысла, не говоря о смехе, отчего и нуждаются острее других в фактическом — реконструирующем — комментарии). В этом смысле, хоть они и «не серьёзные», ироничны, оба упомянутых стихотворения — не таковы. По мнению С.С. Аверинцева, высказанному в письме к автору от 7 июля 1992 года, в упразднении оппозиции «серьёзность ↔ ирония» — одно из главных новшеств поэтики Мандельштама<sup>10</sup>.

В итоге приходится констатировать ещё раз: канонического извода «Новых стихов» — корпуса, освященного твердым волеизъявлением автора, — *не существует!* Не существует ни в текстологическом, ни в композиционном отношении, и поэтому всякое новое прочтение — новое решение и новое издание — будет прямо возвращать нас к мандельштамовскому же тезису об исполнительской природе поэтического чтения.

Редактор в таком случае становится интерпретатором и чуть ли не медиумом! Он «пытается вызвать дух автора» и решает композиционную задачу всякий раз как бы вместо него и заново.

Разумеется, при этом желательна и некая аргументация.

## 2

Задавшись вопросом, а как же устроены мандельштамовские книги 1930-х годов, вспомним то, как строились его предыдущие книги.

Первое издание «Камня» (1913 год): 23 стихотворения 1909—1913 гг., с датами, но безо всякого соблюдения хронологии.

Второе издание (1916, а фактически декабрь 1915 года): это уже 67 стихотворений, выстроенных в хронологическом порядке, но с рядом отступлений от него.

---

«губить» в последней строке стихотворения «Если б меня наши враги взяли...», но — в качестве образчика самопародирования!

<sup>9</sup> Устное сообщение.

<sup>10</sup> См. в: Аверинцев и Мандельштам, 2011. С. 160.

То же самое — в несостоявшемся «Камне» 1917 года и в третьем издании книги в 1923 году, и в разделе «Камень» книге «Стихотворения» (1928).

Без малого четверть века работы Мандельштама над композицией «Камня» так и не привели к выработке канонического состава книги, но обнаружили устойчивую тенденцию к усилению хронологического начала, впрочем, не столь строгого и жесткого, чтобы не допускать тех или иных перестановок в рамках одного года. Есть и попросту исключения из «правила» — например, стихотворение 1911 года «На перламутровый челнок...», дважды поставленное самим поэтом в самую гущу стихов 1909 года (впрочем, безо всякого указания даты)<sup>11</sup>. В этом и некоторых других случаях Н.И. Харджиев брал «залетное» стихотворение и ставил на «свое» место по хронологии<sup>12</sup>.

О «Tristia» (1922) в композиционном отношении говорить не приходится, поскольку автор к составлению этой книги не причастен. И тем многозначительнее та жесткость, с которой хронологическому принципу следует «Вторая книга» (1923) — быть может, самая «авторизованная» из прижизненных книг поэта (по характеру авторской работы с версткой и т. д.). На повышенную тесноту связи стихотворений «Второй книги» указывал и такой композиционный жест, как единая сквозная нумерация — да еще чеканными римскими цифрами — всех стихотворений!

За исключением первого «Камня» и «Второй книги» стихи в мандельштамовских книгах снабжены датами. В тридцатые годы, по крайней мере — начиная с «волчьего» цикла, — даты почти обязательны, причем точные: с месяцем и числом! Они становятся неизменным атрибутом как отдельных рукописей и списков, так и «заменяющих» книги сводов.

А в Воронеже к этому добавилось еще и указание места написания: «В.» — обозначающая Воронеж неизменная буква с точкой. Одновременно углубляется и сама датировка, вводится ее дополнительная ось: я имею в виду двойные даты, фиксирующие начало и конец работы над стихотворением или некоторой его редакцией. И — что не менее существенно: ни одного классического (тематически выстроенного) цикла<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> В этом, возможно, содержится некий неразгаданный композиционный жест.

<sup>12</sup> См.: Мандельштам, 1973. Операция, конечно, рискованная, но по своему логичная, особенно если нет сомнений в датах.

<sup>13</sup> В «Московских тетрадах» (название условное) а чье? сознательный

3

Стихи у Мандельштама, как правило, рождаются не поодиночке, а идут некими *порциями, волнами*<sup>14</sup>, у которых нередко — и единый размер, и тематическая близость, и общие ключевые слова, а иногда и совпадения строчек, а то и строф.

Но все это далеко не то же самое, что *приступы* или *пучки* у Гаспарова: *«Работа над стихотворными размерами идет у Мандельштама приступами: то один год приносит сразу несколько стихотворений такой-то формы, то потом она остается в забросе на долгие годы»*<sup>15</sup>. Гаспаровский подход — размероцентричный: кривая распределения размера по времени. Наш — опирается на жесткие сочетания метрики и времени написания стихов.

Может быть потому, что именно таким образом Мандельштам пытался спасти в вихре перемен и безостановочном потоке явлений и событий то единство, которому причастился еще смолоду?<sup>16</sup>

Пространство и время поменялись местами и мечтами, и явления сложились в *веер*, — но не в пространственный, как у Бергсона, а во временной, створки которого, однако, можно развернуть и в пространстве.

Хронологическая «процедура» (или, точнее, «архитектура») Осипа Мандельштама сознательно и подчеркнута исторична. Она не преследует риторических целей, но выстраивается подобно жизни — и ради жизни.

В самом деле, зачем вычленять тематические «блоки», метить, как будто краской неразумных кур, смысловые линии и акценты? Разве всего этого нет изначально — в самой природе как времени, так и поэтической материи? И не это ли имелось в виду в том месте «Разговора о Данте», где говорится о *«совместном держании времени»*?

*«Все данные, — писала Надежда Яковлевна, — должны проверяться смысловыми комплексами. Стихи не безделушки, а глубокая внутренняя жизнь человека. Они всегда стоят в ряду, выявляя духовную жизнь человека — общую и в данный конкретный период, круг его мыслей и чувств. В какой-то*

---

ахронологизм и некое циклотворчество были еще возможны (см. ниже).

<sup>14</sup> Это очень близко к тому, что Н.Я. Мандельштам называла *порывами*, а М.Л. Гаспаров — *окружениями*.

<sup>15</sup> Гаспаров, 1990. С. 343.

<sup>16</sup> Думается, что в осознании этого ему немало помогли лекции, а возможно? — и книги Анри Бергсона.

*степени каждое стихотворение, даже отдельное, находится в цикле, едином по поэтическому порыву»<sup>17</sup>.*

В большинстве случаев, как отмечает М. Гаспаров, «*семантическая и ритмическая переключка идут параллельно*»<sup>18</sup>, но между ними может возникать и конфликт — в тех случаях, когда стихотворение еще не завершено, а породившая его ритмическая волна уже ушла. Поэт может попытаться вернуться к нему позже и довершить, а может и бросить его незавершенным.

Иными словами, единство поэтического порыва для Мандельштама — явление сугубо временное и временное. Из-за этого и понятие «цикла» в его творчестве трансформировалось из *тематического* (в этом смысле вполне актуального даже для таких близких поэтов, как Анненский и Ахматова) — в *хронологическое*. Но тема при этом — не отсутствует: она разлита во времени, она течет в нем и черпает из него, сконцентрирована в нем и конденсируется из него. Именно такова природа никак специально не выделенных графически «армянского», «волчьего» и «щеглиного» циклов, стихов памяти А. Белого и О. Ваксель или стихов, обращенных к Н. Штемпель<sup>19</sup>.

Итак, уже в 1920-е годы *хронология становится определяющим принципом*, формирующим книги поэта. Уже это делает Мандельштама антиподом почти всех своих современников, а в России в этом отношении он и вовсе уникален<sup>20</sup>.

При этом ритмы и, соответственно, метры не разбросаны в беспорядке, а концентрируются волнообразно в определенных узлах времени, где имеют достаточно отчетливые начало порыва и его конец. Поэтому метрика стихотворения, наряду с маркирующими эти очаги датами, может оказаться наиболее

---

<sup>17</sup> Мандельштам Н., 2006. С. 361.

<sup>18</sup> Гаспаров, 1990. С. 343.

<sup>19</sup> Впрочем, оговоримся, что это не означает, что поступавшие иначе — скажем, Гете, Верлен или Анненский (близкие, дорогие Мандельштаму имена выбраны намеренно) — были чужды историзма: просто они прочерчивали иные маршруты в историческом пространстве.

<sup>20</sup> На Западе, впрочем, известны поэты, осознанно придерживавшиеся хронологического принципа — например, Сен-Жен-Перс во Франции и Фердинандо Пессоа в Португалии. К хронологии как к альтернативному эдиционному принципу все чаще и чаще стали прибегать серьезные издатели классиков, например, Гете и Рильке. При этом, по замечанию С.С. Аверинцева, происходит «*экспериментальный, эвристический сдвиг привычного, освежающий мозги интерпретаторов*» (из письма П.М. Нерлеру от 7 июля 1992 г. // Аверинцев и Мандельштам ?2011. С. 161).

существенным, после датировок, признаком, позволяющим выстроить или уточнить композицию книги.

Легко можно себе представить и конфликт между метрикой и семантикой в вопросах установления места того или иного стихотворения в общекнижной композиции. Так, Д. Лахути, анализировавший стихотворения «День стоял о пяти головах...» и «От сырой простыни говорящая...», пришел к выводу о целесообразности их публикации рядом друг с другом и в указанной последовательности<sup>21</sup>, тогда как хронологические аргументы не говорят ни за, ни против этого. При этом не забудем, что предложение Д. Лахути базируется, естественно, на его индивидуальной интерпретации семантики<sup>22</sup> и что другие исследователи могли бы прийти к иным результатам.

#### 4

Но Мандельштам не был бы Мандельштамом, если бы следовал какому бы то ни было «принципу» как данному раз и навсегда канону. По меньшей мере о двух типах отступлений от указанного принципа можно говорить с определенностью.

Первый уже упоминался — это *ахронологические циклы*. Их в 30-е годы по меньшей мере два: «Восьмистишия» и, более условно, «Армения». Условность «Армении» еще и в том, что перекомпоновывались стихи, в общем и целом одновременные, и пренебрежение «датами», по существу, не что иное, как их сознательная генерализация. «Восьмистишия» — и вовсе загадочный цикл, смысловые нити которого увязаны в единый пучок не темой и не хронологией, а *таинственной силой строфики*, не скованной даже общностью размера<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Д. Лахути обратил на это специальное внимание в своем докладе 27 мая 2007 г. на однодневной конференции в Москве, посвященной воронежскому периоду жизни и творчества Мандельштама.

<sup>22</sup> Вот его аргументация, изложенная в письме к автору: «*Порядок двух стихов — сначала "День стоял о пяти головах", потом "От сырой простыни" для меня определяется тем, что последняя строфа первого из них ("Поезд шел на Урал") и первая строфа второго ("От сырой простыни говорящая") — об одном и том же: о картине "Чапаев" и ее функции: по воле "звукоса" (он же речепас и мыслепас) вложить "в раскрытые рты" советских кинозрителей (а это — все советские граждане того времени) новые образцы говорения, "новые речи" взамен старых, которых они лишились, когда те стали "за десять шагов не слышны"*».

<sup>23</sup> Интерпретаторский анализ «Восьмистиший», начатый еще в комментариях Н.Я. Мандельштам (Мандельштам Н.Я., 2006. С. 314—322) и И.М. Семенко (см. в наших комментариях в: Мандельштам О. Сочинения в 2 томах. М., 1990, С. 529—531), был продолжен работами

Второй — назовем его *хронологическими завихрениями* — это авторская воля откорректировать чисто хронологическую композицию, как правило ее начало или конец (раздела или книги), выделить то или иное стихотворение, закурсивить его смысл — путем постановки на то или иное «господствующее» место.

Ярчайшие примеры — поставленный впереди всех «Новых стихов» «Щелкунчик»<sup>24</sup> и «Чернозем», поставленный впереди «Воронежских стихов». Известны и колебания поэта относительно концовки «Воронежских стихов»: ставить ли в их конец «Киевлянку» или стихи, обращенные к Н.Е. Штемпель?

Но свобода перестановки ограничена. Как правило, к началу «устремляются» стихотворения и хронологически льнущие к начальному этапу работы (как те же «Щелкунчик» или «Чернозем»), а к концу — стихотворения из числа завершающих книгу или ее раздел («тетрадь»). При этом ни при каких обстоятельствах стихотворение не могло быть переставлено из одной «тетради» в другую.

## 5

Несколько предварительных замечаний общего порядка — о воронежском периоде творчества Мандельштама. Чем примечательна его поэтическая «практика» именно в эти годы?

Во-первых, своей *структурностью*. Стихи традиционно разбиваются на три «Воронежские тетради», каждая из которых имеет не утвержденную автором и потому не слишком устоявшуюся композицию — в сущности, хронологическую, но с некоторыми отступлениями от этого принципа, касающимися начала или концовки тетради.

Во-вторых, невиданной *продуктивностью*. За три неполных года было написано — шуточные не в счет, — 106 стихотворений, то есть едва ли не четверть написанного за жизнь!<sup>25</sup>

---

Д.И. Черашней, С. Шварцбанда и др.

<sup>24</sup> Хотя, согласно комментарию Н.Я. Мандельштам, это закономерно и с хронологической точки зрения, поскольку стихи о пироге, испеченном ее тифлисской теткой ко дню ее рождения 31 октября 1930 года, и пришли первыми (*Мандельштам Н.Я.*, 2006. С. 231).

<sup>25</sup> Кроме того — как минимум два десятка шуточных стихов и стихотворных перевода, 5 рецензий, опубликованных в журнале «Подъем» (то были его последние прижизненные публикации), одна прозвучавшая по радио радиокомпозиция, несколько других прозаических набросков, а также около 60 писем (про письма, как и про шуточные стихи, наверняка можно сказать, что их было гораздо больше, но слишком многое не сохранилось).

И в-третьих — столь же исключительной *интенсивностью*. Эти 106 стихотворений, или около 2 300 строк, были написаны в двух временных интервалах — с апреля по июль 1935 года (в августе и сентябре отдельные вещи лишь доканчивались) и с декабря 1936 года по май 1937 года. На круг — порядка 8—9 месяцев, или по десяти стихотворений в месяц!

Разбивка стихотворений по «тетрадам» — приходится оговориться, что это *наша* разбивка, — видна из следующей таблицы:

**Таблица 1**  
**Распределение «Воронежских стихов»**  
**по «тетрадам»**

	«Воронежские тетрады»			ВСЕГО
	Первая	Вторая	Третья	
Начало	5 апреля 1935 г.	6 декабря 1936 г.	2 марта 1937 г.	
Конец	7 сентября 1935 г.	12 февраля 1937 г.	Май 1937 г.	
Стихотворения основного корпуса	21	43	22	86
Прочие стихотворения	7	3	10	20
ИТОГО	28	46	32	106

Средний размер стихотворений «Первой воронежской тетради» традиционно мал (около 12 строк), но позднее, словно разгоняясь, Мандельштам «прибавил» длины<sup>26</sup> и освоил формы и новое пространство поэтической энергии, написав два неслыханно больших для себя стихотворения — самых длинных вообще! — «Оду» и «Стихи о неизвестном солдате»<sup>27</sup>. Показательно, что оба гиганта были, по удачному выражению Н.Я. Мандельштам, «матками» второй и третьей «Воронежских тетрадей».

<sup>26</sup> Средний размер стихов 1936 года — уже 14 строк, а 1937 года — даже 18! (Гаспаров М., 1990. С. 337).

<sup>27</sup> По числу строк (соответственно, 84 и 113) это третий и первый опусы во всем мандельштамовском корпусе. Между ними вклинилась только «Грифельная ода» (1923, 93 строки).



Между прочим, не случайно, что по силе исследовательского интереса «Ода» сейчас стремительно приблизилась к «Стихам о неизвестном солдате», собирая урожай самых разнообразных оценок — от презрительного высокомерия до аналитической восхищенности. В свое время, при первой публикации «Оды» в СССР<sup>28</sup>, я уже высказался по этому поводу, здесь ограничусь лишь замечанием о своеобразной *метрической битве*, разыгравшейся между двумя этими гигантами в феврале — марте 1937 года.

С середины декабря 1936 года Мандельштам был захвачен мощной хореической тягой:

Где я? Что со мной дурного?  
Степь беззимняя гола.  
Это мачеха Кольцова,  
Шутишь: родина щегла!

Она не отпускала его почти месяц, сменившись наконец — на стыке 15-18 января 1937 года — еще более долгой полосой пяти- и шестистопных ямбов, прочертивших разнообразные смысловые орбиты вокруг «Оды». Стихотворения «Средь народного шума и спеха...» и «Если б меня наши враги взяли...» — эти, казалось бы, в ритмическом отношении особо приближенные к «Оде» произведения, — знаменуют собой как раз ритмический разлом, или конец столь властительного ямбического напора.

Более того: трехстопный анапест первого смотрится ни много ни мало как ритмический десант «Стихов о неизвестном солдате», чей мощный анапестический накат еще и этим противостоял дьявольской искушенности материи «Оды» — этой поистине «черной дыры», поглотившей столь много энергии и живой материи поэта.

В «Третьей воронежской тетради» 5/6-стопные ямбы возникают лишь дважды — и это совершенно другие — не одические — ямбы: я имею в виду ритм стихотворения «Реймс-Лаон» — с не-«сталинским» чередованием женских и мужских рифм — или удивительные стихи к Н. Штемепель с их

---

<sup>28</sup> Советский цирк. 1989. 12—18 октября. № 41. С. 15. В самиздате «Ода» вышла почти на 10 лет раньше — см.: Кириллов К. [Дедюлин С.В.] Непопулярные стихи Николая Заболоцкого и Осипа Мандельштама // Северная почта. 1980. № 4). Еще раньше, в 1975 г., ее опубликовали на Западе: Scanda-Slavica. 1975. V. 22. P. 35—41 (с пропуском ст. 56, публикатор — Б. Янгфельдт).

сплошными женскими окончаниями, что произвольно, но ритмически сближает их с переложениями сонетов Петрарки.

6

Другая особенность новой поэтики Мандельштама — ее феноменальная *открытость*, ее внутренняя и естественная *свобода*, отказ от ряда непереносимых условностей, традиционно налагаемых на себя поэтом одновременно с откликом на творческий импульс. А встретить у позднего Мандельштама, скажем, сонет, — согласитесь, кажется невероятным (если это только не шуточный сонет и не перевод)<sup>29</sup>.

Скачок произошел и в рифме — и тоже в направлении все большего раскрепощения (впрочем, началом этого следует считать все же «Грифельную оду», столь много предвосхитившую в поздних стихах, а также стихотворение «Опять войны разногласица...»). Диссонансы, неточные, подчас экстраординарные рифмы — стали обычным, нормальным явлением.

Он вошел в новую — даже для себя — полосу поэтической свободы и правоты. Его «поэтический организм» (выражение С.Б. Рудакова) не только и не столько заработал в освоенном уже поэтическом пространстве и по его законам, сколько научился сам творить это пространство и воплощать свои, новые законы: недаром в письме Ю.Н. Тынянову возникла — применительно к русской поэзии — фраза о «*кое-что изменив в ее строении и составе*»<sup>30</sup>.

И это понятно. Над Мандельштамом более нет запретов, в *любой* момент он может призвать к себе *любое* орудийное средство, вплоть до самых настоящих будетлянских неологизмов и, если только можно так выразиться, неометризов. Вероятность возникновения пяти-, шести- или даже семистроичной строфы почти столь же высока, как и четырехстрочной. Недаром стихотворение «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» заслужило от Ю.И. Левина прозвание «*ритмического монстра*»<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Сонет «Христиан Клейст» — типичная промежуточная редакция стихотворения, расплюснутая окончательно: в данном случае вопрос о статусе «двойчатки» не возникал.

<sup>30</sup> *Нерлер П.* Краткостишья: поэтика и случайность (о кратких формах в японской и русской поэзии) // Вопросы истории литератур Востока. Фольклор, классика, современность. Сб. статей. М.: Наука, 1979. (Часть 1). С. 222—235.

<sup>31</sup> *Левин Ю.И.* Заметки о поэзии О. Мандельштама тридцатых годов, I // Slavica Hierosolimitana. Vol. III. Jerusalem, 1978. С. 127—128. На

Самостоятельное и самодостаточное значение приобретает *фрагмент, набросок, вариант* (вновь массовым явлением стали *краткостишья*, но и это уже не одни только четверостишья<sup>32</sup>). К? этому была и другая серьезная причина: Мандельштам отказался от установки на смысловую законченность, логическую завершенность стиха, которыми была отмечена его поэтическая молодость. Процесс с множественностью возможных продолжений ему уже дороже результата — все-таки, что ни говори, лишь одной из версий этого процесса. Отсюда же — переосмысление вариантов, признание их равноценности и рядомположенности, даже безальтернативности, ведущее к их признанию в корпусе («Кама», «Заблудился я в небе...»).

Под влиянием этой открытости и фрагментарности складывается атмосфера особой доверительности со своим читателем, собеседником из будущего — как же часто поэт апеллирует к собеседнику! — тем более что живых, реальных читателей во плоти становилось с каждым годом все меньше.

Собственно, процесс и стал результатом. Кажется, что началось это искусственно — с божественного «Ариоста», которого было так жаль не вспомнить! А «вспомнить» — оказалось то же самое, что написать заново. Написал, а вышло иначе: с этого, кажется, и началось уверенное признание автором вариаций редакций не вариантами, не черновиками, а самостоятельными стихами<sup>33</sup>.

И это вовсе не отказ, не измена цеху «смысловиков» — и уж тем более не самовлюбленность («что ни напишу — все жемчуг»). Если и отказ, то лишь от *единственности* результата, ставка на эффект рядомположенных вариантов, на игру их смысловых граней.

---

пространстве в 20 строк Д. Лахути насчитал 15 различных ритмических рисунков! Впрочем, на это же «звание» претендует и «Улица Мандельштама»: на 11 строк 10 разных ритмических рисунков! Тем самым к семантике кривизны («такая чертова фамилия, что как ее ни выправляй, звучит все равно криво»), добавляется и ритмическая «кривизна» (также наблюдение Д. Лахути).

<sup>32</sup> Мелькнувшие в «Камне» (где они, по всей видимости, были ничем иным, как результатом «хирургической операции» над более обширным стихотворением), они возродились в 1935—1937 гг. — 12 четверостиший, но наряду с 5-, 6- и 7-стишиями.

<sup>33</sup> В двойчатке «Соломинка» и «Варианте» к «1 января 1924 года» еще сквозят неуверенность и даже сомнение в их легитимности.

Речь Манделъштама не обрывается всякий раз в конце того или иного стихотворения — она подхватывается и продолжается в следующем, в следующем за следующим и так далее. Образуется сплошной поэтический поток, неслыханное пространство не стиха, но поэтической речи, — как бы простроченное тематическими стежками, ведомыми все одной и той же «иглой» смыслового единства, постоянно развивающегося, дышащего и выстраивающегося в некий смысловой сюжет.

Это требует и от читателя (собеседника) некоего масштабного сдвига, поскольку может возникнуть и возникает ощущение все нарастающей трудности восприятия. Ведь дело приходится иметь дело не со стихотворением, не с циклом и даже не с тематической книгой, а с книгой, хронологически построенной.

Это, конечно, отразилось и в метрике — причем не только в метрических волнах — своего рода накате разных размеров, но и в усредненной метроскопии.

Наиболее серьезные исследования метрического репертуара «позднего» Манделъштама принадлежат М.Л. Гаспарову<sup>34</sup> и В.А. Плунгяну<sup>35</sup>. Вот лишь некоторые из их выводов, имеющие отношение к нашей теме. Согласно Гаспарову, «московские» стихи резко выделяются повышенной долей неклассических размеров, а «воронежские» — такой же долей трехсложников, главным образом пятистопных анапестов, — этих, по выражению И. Бродского, «русских гекзаметров»<sup>36</sup>, внутренне тяготеющих, по наблюдению уже С. Аверинцева, к трагическому и античному<sup>37</sup>.

Плунгян же как бы подхватывает тезис Гаспарова и продолжает: *«Таким образом, в метрическом отношении О.М. прodelывает достаточно сложную эволюцию от несколько консервативной ритмической строгости раннего периода и торжественной классичности «петербургского» периода, через*

---

<sup>34</sup> Гаспаров М., 1990. С. 336—346.

<sup>35</sup> Плунгян В. Метрика О.Э. Манделъштама: к анализу структуры и эволюции // СМР-5/2. 2011. С. 342—369. Принятые Плунгяном и Гаспаровым периодизации, к сожалению, не вполне сопоставимы друг с другом.

<sup>36</sup> Бродский И. «С миром державным я был лишь ребячески связан...» // *Столетие Манделъштама*, 1994. С. 15.

<sup>37</sup> С.С. Аверинцев указал нам на роль анапестов в античной трагедии, в частности, у Эсхила: первая песнь хора в любой античной трагедии непременно анапестическая, что было сохранено и в эквиметрических переводах В. Иванова, например.

*поиски в области расширенных тонических форм и полиметрии 1920-х — к новому синтезу 1930-х, с преобладанием более эмоциональных и раскованных форм, но в целом находящихся в пределах регулярного стиха. В этой эволюции — от ранней строгости к новой раскованной музыкальности — О.М. во многом следовал за общими тенденциями эпохи (канонизировавшей сначала дольник, потом тактовик и акцентный стих), однако следовал осторожно, тщательно отбирая для своего метрического арсенала те формы, которые соответствовали его художественным принципам»<sup>38</sup>.*

Мне кажется, это не столько осознанная «осторожность», сколько последовательная «постепенность» (без буквального ломания хребтов!) перехода одной поэтической погудки в другую, внешним проявлением чего, собственно, и являются метрические волны с их неодинаковой длительностью и силой.

7

Мы подошли к концу своих рассуждений. Для ясности и для удобства критиков постараемся подытожить то, к чему, как кажется, удалось прийти:

1. *Хронологический принцип — формообразующий*. Не покушаясь, разумеется, на правомочность и иных подходов, укажем на возможность положить его в основу составительского труда. Это не жесткая схема, а достаточно гибкий инструмент: возможен и желателен синтез разных подходов и «орудийных средств». Так, проблема иерархии текстов может быть снята путем шрифтового разнообразия или разного рода помет в оглавлении.

2. *Стихотворения выстраиваются единым потоком — метрическими волнами, в порядке их развертывания по времени их написания*, причем предпочтение в «спорных» случаях отдается не конечным, а начальным датам, фиксирующим начало «погудки», творческого импульса, размера.

3. В случаях, когда нет ни точных авторских, ни прочих косвенных датировок, или (что то же самое) когда целый ряд стихотворений имеет одну и ту же, но широкую или расплывчатую датировку (скажем: «1910» или «весна 1935»), можно опереться и на некоторые *дополнительные композиционные факторы*, а именно:

— *семантический* (смысловое единство, текстуальная и образная перекличка);

— *метрический* (собираение, стягивание стихотворений одного и того же размера в своего рода «букеты»).

---

<sup>38</sup> Плунгян, 2011. С. 364.

4. Одновременно вводится система *композиционных поправок*, не вписывающихся в предложенную систему, но отражающих реальную сложность авторского отношения к этой проблеме. Это: а) хронологические циклы и б) хронологические завихрения<sup>39</sup>.

**8**

Казалось бы, после «теоретической» части не худо бы дать и некое «практическое приложение» — чужие или собственное решение обозначенных выше задач.

Ограничимся, для компактности и наглядности, рамками «Первой воронежской тетради».

Мое собственное композиционное решение, реализованное в томе третьем «синего четырехтомника», — сугубо хронологическое. Оно представлено ниже, в таблицах 2 и 3 (аббревиатура «П. Н.»)<sup>40</sup>.

Загодя подчеркну его неокончателность, свидетельством чему являются звездочки перед некоторыми из стихотворений. Указывая не столько на непринадлежность стихов к основному корпусу, сколько на те или иные возникающие сомнения в такого рода принадлежности, они как бы сигнализируют о композиционной зыбкости и нетвердости полученного результата.

И тем не менее...

**Таблица 2**  
**Композиция «Первой Воронежской тетради»**  
**(по П. Нерлеру) в сочетании**  
**с метрикой отдельных стихотворений<sup>41</sup>**

№	Заглавие	Дата	Размер (в скобках — возможные варианты)
01	«Скрипачка» («За Паганини длиннопалым...») <sup>42</sup>	5.4 — 7.1935	Ямб 4-стопный, рифмы в строках 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22 женские, в остальных —

<sup>39</sup> Работая над первым томом 4-томного Собрания сочинений О.Мандельштама, мы не прибегли к этому — именно из-за того, что преследовали цель строго и сугубо хронологической композиции.

<sup>40</sup> Поправка, которой я обязан Д.Г. Лахути, здесь не учтена.

<sup>41</sup> Благодарю Д.Г. Лахути за сжатые ритмические характеристики каждого из стихотворений (см. столбец 4; для n-стопного ямба или анапеста женская рифма означает, что к n стопам добавляется 1 безударный слог).

<sup>42</sup> В этом стихотворении 11 пэанов 4-тых (четырёхсложных стоп с одним

			мужские.
*02	«Тянули жилы, жили-были...»	<4?> — 5.1935	Ямб 4-стопный; в нечетных строках рифмы женские, в четных мужские.
03	«Это какая улица?..»	4.1935	1 — хорей и 3 ямба. 2 — хорей + 2 ямба + безударный (слог «Ман» считаем ударным, т. к. в сложном слове «Мандельштам»=Mandel (миндаль)+Stamm (ствол) на него падает дополнительное ударение; 3 — допускает разные интерпретации, в т.ч. 3 дактиля; 4 — 2 хорей + 2 ямба; 5 — хорей + ямб +пиррихий + хорей; 6,7 — 3 дактиля; 8 — пэан-4 + хорей + дактиль; 9 — хорей + ямб + 2 хорей; 10 — 3 дактиля; 11 — дактиль + 2 хорей или: дактиль + пэан-3 (что кажется предпочтительнее)
04	«Я живу на важных огородах...»	4.1935	Хорей разностопный (ст. 1, 3, 7, 11 — 5-стопный, женские рифмы; ст. 2, 4, 8, 12 — 5-стопный, мужские рифмы; ст. 5, 9 — 6-стопный, женские рифмы; 6,10 — 6-стопный
05	«Летчики» («Не	<4?> —	Хорей: стр. 1, 3, 7, 9, 11,

— последним — ударным слогом):

«За Пагани... / ...ни длиннопа... / ...ской чемчурой / ...но-одича... / ...ным  
карнава... / ...ны молодой /

...вой, в дирижер... / ...ских фейервер... / ...ба в колыбель /

Перелива... / ...ющей как хмель» (наблюдение Д. Лахути).

	мучнистой бабочкою белой...»)	21.7.1935, 30.5.1936	15, 17, 19 — 5-стопный, женские рифмы; все четные — 5-стопный, мужские рифмы; 5, 13 — 6-стоп.
06	«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»	4.1935	Ямб: 1, 2 — 5-стопный, женские рифмы; 3, 4 — 5-стопный.
07	«Я должен жить, хотя я дважды умер...»	4.1935	Ямб: 1, 2, 5, 6 — 5-стопный, женские рифмы; 3, 4 — 5-стопный.
08	Чернозем («Переуважена, перечерна, вся в холе...»)	4.1935	Ямб: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16 — 6-стопный, женские рифмы; 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15 — 6-стопный; 13 — 5-стопный; 14 — 5-стопный, женские рифмы.
09	«Наушники, наушнички мои!..»	4.1935	Ямб 5-стопный: нечетные — мужская рифма, четные — женская рифма.
*10	«Мне кажется, мы говорить должны...»	4—5.1935	Ямб: 1,2,7,8 — 5-стопный; 3—6 — 5-стопный, женские рифмы.
*11	Большевик («Мир начинался страшен и велик...»)	4—5.1935	1 — хорей + 4 ямба; Ямб:3,5,8 — 5-стопный; 2,4,6,7 — 5-стопный, женские рифмы (5 — ямб + 2 пзана-4)
*12	«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»	5.1935	Ямб: 1,3,5,7 — 6-стопный; 2,8 — 6-стопный, женские рифмы; 4,6 — 5-стопный, женские рифмы (7- ямб + пзан-4 + ямб + пзан-4)
13 <sup>43</sup>	Чапаев («От сырой простыни говорящая...»)	<4> — 6.1935	Анапест: нечетные — 3-стопный + 2 безударных; четные — 3-стопный
14	«День стоял о пяти головах.	4 — 1.6.1935	1: стопы 1, 2 — анапест, 3,4 — амфибрахий;

<sup>43</sup> С сегодняшней, уточненной, позиции, я бы согласился с мнением Д. Лахути, ставящего стихотворение 14 впереди 13 (см. ниже). Эта корректура не отражена в табл. 3, фиксирующей уже опубликованные композиции.



	Сплошные пять суток...»		2, 7 — анапест 6-стопный; 3, 5 — анапест 5-стопный, женская рифма; 4, 18 — анапест 5-стопный; 6 — дактиль 6-стопный. без последнего (безударного) слога; 8 — дактиль — хорей — дактиль — хорей; 9, 11, 16 — 3 анапеста, женская рифма + 3 анапеста; 10 — 3 анапеста + 2 безударных слога + 3 анапеста; 12 — 3 хорей + 1 ямб + 3 анапеста; 13 — анапест 6-стопный, женская рифма. 14 — 4 анапеста + 2 амфибрахия; 15 — 2 анапеста + 2 безударных + 2 анапеста; 17 — 2 анапеста + 2 амфибрахия; 19 — анапест 4-стопный, женская рифма; 20 — анапест 4-стопный.
15	Кама (1)	4—5.1935	Анапест 4-стопный
16	Кама (2)	4—5.1935	Анапест 4-стопный
17	Кама (3)	4—5.1935	Анапест 4-стопный
18	«Лишив меня морей, разбега и разлета...»	5.1935	1,3 — ямб. 6-стопный, женская рифма; 2 — то же, мужская рифма; 4 — хорей + 5 ямбов
19	Стансы («Я не хочу среди юношей тепличных...»)	5—6.1935	Ямб: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 39,40,42 (3 ямба + хорей + ямб + безударный),43 — 5-стопный, женская рифма; 2, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 32 (пэан-

			4+ямб+пэан-4), 34, 44 — 5-стопный, мужская рифма; 14 — 4-стопный, женская рифма; 18, 22, 35, 38, 41 — 6-стопный; 19, 30 (3 пэана-4+1 безударный) — 6-стопный, женская рифма
*20	Железо («Идут года железными полками...»)	22.5.1935	1—4,7,8 — ямб 5-стопный, женская рифма; 5 — 2 амфибрахий+1 ямб+1 амфибрахий; 6 — 1 амфибрахий+1 хорей+1 анапест+1 амфибрахий
21	«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»	24.5.1935	Ямб: 5-стопный, женская рифма.
22	«На мертвых ресницах Исакий замерз...»	3.6.1935	Амфибрахий: нечетные строки — 4-стопный без последнего (безударного) слога; четные — 3-стопный (в строке 4 — «затакт»: в начале дополнительный безударный слог).
23	«Возможна ли женщине мертвой хвала...»	3.6.1935, 14.12.1936	То же (без «затакта»).
24	«Римских ночей полновесные слитки...»	6.1935	Дактиль: 4-стопный без последнего (безударного) слога; во 3-й стопе 3-й строки выпущен 1-й (ударный) слог.
25	«Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»	27.6— 7.1935	Ямб: 6-стопный, строки 1,3,4 9 — женская 2,5,7 — мужская рифма; 5-стопный: 6,8 — женская рифма; 10 — 5-стопный
*26	«Ты должен мной повелевать...»	5(?).1935	Ямб 4-стопный; строки 1,3,6,7 — мужская рифма,

			2,4,5,8 — женская рифма (1,3 — 2 ямба + пэан-4; 6,7 <sup>?</sup> — 2 пэана-4)
*27	«Мир должно в черном теле брать...»	6.1935	Ямб 4-стопный; строки 1—2 — мужская рифма; 3—4 — женская рифма. (3 — 2 пэана-4 + 1 безударный; 4 — 1 хорей + 3 ямба + 1 безударный)
28	«Исполню дымчатый обряд...»	7.1935	Ямб 4-стопный; строки 1,2, 5, 6,8— мужская рифма; 3,4,7 — женская рифма (в строках 1—3,5,8 есть пиррихий, в строке 4 — стопа из 5 безударных и 1 ударного слога: «[ДвуИск]ренние сердолИ[ки]»)

Мандельштам влетел в свою «Первую воронежскую тетрадь» в апреле 1935 года — в те дни, когда Надежда Яковлевна была в Москве и когда к нему впервые пришел Сергей Рудаков, ставший невольным свидетелем этого поэтического труда.

Понятно, что раз возникнув, разные метрические волны не дожидались своего полного исчерпания, а просто сосуществовали друг с другом во времени, отчего неизбежной становилась и одновременность работы над ними.

Попробуем задаться вопросом: с чего именно все же началась эта работа?

Ответить на него очень трудно. Датировки под стихами помогают мало: они не по числам, как в обеих предшествующих и обеих последующих «тетрадах», а по месяцам<sup>44</sup>. Так что мы имеем сразу четыре метрических волны, начало которым было положено в апреле.

Это, во-первых, ямб с большим числом пэонов 4-х («За Паганини длиннопалым...», «Тянули жилы, жили-были...», «Это какая улица...»). «Тянули жилы, жили-были...» дописывались в мае, а «Скрипачка» даже в июне.

<sup>44</sup> Точные даты были только на черновиках, погибших у Рудаковых (Мандельштам Н., 2006. С. 343).

Во-вторых, 5-стопный, с отклонениями, хорей («Я живу на важных огородах...»), «Не мучнистой бабочкою белой...»). «Летчики» также завершались в мае.

В-третьих, это разностопный (с числом стоп от 4 до 6) ямб, но с доминированием 5-хстопника («Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»), «Я должен жить, хотя я дважды умер...», «Переуважена, перечерна, вся в холе...», «Наушники, наушнички мои!...», «Мне кажется, мы говорить должны...», «Мир начинался страшен и велик...») и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»). Как некая подгруппа выделяются два стихотворения, в которых встречается и 6-стопник — «Чернозем» и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...». Работа над тремя стихотворениями — «Мне кажется, мы говорить должны...», «Мир начинался страшен и велик...») и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...») — закончилась в мае<sup>45</sup>.

И, наконец, четвертая группа — это трехсложники: анапест с вариациями. Сначала — 3-стопный анапест («От сырой простыни говорящая...»), затем анапест с вкраплениями амфибрахия («День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...») и, наконец, — 4-стопный анапест — тройчатка «Кама». Работа над всеми захватила и май, а над «Чапаевым» — еще и июнь.

Майские стихи отличаются от апрельских довольно четко: на смену 4-стопному анапесту снова пришел многостопный ямб — сначала 6-стопный («Лишив меня морей...»), постепенно соскальзывающий в разностопный — смешанный 5- и 6-стопный («Я не хочу среди юношей тепличных...»), «Идут года железными полками...»), «Идут года железными полками...») и «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»). Из них только одно — «Стансы» — все еще дописывалось в июне.

Сам июнь ознаменовался возвращением трехсложников — сначала амфибрахия в стихах памяти Ольги Ваксель в самом начале месяца и еще дактиля («Римских ночей полновесные слитки...»).

Затем — возвращение ямба, сначала — в конце месяца — 6-стопного («Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»), а затем — 4-стопного («Ты должен мной повелевать...») и «Мир должно в черном теле брать...»). Последнее стихотворение («Исполню

---

<sup>45</sup> Последнее, кстати, датировано одним только маем — без апреля. В свете его теснейшей соотнесенности с предшествующими апрельскими стихотворениями можно сделать только тот вывод, что оно и есть завершение этой, ближе к концу апреля начавшейся, метрической волны, пришедшее на май — скорее всего на его начало.

дымчатый обряд...») — июльское: написанное тем же 4-стопным ямбом, оно завершает книгу.

Но именно с этого размера «Первая воронежская тетрадь» условно и начиналась!..

Вернемся и мы в апрель 1935 года, так и не зная еще, какая из четырех метрических групп, — а в нашем представлении «метрических волн», — была первой, какая второй и так далее.

Надежда Яковлевна, справедливо классифицируя «Чернозем» как матку первой «тетради» (наравне со «Стихами о неизвестном солдате» и «Одой» во второй и третьей), выносит его вперед. Это не означает, что оно пришло первым, но подчеркивает, что оно главное (композиционный жест, которого она, кстати, не делает с остальными двумя «матками»). Порядок стихов в ее «Комментарии...» (а не в «Ватиканском списке»<sup>46</sup>) — с «Черноземом» впереди и со стихами памяти Ваксель после «Скрипачки» — и есть ее позиция в области композиции первой тетради.

О Харджиеве же она пишет, что у него «...нет понимания целостности того, что О. М. называл “поэтическим порывом”. Он формалист в самом точном смысле этого слова. Для него всякое стихотворение — отдельная вещь, и он не видит его связи со всем строем мысли»<sup>47</sup>.

Представляется, что метрическое единство, хотя бы и изначальное, и соотносительность с метрическими волнами являются осевыми элементами «поэтического порыва». Поэтому вопрос реконструкции времени или хотя бы очередности создания тех или иных стихов (в том числе и начала работы над ними) — далеко не праздный.

Но тут на помощь неожиданно приходит биографический материал. Из переписки С.Б. Рудакова с женой мы твердо знаем, с чего именно началась «Первая воронежская». Со «Скрипачки», начало и конец которой пришли к Мандельштаму 6 апреля — на другой день после концерта скрипачки Галины Бариновой!<sup>48</sup>

Стало быть, первой из четырех волн была именно — ямбическая.

---

<sup>46</sup> В «Комментариях к стихам 1930—1937 гг.» Н.Я. Мандельштам не раз подчеркивала, что порядок стихов в «Ватиканском списке» — не окончательный, а случайный, обусловленный соображениями удобства записи (*Мандельштам Н.*, 2006. С. 343—344).

<sup>47</sup> *Мандельштам Н.*, 2006. С. 360.

<sup>48</sup> О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935—1936), 1993. С. 34.

Вторая — хореическая — группа прошла как бы мимо Рудакова.

А вот третья — снова ямбическая — «засветилась»: в письме от 17 апреля Рудаков цитирует две строки из стихотворения или недописанного, или пропавшего: «*Я семафор со сломанной рукой / У полотна воронежской дороги*», а 20 апреля приводит строчку «*Зеленой ночью папоротник черный*» и сообщает даже дни бешеной работы в рамках этой волны, — начиная с 17 апреля!<sup>49</sup>

Потом целый месяц — о стихах ни гу-гу. Пока, наконец, сходящий с ума Рудаков-Сальери, перечисляя свои менторские «заслуги», не назовет или не процитирует 18 мая такие стихи, как «Чернозем», «Кама», «Большевик» и «Стансы»<sup>50</sup>. 21 мая цитируется стихотворение «Мне кажется, мы говорить должны...» (оно же всплывет и 24 мая) и фиксируется начало поэтической рефлексии на крушение 18 мая агитационного самолета «Максим Горький»<sup>51</sup>.

24 мая Рудаков снова помянет начатые в апреле «Каму», «Чернозем» и «Мне кажется, мы говорить должны...», а 26 мая — уже сугубо майские «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»<sup>52</sup>. 26, 27 и 29 мая — упоминания «Чапаева» и стихотворения «День стоял о пяти головах...»<sup>53</sup>.

Благодаря Рудакову, задокументировавшему последовательно три из четырех апрельских метрических волн, мы можем теперь реконструировать их последовательность. Проблему составляют только стихи «хореической» волны: но ее мы ставим второй уже на семантическом основании — уж больно связаны друг с другом стихотворения «Это какая улица?..» и «Я живу на важных огородах...».

Аналогичный — и более тщательный — учет не только метрического, но и семантического соседства привел меня к пересмотру решения об очередности двух стихотворений из майской анапестной волны: стихотворение «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (№ 14) должно идти не за, а перед «Чапаевым» (№ 13)<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> Там же. С. 43—44.

<sup>50</sup> Там же. С. 50—51.

<sup>51</sup> Там же. С. 52.

<sup>52</sup> Там же. С. 54—55.

<sup>53</sup> Там же. С. 55—58.

<sup>54</sup> Благодарю Д. Лахути, указавшего мне на это несоответствие и приведшего ряд аргументов в пользу такой корректуры.

9

Как бы то ни было, но, сравнивая разные последовательности стихотворений в разных источниках, утыкаешься в их полнейший разнობой. Попытаемся его осмыслить.

Прежде всего: каким первичным композиционным материалом я располагал в начале 1990-х годов?

Благодаря копии из архива Ирины Михайловны Семенко, у меня был перечень стихотворений из так называемого «Ватиканского списка» (ниже обозначается как «ВС»). Н.Я. Мандельштам пишет о нем: *«После моего возвращения из Москвы, откуда я привезла сохранившиеся после первого ареста бумаги, мы начали восстанавливать стихи 30—34 года, и я сделала “ватиканский список”. В нем материалы кончаются первой воронежской тетрадью»*<sup>55</sup>.

Многие, в частности, А.Г. Мец, именно ВС принимают в качестве канонического. Вместе с тем Надежда Яковлевна (а за нею и Семенко) не раз подчеркивала, что порядок стихов в ВС — не окончательный, а случайный, обусловленный соображениями удобства записи<sup>56</sup>

Между прочим, три «сомнительных» стихотворения — №№ 10—12 — в самом ВС не зачеркнуты, а просто лишены своих порядковых номеров, причем очевидно, что расстановка номеров происходила позднее, чем запись списка, что означает, вероятней всего, вынос из основного корпуса. Но спрашивается: авторская ли это правка?

Другой авторитетный источник — это список поздних стихов под заглавием «Новая книга», записанный Н.Я. Мандельштам и Э.Г. Бабаевым в 1943—1944 гг. в Ташкенте в самодельной тетради из плотной бумаги оливкового цвета<sup>57</sup>. В судьбе этого списка, названного нами условно «Ташкентским», есть поразительный эпизод: во время Ташкентского землетрясения 1966 года была полностью разрушена квартира, в которой он хранился, но сам список чудесным образом уцелел.

Эдиционно-текстологическое значение этого списка оказалось большим: сделанный по источникам, непосредственно восходящим к прижизненным, он был ценен в период работы над двухтомником сочетанием авторитетности и доступности. Список фигурирует ниже под аббревиатурой «ТС».

---

<sup>55</sup> Мандельштам Н., 2006. С. 343.

<sup>56</sup> Там же. С. 343—344.

<sup>57</sup> Н. Мандельштам сама записала стихи цикла «Армения» и позднее авторизовала каждую страницу, скопированную Бабаевым. Список хранится в собрании Е.Э. Бабаевой (Москва).

И в *BC*, и в *TC* отсутствуют, — и, надо полагать, по автоцензурным соображениям — стихотворения «Это какая улица...», первое стихотворение «Камы» и «Лишив меня морей, разбега и разлета...».

Вместе с тем степень решительности в отказе на принадлежность к основному корпусу для ряда стихотворений — со временем все возрастала. Впрочем, заметим, что «исключение» №№ 10—12 из *BC* — относится, по-видимому, к несколько более поздним временам, а № 12 в *TC* — и вовсе остался вне покушений.

### 10

Поражает и то, сколь немного специалистов сталкивалось с самой проблемой композиции — именно как с проблемой!

Это, во-первых — сама Н.Я. Мандельштам, мнение которой по этому поводу так или иначе зафиксировано в принятой ею последовательности стихотворений в «Комментарии к стихам 1930—1937»<sup>58</sup>. Далее, при сопоставлениях, мы фиксируем ее композицию под аббревиатурой «Н.Я.».

Между прочим, первым стихотворением «Первой воронежской тетради» Н.Я. Мандельштам полагала стихотворение «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»<sup>59</sup>. Так же к этой тетради она, — а вслед за ней и В.А. Швейцер, — относила и стихотворение « — Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...», относительно датировки которого однозначно прав оказался все-таки Н.И. Харджиев, а не она<sup>60</sup>.

Крайне существенно и следующее свидетельство: *«Все стихи в начале тетради группировались вокруг “Чернозема”. Там были идиотские стихи — первая попытка выполнить “социальный заказ”, из которой ничего не вышло. От этих стихов О.М. сам моментально отказался, признав их “собачьей чушью”. Из них он, вернее даже не он, а Харджиев, сохранил “Красную площадь”, надеясь, что это протолкнет книгу. Я не уничтожаю их, потому что они все равно когда-нибудь найдутся — О.М. успел послать их кому-то — в Союз или Фадееву в журнал. Но О.М. твердо хотел их уничтожить. Сохранились они, вероятно, и в письмах Рудакова жене»*<sup>61</sup>.

Порядок стихов не в *BC*, а в «Комментарии...» Надежды Яковлевны — и есть ее позиция в области композиции первой тетради. Классифицируя «Чернозем» как матку первой «тетради» (наравне со «Стихами о неизвестном солдате» и «Одой») во второй

---

<sup>58</sup> Мандельштам Н., 2006. С. 229—448.

<sup>59</sup> Там же. С. 335—339.

<sup>60</sup> Там же. С. 363—366.

<sup>61</sup> Там же. С. 340.



и третьей), она выносит его вперед, на вторую, после «Твоим узким плечам...», позицию<sup>62</sup>. Это не означает, что оно пришло первым, но подчеркивает, что оно и есть главное (композиционный жест, которого она, кстати, не делает с остальными двумя «матками»).

*«У Харджиева нет понимания целостности того, что О. М. называл “поэтическим порывом”. Он формалист в самом, точном смысле этого слова. Для него всякое стихотворение — отдельная вещь, и он не видит его связи со всем строем мысли»*<sup>63</sup>.

Во-вторых — это Ирина Михайловна Семенко, занимавшаяся разработкой корпуса «позднего Мандельштама»; в результате долгих лет работы она пришла к собственному представлению о составе, текстологии и композиции соответствующего корпуса. Подготовленная ею текстология, в значительной мере использованная при подготовке «худитовского» двухтомника, несет на себе следы ее работы не только над текстами, но и над композицией корпуса. Решение, принятое ею как условно окончательное, зафиксировано в подготовленной С.В. Василенко публикации<sup>64</sup> — далее оно фигурирует у нас под обозначением «Сем2». Обозначению «Сем1» соответствует промежуточная версия композиции корпуса стихов, зафиксированная в произведенной Семенко перенумерации? страниц итоговой машинописи.

В-третьих, это редакторы «нью-йоркского» собрания сочинений О.Э. Мандельштама — Б. Филиппов и Г. Струве<sup>65</sup> (далее «СС-1»).

В-четвертых, В.А. Швейцер, выпустившая в 1981 году в издательстве «Ардис» «Воронежские тетради». В своей работе она одной из первых на Западе опиралась на материалы Принстонского собрания.

В-пятых, -шестых и -седьмых — это композиции, принятые в изданиях, текстологически подготовленных А.Г. Мецем («Мец»), С.В. Василенко («С.В.») и М.Л. Гаспаровым («М.Г.»).

И, наконец, восьмое — композиции, разработанные мной для «черного двухтомника» и для третьего тома четырехтомника

---

<sup>62</sup> Она же настаивает на том, что стихи памяти Ваксель должны идти после «Скрипачки».

<sup>63</sup> Мандельштам Н. 2006. С. 360.

<sup>64</sup> О.Э. Мандельштам. Новые стихи. [Подготовка текста И.М. Семенко] // ЖиТМ. С. 81—188.

<sup>65</sup> См.: О.Э. Мандельштам. Собрание сочинений. Т. 1 (2-е изд.). Нью-Йорк, 1967.

Мандельштамовского общества (аббревиатура «П.Н.», соответственно, числитель и знаменатель)<sup>66</sup>.

В таблице 3 сведены различные последовательности стихотворений во всех упомянутых источниках<sup>67</sup>.

**Таблица 3**  
**Композиции «Первой Воронежской тетради»**  
**(по различным источникам)**

№	С	С	С-1	.Я.	Т	ем 1	ем 2	ец	.В.	.Г.	. Н
	4	8	1	8	8	8	8	4	8	4	1/ 0 8
	9	7	2	4	4	4	4	9	4	9	0 2/ 0 3
	6	6	3	7	7	9	9	6	7	6	3/ 0 9
	7	9	2	1	9	6	6	7	6	3	4/ 0 5
	8	4	4	5	6	7	7	3	9	7	5/ 1

<sup>66</sup> При этом мы «опускаем» композицию, предложенную в: О. Мандельштам. Соч.: В 2 томах. М., 1990 (составители С.С. Аверинцев и П.М. Нерлер) — ради ее усов <sup>66</sup> <sup>66</sup> <sup>66</sup> Нагибин Ю. Дневник М.: Издательство «Книжный сад», 1996. С. 403

<sup>66</sup> Трифонов Ю. Записки соседа. Воспоминания [http://royallib.ru/read/trifonov\\_yuriy/zapiski\\_soseda.html#0](http://royallib.ru/read/trifonov_yuriy/zapiski_soseda.html#0)

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.  
А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

											7
	11	27	9	6	3	3	3	8	3	8	6/ 0 4
	10	10	2	7	1	1	4	8	2	5	7/ 0 2
	12	12	3	9	5	5	1	2	1	6	8/ 0 1
	1	1	0	4	6	6	1	5	5	7	9/ 0 6
0	6	6	6	3	7	7	5	6	6	0	1 0
1	7	7	5	8	9	9	6	9	7	1	11
2	9	9	6	1	4	8	7	4	9	6	12
3	4	4	7	3	3	4	9	3	8	2	3/09
4	3	3	8	2	1	3	8	1	4	1	4/10
5	27	5	1	4	3	2	2	4	3	9	5/11
6	4	5	4	5	2	3	3	3	1	8	6/12
7	3	8	5	“)	4	4	4	2	3	4	7/13
8	2	3	8	5	8	1	3	1	2	3	8/14
9	5	4	7	8	8	8	5	5	4	1	9/15
0	8	2	9		“)	5	5	8	5	3	20
1	1	1	1		5		8	5	8	2	1/16

2	5		0						5	4	2/18
3										рио ст <sup>68</sup>	3/19
4										5	4/20
5										8	5/21
6											26
7											27
8											8/21
не осно вног о  орпу са или отсу т- ству ют	2, 03,  5,  8, 20,  6	2 ,  0 3  , 1 5 ,  8 ,  2 0 ,  6 ,  7	2,  3, 06,  0, 11,  2, 20,  2, 20,  6, 27	2,  0, 11  , 2, 20  , 6, 27	2,  0, 11,  2, 20,  6, 27	2,  0, 11,  2, 20,  6, 27	2,  0, 11,  2, 20,  6, 27	2, 26,  7	2,  0,  7	/10, 11, 12,  0, 26, 27	

Несколько слов, без претензии на исчерпывающую полноту характеристики, о самих композициях.

Между композициями двух базовых источников — *BC* и *ТС* — очень много общего. В начале — пятерка стихотворений, роящихся вокруг «Чернозема» (выдвижение «Чернозема» в *ТС*, кажется, здесь впервые и запечатлено!), а в конце — «Скрипачка». Самое существенное (кроме места «Чернозема») отличие — это место стихотворений, так или иначе связанных с темами Гете и известием о смерти О. Ваксель (№№ 22—24): в *BC* они стоят между №№ 13 и 25, 28, а в *ТС* — сдвинуты в конец тетради, и уже не предшествуют №№ 25 и 28, а следуют сзади: позже них — только «Скрипачка», а в *BC* — «Летчики» (№ 05).

У Н.Я. Мандельштам перемещение «Чернозема» вперед как бы уже закреплено. Между тем порядок в самой пятерке еще неустойчив (если вспомнить, что правка на *ТС* — также принадлежит ей). В середине — между «Стрижкой детей» и впервые появившимся четверостишием «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (№ 18) — изменений по сравнению с ранними списками нет. Но вот «Скрипачка» и «Летчики» покинули последние места, окружив собой стихи на смерть Ваксель. Неразлучная доселе пара — №№ 25 и 28 — впервые заняла места в конце.

Впрочем, «ненадолго». У В. Швейцер в *BT* они поменялись местами, а в конце встали «Лишив меня морей...» и снова «Летчики». А в начале — все та же пятерка, но снова в ином порядке, а вослед — «Это какая улица?..» и «Стрижка детей». «Скрипачка» же — по-прежнему впереди стихов памяти Ваксель.

Очень интересна промежуточная композиция И.М. Семенко (*Сем1*). До известной степени ее можно рассматривать как реконструкцию *BC*: восстановлены №№ 03, 15 и 18, причем каждому подобраны весьма осмысленные места (например, у «Лишив меня морей...»? — возле «Стансов»). Только «Скрипачка» и «Летчики» — не на последних, а на предпоследних местах. Начало же — как бы не тронуто, за исключением переноса «Чернозема» на самый верх. А в самый «низ» впервые встало стихотворение «Бежит волна...»?

Бросаются в глаза и две весьма решительные перестановки, которые сделаны в *Сем2*: стихотворения «День стоял о пяти головах...» и «Скрипачка» резко поднялись вверх, оттеснив «Стрижку детей».

Композиции А.Г. Меца, М.Л. Гаспарова и, в меньшей степени, С.В. Василенко сориентированы на *BC*. Различия между ними очень интересны, но углубляться в гипотетическую реконструкцию возникавшей при этом аргументации здесь не место. Отмечу лишь, что М.Л. Гаспаров — единственный,

разбивший искусственную двойчатку «Ариост» и разнесший ее по двум местам — 1933 и 1935 гг., соответственно.

В моей собственной попытке строго хронологической, с учетом ритмико-семантических волн, реконструкции («П.Н.») на первом месте стоит «Скрипачка» — и именно потому, что из писем Рудакова к жене совершенно очевидно, что именно это стихотворение пришло первым. А «Тянули жилы, жили-были...» (№ 02) в силу и тематической, и ритмической близости представляется «осколком» «Скрипачки», или наброском к ней.

Далее следует полтора десятка стихотворений, написанных или начатых в апреле 1935 года. Выбранный нами порядок обоснован следующим: №№ 03 и 04 близки друг другу тематически, рисуя топографически точный образ одной из мандельштамовских квартир воронежской поры. №№ 04—08 и 09—12 образуют две смежные ритмические волны. №№ 13—17 — снова смысловое, а не ритмическое единство (кинофильм «Чапаев», Кама), затем — №№ 18—21 — снова метрическое (это уже «майские стихи»). Следующий порыв — стихи, связанные с памятью Ольги Ваксель (№№ 23—25).

Единство последних четырех стихов куда как более спорно: метрическая близость №№ 27—29 друг к другу все же не перевешивает смысловой разнонаправленности №№ 25 и 28, с одной стороны, и №№ 26—27, с другой<sup>69</sup>.

Редактор в таком случае становится интерпретатором и чуть ли не медиумом! Он «пытается вызвать дух автора» и решает композиционную задачу всякий раз как бы вместо него и заново.



---

о пластиковых телефонных карточек. Связь с абонентом осуществлялась, когда брошенный в прорезь автомата жетон падал на его дно. Отсюда выражение "упал асимон", что означает "до меня, наконец, дошло..."

<sup>2</sup> Один из способов обездвиживания объекта при похищении включает в себя внутримышечную инъекцию нейролептика в смеси со спиртом. Укол вызывает мгновеножетон. Существовал в эпоху до пластиковых телефонных карточек. Связь с абонентом осуществлялась, когда брошенный в прорезь автомата жетон падал на его дно. Отсюда выражение "упал асимон", что означает "до меня, наконец, дошло..."

## Соломон Воложин Мне смешно



не смешон я. Натягивающий, если сказать грубо, предвзятый смысл на неизвестное произведение известного автора. Читаю, читаю, читаю об этом произведении у некого литературоведа и вдруг обнаруживаю заветные (для той предвзятости) слова. И рад.

Чему рад?

Тому, что те слова, во-первых, объясняют мне, что я сам смутно почувствовал от прочтения разбираемого произведения, во-вторых, они ж оказываются в соответствии с упомянутой предвзятостью.

Вот то произведение.  
За озером луна остановилась  
И кажется отворенным окном  
В притихший, ярко освещенный дом,  
Где что-то нехорошее случилось.

Хозяина ли мертвым привезли,  
Хозяйка ли с любовником сбежала,  
Иль маленькая девочка пропала  
И башмачок у заводи нашли...

С земли не видно. Страшную беду  
Почувствовав, мы сразу замолчали.  
Заупокойно филины кричали,  
И душный ветер буйствовал в саду.

1922

Ну что страшнее перечисленного и намекнутого может быть с лирическим «мы» стихотворения? Смертей людей, смерти любви... И почему так сладко почувствовать «Страшную беду»? (Не знаю, как вы, – я почувствовал.)

Ответ у Лосева: «исполненном метафизического ужаса» («Солженицын и Бродский как соседи». С.-Пб., 2010. С. 31).

При слове «метафизический» я вспоминаю ницшеанство. А Ахматову, – это её стихотворение, – я считаю ницшеанкой.

Страшнее перечисленного может быть только осознание абсолютного царствования Зла в этом мире. В нём убивают, изменяют, топятя... В нём невозможно счастье. И – возможно. Если воспарить над Добром и Злом. То есть оказаться (например, в творческом художественном акте) в ином мире. Как бы космическом («С земли не видно»). И это так сладко...

И в этом вся Ахматова, достигающая при жизни и оставаясь в здравом уме своего идеала, метафизического, которое у полноценного нищезанца достижимым в этой жизни не бывает. И потому он любит смерть.

А теперь перескажу, как до своего открытия дошёл Лосев.

Во-первых, «слова “страшную беду” выделены с одной стороны цезурой [паузой из-за точки], с другой – концом строки» (Там же). Во-вторых...

Тут надо отвлечься на обучение.

Слоги бывают открытыми и закрытыми. Открытый оканчивается на гласную: бе-ду.

В середине слова слог, как правило, оканчивается на гласный звук, а согласный или группа согласных, стоящих после гласного, обычно отходят к последующему слогу: стра-шну-ю (это не касается правил переноса: страш-ную).

Все безударные гласные в русском языке являются редуцированными (более краткими и тихими, обозначу их курсивом): ви`-дно. Стра`-шну-ю.

Во-вторых, «ударное «а» в слове «страшную» - единственная открытая нередуцированная гласная в окружении ... редуцированных» (Там же). (За троеточием я опустил слово «закрытых», которое Лосев применил, по-моему, зря.)

В-третьих, «И фонетически страх выделен, [слово] звучит сильнее всего в первой строке стихотворения» (Там же).

Такие вот смешные мелочи, а делают произведение исполненным метафизического ужаса, то есть и не ужаса, собственно, раз метафизического.

А сладость чем достигнута? – Может, определённостью всего. А ещё – зримостью, слышимостью, тактильной осязаемостью пейзажа.

За озером луна остановилась  
.....  
Зауспокойно филины кричали,  
И душный ветер буйствовал в саду.



И ещё – достижительностью: «луна остановилась». То есть лирический герой оказался в такой метафизичности как вне времени.

Сверхчеловек, одним словом.

А мне смешон я. Заметивший, наконец, что великая Ахматова, похоже, не применяет противоречий, того, на что я молюсь. На что, думал я, стихийно ориентируются все художники и «понимающие» их люди. Потому стихийно, что имеют дело с подсознательным. Переводят подсознательное в слово «нравится» или подобное, и – готово.

Сознательное ж в искусстве есть что? – Если навскидку и обывательски – это в принципе приводимое к ценностным словам. Например, средневековые христиане к какому слову приводили изображение цвета неба? – К слову «золотой» (потому что самый дорогой и потому что там пребывает Бог).

По Ахматовой в мире правит Зло, «нехорошее». Естественно, такой мир предстаёт как «освещённый» луной.

А правда же, что лунный свет – гипнотизирует? – И это уже – хорошее? – Нет. Это – изменённое психическое состояние. Это образ иного мира, мистического, желанного. И раз даётся образ своего идеала, то подсознательное улетучивается.

Но, может, всё-таки есть в стихотворении столкновение противоречий, столкновение хорошего с одной точки зрения с хорошим с другой точки зрения. Хорошее первое – это принятие Зла как основы мира: «Страшную беду / Почувствовав, мы сразу замолчали». Всего лишь замолчали. Хорошее второе – это обычность, неприятие Зла как основы мира: «Заупокойно», «душный», «буйствовал». Их столкновение и призвано дать катарсис, возвышение чувств, переживаемую, но неосознаваемую... (как только я напишу, что, - оно сразу стает осознаваемо) – сладость, изменённое психическое состояние, гипнотическое.

Единственно, чем Ахматова перед смешным мною, получается, провинилась – она дала образ этому мистическому «над Добром и Злом»: гипнотическое от лунного света.

Впрочем, я могу продолжить над собою смеяться: зачем отрезать от высокой оценки иное подсознательное – упомянутые фонологические тонкости, например, впрямую дающие образ принятию Зла. Ведь не сознание ж Ахматовой заставляло её или сразу, или с поправками ТАК выбрать и чередовать звучания слов «Страшную» и его окружения.

Или посмеяться над собою ещё больше: вдруг в выделенности звучании того слова есть образ исключительности,

властной над негативом смысла слова, и в том уже есть министрское противоречий, а следовательно – и миникарарис, который «говорит» о метафизическом...

О-о-о. Страсти какие.

Над чем!?

Я углубил Лосева?

Если не очень, я могу ещё...

Он пишет: «Внезапно ахматовский ноктюрн прочитывается как поэтическая парафраза центральной главы «Братьев Карамазовых», которую Достоевский назвал «В темноте»» (Там же).

Такие слова подобраны, что вы подумаете, что Ахматова с Достоевским заодно. А они – идейные антиподы. Достоевский – сверхисторический оптимист, а Ахматова пессимистка, ибо с обычной точки зрения не только приятие Зла мира сомнительно оптимистично, но и приятие иного мира, что над Добром и Злом.

Лосев уподобляет строку точек у Достоевского после того как Митя с пестиком в руке кинулся отца убивать, - строку, из-за которой не понятно, кто ж убил старика Карамазова... Лосев эту строку уподобляет трюеточию у Ахматовой, находящемуся в таком же месте (в золотом сечении – 2/3), что и у Достоевского.

Но Достоевскому, в видах итогового сверхбудущего торжества Добра, нужно было дать неопределённость, кто ж убил. Ему нужно было показать, как добрые, по сути, люди терзаются от одного того, что их посетила только мысль об отцеубийстве. Только мысль!

А у Ахматовой трюеточие неопределённость не вводит, собственно. Девочка, конечно же, утопилась, раз «башмачок у заводи нашли». Само повсеместное «нехорошее» не даёт другого варианта.

Ахматовой нужно было Достоевского опровергнуть. Вот она парафразой это и сделала.

23 мая 2014 г



# Эдуард Гетманский Книжный знак Российской империи



Юридическое право на владение книгой удостоверяет специальный владельческий знак - экслибрис (книжный знак). Экслибрис слово латинское, в переводе на русский язык дословно означает «из книг». Это небольшой бумажный листок, на котором отпечатаны сведения, кому принадлежит книга и помещен рисунок. Рисунок книжного знака чаще всего отражает характер библиотеки или какого-либо ее раздела, а также интересы и духовный мир владельца. Благодаря книжному знаку книга приобретает документ, удостоверяющий ее принадлежность к определенной библиотеке. История экслибриса, как отличительного знака частных и общественных библиотек, неразрывно связана с историей книги. На протяжении веков менялась форма книги, существовали клинописные таблички, папирусные свитки, пергаменты, но всегда книга имела своего владельца, который аккуратно отмечал свою собственность соответствующей надписью.



Книжный знак египетского фараона Аменофиса около 1400 года до н.э.

В 1887 году в Тель-эль-Амарнском архивохранилище древнеегипетского царя Аменофиса IV, жившего в XIV веке до нашей эры, был обнаружен вместе с табличками небольшой фаянсовый экслибрис Аменофиса III и его жены. На нем были

написаны название книги и имена ее владельцев. Сейчас этот древнейший книжный знак из царской библиотеки хранится в Британском музее[1]. В истории ассирийского искусства указывается, что царь Ассирии Ашшурбанипал (669-ок. 633 до н.э.) обладал печатью, которая ставилась на царские иератические письма. Царь вошел в историю как собиратель древних письменных памятников, его библиотека (свыше 30 тысяч клинописных табличек) была найдена в 1849-1854 годах на месте древнего города Ассирии Ниневии (современный холм Куянджик, Ирак)[2].

С эволюцией книги изменялся и ее ровесник и постоянный спутник - экслибрис. Искусство экслибриса прошло многовековую путь от возникновения книгопечатания до наших дней. Начав свою историю в качестве наклейки на книгу, указывающей на ее владельца, экслибрис - вид графического искусства стал произведением графики, органически соединившимся с книгой. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания. В Германии с древних времен существовал обычай пометать ценные вещи знаком принадлежности их определенному лицу, этот обычай признавался и судом. Книги представляли в те времена значительную ценность и владелец библиотеки, отмечая ее своим знаком, тем самым оберегал свою собственность. Так возник обычай снабжать книгу своим экслибрисом, который формально защищал книгу от похитителей. Параллельно с книжным знаком возник суперэкслибрис - знак или герб, оттиснутый на наружной крышке переплета. Первыми владельцами книг в Германии были духовные лица или монастыри, поэтому на книжных знаках обозначались соответствующие атрибуты, такие как посох, ключ, или гербы, на которых шлем заменялся митрой, а иногда также изображались и фигуры святых.

В древнем городе Нюрнберге хранится коллекция книжных знаков в более чем 20 тысяч экслибрисов, ее собрал и подарил в 1901 году музею немецкий коллекционер граф Лейнингтон-Вестербург. Первым гравированным экслибрисом в Западной Европе считается гербовый знак рыцаря Бернгардта фон Рорбаха, выполненный в 1460 году немецким гравером Бартелем Шеном[3]. Известен также экслибрис Гильдебрандта фон Бибераха, изображающий ангела, несущего герб владельца, он был гравирован на дереве в 1480 году. Интересен один из первых гравированных экслибрисов Европы - книжный знак, выполненный около 1480 года неизвестным мастером из Германии в технике обрезной гравюры на дереве для Ганса Иглера. Его

можно смело отнести к первому юмористическому знаку, на нем изображен ежик среди цветов. Эти книжные знаки открывают целый ряд подобных экслибрисов XVI века - самой блестящей эпохи искусства книжного знака.

В XVI веке над экслибрисом в Германии работали такие выдающиеся мастера как Альбрехт Дюрер, Лука Кранах Старший и Ганс Гольбейн Младший. Дюреру принадлежит 20 экслибрисов (7 проектов и 13 тиражированных знаков). В композиции гербовых экслибрисов Дюрер вводил сложные символы и пространственные аллегории. В 1503 году Дюрер выполнил экслибрис для своего друга Вилибальда Пиркгеймера - богатого нюрнбергского патриция, гуманиста, владельца крупнейшей библиотеки того времени. На нём приведён афоризм «Начало премудрости - страх Божий» на трёх языках - древнееврейском, греческом и латинском. Экслибрис украшает девиз «Sibi et Amicis» («Себе и друзьям»). Дюрер также выполнил экслибрисы для нюрнбергского юриста Кристофа Шейрля (1512-1514), и венского архитектора и военного инженера Иоганна Черте (1521). Но одним из лучших дюреровских экслибрисов является знак для настоятеля церкви святого Лаврентия в Нюрнберге Гектора Помера<sup>4</sup>. На нем изображена святой с пальмой мученичества в одной руке и жаровней в другой. Над именем владельца помещена надпись на латинском, греческом и древнееврейском языках, гласящая: «Чистому всё чисто». Правда, некоторые специалисты склонны считать, что этот экслибрис выполнил ученик Дюрера Ганс Зебальд Бехам. Многие геральдические композиции Бехамы могут быть признаны самыми большими в мире экслибрисами, они достигали размеров 400-500 мм. Лукас Кранах Старший исполнил в гравюре на дереве 11 экслибрисов, лучший из них выполнен в 1511 году для саксонского курфюрста Фридриха Мудрого. Герб герцогов Мекленбургских, выполненный художником в 1552 году в гравюре на дереве применялся как экслибрис герцогом Ульрихом Мекленбургским - генеалогом, геральдистом и библиофилом. На экслибрисе проповедника из Орингина работы Кранаха изображена мощная фигура Святого Петра. Ганс Гольбейн Младший выполнил три книжных знака, один из них украсил книги бельгийского печатника Иоганнеса Фробена. В целом немецкий книжный знак этого времени отличался часто тяжеловесным стилем и крайней сложностью рисунка, затрудняющего понимание замысла художника.

С этого времени начинается шествие экслибриса по Европе. Во Франции первые книжные знаки были датированы 1545 годом. К их числу принадлежит экслибрис Жанна Барту[5] -

ученого и ярого противника Мартина Лютера, жившего во времена царствования Франциска I. На книжном знаке изображен апостол Иоанн с орлом, семиглавый апокалипсический зверь, а также помещено двустилие, в котором обещают каждому, кто принесет утерянную книгу или возвратит взятую, стакан хорошего вина. Также одним из старейших французским экслибрисов считают книжный знак епископа Шарля д'Альбуаза, помеченный 1574 годом[6]. Во Франции XVI века гравированный экслибрис встречается достаточно редко, преобладает наружный книжный знак - суперэкслибрис, это можно объяснить тем, что страстные любители книг стремились придать им красивую внешность при помощи роскошных переплетов, на которых золотым тиснением выдавливались гербы, а иногда и имена библиофилов. Самый старинный английский геральдический печатный экслибрис помечен 1574 годом. Он был сделан по заказу хранителя Большой печати в царствование королевы Елизаветы канцлера Николаса Бэкона - отца английского философа-материалиста Фрэнсиса Бэкона. Этот книжный знак можно видеть на книгах подаренных им Кембриджскому университету, основанного в 1209 году. Художественная ценность английского экслибриса, несмотря на то, что он появился почти одновременно с французским книжным знаком ниже, так как вплоть до XIX века им занимались второстепенные художники, находившиеся под влиянием французского и немецкого искусства.

В Италии старейшим экслибрисом считают книжный знак юриста Николо Пили[7], выполненного около 1555 года, но в дальнейшем развитие итальянского экслибриса шло медленно, и качество его было довольно низким. Первый известный шведский книжный знак принадлежал королевскому советнику Туре Бильке[8], этот знак гербовый и датирован 1595 годом. В Швеции XVI века также использовался особый вид экслибриса, на нём фамилии владельцев книг гравировались на металлических пуговицах, которыми скреплялись огромные тома. В XVI веке экслибрис также нашел распространение и в других странах Европы - Польше, Бельгии, Венгрии, Чехословакии, Швейцарии и Голландии. В Америке экслибрис распространился только в конце XVIII века. Он был занесен туда выходцами из Старого света. В манере, технике и сюжетах американских книжных знаков долгое время чувствовалось подражание английским художникам.

На Руси книжный знак появился гораздо позднее, предыстория его особо интересна. В средние века в России единственным способом обозначения рукописной книги были надписи такого рода «Сия книга попа Родиона Сидорова, сына

грешного и недостойного», или «Книга Господня, глаголемая Летописец, суздальца Ивана Федорова...», или «Сия книга иерея Дмитрия»[9]. Самые ранние надписи на книгах о принадлежности тому или иному лицу относятся к XIV веку. Примером могут служить чеканные надписи на окладах «Евангелических чтений» и «Евангелия недельного», принадлежавших Симеону Гордому (оклад 1343 года) и Федору Кошке (оклад 1392 года).

Одновременно с такими надписями были на Руси и такое специфическое русское национальное явление, как «вкладная запись». Церковь стесняла проявление духовного творчества, именно поэтому почти до конца XVII века существовало лишь церковное чтение. Церковь допускала лишь действия и помыслы, обращенные к Богу. Светские книги появились гораздо позднее. Книги на Руси переписывались от руки - сама занятость это почиталось делом богоугодным, которым занимались не только монахи, но и мирские люди, нередко высшие государственные люди и высокопоставленные духовные лица, на это уходили долгие годы. К книге относились с любовью и уважением. Грамотных было мало, а для спасения души надо было читать духовные книги. Богатые люди чтобы замолить свои грехи и спасти душу, заказывали рукописные книги и подносили их церкви. Так возникла потребность в точном обозначении цели, которую преследовал, дарящий книгу, например «за отпущения грехов». Вкладчик подробно указывал свое имя, церковь или монастырь, куда он делал вклад. «Положил свою книгу, глаголемую «Апостол», в дом Божий к Воскресению Христову».

Но такой драгоценный дар, каким была книга, естественно надо было оградить от похищения и злонамеренной порчи, поэтому наши предки грозили божьим судом и проклятием возможным вора. Естественно многие вкладные записи заканчивались обыкновенно разными угрозами: «А кто сию книгу возьмет из дома Божия, на том будет тягота церковная». Другой пишет: «А кто бы смел ей взяти от церкви, тот, будет проклят в сей век и в будущий, и не прощен и по смерти не разрешен. Аминь». После подобных угроз следовала обыкновенная подпись владельца. Лишь немногие, прочитав такие предостережения, решались на порчу книг. Несколько веков вкладные записи существовали в России как единственный знак принадлежности книги какому-либо человеку. Вкладная запись, конечно, не может считаться своеобразной ранней формой книжного знака (хотя бы потому, что она не знак), но она, безусловно, осталась его предшественницей, ибо выполнила одну из его основных функций - была «стражем» книги. Впрочем, первые исследователи русского

эклибриса В.Я.Адарюков и В.А.Верещагин считали, что русский книжный знак произошел только от вкладных записей на книгах, жертвуемых в церкви и монастыри.

Первым русским древнейшим эклибрисом считают рукописный книжный знак основателя библиотеки Соловецкого монастыря игумена Досифея, открытый ленинградским ученым Н.Н.Розовым[10] в 1962 году.



Книжный знак основателя библиотеки Соловецкого монастыря игумена Досифея (рисунок на рукописной книге) 1493-1494

Основанный двумя отшельниками Зосимой и Савватием Соловецкий монастырь был одним из известнейших центров русской духовной, религиозной культуры всего русского Севера. Игумен Досифей был одним из настоятелей монастыря, он автор трехтомного труда о жизни монастыря. Досифей первым в России стал помечать книги своей личной и монастырской библиотеки специальным эклибрисом. Этот рисованный от руки знак представляет собой круглую почти замкнутую букву «С», внутри которой славянской вязью вписано продолжение звания священноинок и имени владельца книги. Датирован этот книжный знак может быть 1493-1494 годами. В XVI веке на книгах библиотеки Соловецкого монастыря появляются рисованные эклибрисы других владельцев, таковы книги монаха Макария Забелина (начало XVI века) и игумена Иакова (1680-е годы). Уникальные книги библиотеки Досифея из того, что уцелело после пожара в мае 1923 года Соловецкого Кремля, были переданы в Публичную библиотеку имени М.Е.Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) в Ленинграде.

Рукописный эклибрис в России не получил широкого распространения и бытовал лишь в то время, когда библиотеки были небольшими и принадлежали в основном царской фамилии и духовным лицам. В допетровской Руси не было предпосылок для



развития книжного знака, прежде всего, потому что не было библиотек. Да и грамотных на Руси было мало. Ведь не случайно Стоглавый Собор в 1551 году печально констатировал, что «если не просвещать безграмотных, то церкви будут без пения, а христиане будут без покаяния». Во второй половине XVI века возникла необходимость в печатании книг типографским способом. Потребности государства и запросы общества в книгах сильно возросли. Переписывание книг, как способ размножения был несовершенен. Книг было мало, стоили они дорого. Попытки введения книгопечатания предпринимались еще в конце XV века Иваном III, который поручил послу Триханиоту пригласить известного любекского типографщика Варфоломея Готана. Он прибыл в Москву, получил аудиенцию у Ивана III, и повел переговоры об устройстве типографии. Но ее не удалось создать, так как переписчики книг натравили на Варфоломея толпу, которая утопила «немчину» в Москве-реке. Не было тогда и условий для введения книгопечатания.

В 1547 году Иван IV поручил захвавшему в Москву саксонцу Шлитте найти за границей разных мастеров, в том числе и типографов. Шлитте набрал в Германии партию в 120 человек, среди них были переплетчики, типографщики и специалисты по производству бумаги. Однако власти города Любека, состоявшие из ганзейских купцов и лиц, близких к Ливонскому ордену, не пропустили нанятых мастеров в Москву, а самого Шлитте заключили в тюрьму. В 1548 году Иван IV вел переговоры о найме художников и книгопечатников с германским императором Карлом V, а в 1550 году с датским королем Кристианом III. Переговоры не дали положительных результатов. Налаживать книгопечатание необходимо было своими силами. В 1555-1557 годах в Москве начала работать группа из нескольких печатников. Известны имена Маруши Нефедьева и Васюка Никифорова. В 1550-х годах в Москве появилась своя типография, где были отпечатаны 4 анонимных книги. Возможно, что в этой типографии работал и приобрел технические навыки Иван Федоров. Важно, что в Москве появились печатники, и накопился некоторый опыт. По царскому повелению начали строить типографию на Никольской улице, тогда одной из главных улиц Москвы, расположенной поблизости от Кремля, где жили покровители Ивана Федорова - царь и митрополит. В 1563 году типография была пущена в ход, а в марте 1564 года вышла первая книга «Апостол». Эта дата считается началом книгопечатания в России. Главная роль в создании первой печатной книги русского

производства принадлежит Ивану Федорову, он и вошел в историю России как первопечатник.

С возникновением книгопечатания в России начали появляться тисненые на переплете или корешке книги художественные изображения родовых гербов и надписей. Их называли «суперэкслибрисами» (по латыни «super» - сверху). Таким первым суперэкслибрисом считают оттиснутый на переплете первопечатного «Апостола» Ивана Федорова государственный герб и надпись о принадлежности книги царю Ивану IV - «Иоанн божиею милостию государь царь и великий князь всея Руси»[11]. Но суперэкслибрисы не получили у нас распространения, так как исполнение их на переплетах стоило крайне дорого. Они были вытеснены с появлением бумажного книжного знака. Бытовавшие в Западной Европе печатные экслибрисы были охотно приняты в России, так как почва была подготовлена вкладными записями, рисованными экслибрисами и суперэкслибрисами.

Только при Петре I появляются российские собиратели книг, создаются первые частные библиотеки. Время правления Петра I - это эпоха коренных изменений уклада жизни страны, практически не было такой области государственной или общественной жизни, которой не коснулись бы преобразования. Перемены в области культуры носили ярко выраженный характер. Учреждаются светские школы, расширяются культурные связи с Западной Европой, в том числе книжная торговля, возрастает издание книг, расширяется тематика издаваемой литературы, появляется первая печатная газета «Ведомости», резко растет число библиотек, принадлежащих светским лицам. При этом поставленное Петром I целиком на службу преобразования страны русское книгопечатание приобретает ярко выраженный светский характер[12]. Многие представители высших кругов дворянства становятся владельцами книжных собраний. Страсть к собирательству, свойственная Петру I, положила начало многим российским музеям, в том числе и Кунсткамере. Он имел библиотеку, в которой насчитывалось около двух тысяч книг. После его кончины она проступила в библиотеку Петербургской Академии наук. Некоторые книги из своего собрания царь отмечал суперэкслибрисом, оттиснутым на кожаном переплете по латыни «Петр Первый. Царь Московский» и герб в овале, а на нижней крышке переплета «1718 год» и снова герб. Одними из первых собирателей из светских лиц были современники Петра I: сын Петра - царевич Алексей, светлейший князь и генералиссимус А.Д.Меншиков, дипломат граф А.А.Матвеев, вице-канцлер

П.П.Шафиров, князь Д.М.Голицын, фельдмаршал Я.В.Брюс, лейб-медик Петра I Роберт Арескин и организатор горнометаллургического производства в России А.А.Виниус.



Книжный знак Я.В.Брюса первая четверть XVIII века

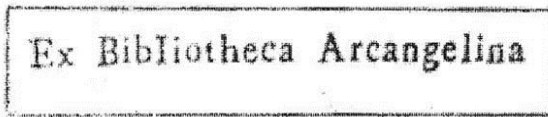
К этому времени относят появление и распространение первых русских печатных книжных знаков. Они появились одновременно в двух видах - гербовом и шрифтовом, в их композициях чувствовалось заметное влияние западноевропейской культуры, что было свойственно эпохе Петра I. Среди русских печатных экслибрисов самыми ранними считаются экслибрисы, принадлежавшие первым русским библиофилам - сподвижникам Петра I - Д.М.Голицыну, Я.В.Брюсу и Р.Арескину[13].



Книжный знак Роберта Арескина 1700-е годы

Библиотека действительного члена Верховного тайного совета, князя Д.М.Голицына принадлежала к числу крупнейших книжных собраний своего времени. 6000 томов этой

энциклопедической библиотеки на русском, голландском, испанском, английском, шведском, немецком, польском, французском и латинском языках хранились в его подмосковной усадьбе, селе Архангельском.



Ex bibliotheca Arcangelina (князя Д.М.Голицына) 1700-е годы

На книгах этой библиотеки наклеен, выполненный в 1702 году, шрифтовой экслибрис Д.М.Голицына - «Ex Bibliotheca Arcangelina» («Из библиотеки Архангельского») Граф Я.В.Брюс - государственный деятель и ученый, сподвижник Петра I, был одним из образованнейших людей своего времени. Библиотека Брюса носила научный характер, он собирал книги по математике, истории, философии, медицине, естественным наукам на латинском, немецком, английском и русском языках. Я.В.Брюс был обладателем первого русского геральдического книжного знака. На его экслибрисе изображен фамильный графский герб с единорогом - символом чистоты и непорочности и львом - символом силы, мужества и великодушия. Под щитом дан девиз «Fuimus», что значит «Были». Библиотека Брюса насчитывала 1432 тома и была завещана владельцем Академии наук в Петербурге, куда и поступила в 1735 году после его смерти[14]. Третий книжный знак принадлежал лейб-медику Петра I Р.Арескину. При нем началось коренное преобразование медицинского дела в России. Личная библиотека Р.Арескина насчитывала 2527 томов[15] и состояла из сочинений по медицине, истории, философии, филологии и богословию на разных европейских языках. После смерти владельца в 1718 году по указу Петра I библиотека была приобретена Академией наук. Книжный знак Арескина, как и Брюса, был гербовым, это был родовой герб с девизом «Je pense plus» («Я больше думаю»).

Библиотека сподвижника Петра I, светлейшего князя А.Д.Меншикова насчитывала 13 тысяч томов, Судьба этой библиотеки неизвестна, её экслибрис представлял собой герб, середина которого окружена цепью ордена Андрея Первозванного и его девизом «За веру и верность». Подлинной инкунабулой русского книжного знака является гербовый экслибрис А.Д.Кантемира, который был одной из ярчайших фигур XVIII века - поэт, сатирик и баснописец, переводчик Лафонтена, Буало и Горация, он, кроме того, был и дипломатом. Кантемир умер в 1744

году в Париже на 35 году жизни при загадочных обстоятельствах. Вся его библиотека осталась за границей, её наследники распродали в Париже в 1745 году, и только 300 томов попали в московский архив Министерства иностранных дел. Кантемир имел свой гербовый экслибрис, единственный экземпляр которого в 1911 году был привезен в Россию из-за границы. Книжный знак Кантемира красив и пышен. Под широкой великокняжеской короной (Кантемиры - потомки молдавских господарей) гербовый щит, его лапами поддерживает раскрывшие пасти львы. Интересен постамент герба, он выполнен в стиле барокко и состоит из затейливых завитков и элементов растительного орнамента.

Так сложилось в российском печатном книжном знаке, начиная с петровского времени, что наибольшее развитие получил геральдический экслибрис. Большинство частных библиотек XVIII века принадлежало дворянам, которые обычно украшали книгу, как и прочие личные вещи, фамильными гербами[16], это был универсальный знак дворянской собственности. Геральдическое искусство стояло очень высоко, герб обычно представлял собой сложную богато украшенную символическую композицию, близкую по изобразительному стилю книжному искусству эпохи. Гербовый экслибрис уже в XVIII веке был не только «стражем» книг, но и ее украшением. В царствование Елизаветы Петровны стало сказываться влияние французского просвещения, отразившееся на количестве и самом характере частных библиотек. Геральдические книжные знаки в XVIII веке имели посол в Берлине Лондоне и Париже граф П.Г.Чернышев; министр департамента уделов, директор императорских театров и Эрмитажа, владделец и строитель усадьбы Архангельское, известный меценат князь Н.Б.Юсупов; драматург и театральный деятель, князь А.А.Шаховской; меценат, подаривший Московскому университету целый музей - минералы, монеты, мозаики, книги, медали, князь А.А.Урусов; дипломат Ф.Г.Головнин. Во второй половине XVIII века геральдический книжный знак получает большое распространение, ибо это время расцвета книжного собирательства. Всей Европе были хорошо известны великолепные библиотеки министра просвещения, графа А.К.Разумовского и канцлера, графа Н.П.Румянцева, который завещал свою богатейшую библиотеку по истории России, в ней было 28 тысяч томов и 710 рукописей «на пользу Отечеству и благое просвещение». На экслибрисе Румянцева изображены два льва, поддерживающие щит с гербом владельца. Предполагают, что гравировал этот экслибрис русский гравер А.Г.Ухтомский. К редким русским геральдическим экслибрисам второй половины

XVIII века можно отнести гербовый экслибрис, который украшал книги генерал-адъютанта, фаворита Екатерины II А.Д. Ланского. Искусствоведы предполагают, что автором офортного знака, является сам знаковладелец. Уникальной библиотекой обладал граф, инженер, дипломат, коллекционер гравюр и нумизмат П.К.Сухтелен[17]. В его библиотеке, насчитывающей 27 тысяч томов по философии, педагогике, правоведению, медицине, естествознанию, искусству, экономике, геральдике, истории торговли, входило около тысячи инкунабул, множество изданий Альдов, Эльзевиров, рукописей и автографов. Экслибрис Сухтелена гербовый, его украшает девиз «Aequa mente».



Библиотека артиста императорских театров  
Давида Христофоровича Южина. начало XIX века

В XVIII веке видные русские граверы экслибрисами практически не занимались, здесь со времен Петра I творили в основном иностранцы, Имена создателей русских гербовых экслибрисов XVIII века до нас не дошли, в этом есть своя закономерность - это были скромные по таланту имена.



Императорское театральное училище СПб первая половина XIX века

Опытных геральдистов в России было мало и тем более среди исполнителей книжных знаков. В геральдических экслибрисах российских аристократов наблюдались вольности в

передаче гербов, умелые граверы подчас переделывали книжные знаки, исправляя геральдические оплошности. В России не было присущего Англии педантизма в изображении фамильных гербов, да и откуда она могла взяться, если книжные знаки в России делали «по случаю». Тем более интересен один из первых по времени книжных знаков гравированный первой русской художницей экслибриса баронессы Н.М.Строгановой для себя. От знака веет очарованием женственности, на нем изображен амур, держащий два соединенных герба и лежащая лань, вся композиция заключена в кольцо из змеи. К концу XVIII века геральдические композиции в экслибрисе значительно упрощаются. В них заметно меньше торжественности и пышности, композиции становятся свободнее, легче.

Из гербовых книжных знаков начала XIX века привлекают внимание работы крупнейшего мастера русской классической гравюры того времени Н.И.Уткина[18], они отличаются строгостью и лаконичностью. Таковы три его гравированных на меди экслибриса для российской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III. На двух из них изображен вензель «А.Ф.» по бокам, которого расположены 2 щита с гербами России и Пруссии, все это заключено в изящно оформленную раму с орнаментом на первом знаке и овальную раму на втором экслибрисе. На третьем книжном знаке, специально предназначенном для библиотеки царской дачи «Александрия», показан венок из роз, надетый на шпагу[19]. Собрание книг императрицы в количестве 9046 томов находилось в «Коттедже» в Петергофе. Красив экслибрис Уткина, выполненный для книжного собрания мецената и первого председателя основанного им Общества поощрения художников П.А.Кикина. На нем изображен лежащий олень, дворянская корона и геральдический щит, расположенные на вершине колонны с инициалами «П.К.» на латинском языке в орнаментированном круге. Еще один гербовый экслибрис выполнил Уткин для московского губернатора, знакомого А.С.Пушкина по Царскому Селу и Петербургу, Василия Дмитриевича Олсуфьева, на нем изображен фамильный герб Олсуфьевых под шлемом, увенчанным дворянской короной с наметом и щитодержателями - львами, стоящими на ленте с девизом. Красивый геральдический экслибрис выполнил Уткин для дипломата и писателя, князя Г.И.Гагарина, на нем изображен фамильный герб Гагариных на мальтийском кресте под княжеской короной, герб окружен четками и лентой с двумя орденскими крестами.

Первая половина XIX века была порой довольно высокого искусства гравюры, поэтому искусство гербового экслибриса этого времени находилось на подъеме. Гербовые книжные знаки имели многие государственные деятели той поры, в том числе министр внутренних дел, московский и финляндский губернатор граф А.А.Закревский; министр Двора и уделов, фельдмаршал, князь П.М.Волконский; министр иностранных дел, граф К.В.Нессельроде; министр народного просвещения, президент Академии наук, председатель Главного управления цензуры, граф С.С.Уваров; военный министр, председатель Государственного совета, граф А.И.Чернышев. Геральдические экслибрисы украшали книги домашних библиотек композитора, автора музыки на стихотворения А.С.Пушкина «Старый муж, грозный муж», «Ворон к ворону летит» «Черная шаль», графа М.Ю.Виельгорского; поэта, которого очень любил А.С.Пушкин, И.П.Мятлева, автора произведения «Сенсации г-жи Курдюковой», поставленного на сцене Александринского театра в Петербурге, а также сенатора, директора Эрмитажа, графа Д.П.Бутурлина, собравшего библиотеку в 40 тысяч томов и ставшей жертвой пожара в 1812 году. Его экслибрис венчает девиз «Любящим - справедливость, благочестие, веру». К началу XIX века, относятся офортный книжный знак путешественника, историка, драматического писателя и типографа, тверского губернатора Н.С.Всеволожского, чьи книги с дарственной надписью были в библиотеке А.С.Пушкина. Экслибрис Всеволожского был весьма пышным, его украшал смоленский герб Всеволожских с архангелом и пушкой и вздыбленным конем в качестве щитодержателя. На экслибрисе был девиз «Non sibi sed Patriae et Glorïae» («Не себе, но Отечеству и славе»), а французская надпись торжественно гласила, что этот Всеволожский был кавалером ордена св. Георгия. Экслибрис с изображением орла, герба русских царей, имел друг А.С.Пушкина писатель и музыкальный критик В.Ф.Одоевский[20]. Библиотека Одоевского в 5890 томов поступила в Румянцевский музей. Имел гербовый экслибрис библиограф, библиофил, поэт-сатирик, близкий друг А.С.Пушкина С.А.Соболевский[21]. На его экслибрисе изображен маленький, готовый взлететь орлик с собственноручной надписью владельца.

В XIX веке появилось множество геральдических знаков[22], в композицию которых были включены девизы. Так на гербовом экслибрисе всеильного временщика при Александре I графа А.А.Аракчеева было начертано «Без лести предан», на книжном знаке генерал-губернатора Великого княжества Финляндского графа Н.В.Адлерберга - «Вера и верность», а на



эклибрисе генерала, директора Измайловской военной богадельни, графа А.В.Олсуфьева - «Никто, как бог»[23]. На книжном знаке графа К.П.Клейнмихеля девиз был «Усердие все превозмогает», у графа М.А.Баранцова девиз гласил «Царю и Родине», а у литературного критика графа Г.А.Кушелева-Безбородко - «Единому предан». На книжном знаке прославленного адмирала и знаменитого мореплавателя И.Ф.Крузенштерна изображен его фамильный герб с девизом «Надейся на море». Министр народного просвещения А.Н.Головнин имел прекрасно подобранную библиотеку в пять тысяч томов, которую украшал гербовый литографский экслибрис с девизом «За правых провидение». На книжном знаке путешественника А.Н.Демидова (князя Сан-Донато) имелся девиз «Не словами, а делами», графическую миниатюру генеалога графа А.А.Бобринского украшал девиз «Богу слава, жизнь тебе». Девиз «Богу - вера, правда - царю» был на экслибрисе графа Н.Э. Баранова, а на книжном знаке А.В.Кочубея, соавтора оперы «Душенька», начертано «Когда, возвышаясь, поглощаюсь».

С середины XIX века в искусстве гербового экслибриса все более ощущается спад. Наплыв разночинцев в область культуры, литературы, искусства не мог не сказаться на экслибрисе. Книжный знак перестал быть заповедно-аристократической зоной. Гербовый экслибрис мельчал, терял свою образную силу[24]. Красивы геральдические книжные знаки для крупных государственных деятелей того времени - министра двора графа А.В.Адлерберга и министра внутренних дел, в последствии председателя Комитета министров, графа П.А.Валуева; члена императорской фамилии принца П.Г.Олденбургского, на его книжном знаке показан российский императорский орел, на груди которого щит с гербом Олденбургских, увенчанный великокняжеской короной и окруженный цепью ордена Андрея Первозванного. Интересен гербовый экслибрис географа и мореплавателя, адмирала, президента Академии наук, председателя Географического общества графа Ф.П.Литке, а также знак князя Итальянского, графа Рымникского полковника Фанагорийского гренадерского генералиссимуса князя Суворова полка, кавалера всех российских орденов, внука А.В.Суворова - А.А.Суворова. На его книжном знаке изображен фамильный герб Суворовых на княжеской мантии под графской короной с щитодержателями - львами. Над короной показаны три коронованных шлема, а под гербом на ленте медаль.

Скромный гербовый литографский экслибрис имел археолог, граф А.С.Уваров Он один из основателей Русского археологического общества, Исторического музея в Москве, основатель и пожизненный председатель Московского археологического общества собрал ценнейшую библиотеку, в которой было около 100 тысяч томов.



Фрейман Р.В. Из библиотеки канцелярии по принятию прошений Его Императорского Величества 1910

В неё входили книги по археологии, истории, старопечатные книги, издания Альдов и Эльзевиров, книги по философии, масонству, филологии, богословию и русской литературе, хранилась эта уникальная библиотека в усадьбе Уварова в Поречье Можайского уезда Московской губернии. Литографский экслибрис генерал-адъютанта, археолога, светлейшего князя С.М.Воронцова венчает девиз «Semper immota fides» («Всегда непоколебимая верность»).

Библиотека С.М.Воронцова находилась в Одессе и состояла из 40 тысяч томов, впоследствии это собрание было пожертвовано Новороссийскому университету. Кроме того Воронцов унаследовал четыре книжных собрания, которые находились в Москве, Мошнах и Алушке. Петербургская библиотека состояла из 12 тысяч томов, большинство книг было собрано послом в Венеции и Лондоне С.Р.Воронцовым, затем она перешла к его сыну князю М.С.Воронцову, а затем к внуку - С.М.Воронцову. На экслибрисе помимо фамильного герба и девиза написано «С.Петербургский дом». Примечателен гербовый

эклибрис горнопромышленника, банкира, востоковеда, главного редактора 16 томной «Еврейской энциклопедии» барона Д.Г.Гинцбурга. Он собрал уникальную библиотеку в 35000 томов в основном еврейские и арабские рукописи, литературу по истории, философии, языкознанию и искусству на европейских и восточных языках. На его геральдическом экслибрисе приведены слова из библейской книги любовной лирики «Песнь Песней» (гл. IV, стих 71) на иврите «Вся ты прекрасна, подруга моя, и нет недостатка в тебе»[25]

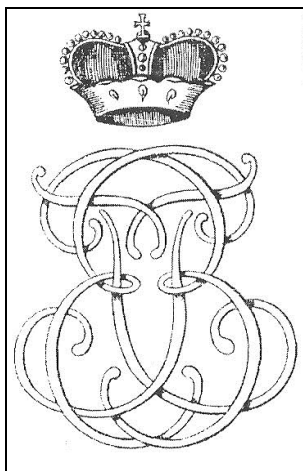


### Шкафъ

Библиотека князя Воронцова. Алупка вторая половина XIX века

В период интенсивной капитализации страны, когда основной характеристикой книжного знака становится узкий практицизм деловой сметки библиотеки, универсальный символ родовой собственности - экслибрис уступает свои позиции шрифтовому знаку, потому что он стал больше отвечать духу времени, как сугубо книжная метка принадлежности. Теперь в центре внимания многих «благородных» библиофилов стали появляться книжные знаки обоих родов. Но гербовый экслибрис в России не умер, так как вплоть до 1917 года оставались, живы многочисленные привилегии и предрассудки дворянства. Начиная с середины XIX века гербовый экслибрис также характерен для дворян, как наборный текстовый для разночинцев, купцов и интеллигенции. Правда, гербовый экслибрис получил новую окраску в новых условиях, впитывая в себя черты, противоречащие самому символическому духу, гордому назначению герба. Появляются такие новшества, как срисованные с журнальных иллюстраций шитодержатели - натурные, почти

жанровые персонажи. Геральдические фигуры, символы из чопорных свидетелей знатности превращаются в заурядные, вызывающие порой лишь любознательность предметы. Знаки, когда-то впечатлявшие пафосом геральдических композиций, теперь наперебой спешат выложить весь ассортимент суетно «обсказанных» предметов символичных только по названиям, тонут в случайных подробностях[26]. Примером этому может служить книжный знак автора ряда пьес и многих романсов графа А.А.Голенищева-Кутузова, на котором помимо куцега герба дана оторванная от композиции знака надпись «графа Голенищева-Кутузова» и огромный знак номера «№» с выделенным прямоугольником для простановки порядкового номера книги в книжном собрании знаковладельца.



Книжный знак В.Н.Г. (*князя В.Н.Гагарина*), вторая половина XIX века

Из геральдических книжных знаков, выполненных во второй половине XIX века, интересен гербовый экслибрис члена Государственного совета, председателя Археографической комиссии, председателя Общества древней письменности, товарища председателя Русского генеалогического общества, графа С.Д.Шереметева. В экслибрисе, выполненном в технике офорта русским гравером В.А.Бобровым, приведен девиз родового герба знаковладельца «Deus conserval omnia» («Бог сохраняет все»). Тот же фамильный герб приведен на книжном знаке младшего брата С.Д.Шереметева организатора пожарного дела в России, издателя журнала «Пожарник» и основателя Российского пожарного общества графа А.Д.Шереметева.

Интересен экслибрис князя В.Н.Гагарина, на нем изображена княжеская корона и монограмма владельца. Гербовый экслибрис в виде императорской короны с вензелем «С.А.» в декоративном овале имел пятый сын Александра II, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, убитый в 1905 году в Московском Кремле эсером-боевиком И.П.Каляевым[27]. На рубеже XIX-XX веков в России проходила активная интервенция в гербовый знак негербовых элементов - пейзажа, деталей натюрморта, портрета, интерьера, посторонних для геральдического знака элементов. Происходило мельчание формы геральдического книжного знака, а точнее его деградация, это было в первую очередь связано с изменениями в классовом составе общества, его сословных отношений. На смену мастерам классического стиля пришли художники шестидесятники с их рассказом и демонстрацией подробностей быта. В искусстве книжного знака наступил период эклектики, разноголосицы. Одним из поздних российских гербовых экслибрисов был знак генерал-майора, прокурора Московского окружного суда барона И.С.Нолькена, нарисованный У.Г.Иваском и гравированный в 1914 году Стерном в Париже.

Ряд геральдических книжных знаков было выполнено для общественных организаций, один из них был награвирован в 1750-е годы голландским художником Иоганном Ван дер Спайком и предназначался для библиотеки Медицинской канцелярии. Часть из шести выполненных художником гравюр по этой теме, относятся к гербовым декоративным экслибрисам, так как на них показаны лекарственные растения вокруг герба Российского государства. Другой экслибрис был выполнен в 1830-е годы в технике литографии для библиотеки Генерального штаба (Петербург), основанной в 1811 году, знак отличается изяществом рисунка и содержит перечень библиотечных сведений о данной книге. Во второй половине XIX века был выполнен гербовый экслибрис для библиотеки императорской Главной обсерватории в Пулковое. Эта крупнейшая астрономическая обсерватория близ Петербурга была открыта в августе 1839 года. Ее организатором был академик В.Я.Струве, который и являлся первым директором обсерватории.

Заметное место в геральдическом экслибрисе России занимали геральдические суперэкслибрисы, которые начали свою историю в XVI веке, начиная с суперэкслибриса Ивана Грозного, который появился на 50 лет позже, чем в Европе. Здесь суперэкслибрисы встречаются на пергаментных и кожаных переплетах французских и итальянских книг XVI-XVII веков.

Самые известные из этих переплетов исполнены французским издателем, литератором, переплетчиком и гравером Жоффруа Тори (книги, принадлежащие французскому королю Франциску I, известному собирателю Гролье, итальянскому коллекционеру Майоли). В России гербы и вензели оттиснутые золотом на сафьяновых переплетах книг встречаются в XVII веке в основном на книгах царских библиотек, позже они появились в библиотеках вельмож XVIII века и отчасти в начале XIX века. Известны гербовые суперэкслибрисы на книгах принадлежащих царским особам и представителям их семейств (суперэкслибрисы Павла I и Александра I). Часто суперэкслибрисы помещались на книгах, предназначенных для подношений. Появление книг в издательских переплетах, относительная дороговизна тиснения суперэкслибрисов, определили незначительный круг их распространения, а по мере развития бумажных книжных знаков, последние стали их успешно вытеснять. Великолепный суперэкслибрис был выполнен во второй половине XVIII века для фаворита императрицы Елизаветы, обладателя крупнейшей библиотеки, первого куратора Московского университета, одного из наиболее просвещенных деятелей своего времени И.И.Шувалова[28]. Суперэкслибрис Шувалова с единорогом и девизом «Providentia ducе» («Предусмотрительность предводителя») был, оттиснут золотом на коже.

Красив суперэкслибрис семьи Шереметевых - древнего боярского рода, с начала XVIII века графский род, его представители первыми в России получили графские титулы. Шереметьевский экслибрис тиснен золотом на коже, имеет девиз «Deus conserval omnia» («Бог сохраняет все»), его размер 120x110 мм. Красив тисненный золотом на коже суперэкслибрис братьев Паниных. Старший из братьев граф Н.И.Панин был дипломатом, посланником в Дании в Швеции, возглавлял Иностранную коллегию, был воспитателем цесаревича Павла Петровича. Его младший брат граф П.И.Панин, генерал-аншеф, участвовал в войне со Швецией (1743-1743), в Семилетней войне (1756-1763) и русско-турецкой войне (1768-1774), где командовал 2-ой армией. На суперэкслибрисе братьев Паниных изображен фамильный герб с дельфинами, окруженный орденой цепью. Велик по размерам и великолепно исполнен тисненный золотом на коже суперэкслибрис дипломата, посла во Франции и Англии, вице-канцлера, сенатора, князя А.М.Голицына. Изящен суперэкслибрис внука горнозаводчика Никиты Демидова П.Г.Демидова - основателя Ярославского юридического лицея, коллекционера, мецената, собравшего ценнейшую библиотеку,

естественнонаучную и нумизматическую коллекции, погибших почти целиком при пожаре Москвы в 1812 году. Чудом, уцелевшие книги Демидова, представляют чрезвычайную редкость. Суперэкслибрис Демидова включает в себя фамильный герб, пожалованный Петром I в 1720 году, который представляет собой увенчанный дворянской короной щит, разделенный полосой: в верхней части изображены три рудоискательные лозы, в нижней - молот[29].

Интересны гербовые декоративные суперэкслибрисы, выполненные для старейшего высшего учебного заведения России Московского университета. Они выполнены тиснением золотом на коже в типографии Московского университета в конце XVIII - 1-й четверти XIX века. Эти суперэкслибрисы представляет собой герб Российского государства, окруженный орнаментальной рамкой из цветов. Часто суперэкслибрис Московского университета сочетался с золотым тиснением на задней крышке переплета, где было написано: «За прилежание». Таким экземпляром награждались студенты университета за отличные успехи[30]. Во второй половине XVIII века стали появляться русские шрифтовые суперэкслибрисы, в которых герб был заменен текстом с указанием принадлежности книги определенному владельцу. Известен шрифтовой декоративный суперэкслибрис библиотеки Московского университета - первой публичной библиотеки Москвы, открытой 3 июля 1756 года, на нем в овальной декоративной рамке выполнена надпись «Ex biblioth. univers. mosq.». Во второй половине XVIII века был выполнен шрифтовой суперэкслибрис для университетского Благородного пансиона, основанного в 1779 году куратором Московского университета М.М.Херасковым. В это же время был выполнен суперэкслибрис для одного из старейших в мире Вольного экономического общества, первого русского научного общества, основанного в 1765 году в Петербурге. На этом суперэкслибрисе изображен пчелиный улей, как символ трудолюбия, окруженный ветвями, снопом колосьев, сельскохозяйственной утварью: бороной, серпом, лопатой граблями, косами и вилами, венчает его девиз общества «Полезное».

Шрифтовые вензелевые суперэкслибрисы тисненные золотом на коже, наряду с гербовыми суперэкслибрисами, имел генерал-адъютант И.И.Шувалов, оказавший помощь М.В.Ломоносову в основании Московского университета, на нем дана монограмма владельца «I.I.S.». Скромный шрифтовой суперэкслибрис «Le comte Moussin - Pouschkin» отмечал книги из знаменитой библиотеки историка, археографа, члена Российской

академии наук, президента Академии художеств, графа А.И.Мусина-Пушкина. В его уникальной библиотеке был памятник древнерусской литературы конца XII века «Слово о полку Игореве», свод древнерусского феодального права «Русская правда», включающий в себя Правду Ярослава Мудрого, Правду Ярославичей, Устав Владимира Мономаха, списки XIII-XVIII веков, а также собрание ценнейших рукописей. До 1799 года библиотека находилась в Петербурге, а по выходе Мусина-Пушкина в отставку она была перевезена в Москву, где была открыта для всех занимающихся изучением русской историей. По словам Н.М.Карамзина, это был неисчерпаемый материал, который не только прочесть, но и пересмотреть в короткое время невозможно[31]. Библиотека погибла в московском пожаре 1812 года, то немногое, что сохранилось, было роздано Мусиным - Пушкиным по рукам или находилось в его подмосковном имении.

В первые годы XIX века появились экслибрисы, исполненные рельефным тиснением - конгревом. Таков гербовый экслибрис одного из руководителей военного воздухоплавания, инициатора производства аэростатов и дирижаблей в России, генерал-лейтенанта А.М.Кованько. На плотной глянцевой бумаге, имеющие по краям бумажные кружева, конгревом оттиснут его герб. В технике конгрева также выполнен экслибрис ученого-востоковеда, профессора Петербургского университета В.В.Григорьева и книжный знак сенатора, дипломата, члена Государственного совета князя Н.Б.Юсупова, к нему обращался А.С.Пушкин в послании «К вельможе». Интересен геральдический конгревный экслибрис для поэта, критика и драматурга, близкого знакомого А.С.Пушкина П.А.Катенина. Рельефные экслибрисы не получили распространения, как дорогие и непрочные - с течением времени выпуклые части рисунка сглаживались и он делался трудно различимым. Применялись специальные конгревные машинки при помощи, которых на титульных листах книги оттискивались гербы или инициалы.

В XIX века на смену пышным, часто замысловатым, но обычно красивым геральдическим знакам приходят вензелевые, сюжетные и шрифтовые экслибрисы, композиция знаков упростилась, они стали менее торжественными и пышными, более свободными и легкими. Вензелевые (польское слово «Wezel» значит «узел») книжные знаки представляют собой переплетенные первоначальные буквы имени и фамилии владельца. Изящно выгравированные инициалы обычно окружались пышными рамками, перекликающимися с книжными и архитектурными украшениями середины XVIII века. Таков в частности первый



российский вензелевый экслибрис, появившийся в 50-х годах XVIII века на книгах библиотеки Медицинской Канцелярии (позднее Медицинской Коллегии), исполненный в офорте гравером из Лейдена Иоганном Ван дер Спайком[32]. Эта библиотека была основана по инициативе военного врача, почетного члена Петербургской Академии наук, главного директора Медицинской канцелярии П.З.Кондоиди. На книжном знаке библиотеки Медицинской Канцелярии показаны лекарственные растения вокруг вензеля «С.М.» («Colleqiae Medicinae»). К вензелевым книжным знакам относится экслибрис князя В.Н.Гагарина, сделанный в технике литографии во второй половине XIX века. Интересен офортный книжный знак для писателя И.С.Тургенева, это очень красивый, небольшой и скромный книжный знак с вензелем в центре и надписью вокруг «Ex libris Iwan Tourqeneff». В гравюре на меди были выполнены вензелевые книжные знаки для библиотек императора Александра II и его родного брата, великого князя, генерал-адмирала, председателя Государственного совета, второго сына Николая I, Константина Николаевича. На книжных знаках изображена императорская корона с сиянием и вензелем «А.Н.» в императорском знаке и вензелем «К.Н.» в великокняжеском экслибрисе[33].

Самая обширная группа русских книжных знаков - сюжетная. В XVIII веке она встречалась редко, в первой половине XIX века появляется чаще, успешно конкурируя с гербовыми экслибрисами, со второй половины XIX века постепенно вытесняет гербовые знаки, а в начале XX века начинается их стремительное развитие. Для работы над сюжетными книжными знаками привлекаются лучшие художники и граверы, широко применяется гравюра на меди и дереве, а с демократизацией библиотек все больше и больше экслибрисов выполняется типографским способом. На книжных знаках стали изображаться пейзажи, архитектурные сооружения, внутренний вид библиотек и отдельные книги. Весьма характерны для этого периода взаимоотношения владельца знака и его автора. Титул, деньги положение вкусы хозяина безраздельно довлели над творческими замыслами художника. Первый сюжетный книжный знак второй половины XVIII века принадлежал канцлеру, светлейшему князю А.А.Безбородко.

На нём изображено дерево, перевитое гирляндами цветов, и указано имя владельца. Этот редчайший офортный книжный знак, которого нет ни в одном современном собрании, известный только по литературе. Интересен экслибрис, выполненный

гравером Шенбергом для императрицы Екатерины II, в композицию знака включены книжные полки, заключенные в круглую рамку. К числу наиболее удачных сюжетных экслибрисов конца XVIII века можно отнести книжный знак князя А.М.Белосельского-Белозерского – сенатора, посланника в Дрездене и Турине, писателя, автора оперы «Оленька». Его экслибрис выполнен в гравюре на меди и представляет собой строгую декоративную композицию, оттиснутую в оригинале цветом сепии, венчает знак девиз «Одно сердце - одна жизнь».



Скородумов Г.И. граф А.Безбородко последняя четверть XVIII века

В первой половине XIX века появляются более сложные книжные знаки, включающие в композицию человеческие фигуры и целые сцены. Таков, например строгий и изящный экслибрис архитектора Жана Тома де Томона, автора здания Биржи и Ростральных колонн в Петербурге и «Мавзолея» в Павловске. На его экслибрисе изображена женщина в античном костюме, рисующая голову Афины. Привлекает сюжетный экслибрис с монограммой владельца, выполненного рисунком тушью для героя войны 1812 года соратника А.В.Суворова и М.И.Кутузова генерала А.П.Ермолова. Его обширная библиотека в 7798 томов была приобретена в 1855 году Московским университетом, в ней есть ряд автографов, в том числе дарственные надписи Дениса Давыдова, М.Ф.Орлова и В.А.Жуковского. В это же время был выполнен экслибрис для писателя, издателя журнала «Русский вестник» С.Н.Глинки, на нём изображена раскрытая книга и палитра с кистями, а на книге сделана надпись «Изящные искусства, музыка». Образцом сюжетно орнаментальных книжных знаков могут служить три почти одинаковых экслибриса книгопродавцев А.С.Ширяева, А.Ф.Смирдина и П.И.Крашенинникова с изображением лиры и глобуса,

украшенных узором из цветов и листьев. Этим подчеркивалась преемственность «Библиотеки для чтения книгопродавцев А.С.Ширяева, которому наследовал А.Ф.Смирдин, а ему последнему в свою очередь П.И.Крашенинников. Отличие этих книжных знаков только в имени владельца.



Фаворский В.А. Ex libris Вильгельма Юльевича Вольф

Скромным сюжетным экслибрисом располагал издатель, книгопродавец и типограф М.О.Вольф, который первым в России издал собрания сочинений В.И.Даля, А.Ф.Писемского, П.И.Мельникова-Печерского, И.И.Лажечникова, М.Н.Загоскина, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, Жюль Верна и др. Интересен сюжетный офортный книжный знак для библиотеки Севастопольской офицерской библиотеки, на нём изображен якорь в овале, венки из дубовых и лавровых листьев и двух Андреевских флагов, корма фрегата и надпись «Севастопольская офицерская библиотека». К сюжетному относится книжный знак, выполненный в технике литографии, для библиотеки Петровского Полтавского корпуса в 1840-х годах, а также экслибрис для библиотеки Мальцевского Владимирского училища. Оригинален книжный знак для библиотеки Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний, выполненный в 1910 году художником В.Жуковым, на нем нарисован корабль, входящий в гавань, и два щита с гербом Липецка и вензелем Петра I. На книжном знаке для библиотеки Белогорского мужского монастыря в Пермской губернии изображена раскрытая книга, крест, череп, две свечи, венчает знак надпись славянским

шрифтом «Свет Христов просвещает всех. Слова книжные суть реки напоющие Вселенную».

Книга когда-то предмет редкий и дорогой, к середине XIX века вследствие технизации ее производства и замены дорогостоящих материалов, стала доступной практически большинству. Библиофильство сделалось любимым увлечением образованного человека. С ростом частных книжных собраний резко возросло количество книжных знаков. Во второй половине XIX века изменился социальный состав владельцев библиотек. Экслибрисами стали украшать книги ученые и писатели, библиофилы и богатое купечество. Все больше появляется сюжетных книжных знаков, которые к началу XX века почти совсем вытеснили гербовые экслибрисы. Несомненно, этому способствовало развитие отечественного графического искусства.



Макаренко Н.Е. Из книг Н.П.Лихачёва 1908

Работы художников Н.И.Уткина, А.А.Агина, Г.Г.Гагарина, появление художественных журналов, все это воспитывало вкус и культуру владельцев библиотек. Заказчики становятся более требовательными, а исполнители более искусными. Книжные знаки получают распространение среди русской интеллигенции. Изображение библиотеки показано в центре композиции книжного знака библиографа, собравшего уникальную библиотеку и коллекцию гравированных и литографированных портретов русских деятелей книги Д.В.Ульянинского. В кабинетной обстановке изображен историк, археограф, основатель русской сфрагистики, создатель уникального музея палеографии, автор трудов по истории русского иконописания, академик АН СССР Н.П.Лихачев. Этот сюжетный экслибрис выполнил искусствовед

Н.Е.Макаренко. Искусствовед и художественный критик П.Д.Эттингер изображен на экслибрисе, выполненном Л.О.Пастернаком, внимательно рассматривающим графические листы удобно расположившись на диване[34]. Портрет журналиста, театрального критика и «короля фельетонистов» В.М.Дорошевича приведен в цинкографском экслибрисе с фототипией художником А.Н.Лео.



Шехтель Ф.О. Библиотека Московского художественного театра  
1910-е годы

К началу XX века экслибрис все больше становится достоянием буржуазного потребителя. Бурно развивается живопись, которая оттеснила графику на вторые роли, ксилография используется не как оригинальная, а как репродукционная техника. Все это отразилось и на книжном знаке, он становится вял, бесстилен, эклектичен. Некоторые русские библиофилы особенно не утруждали себя композиционными идеями личных книжных знаков, они просто копировали рисунки иностранных экслибрисов с их аллегорическими фигурами и другими «роскошными» мотивами. Таков книжный знак члена Московской судебной палаты Н.Н.Бирукова. Владелец уникального книжного собрания, приобретенного Румянцевским музеем, в которое входили инкунабулы, палеотипы, эльзевиры, славянские старопечатные книги, издания петровского времени, россика, книги по истории, археологии, юридическим наукам имел сюжетный экслибрис, заимствованный с книжного знака «Miss Ethel Selina Clulow» работы Eduard Slocombe[35]. На нём изображено фруктовое дерево, лампа и книги, на корешке одной из них показан дворянский герб Бируковых. На экслибрисе судебного следователя Московского уезда П.П.Семеновского, подарившего в 1916 году свою библиотеку Историческому музею

в Москве, изображен мужчина, разрубающий мечом канат с узлами. Рисунок представляет собой издательскую марку фирмы Е.Б.Фохта в Берлине, дополняет композицию знака акростих Сергея Городецкого: «Книга - ярь людского века, нищих солнце. Все что есть - и в простор - земная весть! Гордость Богу человека, а предвечной Теми - месть». Эскиз ирис искусстваведа и библиофила В.Я.Адарюкова является также воспроизведением уменьшенной в четыре раза литографии русского живописца рисовальщика, гравера и литографа А.С.Орловского для титульного листа альбома «*Fantaisties dessinees lithographiquement par Alexandre Orlowsky*», с заменой этой надписи словами «Из книг В.Я.Адарюкова».

Известный архитектор, представитель стиля «модерн», автор проекта здания Московского художественного театра Ф.О.Шехтель в собственном эскизе изобразил часть главного здания Русского отдела на международной выставке в Глазго, построенного по его проекту. Два других своих знака Шехтель нарисовал для библиотеки Московского художественного театра и одного из основателей театра «Летучая мышь» Н.Л.Тарасова, в сюжете которых использовал эмблему театра. Художник и коллекционер Н.В.Зарецкий выполнил на свое имя утонченный эскиз в виде виньетки с грустящим Пьеро. Художник Ф.Даневич выполнил сюжетный эскиз для прозаика, драматурга, переводчика и историка искусства П.П.Гнедича, на нём дан вид финляндского имения владельца - озеро, вдаль два острова, покрытых лесом, а на переднем плане пять сосен. Удачен эскиз для академика АН СССР И.Ю.Крачковского, сделанный в 1910 году его женой В.А.Крачковской. Древняя мечеть и фигуры двух мусульман в чалмах, читающих рукописную книгу, как нельзя лучше отражают в эскизе профессию владельца - крупного ученого арабиста. Три сюжетных книжных знака было выполнено для издателя В.И.Клочкова. Первый знак в древнерусском стиле выполнил художник С.С.Соломко, на нём изображены две женские и мужские фигуры, деревья и павлин. На втором знаке, работы художницы церковной живописи О.М.Макаровой, изображены книги на полке, затянутые паутиной, а на знаке художника Я.Я.Бельзена изображен подьячий за столом на фоне книжных полок, пишущего в толстой книге. На всех трех книжных знаках сделана надпись «Антикварная книжная торговля В.И.Клочкова. СПб., Литейный пр. 55».

Московский коллекционер и библиофил А.П.Бахрушин собрал уникальную библиотеку в 25000 томов, включавшую в себя книги по истории, археологии, искусству, нумизматике,

генеалогии, географии, этнографии и культуре России. Он имел несколько книжных знаков, один из них выполнил живописец Ф.К.Бурхардт, на нём художник нарисовал книги, свиток, складень, старинную бутылку с гербом и братину, не забыв изобразить вид Московского Кремля[36]. Художник Ф.И.Захаров в 1913 году впервые в отечественном экслибрисе изобразил портрет А.С.Пушкина, воспроизведя знаменитый портрет кисти О.А.Кипренского, заключив его в стилизованную рамку из лавровых и дубовых листьев. Экслибрис предназначался для крупнейшего пушкинского собрания профессора - биолога Г.В.Эпштейна. В качестве изобразительной основы выбрана книга и в экслибрисе активного участника Московского общества естествоиспытателей природы, биолога, профессора Московского университета Г.Г.Щеголева, выполненным художником П.В.Сивковым. Сотрудник популярного журнала «Зритель» художник Николаевский после революции 1905 года выполнил проект знака, который остался незамеченным, о нем вспомнили уже в советское время. На рисунке изображен уродливый черт, который олицетворял положение печати при царской цензуре[37].

Русские сюжетные экслибрисы на рубеже XIX-XX веков по облику напоминали репродукции случайных рисунков, уменьшенных до размеров книжного знака. Таков литографский книжный знак основателя общества любителей живописи, редактора журнала «Старина и новизна» графа С.Д.Шереметева, выполненный художницей, иллюстратором детских журналов Е.М.Бем. На знаке изображен читающий мальчик со свитком в руках, в старинной боярской одежде на фоне книжных полок. Рядом развернутый свиток с элементами герба рода Шереметевых. В том же духе выполнен экслибрис для востоковеда, генеалoga, нумизмата и библиофила В.К.Трутовского, оттиснутый с цинкографского клише по рисунку акварелью художника Б.М.Боголобова. Соответствует требованиям времени и экслибрис коллекционера старинных китайских монет, японской бронзы и изделий из слоновой кости, московского купца Я.Г.Долбышева с изображением Фауста. Сюжетный экслибрис имел старообрядческий епископ Рязанский и Егорьевский Александр (А.П.Богатенко), на нем изображены руки покоящиеся на книге с инициалами «Е.А» (епископ Александр) и надписью «Се мое»[38], а также автор статей о сектантах Е.В.Молодцова. На ее знаке работы художника А.Н.Тришевского, изображена звезда, змея и вензель «Е.М.» с надписью «Знание - единение»[39]

Поражает своими гигантскими размерами (250x140 мм) и своим содержанием книжный знак Г.В.Шварца. Автор этого

«шедевра», судя по надписи на знаке некий «Forster». На нём наглядно показано в рисунке, как надо держать книгу в руках, переворачивая страницы, и как не надо, о чем сделаны подписи и даже на двух языках, на русском и немецком. Кроме того, на этом знаке изображена обнаженная женщина с серпом и горящим факелом в руках, а также кавалер мальтийского ордена, бюсты Шекспира и Шиллера, портрет Ибсена, стихи Пушкина и Шиллера, герб и кроме всего этого следующее стихотворение: «Я Вам любовницу охотно одолжу, когда обзаведусь я подходящей, но книгою я больше дорожу, чем женскою любовью преходящей, и потому боюсь Вас рассердить - я книгою Вам не могу служить». Велик по размеру был книжный знак, выполненный живописцем, графиком и театральным художником М.А.Врубелем для коллеги по художественному цеху - живописца и собирателя древнерусской живописи И.С.Остроухова по сюжету, который был заказан владельцем знака. На нем показана символическая сцена с Аполлоном, побеждающим Пифона (победа Света над Мраком). Оригинал был переведен в ксилографию в 1921 году И.Н.Павловым. Этот экслибрис выдержан в стиле откровенного даже грубоватого модерна, что сообщает и изображению, и неудачно вкомпонованному шрифту характер вычурности и громоздкости. В ином ключе выполнил для И.С.Остроухова книжный знак живописец В.М.Васнецов. Его рисованный знак перевел в гравюру по дереву гравер В.В.Матэ. В верхней части знака изображен монах-летописец за старинным кодексом, в который он при свете лампы вписывает «правду нелицеприятную». В графической миниатюре органично объединены шрифт и изображение, он точно характеризует владельца библиотеки его вкусы и характер. Этот книжный знак выглядит счастливым исключением из общего числа экслибрисов благодаря тому, что решен в духе древнерусского инициала, придавшего композиции книжный облик[40].

Значительные изменения претерпят облик и специфика русского сюжетного книжного знака с момента вступления на арену культурной жизни журнала «Мир искусства» и одноименного художественного объединения. Совершенно иным - подвижным, живым, передающим мысли и стиль своих владельцев, графическим по форме станет экслибрис у мастеров «Мира искусства». Культ развитой утонченной формы, создание нового художественного стиля, увлечение историей и культурой прошлого были характерны для художников этого объединения. С их именами, безусловно, связан расцвет искусства книжного знака в России. Лучшие представители этого направления поднимут



экслибрис, как особый вид графики, графики малой формы, на уровень высоких достижений искусства того времени. Деятельность «Мира искусства» подтвердит мысль У.Г.Иваска, высказанную в начале XX века, о том, что история художественного книжного знака есть история смены графических стилей.

Во второй половине XIX века широкое распространение получили шрифтовые экслибрисы. Это наиболее простая форма экслибриса. Здесь, естественно, сам шрифт служит единственным эмоциональным и изобразительным средством. Правда шрифтовой экслибрис не всегда способствует глубине характеристики своего владельца, но зато дает возможность автору проявить талант тонкого графического стилизатора. Русский шрифтовой экслибрис появившийся в виде ярлыка библиотеки князя Д.М.Голицына в начале XVIII века не получил сразу распространения. Только через столетие с развитием типографского дела, благодаря дешевизне изготовления, внешней простоте, а иногда художественному оформлению, они начинают использоваться все шире и шире. Шрифтовой экслибрис в России имеет свою историю и эстетику. Шрифт - тоже искусство. Наборный шрифтовой ярлык имел издатель и книгопродавец В.А.Плавильщиков, поэт Г.Р.Державин в виде вензеля «Г.Д.» а также баснописец И.А.Крылов с девизом на знаке «В гостях хорошо, а дома лучше». Имел шрифтовой наборный экслибрис министр внутренних дел граф А.А.Закревский, а литографский шрифтовой книжный знак украшал книги домашней библиотеки министра народного просвещения графа А.В.Головнина.

Шрифтовой штемпель отмечал книги историка, ректора Московского университета, академика С.М.Соловьева. Его библиотека, включающая в себя книги по русской истории, истории славян, всеобщей истории, правоведению, истории литературы и искусства, книги на древнегреческом, латинском, немецком, французском и славянских языках отличалась большим числом автографов. Министр иностранных дел, почетный член Академии наук нумизмат и генеалог князь А.Б.Лобанов-Ростовский имел декоративный шрифтовой экслибрис. Его библиотека, насчитывающая 8429 томов, состояла из книг по истории России, Франции и французской революции, геральдике и генеалогии, археологии и нумизматике, международному праву, политике и дипломатии, философии, медицине и народному хозяйству, богословию и истории церкви. После смерти владельца его библиотека была приобретена Николаем II и являлась двенадцатой из числа его библиотек. На некоторых книгах

библиотеки князя Лобанова-Ростовского имелся и экслибрис императора Николая II. Шрифтовой экслибрис имела императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра I, на нём выполнена надпись под императорской короной «Из библиотеки императрицы Елизаветы Алексеевны», окруженная венком из лавровых ветвей. Также шрифтовыми экслибрисами украшали книги своих личных библиотек военный министр, генерал-фельдмаршал Д.А.Милютин; министр внутренних дел, председатель Государственного совета и Комитета министров, граф В.П.Кочубей и декабрист, член «Союза спасения», «Союза благоденствия» и Южного общества, осужденный на 20 лет каторги Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Шрифтовые книжные знаки наклеивали на книги домашних библиотек художник-гравер Егор (Георг-Иоганн) Гейтман, автор первого опубликованного портрета Пушкина, (приложен к «Кавказскому пленнику», изданного в 1822 году); директор императорских московских театров и Оружейной палаты, писатель, и драматург М.Н.Загоскин.

На шрифтовых ярлыках обычно указывалось лишь имя, отчество и фамилия владельца, нередко даже без упоминания «Из книг». Одним из таких ярлыков пользовался А.П.Чехов, на нем было набрано «Антон Павлович Чехов», впрочем, у писателя было несколько шрифтовых экслибрисов, различались они лишь шрифтами. Но удивлял экслибрис, принадлежавший Императорской публичной библиотеке, на нем было всего три слова «зал, шкаф, полка» и № (книги), без указания знаковладельца[41]. Некоторые ярлыки были снабжены различными изречениями, типа: «Знание-сила», «Человек умирает, но книга живет», «Книга-друг, который никогда не меняется». Появилось много и таких надписей «Михаил Семенович Рябинин книги свои никому не продает и не дарит, а сия книга у него украдена» или «Кто эту книгу утаит, тот будет назван вором» (экслибрис В.Н.Глухарева)[42]. Безнадежной покорностью неизбежному и неотвратимому, сквозит в признании А.П.Кондырева в своем экслибрисе «Вот судьба одолженной книги: часто ее теряют, всегда портят». Другой владелец книги П.И.Мильковский верит в неотвратимую силу денег, надеясь на то, что в случае потери книги, ее вернут. На своем штемпеле он написал «Собственность П.И.Мильковского. Не продается. Доставивший потерянную книгу получит рубль». Хитрую уловку в борьбе с книжными ворами изобрел священник С.К.Верховский. На книги домашней библиотеки он наклеил ярлык похожий на долговую расписку с текстом: «...Я, нижеподписавшийся, взял для

прочтения и научного пользования книгу....., лично принадлежащую священнику Сергею Константиновичу Верховскому и обязуюсь возвратить ее к ..... в целостности и сохранности, в противном случае повинен уплатить о. Сергею стоимость её. Подпись...». Грубоватый афоризм украшал ярлык А.Н.Оборина из Рыбинска «Если дружбы истинной ты напрасно ждешь - только в книге верного друга ты найдешь...»[43].

На книжном знаке Н.М.Бакунина написано «Прошу не зачитывать!», а на экслибрисе Д.И.Кабановой начертано «Желающий может эту книгу взять себе, тот, кому она не нужна, пусть ее не рвет, а передаст другому». На некоторых шрифтовых знаках можно найти правила обращения с книгами. «Прошу читающих мои книги, заметок в ней не писать, углов не загибать и книгу не выворачивать» (экслибрис Н.Блохина) или «Прошу любезных читателей держать книги в чистоте и порядке» (экслибрис В.Ф.Прорубникова)[44]. На шрифтовом экслибрисе археолога и нумизмата, хранителя московской Оружейной палаты В.К.Трутовского изящно написано по-латыни: «Я, эта книга, принадлежу библиотеке Владимира Трутовского. Да не тронет меня никто без разрешения моего владельца. Москва». После такого тактичного и спокойного обращения владельца книги, трудно представить человека, который бы мог остаться глухим к глазу книги. Но не только надписи охранительного свойства украшали шрифтовые экслибрисы, так на книжном знаке для историка русского и византийского искусства Н.П.Кондакова была сделана надпись из Хадиса на арабском языке «Взвешивают чернила ученых и кровь мучеников в День воскрешения мертвых, и ни одно из них не превосходит другое»[45].

Изречения афоризмы, девизы на экслибрисах довольно часто применялись в российских книжных знаках. Надпись на книжном знаке излагала, как правило, библиофильское кредо владельца. Их прообразом, с известной оговоркой, можно считать вкладные записи на древнерусских рукописных книгах. Надписи на знаках были пропущены сквозь призму владельческого мировоззрения, за каждым изречением и афоризмом за каждой надписью на экслибрисе встает совершенно четкое обличье книголюбца его нравственная позиция. В экслибрисных надписях видно косвенное отражение общественных и этических взглядов знаковладельцев. Но в целом «риторическая болезнь» российского экслибриса являлась наследием геральдики, уделом прошлого и отдельные ее рецидивы давали о себе знать время от времени. Нотариуса А.А.Подпалова, вероятно сильно мучила проблема сохранности книг собственной библиотеки, и он определил свое

владельческое мировоззрение в экслибрисе, украсив его собственными назидательными перлами: «Угодно так всегда судьбе: когда дашь для прочтенья книгу, иль изорвут ее тебе, Или взамен получишь фигу». Свой взгляд на книгу отразил в книжном знаке Г.И.Малышев, он явно питал слабость к поэзии, поэтому о книге предпочел говорить стихами: «Мудрец ученый и простак, здоровый и недужный - находит в ней отраду всяк, но для невежд - она пустяк и только хлам ненужный». Шрифтовой ярлык имел писатель Н.А.Некрасов, собравший библиотеку в 1500 томов, а также Л.Н.Толстой, который помечал свои книги скромным штемпелем - кольцо с надписью «Библиотека Ясной Поляны». Наборные шрифтовые знаки были на книгах композитора, пианиста, дирижера и главы «Могучей кучки» М.А.Балакирева, живописца-передвижника В.Д.Поленова, писателя В.К.Короленко, пианиста и дирижера, основателя Московской консерватории Н.Г.Рубинштейна. Шрифтовые экслибрисы украшали книги композитора, пианиста и дирижера С.В.Рахманинова, певца, народного артиста Республики Ф.И.Шаляпина, писателя Ф.К.Сологуба, певца, народного артиста Республики Л.В.Собинова, композитора и пианиста С.И.Танеева.

## БИБЛИОТЕКА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА СЫРЕЙЦКОВА.

Врубель М.А. Библиотека Николая Петровича Сырейщикова 1904

Привлекает экслибрис И.В.Цветаева, филолога и искусствоведа, директора Румянцевского музея в Москве, основателя и первого директора Московского Музея изящных искусств имени А.С.Пушкина, отца поэтессы М.И.Цветаевой. Сдержан и торжественен шрифтовой книжный знак начальника Придворной певческой капеллы, организатора симфонических концертов графа А.Д.Шереметева. Скромнен книжный штемпель, выполненный в Италии по заказу Томазо Сальвини, для директора императорских театров В.А.Теляковского. Штемпели имели историк, положивший начало научному изучению первых театров на Руси, один из организаторов Исторического музея, историограф Москвы И.Е.Забелин и издатель, владелец театра и драматург

А.С.Суворин. Экслибрис теоретика литературы и драматурга О.М.Брика украшают слова Данте «И в этот день мы больше не читали», автор знака художник К.А.Липскеров, а на графической миниатюре для музыковеда и историка театра Н.Ф.Финдейзена начертаны слова «Вечный свет, да светит им». Образцом художественного шрифта служит экслибрис московского купца и коллекционера Н.П.Сырейщикова, работы М.А.Врубеля.

Графическая миниатюра оригинальна по стилю, лаконична по форме и компактна в размещении шрифта, в ней сам шрифт служит изобразительно-декоративным средством и несет на себе эмоциональную нагрузку. Скромная надпись «Библиотека князя Г.Г.Гагарина» на шрифтовом ярлыке, набранном в типографии, украшал книги художника, вице-президента Академии художеств, основавшего при ней Древнехристианский музей, князя Г.Г.Гагарина, знак прост до наивности, без украшений, в простой рамке. Часть книг из библиотеки князя поступили в Эрмитаж.

Шрифтовые ярлыки часто выполнялись для общественных организаций и государственных учреждений. Один из таких ярлыков имела библиотека Эрмитажа, он был выполнен в гравюре на меди в середине XIX века. Шрифтовой ярлык в виде типографского набора украшал книги библиотеки Московского купеческого собрания, а также Общества русских драматических писателей, созданного в 1870 году по инициативе А.Н.Островского. Старейшие наборные книжные знаки принадлежали библиотеке Московского дворянского клуба, основанного в 1783 году и библиотеке Санкт-Петербургского театрального училища, открытого в 1779 году.



М.Д.К. - (*Московский дворянский клуб*) первая половина XIX века

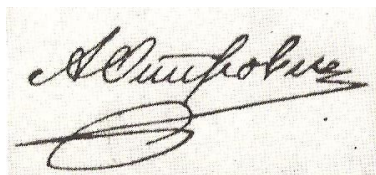
Имело шрифтовой книжный знак Общество истории и древностей российских - первое научное историческое общество в России, открытое в 1804 году при Московском университете. Оно

издавало «Записки и труды», «Русский исторический сборник», «Чтения», в которых было опубликовано огромное количество разнообразных источников, а также исследований по русской истории. Наборный ярлык имела библиотека Благородного собрания (Дворянского), существовавшего в Петербурге с 1820-х годов; Русское театральное общество, созданное в 1882 году; Московский Немецкий клуб, открытый во второй половине XIX века; Невское общество устройства народных развлечений, основанное в Петербурге в 1885 году; библиотека Русского охотничьего клуба, на сцене которого с 1890 года шли спектакли любительского кружка К.С.Алексеева (Станиславского), ставшего основой МХАТ, а также театральная библиотека Санкт-петербургского городского попечительства о народной трезвости, возникшего в конце XIX века.



Николай Семёнович Лесков вторая половина XIX века

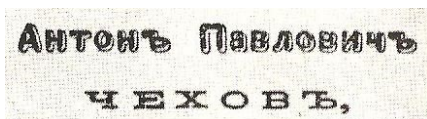
В конце XVIII века в России появились оттиснутые штемпелем на книге знаки. Первоначально это были оттиски гербовых печатей, закопченных сажей на титульных листах книги. Позже с середины XIX века стали применяться каучуковые штемпели, которые не украшали, а портили книгу. Такими штемпелями пользовались ряд писателей и поэтов, в том числе А.К.Толстой и В.Я.Брюсов, историки С.М.Соловьев и М.П.Погодин.



А.Островский первая половина XIX века

Голубой штемпель-печатка писателя Н.С.Лескова свидетельствует, что проживал он одно время в Петербурге на Сергеевской улице, дом 56, квартира 14.

По этому адресу писатель с 1880 по 1885 годы устраивал известные литературные субботники. Лесков был завзятый библиофил, некоторые его книги снабжались надписью «Величайшая редкость» и штемпелем «Редкость».



Антон Павлович Чехов конец XIX века

Исследователь русского книжного знака В.А.Верещагин справедливо возмущался варварским использованием штемпелей и говорил часто об отсутствии должного уважения к книге. В.Я.Адарюков[46] с возмущением писал о том, что «омерзительными» штемпелями пользовались даже люди богатые, для которых, казалось бы, расход на составление художественного книжного знака не мог быть обременительным, упоминая при этом штемпели «Библиотека графа К.П.Кутайсова», «Библиотека графа И.А.Апраксина», «Князя Анатолия Ивановича Барятинского», «Князя Михаила Дмитриевича Волконского» и весьма многих и многих других. Большинство оттисков с каучуковых штемпелей чернилами прямо на книге были настолько антихудожественны, что зачастую были губительны для внешнего вида книг. Художник в изготовлении таких чрезвычайно дешевых и немудреных знаков участвовал редко. Но основной потребитель этих знаков, как, впрочем, и ярлыков, отпечатанных с типографского набора, вполне довольствовался этой далекой от подлинного искусства экслибрисной продукцией.

Художественный экслибрис делал неловкие первые шаги на пути самостоятельного развития, он был пока еще слишком повествовательным, громоздким, старался в ряде случаев за счет величины и «шикарности» мотива перецеголять геральдический экслибрис. Экслибрис конца XIX века, как правило, декларировал, а не выражал, разглагольствовал, а не информировал, пересказывал, а не обобщал. Медленно и словно нехотя нащупывал он пути и способы передачи внутреннего облика человека без...«мебельного» декорационного хлама[47]. П.И.Нерадовский, говоря об этом времени, отмечал, что российские художники «не могли оказать влияния на развитие у нас художественных книжных знаков уже по одному тому, что область книжного искусства была чужда их дарованию»[48]. Значительное влияние на русский экслибрис оказало творческое

объединение художников «Мир искусства». «Мир искусства» возник как романтическая реакция на проявление натурализма и салонно-академических тенденций в живописи. Он привлек к себе многих лучших художников своего времени часто не схожих по творческим принципам призывом к свободе выражения художественной индивидуальности заключающейся в разнообразии формальных поисков и решений.



Остроумова-Лебедева А.П. Книжный знак Остроумовой Лили 1902

Несомненное единство стремлений лежало в основе творчества группы молодых петербуржцев возглавивших объединение. Художники А.Н.Бенуа, А.П.Остроумова-Лебедева, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, Г.И.Нарбут И.Я.Билибин, М.В.Добужинский, Б.М.Кустодиев, Е.Е.Лансере, Д.Д.Бушен, Д.И.Митрохин, С.В.Чехонин, и Е.С.Кругликова создали целую эпоху в русской книжной графике и оказали большое влияние на ее дальнейшее развитие. Они с увлечением работали также в области искусства графики малых форм, в том числе и в создании экслибриса, в котором проявились индивидуальные особенности каждого мастера и общее направление творчества «Мира искусства». Художники творческого объединения «Мир искусства», разрабатывая новые формы книжного знака, композиционно решали экслибрис как виньетку, заставку, иллюстрацию. Каждому из их знаков присущи были качество высокой графической культуры: стройность композиции, гибкость и изящество рисунка, филигранная ажурность деталей, книжность облика. В любом мирискусническом экслибрисе есть аромат



индивидуального графического почерка их автора, «кусочек души» их творца[49].

Романтический пессимизм - основа теории и практики «Мира искусства». Передвижничество было уже истощено, эпигонствовало и сходило на нет, не умея смотреть вперед. Художественные оппозиционеры глядели назад, там было великое искусство русского прошлого. Там было великое искусство европейского прошлого. Оно становилось мерилем, образцом, оно было художниками забыто или оставалось в тени и «Мир искусства» возрождал его[50]. В среде интеллигенции начинает процветать культ книги, всех ее элементов, в том числе и экслибриса.



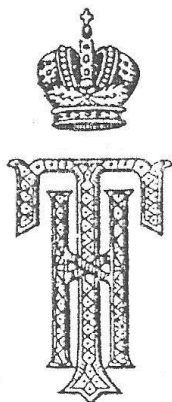
Сомов К.А. В.Е.Бурцева 1915

Книжный знак уже не может существовать в былом своем качестве, он должен был подняться до общего уровня книжного искусства. Рождается массовый художественный экслибрис - изобразительно-сюжетный. К созданию книжных знаков привлекаются профессиональные мастера графики. Художественная ценность экслибриса приобретает самодовлеющее значение. Мирискусники смело раздвинули прежде условные рамки изобразительных средств и символов, сдерживающих экслибрис в его движении вперед. По месту, которое занимал «Мир искусства», по калибру и по количеству мастеров им объединенных, он доминировал в середине 1910-х

годов в русском искусстве. «Мир искусства» был тогда на авансцене. «Миру искусства» принадлежало настоящее. Он был общественным гегемоном в искусстве 1910-х годов[51]. Мирискусники впервые после долгих лет прозябания книжного знака на уровне ремесла, внесли его в область высокого графического искусства. Выдающиеся художники «Мира искусства» украсили книжными знаками не только библиотеки многих библиофилов, писателей и художников, но и государственных книгохранилищ. Эскилибрисы мирискусников поставили отчетливую веху в истории развития всего российского книжного знака, отныне была окончательно найдена новая форма эскилибриса. В противовес геральдическому и театрално-помпезному сюжетному книжному знаку художников второй половины XIX века, новая форма стала свободной.

На смену российскому геральдическому и сюжетному знаку, избитому подражанием «модному» западному эскилибрису 1880-1890-х годов, трудами большинства мирискусников приходит графическое «красноречие», умение метко охарактеризовать личность владельца средствами искусства. Влияние мирискусников на российскую графику и эскилибрис в начале XX века трудно переоценить. Это была пора расцвета художественного книжного знака. Тематическое разнообразие мирискуснического книжного знака позволило отразить судьбы и настроения определенных групп общества, отразить быт эпохи, где личное и общественное было тесно переплетено между собой и одно выражало себя через другое. Эскилибрисы мастеров «Мира искусства» и многих их последователей находились на уровне лучших достижений графики века. В известной степени их усилия подготовили расцвет этого жанра в новую, советскую эпоху. Кроме мирискусников в 1910-е годы над эскилибрисом работали многие художники, в том числе - У.Г.Иваск, А.Е.Фелькерзам, Р.В.Фрейман, Ф.Г.Бернштам, А.М.Бонштедт, Н.С.Самокиш, О.В.Энгельс, В.В.Матэ, Л.А.Бруни, Л.В.Зак, В.В.Воинов, М.А.Добров, И.И.Нивинский, Ю.Ю.Клевер, В.Н.Масютин, Е.А.Зернова, Р.Г.Зарринь, Д.И.Мельников, Г.К.Лукомский, Н.П.Феофилактов, С.Н.Грузенберг и другие художники. Несмотря на явное увлечение многих художников, работавших в предреволюционные годы в книжном знаке, декоративным моментом, в них чувствуется голый рационализм, переходящий в схематизм, из которых «чувство» изгнано, а взамен его царствует холод рассудочности. Глядя на эти эскилибрисные опусы, поражаешься тому, как они разнятся с книжными знаками

«мирискусников», где был культ декоративности и утонченного аскетизма.



Фелькерзам А.Е. Книжный знак Т.Н.  
(великой княгини Татьяны Николаевны) 1914

До Октябрьской революции 1917 года начинали свой путь в экслибрисе те художники, которые стояли у истоков советского книжного знака. Это В.А.Фаворский, А.И.Кравченко, И.Н.Павлов, П.Я.Павлинов, Н.И.Пискарев, Н.Н.Купреянов, А.М.Литвиненко, Г.И.Гидони, В.Д.Замирайло, А.И.Усачев и другие художники.



Воинов В.В. Из книг В.Воинова 1910

Новый расцвет русского экслибриса приходится уже на послереволюционную эпоху и связан с иными именами и новыми общественными условиями. Если творчество мирискусников было

в целом столичным, типично петербургским явлением, то послереволюционный расцвет русского ксилографического знака в основном будет связан с Москвой, к которой будут тянуться провинциальные экслибрисные центры страны. Советский экслибрис возникнет не на пустом месте, он органично будет связан с книжным знаком Российской империи, всей его историей и практикой.



Лукомский Г.К. EL В.К.Лукомского 1908

Многое из того, что было заложено и развито рядом поколений русских художников, было творчески перенесено в новые условия послереволюционной России. Выход российского книжного знака на европейский уровень в первое послереволюционное десятилетие был обусловлен творчеством тех графиков, которые начинали свой творческий путь в начале XX века. Книжный знак документ человековедческий, за ним всегда стоит конкретный человек, экслибрис всегда был документом эпохи, своеобразным барометром политической «погоды» общества, об этом говорит вся история русского книжного знака. Книга всегда была движущей силой экслибриса, а выраженная в книжном знаке идея о ней всегда, во все времена, вдохновляла художников - экслибрисистов. Книжные знаки, созданные русскими графиками, это целый мир художественных образов, они раскрывают нам удивительные тайны, вводят нас в атмосферу времени. Путь, пройденный русским книжным знаком до 1917 года, это свой особый, сугубо национальный путь, не имеющий аналогов в мировой истории экслибриса.

## Литература

- 1 Гетманский Э.Д. Маяк библиотеки. // *Ex libris* Охранная грамота книги в двух томах. Тула, 1984. Т. 1. С. 3.
- 2 Томов Е. *Экслибрис*. София, 1977. С. 80.
- 3 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 9; Книжные и библиотечные гербы (*Ex libris*). СПб., 1903. С. 19
- 4 Фрейман Р. *Ex libris*. Краткий исторический очерк книжного знака. Пб., 1922. С. 11; Гетманский Э.Д. *Экслибрисы* российско-еврейского этноса (1795-1991) в трёх томах. Тула, 2010, Т.1 С. 8.
- 5 Книжные и библиотечные гербы (*Ex libris*). СПб., 1903. С. 68.
- 6 Кашутина Е.С., Сапрыкина Н.Г. *Экслибрис в собрании* Научной библиотеки Московского государственного университета. Альбом-каталог. М., 1985. С.14.
- 7 Фрейман Р. *Ex libris*. Краткий исторический очерк книжного знака. Пб., 1922. С. 31.
- 8 Там же С. 32.
- 9 Там же С. 34.
- 10 Розов Н.Н. Соловецкая библиотека и основатель ее игумен Досифей. // Труды отделения древнерусской литературы АН СССР. Вып. XVIII. М., 1962 С. 294-304; Розов Н.Н. Когда появился в России книжный знак? // *Археографический ежегодник за 1962 год*. М., 1963. С. 88-91.
- 11 Труды Ленинградского общества экслибрисистов. Л., 1928. Вып. XI-XII. С. 34-35.
- 12 Луппов С.П. Книга в России в первой четверти XVIII в. Л., 1973. С. 3, 55.
- 13 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 11-12; Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки. Материалы по истории книжного знака. М., 1923 С. 11; Минаев Е.Н. *Экслибрис*. М., 1968. С. 11-13; Минаев Е.Н. *Экслибрисы* художников Российской Федерации. 500 экслибрисов. М., 1971. С. 6-8; Фрейман Р. *Ex libris*. Краткий исторический очерк книжного знака. Пб., 1922. С. 35; Гетманский Э.Д. Российский книжный знак (1917-1991) в трёх томах Тула, 2004-2005 Т.1. С. 33-36.
- 14 Забелин И.Е. Библиотека и кабинет графа Я.В.Брюса. // *Летопись русской литературы Тихонравова*. Т. 1. СПб., 1859. С. 28-62.
- 15 Кашутина Е.С., Сапрыкина Н.Г. *Экслибрис в собрании* Научной библиотеки Московского государственного университета. Альбом-каталог. М., 1985. С. 56
- 16 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 9; Арсеньев В. Геральдика. М., 1908; Белинский В.Е. Русский геральдический словарь. Вып.1-2. СПб., 1912-1913; Бобринский А. Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийской империи. Ч. II. СПб., 1890. I -XLI; Вилинбахов Б.А. Русский книжный знак XVIII века. Л., 1965 (машинопись); Винклер П.П. Русская геральдика. Вып. 1-3. СПб., 1892-1894; Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 г. СПб., 1912; Дворянские роды Российской империи. В 10 т. СПб., 1993-1995; Дворянский календарь Справочная родословная книга Российского дворянства. СПб., 1999; Лакиер А. Русская геральдика. Кн.1-2. СПб., 1885; Лукомский В.К., Тройницкий С.И. Указатели к высочайше

утвержденным Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской империи и гербовнику дворянских родов Царства Польского. СПб., 1910; Лукомский В.К., Тройницкий С.И. Списки лицам, высочайше пожалованным дипломами и гербами на дворянское достоинство Всероссийской империи и Царства Польского. СПб., 1911; Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. СПб., 1914; Лукомский В.К., Типольт Н.А. Русская геральдика. Птг., 1915; Любимов С.В. Титулованные роды Российской империи. Опыт перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем. Т. 1-2. СПб., 1910; Петров П.Н. История родов русского дворянства. Ч.1-2. М., 1991; Розенблатт Е.А. Русский книжный знак. Библиотеки частных лиц. Геральдический книжный знак. Л., 1964 (машинопись); Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1887.

17 Эклибрисы и штемпели частных коллекций в фондах Исторической библиотеки. М., 2001. С. 74.

18 Лукомский В.К. Книжные знаки, гравированные Н.И.Уткиным. // Среди коллекционеров. 1924. № 1-2; Принцева Г.А. Николай Иванович Уткин. Л., 1983; Чавинский Д.А. Николай Иванович Уткин, его жизнь и произведения. СПб., 1884.

19 Гребельский М.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых Биографические сведения о членах царствующего дома, их предках и родственниках. СПб., 1992. С. 126; Гетманский Э.Д. Российский книжный знак (1917-1991) в трёх томах Тула, 2004-2005 Т.1. С. 42.

20 Баскаков В.Н. Библиотека и книжные собрания Пушкинского дома. Л., 1984. С. 21.

21 Иваск У.Г. Сергей Александрович Соболевский и его библиотека. М., 1906; Кунин В.В. Библиофилы Пушкинской поры. М., 1979. С.15; Книга. Исследования и материалы. М., 1994. Сб. № 67. С. 246-256.

22 Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки. Материалы по истории книжного знака. М., 1923; Книжные и библиотечные гербы (Ex libris). СПб., 1903; Горн В.Э. Девизы высочайше утвержденных гербов Российского дворянства. СПб., 1894; Девизы русских гербов. СПб., 1882; Иваск У.Г. Описание русских книжных знаков (Ex libris). Вып. 1-3. М., 1905-1918; Тройницкий С.И. Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства. СПб., 1910.

23 РГБ ОР Записки отдела рукописей. М., 1995. Вып. 50. С. 21, 22.

24 Ивенский С.Г. Книжный знак. История, теория, практика художественного развития. М., 1980. С. 31.

25 Советская библиография. Сборник статей и материалов. М., 1934. № 2. С.50; Документы по истории и культуре евреев в архивах Москвы. Путеводитель. М., 1997. С. 38; Гетманский Э.Д. Эклибрисы российско-еврейского этноса (1795-1991) в трёх томах. Тула, 2010, Т.1 С. 240-241.

26 Ивенский С.Г. Книжный знак. История, теория, практика художественного развития. М., 1980. С. 31-32

- 27 Труды Ленинградского общества экслибрисистов. Л., 1924. Вып. II-III. С. 29; Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах. № 32. М., 1994. С.11.
- 28 Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки. Материалы по истории книжного знака. М., 1923. С. 20.
- 29 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Т. II. СПб., 1798. С. 135
- 30 Кашутина Е.С., Сапрыкина Н.Г. Экслибрис в собрании Научной библиотеки Московского государственного университета. Альбом-каталог. М., 1985. С. 34.
- 31 Иваск У.Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2. // Приложение к «Русскому библиофилу» 1911. СПб., 1912. С. 12.
- 32 Ильин Л.Ф. Книжные знаки библиотеки Военно-Медицинской Академии. Б.м., 1925.
- 33 Щеглов В.В. Собственные его императорского величества библиотеки и арсеналы. Краткий исторический очерк 1715-1915. Пг., 1917. С. 88-89, 91-92; Труды Ленинградского общества экслибрисистов. Вып. II-III. Л., 1924. С. 25; Гетманский Э.Д. Российский книжный знак (1917-1991) в трёх томах Тула, 2004-2005 Т.1. С. 58.
- 34 Эттингер П.Д. Из переписки. // П.Д.Эттингер. Воспоминания современников. М., 1989. С. 12-22.
- 35 Известия книжных магазинов товарищества М.О.Вольф по литературе наукам и библиофилии. СПб, М., 1897. №1. С.10.
- 36 Бахрушин А.П. Из записной книжки А.П.Бахрушина. М., 1916. С. 3-4.
- 37 Охочинский В.К. 1905 год и экслибрис. // Труды Ленинградского общества эслибрисистов. Вып. VII-VIII. Л., 1926. С. 12.
- 38 Вестник литературы 1910. № 8. С.226. Старообрядчество: культура, современность. (Сборник). Вып. № 6. М., 1998. С. 17-30.
- 39 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 24
- 40 Гетманский Э.Д. Художественный экслибрис Российской империи (1900-1917) в двух томах Тула, 2009. Т. 1 С. 280-281
- 41 Иваск У.Г. О библиотечных знаках, так называемых *Ex libris*'ах, по поводу 200-летия их применения в России. 1702-1902. М., 1902. С. 14.
- 42 Минаев Е.Н., Фортинский С.П. Экслибрис. М., 1970. С. 12.
- 43 Ласунский О.Г. Книжный знак. Некоторые проблемы изучения и использования. Воронеж, 1968. С. 46, 47, 56.
- 44 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 15-17
- 45 Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая четверть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М., 1997. С. 303-305.
- 46 Адарюков В.Я. Русский книжный знак. М., 1921. С. 18.
- 47 Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса. Л., 1973. С.15.
- 48 Книжные знаки русских художников. Под ред. Д.И.Митрохина, П.И.Нерадовского, А.К.Соколовского. Пб., 1922. С. 32.
- 49 Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса. Л., 1973. С. 18.
- 50 Эфрос А.М. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979. С. 205. Тула, 1984. С. 3.

51 Гетманский Э.Д. Российский книжный знак (1917-1991) в трёх томах Тула, 2004-2005 Т. 1. С. 86; Эфрос А.М. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979. С. 203.





# Эммануил Борок, Артур Штильман О жизни под звуки скрипки...

## К 70-летию Эммануила Борока

### Скрипача-солиста, концертмейстера, профессора



Началу, собирая материал к юбилею широко известного среди музыкантов Америки замечательного скрипача-солиста, концертмейстера и профессора Эммануила Борока, казалось, что очерк пойдёт по проторённому пути - о музыке и музыканте. Но, постепенно начинал вырисовываться совершенно иной фон жизни артиста - Рига. А Рига - это одно из первых мест гитлеровского Холокоста, послевоенная история семьи, возвратившейся в свой город, в страну, где жили и родились отец и мать артиста и их предки; Рига - это центр сионистского движения - именно рижские сионисты первыми совершили алию ещё в 60-е годы. Среди латышей была горстка святых - праведников мира, и масса убийц, помощников и участников германских СС. Всё это странным образом сплелось в истории одной семьи Бороков ещё задолго до их отъезда в Израиль. Итак...

Кажется, что это было совсем недавно - осенью 1969 года я чувствовал себя почти "старожилом" в Большом театре. Тогда в оркестр пришло новое пополнение молодёжи, сравнительно недавно окончившее Московскую Консерваторию. В своём большинстве это были бывшие ученики моей же школы - Центральной музыкальной при Московской Консерватории. Но в ту осень 1969 года в оркестр пришёл молодой скрипач, только недавно окончивший Музыкально-педагогический Институт им. Гнесиных, но уже ставший лауреатом Всесоюзного конкурса скрипачей. Выпускники этого Института были более редкими участниками больших оркестров Москвы, так как в основном Институт воспитывал будущих педагогов всех специальностей, хотя из его стен вышло немало солистов-вокалистов, как и пианистов, но такие артисты, как скрипач Альберт Марков или дирижёр Евгений Светланов всё же были редкими исключениями.

В тот год, кажется, единственным не консерваторцем, принятым в оркестр Большого театра, был удивительно приятный молодой человек, скрипач, которого звали Эммануил (Моня) Борок. Он очень располагал к себе своей открытостью и простотой общения. Иными словами, он сразу понравился всем, а это бывало в театре довольно редко. Как-то естественно я с ним скоро, можно сказать подружился - несколько раз после репетиций мы вдвоём ходили по Москве - то в поисках елок для своих детей, то за редкой пластинкой на Новом Арбате. Моня оказался рижанином и тогда я понял, чем он как-то незримо отличался от москвичей.

Он, казалось, не проявлял в оркестре театра никаких амбиций, но поиграв с ним несколько раз за одним пультом, я был уверен, что он в Большом долго не задержится и что несомненно займёт какое-то очень высокое место в одном из больших симфонических оркестров Москвы. Почему мне так казалось тогда? Не знаю, но чувство это оказалось правильным. С Моней играть было легко и удивительно удобно - у меня было ощущение, что я с ним играл много лет в одном квартете, до такой степени мы играли синхронно, а с другой стороны абсолютно ощущая друг друга и никогда не расходились "во мнениях" в любых ситуациях на протяжении длинных оперных спектаклей или балетов.



Он проработал в Большом театре только один сезон, и в конце этого первого и последнего сезона выиграл конкурс на место второго концертмейстера оркестра Московской Филармонии, которым тогда руководил Кирилл Петрович Кондрашин. В это время первым концертмейстером оркестра стал скрипач-солист, лауреат многих международных конкурсов Валентин Жук. К.П. Кондрашин всячески "омолаживал" и

усиливал состав своего оркестра, часто выезжавшего за границу, начиная с конца 50-х начала 60-х годов. Ставки этого оркестра были сравнительно низкими по сравнению с Большим театром и Госоркестром, но это компенсировалось продолжительными зарубежными поездками. Правда в своих первых гастролях за границей оркестр в самых ответственных местах, вроде Нью-Йорка, Лондона, или Парижа, выступал большей частью в роли аккомпаниатора с такими солистами, как Ойстрах, Ростропович, Вишневецкая, Гилельс, но у Кондрашина были в репертуаре несколько действительно "ударных" пьес, которыми он дирижировал мастерски и которые были записаны на пластинки. Это были: «Третья Сюита» Чайковского, «Симфонические танцы» Рахманинова, Первая Симфония Малера. Кроме того Кондрашин завоевал себе славу выдающегося аккомпаниатора - его выступления с Вэном Клайберном на 1-м Конкурсе им. Чайковского положили начало его международной карьере.



Я замечен

Когда Борок пришёл в оркестр Московской Филармонии, К.П.Кондрашин уже был дирижёром с солидной международной репутацией. Насколько мы знали, он очень тепло отнёсся к своему новому концертмейстеру, иногда поручая ему роль первого концертмейстера оркестра Филармонии. Вот собственные слова

Борока о первых шагах в новом оркестре на первом пульте первых скрипок Симфонического оркестра Московской Филармонии:

«Я был настолько «зеленый», что на первой репетиции в Филармонии играл 7-ю Симфонию Бетховена впервые в жизни. За такой сравнительно короткий срок (около полутора лет) я вряд ли успел многому научиться».

К этому я бы отнёсся с некоторой долей осторожности - играя полтора года на первом пульте симфонического оркестра, иногда исполняя обязанности первого концертмейстера, молодой талантливый скрипач не мог не научиться достаточно многому: новому репертуару, новому для себя положению в оркестре, умению проявлять волю в ведении как своей группы, так и слышать весь ансамбль и его солистов - всё это без сомнений принесло незаменимый опыт, кроме "биографической справки" о работе концертмейстером одного из ведущих оркестров Москвы. Но тут начались события совершенно иные - началась массовая эмиграция из СССР - впервые с начала 20-х годов.

Семья Эммануила Борока - отец скрипача и его родная сестра - подали заявление на выезд в Израиль. Рижане, как известно, были пионерами Алии и долго боролись за право на репатриацию.

Помню, как осенью 1972 года я с Ансамблем скрипачей Большого театра приехал на какой-то фестиваль в Баку, где также выступал оркестр Московской Филармонии. Как-то после одного из многочисленных банкетов за три дня пребывания в Баку, я остался с Моней Бороком наедине за столом и спросил его прямо, что его удерживает в Москве? Он, вполне естественно не только насторожился, но и показался слегка испуганным, вполне возможно подозревая меня в провокации - в конце концов работали мы с ним вместе совсем недолго и он мог сомневаться в любом из своих бывших коллег - в атмосфере тех лет это было совершенно естественно. Когда я ему рассказал, что уезжает мой лучший друг - певец Миша Райцин, и что по моему мнению скоро этот процесс охватит довольно многих людей - музыкантов и не музыкантов, Моня как-то успокоился и уже вполне доверительно сказал, что есть много проблем в жизни, которые всегда возникают вне зависимости от нашей воли. Я на это сразу заметил, что за границу его больше выпускать не будут, хотя уверен, что Кирилл Петрович Кондрашин постарается использовать все свои возможности, чтобы преодолеть барьеры на пути к поездкам за границу. На этом мы тогда расстались в Баку, а очень скоро два члена оркестра Филармонии подали документы на выезд в

Израиль, потом ещё и ещё и, как говорил незабвенный деятель - "процесс пошёл".

Только через год он смог подать документы на выезд в Израиль. Борок уезжал одновременно с моим соучеником по Консерватории Марком Шмуклером (вот уже 40 лет он является членом оркестра Нью-Йоркской Филармонии), работавшим тогда в Большом Симфоническом оркестре Радио - БСО.

Перед своим отъездом осенью 1973 года Моня Борок посетил нас, и, конечно у меня и моей жены было чувство, что мы рано или поздно встретимся где-то на Западе.

\*\*\*



В Израиле

Вскоре мы узнали, что Эммануил Борок, едва приехав в Израиль сыграл конкурс и занял место концертмейстера Израильского Камерного Оркестра, руководимого тогда известным музыкантом - дирижёром Гари Бертини. Естественно, что такие успехи наших бывших соучеников и коллег вдохновляли всех потенциальных эмигрантов, а тех, кто даже и не помышлял об эмиграции, радовали успехи бывших коллег, как доказательство их таланта, да и отличной школы, полученной в учебных заведениях и в практической работе в лучших оркестрах Москвы. Борок в следующем году выиграл конкурс на место заместителя первого концертмейстера Бостонского Симфонического оркестра - одного из лучших симфонических оркестров мира!

Его карьера начала развиваться с головокружительной быстротой. Он стал любимцем главного дирижёра оркестра Бостон Попс - легендарного Артура Фидлера, много выступал с

Фидлером как солист. Хотя их совместная работа продолжалась лишь три сезона (до самого ухода Фидлера на покой после 50-летней работы с Бостон-Попс), но за это время они объездили большое количество городов США, выступили перед тысячами любителей музыки, везде пользуясь огромным успехом и большой популярностью.

После успешных 11 сезонов в Бостонском Симфоническом оркестре Борок занял пост первого концертмейстера Симфонического оркестра Далласа. К этому времени он стал зрелым артистом - солистом, камерным исполнителем, замечательным ансамблистом - основателем нового струнного «Даллас-Квартета» и педагогом.

Сегодня его работа в Бостоне видится "Прелюдом" к его самой активной и творчески плодотворной деятельности в Далласе - как в плане разносторонности его исполнительской работы, так и его артистической зрелости как солиста-скрипача международного класса.

\*\*\*

Но начнём всё-таки с начала профессионального пути артиста. Первые шаги в занятиях музыкой всегда связаны с какими-то особыми обстоятельствами - либо желанием родителей учить своего ребёнка игре на скрипке или на рояле, либо советами друзей, родственников, узнавших о проявлении музыкальных способностей детей своих близких, и, наконец, в семьях самих музыкантов часто принимались решения учить детей без их особенного желания или увлечения, а просто так сказать "по наследству". Впрочем, в последнем случае позднее всем казалось, что конечно же мы сами страстно хотели учиться музыке, и стать профессиональными музыкантами, но в самом начале действительно был какой-то основной стимул, факт слухового воздействия - в наше время до войны уже было радио и мы могли слушать исполнение Буси Гольдштейна, Лизы Гилельс, Давида Ойстраха, Бориса Фишмана, выдающихся пианистов, певцов и виолончелистов.

**Вот, что рассказал о себе Э. Борок. Его рассказ, пожалуй настолько оригинален, что не имеет аналогов в известных мне биографиях музыкантов:**

«Идея учить меня игре на скрипке пришла моему отцу Рувиму Бороку, часовщику по профессии и любителю пения. Его кузина была учительницей фортепиано и как-то раз, зайдя к нам в рижскую квартиру, взглянув на меня сказала: "Такой мальчик должен заниматься музыкой. Давай я его буду учить".

Моего отца эта идея заинтересовала, но пианино заняло бы слишком много места в нашей тесной квартире, да к тому же инструмент этот по природе своей не поющий.

Так появилась идея о скрипке, которую мой отец очень любил.

“Незадолго до того, как мне купили мою первую маленькую скрипочку, мы с папой в очередной раз пошли в цирк. Мы очень любили туда ходить и благодаря его клиенту - директору цирка - мы могли без билета ходить в цирк каждую неделю. И вот однажды на арену в перерыве вышел клоун, и пока рабочие готовили арену к следующим номерам, достал из своих штанов маленькую флейту и стал на ней играть. К моему удивлению, к нему подошел ведущий программу и грубо вырвал флейту него из рук.

Никто особенно не удивился - это был 1949 год, в "расцвете" сталинского режима такая акция со стороны властей, когда у людей запросто могли отнять имущество, была привычным явлением, но в данном случае вызвала у людей смех! Мой клоун, к которому я к этому моменту проникся уважением и сочувствием, ушел на другой конец арены и вытащил кларнет. И этот инструмент постигла та же участь. Клоун перешёл на другое место манежа, и чтобы к нему никто не мог дотянуться, встал на стул и счастливо себе заиграл, на этот раз на скрипочке!

Мой отец показал на клоуна и сказал: «Вот, видишь, это скрипка, ты на следующей неделе начинаешь учиться». Я удивился. Чего на ней учиться, если даже клоун умеет так играть, а я уж давно смогу сразу вот так... Клоун был уверен, что до скрипочки этим злодеям было не дотянуться, но к моему великому огорчению, стул под ним с треском развалился и, опять же, на радость этой «первобытной толпе» игра на скрипочке прекратилась.

До сегодняшнего дня не могу понять, почему такое насилие над этим милым человечком было смешно?!

Ну что в этом смешного?

Нашли педагога, по фамилии Хургин, он был старшекурсником Латвийской Консерватории. Он со мной усердно занимался и даже поехал с нами на лето к морю, чтобы не пропадало драгоценное время. Два-три раза в неделю он со мной, 6-летним ребенком работал. Однажды я случайно услышал его разговор с моей мамой. Он ей сказал, что никогда не встречал ребенка, у которого бы сразу так приятно звучала скрипка. Это был мой первый полученный комплимент...

Через четыре года я поступил в Рижскую Центральную Музыкальную Школу Для Особо Одаренных Детей к известному педагогу, Владимиру Андреевичу Стурестепу, впоследствии ставшим учителем всемирно известного виртуоза Гидона Кремера, а также ослепительно талантливого Филиппа Хиршхорна (будущего победителя на Конкурсе скрипачей им. Королевы Елизаветы в Брюсселе 1967 года)

Стурестеп был человек редчайшей мудрости и безграничной любви к своим ученикам. Он выявлял в нас самое лучшее лишь подбадриванием и редкими, но точными советами. Его система в большей мере сводилась к тому, чтобы давать ученикам не по возрасту трудные виртуозные пьесы (в этом он, совершенно очевидно, следовал методу известного одесского профессора П.С.Столярского - первого учителя Давида Ойстраха, Натана Мильштейна, Бориса Фишмана, Буси Гольдштейна, Лизы Гилельс и многих других выдающихся скрипачей. – А.Ш.).

В его классе тогда занимались многие талантливые дети, которые стали очень успешными в своей специальности.

И это обстоятельство послужило дополнительным стимулом к соревнованию и росту для нас в то время.

В 1959 году я переехал в Москву для дальнейшего обучения. Попал в класс Михаила Абрамовича Гарлицкого, в Специальную Музыкальную Школу им. Гнесиных.

Началась тяжелая работа по шлифовке игры на скрипке. Основы техники на самом высоком уровне были его целью. Гарлицкий был учеником Ямпольского, а также его ассистентом, и иногда занимался с 16-летним Леонидом Коганом по просьбе Абрама Ильича.

По-видимому, Ямпольский считал, что Гарлицкий был яркий представитель его методики и принципов игры на скрипке.

\*\*\*

Теперь вернёмся назад - к детству будущего скрипача в Риге, хотя и родился он в Ташкенте – почти за год до окончания войны -15 июля 1944 года. За несколько дней до того как в 1941 году Рига пала под натиском гитлеровских войск его родителям чудом удалось эвакуироваться из города. Оба они родились в Латвии, а отец даже служил в латвийской армии как раз в то самое время «добровольно-принудительного» присоединения балтийских республик к СССР. После залпа крейсера «Киров», вошедшего в Рижский залив, армия Латвии сложила оружие...

**Вот что сегодня рассказывает Эммануил Борок о своём детстве в Риге:**



«Что я помню про Ригу, в которой прожил до 1959 года - до того как я переехал в Москву, чтобы продолжать там учиться.

Во-первых, это был очень красивый город. Он был расположен на реке Даугава, включал в себе многовековую европейскую архитектуру. Привлекал также прелестными парками. Мне как музыканту было лестно, что в нем жил великий композитор Рихард Вагнер, который там начал писать оперу «Риенци». В Риге он стал дирижером местной оперы. Пробыв в Риге всего два года, он сбежал оттуда, преследуемый кредиторами, уж очень он погряз в долгах.

В Риге также выступал гениальный пианист и композитор Фредерик Шопен и работал в опере великий Берлиоз.

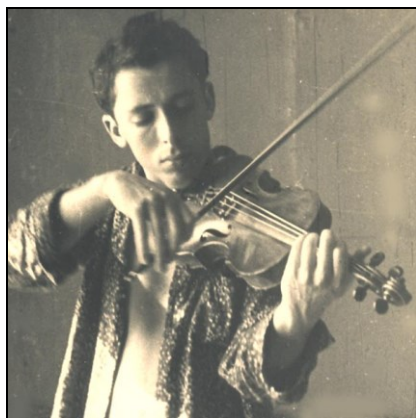


Мне 7 лет

Атмосфера в послевоенной Риге была, как я помню, насыщена историями о войне и гонениях на евреев. Рассказчики были часто людьми, чудом уцелевшими в лагерях смерти или сбежавшими в лес, чтобы там сражаться с немцами. В нашей семье были двое родственников, кузены моей мамы, пережившие ужасы нацизма. У отца брат погиб на войне под Ленинградом. У моей мамы немцы расстреляли мать, сестру и брата. Только один брат уцелел, потому что в то время был в Красной армии.

По всему городу было много инвалидов, ковылявших на костылях или на деревянных протезах. Одеты они были очень часто в военные шинели, это все что у них было из одежды. Очереди за стандартными, но в данном случае редкими продуктами выстраивались со страшной скоростью и часто со зверским ажиотажем, как только проносилась молва (единственный способ рекламы в то время) о появлении этих продуктов или товаров. Приходилось стоять в очередях долгие часы, при этом иногда только за одним видом продуктов.

Нетерпеливые детишки теребили мамаш уйти, скандалы и драки вспыхивали неизменно между женщинами в очередях по подозрению, что та или иная якобы втиснулась вперед без очереди, чтобы пробраться поближе к заветной картошке, мешку с мукой или, что было особенно ценно – ящикам с апельсинами, как потом выяснялось, из Израиля.



Мне 17 лет

Обвинения типа: «А вы здесь не стояли!» были слышны практически в каждой очереди. И если подозреваемая женщина была похожа на еврейку, тут же возникали советы ей убраться в Израиль, откуда, кстати и привезли эти же самые апельсины, за которые они были готовы удавиться, и которых в громадном Советском Союзе не было и в помине, а если и были, то крайне мало.

А в крошечном же, ненавистном Израиле своим хватало и даже вот на этих антисемитов оставалось.

Мне, 5-летнему ребенку, не понимавшему толком источника этих ссор было всё же понятно, что эта злость была направлена на таких как я с мамой. Это были первые признаки антисемитизма, с которыми я столкнулся в моей жизни

Мои родители и их друзья рассказывали, какое активное участие в расстрелах принимали местные латыши, очень часто с громадным энтузиазмом заменявшие немецких солдат, у многих из которых не выдерживали нервы участвовать в этой чудовищной бойне.

Антисемитизм ощущался в городе и в стране очень долго и интенсивно. Наряду с дискриминацией и оскорблениями были

даже и побои. Однажды ночью, когда мой отец с мамой возвращались домой, после визита к друзьям, двое пьяных моряков, узнав в папе еврея, набросились на него и стали жестоко избивать. Он чудом уцелел...

В другой раз, во время еврейского праздника евреи собрались в местной, уцелевшей от нацистов синагоге.

Уцелела она от немцев совершенно случайно.

Как-то, в самом начале оккупации, один лютеранский священник, живший при соседней церкви, обратил внимание на шум и увидел, что немцы готовились сжечь синагогу. Он испугался, что его церковь, расположенная почти рядом с синагогой тоже может загореться.

Он закричал на немцев, и ему удалось убедить немецкого офицера отказаться от этой идеи.

Так вот, уже спустя лет десять после окончания войны, в тот вышеупомянутый праздничный день, толпа евреев, не уместившаяся в маленькой синагоге сгрудилась в небольшом дворике, опоясанном стенами, зданием этой синагоги и воротами.

Вдруг, откуда ни возьмись, появилась ватага пьяных кадетов военно-морского училища. Они сразу сообразили, кто были эти люди, столпившиеся перед синагогой. Началась брань и оскорбления с угрозами, и вскоре в ход пошли бутылки и камни.

В ответ на это несколько еврейских парней протиснулись сквозь толпу и дали этим хулиганам как следует «прикурить». Те пустились наутёк, угрожая вернуться с подкреплением.

Испуганные люди позвонили в милицию, и вскоре оттуда приехал мотоцикл с двумя милиционерами. И тут вдруг, как по заказу, появилась толпа морских кадетов, уже совершенно разъяренных, и жаждавших крови. Увидев милиционеров они, пошумев, удалились. Милиционеры решили, что опасности больше не существует и собрались уезжать, как к ним подошел мой отец и объяснил, что опасность отнюдь не миновала и что кадеты вскоре вернуться и продолжат свою забаву. При этом он сказал, что если они сейчас уедут, он позвонит начальнику милиции всего Прибалтийского округа, включавшего Литву, Латвию и Эстонию, по номеру, который ему дал тот самый начальник в благодарность за прекрасную починку часов, со словами: «Вот, если что нужно – звони...» В доказательство, отец показал милиционерам адресную книжку...

Таким образом, он явно произвел впечатление на милиционеров. Они вызвали подкрепление, в результате чего охрана синагоги продолжалась до конца праздников.

Так мой отец-часовщик спас сотни людей от погрома...

Мой отец был высоко образованным человеком в области еврейской истории, религии и иврита.

В еврейской школе он проучился всего до 13 лет.

Пришлось школу бросить из-за смерти его отца и пойти учиться на часовщика. Вскоре он превратился в кормильца семьи.

Семья состояла из его мамы, 6-летней сестренки и старшего брата, у которого на уме были только всякие развлечения и футбол.

Все знания, которые мой отец приобрел в школе, у него сохранились до конца жизни (он умер в 92 года). Много лет спустя, уже живя в Бостоне. Он завоевал к себе уважение со стороны прихожан его синагоги как самый из них образованный.

\*\*\*

На фоне уличного антисемитизма был и скрытый, касающийся процента евреев, допустимых на местах работы. Мы об этом знали и просто находили решение той или иной проблемы какими-то обходными путями или просто где-нибудь в другом месте. Часто выручали взятки, которыми была пропитана вся система в бизнесе, образовании и в бытовой жизни. Особенно взятки процветали в дефицитных местах. Скажем, достать какие-то продукты, хорошую комнату в гостинице или билет на популярный спектакль или спортивное мероприятие. Везде нужно было иметь контакты, чтобы обеспечить себе допуск к этой «роскошной» жизни. Взятки были неофициальной валютой.

У нас в семье в то время была жилищная ситуация, весьма необычная, и я бы сказал, даже уникальная. Квартира в центре города, которую моему отцу удалось получить до войны, состояла из трех комнат, одной ванной, уборной и кухни.

Пытаясь спастись от печальной судьбы, уготовленной нацистами евреям, отец со своей мамой, сестрой, братом и своей будущей женой, которая стала моей мамой, эвакуировались в далекий и сытый Ташкент, где в конце войны родился я.

Отец был оттуда мобилизован в армию, также как и его старший брат. Но вскоре у него открылась язва желудка и его демобилизовали. Брата его постигла печальная участь – однажды после боя под Ленинградом в 1942 году он решил пойти за водой для раненного товарища и, прямо на глазах у его друга был разорван на куски метко выстреленным снарядом.

Остаток войны мой отец проработал в Ташкенте на авиационном заводе, собирая часы для военных самолетов. По окончании войны мы вернулись в Ригу. В нашей квартире мы обнаружили пожилого, бедно одетого человека, которому как видно негде было жить, решившего, что эта квартира ему

подойдет... и он вот в нее вселился. Несмотря на просьбы мамы, отец не стал выгонять этого незваного жильца, приведя довод, что оставшихся двух других комнат нам будут достаточно. Он был добряком и любил помогать людям. Это была его страсть. По мере ознакомления с нашим соседом мы узнали что он был поляком по происхождению и коммунистом по убеждениям еще с молодости, когда его, будучи человеком доверенным, включили в команду охраны Ленина во время визита того в Латвию в 1917 году.

На стене над его кроватью висел барельеф Ленина.

В послевоенной Риге он работал тележником. У него была тележка, которую он использовал как дешевое «такси».

Он околачивался у мебельных магазинов и на этой тележке катил через город и доставлял мебель клиентам на дом.

Ситуация с этим паном Горовским приняла по-настоящему гротескный характер, когда в 1948 году у нас на пороге квартиры появились двое крепких молодцев, тоже по имени Горовские. Оба дослужились до офицерских чинов в войсках СС! По окончании офицерского училища в Мюнхене они участвовали в параде, который принимал сам Гитлер. Они были захвачены в плен советскими солдатами.

Построили Беломорканал, отслужили свой срок и вернулись к своему папочке. И так получилась почти сюрреалистическая ситуация.

Вот вам - молодая еврейская семья, потерявшая нескольких членов из-за таких мерзавцев, теперь была вынуждена делить жилье с ними и с их отцом-коммунистом. Где еще можно было такое найти!

Вскоре к ним стали приходиться их однополчане и напиваться допьяна в самом безобразном виде... Я же, будущий профессиональный музыкант, там впервые ознакомился с немецкими солдатскими песнями, которые они распевали в полную глотку. Добавьте к этому семью майора, редактора армейской газеты жившего в соседней квартире, тоже невольно вовлеченного в число «слушателей» этого отвратительного «концерта». Самое любопытное было то, что мои родители оставляли меня, пятилетнего тогда мальчика, на их попечении, когда им было нужно куда-то уйти. Братья Горовские приводили меня в свою комнату, где они жили со своим папочкой, и угощали меня своим любимым блюдом: черным крестьянским хлебом, намазанным гусиным жиром, и с крупно нарезанными кусками сочного, хрустящего и, ох как хорошо пахнущего лука! Я был на седьмом небе! Потом вытаскивались непонятно откуда какие-то пуговицы, срезанные с их немецких мундиров и сохранные на

память, значки за лучшие результаты по плаванию и стрельбе из пулемета, фотографии их взвода лежащего у пулемета в форме раскрытого веера. Вот так – примерно двадцать нацистов у пулемета, и еврейский мальчик, будущий скрипач Бостонского оркестра, впившийся глазами в эти страшные фотки.

Перед сном я получал самую любимую «игрушку» - братья мне давали возможность «ударить» их моим музыкальным кулачком в живот, в результате чего оба они притворялись нокаутированными и падали на пол, ожидая от меня отсчета до цифры десять, означающей официальный нокаут...

Много лет спустя они мне рассказали, как в одном концентрационном лагере, в котором они навестили своих однополчан, работала одна местная женщина.

Ее сынишка был любимцем всех немецких стражников и надзирателей.

Когда в клубе во время показа фильма взорвалась бомба, убившая многих солдат и офицеров, выяснилось, что та самая женщина оказалась соучастницей диверсионного акта.

Ее сразу же повесили на глазах у всех заключенных и, конечно же, на глазах ее собственного сына.

Мальчик же стал у немцев как бы «сыном полка»...

Теперь мне все это кажется сюрреалистическим.

Видимо в этом их рассказе был какой-то подспудный смысл. Они явно меня любили. И я сейчас в этом вижу какую-то страшную параллель с тем осиротевшим мальчиком в лагере...

Латвия в средние века была на территории средневековой Германии. Тевтонские рыцари завоевали эту территорию и держали под своей пятой веками.

Мне всегда казалось, что внешняя схожесть латышей с немцами не случайна.

Когда съемочная группа из Москвы снимала фильм, где нужно было изобразить события, происходившие в Германии во время Второй мировой войны, они приезжали в наш типичный европейский, и где-то даже очень, немецкий город, где они нанимали статистов, чтобы играть роли немецких солдат. Простые латышские парни становились у нас на глазах аутентичными немцами, гуляя по парку, где шли съемки, в прекрасно подходящей их атлетическим молодым телам формой немецкой армии.

Мы всегда помнили, какую роль сыграли некоторые латыши в истреблении еврейского населения в этой стране, опасались их и часто просто не доверяли.

Справедливости ради надо заметить, что украинцы, литовцы и поляки у них долгу в этом смысле не оставались и часто охотно играли роль палачей, когда выяснялось, что немцы на этих заданиях в итоге оказывались нервными «слабаками».

Моя мама Сара, родом из латвийского городка Прэйли, где мы остановились на отдых в 1949 году в доме ее детства, к своему ужасу узнала, что латышские соседи доложили немцам, что мамыны родные прячутся в подвале. Их всех вытащили и увезли на расстрел...

Мама не знала, кто именно из соседней сыграл эту роль, но как-то зайдя в соседний дом, где жила женщина, видно не вызывавшая у нее подозрений, вдруг увидела скатерть, которой моя бабушка накрывал стол, может быть по случаю Шабата или на праздники, уж очень эта скатерть была красива, чтобы ею пользоваться в бытовых условиях.

Мама не рванулась вон, а вместо этого сорвала скатерть со стола и пригрозила соседке, что заявит властям о том, что в этом доме живет женщина, которую может быть стоило бы допросить о ее делах во время оккупации. Соседка быстро отошла в сторону...

Была ли она той соседкой, которая выдала немцам мамыных родных или нет, останется загадкой теперь уже навсегда. Хотя возможно, что она просто вошла в опустевший дом в тот страшный день и взяла скатерть себе «на память»?

Мне хочется думать, что так и было...

Конечно же, я не могу не отметить тех отважных латышей, которые, рискуя своей жизнью, скрывали евреев.

Вот, например, случай, который произошел с родственниками моей мамы:

Ее двоюродный брат Бэрл в возрасте 21 года и его 17-летний племянник Арчик сбежали из концентрационного лагеря в Риге. Красная армия уже приближалась к границам Латвии, и немцы, зная, что им скоро придется убраться к себе обратно в Германию, собирались, как стало известно, переслать узников этого концлагеря в Германию на тяжелые работы.

Квартира, где Бэрла и Арчика должна была скрыть одна латышка находилась в Риге, довольно далеко от концлагеря.

Когда ребята приблизились к дому, где жила эта отважная женщина, она уже ждала их на улице. Выяснилось, что в это время к ней гости пришел немецкий офицер. Она в спешке дала им адрес своей подруги, которая должна была их приютить.

Подруга жила на окраине Риги со своим мужем, Бэрла и Арчика пристроили на чердак. Там они надеялись дожидаться конца войны.

Один из трех сыновей этой латышской пары работал с немцами. Он случайно узнал, что родители прячут двух еврейских парней. Он, то ли испугался за своих родителей, то ли из ненависти к евреям, предложил взять этих “жиденят” и расстрелять в рижском лесу. Родители, которые рисковали своей жизнью, укрывая этих парней, тем не менее сыну сказали нечто вроде «только через наш труп». Сына этого вскоре после войны арестовали органы НКВД. Он отсидел в тюрьме приличный срок. Родители так его и не приняли обратно.

Арчик, много лет спустя, уже живя в Израиле, похлопотал, чтобы его и Бэрла спасители, Анна и Эдуард Озолинь, были увековечены на памятнике праведникам мира в Риге и в Музее Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Очень хочется рассказать о сыне Бэрла Доле, поскольку его жизнь в Риге в те годы очень ярко отражает атмосферу начала волны эмиграции того времени, а также роста еврейского самосознания у молодежи.

Доля и я были довольно близки в наши юные годы.

Доля был страстным сионистом. В 60-х годах в Советском Союзе началось сионистское движение среди молодежи. Желание вернуться в страну обетованную охватило почти все еврейское население Риги. А победа в войне 1967 года и возвращение Иерусалима в еврейское государство послужили дополнительным стимулом в самосознании тех людей.

В 70-х годах произошло событие, которое взволновало весь свободный мир: Дело Самолетчиков!

Группа сионистски настроенных евреев под руководством, кстати, чистокровного русского намеревалась захватить самолет и улететь на Запад. Таким образом они хотели привлечь внимание мировой общественности к судьбе евреев, стремившихся вернуться на свою историческую родину. Многие из них за это подвергались гонениям со стороны властей даже арестам.

За “самолетчиками” следили и в итоге, в запланированный для захвата самолета день всех арестовали в маленьком аэропорту недалеко от границы с Финляндией.

Долю с его женой первоначально пригласили участвовать в операции, но потом в итоге они были отвергнуты, из-за того что у них было двое маленьких детей.



Нельзя не упомянуть также евреев в те военные времена, которые были скорее готовы умереть «с музыкой», чем быть загнанными в гетто или в концлагеря и уничтоженными.

Это были еврейские партизаны!

Как-то раз в их честь мои родители устроили приём в нашей квартире. Их было человек десять. От этих людей исходила какая-то особая энергия. Можно было представить через что они прошли! При этом они излучали спокойствие и уверенность в себе. Сразу же на ум приходила Масада.

Я разговорился с одним из этих героев, Он был элегантно одет и прекрасно говорил по-русски. Это было не типично для людей еврейского происхождения в то время.

Родной язык у большинства наших друзей и родственников был идиш, некоторые говорили и читали по-немецки.

С русским у них были нелады.

Оказалось, что он был писателем, автором книги о своей жизни среди еврейских партизан.

В Латвии и Литве евреям приходилось создавать свои собственные отряды, поскольку латышские или литовские партизаны их как правило, не принимали и даже часто расстреливали.

В отличие от русских, украинских и прочих партизан, которым Москва активно помогала оружием, боеприпасами и едой, еврейские же бойцы должны были позаботиться обо всем этом сами.

Я ужасно заинтересовался его книгой, поскольку только незадолго до этого зачитывался книгой о восстании евреев в Варшавском гетто. Когда я спросил, где я мог найти его книгу, мой гость сказал что книга эта «потерялась» в издательстве. Копию он конечно не сделал. Копировальных машин тогда не было. Он мне сказал, что не мог себе представить, что его книга могла бы быть таким страшным антисоветским оружием, чтобы ее вот так «затеряли»...

Мне хочется здесь вспомнить о моей маме, поскольку она была типичной представительницей многих женщин того времени и незаурядным человеком.

В отличие от моего полиглота отца, читавшего немецкие книги в подлиннике и способного наизусть «выдать» цитату из священной книги, которую он выучил еще в детстве, мама моя была малообразованной, книг она не читала.

Или не могла, или просто уставала от ежедневных хлопот. Но за книгой я ее почти никогда не видел.

Мама была самоотверженная, работающая еврейская женщина образца тех времен. Она наверное очень бы удивилась, если бы ей сказали, что в 70-х годах в Америке начнется феминистская революция. Она делала то, что такие женщины как ее мама и бабушка делали из поколения в поколение тысячелетиями. Работала без выходных на семью и при этом никогда не жаловалась. Вставала всегда раньше отца и готовила ему LUNCH, состоявший из немудреного бутерброда: куска белого хлеба с маслом.



Родители будущего скрипача Рувим и Сара Борок. Послевоенный снимок

Она вполне сознавала, что отцу хватило бы «кулинарного мастерства» соорудить что-то подобное и самому, но ей и в голову не приходило поручить этот примитивный обряд папе. Она это делала просто потому, что была МАМОЙ. Позже, когда я учился в Москве, она стирала мои вещи и посылала их обратно с проводницей поезда Рига-Москва. Каждую вторую субботу я направлялся на Рижский вокзал в Москве, чтобы получить чистое белье и отдавал взамен связку грязного белья. Придя домой, Я всегда находил в посылке банку моей любимой рижской, уникальной квашеной капустой (в ней был тмин, а в Москве такого не делали) и, конечно же, рижскими «тоже лучшими» карамельными конфетами под названием «Коровка». Несколько лет спустя, когда моя сестра подросла и стала ходить в школу, моя мама решила - она пойдет на работу. Видимо проснулись в ней какие-то феминистские чувства. Работа была в той же артели, где

работал мой отец. Артель состояла из мастерских, в которых работали часовщики, ювелиры и почему-то еще, мастера, ремонтировавшие печатные машинки.

Мама там принимала заказы...

Мама была очень счастлива этим кажущимся раскрепощением. Хотя бы на несколько часов в день она теперь могла выйти из дому и общаться с людьми. Подумать только, что до этого ее ежедневное общение с людьми «снаружи», выразалось в том, чтобы поехать на трамвае на рынок.



Бабушка Э. Борока, с двумя дочерьми. Справа мать скрипача в возрасте 13 лет. Бабушка и тётя были убиты в первые дни нацистской оккупации в сентябре 1941 года

При всех условиях окружавших ее жизнь, как бы сковывавших ее свободу, какой теперь наслаждаются многие женщины, она была решительной и отважной, когда дело касалось ее детей.

Один раз, заметив, что я находился в расстроенном состоянии, она стала расспрашивать: что, мол, случилось?

Это на тебя не похоже! Я признался, что меня, тогда десятилетнего мальчика ударил, просто так, для забавы наш 17-летний сосед, Думаю, в моей маме сработала автоматическая реакция и. она, как была с мокрым полотенцем в руке, которым вытирала посуду, сразу направилась к моему обидчику. Он оказался дома и открыл дверь. Мама сразу, без разговоров, мастерски шмякнула его мокрым полотенцем по лицу. Это сразу

привлекло его внимание и вот, в этот важный момент она ему сказала по-латышски то, что на английском языке можно было бы сказать только одним выражением: “Don’t you ever F... k with my son again or else you are going to get another visit from me...”

И еще один случай, который показал, что мама никого не боится, если это касается защиты ее детей - даже представителя власти.

Я ежедневно занимался на скрипке в одной из двух наших комнат, выходящей на колодезный двор. Летом, у открытого окна, я наизусть играл свои скучные скрипичные упражнения, уставившись взглядом в тот серый, угрюмый двор. Мне нравилась акустика в этом пространстве, где звук отскакивал от каменных стен и перемешивался, создавая у меня иллюзию концертного зала.

Так вот, в один прекрасный день к нам в квартиру заявился сосед – милиционер, его окна как раз были напротив наших и стал жаловаться на шум (это он имел в виду мою игру на скрипке), который ему не дает возможности выспаться после ночной смены. Прежде, чем я мог отреагировать и пообещать в будущем заниматься только по ночам или хотя бы при закрытом окне, он стал грозить, что если я не прекращу «этот скрип», он меня арестует!



Ученики Московской Центральной музыкальной школы в гостях у рижской ЦМШ. Слева в шляпе педагог В.А.Стурустеп, ниже его ученики Гидон Кремер и Филипп Киршхорн, между ними Алексей Наседкин, в центре группы виолончелистка Наталия Гутман, справа от неё пианистка Ирина Зарицкая, ещё правее в первом ряду - примерно 13-летний Э.Борк.  
Приблизительно 1957 год

Тут моя мама поняла, что настал ее черед выступить... И вот я услышал как моя безграмотная мама, говорившая хорошо только на идиш, оказывается, хорошо умела ругаться по-русски...

Тут великий и могучий русский язык ей пришёлся в самый раз. Она его просто “послала” и закрыла дверь.

Больше этот “представитель” власти к нам не приходил...

Вот такая у меня была мама. Как говорится, таких больше не делают... Она, кстати, сыграла решающую роль в моей судьбе, уговорив меня продолжать заниматься на скрипке и закончить хотя бы школу, потому что в свои 16 лет я решил что все, скрипка это не мое призвание, а вот кино - Да.

Я захотел стать кинорежиссером. Теперь я ясно вижу, что профессию мне менять не нужно было...

Вот так... Где бы я сейчас был, если бы не мама...

В 48 лет она заболела. Это была разновидность лейкоза, как это называли. Думаю, что одним из последних и редких радостных моментов в ее жизни был визит к нам в Москву.

В то время ее болезнь была в стадии ремиссии. Мы с женой тогда ожидали ребенка. Наш сын родился в то время когда мама была опять прикована к кровати. Ее болезнь вернулась и перешла в финальную, смертельную фазу.

Своего внука она увидела только на фотографии.

Она похоронена на еврейском кладбище в Риге».

\*\*\*

Эти воспоминания я сам готов читать без перерыва, но, к сожалению, пока они ещё только в этой начальной стадии и проекте, и надо надеяться, что этот очерк-эссе, посвящённый юбилею моего друга, даст толчок его творческой активности уже на литературном поле – он, наконец, засядет на некоторое время за компьютер и подытожит свои воспоминания – жизненные и музыкальные – как на русском, так и на английском. А пока посмотрим снова, как видел он сам ситуацию, сложившуюся к 1973-му году – времени его эмиграции в Израиль.

Как легко можно было предположить, Борока не выпускали за границу после отъезда в Израиль его отца и сестры. Вот, что он вспоминает теперь о тех днях:

“..Потери наших друзей и родственников после войны не закончились. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене, от рук террористов погиб сын наших друзей по Риге, израильский борец Элизер Халфин. Мы с ним часто встречались в юности. Я об этом узнал по телевизору, находясь в Коктебеле, в то время как оркестр Кондрашина без меня уехал в поездку (мои уже жили в Израиле и я естественно стал персоной высшего подозрения. Меня в поездку не пустили). Каково же было мое чувство, когда я увидел, какое равнодушные было у людей, смотревших по телевизору эти

страшные новости из Мюнхена в гостинице, а я должен был сдерживать свой гнев и горечь... Историям этим нет конца...»

\*\*\*

Итак, в октябре 1973 года Э.Борок прилетел в Вену, откуда через несколько дней самолёт «Эль Аль» доставил его в Аэропорт Бен-Гурион. Почти сразу он окунулся в музыкальную жизнь Израиля. Как уже говорилось, он выиграл конкурс на место концертмейстера Израильского Камерного оркестра под руководством Гари Бертини.

#### **Снова его воспоминания:**

«Мои западные «университеты» и мой рост, как музыканта по-настоящему начались уже по приезде в Израиль. Первые два музыканта, оказавшие громадное влияние на меня были два израильских скрипача:

Ицхак Перельман и Пинхас Цукерман.

Встреча с ними состоялась на сцене в Израильском Музее Изобразительных Искусств, где регулярно репетировал и выступал Израильский Камерный оркестр, в котором я начал работать как концертмейстер весной 1973 года.

Накануне войны Судного дня в октябре 1973 года в Израиле проходил ежегодный Музыкальный Фестиваль, куда съезжались самые знаменитые представители еврейской и мировой музыкальной элиты.

Оба Перельман и Цукерман оказались там в том году в одно и то же время. К тому времени я уже о них слышал, но их игру мне услышать еще не довелось.

Первым был Перельман. Я увидел его как-то утром в начале нашей репетиции. Он спускался по ступенькам зала на костылях (результат детского паралича, перенесённого в 4-летнем возрасте) под громкие возгласы и аплодисменты музыкантов. Это был коренастый молодой человек в круглых очках, очень мне напомнивший великого австрийского композитора Франца Шуберта. Физическое сходство в лице и очках на этом пожалуй заканчивалось, там еще были совершенно гигантские руки управлявшие костылями. Размер его бицепсов не поддавался описанию. Сопровождавший его молодой человек нес за ним скрипичный футляр, в котором лежал изумительный Страдивариус. Усевшись на стуле и широко расставив ноги, одетые в алюминиевые протезы, он отбросил костыли и протянул руки и своему Страдивариусу. В этот момент я увидел его совершенно невообразимые руки, ловко открывавшие футляр. Его толстенные и длиннющие пальцы возились с замком, и вскоре

открылся футляр и он вытащил оттуда скрипку работы великого итальянского мастера, сделанную в первой половине XVIII века.

Не прошло и пяти минут, как раздались совершенно божественные звуки, подобных которым мне в профессиональной жизни так близко от себя не доводилось слышать. Конечно же я к тому времени уже успел сыграть концерты с некоторыми великими советскими скрипачами того времени на сценах Москвы, но тут было нечто другое, уникальное. Тут была поэзия и некая сладость и печаль знакомая многим любителям скрипки, как «еврейская душа». Его искренняя и незамысловатая игра пленяла своей простотой и изяществом.

И когда он добрался до шестой ноты во второй части Соль-мажорного Концерта Моцарта, тут не оставалось никакого сомнения, что передо мной сидел скрипач, который своей игрой открыл для меня новые горизонты и предложил мне совершенно новую манеру подачи звука и фразы. Заключительным «аккордом» моего с ним знакомства явился концерт на арене построенной древними римлянами в порту Кейсария. Место это в наши дни стало известным еще благодаря фильму «Jesus Christ – Superstar», снятого именно там.

Сочетание многотысячной публики, знойного средиземноморского вечера, места, где римляне любовались смертельными играми гладиаторов и Моцарт в исполнении на божественной скрипке, божественным звуком это было совершенно незабываемо...

Цукерман появился на сцене совершенно в другом плане. От него исходила энергия человека здорового, пышущего энергией и той самой уверенностью, какую я заметил в те дни во многих израильтянах. Естественно, что люди в себе не очень уверенные не селились в этой стране, полной нечеловеческих проблем. Не последней из которых являлось соседство приблизительно 100 миллионов враждебных арабов, которые, кстати, именно в это время развязали Войну Судного Дня.

Игра Цукермана, вернее его трактовка изящного и благородного Моцарта мне сначала активно не понравилась. Он играл, как талантливый, радостный и веселый клезмер... Настолько он был раскрепощенным, что даже подмигивал мне во время игры и приглашал повеселиться на сцене, предлагая повторить его совершенно неуместные глиссандо или фразировку.

На следующий день я тем не мене поменял свое мнение о его игре и понял, что помимо его соблазнительного и богатого звучания, его свобода самовыражения, его не скрываемое

еврейское происхождение, придавали его игре пленительную характеристику.

Во мне что-то как будто повернулось на 180 градусов, и проснулась раньше мне не знакомая энергия и желание играть, как хочу и... наплевать на всех...

Играй, как хочешь, как бы говорил мне Пинхас и имей fun...

Через пару недель произошло еще одно событие в моей артистической жизни и в жизни Израиля.

Утром, стоя у автобуса, который должен был везти нас на концерт в Кибуц на границе с Ливаном, мы слушали транзисторное радио. Начинался штурм Голанских Высот с задачей выкурить оттуда сирийцев, по мнению израильтян самых наших свирепых врагов. С этой позиции, с вершин холмов и гор, они могли с легкостью обстреливать поселки и города нашей страны.

Мы слушали эти сводки с фронта и волновались за исход сражения. Теперь известно, что эта была знаменитая танковая битва, в которой силы противника превосходили наши почти в десять раз. От нее во многом зависела судьба Израиля... Через 4 часа мы прибыли в Кибуц, где мы узнали, что атака на Голаны таки завершилась нашей победой!

«Ve zeu, Beseder Gamur» Вот так, полный порядок! – с улыбкой говорили мои коллеги-сабры и обнимали друг друга: «Мазаль Тов!»

Через час должен был начаться наш концерт, где я должен был солировать в концерте Баха ля-минор, который я выучил именно для этого концерта. Оркестр наш посадили на эстраде под открытым небом на совершенно идеально подстриженном и ухоженном газоне.

Перед нами уже уселась публика – фермеры этого кибуца. Что было совершенно неожиданно, это изобилие светловолосых детей и молодых людей, как я потом узнал – из Скандинавии, приехавших сюда на каникулы, помочь фермерам, а также разделить с ними опасности, которые ежедневно грозили им со стороны ПЛО.

Они могли в любой момент запустить с той стороны ракету. К счастью, местные жители на той стороне настолько ненавидели этих «борцов за свободу», большинство которых были просто криминалы из разных стран, приехавшие туда «повеселиться» и заодно их ограбить, что они охотно оповещали израильтян об их прибытии. Группа израильских солдат под



прикрытием ночи пробиралась в эти деревню и уничтожала тех боевиков.

Крестьян, оповестивших израильских солдат, награждали драгоценным подарком в размере \$25. Для них это была роскошная сумма.

Нас всех предупредили, что если атака с той стороны всё-таки произойдёт, то не раньше чем в 4 часа. И мы должны к этому времени покинуть территорию, а местные жители должны были занять свои места в бомбоубежищах, направление к которым было помечено красиво оформленными табличками «Bomb Shelter».

И вот я стою и играю Баха с энергией и уверенностью, мне до сих пор не известной и думаю, а почему я не волнуюсь?

А вдруг у этих арабов часы неправильные. Но никто не показывал ни тени страха, даже маленькие дети на траве... и я понял, что эта храбрость и умение жить с опасностью для жизни, грозящей на каждом шагу и в каждую минуту, это и есть вот та ХУЦПА, которую упоминают так часто когда говорят об израильянах.

Так вот, я лично считаю, что смелость в моей игре появилась не там на газоне, на границе с Ливаном, а на концертной эстраде в тот день, когда я услышал Пинки Цукермана, с которым у меня уже много лет спустя завязалась дружба, и мне даже довелось с ним исполнить «Симфонию-Кончертанте» Моцарта. Он в тот вечер играл партию альты и, будучи Пинки, наклонился ко мне, когда я настраивал скрипку после первой части. И... прямо там на сцене сказал мне «Коль а-Кавод» – «честь и слава». И тут же, конечно, спросил, не буду ли я заинтересован сыграть на бар-мицве... ЭТО 100% ПИНКИ».

\*\*\*

Вот такие новые музыкальные и жизненные впечатления как бы заново формировали личность молодого скрипача. В-первых, в чисто музыкально-организационном плане он столкнулся сразу же с ситуацией западного подхода к реальности музыкальной практики – нет слов «я не могу», или «я этого не играл». Есть постоянная готовность всегда в кратчайшие сроки выступить с любым новым для себя сочинением перед любой аудиторией, в самом необычном месте, с коллегами, о которых знал весь мир, но которых никогда до той поры не слышал и не видел, не говоря о том, что это были всемирные знаменитости и артисты мирового класса! Эммануил Борок оказался сразу готов к этой новой реальности музыкальной жизни Израиля и вообще западного мира.

Эта новая реальность оказала самое благотворное влияние на молодого скрипача, подготовив его к дальнейшим взлётам карьеры уже в Америке.

23 апреля 1974 года Эммануил Борок после шести туров конкурса (в один день!) на место второго концертмейстера Бостонского Симфонического оркестра был объявлен победителем и занял это почётное место.

«Конечно же все мои «университеты» как концертмейстера большого оркестра прошли в Бостонском оркестре», – снова вспоминает артист. «Я научился вести и системе штрихов у Джозефа Сильверстейна, тогдашнего первого концертмейстера Бостонского Оркестра: «Делать фразу» и разумно пользоваться скоростью смычка и вибрации.

До этого мне не было известно, что крещендо (нарастание силы звука) в звуке должно сочетаться ускорением вибрации; ну и, конечно, встречи с мировыми дирижерами и солистами, - это феноменально обогатило мой мир.

Игра с Менухиным на меня произвела совершенно магическое впечатление. Кроме того, что он так изумительно «творил» на скрипке, от него исходило какое то сияние доброты и счастья. Сразу возникало впечатление, что все кругом светлее!..



Иегуди Менухин и Эммануил Борок за кулисами Карнеги-Холл

\*\*\*

Так он сразу же включился в работу одного из лучших оркестров мира, а вскоре с самим Леонардом Бернштейном – одним из гениев в музыкальном искусстве XX века! Воспоминания об исполнении музыки Густава Малера Леонардом

Бернштайном – одним из величайших интерпретаторов второй половины XX века музыки венского гения – захватывающе интересны. **Вот они – так сказать «из первых рук»:**

«С первой ноты стало ясно, что за пультом гигантский талант, способный мелкими жестами рук и выражением лица создать абсолютно магическую обстановку в которой музыканты не только подчинялись его беззвучным командам, но будучи вдохновленными его магнетической способностью передавать ту энергию и ощущения, которые происходили в его душе, просто творили чудеса.

Звук (оркестра – А.Ш) сразу становился более выразительным и гибким в его руках. Появлялось какое-то единое дыхание у группы, насчитывавшей свыше 100 человек, прекрасно обученных их ремеслу, тщательно отобранных из лучших источников, существующих во всем мире и обладающих артистическим воображением.

В те считанные моменты, когда у меня были паузы, я бросал короткие взгляды в публику и всегда замечал какую-то зачарованность, даже может быть какое-то состояние гипноза, в которое он их повергал. Мне посчастливилось с ним сыграть свыше 20 раз за десять лет. Он обычно приезжал в конце июля и привозил две программы» в Танглвуд (летняя резиденция Бостонского оркестра, где проводится один самых важных музыкальных фестивалей в мире) «Это особое место в Америке, напоминающее своей природой Швейцарию. Какое бы божественно красивое оно ни было, дней с хорошей погодой там было мало, и как раз в те недели, когда он приезжал, была стабильная жара или пасмурная погода с дождём, или иногда было так холодно, что приходилось ставить на сцену электрические обогреватели! Но чаще всего, конечно, была жара. И вот однажды в такую жару мне посчастливилось играть под его управлением 9-ю Симфонию Малера.

Это монументальное произведение гениального композитора, в котором он делится с родом людским своими впечатлениями и переживаниями о его личной жизни и, как бы, прощается с жизнью. Надо сказать, к тому времени Бернштайну исполнилось 60 лет, и в этот печальный год умерла его первая жена, от которой у него было трое детей. Было совершенно ясно из его интерпретации, что он внес в эту концепцию свои, личные переживания и горечь по поводу быстро текущей (а в его случае, мчащейся) жизни. Малеровская музыка известна именно этими чувствами и мыслями и она по своему драматизму переходит границы симфонизма и как бы превращается в оперу.

В этот день концерт начинался в 2:30, стояла адская жара с температурой 100 по Фаренгейту, где-то около 40 по Цельсию. Влажность приближалась к 100%. Мы все обливались потом, и даже на моей скрипке были видны капельки влаги. Смычок мой так размяк, что потерял всякую упругость и силу, и я практически играл одной тростью. Бернштейн мастерски передал форму и содержание этой гигантской Симфонии, длительностью почти в полтора часа и уделял при этом внимание самым мелким деталям.



Леонард Бернштейн и Эммануил Борок во время репетиции Симфонии Малера. Танглвуд 1979 год

Он так «строил» эту музыку, что было ясно, как он хочет, чтобы мы играли даже в те моменты, когда он отворачивался и дирижировал другими группами музыкантов.

Атмосфера этого музицирования была настолько интенсивной, что мы, конечно, забыли о погоде. К концу Симфонии изумительно трогательное скрипичное соло как бы цитировало последние слова при прощании с жизнью. Я посмотрел на Бернштейна: у него в этот момент по лицу текли слезы...

Я был настолько под впечатлением от его творения музыки, что долгое время помнил не только каждый с ним концерт, но и многие отдельные места и даже отдельные ноты.

Эти концерты с ним остались в моей памяти самыми значительными. Исключением, пожалуй, было исполнение 5-й Симфонии Шостаковича под управлением Ростроповича через несколько часов после кончины великого композитора.

Скорбь по нему в душе Ростроповича передалась нам с такой силой, что мы все играли как боги. Ростропович как дирижёр ни в какой мере не мог сравниться с гениальным

Бернштайном. Но свершилось то самое чудо, которым славился БСО.

Музыканты в этом оркестре могли «завестись» и, что называется, творить на сцене, особенно при таких обстоятельствах. По окончании концерта в публике и на сцене многие утирали слезы. Ростропович же поднял партитуру симфонии своего личного друга, каким Шостакович являлся многие годы и, у всех на глазах поцеловал ее. После этого он ушел со сцены и удалился в артистическую, где его уже ждала его жена, известная певица Галина Вишневецкая и они долго плакали, обнявшись в этой комнате. Никаких гостей и почитателей к ним в этот вечер не пускали».

Эти редкие, волнующие строки хочется читать и перечитывать потому, что они отражают встречи с гениальными музыкантами, но не просто встречи, а выступления в какие-то особые, кульминационные моменты истории исполнительского искусства как самих дирижёров, так и одного из величайших симфонических оркестров мира. Быть в такой момент в эпицентре события, соучаствовать в нём, отдавая исполняемой музыке всю меру своего таланта – удача, выпадающая на долю немногих счастливых!

\*\*\*

Начав свою работу в Бостоне в сентябре 1974 года, Э.Борок по контракту становился также первым концертмейстером концертов «Бостон-попс» - летних и зимних популярных концертов с участием всемирно известных солистов-классиков и джаза.



Эммануил Борок и знаменитый дирижёр «Бостон-попс»  
Артур Фидлер, Grand Canyon 1976 год

Руководивший этими концертами оркестра в течение 50 лет Артур Фидлер сразу оценил талант молодого скрипача, его

тёплый, красивый, без сомнения «еврейский скрипичный звук» и стал горячим поклонником своего молодого солиста.

На сохранившейся фотографии (кадр из фильма) Борок и Фидлер едут на мулах по Grand Canyon во время съёмок фильма посвящённого 200-летию Америки

Здесь нужно отметить один чрезвычайно важный факт. В музыкальных учебных заведениях Советского Союза, даже в таких, как Московская, Ленинградская и Одесская Консерватории в большинстве скрипичных классов, даже самых знаменитых профессоров редко бывало, когда студенты-скрипачи или виолончелисты «прорабатывали» в течение учебного года больше одного концерта, одной Сонаты или Партиты Баха, нескольких Каприсов Паганини и небольших скрипичных пьес. Поэтому особенно трудно, да просто невозможно себе представить, как даже самый талантливый скрипач, после занятия позиции второго концертмейстера одного из ведущих оркестров мира, мог самостоятельно, вне учебного процесса, вне класса Консерватории, подготовить для публичных выступлений такие труднейшие произведения скрипичного репертуара, как вышеназванные Фантазия на темы оперы «Кармен» П.Сарасате, его же «Цыганские напевы», «Шотландскую Фантазию» Бруха.

Действительно, трудно поверить, что Концерты для скрипки с оркестром Баха, Бетховена, Брамса, Бруха, Глазунова, Чайковского, Сен-Санса, «Серенаду» Бернштейна, Концерт №2 артока, Концерт Александра Раскатова <sup>1</sup> (всего свыше 50 сочинений, лишь для скрипки с оркестром) - были выучены им для публичного исполнения за годы самой интенсивной оркестровой работы. Многие другие произведения современных американских и европейских композиторов Э.Борок также выучил, работая в оркестрах Бостона и Далласа на ответственной позиции. Но не только выучил и подготовил, но и многократно успешно исполнял эти сочинения, имеющие великие традиции исполнения величайшими артистами XX века, с различными оркестрами и дирижёрами. Он был участником многих камерных ансамблей со знаменитыми американскими музыкантами – пианистами, скрипачами, альтистами (кроме выше названных, также с такими артистами, как Шломо Минц, Линн Харрелл, Эммануэль Акс, Ефим Бронфман, Пол Нойбауер, Лесли Парнас, Ральф Киршбаум, Джошуа Белл). Даже с профессиональной точки зрения это трудно

---

нания

[http://royallib.ru/read/trifonov\\_yuriy/zapiski\\_soseda.html#0](http://royallib.ru/read/trifonov_yuriy/zapiski_soseda.html#0)

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

постичь – сам факт активной работы в одном из лучших в мире симфонических ансамблей заставлял отдавать все силы, нервную концентрацию и эмоциональные ресурсы своей основной работе. И потому вызывает восхищение сам факт овладения огромным сольным репертуаром параллельно с работой в оркестре.

Но не только овладением и высокопрофессиональным выступлением в качестве солиста с оркестром в популярных и главных концертах скрипичного репертуара, но также и предложенными слушателям своими оригинальными и нестандартными, свежими интерпретациями великих сочинений Баха, Моцарта Бетховена, Брамса, Сибелиуса, Чайковского...



Во время гастролей «Даллас-Квартета» в Риге в 1989 году Э. Борока, теперь уже знаменитого музыканта пришёл повидать его родственник с женой и два брата Горовских – бывшие соседи по квартире! (изображены по краям снимка). Они оба работали дормэнами в отеле, где остановился Борок со своим Квartetом. Что они делали во время войны – знают только они...

И кроме всего – захватывающие дух встречи с мировыми знаменитостями – пианистами и скрипачами, виолончелистами и дирижёрами...

15 июля 1985 года в честь 100-летия оркестра «Бостон Попс» выступал в Вашингтоне прямо перед статуей Авраама Линкольна. Вечером он был приглашен Президентом Рейганом на обед в Белый Дом. Там он оказался среди многочисленной толпы дипломатов и членов Американского правительства. К этому времени Эммануил Борок был уже почти «старожилом» в оркестре, да и в английском чувствовал себя совсем свободно. Вот его короткий рассказ о неожиданной встрече:

«Во время этого приёма ко мне неожиданно подошёл Вице-президент Джордж Буш и спросил меня – кто я такой? Я ему вкратце рассказал свою историю – от Риги до Бостона! Он меня слушал с неподдельным интересом, был очень мил и прост и произвёл на меня большое впечатление. Это всё произошло как-то совершенно естественно, но, конечно осталось в моей памяти одним из моих самых волнующих событий. Мог бы я, работая в одном из оркестров Москвы, например, когда-нибудь беседовать так запросто с одним из членов правительства или министров в Москве? Это была Америка...»

«Я хочу ещё немного вспомнить об Артуре Фидлере. И также о его преемнике – Джоне Уильямсе:

Фидлер был дирижером очень популярного во всей Америке оркестра Boston Pops. С этим оркестром он в 20-х годах начал серию концертов под открытым небом на берегу реки Чарльз в Бостоне. Там же неизменно проходили концерты, посвященные Дню Независимости Америки. Приходили на эти концерты десятки тысяч человек и, сидя на траве и попивая всякие напитки и поедая бутерброды, слушали легкую музыку в исполнении одного из, может быть, десяти лучших оркестров мира. В День Независимости США, 4-го июля в конце концерта исполнялась увертюра Чайковского «1812 год», с фейерверками и выстрелами из пушек, как полагается по традиции. (Это – исполнение Увертюры П.И.Чайковского «1812 год» – обще-американская традиция во всех городах США – больших и малых - А.Ш.)

В основное время концерты проходили во всемирно знаменитом зале Boston Symphony Hall. Акустика в этом зале одна из самых лучших в мире.

Атмосфера, окружающая Попс концерты напоминает кафешантан со столиками и публикой, которая во время концертов наслаждается едой и разговорами на фоне чудной музыки в исполнении знаменитого оркестра.

С Фидлером я съездил в Большой Каньон - "Grand Canyon" для съемок фильма, посвященного 200-летию Америки. Нас встретили в частном аэропорту Лас Вегас, принадлежавшему миллиардеру Ховарду Хьюзу и повезли в Большой Каньон на одном из его личных самолетов. Наутро начались съемки.

Нас с Фидлером посадили на мулов (у него был белый, а у меня бурого цвета) и мы медленно стали продвигаться по тропе, нависавшей справа над пропастью.

В это время в фильме звучало мое соло из Сюиты Ferde Grofe "On the Trail" (см. фото).



В один из наших совместных ужинов Фидлер мне сказал, что слухи о том, что он крестился, чтобы его еврейское происхождение не помешало его карьере и что он, якобы, носит на шее крест - неправда.

На самом деле это была медаль знаменитого дирижера Артуро Тосканини, которую он ему подарил.

И тут же мне её показал, чтобы не было никаких сомнений.

В Бостоне, который был в те времена (20-х годах XX века) консервативным и реакционным, ему как еврею пришлось бы бесспорно тяжело, если бы не его жена. Говорили что его красавица жена, принадлежавшая к светскому обществу, способствовала росту его карьеры.



С Джоном Уильямсом и Миа Фэрроу

Сезоны Попса были наполнены популярной классической музыкой, которую практически исполнял знаменитый Бостонский Оркестр минус самые первые голоса. И его для этой части работы называли «Бостон Попс».

Во время этих концертов я встречал великих артистов американской эстрады и джаза: познакомился с великой Эллой Фитцджеральд,

Рэй Чарльзом, Тони Беннетом, Оскаром Питерсоном, Фрэнком Синатрой и другими выдающимися артистами.

Концерт всегда заканчивался исполнением знаменитого американского марша «Звезды и Полосы» - имелся в виду американский флаг, и конечно же к восторгу публики и моему

собственному - в конце этого марша мы все дружно вставали и, продолжая играть стоя, наизусть, следили, как падая с верхних арматур сцены разворачивался американский флаг!

У меня всегда в такие моменты слегка щемило сердце. Вспоминались многие годы жизни в репрессивном обществе, каким являлась наша советская страна, и как мы, свободолюбивые и интеллигентные люди ценили все передовое, чем тогда славилась Америка, и как мы надеялись, что Америка когда-нибудь откроет свои объятия и примет нас к себе... Что и состоялось! Мои перипетии, связанные с отъездом из России, были еще очень свежи в памяти и, естественно, бодрящая музыка этого марша и веселые, счастливые люди в зале служили напоминанием того, что моя нынешняя жизнь в этой свободной и гостеприимной стране уже больше не сон, а реальность...



Э.Борок с всемирно известной скрипачкой Идой Гендель

После того, как Фидлер умер, на его пост назначили знаменитого американского композитора кино Джона Уильямса. Он был сказочно популярен, был награжден многими премиями Оскара, но несмотря на такую славу был милейшим человеком.

Сразу после его назначения у нас состоялась поездка по Америке, которая началась с Карнеги Холла. Джон Уильямс пригласил меня быть солистом на гастролях. В Карнеги Холле я с ним исполнил концерт Сен-Санса № 3, а потом и в Чикаго, Детройте и Индиане. Везде с громадным успехом и аншлагами. В конце концертов мы с успехом исполняли его музыку к кинофильмам. И конечно же тут толпа приходила в неистовый восторг.

С Джоном (он настоял, чтобы я так его называл) у меня сложились очень близкие отношения, и он предоставил мне полную свободу выбора произведений для игры соло с оркестром

в сезоне Попса, который длился 8 недель каждый год в течение мая и июня. В итоге я переиграл в Попс'е многие сочинения классического жанра, но легкого содержания как например «Цыганские напевы» Пабло Сарасате, но и даже такие сочинения как концерты Моцарта, Мендельсона, Бруха и даже менее доступного широкой публике 1-й Концерт Сергея Прокофьева. Было у оркестра много записей на пластинки и телевизионных передач.



В июле и августе БСО переезжал в западную часть Массачусетса - Беркширские Горы, сказочно красивую местность, напоминающую Швейцарию, наполненную историей американской литературы и искусства. Тут жили такие писатели как Герман Мелвилл, Натаниэл Хоторн, Эдгар По, Джон Апдайк и Эдита Вортон; поэты: Ральф Эмерсон, Роберт Фрост, Эмили Дикинсон; художник Норман Роквелл и скульптор, создавший статую Авраама Линкольна в Вашингтоне - Даниил Честер Френч...»

\*\*\*

Нигде больше до этого я так долго на одном месте не работал и естественно мои «оркестровые университеты» прошли именно в БСО, на сцене прославленного зала, построенного для основной музыкальной жизни города Бостона.

На этой сцене выступали самые крупные звезды классической музыки мира - все крупнейшие скрипачи, пианисты, виолончелисты и дирижеры. В течение 11 лет я слышал

божественные звуки их инструментов, а также голоса великих оперных певцов и певиц.

Что мне особенно запомнилось и как-то особо повлияло на моё воображение - это были имена великих скрипачей, сыгравших на этой сцене и с этим оркестром концерт Бетховена. Их имена были написаны на нотах нашей скрипичной партии в правом верхнем углу, рядом стоял год и продолжительность их исполнения:

(1912 F. Kreisler, 1928 Heifetz, 1922 Carl Flesch, 1926 K. Szigeti, 1933 Y. Menuhin, 1954 Z. Francescatti, 1955 I. Stern, 1958 L. Kogan, 1971 I. Perlman, 1983 H. Szeryng)

В какой-то мере это было равнозначно музею истории американского бейсбола....

Считаю необходимым упомянуть о Джозефе Сильверстайне, первом концертмейстере Бостонского Оркестра, с которым я сидел за одним пультом в течение 10 лет. Несмотря на свои 40 лет он к тому времени был уже знаменитым на весь мир.

Он знал каждую ноту в партитуре любого сочинения, исполнявшегося в тот или иной день. Будучи также заместителем главного дирижера, он выучивал симфонии и иные сочинения до такой степени, что мог в любой момент встать и заменить дирижера, если это было необходимо.



Он также помнил, в каком месте в партитуре кто и что играет и какая там стоит буква (буквами были размечены отдельные такты, места в партитуре на определенном расстоянии,

чтобы во время репетиций можно было найти с какого места/такта начать играть, если проводилась детальная работа над сочинением).

Он играл свою партию с предельной точностью, ясностью замысла и делал примерно две ошибки в сезон. Если представить себе что в сочинении тысячи нот, то он всего на двух из них делал ошибки в год, да и не каждый год! К тому же у него был громадный репертуар сольных сочинений, которые он тоже знал наизусть и мог в любой момент встать и сыграть, опять же безошибочно.

У него была безупречная интонация и некий европейский элегантный стиль игры. Никогда он ничего не форсировал и не перебарщивал и играл с большим вкусом и с тщательно продуманной фразировкой и интересной, выразительной аппликатурой и штрихами. К тому же он был первой скрипкой в ансамбле солистов камерной музыки Boston Symphony Chamber Players.

Очень часто я знал, что он будет делать в том или ином месте заранее: где-то секунд за 10 или 20, потому что он музыку не просто играл. Он ее строил и подавал это с такой ясностью, что невозможно было с ним не пойти, даже если захотеть. Он вел группу с минимальными затратами физических средств и только в ключевых моментах поднимал скрипку, чтобы его было лучше видно людям сидящим за ним - предупредить их таким образом, что назревает драматический момент, где внезапно понадобится играть с максимальной силой, или нагибался, чтобы показать, что в данном месте нужно играть предельно тихим звуком.

У него я также научился доносить до публики форму и структуру произведения и вносить в звучание скрипки многие тонкие нюансы и перемены настроения.

У нас в музыкальном мире это называется «играть со смыслом».

Естественно, что я питал к нему предельное уважение и всегда находил у него ответы на любые мои вопросы, касающиеся не только скрипичной игры, но также и истории того или иного сочинения и даже, какую редакцию того или иного сочинения лучше использовать.

Люди мы были очень разные и игра наша при этом оставалась исключительно индивидуальной.

Дружба между нами вне работы не существовала и друг к другу мы в гости не ходили. Такими - мне до сих пор кажется - должны быть отношения между людьми на работе, особенно на высоких должностных позициях.

К моему прибытию в Даллас, где меня ждала работа в качестве первого концертмейстера оркестра, я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за работу и партнёрство и отметил мой прирожденный талант к скрипке.

Этим увенчались первые 11 лет моей профессиональной жизни в Америке, на моей новой родине.

\*\*\*

Так с приездом на работу в Бостонский Симфонический оркестр перед молодым скрипачом открылись новые, немислимые ранее горизонты. Вообще говоря, новые перспективы открывались перед многими музыкантами, иммигрировавшими в США в 70-е годы XX века, но выдающиеся результаты были достигнуты всё же очень немногими. Среди них Эммануил Борок - явление некоторым образом удивительное - своим талантом, умением учиться быстро и эффективно всему лучшему, что могли дать ему встречи и работа с выдающимися американскими музыкантами, и, прежде всего, совместная работа с Джоозефом Силверстайном<sup>21</sup>, выступления с прославленными солистами, такими, как Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Пинхас Цукерман, Ицхак Перельман, Мстислав Ростропович, дирижёрами Леонардом Бернштейном, Сейджи Озава - всё это способствовало небывало быстрому росту артиста в Бостоне. Но всё это, как уже говорилось, оказалось большой и уникальной Прелюдией к его главному артистическому периоду жизни - работе первым концертмейстером оркестра «Даллас-Симфони» (1985-2010), где он стал претворять в жизнь свои собственные интерпретации в выступлениях с оркестром в сочинениях, о которых шла речь выше, а также камерной музыки - квартетной, трио, сонатной.



---

нания

[http://royallib.ru/read/trifonov\\_yuriy/zapiski\\_soseda.html#0](http://royallib.ru/read/trifonov_yuriy/zapiski_soseda.html#0)

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

С Хилари Хан

В течение 11 лет он участвовал в работе ансамбля современной музыки “Voices of Change”. Одна из пластинок этого ансамбля «Voces Americanas» была представлена к награде Grammy. (Меня поражала невероятная способность Борока держать огромный скрипичный репертуар всегда в форме подлинного солиста-концертанта, совмещая это с работой концертмейстера оркестра, руководителя Квартета, и педагогией!).

После 25 лет работы в «Даллас-Симфони» в 2010 году Э.Борок занимает должность почётного профессора Южного Методистского Университета Далласа, совмещая преподавание с выступлениями соло и в камерных ансамблях, а также частым руководством «мастер-классами» в университетах Америки и Европы.

Этот очерк не является авторизованной биографией артиста. Он лишь немного освещает его игру, его работу и его достижения с точки зрения моего знания об этом как в Москве, так и в Америке, а также благодаря исключительно интересным во многих аспектах воспоминаниям самого героя очерка. Творцом его биографии является он сам - с помощью Божьей. Пожелаем юбиляру до 120! И много лет исполнительской деятельности на радость любителям музыки - его слушателям и друзьям!



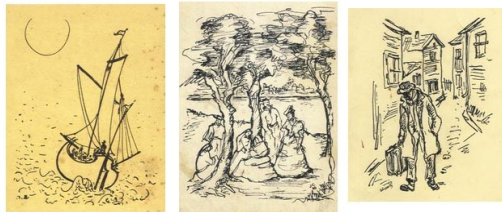
# Григорий Подольский, Галина Подольская Рисунок на голубом картоне: Шалом Райзер



ного лет находясь в иерусалимских клиниках "Кфар мерап" и "Тальбия", он не переставал рисовать – нередко *голубым* карандашом. Почти детские минималистские рисунки.



Прежняя детальная иллюстративность – с пристрастием к мелочам, когда по рисунку можно было судить о путнике с чемоданом, о шляпе и потертом лапсердаке, слякоти на дорогах, прописанных домах с покатыми крышами, с зарешеченными окнами, затерялась, как дорога, по которой шел путник... Художник на лету улавливал язык писателя, и он тут же становился его изобразительно-выразительным языком. Именно так Шалом Райзер иллюстрировал Шая Агнона. Писательские умолчания мог развернуть в портрет. Детальную реальность – перевести в подсознательное и ирреальное пространство. Главное – ощущение родственности, созвучности тексту.



Иллюстрации тушью к книге "Один из тысячи" Исаака Шенберга – поэтичны и мелодичны, как ранимая душа Бетти – главной героини книги. В ней есть что-то от гриновской Ассоль,



хотя это – не берег моря. Чеканная отточенность линий, как будто уже воспринятая от Модильяни.

И – словно не по таланту – этот рисунок *на голубом картоне*. Как знать, может быть один из последних его рисунков. Он сохранился в одном из архивных томов истории болезни, между склеенными случайно, пожелтевшими от времени листами назначений. Странный рисунок... Рисунок пациента в *голубой* треуголке Наполеона.



Рисунок на *голубом* картоне – черным угольным карандашом. Рисунок на *голубом* картоне его истории болезни. Недобрый рисунок, негармоничный, ассиметричный - разладившийся рисунок. Всё в нем сдвинуто. Левая сторона – текстильно-орнаментальная: закорючки, колеса, лестницы, ломаные линии, вилы, щетки, очертания птичьего клюва, указательный палец с ногтем – замочной скважиной. Остановившиеся часы, наполеоновская треуголка.



Правая сторона – шахматное поле, в клетках которого женские глаза с длинными ресницами...

И еще два округлых глаза-веретена, из которых один словно уже затухает. Впрочем, рисунок мог бы быть и другим. Скорее всего, он произвольно обрезан.

### Ученик экспрессионизма в изгнании

Мир художника – мир загадок. Сначала он сам задает их себе, задумывая и решая на полотне, потом отдает на суд зрителя. Каждый разгадывает эти загадки по-своему. И по большей части наши, зрителя, разгадки остаются только нашими - с какими бы "семью пядями во лбу" мы ни были. Пример? Да хотя бы знаменитая работа Зигмунда Фрейда "Леонардо да-Винчи. Воспоминание детства" ...

Так сложилось, что среди русскоязычных израильтян о Шаломе Райзере слышали больше доктора – психиатры, чем культурный истецблишмент. И не мудрено. Десятки лет лечения, тома архивных историй болезни. И всё – иврит, רק עברית ... Разве что художник Аарон Апрель в беседе припомнил этого "странного минималиста", который далеко не с каждым соглашался вступить в разговор. "Минимум миниморум" информации – в интернете. На сайте Музея Израйля - упоминание дат рождения – смерти Шалома Райзера. Пара статей - на иврите и английском. Ссылка на каталог к выставке 1989 года со вступительной статьей Гедсона Эфрата "Шалом Райзер: художник в голубом". Эта статья публиковалась и на страницах газеты "А-Арец". А каталог выставки удалось разыскать в Национальной библиотеке Израйля.

*В иерусалимской стоматологической клинике доктора Мишели Рот имеется эскиз в стиле "Голубя мира" Пикассо. Его красивые простые линии приковывают внимание пациентов. Рисунок подписан: Пабло Пикассо <...>. Мишель Рот когда-то купил его в Париже и был уверен, что это Пикассо. <...> Рот привез работу с собой, репатрировавшись в 1983 году. «Я купил работу во Франции и сказал себе, что в один прекрасный день повешу ее в своем офисе в Израиле <...>, рассказывает Мишель Рот, - Однажды ко мне пришел старик, направленный социальным работником в стоматологическую службу. Он сел в кресло и сказал мне: «Пикассо не смог бы сделать это. Это - Я». Шел 1996 год. Этот старик был Шалом Райзер - художник, который провел большую часть жизни в психиатрической больнице Тальбия в Иерусалиме, где выставлены некоторые из его работ. Тогда я не принял всерьез то, о чем он мне сказал", - поясняет Рот, - но спустя короткое время, его социальный работник пришел в клинику и я решил удостовериться в услышанном. Социальный работник подтвердил, что Райзер*

*действительно работал на Пикассо во Франции, создав эскизы для десятков голубей, которые Пикассо затем подписывал"[1].*



Наверное, с легкой руки и образного слова искусствоведа и философа д-ра Гидеона Эфрата, Шалом Райзер так и вошел в историю израильского изобразительного искусства как "האמן בכחול" – художник в голубом ("שלום רייזר \ האמן בכחול").

Шалом Райзер – художник во многом знаковый для Израиля. Его жизнь, судьба и творчество не только интересно вписываются в историю нашего государства, но типичны также для портрета художника ТОГО времени, когда красота и романтика модернизма были не просто словами, а частью личного романтического строя творца, когда слова Любовь и Муза не произносились со снобистско-нонконформистской иронией.



Пабло Пикассо и Шалом Райзер

Шалом Райзер – ученик немецкого экспрессионизма в изгнании, современник и сподвижник тех, послевоенных столпов мировой живописи – Пабло Пикассо и Марка Шагала. Он, не знавший лично Модильяни, но знакомый с его, уже маститыми в

то время, друзьями – такой же романтик века, как Амадео. И такой же служитель Музы, только первый рисовал свою Жанну Эбютерн, второй – не меньшую красавицу, родовитую француженку Мишель Поро.



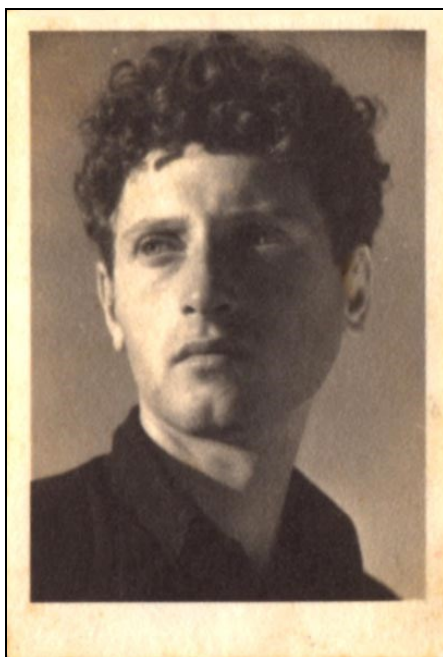
### **Романтическая биография в неромантический век**

Шалом Райзер родился в декабре 1920 года, по одним данным – на Украине, по другим – в польском городе Тарнов. Райзеры жили в бедности – отец чем-то торговал, мать нянчила детей. Когда мальчику было лет 6, семья, спасаясь от нищеты, перекочевала на жительство в Вену. Отец нашел работу учителем иврита, но финансовую ситуацию переезд не улучшил. Шалом тем не менее хорошо учился, а когда попрос, вступил в молодежное еврейское движение "*Кахоль – Лаван*". Он с детства любил рисовать и мечтал о стезе художника. А деспотичный отец трезво планировал ему карьеру врача или инженера.

История рассудила иначе. После прихода к власти нацистов жизнь евреев в Вене становилась все тяжелее и опаснее. Шалом сам, вопреки воле отца, решил уехать в Эрец-Исраэль. Денег на дорогу конечно не было, но колесо Фортуны уже катило по намеченному пути: среди многих претендентов на 20 мест в "Новый Бецалель" жесткий конкурс прошли и посланные "на удачу" рисунки Райзера.

Шалом Райзер приехал в Иерусалим незадолго до начала Второй мировой войны. Ему снова везет: состав преподавателей "Нового Бецалея" оказался легендарно силен. Это такие известные живописцы, бежавшие от нацистов из Германии и

Австрии, как Йосеф Будко, Мордехай Ардон, Яков Штейнхардт, Давид Гумпель и др.



Вместе с Шаломом Райзером в одном потоке учились Шломо Виткин, Йоси Штерн, Рут Шалом. По воспоминаниям Йоси Штерна, *"Шалом был одним из самых талантливых учеников нашей школы. Особенно он преуспевал по части лаконичного, но энергичного рисунка. Мало линий, но много выразительности"*[2].

### **Титус**

Друзья звали его "Титус", потому как он был красив и похож на сына Рембрандта – Титуса (Рембрандт ван Рейн. "Титус, сын Рембрандта". 1655). Иногда по субботам Шалом Райзер гостил в доме профессора Мартина Бубера, с внучкой которого учился в "Бецалель".

В начале 40-х родители молодого художника бежали из Вены в Югославию и оттуда на судне пытались отплыть в Эрец Исраэль. Но корабль был захвачен нацистами и родные Шалома погибли. Кроме младшей сестры, которая успела уехать в Англию, а потом поселилась в одном из израильских кибуцев.

1943-48 годы, наверное, самые удачные в творческой жизни художника Шалома Райзера. Короткий период женитьбы и развода никак не повлиял на его профессиональный рост. Он, несмотря на молодость, становится популярным, не раз выставляется в галереях Иерусалима. Это фигуративная живопись и графика. Райзер уже виртуозно владеет тонким пером, работает на контрастах черного и белого. В рисунках ощущается влияние экспрессионистской немецкой школы его учителей.

В эти же годы Шалом Райзер сотрудничает с издателем Мордехаем Сегалем, выпустившим его иллюстрации к ТАНАХу, а также к книгам Шая Агнона, Ицхака Шенберга детской книжке Якова Пикмана "Каланит". Казалось бы, карьера художника складывается куда как удачно. Но в 1948 году, в возрасте 29 лет, Шалом Райзер решает ненадолго съездить во Флоренцию - поучиться литографии. Оттуда отправляется *на недельку* в Париж и ... как нередко бывает с людьми творческими (да и не творческими тоже, что греха таить) *неделька* превратилась в 8 лет.

### Голубая мечта

1948 год. Франция еще помнит войну, но прежний бомонд уже подтягивается в Париж. Франтоватый молодой человек с лицом рембрандтовского Титуса, художник, прогуливается по Монпарнасу, заходит в кафе "Дом" и ... увязывается за обворожительной девушкой, которая почему-то не желает с ним знакомиться, кричит, отгоняет, возмущаясь во всеуслышание... Но разве может устоять француженка против "Титуса"? Они знакомятся, и оказывается, что зовут красавицу - Мишель. Полное имя – Мишель Поро. Сам Шалом, с присущей художнику наблюдательностью вспоминал: "Сверху она – Модильяни, снизу – Пикассо". Безусловная красавица, яркая, эффектная, броская. Как вспоминала позже певица Браха Цфира, знавшая эту пару в Париже, Шалом с Мишель привлекали к себе всеобщее внимание парижан. Одного роста, исключительно одетые, они часто гуляли по улицам вдвоем, опьяненные своей любовью.

Райзер всегда изображал ее как Сапфо, как античный профиль на камее, как одну из мифических героинь на греческих амфорах. Он жил ее красотой как художник и любил говорить, что сам великий Пикассо завидует ему из-за красоты Мишель.

Гармония не бывает без трудностей. Как и Жанна Эбютерн, Мишель была христианкой, происходила из обеспеченной семьи. Как и Жан, связавшая свою жизнь с Модильяни, Мишель вынуждена была порвать с родителями, не принимавшими выбор дочери – художника-еврея из Израиля. Тем

не менее, они были парой 8 лет. Но разрыв не был внезапным. Всё чаще и чаще происходили ссоры, доходившие до рукоприкладства. Мишель не желала иметь детей, более того, начала говорить о своей любви к женщинам.

После одной из бурных ссор осенью 1956 года они расстались навсегда. С тех пор Райзер никогда не видел ее. Но всю жизнь продолжал рисовать свою Мишель. Её и себя – вместе. Мишель осталась его единственной Музой в творчестве. Любовь к Мишель становится мистической составляющей творчества художника, как в античной трагедии.

Д-р Г.Эфрат обращает внимание на порой мало заметные, но важные символические детали, ставшие основой тех или иных композиций художника, зачастую просто набросков или обрывков фраз, сделанных Райзером на рисунках: *"Когда сегодня он (Ш.Р.) рисует двух обнимающихся женщин – это Мишель, которая осталась где-то там, в Париже. Когда он рисует маленькую лодку рядом с этими женщинами, это – страстное желание уплыть к его Мишель. "Мишель и Шалом," – подписывает Райзер один из своих рисунков, где он в шляпе Наполеона обнимает свою Мишель. А на втором плане – крылатый конь Пегас, стоящий на скале у края морского прибоя. А в воздухе парят птицы. Он – конь, она – птица. Она – голубка, которая часто присутствует на его рисунках. Она же – греческая скульптура идеальной красоты. Она же – крылатая богиня правосудия с мечом на боку, богиня, которая часто появляется на его рисунках, паря над Иерусалимом и Кинеретом. Мстительная женщина? Ангел – хранитель? Всегда, всегда будет рисовать Шалом свою Мишель – любовь в нереальных ролях. Всегда – идеально красива, идеально изящна, идеально хороша"*[2].

О французском периоде жизни художника известно не так много. История любви не фиксируется в истории болезни. Работ почти не сохранилось. Но эти 8 лет счастья для Райзера были прекрасны, и не только любовью к Мишель – потребностью совершенствоваться в творчестве. Он старательно учился живописи, посещал лучшие музеи Европы. Он общался с выдающимися художниками современности, такими как Пабло Пикассо и Марк Шагал.

Райзер выставлялся. В 1949 году в Еврейском музее на Монмартре состоялась его первая выставка. В начале 50-х – еще две выставки, одна из которых была в Ницце в гостинице "Негреско", другая – в доме Ионы Фишера, старшего куратора Музея Израиля. Он рисовал много, страстно, *в запой*. Но что и где

осталось? Легенда о любви - для поэтов и белое пятно – для исследователей.



Марк Шагал и Шалом Райзер

Этот период жизни Райзера и по сей день "белое пятно". Но известно, что случилось дальше. По свидетельствам очевидцев, в последние годы в Париже художник или нищенствовал, или шикавал. Жил впроголодь или тратил деньги в шикарных ресторанах. При этом по-прежнему хорошо одевался и, подобно своим братьям-художникам, много рисовал и продавал портреты посетителям парижских кафе.

И тем не менее, это была жизнь полная творчества с ощущением ее полновожья! Он не придавал значения тому, что давно был болен...

### **Художник в голубом**

Первые признаки психического заболевания у художника появились еще в 1941 году, когда после драки на улице его госпитализировали в иерусалимскую психиатрическую клинику. В Париже, видимо, заболевание вновь дало о себе знать, а теперь, после разрыва с Мишель проявилось серьезными расстройствами. Он вел себя странно, порой бросал непонятные фразы, строил какие-то нереальные на фоне его положения планы. То жил по друзьям-художникам, существование которых немало напоминало существование парижских клошаров, то поселялся в дорогих гостиницах, оставляя в счет оплаты чемоданы своих работ.

Однажды друзья, видя бедственное положение друга, нашли денег и купили ему билет на корабль до Хайфы. Но Шалом доплыл лишь до Наполи. Там сошел на берег, был арестован полицией и заключен в тюрьму. Начальник тюрьмы, видимо



довольный сделанным художником его портретом, помог отправить Райзера обратно в Париж.

Друзья уговорили Шалом проконсультироваться у парижского психиатра – профессора Баруха. Шалом Райзер пришел на консультацию щегольски одетым. Впоследствии, отвечая на вопрос, что было на приеме, Райзер отвечал довольно: *"Я продал ему свою картину"*, рассказал о планах уехать с Мишель в Испанию, в Гренаду, чтобы полежать там под гранатовыми деревьями...

В ноябре 1956 года, после окончательного разрыва с Мишель, несмотря на холода, Шалом Райзер пешком ушел в Швейцарию. Будучи совершенно больным, художник был госпитализирован в женевскую психиатрическую клинику "Bel-Air" и через полгода пребывания в ней отправлен в Хайфу. Несколько месяцев прожив в кибуце у сестры Ханы, он был госпитализирован вновь в психиатрическое учреждение "Кфар мерепе" в Иерусалиме.

Душа творца ранима и непредсказуема. Неугасающая любовь к Бэлле долгие годы вдохновляла кисть Шагала. Амбивалентные любовь-ревность и ненависть к Родену – на всю жизнь выбили резец из рук Камиллы Клодель. Уход Мишель... Что может быть нехудожественнее нехудожественной жизни?

В 60-е годы Шалом продолжает активно рисовать – с заметным влиянием стиля Пикассо: его Мишель – "женщина-цветок", как голубой цветок - излюбленный мотив немецких романтиков. Его занимают сюжеты из античной мифологии. Он может самовосполняться лишь в прекрасном...

Но по возвращении в Иерусалим *контролируемая целостность* словно начинает *тяготить* Райзера. Его работы приобретают незаконченный характер. Виден порыв, потребность высказаться, а в сущности то, что кто-то назовет символизмом, а кто-то так и заметит: "Не дописал".

Во времена улучшения душевного состояния *"рисунок художника становится много более контролируемым, сильным, видна техническая фигуративная база и умение играть с искажениями перспективы и анатомии, линия всегда уверенная, подвижная, нежная, осмысленная и с намеком"*[2].

### **В треуголке Наполеона**

При ухудшении состояния меняется и рисунок художника: *"Линия становится грубее, аморфнее. Цветовое заполнение рисунка гуашью более резкое, поверхностное... рисунок смотрится компульсивным, прямым, агрессивным несмотря на*

*его деликатность. На таких рисунках Райзер ставит новую подпись – "Шалом" печатными буквами."*[2].

А в какой-то из дней он надевает огромный кулон в виде голубой тарелки – талисман от сглаза, и больше его не снимает.

Иерусалимские друзья и коллеги Шалом Райзера не раз организовывали персональные выставки художника. Но состояние его здоровья всё более ухудшалось. С одной стороны, он как бы продолжал свой парижский образ жизни, уходя утром из "дома" (психиатрического учреждения, где суждено ему было найти свой последний приют). Он пешком шел в знакомое ему с юности кафе "Таамон", где сиживал еще в бытность свою студентом "Бецалель", споря до хрипоты на немецком со своими именитыми учителями и сотоварищами. Райзер садился в уголке и наскоро рисовал портреты посетителей. Редко, но всё же покупали рисунки у этого странного, в голубой одежде и треуголке "а-ля Наполеон" художника. А потом - другое кафе, а потом третье ... Иерусалимская художница и коллекционер Ализа Ольмерт вспоминает, что Шалом Райзер регулярно заходил в кафе "Савиньон", где она в юности подрабатывала официанткой. За чашку чая он расплачивался набросками на салфетках, которых у нее скопилось целая коллекция.[3]

Порой он просто просил денег на еду, а то и на поездку в Париж, к своей Мишель. Иногда уезжал из Иерусалима. Его задерживала полиция или на улице, или в гостинице - за неуплату...

*"Это была ретроспективная выставка его работ в галерее "Swed" рядом с King David Hotel. Я брал у него интервью и часто встречался с ним в кафе. Он утверждал, что Пикассо украл у него голубя. Я всегда считал это ерунда. Я никогда не принимал это всерьез. Я уверен, при всем уважении к Шалому, что Пикассо не нужен был Райзер, чтобы придумать своего голубя".*[1].

Выставка и впрямь произвела много шума и привлекла к себе внимание всего Израиля.

*«Это было очень волнующее событие. Я очень хорошо помню, как тысячи людей выстроились за пределами галереи, чтобы увидеть его работы, какая передача транслировалась по израильскому телевидению, и это дало ему толчок"*[1].

Последняя выставка работ Шалом Райзера состоялась в Иерусалимском Доме Художников в 1989 году.

Художник Шалом Райзер умер в феврале 2001 года. А несколькими годами позже в Израиле был снят 52-минутный документальный фильм "Broken" ("Сломленный") – о жизни и творчестве художника (режиссер Миха Ковлер).

## На обороте голубого картона (эпилог)

Ребенок не обрезает свои рисунки. Художник – редко, пытаясь добиться определенного художественного эффекта.

Если перевернуть эту обрезанную Райзером картинку *на голубом*, то в ее геометрических очертаниях можно ясно увидеть грустное лицо, изображенное таким, каким он сам себя знает. Со следами того, что было в его жизни важным: "текстиль" Матисса и искаженный лик. Так и Пикассо деформировал лица разлюбленных им женщин до безобразных образин. Но *это* лицо – не злое, а очень грустное, в полном миноре. Часы, стрелки которых остановились, указующий перст судьбы – всё то, что когда-то слагалось в прекрасные черты...

И взгляд со стороны – еще некто, ощерившийся в злорадной улыбке.

*"Райзер был прекрасным рисовальщиком и живописцем, имел хорошую руку. Но он так и не достиг высшей точки оригинальности и не осуществил прорыва в стиле. Он, прежде всего, - большая история и упущенная карьера. Он мог бы стать великим художником".*[1].

На обороте голубого картона подпись – "1п".А-ришон – самый первый! Райзер? Ведь "реш" – первая буква его фамилии.

Логичное самооценочное сочетание – "а-ришон – Шалом Райзер".

### Использованная литература:

1. Steve Linde "Whose 'Dove of Peace'?" (Jerusalem Post, 26/02/2010). <http://www.jpost.com/Israel/Whose-Dove-of-Peace>
2. Г. Эфрат. Вступительная статья к каталогу "А-иш бэ кахоль" (ивр.). 1989.
3. Дана Гилерман. "Гмар хатима: Ализа Ольмерт" (ивр.). Газ."А-Арец". 30.09.2006.

### Примечания:

Рисунки и фотографии взяты из открытых публикаций прежних лет:  
- газета דארץ, статья д-ра Г. Эфрата "הישיבה בכחול", фотограф Ализа Орхан (1989?).  
- газета ירושלים, статья Шломи Сандока "רע לי לי חופש!".  
- сайт "Hocus Focus Films" [http://www.focusfilms.com/mov\\_broken.html](http://www.focusfilms.com/mov_broken.html)  
- обложки взяты с сайта "הברית": Особая благодарность д-ру Владимиру Голдзанду и д-ру Якову Шульцу, оказавшим помощь в подготовке информационно-иллюстративного материала о художнике.



**Ефим Курганов**  
**Шпион его величества,**  
**или**  
**1812 год**

**Историко-полицейская сага в четырех томах**

**Том первый**  
**ПЕТЕРБУРГ – ВИЛЬНА.**  
**МАРТ – ИЮНЬ 1812-ГО ГОДА**  
**(продолжение. Начало в №6/2014)**

Апреля 27 дня. Три часа пополудни



Тром зашел ко мне проститься майор Бистром – он уезжал к себе в Ковно. Мы сердечно попрощались. Я пожелал ему всяческой удачи и попросил прислать ко мне в канцелярию список главных ковенских бонапартистов, но главное, чтобы он готовился к встрече генерала Нарбонна (я еще раз подчеркнул: необходимо проследить, чтобы были перекрыты главные дороги на Вильну, дабы для проезда Нарбонна остались лишь непролазные проселки).

Во время нашей сегодняшней встречи Государь сообщил мне следующее.

Министр Балашов пообещал ему во что бы то ни стало разыскать убийц Шлыкова. Вот хвостун!

И, лукаво блеснув глазами, Государь добавил, что очень рассчитывает в этом деле на своего министра полиции, что таких обещаний попусту не дают и т. д. \

Он, видимо, ждал, что я кинусь на Балашова, но и я понял замысел Его величества и не поддался.

А посему я сухо заметил, что шансы есть, конечно, но их чрезвычайно мало, ибо без помощи местного населения тут не обойтись, а оно помогать нам не хочет. «Посмотрим» – отвечал мне Александр Павлович, все так же лукаво улыбаясь.

Когда я вернулся после аудиенции у императора, меня уже ждала совсем коротенькая записка, присланная сыном аптекаря. В ней сообщалось, что в разговоре графа де Шуазеля с аббатом Лотреком несколько раз мелькнуло имя Алины рядом с именем гражданского губернатора Лавинского. Это сообщение не очень понятно, но его необходимо использовать – тут уже есть реальная зацепка.

Лавинский, конечно, не может быть заодно с бонапартистами, но для Алины он вполне может представлять немалый интерес: он вхож к государю, у него в доме живет министр полиции Балашов, там вообще толчется много полиции и важных военных чинов.

Но Алина вряд ли ходит к Лавинскому: она не покидает своего тайного укрытия – это очевидно. Как же и где они тогда встречаются?

Стоит установить слежку за домом губернатора, а лучше всего подкупить кого-то из его лакеев – так будет быстрее и надежнее.

Я вызвал правителя своей канцелярии губернского секретаря Протопопова и приказал ему отобрать из нашего штата трех кандидатов на роль лакеев и незамедлительно устроить их затем к Лавинскому.

Уже минут через сорок ко мне явились три бравых молодых человека, услужливых, нагловатых, подбострастных – в общем, форменные лакеи. Я дал им устно словесное описание Алины Коссаковской, сказал, что это опасная преступница и что в ее розыске заинтересован лично император Александр Павлович. Попутно я еще приказал присматриваться к Балашову и запоминать тех, кто его посещает. Затем я пожелал новоявленным лакеям скорейшего удачного выполнения задания и отправил их.

Пришла еще одна записка от сына аптекаря. Он сообщал, что во время обеда граф де Шуазель опять поминал графиню Алину Коссаковскую и губернатора Лавинского. Он даже привел весьма показательную фразу, произнесенную графом: «губернатор прикрывает нашу Алину».

Неужели этот мальчик, в самом деле, выведет нас на Алину?! Ох, как хотелось бы, ведь это так важно!

Апреля 27 дня. Десять часов вечера

Уже к шести часам вечера пришла записка от наших лакеев из дома Лавинского, заставившая трепетать мое сердце.

В записке говорилось, что в той половине дома, что отдана министру Балашову, прислуживает новая горничная.

Она настолько хороша собой, что министр полиции, заведя ее, сразу же начинает таять от удовольствия. Кажется, что как только он поднимает на нее плутоватые обычно глазки, у него происходит явное головокружение.

Между прочим, приметы горничной совпадают с описанием, которое я составил.

Еще в записке сообщалось, что горничную губернатору Славинскому любезно прислал сам граф де Шуазель.

Да, спланировано было просто виртуозно: спрятать агента Бонапарта в доме губернатора, под прикрытием министра полиции – это и безопасно и полезно для дела. Как только Алина заполучит в свои когтистые лапки генерал-адъютанта Балашова (а ведь к этому все идет), то тут она доберется и до государевых тайн, до тайн Российской империи.

Алину нужно схватить немедленно. Но как это сделать? Не могу же я в дом губернатора прийти с обыском, как и не могу там производить аресты. Это было бы сущим скандалом, который означал бы неминуемый конец моей карьеры. Необходимо что-то срочно придумать.

После получасовых размышлений я призвал к себе Розена и Лонга и сказал им следующее:

– Господа, как вы знаете, агент Бонапарта графиня Алина Коссаковская бежала. Мне донесли сегодня, что она под видом горничной находится в доме губернатора Лавинского. Вы не можете явиться в дом губернатора с обыском, но вы можете выкрасть графиню. Вот и выкрадите ее. Как хотите, но выкрадите. Все. Идите. Жду вас с нею.

Через два часа в дверь моего кабинета раздался неестественно громкий стук. Когда я распахнул дверь, то на пороге увидел Розена и Ланга. Они оба буквально плавали в поту. Они тащил большой ковер, свернутый в рулон. Оказавшись в центре моего кабинета, Розен и Ланг с видимым облегчением опустили свою ношу на пол кабинета.

Немного придя в себя, Розен и Ланг стали разворачивать ковер. И тут я увидел прелестную Алину. Бедняжка была принесена завернутой в ковер.

– Простите, графиня, за доставленные неприятности – галантно сказала я – но у нас не было выхода, ведь вы не хотели прийти к нам по своей воле. Видимо, с некоторых пор Вам перестало нравиться мое общество, хотя прежде вы им отнюдь не брезговали.

Алина помолчала пару минут, а потом сказала тихо, твердо и решительно (только в глазах ее сверкало бешенство):

– Меня сейчас немедленно отпустят. Не думайте, что вам даром сойдет это похищение. Имейте в виду: вам придется отвечать за самоуправство.

Я громко и от души рассмеялся:

– Милая Алина, вас не только похитили – вас убили. А мне не только это сошло с рук – меня за это наградят. Забавно, что я разговариваю с покойницей, но это так. Вы – привидение, сошедшее со страниц готического романа. Вы любите готические романы, графиня?

И потом добавил уже без тени улыбки:

– Алина, из-за вас погиб надворный советник Шлыков – это был мой лучший сотрудник, и ваша казнь будет достойной компенсацией.

После этих слов я оборотился к Розену и Лангу и сказал спокойно:

– Даю вам час времени, господа. В течение этого часа графиня Коссаковская должна покинуть наш земной мир. Ей необходимо срочно последовать за нашим другом, за нашим бедным Шлыковым, верно служившим Государю и российской короне. Тело графини, господа, будьте добры положить на то же место, где был обнаружен наш геройски погибший поручик. И берите с собой поболее солдат – графиня стоит целого взвода. Все. Идите.

Я сел к столу и начал разбирать скопившуюся корреспонденцию. Но сначала написал записку к сыну аптекаря, в коей горячо поблагодарил его за оказанное содействие и отметил, что он оказывает своей работой неоценимую помощь не токмо мне, не токмо нашему государю, не токмо империи российской, но и всем, кто борется с Бонапартом, узурпатором законной королевской власти.

В ближайшие же дни я просил его обращать особенное внимание на информацию, в которой в той или иной связи упоминается генерал Нарбонн.

А еще подчеркнул, что любое сообщение о том, что Бонапарте собирается покидать пределы Германии, имеет сейчас общегосударственное значение и что такого рода сообщение нам никак нельзя пропустить.

В седьмом часу вечера явились коллежский асессор Розен и капитан Ланг, веселые и довольные. Розен с ходу сообщил мне, что графиня Алина Коссаковская уже лежит в палисадничке на Остробрамской улице, аккуратно на том самом месте, где нашли нашего Шлыкова.

Я поздравил господ Розена и Ланга с тем, что на одного агента Бонапарта (и какого агента!) в Виленском крае стало меньше.

И все-таки фон Фока мне ой не хватает. Да, он теперь при деле – заведует Особую канцеляриею при министерстве полиции. А как тут, в Вильне, Максим Яковлевич сейчас бы сгодился!

Апреля 28 дня. В восьмом часу вечера

С утра забегал сын аптекаря. Он сообщил, что граф де Шуазель находится в страшной панике из-за пропажи Алины Коссаковской. Граф даже послал его бродить по городу и высматривать, расспрашивать и хоть как-то узнать что-нибудь о местопребывании Алины.

Я посоветовал придумать историю позакovskyристей, пофантастичней и пострашнее.

– Почему же пострашнее? – тут же осведомился Закс-младший.

– Как вы не знаете? Да ведь бедная Алина погибла при невыясненных обстоятельствах. Странно только то, что ваш патрон не знает ничего об этом, ведь о гибели юной красавицы судачит уже почитай вся Вильна. Полицмейстер Вейс нарядил следствие, а квартальный надзиратель Шуленберх с ног сбился, отыскивая следы убийц.

Сын аптекаря побежал докладывать об услышанном графу де Шуазелю, а я отправился к Государю, который вызвал меня к себе запиской (ее как обычно доставил камердинер его Зиновьев).

Еще мальчишка рассказал мне, что вступил в переписку со старым ребе. Тот, оказывается, всячески поддерживает его в борьбе с Бонапартом.

Но так, наверное, поступают и другие ваши мудрецы? – спросил я.

Закс-младший отрицательно замотал головой, а потом ответил мне:

– Нет, Яков Иваныч, многие стоят за Бонапарта. Но старый ребе написал мне, что Бонапарту мало быть императором, он хочет быть Богом, а это место уже занято. И еще старый ребе написал мне, что ежели победит Наполеон, то сие будет означать конец нашей веры. Наполеон ведь говорит, что мы должны слиться со всеми народами, а это и будет наш конец. И допустить этого нельзя, считает Залман Борохович. Так что он одобряет мою службу у вас.

Александр Павлович явно был чем-то взволнован.



Он сразу же накинулся на меня с вопросом, слышал ли я об исчезновении горничной из дома губернатора Лавинского и об ее убийстве.

Я спокойно отвечал, что довольно много знаю об этом деле. Но, кажется, Государь не обратил особого внимания на смысл моих слов.

Во всяком случае Его Величество продолжал говорить нервно, быстро, напряженно:

– Говорят, это происки бонапартистов.

Я не выдержал и рассмеялся.

– Почему ты смеешься? – весьма недовольно и даже слегка сердито спросил меня Государь.

– Ваше Величество, все ровно наоборот. Я совершенно доподлинно знаю, что горничная была подослана в дом Лавинского графом де Шуазелем и его друзьями-бонапартистами.

– А мне Балашов говорил, что горничная Лавинского соглашалась уже помогать его министерству полиции. Он дал ей важные поручения, и весьма важные, и даже оплатил их.

– Ваше Величество, на Балашова, думаю, подействовали чары очаровательной горничной, которая на самом деле принадлежала к кружку здешних бонапартистов. Понимаете, готовилась грандиозная афера, в центре которой мог оказаться ваш министр полиции. Так бы все и произошло, если бы юную виленскую бонапартистку вдруг не прирезали в уютном палисадничке на Остробрамской улице, той, что находится как раз прямо за ратушей. Гибель сей девицы, собственно, и спасла репутацию министра Балашова.

Как будто это объяснение на Государя в итоге подействовало, хотя до конца он все-таки, как мне кажется, не поверил, что Балашов может стать объектом манипуляций врагов Российской империи.

А около шести часов вечера ко мне пожаловали неожиданные гости – это был гражданский губернатор Виленского края Лавинский собственной персоной и министр полиции Балашов, мой давний знакомец и бывший благодетель.

Губернатор Лавинский был явно смущен и озабочен.

Балашов же глядел весьма зло и обиженно – он явно был недоволен, что вынужден обращаться ко мне с просьбой.

Первым начал говорить губернатор.

– Любезный Яков Иванович – сказал он чрезвычайно степенно. – Вероятно, вы слышали о постигшем нас несчастье. В моем доме, в той половине, которую занимает Александр Дмитриевич (он кивнул в сторону Балашова), служила горничная,

девица очаровательная, исполнительная и крайне услужливая. И вот сначала она исчезла, а затем ее нашли зверски зарезанной. Но понимаете, местные власти бездействуют, и убийцы до сих пор не обнаружены, да и не ищет их никто. Надавите на здешних полицейских, голубчик, ведь они теперь вам подчиняются.

Тут вступил в разговор и министр Балашов (говорил он важно и даже несколько высокомерно, что меня совершенно не удивило): – Этим делом стоит заняться всерьез. Я полагаю, что горничная была убита виленскими бонапартистами, ибо она, насколько мне известно, не смотря на польское свое происхождение, была поклонницей нашего государя.

– Господа! – спокойно ответил я.

– Вам не стоило беспокоиться. Розен и Ланг, отлично вам известные, под моим началом ведут розыск. Я не могу перед вами раскрывать все детали следствия, но общую картину очертить, кажется, имею право. Так вот Розену и Лангу удалось выяснить, что ваша очаровательная горничная была связующим звеном между виленскими бонапартистами и резидентом Бонапарта в Варшаве бароном Биньоном. Эта информация достаточно конфиденциальная, но заверяю вас в ее абсолютной точности.

При этих произнесенных мною словах губернатор Лавинский вздрогнул, а генерал-адъютант Балашов страшно побледнел, и глаза его загорелись нехорошим блеском обиды и зависти.

Ни слова ни говоря, даже не попрощавшись, они буквально бежали из моего кабинета, а Балашов весьма сердито хлопнул дверью. Еще бы! Я бы на его месте и не так хлопнул.

Когда шаги губернатора Лавинского и генерал-адъютанта Балашова стихли, я всласть рассмеялся, а потом принялся за работу.

Поспешный уход этой парочки дал мне возможность спокойно заняться разбором корреспонденции.

Апреля 28 дня. Одиннадцатый час ночи

Был у графа Барклая де Толли.

Уже, наконец, и до него дошли известия о пропаже, а затем и убийстве девицы Алины Коссаковской.

Он довольно много расспрашивал меня об этом. К моему величайшему сожалению, я не мог рассказать военному министру всей правды, хотя меня и прикомандировали к нему по высочайшему повелению.

Главкомандующий – это же ведь настолько же наивный ребенок, насколько заведующий его канцелярией Закревский проходимец и интриган, хотя граф прекрасно отдает себе отчет,

что выиграть военную кампанию без умных, хитрых и дерзких лазутчиков немислимо. Так что мою необходимость и значение воинской полиции он ясно и точно понимает.

Я рассказал Барклаю, что Алина (не называя, конечно, ее подлинного имени) входила в кружок виленских бонапартистов и, может быть, даже заправляла им. И добавил, что Алина пряталась в доме гражданского губернатора Лавинского от нас и одновременно следила за министром Балашовым по заданию варшавского резидента барона Биньона.

– Кто же мог ее убить? – осведомился граф, потрясенный всем услышанным – шпионство вообще было не по нем.

– Полагаю, что это наши патриоты отомстили за убийство поручика Шлыкова – ответил я достаточно уклончиво, но все-таки излагая суть дела.

– Жаль девушку – так довольно неожиданно отреагировал на мои слова военный министр. Надо сказать, что он вообще был довольно сентиментален: это в нем, видимо, сказывались шотландско-немецкие корни.

А для меня вот Алина Коссаковская прежде всего была противником и противником достаточно серьезным. Если бы она была уничтожена раньше, меньше бы нашей крови пролилось: Шлыков бы остался в живых и приносил бы пользу отечеству.

Днем в трактире Кришкевича встречался с полицмейстером Вейсом. Я сказал ему, что взамен погибшей Алины варшавский резидент барон Биньон неминуемо должен прислать нового человека. Так что среди виленского общества нужно ожидать пополнения. Вейс обещал присматриваться.

Я распорядился, дабы он сегодня же заготовил список всех новоприбывших и чтобы такой список он заготавливал каждый день и хранил в особой папке.

Поиски продолжателя дела Алины Коссаковской весьма занимали меня. Несомненно, кто-то новенький должен был у нас объявиться. Нужно готовиться к встрече. А может, уже и объявился.

Ужинал я у графа Кутайсова (геройски погиб в сражении при Бородине 26 августа 1812 года – последнее примечание Я.И. де Санглена). Он как всегда был любезен и в высшей степени приятен.

Было многолюдно, оживленно, весело (мне досаждал только Закревский: уж очень он нахален и самонадеян, беспардонен и завистлив). Вино было отменное, угощение разнообразное и вкусное.

Канкрин забавлял всех своим несуразным акцентом и оригинальным остроумием, невинными чудачествами. Жаль, что я не запомнил большинства его высказываний – они чрезвычайно оригинальны. Но, конечно, их нужно не записывать, а слышать.

Граф Кутайсов рассказывал, при общем смехе, что Бонапарт, завоевав Россию, собирается отправиться походом в Индию. Он прибавил при этом, что тому, видимо, не дают спать лавры Александра Македонского.

– Клупец и нефеша, – закричал в запальчивости Канкрин – креки кафарили: нелься ф атну и ту ше реку файти тфашты. Панапарте – нефеша. Запомните это, каспата! Прежде, чем потрашать Макетонскому, пусть читает крекоф.

При этих словах смех многократно усилился, но, кажется, в слова генерал-квартирмейстера почти никто не вдумался: один хозяин (благороднейший и умнейший граф Кутайсов) посмотрел на Егора Францевича Канкрин одобряюще и понимающе.

И еще Барклай де Толли вслушался в забавную реплику своего гениального снабженца. Но вообще он весь вечер как будто грустил: все дело в том, что военный министр не очень любил общее веселье. Он переговаривался вполголоса со мной, с начальником моей канцелярии губернским секретарем Протопоповым, с генералом Кутайсовым, с дежурным генералом Кикиным, но более, кажется, ни с кем.

Супруга же Барклая де Толли была довольна сверх меры. В политические разговоры она совершенно не вслушивалась, а исключительно наслаждалась нескончаемыми комплиментами адъютантов главнокомандующего. Еще с ней любезничал подлиза и хам Закревский, что вызвало ее полнейшее одобрение.

Когда я вернулся к себе, меня ждала записка, подписанная именами Розена и Ланга.

В записке сообщалось, что к Розену и Лангу явился граф де Шуазель и спрашивал о розыске по делу об убийстве Алины Коссаковской.

Я отвечал, что пусть господа полковники отвечают примерно таким образом: «Не сомневайтесь, ищем и непременно найдем».

Хочется спать, но надо еще разобрать корреспонденцию.

Апреля 29 дня. Два часа пополудни

Уже в девять часов утра у меня был сын аптекаря, и вот что он рассказал мне.

Вчера днем граф де Шуазель заявил, что отпускает его на два часа, ибо устал от работы и отправляется на прогулку в

городской сад. Но умный мальчик пошел не по своим делам, а решил тихонько проследить за своим патроном.

В саду к графу подошел некто в широкой темно-фиолетовой накидке и огромной шляпе, надвинутой чуть ли не на глаза.

Они уединились в пустынной темной аллею и минут с сорок прогуливались не спеша. А когда они расставались, сын аптекаря успел заметить, что де Шуазель вручил незнакомцу небольшой сверток.

Мальчик решил узнать, куда отправится незнакомец и осторожно стал красться за ним. Владелец огромной шляпы дошел до дома номер девятнадцать по Доминиканской улице. Это – особняк, занимаемый графом Николаем Петровичем Румянцевым, нашим канцлером.

Служители сообщили сыну аптекаря, что вошедший в дом господин – это Ян Людвиг Вуатен, уже четыре года как выписанный Румянцевым из Парижа.

Я сердечно поблагодарил сына аптекаря за ценнейшую находку. Как только он ушел, срочно вызвал полицмейстера Вейса, коллежского асессора Розена и капитана Ланга.

Первому я поручил навести справки о Вуатене и всех обстоятельствах его жизни, а Розену и Лангу дал указание организовать наблюдение за домом графа Румянцева в Вильне.

Уже через какие-нибудь два часа Вейс прислал мне довольно подробный отчет. Ему удалось выяснить следующее.

Ян Людвиг Вуатен в чине капитана участвовал в египетском походе Бонапарта, был ранен и вышел в отставку. Потом он жил в Париже, пописывал под разными псевдонимами в газеты и журналы военно-исторические статейки, пока его не вытребовал к себе граф Николай Петрович Румянцев.

Встреча графа Шуазеля с месье Вуатеном в высшей степени не случайна.

Бывшего офицера наполеоновской гвардии, видимо, соединяют с графом де Шуазелем, работающим, как известно, на варшавского резидента Бонапарта, дела достаточно серьезные. Вполне возможно, что именно Вуатен заменил прелестную Алину.

И вот что еще любопытно. Ежели Вуатен есть шпион Бонапарта, то как понять его местонахождение в доме графа Румянцева?

Николай Петрович, канцлер Российской империи и первый председатель государственного совета, давно известен своими симпатиями к Бонапарте.

Не исключено, что француз, живущий в доме графа, – шпион. Но вот что чрезвычайно существенно: в этом проявилось неведение Румянцева или его сознательная воля? У меня появилась крамольная мысль, однако проигнорировать ее я никак не могу: может и граф Николай Петрович работает на Бонапарта? Над этим надо всерьез подумать.

Да, вытягивается такая необыкновенная ниточка: граф Шуазель – Вуатен – граф Румянцев. А ведь Николаю Петровичу есть что интересного сообщить людям Бонапарта. Интересно, что скажет на это наш Государь Александр Павлович?

Молодец – мальчишка: он не зря вчера совершил прогулку по городскому саду. Без всякого сомнения, из него выйдет гениальный шпион.

Этого сына аптекаря, несомненно, послал мне сам Господь!

Апреля 29 дня. Восемь часов вечера

Набросал записку для сына аптекаря, в коей просил его сегодня же непременно зайти ко мне.

Получил донесение от Розена и Ланга. В нем сообщалось, что местье Вуатен в течение дня несколько раз выходил на прогулку в городской сад: он встречался там с графом де Шуазелем, аббатом Лотреком и графом Тышкевичем. Каждый из них вручил Вуатену по небольшому пакетику.

Вот что особенно интересно: эти пакетики предназначались персонально для Вуатена или же он был только передаточным звеном?

Если Вуатен – всего лишь передаточное звено, то пакетики тогда предназначались для графа Николая Петровича Румянцева. И тогда можно говорить о предательстве высочайшего государственного сановника нашей империи. Но не будем торопиться с окончательными выводами.

В полдень, во время свидания своего с Государем, я рассказал ему о замечательной находке сына аптекаря – о местье Вуатене, живущем в доме графа Румянцева, и об его встречах с виленскими бонапартистами.

На Александра Павловича эта история произвела необыкновенно сильное впечатление. Мальчишка вызвал у него прямое восхищение, но мысль, что заговорщики могут использовать в своих гнусных целях человека, который является канцлером, председателем государственного совета, императора не только смутила, но и встревожила. Но к концу нашей встречи он залился самым что ни на есть задушевым смехом и сказал мне следующее:

– Представляю, как озлится Балашов, когда узнает о твоих колоссальных успехах, ведь ты открыл самый настоящий заговор.

Кстати, я обедал с полицмейстером Вейсом в трактире у Кришкевича. Вейс, между прочим, рассказал мне, что люди Балашова следят за моим домом.

Еще он говорил мне, что есть известие из Ковно от майора Бистрома – там обстановка все накаляется: туда прибывают все новые и новые переодетые французские офицеры, от чего местное население в полном восторге, недовольство выражают одни жиды – самые горячие русские патриоты в здешнем крае. Но больше я уже к Бистрому никого на помощь не пошлю – самому люди позарез нужны.

К семи часам вечера явился сын аптекаря. Он сообщил мне потрясающую новость, которая чрезвычайно меня обрадовала. Собственно, о такой новости можно было только мечтать.

Французский резидент в Варшаве барон Биньон (под его началом находится вся разведывательная служба Бонапарте в герцогстве) дал сыну аптекаря распоряжение временно покинуть графа де Шуазеля и пойти в услужение к месье Вуатену. Об этом можно было только мечтать – мальчишка попадет в дом к самому Николаю Петровичу Румянцеву, графу и канцлеру.

Даже в самых смелых мечтах своих я так далеко никогда не заносился. Это удача совершенно немислимая, даже фантастическая. Трудно даже поверить, что такое могло произойти.

Сын аптекаря – не просто умница, но еще и на редкость удачлив, а с ним и я и вся военная полиция при военном министре графе Барклае де Толли.

Мальчишка сообщил в своей записке, что переселяется завтра утром и потом сразу же постарается написать мне.

Молодчина Биньон – он нам сильно помог! Можно сказать, что и он работает на российского императора и хорошо работает. Хо-хо! Может его наградить? Владимира 3-й степени он точно уже заслужил.

Я смеюсь, а вот вечер на самом деле проходит весьма тревожно – я все время думаю о месье Вуатене и доме Румянцева, о том, что мы завтра узнаем.

Апреля 30-го дня. Четыре часа.

Еще не было одиннадцати часов утра, а уже мне принесли записку от сына аптекаря. Она была совсем коротенькая.

Мальчик писал, что уже устроился на новом месте, что его поместили в комнатке, примыкающей к апартаментам месье Вуатена, что хозяин дома самолично заходил познакомиться с ним

и оказался человеком любезным, любознательным и многосторонне образованным, что они даже разговаривали на древнееврейском.

Месье Вуатен тоже мальчику понравился, хотя граф своей изысканной галантностью ему гораздо более напоминал француза. Вот и все содержание записки. Но он еще напишет мне, может быть, даже еще сегодня. Я уже жду со всем своим гасконским нетерпением новых известий от него.

Коллежский ассессор Розен рассказал, что видел около Замковых ворот графа Тышкевича, беседующим с весьма щеголевато одетым молодым человеком, приятные манеры которого не могли скрыть несомненной офицерской выправки.

Полковник навел справки и выяснил, что граф беседовал с шевалье де Местром, на днях прибывшим в Вильну.

Я поручил Розену выяснить круг здешних знакомств шевалье. Весьма вероятно, что он прикомандирован бароном Биньоном к кружку графа де Шуазеля и его приятелей.

После полудня приходил ко мне полицмейстер Вейс. Я приказал ему отрядить караульных и отогнать от моего дома всех соглядатаев, поставленных министром Балашовым, что и было сделано в течение какого-нибудь получаса.

Берлинский обер-полицмейстер Грунер уведомил Вейса, что принц Мюрат со своей армией как будто уже выступает из Гамбурга – ей дан приказ двигаться в польском направлении. Сам же Бонапарт продолжает как ни в чем не бывало веселиться в Берлине.

Узнав от Вейса об этом, я тут же известил о происшедшем Барклай де Толли, а тот мигом побежал докладывать государю. Спешка того стоила – новости были крайне важные.

Вернувшись, Барклай передал мне, что император Александр Павлович велел сердечно благодарить и меня и Вейса и прибавил, что ждет меня к себе к семи часам вечера.

Апреля 30 дня. Одиннадцатый час ночи

Я уже собирался ехать к Государю, когда принесли записку от сына аптекаря. Она совершенно ошеломила меня и привела в состояние крайней неуравновешенности и даже испуга.

Мальчик написал мне, что граф Николай Петрович Румянцев состоит в личной переписке с Бонапартом.

Сегодня во втором часу дня канцлер самолично запечатал свое послание к императору Франции, вызвал месье Вуатена и велел ему отнести письмо к графу де Шуазелю, дабы тот переслал его в Варшаву к французскому резиденту барону Биньону, а тот уже – в Берлин, к самому Бонапарту. Вуатен же, выйдя из



графского кабинета, зашел в комнатку, отведенную сыну аптекаря, и сказал ему, чтобы тот сам отнес письмо канцлера Румянцева.

Так все и вышло наружу.

Новость, однако, поистине страшная.

Накануне возможной войны канцлер Российской империи находится в тайной переписке с главным врагом России, – это не шутка.

Конечно, неизвестно, какого рода эта переписка, но в любом случае она тайная, а это уже о многом говорит. Тут вполне может быть самый настоящий заговор.

Месье Вуатен же – мелкая сошка, связанной между графом Румянцевым и Бонапарте, и не более того.

С мыслью о большом, разветвленном заговоре и об участии в нем канцлера было страшно трудно свыкнуться. Да и времени не было – я спешил к Государю: схватил записку и бросился опретью к виленскому замку.

Пробежав записку, Государь немного растерянно огляделся вокруг. Такого все-таки он, видимо, никак не ожидал.

После нескольких минут тягостнейшей, явно затянувшейся паузы Александр Павлович сказал мне:

– Санглен, но мы ничего не можем сделать. Я не могу приказать ни арестовать канцлера, ни произвести у него обыск, но мальчик твой (поблагодари его от моего имени как следует), как ты выражаешься, пускай продолжает наблюдать. Ничто не должно от него укрыться. И все без исключения его записки показывай мне. Не откладывая. Сразу же носи.

Возвращаясь к себе, я вдруг совершенно крамольно подумал о том, что, может быть, группу виленских бонапартистов возглавляет совсем не граф де Шуазель, а канцлер Николай Петрович Румянцев. Мысль крамольная, дикая, но, увы, не беспочвенная.

Дома меня дождался Розен, как всегда, неутомимый и исполнительный.

Сияя, он тут же сообщил мне, что шевалье де Местр является полковником французской службы, что он послан, судя по всему, варшавским резидентом Биньоном и что сегодня шевалье встречался в городском саду с аббатом Лотреком, графом де Шуазелем и месье Вуатеном, учителем.

Де Местр вручил графу де Шуазелю небольшой пакетик, перевязанный синей бечевкой – видимо, это были новые инструкции, посланные из Варшавы. А один маленький конвертик шевалье передал месье Вуатену.

Что ж, появление у нас шевалье де Местра – новость совсем не плохая, скорее уж напротив.

Группа виленских бонапартистов все разрастается. Чем их больше, тем больше будет наш улов. А они, судя по всему, все будут прибывать и прибывать. Милости просим, господа, мы вас ждем с распростертыми объятиями. Военная полиция при особе военного министра готовится к приему гостей. Уж мы постараемся принять вас на славу.

Когда Розен ушел от меня, я тут же набросал записку к сыну аптекаря и, по возможности, просил выяснить хотя бы примерное содержание того конверта, который шевалье де Местр вручил месье Вуатену во время их свидания в городском саду. Я чувствую, что там могло быть письмо для графа Румянцева.

Мая 1 дня. Семь часов вечера

Именно так все и вышло. Я был совершенно прав, хотя сам не очень-то верил в свою правоту, полагая, что то шальная мыслишка залетела, и не более того. Но получилось иначе.

Около одиннадцати ко мне прибежал необычайно возбужденный сын аптекаря и вот что он рассказал, спеша и задыхаясь (при этом лицо даже не горело, а пылало, глаза же, казалось, вот-вот готовы были выскочить из орбит).

Вчера после ужина канцлер Румянцев позвал к себе в кабинет месье Вуатена и его.

В самом центре громадного письменного стола находился распечатанный конвертик (это был именно тот, что передал шевалье де Местр), а рядом лежал лист, весь исписанный рукой человека, которая заставляла сотрясаться всю Европу. Да, то было письмо самого Бонапарте.

Канцлер указал рукой на раскрытый лист и сказал, что получил письмо от императора Франции.

Далее он сообщил, что император отправляет в Вильну своего специального посланника графа Нарбонна и заботу о нем поручает моим людям. – А это ведь вы, – прибавил Румянцев, глядя на месье Вуатена и сына аптекаря, который ныне являлся секретарем Вуатена и его клеветом. – И вам я поручаю заботу о безопасности графа де Нарбонна и том, чтобы нежелательные взгляды и чересчур любопытные уши ничего не вывели.

Еще канцлер добавил, что граф де Нарбонн выехал из Дрездена вчера ночью.

Доставленные сыном аптекаря сведения были настолько важными, и я был настолько взволнован, что у меня даже не было сил по-настоящему поблагодарить мальчика (но это я еще непременно сделаю).

Во рту пересохло, язык онемел. Я потряс сыну аптекаря руку, судорожно обнял его, нервно похлопал по плечу и опрометью кинулся к Виленскому замку.

Государь, кажется, тоже был потрясен услышанным, но принял происшедшее более спокойно, чем я. Во всяком случае способность думать и говорить ясно отнюдь не оставила его в эти минуты.

Александр Павлович улыбнулся и сказал мне ласково:

– Не волнуйся, голубчик. Конечно, чрезвычайно неприятно, что канцлер Российской империи находится в переписке с Бонапартом, кажется, собирающимся эту империю разрушить. Но отраднее то, что мы знаем, пусть и в общих чертах, содержание письма, присланного Бонапартом к графу Румянцеву. Кроме того, мы знаем и то, кто передал это письмо. У нас есть человек, который, надеюсь, и в дальнейшем будет сообщать нам сведения исключительной ценности. И, наконец, мы своевременно узнали о приезде в Вильну графа де Нарбонна, и у нас есть возможность подготовиться к встрече с эмиссаром императора Франции.

Слова, сказанные Александром Павловичем, меня совершенно успокоили. Конечно, тут сыграл свою роль ласковый, мягкий тон государя, но главное смысл его слов – исключительная ясность того, как он говорил.

Я вернулся к себе и тут же написал записку майору Бистрому.

Сообщил ему, что граф де Нарбонн уже выехал и что нужно готовиться к его встрече, напомнив, что графа с его свитой необходимо пустить непролазными проселками – просчета тут быть никак не должно.

Мая 2 дня. Одиннадцатый час ночи

Завтракал с полицмейстером Вейсом в трактире Кришкевича.

Вейс рассказал мне, что получил сегодня утром письмо из Берлина от обер-полицмейстера Грунера уведомление, что генерал-адъютант Бонапарта граф де Нарбонн уже отправился в Вильно.

Грунер известил также Вейса, что в свите графа де Нарбонна находятся следующие лица: капитан Фибер Себастиани, поручик Роган Шабо, курьер Гаро, камердинер Батист Гранто, лакеи Кристиан Мере и Франсуа Пери.

Днем я получил записку от сына аптекаря. Он сообщал, что он и месье Вуатен около полудня имели встречу в городском

саду с графом де Шуазелем. Тот велел передать канцлеру Румянцеву следующее.

Дивизионный генерал Нарбонн уже прибыл в Белосток, а из Белостока отправился в Варшаву, где ненадолго задержался.

В Варшаве графа де Нарбонна принял командующий польскими войсками Иосиф Понятовский, коему граф вручил личное послание Бонапарта. Еще он имел встречу с послом и резидентом императора Франции в герцогстве Варшавском бароном Биньоном: заслушал отчет, дал ему инструкции и т. д. Из Варшавы Нарбонн сначала отправится в Ковно, а уже оттуда – в Вильну.

Граф де Шуазель велел также передать канцлеру, что Нарбонн везет к императору Александру письмо мира.

Эту записку я показал Барклаю де Толли и потом отнес государю, рассказав ему и о беседе с Вейсом (информация из Берлина).

Александр Павлович заметил, что, конечно, сведения, доставленные обер-полицмейстером Грунером, немаловажны, но все-таки особой ценностью обладает именно записка, присланная сыном аптекаря – она позволяет вычислить маршрут и время ориентировочного прибытия Нарбонна в Вильну.

Государь попросил меня также, дабы я еще раз написал в Ковно и напомнил, что необходимо уже готовиться к встрече графа де Нарбонна. Еще он предложил как можно быстрее послать кого-нибудь в помощь ковенской полиции, человека, который бы специально занимался там Нарбонном.

Государь так же заметил, что одного присутствия в доме графа Румянцева сына аптекаря – мера недостаточная и что необходимо установить наружное наблюдение за домом. Это было очень дельное предложение.

В самом деле, сын аптекаря, при всей своей гениальных способностях, не в состоянии уследить за всеми обитателями румянцевского особняка, а ведь нужно в точности знать, кто и когда выходит из дому и куда направляется и когда возвращается.

Вернувшись к себе, я тут же вызвал квартального надзирателя Шуленберха, вручил ему записку к майору Бистрому и без промедления велел Шуленберху отправляться в Ковно.

Незамедлительно вызвал я и коллежского асессора Розена, приказав ему и Лангу как можно быстрее установить круглосуточное наблюдение за домом Николая Петровича Румянцева и ежедневно представлять мне отчеты.

Кстати, поручик рассказал мне, что сегодня к вечеру (около семи часов) шевалье де Местр и купец Менцель

отправились на прогулку в Ковно. Интересная прогулочка у них. Полагаю, что путешествие это предпринято с целью подготовки к приезду графа де Норбонна: хотят выведать, все ли спокойно в Ковно. Да, надо поразмыслить над этим как следует и непременно помещать исполнению тех планов, что они задумали.

Мая 3 дня. Десятый час утра

Может быть, граф Нарбонн и везет послание к нашему Государю, исполненное самых мирных предначертаний, но все-таки едет он прежде всего за тем (в этом я не сомневаюсь ни одного мгновения), чтобы узнать об истинном состоянии русских войск и доложить потом своему императору.

Собственно, быть или не быть войне во многом зависит от того, что расскажет граф Нарбонн по возвращении своем от императора Александра.

Расскажет этот многоопытный придворный хитрец, конечно, только то, чего хочется Бонапарту, но надо при этом сделать так, чтобы ему ничего не удалось выведать. Как же этого добиться? Даже если выстроить вокруг графа стену из моих бравых ребят, то все равно невозможно отгородить его от тех или иных впечатлений. Что-то обязательно просочится.

Как же все-таки быть? Что придумать?

Мне кажется, что спасение заключено в быстроте. А что если сразу выявить истинно шпионскую цель его приезда?! В таком случае государь вынужден будет выслать графа за пределы Российской империи. Надо только сделать так, чтобы граф до этого момента ничего не успел узнать.

Нужно сего посланца Бонапарте каким-то образом продержать герметически закупоренным, никоим образом не посягая одновременно на его свободу.

Итак, нашим козырем должна стать ошеломляющая быстрота.

Но о какой быстроте может идти речь, если в Ковно уже выехали шевалье полковник де Местр и Менцель, дабы встретить Нарбонна и сразу же ввести его в курс дела?! Значит, эту парочку нужно незамедлительно убрать из Ковно или вообще убрать, ибо они страшно мешают нам и ставят под угрозу все, что я замыслил.

Итак, срочно вызываю своих господ полковников и направляю их в Ковно – с шевалье де Местром и купцом Менцелем нужно что-то сделать до появления в нашем краю графа де Нарбонна, а он ведь тут может появиться с минуты на минуту, и тогда все пропало.

Желательно, дабы виленским бонапартистам де Местру и Менцелю не удалось первыми встретить личного посланца Бонапарта.

Мая 3 дня. Двенадцатый час ночи

Только что ушли Розен и Ланг. Они влетели ко мне в кабинет около половины одиннадцатого ночи, грязные, усталые, но безмерно счастливые. Вот вкратце то, что я смог извлечь из их довольно сумбурного рассказа.

По приезде в Ковно они прежде всего отыскивали на окраине города полуразвалившийся дом, в котором уже давно никто не обитал. Затем они отправились к майору Бистрому и, особенно не вдаваясь в подробности, сказал, что ему нужен на пару часиков квартальный надзиратель Шуленберх и еще двое полицейских.

И вместе с этой троицей Розен и Ланг начали розыски, шевалье де Местра и поручика Менцеля. Найти их оказалось чрезвычайно легко: они пили чай в жидовской корчме. Хозяин корчмы некто Хацкель был необыкновенно весел, быстр, услужлив и к тому же он бегло болтал по-французски.

Оставив квартального надзирателя и двух полицейских на улице, Розен и Ланг вошли в корчму и присоединились к шевалье де Местру и купцу Менцелю.

Выпив с ними не менее шести стаканов чая, Розен и Ланг заявили, что хотят угостить их вином. Те отвечали, что лучшее тут вино дают в трактире Олешкевича. Туда все сразу и отправились.

Когда допились до полубесчувственного состояния, барон Розен, едва, кстати, державшийся на ногах, и, слабо махнув рукой, поманил к себе квартального надзирателя и полицейских. Те мигом вбежали в трактир и поочередно вынесли де Местра, а потом Менцеля, уложив их аккуратно в карету.

Пьяную парочку свезли в давно отобранный дом, и оставили там, накрепко связанными. Розен сказал полицейским, что пленников надо стеречь дней десять, а потом можно будет отпустить, но если в течение этих десяти дней будет сделана попытка к бегству, то их следует убить, но живыми не отпускать.

Квартальному же надзирателю Шуленберху Розен и Ланг передали мой приказ встретить графа Нарбонна и сопроводить его до вплоть до самой Вильны и делать все для того, дабы в дороге он ни с кем не имел встреч и продолжительных разговоров наедине.

Шуленберх остался в Ковно дожидаться посланца Бонапарта, а Розен вернулся ко мне за новыми приказаниями. Еще он представил отчет наблюдения за домом канцлера Румянцева, но

там ничего интересного не было – особняк покидали только мсье Вуатен и его помощник, то есть наш сын аптекаря.

Что ж пока все складывается неплохо. Бонапартисты, отправленные на встречу графа де Норбонна, нейтрализованы – это крайне важно.

Надеюсь, что Шуленберх не подведет нас: никоим образом нельзя допустить, дабы этот то ли граф, то ли принц хоть что-то сумел выведать.

А не послать ли в Ковно еще и Розена (естественно, с Лангом)? Так, для пущей надежности. Сейчас поразмышляю еще, но скорее всего отправлю утром полковников назад в Ковно – будет вернее. Неудача для нас теперь просто невозможна. Мы просто не в состоянии себе позволить, дабы Бонапарте теперь обхитрил нас: граф де Нарбонн должен вернуться к нему ни с чем.

Еще несколько слов о событиях сегодняшнего вечера. Около семи часов принесли записку от сына аптекаря. Он сообщил о своей беседе с канцлером.

Граф сказал ему, что верит в гений Бонапарта и что напрасно его (Бонапарта) считают нашим врагом. Заметив во взгляде мальчишки невольную улыбку, канцлер со всею своею запальчивостью: «Да, да, император Франции сам написал мне об этом в последнем своем письме».

Да, граф наивен. Он, видимо, полагает, что Бонапарт способен обмануть только своих друзей. Видимо, канцлер все-таки недостаточно знает императора Франции. А я никогда не забуду слова, сказанные как-то Бонапартом: «Тех, кто против меня – я ненавижу, а тех, кто со мной – я презираю».

Я убежден; что Бонапарт просто хочет использовать нашего канцлера; чтобы вытянуть из него необходимые сведения, а потом безжалостно бросит его.

Записку, присланную сыном аптекаря, я сегодня же передал Государю, и он прямо при мне с большим интересом прочел ее, тут же отчеркнув карандашом несколько мест.

Александр Павлович со смехом рассказал мне, что Балашов донес ему со ссылкой на свои источники, что Наполеон Бонапарт направляет в Вильну своего эмиссара. Он лукаво добавил, что министр полиции выдает это за величайшее свое открытие.

Ужинал я у графа Баркляя де Толли. Было чинно, скучно (очень не хватало генерал-интенданта Канкринина с его забавными выходками и оригинальным, неподражаемым остроумием), но хотя бы сытно и вкусно.

Мая 4 дня. Двенадцатый час ночи

Граф де Нарбонн уже в Ковно. С уведомлением об этом прислал срочную эстафету майор Бистром: «Сей час появился в городе Ковно французской службы адъютант Его Императорского Величества Императора Французского генерал граф Нарбонн, который послан с письмом к Его Императорскому Величеству Императору Российскому и будучи уже пропущен чрез границу в пределы Российские. В таковом случае, видя я при нем несколько офицеров, сделал ему в Ковно в даче лошадей надлежащее вспомоществование, а дабы таковое и в пути было чинимо, долгом почел препоручить прибывшему сюда посланному от Вашего Высокопревосходительства Виленскому квартальному офицеру Шулемберху проводить до Вильно и по тракту делать все возможное вспомоществование и вежливости, причем иметь за ним скрытый надзор».

Прислал донесение и барон Розен. Там было довольно много сведений, достаточно разнообразных и весьма любопытных, как будто мелких, но точных и выразительных (в основу этого донесения, несомненно, легли факты, собранные сотрудниками в ведомстве майора Бистрома в течение последних нескольких дней).

Граф де Нарбонн, бывши в Тильзите, осматривал тамошнюю сторону, осведомлялся о ценах съестных припасов, даже был в мясных лавках и купил телятины.

Прибывши в Юрбург и потребовавши почтовых лошадей, он пошел в трактир к жиду Арону и там ужинал, после чего прошли к нему здешний помещик Соколовский, таможенный чиновник Симаненский, но так как ни один из них не говорил по-французски, то он немного разговаривал с бухгалтером Пастзёрбским. Между прочим, он сказал ему: «Бог знает, мир ли я везу или войну». Нарбонн должен быть очень скуп: заплатив за 10 лошадей, он взял 14. Уезжая из Юрбурга, он неоднократно говорил: «Мой великий император отправил меня с письмом к своему любезному брату Императору Российскому».

В Ковно он разговаривал час по-французски с тамошним жидом, часовщиком Мозесом. Он сказывал, что уже две части мира сделаны, остается только третья, но и та скоро будет сделана. Потом у него был полицмейстер, который, поговорив с ним, сказал, что можно отправляться в Вильну, куда сопровождать его должен виленской полиции офицер Шуленберх.

Поздно вечером принесли вторую записку от Розена – Ланга, совсем краткую. В ней сообщалось, что шевалье де Местр и купец Менцель были застрелены при попытке к бегству.



Мая 5 дня. Десятый час вечера

Утром я отнес записки Бистрома и Розена – Ланга (первую), касающиеся пребывания графа Нарбонна в Ковно и окрестностях, к Барклаю де Толли для передачи государю.

Прибегал сын аптекаря. Он сообщил, что только что встречался в городском саду с графом де Шуазелем и аббатом Лотреком. Они просили передать канцлеру Румянцеву, что граф де Нарбонн уже находится в Ковно, но шевалье де Местр и поручик Менцель его не встретили – они заблаговременно прибыли в Ковно, но затем вдруг неожиданно исчезли – последний раз их видели в трактире, пьющими чай.

Около трех часов дня принесли записку от сына аптекаря. Он уведомлял меня, что он встречался у Замковых ворот с графом Тышкевичем и камергером Коссаковским. Они известили его, что шевалье де Местр и купец Мендель найдены застреленными на окраине Ковно во дворе полуразрушенного дома. Просили известить о происшедшем месье Вуатена.

Обедал с полицмейстером Вейсом в трактире у Кришкевича. Потом, когда уже пили кофий, я сказал, что поручаю Вейсу дать графу де Нарбонну кучеров и лакеев из служащих в полиции офицеров – тех, что владеют французским и польским.

Около трех часов дня столкнулся на Доминиканской улице с министром Балашовым. Он горделиво-презрительно поглядел на меня и спросил: «Вы слышали, что в Вильну собирается граф Нарбонн, посланец Бонапарта? Сообщаю вам это совершенно конфиденциально». Я засмеялся и, ни слова не говоря, отошел.

У нас не министр полиции, а кажется, шут. Или он, действительно, хотел меня удивить прошлогодними новостями?! Нет, скорее всего он хотел проверить – знаю ли я о готовящемся визите. В любом случае, он смешон.

Вечером виделся с Государем.

Александр Павлович доволен работой майора Бистрома и полковников Розена – Ланга. Просил не оставлять наблюдение за домом канцлера Румянцева и доставлять ему буквально каждое донесение сына аптекаря, к коему Александр Павлович явно благоволит.

Ужинал у графа Александра Ивановича Кутайсова.

Все разговоры шли о Нарбонне, о том, вестник мира он или войны. Правда, коснулись и произошедшего на окраине Ковно, в полуразрушенном доме, загадочного убийства двух жителей Вильны.

Хозяин спросил, кто ведет розыск убийц. «Коллежский ассессор Розен и капитан Ланг, но под моим присмотром», – сухо и сдержанно отвечал я. «Ну, значит, скоро преступники будут обнаружены» – улыбаясь, почти радостно сказал Кутайсов.

Однако я предпочел эту тему не развивать, и мы опять вернулись к разговору о графе Луи де Нарбонне и его очень скором появлении в Вильне.

Неприятная новость. Принесли записку от Розена. Купец Менцель был действительно убит, а вот полковник шевалье де Местр, видимо, всего лишь был тяжело ранен. Во всяком случае тело сего мнимого покойника решительно исчезло.

Полагают, что он сбежал. Я отдал приказ, во что бы то ни стало разыскать его и упрятать подальше.

Мая 6 дня. Двенадцатый час ночи

Началось! Граф Луи де Нарбонн появился сегодня в Вильне в 9 часов утра.

Он снял квартиру у Мюллера в доме номер 143.

Выбираясь из кареты, граф вынес лакированную шкатулку, держа ее осторожно и бережно.

Обо всем этом донес мне квартальный надзиратель Шуленберх, наблюдавший за ним.

В десять часов Нарбонн ездил в Виленский замок к князю Кочубею, заправляющему вместе с Нессельродом нашими внешним и сношениями.

С часу до двух граф в сопровождении своего адъютанта поручика Шабо и ротмистра Себастиани прогуливался до Замковых ворот.

В три часа на квартиру к Нарбонну приходил камердинер графа де Шуазеля. Убежден, что он приносил отчет виленских бонапартистов или же Шуазель через посланную записку уславливался с Нарбонном о встрече. Не исключено, что визит камердинера преследовал целью своей решение обеих этих задач.

О встрече они точно договорились через камердинера – других предварительных контактов не было. В семь часов к Нарбонну, гулявшему по Доминиканской улице, подошли граф де Шуазель и аббат Лотрек. Они остановились и беседовали и, видимо, условились о новом, более обстоятельном свидании.

В девять часов вечера на квартиру к графу де Нарбонну явился граф де Шуазель и пробыл у него до одиннадцати часов ночи. Беседовали они в кабинете при наглухо закрытых дверях.

Квартальный надзиратель Шуленберх, переодевшись во фрак, свел дружбу с камердинером Нарбонна Батистом Гранто и лакеями Кристианом Мере и Франсуа Пери. Они оказались

большими любителями бургундского, коим их Шуленберх и почивал.

По рекомендации Шуазеля Нарбонн взял себе еще одного лакея (он из местных, но довольно продолжительное время жил в Париже). Это – Станкевич, поручик в отставке и нештатный сотрудник виленской полиции.

То, что Станкевич попал в услужение к Нарбонну, есть наша очевидная удача. Так это расценил и Государь, когда я рассказал ему о происшедшем (он принял меня сегодня с докладом о текущих событиях около трех часов дня).

О пропавшем шевалье де Местре, увы, нет совершенно никаких известий. Но чувствует мое сердце, что он жив, и это совершенно ужасно (как же это Розен и Ланг не добились его!). И ведь непонятно, где и в какое время он теперь объявится. Но пока все идет гладко.

Сын аптекаря прислал записку, в коей уведомил, что граф Николай Петрович Румянцев уже извещен о появлении в Вильно Нарбонна, но контактов между ними никаких не было – ни прямых, ни письменных.

Еще сын аптекаря сообщил, что граф Румянцев находится в состоянии духа чрезвычайно приподнятом. Несомненно, он живет ожиданием грядущей встречи с Нарбонном и ожиданием письма от императора Франции, которое тот должен ему вручить.

Наружным наблюдением за домом канцлера руководят полковники Розен и Ланг.

Я приказал им быть настороже, ибо Нарбонн рано или поздно, но захочет свидеться с Румянцевым.

Особенно нужно быть внимательным к маршрутам месье Вуатена, за которым я дал указ следить совершенно особо.

Под вечер прислал свою первую записку Станкевич. Он сдружился с лакеями Нарбонна Кристианом Мере и Франсуа Пери. И вот что ему у них удалось выведать.

Состоящие при особе эмиссара Бонапарте ротмистр Себастиани и поручик Шабо (они самые несомненные шпионы) делают вид, что они не понимают происходящих вокруг разговоров.

Между тем, и Мере и Пери утверждают, что и ротмистр и поручик отличнейше владеют польским языком. Это притворство далеко не случайно. Без всякого сомнения, и Себастиани и Шабо – шпионы, как и их патрон, и нужно следить, дабы они как можно менее могли увидеть и услышать.

Меня весьма тревожит шевалье де Местр. Он непременно объявится.

Весьма прискорбно, но придется упустивших его Розена и Ланга на месяц лишит жалованья. Как я хорошо ни относился бы к господам полковникам, как бы ни ценил их обычную исполнительность и дотошность, но оставить без последствий случившееся никак не могу, ведь Шевалье де Местр жив и это несомненный укор для всей воинской полиции.

В девять часов явился ко мне камердинер Его Величества Зиновьев. Он срочно попросил меня явиться в Виленский замок. Естественно, я схватил свой неизменный желтой кожи портфельчик и тут же побежал.

Государь явно был взволнован. Он ожидал новостей. Я выложил на стол записки, полученные мною от сына аптекаря и Станкевича – в одной сообщались сведения о графе Румянцеве, а во второй – о графе Нарбонне. Александр Павлович тут же стал жадно читать тексты записок. Потом он стал расспрашивать меня, знаю ли я что-нибудь о том, с чем приехал в Вильну Нарбонн.

Я отвечал, что, конечно, он приехал с целью выведать что-нибудь о состоянии нашей армии. При этом он, видимо, сделает и какие-то официальные предложения, но в чем они будут заключаться, сейчас сказать достаточно сложно.

Так, на одной из станций, по пути в Вильну, в разговоре со старым фельдшером Нарбонн, по донесению наших людей, сказал, что скоро будет мир.

По прибытии в Юрбург в беседе с одним бухгалтером он выразился более половинчато: «Бог знает, мир ли я везу или войну».

А иногда, по пути сюда, граф высказывался целиком мирно: «Мой великий Император отправил меня с письмом к своему любезному брату Императору Российскому».

«Так что ясное представление о намерениях французской стороны, – заключил я свой рассказ – пока не складывается. Слишком много неясностей, слишком много противоречий».

И добавил потом: «Возможно, граф Нарбонн специально запутывает нас, а сам хочет узнать поболее».

Государь в знак согласия кивнул головой. Кажется, он думает сходным образом.

Вообще я давно дивлюсь, насколько Александр Павлович обладает способностями к розыскной работе. Несомненно, из него получился бы отличный шпион: любой начальник тайной полиции захотел бы иметь такого.

Когда я вернулся к себе, меня ждала еще одна записка от отставного поручика Станкевича. Он уведомлял меня, что к графу в течение сегодняшнего дня прибыл еще экипаж: там находились

Жюстин Море, Пирьё и графский секретарь Мане. По уверению камердинеров, вновь прибывшие ехали из Берлина через Лион и Париж.

Народу появилось много, но прежде всего, думаю, надобно опасаться, окромя самого графа, ротмистра Себастиани и поручика Шабо. За ними необходимо приглядывать особо.

Впрочем, полагаю, что и Мане, секретаря Нарбонна, хотя он явно не военный, следует остерегаться.

Вот первый день и закончился.

Интересно, с кем граф де Нарбонн встретится раньше – с государем или с канцлером Румянцевым?!

Или, может быть, он просто передаст через кого-нибудь канцлеру послание императора Франции?!

Совсем скоро все это выяснится.

Мая 7 дня. Одиннадцать часов ночи

Проклятьё! Сегодня в девять часов утра на квартиру к графу де Нарбонну явился шевалье де Местр. Он пробыл более часа.

Живехонек, бодр как никогда, свеж, следа ранений незаметно. Но он уж, я думаю, расписал, как его слуги российского императора собирались на тот свет отправить. Да, наш полковник Розен «засветился».

Появление шевалье у Нарбонна, конечно, очень неприятно, но этого появления следовало ожидать. Противник никогда не бывает так опасен, как в недобитом состоянии.

В два часа дня Нарбонн в сопровождении ротмистра Себастиани и поручика Шабо – то есть вся компания лазутчиков Бонапарта – выехал в направлении Виленского замка.

Граф был приглашен на обед к государю, а его офицеры – на обед к главнокомандующему. В семь часов Нарбонн опять был зван к государю.

В сумерки на квартиру к Нарбонну приходил неизвестный в синем фраке и пробыл минут сорок. Квартальный надзиратель Шуленберх утверждает, что, может быть, это француз из дома Румянцева, то есть месье Вуатен.

Это был и в самом деле месье Вуатен, и вот откуда это мне известно.

Около одиннадцати часов ночи прислал записку сын аптекаря. Он уведомил, что вечером месье Вуатен вышел, вернулся он через час с письмом императора Франции. Ясно, что ходил он на квартиру к Нарбонну. Это и был незнакомец в синем фраке. Месье Вуатен.

Так что, может быть, в целях сохранения тайны генерал-адъютант Нарбонн и не встретится лично с канцлером Румянцевым, и все обойдется передачей письма. Им всем и невдомек, что измену мы уже обнаружили.

В шесть часов вечера Нарбонн написал записку к графу де Шуазелю и попросил Станкевича отнести ее. В записке ничего особенно интересного не было – то было приглашение на вечер.

В десять часов вечера к Нарбонну пришли граф де Шуазель и граф Нессельрод (любопытная троица: эмиссар Бонапарта, французский шпион и российский дипломат), но сидели они не очень долго.

Мая 7 дня. Одиннадцать часов ночи

Отдельного разговора заслуживают события в театре.

Около семи часов вечера ротмистр Себастиани и поручик Шабо были приглашены в театр, в коем находились более часа. Нарбонн же в это время был у государя, обещавшего держать его у себя как можно долее.

Тем временем Станкевич и пришедший ему на подмогу квартальный надзиратель Шуленберх угощали шампанским камердинера Батиста Гранто, лакеев Кристиана Мере и Франсуа Пери, горничных Жюстин Море и Пирье. Может, и сонный порошок подсыпали – не знаю. Так или иначе, скоро все угощаемые заснули.

Пошатываясь, но не теряя сознания, Станкевич и Шуленберх открыли дверь мне и полицмейстеру Вейсу. Мы схватили шкатулку Нарбонна и спешно отправились в Виленский замок.

Нарбонн был еще у Государя.

Александр Павлович ждал нас. Когда ему сообщили, что мы прибыли, он оставил Нарбонна и тут же вышел к нам.

Шкатулку мы открыли в присутствии императора. Там была инструкция, данная самим Бонапартом (Вейс тут же списал ее текст).

Инструкция содержала вкратце следующие вопросы: узнать число войск, артиллерии и прочее, кто командующие генералы? каковы они? каков дух в войске? и каково расположение жителей к русским войскам? кто при Государе пользуется большею доверенностью? Нет ли кого-либо из женщин в особенном кредите у императора? Можно ли узнать о расположении духа самого императора и нельзя ли будет свести знакомство с окружающими его?

И еще в инструкции прямо было сказано: «Цель вашей военной миссии – сбор разведывательных данных».

Но был в инструкции и один чисто дипломатический пункт. Бонапарт просил графа де Нарбонна сделать все для того, что находящийся в Вильне российский император не отдал приказа войскам своим перебраться через Неман и занять герцогство Варшавское. Бонапарт писал, что Нарбонн может плести что угодно о русско-французской дружбе, но французы должны занять герцогство первыми.

Стало совершенно ясно, что Бонапарт принял решение, что он идет сюда войной.

И еще в шкатулке Нарбонна была копия с письма Бонапарта к министру иностранных дел Франции Маре (письмо было датировано еще 1811-м годом, но оно до сих пор обладало совершенно исключительным значением) – то была целая шпионская программа императора Франции: «Немедленно направьте барону Биньону шифровку о том, что в случае начала войны я намерен я намерен прикомандировать его к моей штаб-квартире и назначить руководителем тайной полиции, которая должна заняться шпионажем в неприятельской армии. Необходимо, чтобы он уже с этого дня приступил к решительным действиям по созданию тайной полиции. Он должен поскорее найти двух поляков, которые хорошо говорят по-русски, имеют склонность к военным делам и участвовали в войне. Один из них должен хорошо знать Литву, другой хорошо ориентироваться на Вольни, в Подолье и на Украине. Кроме того, нужен третий, хорошо говорящий по-немецки и знающий Лифляндию и Курляндию. Они должны говорить по-польски, по-русски и по-немецки. Под их руководством должны работать тщательно отобранные агенты, вознаграждение коих определяется ценностью добытых сведений. Они также должны быть в состоянии дать информацию о любой местности, по которой предстоит пройти нашей армии. Я желаю, чтобы барон Биньон незамедлительно вплотную приступил к созданию этой обширной организации. Ему следует начать с того, чтобы эти три агента-связника немедленно подыскали себе субагентов, а именно: на дорогах из Петербурга в Вильну, из Риги в Мемель, на всех дорогах из Киева и на трех главных коммуникациях, идущих из Бухареста в Петербург, Москву и Гродно. Кроме того, ему надлежит сразу же обеспечить себя осведомителями в Риге, Динабурге, Пинске, в районе больших болот и в Гродно. Если результаты их разведки будут удовлетворительными, я не колеблясь готов назначить им месячное содержание в размере 1200 франков. А во время войны оплата лиц, доставляющих ценную информацию, будет устанавливаться особо в каждом отдельном случае. Среди поляков

есть также люди, разбирающиеся в фортификациях и способные давать сведения о состоянии укреплений в тех или иных точках».

О чем-то подобном мне сообщал в одном из своих донесений сын аптекаря, но тут информация более подробная и из первых рук.

Да, бумагам, хранившимся в шкатулке, просто цены не было.

При виде такого сокровища глаза Государя засветились радостью. Он горячо пожал нам руки и шепотом сказал: «Поезжайте, господа, отвезите, а я пока задержу его».

И Александр Павлович пошел со сладчайшей улыбкой выслушивать страстные заверения Нарбонна в дружеских чувствах императора Франции к российскому императору.

Мая 7 дня. Двенадцать часов ночи

День сегодня выдался, несомненно, удачным: Бонапарт посрамлен; его замыслы обнаружены; его слова о мире, о любви к нашему государю – чистейшее вранье. Теперь Александр Павлович во всем этом уже не может сомневаться.

Последняя новость. После того, как счастливо завершилась история со шкатулкой, и я вернулся к себе, пришел вскорости сын аптекаря.

Он сообщил мне, что канцлер Николай Петрович Румянцев написал ответное послание к Бонапарту и попросил, чтобы он отнес к графу де Шуазелю для передачи Нарбонну.

– И вы отнесли? – немного испуганно спросил я.

Мальчик улыбнулся в ответ и сказал:

– Что вы, Яков Иваныч! Вы обо мне такого низкого мнения? Вот же оно – это письмо. Я не мог отнести, не уведомив прежде вас.

И протянул мне конверт.

Я поблагодарил его и тут же отпустил – время-то было позднее.

А письмо графа Румянцева завтра же передам Государю: пусть разбирается со своим канцлером, подло заигрывающим с Бонапартом.

Мая 8 дня. Семь часов вечера

Нарбонн встал в шесть часов утра и пошел осматривать экипажи. Говорят, что вчерашняя беседа его с государем закончилась тем, что Александр Павлович предложил ему незамедлительно оставить вместе со всею своею свитой пределы Российской империи.

В начале девятого Нарбонн вместе со своими адъютантами и в сопровождении флигель-адъютанта российского



императора поехал в Виленский замок, а оттуда отправился осматривать полки.

Вернулся Нарбонн к себе на квартиру в одиннадцатом часу. Как раз к этому времени к нему пришел Шуазель.

Они заперлись в кабинете и говорили более часа. В беседе также принимали участие ротмистр Себастиани и поручик Шабо.

Отставной поручик Станкевич, уведомляя меня об этом, прибавил от себя следующее. Он полагает, что генерал Нарбонн со своими спутниками заслушивал рассказ графа де Шуазеля о расположении частей в Виленском крае частей Первой Западной армии. А я уверен еще и в том, что Нарбонн передавал Шуазелю инструкции для здешних бонапартистов.

Когда дверь распахнулась и Шуазель стал выходить из кабинета, то Станкевич услышал, как Нарбонн спросил у гостя: «Да, кстати, а граф мне ничего не передавал?» Шуазель отрицательно покачал головой. «Странно» – сказал Нарбонн и то ли с неодобрением, то ли с недоверием поглядел на Шуазеля.

В любом случае было ясно, что Нарбонн не очень доволен: Бонапарт отсутствие ответа на свое послание мог воспринять как личное оскорбление. Но делать было нечего. Письма, о котором спрашивал Нарбонн, у Шуазеля явно не было.

Эта деталь в высшей степени любопытна.

Без всякого сомнения, под графом Нарбонн имел в виду графа Николая Петровича Румянцева.

Нарбонн ведь привез канцлеру послание от Бонапарте и теперь, естественно, ожидает получить ответ.

Ну, что ж, пусть ожидает! Ответ канцлера император, и в самом деле, прочтет, только император не французский, а русский, не Бонапарт, а Александр!

В три четверти третьего часа опять пришел граф де Шуазель, и они отобедали.

В седьмом часу французы оставили Вильну. Наконец-то это произошло. Честно говоря, я ужасно боялся, что случится что-нибудь непредвиденное. Но, слава Богу, все как будто обошлось.

Только что ушел от меня камердинер государя Зиновьев. Он принес записку, в которой Александр Павлович сердечно благодарил меня, а также полицмейстера Вейса, полковников Розена и Ланга, квартального надзирателя Шуленберха, отставного поручика Станкевича, Закса-младшего и других сотрудников военной полиции за блестяще проведенную операцию.

Государь прибавил там же, что это первое поражение Бонапарта на территории Российской империи, ибо миссия графа

де Нарбонна оглушительно провалилась. Он, может быть, что-нибудь и выведал, но дезинформировать нас так и не смог.

Мая 8 дня. Одиннадцатый час ночи

Разоблачение истинных целей миссии графа Нарбонна не было бы столь безусловным и оглушительным, если бы не помощь одного человека. Имени его я до сих пор не называл, хотя оно не раз упоминалось в донесениях моих сотрудников.

С этим человеком связана настолько отдельная история, что и рассказать о нем я хочу именно отдельно.

Уже 6 мая, в самый день приезда Нарбонна в Вильно, к графу стал пробиваться некто Давид Саван, отставной ротмистр. Было 12 часов ночи. Курьер, увидя незнакомца, спросил: «Vous etes francais, Monsieur?» Тот отвечал, что он из Варшавы. Тогда курьер усадил его и велел камердинеру доложить Нарбонну. Однако Нарбонн отвечал, что ныне ему некогда, что у него еще гости.

На следующее утро, в девять часов, Давид Саван по моему приказанию опять явился к Нарбонну и был тотчас же впущен.

Он показал Нарбонну документы, удостоверяющие связь его с французским резидентом в Варшаве бароном Биньоном (рапорты, инструкции и т.д.).

Более того, Нарбонн поверил список Саванов со своими материалами, а потом стал расспрашивать сколь возможно подробнее о числе армии, о расположении полков, о духе поляков.

Саван дал неверные сведения об армии и говорил еще, что облагодетельствованные ныне Императором российским поляки ему на время привержены, но упоает, что прочие на стороне Наполеона.

В этот же день в 11 часов ночи Саван по приглашению Нарбонна явился к нему таким потаенным образом, как и вышел поутру от него.

Нарбонн уже не был так весел как поутру.

Принял его ласково, радовался, что он пришел, объявил, что ныне после смотра войск ехать должен.

Рассмотрел бумагу, написанную к Биньону, сомневался в некоторых его показаниях о расставлении войск, утверждая, что у него это подробнее и, кажется, вернее. Саван защищал свое.

Нарбонн разговорился о будущем. Саван уверил его, что русские весьма желают войны и готовы все жертвы принести, лишь только иметь свободную торговлю. Нарбонн расспрашивал об истине сих слухов и вправду ли, что Россия без торговли существовать не может?

Получив удостоверение и расспросив еще о многом, он изъявил Савану свою благодарность и уверил, что чрез несколько дней получит от него известия, коими он верно доволен будет.

Беседы отставного ротмистра Давида Савана с дивизионным генералом Нарбонном полностью раскрыли шпионские цели поездки последнего в Вильно. Он сумел-таки «разговорить» хитрейшего графа Нарбонна, как до этого сумел обвести вокруг пальца французского резидента в Варшаве барона Биньона.

Давид Саван является помощником барона Биньона и одновременно он служит мне и подчиняется распоряжениям военной полиции при особе военного министра (он передает Биньону данные о дислокации российских войск, особо заготовленные для французов по распоряжению Барклая де Толли).

Государь велел мне совершенно особо поблагодарить отставного ротмистра.

Май 9 дня. Одиннадцать часов утра

В последнее время утренние прогулки в городском саду превратились в подлинно антибонапартовскую ассамблею. Естественно, что граф де Шуазель, аббат Лотрек, граф Тышкевич и некоторые другие поклонники французского императора жмутся в сторону и стараются незамеченными проскочить по дорожкам сада.

Несколько раз я слышал, как в саду витийствовал государственный секретарь Шишков. Александр Семенович в пылу гнева чего только не наговорил о Бонапарте. Вообще в эти минуты он был поистине страшен: растрепанные волосы стоят дыбом, голос срывается на рык, чуть ли не пена на губах. Его вид, как мне показалось, даже несколько напугал публику, ибо явно нарушал правила благопристойности.

Успокоившись и несколько отойдя, Александр Семенович подошел ко мне, стоявшему в окружении Розена и Ланга, стал сыпать изящнейшие французские каламбуры, а потом с увлечением рассказывал о морских экспедициях, коих был участником.

Если речь не заходит о Франции и Бонапарте, он – увлекательнейший собеседник, чему не раз уже я был свидетелем. Но стоит хоть кому-нибудь упомянуть одно из этих двух слов, как он переходит в состояние настоящего бешенства.

Иное дело, граф Поццо ди Борго. Сей кровожадный корсиканец не возводит хулы на Бонапарта, но я уверен, что если подвернутся соответствующие обстоятельства, то он с

необыкновенным наслаждением и совершенно не раздумывая, всадит нож в тела своего великого антагониста.

Интересно, что разглагольствования Александра Семеновича Шишкова граф неизменно слушает с нескрываемой иронической ухмылкой.

Мая 9 дня. Десять часов вечера

В моей канцелярии произошли большие и весьма отрядные перемены.

В этом месяце бумаг скопилось столько (донесения, инструкции, дневники агентов, материалы обысков и т. д.), что помощник мой Протопопов, кажется, был даже какое-то время близок к форменному самоубийству.

Но государь внял моим просьбам и дал мне в канцелярию еще одного работника, и он уже, слава Богу, приступил к исполнению своих обязанностей. Результаты уже есть и самые очевиднейшие.

Это – Виктор Петрович Валуа, коллежский секретарь. Он заклятый враг Бонапарте, предан нашему Государю и до величайшей тонкости знает канцелярскую работу. Так что хаос, царивший в бумагах, относящихся до ведомства военной полиции, почти уже исчез.

Кстати, Валуа привел в идеальнейший порядок все документы, связанные с тремя днями пребывания в Вильне графа де Нарбонна. Он отлично рассортировал донесения агентов, и эти материалы я хочу приобщить теперь к моему дневнику.

**КАНЦЕЛЯРИЯ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИИ  
СООБЩЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ ПОЛИЦМЕЙСТЕРОМ  
ВЕЙСОМ.**

Собрал и отредактировал В.Валуа, коллежский секретарь  
(извлечения)

Мая 6 дня

Часы

Прибыл из Берлина Французского Императора адъютант дивизионный генерал граф Луи Нарбонн. При нем: капитан Фибер Себастиани, поручик Роган Шабо, курьер Гаро, камердинер Батист Гранто, лакеи Кристиан Мере и Франсуа Пери.

Поехал генерал Нарбонн к Его Императорскому Величеству во дворец и был у канцлера Кочубея.

Возвратился в квартиру.

Были все дома.

Ходили капитан Себастиани и поручик Шабо по городу по парадному месту под Замковые ворота и чрез Св. Янскую улицу домой пошли.

Обедали.

Спать положился генерал. В оное время прибыл к ним графа Шуазеля камердинер.

4-5. Дома и никто у них не был.

6. Выехал генерал с двумя адъютантами за Троицкие ворота, вышли из кареты, походя перед воротами, спросили у лакея, где то место, где публика собирается, на что отвечал лакей, что сад городской – лучшее место, куда и поехали... Пошли чрез парадное место Замковой улицы и Замковые ворота к Кафедральному костелу и осмотрев оный между тем взглянули на арсенал. У Доминиканской улицы встретились с графом Шуазелем и Лотреком, остановились и более одной четверти часа с ними говорили. В девять часов пришли домой.

Пришел к ним граф де Шуазель и побыл у них до 11 часов.

Часы

Мая 7-го

Вышли.

Взяли из трактира две порции кофю.

Пришел к ним бывший службы французской де Местр и пробыл до 10 часов.

11. Оба офицера капитан Себастиани и поручик Роган Шабо ели фрыштык, два кушанья, котлеты и куропатки и выпили бутылку французского вина.

Оба офицера поехали во дворец, а генерал остался на квартире.

Поехали генерал с двумя офицерами на обед, первый – во дворец к Государю Императору, а последние двое к Главнокомандующему, офицеры возвратились через Большую Купскую и Доминиканскую улицы

Генерал возвратился.

Был генерал чрез фельдъегерского офицера зван к Его Императорскому Величеству. Офицеры оба пошли в театр и были в оном более часа. Заметно было, что они должны польский язык знать, ибо при смешных разговорах актеров улыбались они между собою, но с половины пьесы вышли из театра и пошли прямо домой.

Под вечер в сумерках приходил какой-то француз росту низкого в синем фраке к генералу и, пробыв одну четвертую часа, пошел со двора. Надзиратель Шуленберх утверждает, что оный француз из дому Румянцева, но сие остается еще в совершенной неизвестности, и я стараться буду сего дня в ясность привести.

Был у генерала граф Нессельрод и Шуазель, но не более как одну четвертую часа и вышли оба вместе: Шуазель к себе на квартиру, а другой по Доминиканской улице.

Отпустили лакеев и кареты, после чего приходил чрезвычайно скоро молодой Тышкевич и, пробыв немного минут, побежал со двора по Троицкой улице, так что Шуленберх не в состоянии был его догнать. Когда приходил выше означенный француз, то сказал лакею: доложи, что я принес бумаги для г-на генерала.

Часы Мая 8 дня

7. Встали, сам генерал выходил в халате и осматривал свои экипажи

8. Прибыл флигель-адъютант князь Лопухин с тремя верховыми лошадьми, на которых сели генерал и два офицера и поехали на Снепишки, где смотр гренадерским полкам был

10. Возвратился в квартиру со своими офицерами, где тотчас по прибытии их и граф Шуазель к ним пришел и пробыл более часа

Пришел к нему граф Шуазель и вместе обедали

Был граф Нессельрод, но вскоре вышел

6 Послано через лакея Станкевича к графу Нессельроду письмо

6 ч. 33 м. Сел в карету и выехал из города. При выезде заметил я, что в том же дворе на балконе стояли граф Тизенгауз, граф Коссаковский и граф Пржесдецкий и множество дам, которых я не мог узнать.

Мая 10-го. Одиннадцать часов ночи

КАНЦЕЛЯРИЯ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИИ  
ДОНЕСЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ КОЛЛЕЖСКИМ АСЕССОРОМ  
ПЕТРОМ РОЗЕНОМ И КАПИТАНОМ КАРЛОМ ЛАНГОМ  
Собрал и отредактировал Виктор Валуа, коллежский секретарь  
(извлечения)

6 мая 1812

В 9 часу утра приехал из Ковно генерал граф Нарбонн.

С 10 часов утра прибыл еще экипаж графа Нарбонна с двумя людьми: Жюстин Море и Пирьё. Они остановились в доме Мюллера № 143. По показанию людей графский секретарь Мане выехал из Берлина чрез Лион и Париж.

Камердинер, живший у графа Шуазеля и бывший с ним в Париже, некто Станкевич, пошел к графу Нарбонну и нанялся тоже быть у него камердинером.

Квартальный надзиратель Шуленберх во фраке знакомится с лакеями, из коих один говорит по-немецки.

Барон Розен засел супротив жилища графа Нарбонна, где квартирует у приятеля.

Саван пошел предъявлять документы, что употребляют для Резидентом в Варшаве Биньоном для разведывания здесь, и тем самым побудил и их к откровенности.

Нарбонн, приехав, осведомился тотчас, здесь ли канцлер, и отправил потом к нему записку через фактора.

Был у Государя Императора, потом у канцлера и будто у графа Кочубея.

Возвратясь домой, они часа два, стоя, разговаривали втроем между собой с большим аффектом, но тихо.

Все трое пошли гулять. В 8-м часу были около Кафедральной церкви, обошли округ оной, разговаривая, и Нарбонн указал им на арсенал. Возвращаясь, встретились с Лотреком и Шуазелем, поговорив с полчаса, возвратились домой.

В 9 часов был граф Нессельрод и пробыл с час.

В четверть одиннадцатого часу прибыл граф Шуазель... В четверть двенадцатого часу Шуазель ушел домой.

В 12 часов все успокоилось. Лонлакей отпущен и кучеру велено быть к в 10 часов утра.

Саван был, и полиция его не усмотрела. Курьер, увидя его, спросил: – *Vous etes francais, Monsieur?*

На ответ, что он из Варшавы, посадил его, препоручил об нем доложить камердинеру, но Нарбонн велел отозваться, что ныне ему некогда. Странно, что камердинер сказал, будто у Нарбонна Кикин, дежурный генерал.

7 мая 1812

Саван по приказанию моему явился к Нарбонну в начале девятого часу и был тотчас впущен.

Он представил прилагаемые при сем документы, доказывающие связь его с Беллефруа (французский агент в Герцогстве Варшавском – примечание Я.И. де Санглена) и те известия, кои он ему доставлял.

Нарбонн поверил список Саванов со своей таблицей: у него список по полкам, сперва стоит Гренадерский и проч.

Расспрашивал сколь возможно подробнее о числе армии. Радовался, узнав, что Молдавская армия против действовать не может.

Спрашивал о духе поляков – предполагает, что облагодетельствованные ныне Императором Российским ему на время привержены, но уповает, что прочие на стороне Наполеона, который желает единственно их счастья.

Просил Савана отдать ему рапорт к Биньону, равно и письмо к Императору Наполеону, дабы испросить за его приверженность ему награждение. Вдруг кто-то запиской об себе велел ему быть с известиями и рапортами ныне вечером в 11 часов.

Все встали в 8-м часу и каждый из них писал какие-то бумаги. Полиция Савана не усмотрела, а сменил его запиской у Нарбонна французской службы полковник шевалье де Местр и пробыл с час.

Курьер Гаро был в италийской лавке и говорил с хозяином несколько времени по-французски.

В 11 часов утра прислал граф Шуазель 4 бутылки вина генералу Нарбонну. В исходе 12-го часу оба адъютанта поехали во дворец, а генерал сидел дома и писал. К 1-му часу возвратились они назад. Роган пошел к генералу, а Себастиани – прохаживаться.

В исходе 2-го часу поехал Нарбонн в дом Тышкевича для сделания визита принцу Ольденбургскому: ему было отказано, и он оставил билет.

В половине 3-го часу поехал Нарбонн и адъютанты его во дворец: он пошел к столу Государя Императора, а адъютанты – к военному министру. В исходе 5-го часа адъютанты пришли домой, а Нарбонн из дворца пошел к военному министру, а оттуда – домой в 6 часов и отправил письмо к Шуазелю.

В исходе 7-го часу Нарбонн по позыву явился опять к Государю и возвратился в 8-м часу.

Адъютанты прогуливались около Ратуши, на Остробрамской улице. Поговоря с встретившимися офицерами, между прочим с князем Волконским, пошли в театр. Замечательно, что по жестам их заключить должно, будто знают они по-польски. В половине пьесы ушли и возвратились домой.

Приходил к генералу француз. Имя его теперь узно, Ян Людвиг Вуатен... Не велик ростом, во фраке и шляпе, пробыл с пол часа и ушел. Квартальный надзиратель Шуленберх утверждает, что сей француз из дому графа Румянцева. Означенный француз велел об себе доложить, что он имеет к генералу бумаги.

В 10 часов были у Нарбонна граф Нессельрод и Шуазель, вышли оба вместе. В 11 часов отпустили вон лакея и карету.

После 12 часов приходил молодой граф Тышкевич и, пробыв недолго, торопился сбежать с лестницы и потом по улице пустился изо всей мочи.

Саван по приглашению Нарбонна явился в 11 часов таким потаенным образом, как и вышел поутру от него.

Нарбонн уде не был так весел как поутру.



Принял его ласково, радовался, что он пришел, объявил, что он ныне после смотра войск ехать должен.

Рассмотрел бумагу, написанную к Биньону, сомневался в некоторых его показаниях о расставлении войск, утверждая, что у него это подробнее и, кажется, вернее. Саван защищал свое.

Нарбонн разговорился о будущем.

Саван уверил его, что русские весьма желают войны и готовы все жертвы принести, лишь бы только иметь свободную торговлю.

Нарбонн расспрашивал об истине сих слухов и вправду ли, что Россия без торговли существовать не может.

Получа удостоверение и расспрося о наборах – где Саван говорит о патриотизме русских, ненадежности поляков и прочем – он изъявил Савану свою благодарность и уверил, что чрез несколько дней получит от него известия, коими он верно доволен будет.

8 мая

В 6 часов утра Нарбонн встал и в шлафроке ходил по двору осматривать свои экипажи.

В начале 9-го часа Нарбонн поехал со своими адъютантами в сопровождении флигель-адъютанта князя Лопухина во дворец, а оттуда для осмотра полков.

Возвратился сперва во дворец, а потом домой в 11-м часу. Тотчас по возвращении его пришел граф Шуазель и пробыл более часу. В 12 часов Нарбонн пошел пешком по Троицкой улице, встретив жида, дал ему 10 копеек, чтобы показал ему квартиру Кочубея. Был у него с полчаса. После того, прошедши по Немецкой улице, пошел около дому Огинского и в час возвратился домой.

В три четверти третьего часа пришел граф Шуазель и, говорят, сенатский секретарь Осип Васильевич Попов, который с ними отобедал и ушел лишь за десять минут до их отъезда.

В двадцать минут шестого часа явились лошади.

В 33 минуты 7-го часа французы уехали!

В ознаменование французской щедрости фактору своему пожаловали два талера прусских!

Господа, бывшие у Нарбонна, заслуживающие замечания:

Граф де Шуазель.

Аббат Лотрек.

Шевалье де Местр.

Учитель Вуатен.

Граф Тышкевич.

Из сего неполного трехдневного жития графа Нарбонна в Вильне, а особливо из обращения с Саваном, ясно видеть можно, что он к предлогу привезти письмо к Императору Российскому имел и комиссию осведомиться о духе здешних поляков, армии нашей, числе войск вообще и для учреждения связей для времен будущих. Это не подвержено сомнению.

Чтобы уничтожить засеянные здесь семена, всех вышеозначенных особ нужно бы было отправить в российские губернии на жительство, ибо как смель людям, облагодетельствованным нашим правительством, без дозволения его, так явно против совести посещать французского эmissара с пышным титулом дивизионного генерала и адъютанта французского императора и в какие времена?

Мая 11 дня. Девятый час вечера

Отставной поручик Станкевич вернулся в услужение к графу де Шуазелю уже вечером 8-го мая, сразу же после отъезда генерала Нарбонна, о чем известил меня тут же краткой запиской.

Он сообщил также, что у Нарбонна несколько раз засиживался допоздна дежурный генерал Кикин.

Этот факт требует должного осмысления.

Кикин – важное лицо в штабе главнокомандующего Барклая де Толли. Он имеет доступ к секретным бумагам и, главное, допущен к особе Государя и находится в милости у Его Величества.

Неужто и тут измена?

Важное донесение прислал из герцогства Варшавского отставной ротмистр Давид Саван. Вот что ему удалось разузнать через шефа своего барона Биньона .

Агентуру Бонапарта в здешнем крае по договоренности с варшавскими банками содержат прибалтийские банкиры, коими заправляет Менцельман, опытный финансист, но как видим теперь, враг российской короны.

Я вызвал из Гродно майора Лешковского и приказал ему незамедлительно расследовать это дело.

Мая 12 дня. Полночь

Завтракал у Барклая де Толли. Кроме неизбежных адъютантов и вечно дребезжащей супруги его, присутствовал один полковник Закревский.

Я стал расспрашивать всех бывших на завтраке о дежурном генерале Петре Кикине.

Барклаю моя подозрительность вдруг показалась совершенно неуместной, и он даже вспылил, насколько может быть вспыльчив шотландец немецко-прибалтийской выделки.

Главнокомандующий сказал мне в сердцах: «Вы что и его подозреваете? Это уже чересчур, мне кажется».

Выждав, я продолжил как ни в чем не бывало: «А известно ли вам, граф, что ваш дежурный генерал имел частые и долгие встречи с эmissаром Бонапарта, в пору пребывания его в Вильне?»

«Ну и что?» – запальчиво крикнул Барклай и заметил уже более спокойно, обратясь к Закревскому: «Не правда ли, Арсений Андреевич? Какое это, собственно, имеет значение?»

Закревский потупил голову и не издал ни звука.

Главнокомандующий все понял и сказал начальнику своей особой канцелярии следующее: «Хорошо, я согласен, пригляните за ним, но это ведь совершенно немыслимо, чтобы дежурный генерал моего штаба, находящийся в фаворе у Императора, продался Бонапарту?»

«Немыслимо, но возможно» – тихо промолвил я.

Закревский при этих словах понимающе мне улыбнулся.

Барклай де Толли недовольно поглядел на нас двоих, но ничего не сказал.

Строго говоря, особая канцелярия Главнокомандующего и военная полиция при Военном министре – ведомства друг другу совсем не чуждые. Почему бы нам и не дружить?!

Мая 13 дня. Четыре часа пополудни

Утром, в городском саду, столкнулся случайно с полковником Закревским, который увидел меня первым и тут же бросился ко мне (теперь мне кажется, что, может быть, он даже меня специально искал).

Закревский вплотную подошел ко мне и прошептал, внимательно глядя в глаза:

– Знаете, Санглен, я давно уже подозреваю Кикина. Советую вам немедленно рассказать обо всем Государю: он один способен повлиять на главнокомандующего, который никогда не решится пойти против императорского любимца. И вообще чем раньше Государь узнает обо всем, тем будет лучше. Измену необходимо пресекать сразу в корне, дабы не дать ей распространиться дальше.

Полковник Закревский мне всегда был чрезвычайно неприятен сочетанием хамства, беспардонности и хитрости, но тут он, кажется, совершенно прав: необходимо как можно скорее доложить Государю.

Однако не хочет ли Закревский просто подставить меня, спровоцировав гнев Государя, против меня направленный?

В самом деле, особая канцелярия при военном министре соперничает с воинской полицией при военном министре же. И вот под влиянием заведующего особой канцелярией я рассказываю императору о дежурном генерале Кикине, к коему Александр Павлович благоволил. В ответ Его Величество страшно сердится на меня и назначает Закревского начальником тайной полиции, чего тот как раз и добивается все время.

Возможно ли такое? Вполне.

И все-таки я поведаю Государю – я не имею права от него скрывать сведений, доставленных поручиком Станкевичем.

Частые встречи личного эmissара Бонапарта с дежурным генералом Первой Западной армии и флигель-адъютантом Российского Императора – это слишком серьезно и, без всякого сомнения, совершенно не подлежит ни малейшей утайке.

Так что хочет меня полковник Закревский подставить или нет, но Государь от меня неминуемо обо всем узнает. Решение принято.

Новое сообщением прислал из герцогства Варшавского отставной ротмистр Давид Саван.

Он уведомил меня, что по здешнему краю разъезжают якобы в целях закупки леса двое французских торговцев – Пенетро и Голен. Между тем, на самом деле их интересует не лес, а сведения о русской армии.

Я вызвал из Ковно майора Бистрома и тут же приказал начать поиск сих французов.

Вообще судьба ротмистра Савана давно занимает меня. События его жизни составляют прелестный сюжет для авантюрного романа.

Он – коренной француз, как и я; подлинная фамилия его – Savant, что в переводе означает «знаток».

На русской службе дослужился до ротмистра. Проживал с семьей в герцогстве Варшавском. Выйдя в отставку, хотел получить место учителя. Начальник генерального штаба польской армии генерал Фишер обещал помочь в подыскании места работы, но Фишер поставил условие – Саван должен будет выполнять поручения резидента Биньона на русской территории. Саван, находившийся в безвыходном положении, вынужден был принять предложение генерала Фишера. Он был отдан в подчинение барона Биньона.

В 1811-м году снабженный инструкциями Саван перешел границу и, по прибытии в Вильно, добровольно явился в штаб русской армии.

Он доставил интересовавшие Фишера сведения, специально подготовленные в штабе Баркляя де Толли.

Так Саван стал нашим агентом. Да, интересная судьба у отставного ротмистра русской службы.

Мая 14 дня. Шесть часов вечера

Виделся с Государем. Вручил ему ряд полученных донесений, в том числе записку отставного поручика Станкевича.

Александр Павлович пробежал ее при мне глазами и сразу же резко помрачнел. Видно было, что записка произвела на него крайне неприятное впечатление.

В конце нашей беседы он сказал мне, что за дежурным генералом Кикиным следует установить наблюдение, дабы выяснить, не встречается ли он с виленскими бонапартистами.

Я спросил у Его Величества, надо ли мне об этом известить главнокомандующего.

Александр Павлович, не раздумывая, отвечал, что этого делать не стоит: «Докладывай прямо мне и немедленно».

Май 14 дня. Одиннадцатый час ночи

Прикомандированный к моей канцелярии коллежский секретарь Валуа составил по моей просьбе служебную справку о министре Балашове. Многое мне, конечно, было уже известно, но, надо честно признаться, что далеко не все.

Выписываю для себя выдержки из сей справки.

А.Д.Б-в пяти лет был записан в гвардии Преображенский полк. С июня 1781-го года, будучи одиннадцати лет, был определен пажом ко двору императрицы Екатерины II. В 21 год получил чин поручика и был определен в лейб-гвардии Измайловский полк.

Интересная история приключилась с Балашовым в царствование императора Павла. Вот что выискал умница Валуа.

В 1799-м году Балашов получает чин генерал-майора и назначается комендантом Омской крепости.

Вскоре он арестовывает шайку фальшивомонетчиков и докладывает о том обер-прокурору Сената. Император узнает о случившемся и приходит в бешенство, что комендант крепости должен был лично доложить ему о поимке разбойников.

Высочайшим приказом в августе 1800-го года Балашова увольняют со службы.

Отставленный генерал-майор решается на смелый шаг и обращается к императору с личным письмом. Павел прощает Балашова, принимает его на службу и назначает Ревельским военным губернатором. Да, там-то мы и свели дружбу.

При Александре Павловиче он отнюдь не сразу идет вверх. Только в 1807-м году по протекции одного своего сослуживца по Измайловскому полку его назначают московским обер-полицмейстером, а через год – обер-полицмейстером Петербурга. Дальше – больше. В феврале 1809-го Балашова становится военным губернатором столицы, генерал-адъютантом, а уже в марте он получает чин генерал-лейтенанта.

Да, история возвышения весьма поучительная. Упорный поиск протекции и природное нахальство – вот истинные пружины карьеры. Выводы грустные, но неизбежные. Ждать, пока Государь на тебя обратит внимание, в высшей степени глупо. Твое усердие заметят, только если ты сам начнешь кричать об этом на всех углах. Вот и пролезают вверх у нас, в основном, хвастуны и льстецы. Обидно.

Мая 15 дня. Шесть часов вечера

В городском саду, во время утренней прогулки, встретился с министром Балашовым, шествовавшим рядом с губернатором.

Балашов раскланялся и весьма игриво спросил у меня:

«Ну как шпионы? Ловятся?»

Я пробормотал что-то невнятное и прошел мимо и поступил так отнюдь не из гордыни.

Ежели бы я остановился и стал разговаривать со своим бывшим благодетелем, то губернатор Лавинский непременно донес бы Государю, а это вполне могло бы закончиться для меня если не опалой, то по крайней мере выговором.

Еще в городском же саду я видел, как британский агент Роберт Вильсон шествовал под ручку с графом де Шуазелем, а корсиканский недруг Наполеона Поццо ди Борго внимательно беседовал о чем-то с аббатом Лотреком и графом Тышкевичем.

Сценки удивительные и забавные. Особенно уморителен мне показался граф Поццо ди Борго чуть ли не в объятиях завязтых бонапартистов и агентов французского императора.

Полковники Розен и Ланг донесли мне, что дежурный генерал Кикин в течение сегодняшнего дня никаких предосудительных встреч не имел.

Я уведомил об этом Государя (рассказал ему и обо всем, что видел сегодня в городском саду Вильны). Александр Павлович отвечал, что наблюдения все равно ни в коем случае не снимать и все маршруты дежурного генерала в точности фиксировать и затем донесения показывать ему безотлагательно.

«И проверьте» – добавил Император, прощаясь и при этом чрезвычайно задумчиво глядя на меня, – «не встречается ли дежурный генерал Кикин с графом Румянцевым».

Мая 15 дня. Двенадцатый час ночи  
СПРАВКА, ДОСТАВЛЕННАЯ МНЕ  
ПОЛКОВНИКОМ ЗАКРЕВСКИМ

Петр Андреевич Кикин родился 27 декабря 1775 года, закончил Московский университетский благородный пансион (сие учебное заведение давно поражено идеями вольнодумства – примечание Я.И. де Санглена), потом поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк, куда был записан еще на втором году от роду.

В 1802-м году был пожалован императором во флигель-адъютанты. Состоял при генералах Михельсоне, Мейендорфе и затем и при особе Государя. Пользуется его расположением (впоследствии стал статс-секретарем, сенатором. Тайным советником – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Мая 16 дня. Одиннадцатый час утра

Невероятно, совершенно невероятно. Это просто не укладывается у меня а голове. Да тут самый что ни на есть настоящий заговор.

Конечно, для начальника военной полиции хорошо, что есть заговор, что есть что раскрывать, но мне как верноподданному это не по душе – слишком высокие и благородные лица тут принимают участие.

Неразлучные полковники Розен и Ланг только что прибыли и уведомили меня, что вчера в сумерки румянцевский особняк посетил дежурный генерал Первой Западной армии Петр Кикин.

Придется все рассказать Государю, хотя это будет и не просто, ведь он так благоволит к Кикину. Правда, чем более Александр Павлович благоволит к людям, тем более склонен ко всяческим подозрениям на их счет.

Опять поразительную сценку видел сегодня во время утренней прогулки в городском саду: корсиканец и заклятый недруг Бонапарте Поццо ди Борго (впоследствии наш посланник в Париже, а затем и в Лондоне, умер он в Париже – позднейшее примечание Я.И. де Санглена) шествовал рядом с этим говоруном-коротышкой аббатом Лотреком и очень мило и даже увлеченно с ним о чем-то беседовал.

Да, совершенно необыкновенным городом стала в последнее время Вильна, преобразившись прямо на глазах, –

городом дипломатов и шпионов, съехавшихся сюда со всей Европы.

Но особенно интересно было увидеть именно Поццо ди Борго, прогуливающимся рядом со шпионом Бонапарте аббатом Лотреком – сия сценка стоит того, дабы быть описанной историческим романистом.

Поццо ди Борго – родом с Корсики, он был там адвокатом. В 1791-м году в Париже он был избран членом Законодательного собрания. Однако его заподозрили в симпатиях к королю, и он вынужден был вернуться на Корсику. Там он стал членом партии, борющейся за отделение сего острова от Франции. Тут-то и началась страшная вражда между ним и Бонапарте. В ходе происков последнего Поццо ди Борго был вынужден оставить родную Корсику. В 1796-м году он уехал в Лондон, потом в Вену. Наполеон стал требовать его выдачи. В этом году император Александр вызвал графа в Петербург. А теперь этот заклятый враг Бонапарта мило беседует с его агентом, что чрезвычайно мило.

Чего только не увидишь в Вильне!

Интересно все-таки о чем они говорят. И что же их свело друг с другом? Уж не о Бонапарте ли они беседуют? Может быть, аббат решил прикинуться недругом императора Франции?

А ведь с графом ди Борго шутки плохи! Он хоть и дипломат, но при этом остается корсиканцем: жесток, коварен и мстителен; за нож схватиться ему ничего не стоит. Так что болтунишка аббат должен быть предельно осторожен. Но полагаю, его уже проинструктировали: верно, барон Биньон все уже загадя по пунктам расписал.

Тем не менее с графом ухо надо держать востро. Не сомневаюсь, что у аббата Лотрека сейчас внутри все дрожит от страха, но виду он, кажется, не подает.

Или это Поццо ди Борго хочет выведать у аббата, когда же Бонапарте перейдет границу?

Да, Поццо ди Борго и аббат Лотрек – парочка весьма интересная, хотя все-таки несколько загадочная пока для меня.

Мая 16 дня. Полночь

Виделся сегодня вечером с Государем.

Он расспрашивал меня о настроениях, царящих в городе, и особенно об известиях, касающихся последних передвижений армии Бонапарта.

Я передал Его Величеству последние донесения, полученные от майора Бистрома из Ковно, от отставного ротмистра Давида Савана из Варшавы и еще целый ряд других известий.



Они заинтересовали Государя. Но и сам Александр Павлович, загадочно улыбаясь, поведал мне нечто весьма интересенькое.

Император поведал одну необыкновенную историю, буквально потрясшую меня.

Через некоторое время после отъезда генерала Нарбонна, когда вся Вильна ненадолго притихла и успокоилась, государь позвал к себе на ужин графа Николая Петровича Румянцева, своего канцлера.

Когда граф к назначенному времени явился, Александр Павлович показал ему запечатанный конверт – то было письмо Румянцева к Бонапарту, которое доставил мне как-то сын аптекаря.

Государь как воспитанный человек так и не распечатал письмо, ибо он ждал появления канцлера – ему хотелось видеть реакцию Николая Петровича.

Обнаружив знакомый конверт и знакомую надпись на нем, Румянцев, по словам государя, дико побледнел и стал медленно клониться вниз, потом выпрямился и грохнулся оземь – с ним случился апоплексический удар.

Когда он очнулся наконец, то выяснилось, что граф решительно и полностью потерял на почве сильнейшего нервного потрясения слух.

Государь ему вернул письмо нераспечатанным. Действительно, в этом уже не было особой нужды – канцлер Николай Петрович Румянцев и так уже был наказан за свое страшное предательство (не думаю, что он продолжает свою переписку с Бонапарте, хотя в точности ручаться тут, конечно, никак нельзя).

Канцлер стал проситься в отставку, однако Государь решительнейшим образом отказал ему, заявив, что примет отставку Румянцева лишь после того, как Бонапарт будет полностью разбит.

Последствия же того, что произошло после вышеупомянутой встречи Румянцева с Государем, мне были хорошо известны, и я даже имел к ним самое непосредственное отношение.

Сын аптекаря после того румянцевского визита к императору напрочь исчез из графского особняка (он потом прислал мне письмо из Варшавы; он опять трудится во славу нашего Отечества в бюро Биньона).

Месяе Вуатен по отъезде генерала Нарбонна был арестован мною, допрошен и после дачи чистосердечных показаний отпущен на свободу (поговаривают, что он вернулся в

Париж, но это именно слух – подтверждений никаких нет; может, он прячется в Ковно, а может и в Гродно – ждет прихода своих).

Граф же Николай Петрович Румянцев все еще носит, как и прежде, звание канцлера, но на самом деле его обязанности уже исполняют граф Нессельроде и граф Кочубей, и никакого политического значения, кажется, канцлер уже совершенно не имеет.

Он занят в основном собиранием древних рукописей, коих в здешнем крае сохранилось не мало.

И пусть собирает! Это никак лучше, чем устраивать заговоры да переписываться с Бонапартом (Официально Николай Петрович Румянцев в отставку вышел в 1814-м году. Но даже перестав возглавлять внешнеполитическое ведомство Российской империи, он остался канцлером: сие звание император Александр закрепил за ним пожизненно – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

По мере расширения делопроизводства к штату моей канцелярии причислены коллежский регистратор Иван Головачевский и студент Василий Петрусевич.

Головачевский – опытный чиновник, пребывающий в бумажном море, как рыба в воде. А Петрусевич – бойкий молодой человек, отлично владеющий, помимо французского, польским и литовским. С ними, как я рассчитываю, работа высшей воинской полиции пойдет и легче и быстрее.

Когда бумаги находятся в порядке, – это уже половина дела. А теперь, в преддверии больших событий, бумаги должны быть в совершенно особенном, в исключительном порядке. И, главное, они никоим образом не должны улетучиваться.

Мая 17 дня. Десять часов вечера

Утром, фланируя в городском саду, видел, как бригадный генерал и британский агент Роберт Вильсон (в 1813-м году за битву при Люцене он получил Георгия третьей степени – позднейшее примечание Я.И. де Санглена) увивался вокруг прогуливавшегося министерства иностранных дел в лице графов Кочубея и Нессельроде. Он вообще последние дни от них старается не отходить. И сияет все время необыкновенно. Это и понятно: война на носу, а Британия в ней страсть как заинтересована.

Прогуливались и граф де Шуазель с аббатом Лотреком. Выглядели они какими-то встревоженно-напуганными.

В четыре часа пополудни явился ко мне старик-аптекарь. Он рассказал мне о том, что только что доставили записку от его

сына. Тот, ссылаясь на барона Биньона, сообщил, что Наполеон рано утром 16-го мая прибыл к действующей армии.

Но вот, что еще особенно интересно из того, о чем уведомил меня Закс-младший в своей последней записке, весьма, между прочим, обширной.

По возвращении графа Нарбонна из Вильны, Наполеон немедленно принял его. Граф уведомил императора Франции, что наш Государь отнюдь не намеревается занимать герцогство Варшавское – российские войска Неман не перейдут.

Выслушав донесение Нарбонна, Бонапарт якобы сказал: «On veut la guerre; je la ferai». И немедленно начал движение своих войск к русским границам – по направлению к Неману.

Вот так-то!

Большая война началась.

Кстати, явился старик-аптекарь задыхающийся и необычайно взволнованный. Волосы у него стояли буквально дыбом и руки явно тряслись; скоро я понял – почему. Вообще преданность здешних жидов российской короне ноуменальна и одной ненавистью к притеснителям-полякам даже и не объяснима.

Жидовский кагал, пытающийся помочь России одолеть Бонапарта – фантастичность подобного поворота событий все время продолжает меня занимать (Государственный Секретарь А.С.Шишков, в свите Государя бывший тогда в Вильне, впоследствии рассказывал: «В поляках неприметно было никаких восторгов. Одни только жида собирались с веселыми лицами к домам, где останавливался Государь, и при выходах его кричали «Ура!» – позднее примечание Я.И. де Санглена).

Несколько дней назад майор Бистром из Ковно сообщил мне, что полковник шевалье де Местр, исчезнувший было после отъезда генерала Нарбонна, объявился в Ковно, снял три комнаты в центре, но на маленькой, тихой улочке, и никуда не выходит, Я приказал установить за шевалье строжайшее наблюдение. А сегодня Бистром уведомил меня, что вчера из Вильны в Ковно к шевалье приезжали граф де Шуазель, аббат Лотрек и граф Тышкевич. И это в высшей степени интересно. То был сбор настоящих заговорщиков.

Полицмейстер Вейс принес мне записку от берлинского обер-полицмейстера Грунера. Смысл ее заключается в следующем.

В канцелярии Бонапарта, по слухам, готовится приказ двинуться в направлении Немана! Но я уже узнал об этом из последнего донесения сына аптекаря. Да, возвращение графа де Нарбонна из Вильны сдвинуло вопрос о войне с мертвой точки.

Все! Началось! Теперь война, и в самом деле, на носу, причем, на самом что ни на есть курносом носу, на русском носу.

Из столицы нашей прислал письмо фон Фок. Пишет, что в Петербурге теперь стало совсем не спокойно.

### **ПОЗДНЕЙШАЯ ВКЛЕЙКА**

(две записи):

**25-го июня 1812-го года. Вильна**

Поручик Лешковский из Гродны прислал записку, к коей приложил один довольно необычный документ. Это обращение ребе Шнеура-Залмана из Ляд, призывающее жидов не только не подчиняться Бонапарту, но и всячески вредить ему, всячески способствовать его грядущему поражению.

Выписываю несколько наиболее характерных выдержек из сего потрясающего обращения: «Монарху Российскому и нашему Господь да поможет побороть врагов Его и наших, поелику он справедлив и война начата не Россию, но Наполеоном; доказательством же того есть наглый его сюда с войском приход... Мужайтесь, крепитесь и усердствуйте всеми силами служить Российским военным командирам, которые о усердных подвигах ваших не оставят, к возрадованию меня, извещать. Таковые услуги послужат к очищению грехов, содеваемых нами, яко человеками, против приказанья Божия».

Верю, что сие обращение должно иметь действие.

Припоминаю, что во время одного из прежних разговоров с Заксом-младшим, тот с безмерным увлечением рассказывал мне, что ребе Шнеур-Залман в здешних краях обладает просто неслыханной властью над многими жидовскими сердчишками и головушками. Он привлек множество молодых людей в свой не только философический, но и житейский университет, прозвав его ХАБАД, что означает на их жидовском наречии мудрость – знание – понимание (ХОКМА – БИНА – ДАЛЕТ; так, кажется).

Вот ежели бы теперь всю эту силу обратить супротив Бонапарта! Или это несбыточное мечтание?! Дай-то Бог, чтобы обращение подействовало! Дай-то Бог!

Старый ребе призывает к сопротивлению, призывает помогать российским войскам – это чудесно!

Может, и для высшей воинской полиции отсюда будет какая подмога!

**27 июня 1812-го года. Вильна**

Закс-младший написал мне сегодня, что Залман Борухович, старый ребе, на занятиях в йешиботе (школе)

**постоянно говорит ученикам своим, что они должны оказывать всяческое содействие армии российской!**

**Да спасет тебя Бог, старый ребе!**

**ЕЩЕ ОДНА ПОЗДНЕЙШАЯ ВКЛЕЙКА:**

**17 сентября 1818 года. Санкт-Петербург.**

**Военный губернатор столицы, генерал от инфантерии граф Милорадович, говорят, заметил касательно жидов и их участия в войне 1812-го года: «Эти люди суть самые преданные слуги Государя, без них мы бы не победили Наполеона, и я не был бы украшен этими орденами за войну 1812-го года».**

Да, сын аптекаря сообщил еще одну довольно любопытную информацию.

Когда Бонапарт, готовясь к войне, перестроил свое варшавское бюро и дал под начало барона Биньона трех офицеров (тот довел их число до четырех), каждый из которых имеет свою сферу влияния (Малороссия, Белая Россия, Литва и Польша) и своих собственных агентов, то одним этим нововведением революция в шпионском деле на востоке Европы не ограничилась.

Бонапарт придумал также следующее.

Несколько месяцев тому назад он приказал на границах с Россией создать целую сеть особых разведывательных точек, кои действуют отдельно от бюро Биньона и его ответвлений.

Беллефруа – резидент его в герцогстве Варшавском и одновременно супрефект города Тикочин (он известен нам по донесениям отставного ротмистра Давида Савана) – возглавляет одну из таких точек. Но только одну!

Другие разведывательные точки мальчишка не назвал, но все равно переданная им информация обладает исключительной важностью, она помогает понять, как с нами борются.

Еще сын аптекаря рассказал, что на территории Российской империи действует ныне пятнадцать агентов барона Биньона. Хорошо бы иметь поименный список. Цены бы этому списку не было. Но я уверен, что мальчишка раздобудет и его. Нет, нет, три имени он все-таки назвал. Это – хорошее начало.

В 1811-м году агентурная группа в составе полковника Александра Платтера, майора Пикорнеля и топографа Крестковского тайно проникла в Россию. Под видом отставных русских офицеров, снабженные соответствующими документами, они совершили длительный вояж по стране – побывали в Москве и девяти губерниях.

После чего Крестковский с добытыми сведениям был отправлен обратно, а двое других продолжили и продолжают свое путешествие через Поволжье к Оренбургу.

Я уже приказал губернскому секретарю Протопопову и коллежскому секретарю Валуа составить бумагу для их розыска (полковника Платтера 5 августа 1812-го года арестовали, а вот майору Пикорнелю, увы, удалось скрыться – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Записку Закса-младшего (строго говоря, это целый меморандум) я вручил около шести часов вечера графу Барклаю де Толли (копию), а оригинал через него просил передать Государю.

Граф известил меня потом, что Александр Павлович выразил мне за доставление сего меморандума, представляющего интерес в самых разных отношениях, совершенно особую благодарность.

Последняя записка сына аптекаря и в самом деле прелюбопытнейшая, в высшей степени достойная внимания.

Мая 18 дня. Полдень

С раннего утра я разбирал корреспонденцию, отвечал на письма, потом читал очередную сводку событий за прошедшие сутки, присланную квартальным надзирателем Шуленбергом (его отчеты всегда очень точны и подробны, впрочем, как и отчеты полицмейстера Вейса), продумывал наиболее неотложные вопросы, которые собирался переслать в Варшаву сыну аптекаря. И тут раздался легкий, осторожный стук.

Шел седьмой час утра. Изумленный и даже слегка озадаченный тем, кто же этот столь ранний посетитель, я решительно и нетерпеливо распахнул дверь своего кабинета и увидел хорошо известную мне фигурку Зиновьева, камердинера Государя.

Зиновьев вручил мне записку, в коей Александр Павлович просил меня незамедлительно явиться к нему. Естественно, я тут же, не мешкая, схватил свой портфель, побросал туда последние донесения и помчался в Виленский замок.

Лишь только я вошел, Государь поздоровался со мной и, лукаво оглядывая меня, сразу же выпалил, буквально не переводя дыхания (видимо, Его Величеству, ох, как, не терпелось):

– Санглен, погляди-ка, что я получил вчера поздно вечером.

И, продолжая улыбаться, протянул мне сложенный вдвое почтовый лист бумаги.

Я развернул его и внимательнейшим образом принялся за чтение.

То была докладная записка, подписанная никем иным, как министром полиции Балашовым, моим бывшим покровителем и другом.

Вот неслыханная дерзость! Вот канальство! И как он только посмел пойти на такое – непостижимо!

Балашов писал государю, что я авантюрист, обманщик и хвастун (он назвал меня «гасконским хвастуном»), что военная полиция на самом деле бездействует и что все успехи ее есть просто плод моего горячечного воображения.

Поначалу я, конечно, расстроился, но, собравшись с мыслями, довольно быстро и спокойно отвечал:

– Это зависть, Ваше Величество, просто зависть и не более того. Бесспорно ведь, что министерство полиции бездействует и совершенно не в силах противостоять хитростям Бонапарте и его клеветов. Мы же шпионов наловили, будь здоров. А если я такой хвастун и авантюрист, как это расписывает Балашов, то чего же он тогда в начале этого года сделал меня заведующим особой канцелярией при министерстве полиции и сам меня называл своей «правой рукой»?!

Государь согласился со мной (он припомнил тут и свою давнишнюю фразу, что авантюристы необходимы России не менее чем честные люди), но все еще поглядывал лукаво и проклятой балашовской записки со стола почему-то упорно не убирал, даже держал на ней руку, причем, демонстративно держал.

Сомнений быть не могло: император явно дразнил меня или, точнее, поддразнивал: в глазах его застряли смешинки, длинный, тонкий рот растянулся в гримасе улыбки. И я это встретил с пониманием и даже с ободрением.

Кажется, Александру Павловичу нравилось видеть меня расстроенным или же он просто хотел, считал нужным для блага народного предотвратить примирение руководителя военной полиции с министром полиции.

Император российский, величайший гений политической интриги (вот кто на самом деле должен возглавлять тайную полицию! Но он, собственно, ее и возглавляет – мы же так только, инструменты, послушные струны его воли, и не более того), без всякого сомнения, прав и при этом полностью прав.

В самом деле, в интересах всеобщей безопасности и спокойствия общественного сыскные службы в государстве должны быть неминуемо разобщены, должны в обязательном порядке враждовать друг с другом. В противном случае создается

опасность сосредоточения исключительной власти в рамках одного только ведомства, что совершенно недопустимо и даже вредно для нашей Империи, как и вообще для любой империи. Все это так. Все это сознаю я, прекраснейшим образом сознаю.

Но до невозможности грустно при этом то, что Балашов все-таки оказался столь несомненным, столь полнейшим мерзавцем!

Я не мог все-таки никогда представить себе именно такой полноты подлости в дворянине и государственном муже.

А Государь наш, с его поразительнейшим политическим чутьем, со всей силой своего неистребимого презрения к человечеству, такое представить вполне мог. Вообще нужно вникнуть в характер Александра Павловича. Все высокое, великое доступно Его Величеству. Он умеет уважать эту возвышенность, но не далее той комнаты, в которой оказывал свое уважение, он любит путать и служить.

Не сомневаюсь, что он сам и предложил Балашову составить записку, в коей тот бы попробовал дать мой портрет, приватный и служебный.

И Балашов в миг попался в расставленные ему сети и великолепнообразом показал, на что он способен (как тут не вспомнить пушкинское: «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства» – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Ах Александр Дмитрич, Александр Дмитрич, зачем же ты так?! Зачем сам себя позоришь, позоришь звание министра полиции?! И особливо позоришь звание генерал-адъютанта Его Величества, а это уже совершенно недопустимо!

Удивил ты меня, признаюсь – удивил! Такого я не ожидал. Устраивал ты мне всяческие каверзы, и не один раз, но такого я все-таки не ожидал.

Подумай-ка сам, поразмысли как следует, любезнейший.

Служим-то мы ведь одному Государю! Одному Отечеству! Какой же смысл нам доносить друг на друга?!

И враг на нас надвигается один, не только жестокий, но и хитрый, и мы должны его не просто одолеть, но и перехитрить при этом: не перехитрим, так и не одолеем вовсе – в этом я не сомневаюсь. Так что в это время не до сведения взаимных счетов, милейший Александр Дмитрич.

Да, генерал-адъютант императора Балашов проявил себя во всей красе, и слава Богу! На самом деле этому можно только радоваться. Теперь понятно, на что он способен. А способен



оказался на все, в том числе и на полнейшее забвение правил чести.

Государь наш, умница, ни на йоту ни поверил своему министру полиции – и тоже Слава Богу!

Но все-таки назвать директора военной полиции всей Российской империи (и ведь назначение это было утверждено самим Александром Павловичем! Балашов отлично знает это) авантюристом, хвастуном и фанфароном – это чересчур, по-моему, это превышает всякую разумную меру, всякую меру допустимого приличиями высказывания.

И о каком фанфаронстве моем может идти речь? Непостижимо!

Это сам мерзопакостник Балашов выдумывает и бессовестнейшим образом врет, врет и даже не думает стесняться при этом.

Экое бесстыдство!

Трудно даже представить себе, чтобы такого рода проделками занимался министр полиции Российской империи.

Государь ведь своими глазами видел шкатулку графа Нарбонна, доставленную мною?! Своими руками листал содержащиеся в ней бумаги, в числе коих была и инструкция, составленная самим Бонапарте?!

А каких французских шпионов отыскал Балашов? И кто после этого выдумщик? Кто, скажите на милость? Кто?

Да, фанфаронит сам министр полиции – собственной персоной. Обвиняет других в том, чем грешит сам.

Стыдно, Александр Дмитрич! Ох, как стыдно!

Какую же дерзость надо иметь, чтобы написать Государю такое обо мне! Написать заведомую ложь!

Мая 18 дня. Шесть часов вечера

Мне доподлинно известно, что министр Балашов, конечно, уже не раз писал на меня доносы, но теперь он настроил целый трактат выдумок и инсинуаций, мне посвященный, и осмелился подать Государю. И сделал это в тот момент, когда надо ловить шпионов. Он же хочет подловить меня, ищущего шпионов, кои столь опасны сейчас для нашей Империи.

Вот что я думаю, вот какая мысль посетила меня прямо нынче, именно теперь, буквально в сию минуту.

Если когда-нибудь настанет такая пора (а не исключено, что она, действительно, когда-нибудь и настанет), и Государь вдруг возжелает нас двоих примирить, то тут я решительнейшим образом ослушаюсь, впервые ослушаюсь Государя и с Балашовым

мириться не стану ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах – ни за что, понимаете, ни за что.

Такое принимаю теперь я бесповоротное решение. И от слов своих никак не отступлюсь.

Все. Тетрадошка моя за апрель и добрую половину мая благополучно заканчивается – скоро начну заполнять последнюю страничку.

Происшествий за последние два месяца было великое множество, но, конечно, самое важное – это приезд с разведывательной целью графа де Нарбонна, генерал-адъютанта самого Бонапарта.

Завтра в канцелярии обращусь к Протопопову, заведующему оной, или же к коллежскому секретарю Валуа (он всегда так внимателен к каждой моей просьбе) и попрошу для себя новенькую тетрадошку. Надеюсь, что со временем и она будет наполнена описанием дел и событий, совершенных во славу Государя Императора и Отечества нашего и непременно достойных и Государя и Отечества! Уж постараюсь!

Я полагаю, что от работы высшей воинской полиции (а ведомство сие, скажу совершенно не таясь, есть в полном смысле слова мое кровное детище) в нынешнее время зависит слишком многое в нашей многотрудной жизни, ибо явно близится страшнейшее испытание для всех нас, обитающих в пределах великой Империи.

Может быть даже можно сказать, что воинская полиция никогда не была нужна так на Руси, как сейчас.

Мая 18 дня. Двенадцатый час ночи

Не так давно вернулся с ужина у Барклая де Толли. Естественно, была госпожа министерша и, естественно, в окружении его адъютантов плюс полковник Закревский, всезнающий, нагловатый и хитрый.

Среди приглашенных из свиты Государя было несколько заметных особ – генерал-адъютанты Балашов и Волконский, граф Аракчеев и генерал от кавалерии Беннигсен.

Волконский смотрел на меня косо, а вот Балашов (о времена! О нравы!) все время заискивающе мне улыбался. И одновременно в его взгляде явно прочитывался вопрос – знаю ли я о той записке, что он на днях подал Императору?!

Однако я, делая вид, что ничего не понимаю, был с ним ровен и сух. На его фальшиво-ласковые вопросы отвечал всегда односложно и слишком кратко. Он, без всякого сомнения, чувствовал это и, вероятно, внутренне дрожал. Что ж поделом ему!

Барон Беннигсен (в графское достоинство был возведен в 1813-м году – позднее примечание Я.И. де Санглена) не столь показался мне кичлив и задирист, как при первом знакомстве. А я все разглядывал с плохо скрываемым любопытством убийцу российского императора Павла.

Высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией, он поразил меня своей наружностью, между круглыми, скуластыми и курносими лицами русских офицеров (особенно он контрастировал с блинообразным лицом дежурного генерала Кикина).

Кстати, генерал Беннигсен, хоть он и состоит при особе Государя и прибыл в его свите, – здешний житель: у него громадные имения в Виленском крае – более тысячи душ (он их получил за то, что еще в 1794-м году разбил поляков при Солах и, переправившись вплавь через Неман, нанес им поражение у Олиты). Кроме того, в начале нынешнего столетия он был тут губернатором. Обо всем этом рассказал мне сотрудник моей канцелярии Карл Иванович Валуа, человек дельный и дотошный.

Граф Аракчеев, сидевший подле Беннигсена, был ко мне в высшей степени милостив.

Он довольно подробно и даже заинтересованно расспрашивал о том, как устроена высшая воинская полиция, много ли удалось выловить агентов Бонапарта, каков штат моей канцелярии, доволен ли я военным министром.

И еще мы с графом в этот вечер много вспоминали о моей службе при нем, когда он был военным министром, а я вернулся в Петербург после моей парижской ссоры с князем Петр Михальчем Волконским.

Кстати, последний за сделанное нами вдвоем описание генерального штаба армии Наполеона, получил звание генерал-адъютанта, а я, представьте себе, получил ... выговор, который был дан мне на основании доноса Волконского, таким именно образом отблагодарившего меня за работу.

При этом граф Аракчеев объяснил мне, что выговор сей делается для проформы и что никакого значения ему придавать, на самом деле, не стоит, ибо Государь на меня отнюдь не гневается; он только не хочет расстраивать вспылчивого да обидчивого Волконского. Аракчеев еще добавил, что Государь на самом деле гневается на Волконского, коему оказалось недостаточно генерал-адъютантских погон, и он хотел еще денежной награды.

В качестве совета мне граф Аракчеев добавил: «Эх, любезный друг, советую вам следовать русской поговорке: с сильным не дерись, с богатым не тягайся».

Между прочим, князь Волконский во время обеда располагался неподалеку от нас, и мы на него весьма весело поглядывали. Он же в это время хмуро и сердито пил шампанское, фужер за фужером, а в нашу сторону даже и не смотрел и сидел как-то вполоборота. Будто отворачивался от нас. Он вообще почти ни с кем не разговаривал; мною же и графом Аракчеевым, без всякого сомнения, оставался недоволен.

Вечер прошел не так скучно (не исключено, это произошло и потому, что вид надутого, молчащего и недовольно косящегося в мою сторону князя Волконского ужасно меня веселил), как обычно бывает у графа Барклая де Толли.

Воинственная супруга главнокомандующего, в присутствии именитых гостей, была чуть более мирной, чем обычно, приглушив слегка свой командирский тон. Но, конечно, стальные нотки все равно проскальзывали, и на главнокомандующего она смотрела как всегда сурово и явно осуждающе.

Да, я совсем было запамятовал.

Ужин почтил своим присутствием сам канцлер Николай Петрович Румянцев. Но его появление и его присутствие на ужине у Барклая де Толли представляли собой одну немую сцену, заключающую в себе не мало комического.

Канцлер, и в самом деле, окончательно оглох и вообще был сильно не в духе, раздраженный, малоразговорчивый, недовольный.

Ничего не поделаешь: за изменой следует расплата – это совершенно справедливо.

Так и должно быть.

Конечно, обидно, что нет ни малейшей возможности арестовать графа, чрезвычайно обидно. Но то, что его оставляют номинальным канцлером, то есть оставляют в роли откровенного паяца, – для графа Румянцева, столь важного, столь самолюбивого, придающего своей особе повышенное значение, есть самое несомненное наказание, чуть ли не издевательство.

Хе-хе, графа оставляют канцлером, но при этом полностью отставляют от дел. Полностью!!! Да, только так и можно проучить его, коли нет возможности предать суду и повесить за измену. А так он остается человеком как будто публичным, вершителем судеб Российской империи и одновременно никем и, значит, всеобщим посмешищем.

Да, да именно так и надо поступить, дабы впредь неповадно было.

Полагаю, что император Александр Павлович принял единственно верное решение, поступив подобным образом.

Ежели нельзя казнить, пусть хотя бы изменнику будет стыдно.

Да, Николай Петрович Румянцев формально пока числится канцлером, но его дипломатическая карьера, без всякого сомнения, у нас на глазах окончательно и бесповоротно завершилась. Визит в Вильну графа де Нарбонна поставил в этой блистательной карьере жирную и решительную точку.

А вот ежели бы не бдительность высшей воинской полиции, ежели бы не этот мальчишка, доставивший мне письмо канцлера Николая Петровича Румянцева к императору Франции, то давний, видимо, сговор графа с Наполеоном Бонапартом только продолжал бы набирать силу, и последствия этого для нас могли бы быть самые непредсказуемые и даже страшные и необратимые.

Теперь же, кажется, еще есть возможность предотвратить катастрофу – измена была разоблачена, не успев зайти слишком далеко.

Однако надо честно признать: ежели бы непутевый резидент Бонапарта барон Биньон не прислал бы в Вильну в эти дни своего секретаря и моего бесценного агента Закса-младшего, преступную связь канцлера Российской Империи графа Румянцева с императором Франции нам вряд ли удалось бы выявить. Но, Слава Богу, это произошло.

Поистине – Слава Богу!

Барон Биньон помог нам, предоставив русской воинской полиции случай, который нельзя не использовать.

И теперь Россия еще может быть спасена!

Грандиозное, немислимое предательство удалось предотвратить.

Еще одна деталь, как мне кажется, весьма любопытная.

В самом конце ужина, когда я поднялся и собирался было уже уходить, ко мне подошел Роберт Вильсон, бригадный генерал и агент британской короны, от острого взгляда которого, кажется, ничего не может укрыться: он всегда и всюду, без малейшего стеснения, лезет. Так случилось и на этот раз.

Вильсон отвел меня в сторону и довольно-таки бесцеремонно и при этом громко, отнюдь не таясь, стал расспрашивать, в самом ли деле раскрыта тайная переписка канцлера Румянцева с Бонапартом.

Я развел руками и, естественно, отвечал ему, что ничего об этом не знаю, и добавил, что если бы и знал, то не имел бы права рассказывать об этом ровно ничего.

Вильсон засмеялся, ничего не ответил и молча отошел. Я же простился с главнокомандующим и тут же отправился к себе.

Поразительно все-таки, насколько слухами земля полнится, виленская в том числе.

Да, британская агентура уже, видимо, успела обо всем пронюхать. Что ж, успела, так успела: тем больше позора канцлеру и славы – высшей воинской полиции Российской империи. А вот с бригадным генералом Вильсоном надо быть настороже, хоть он и наш союзник по борьбе с Бонапартом.

Просмотрю сейчас последние донесения, отберу наиболее интересные из них, уложу заранее в портфель и не медля отправляюсь спать – к десяти утра меня ждет Государь Александр Павлович.

Неприменно расскажу Его Величеству и об нынешнем ужине у Барклая ле Толли и о беседе со мной (точнее это был допрос) бригадного генерала Роберта Вильсона и о разговоре своем с министром Балашовым и генералом Аракчеевым.

Не премину упомянуть о поведении генерал-адъютанта Петра Михальча Волконского и генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича Беннигсена, особ в высшей степени капризных, строптивых и заносчивых, даже каких-то нервно-заносчивых.

Конечно же, поведаю и о глухом нашем канцлере Николае Петровиче Румянцеве, на ужине постоянно корчившем недовольную мину, несмотря на то, что Барклай со своей супругой весь вечер как могли умащивали его.

Впрочем, поведение канцлера, с учетом событий, последовавших после отъезда графа Нарбонна, совершенно естественно. Более того, отныне недовольная мина, кажется, приклеится к канцлеру навсегда.

(позднейшая приписка, сделанная рукою Я.И. де Санглена)

#### КОНЕЦ ТЕТРАДИ

Записи, сделанные на клеенных страницах:

Мая 19 дня. Первый час дня

А вот и моя награда! Подлинная награда! Наконец-то я дождался!

Да! Да! Да! Успех несомненный, очевидный и долгожданный, но, надо честно признать, и заслуженный. Сей месяц в Вильне я провел не даром.

Вот что случилось. Рассказываю по порядку, ничего не утаивая.

С раннего утра (шел только что восьмой час) прибежал старик-аптекарь. Он доставил мне записку следующего содержания.

Когда я ознакомился с ней, то в первую минуту просто не поверил своим глазам – событие произошло поистине неслыханное.

Закс-младший сообщает из Варшавы, что по указу императора Франции барон Эдуард Биньон отставлен с поста посланника и резидента (когда началась война, Бонапарт опять взял его на службу, назначив комиссаром оккупационных войск Литвы, но это было явное понижение. Впоследствии Наполеон завещал ему сто тысяч франков и поручил написать историю французской дипломатии – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Мальчишка пишет также, что в варшавском обществе уже несколько недель как говорят, будто Бонапарт чрезвычайно раздражен на Биньона и крайне не доволен работой разведывательного бюро, возглавляемого им. Император, видимо, понял, что из Варшавы в Вильну происходит довольно-таки сильная утечка информации.

Кроме того, сын аптекаря в своем донесении отмечает, что сам барон Биньон в последнее время несколько раз достаточно прозрачно намекал в разговорах с ним на возможность скорой своей отставки.

Меня Закс-младший спрашивает относительно собственной своей судьбы, ожидая от меня дальнейших указаний.

Спрашивает он также, не буду ли я возражать, ежели он все-таки через некоторое время отправится в йешибот (школу) ребе Шнеура-Залмана из Ляд, добавляя, что борьбы с Бонапартом он все равно ни при каких обстоятельствах не оставит (к этому, было сказано в записке сына аптекаря, постоянно призывает его в своих посланиях и сам старый ребе, видящий в императоре Франции страшную угрозу для своей веры).

Возможность потери столь первоклассного агента меня совершенно вывела из равновесия. Такую возможность я все время предвидел, но осуществление ее почему-то относил лишь к самому отдаленному будущему.

Я предельно взволнованно, но четко на словах передал через Закса-старшего, дабы сын его, по истечении срока своей секретарской работы у Биньона (а барон, несомненно, останется в Варшаве до приезда нового резидента и нового посланника – это

опять-таки, видимо, будет одно лицо), сразу же и непременно возвращался бы в Вильну, ибо тут есть до него настоятельная необходимость.

Я прямо и откровенно объяснил Заксу, что без его сына нам просто не справиться в эти тяжелейшие и ответственнейшие дни. Старик обещал все в точности передать.

И тут же, едва только за аптекарем закрылась дверь, не дожидаясь назначенных десяти часов, я ринулся в Виленский замок и не медлил при этом ни единого мгновения, в спешке забыв даже свою неизменную трость.

Внутри же у меня все буквально дрожало, а точнее бурлило, и неспроста, конечно. Событие все-таки произошло из ряда вон выходящее.

Государь Александр Павлович сразу же принял меня (он вообще, по возможности, меня всегда принимал без задержек), хотя до десяти часов оставалось еще добрых получаса.

По моему счастливому виду Его Величество сразу понял: что-то произошло, и это «что-то» не совсем печальное, скорее наоборот. Но Государь и виду не подал и не стал ни о чем расспрашивать меня, видимо, ожидая, что я сам обо всем ему поведаю.

Когда же я торопливо передал Александру Павловичу спешную и при этом довольно-таки неожиданную, совершенно непредвиденную новость, сообщенную мне сыном аптекаря, то Александр Павлович, довольно улыбаясь, сказал мне тут же, буквально ни минуты не раздумывая:

– Да, Санглен! На территории Герцогства Варшавского Бонапарт свой бой проиграл – это несомненно, и как проиграл, оглушительно, с треском. Знаешь, отставку барона Биньона я ставлю тебе в личную заслугу. Молодец! А ведь Биньон – сильный противник, и притом сам Бонапарт, со своей исключительной любовью к шпионам, направлял его действия, перестроил работу всего варшавского бюро. Им ничего не помогло, все их усилия оказались тщетными, и вот ныне – форменная катастрофа.

Так прямо и сказал мне наш Государь Император. В этих самых словах. Я все в точности запомнил.

Еще бы не запомнить таких слов! Александр Павлович их не каждый день, почитай, раздает. Его Величество изысканно вежлив, галантно комплиментарен, но в деловых отношениях похвалу он просто так не отпустит.

Что ж, теперь министру Балашову, любезнейшему нашему Александру Дмитричу, уж точно придется прикусить губу.



Хе-хе, если он не скажет, конечно, что это именно его успехи вынудили Бонапарта отправить своего варшавского резидента в отставку.

Да, с Балашова станется! Он страсть как любит приписывать себе чужие заслуги. Но Его Величество-то знает, кто на самом деле одолел барона Биньона, кто ловил в Вильне агентов Бонапарта.

Поговорив еще минут с двадцать (естественно, беседа между нами шла исключительно об отставке барона Биньона), мы с императором спустились на нижний этаж, зашли в кабинет к Барклаю де Толли, что-то в большой задумчивости вычерчивавшему на карте.

При нашем появлении он тут же вскочил и застыл без движения, не шевеля ни единым мускулом, но во взгляде его читался немой вопрос. Видимо, он мучительно разгадывал причину нашего столь неожиданного появления.

После приветствия и нескольких совершенно малозначащих общих вопросов, Александр Павлович остановился, сделал паузу, взял меня за руку и подвел к неподвижно и выжидательно стоявшему в глубине своего огромного кабинета главнокомандующему и торжественно сказал ему при этом:

– Михаил Богданович! Любезнейший! Можешь поздравить де Санглена. А заодно поздравь и меня, и себя, и вообще всех нас. В одном бою мы одолели Бонапарта – в шпионском.

Напряжение тут же слетело с лица главнокомандующего (кажется, он боялся, что мы пришли с дурными вестями), и он довольно рассмеялся.

Рассказав вкратце Барклаю де Толли о сути происшедших перемен, Государь потом медленно и раздумчиво добавил, как бы размышляя вслух (в эти минуты Его Величество говорил чрезвычайно тихо, но зато при этом предельно четко, даже как-то чеканно):

– Все-таки это был правильный выбор прикомандировать тебя к военному министерству и отдать под твое начало всю высшую воинскую полицию империи, хотя многие меня отговаривали, и как еще отговаривали (имей в виду, Санглен, что в их числе был отнюдь не один Балашов). Но теперь-то совершенно очевидно – я был прав, что не послушался их всех, исключительно прав.

Затем Государь вдруг неожиданно повернулся в сторону Баркляя де Толли и спросил, глядя на него в упор (я обратил внимание, что выражение его льдистых голубых глаз в этот миг

было пронзительно-пронизывающим, по-настоящему испытующим):

– Граф, скажи-ка напрямую мне: а доволен ли ты нашим Сангленом? Работенка-то у него не простая (полагаю, далеко не всякий с такой и сладит?!). Как ты полагаешь, он справляется? Жду от тебя, Михаил Богданович, трезвой, продуманной оценки. У меня есть свое собственное мнение, но я хочу услышать твое. Что ты сам думаешь о работе высшей воинской полиции при особе военного министра?

Как только императором были заданы сии вопросы, мне кажется, даже остроносая лысая макушка главнокомандующего тут же радостно засветилась.

Барклай де Толли покинул свое место в глубине кабинета, занятое было в выжидательной позиции «что же будет? с чем пожаловал император?», подошел к нам поближе и чрезвычайно прочувствованно проговорил, обращаясь к Александру Павловичу, а на меня даже не глядя, как будто меня тут и не было вовсе.

Главнокомандующий даже не проговорил, а выкрикнул, сделал это как бы на одном дыхании, и без всякой тени раздумий – решительно, предельно твердо, спокойно:

– Еще бы, Ваше Величество! Конечно, он справляется! И еще как! Вообще я каждодневно убеждаюсь в том, что Яков Иваныч де Санглен – поистине находка для нас. Он ведь в кратчайшие сроки, в течение всего одного месяца, смог разыскать агентов, кои явились подлинным спасением для Российской Империи в эти тяжелые дни приближающихся испытаний. Бонапарт всюду хотел насадить шпионов, и ему не удалось это только благодаря нашему противодействию. За время Вашего пребывания в Вильне начальник высшей воинской полиции совершил поистине невозможное в этом отношении. Данное обстоятельство никакому сомнению не подлежит – оно бесспорно.

Я невольно зарделся при этих словах и молча склонил голову – слова эти были превыше всякой награды.

А Барклай де Толли продолжал, уже более спокойно, не так жестко, не столь определенно и даже как будто с какой-то претензией на юмор:

– Были, конечно, и неудачи, отдельные просчеты (как же без них-то?), но в главном высшая воинская полиция оказалась на высоте – эмиссар Бонапарта был полностью разоблачен. Впрочем, что я рассказываю?! Вы же, Ваше Величество, в отличие от меня, сами участвовали в этой операции – Вы задерживали графа де Нарбонна у себя, а Санглен в это время орудовал с его бесценной

шкатулкой?! Вы тоже – в некотором роде агент де Санглена, а у него, надо сказать, вообще отличные агенты.

Государь улыбнулся и лукаво-понимающе кивнул – он был тонкий ценитель шуток.

Впрочем, Александр Павлович ведь и в самом деле принимал участие в упомянутой акции. Так что, может быть, Барклай де Толли и не думал шутить, он ведь совсем не мастер по этой части.

Да, забавно получается: Его Величество помогает тайной полиции, служащей Его Величеству, оказываясь тем самым на службе у самого себя.

В любом случае, император оценил каламбур, пусть даже и невольный, хотя я все-таки подозреваю, что тут имела место первая шутка в жизни нашего военного министра, сурового шотландского немца прибалтийской выделки.

Потом мы втроем отправились на прогулку в городской сад (на возвратном пути я проводил императора и главнокомандующего до ворот Виленского замка).

Все гуляющие в этот час в саду предупредительно-уважительно сторонились нас.

На одной из дорожек встретился нам государственный секретарь Александр Семенович Шишков, вице-адмирал и писатель, юркий, носатый, лохматый, глядевший вокруг сердито и недомевающе.

Вообще довольно забавно, что он, будучи врагом Бонапарта и яростным ниспровергателем всего французского, изъясняется при этом на изящнейшем французском языке и является, сколько я могу судить, большим знатоком романского искусства.

Александр Павлович высвободил правую руку, помахал Шишкову, и мы стали фланировать дальше.

Шишкову наша радостная троица, кажется, не очень понравилась.

Веселье накануне войны, видимо, представилось государственному секретарю весьма предосудительным, и он смотрел на нас явно осуждающе (на мой взгляд, быть патриотом большим, чем Государь, не совсем прилично).

Император, кажется, на недовольный вид Шишкова не обратил ни малейшего внимания или же просто не захотел заметить.

Он пребывал в особенно благодушном состоянии духа (я уж и не помню, когда его видел таким).

Александр Павлович был исключительно весел, сыпал остротами, достаточно колкими (чрезвычайно много при этом досталось министру полиции Балашову и канцлеру Румянцеву).

Он шел между нами, взяв нас ласково под руки; кивал прохожим, поглядывал на нас и все время улыбался.

Лицо Его Величества неудержимо сияло – оно было освещено первой победой над Бонапартом в новой большой войне (конечно, боевых действий еще не было, но на шпионско-дипломатическом уровне сражения уже шли, и еще какие!).

В это тихое, чистое виленское утро, окутанное густым молочным туманом, в миг затишья перед страшной военной бурей российский император явно не хотел думать о тех неминуемых огромных испытаниях, которые нам в ближайшем времени грозят (собственно, неясно даже было, сможет ли устоять наша великая империя) – как будто даже тень заботы не омрачала его прекрасное чело.

У меня настроение было гораздо менее радужное, но и я улыбался (правда это было во многом напускное: более всего я по привычке с опаской вглядывался в тех, кто шел нам навстречу). Даже Барклай де Толли, думаю, более всего из всех нас постигавший, что именно надвигается, казалось, шел веселый, довольный и безмятежный.

Городской сад Вильны благоухал, и мы шли, опьяненные его ароматом и ароматом победы над непобедимым дотолем Бонапартом.

Мая 19 дня. Одиннадцатый час ночи

Вернулся к себе с ужина у главнокомандующего.

В числе гостей, помимо корсиканца графа Поццо ди Борго и британского агента Роберта Вильсона, были генералы Аракчеев и Беннигсен. Последний мне все более и более не нравится, хотя особенно радостных чувств он мне не внушал никогда.

Леонтий Леонтьевич Беннигсен – необыкновенно длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя Командора из «Дон Гуана».

Он невыразимо заносчив, сух и вообще придает своей особе чересчур повышенное значение.

Без всякого сомнения, милость императора плохо сказывается на нем. И я все-таки никак не понимаю, как можно держать при своей особе убийцу собственного отца! И тем более оказывать ему милость!

Но вот что потрясло меня сегодня – как это только генерал Беннигсен решился принять любезное приглашение Михаила Богдановича де Толли!

Мне отличнейшим образом известно (на этот счет в канцелярии воинской полиции есть целая кипа донесений), что сей генерал во все свое нынешнее пребывание в Вильне постоянно интригует против графа и вообще всячески поносит его.

Агенты сообщают: Беннигсен неизменно нашептывает императору Александру Павловичу, что граф Барклай де Толли непременно будет разбит Бонапартом уже в первом приграничном сражении. Более того, Беннигсен рекомендует Его Величеству незамедлительно отправить графа в отставку и с поста главнокомандующего и с поста военного министра.

Но тем не менее на ужин к военному министру генерал является как миленький, с наглой усмешкой принимая ухаживания любезных хозяев (Барклай и не подозревает о происках Беннигсена – я ничего не сообщил ему).

О бесстыжий наемник, озабоченный не спасением России, а добыванием для себя любым способом наград и чинов!

Со мной во время ужина Беннигсен почти не разговаривал. Он вообще мало кого удостаивал своей беседой, будучи самим воплощением высокомерия. А если и говорил о ком, то с нескрываемо злобной иронией – поистине шипел, а не говорил.

Из-за присутствия генерала Беннигсена, из-за его неистребимой чванливости ужин был решительно испорчен – для меня во всяком случае – а ведь сегодняшний день начался так радостно, так счастливо, так безмятежно: утро было поистине упоительным.

Однако как бы косо ни поглядывал на меня убийца императора Павла I, отставка варшавского резидента барона Биньона все равно остается моей победой, эта отставка является прямым признанием того, что я не даром провел тут апрель и большую часть мая. Уход барона доказывает, что высшая воинская полиция Российской Империи уже существует. Это – непреложный факт, с коим теперь нельзя не считаться.

Все. Полистаю-ка на сон грядущий хотя бы пару страничек из «Разбойников» Шиллера, насладюсь хотя бы одним монологом и иду спать. Кажется, ничто так не ласкает мне душу, как сие бессмертное творение.

*(продолжение следует)*



**Андрей Масевич**

**De natura humana...**

**Я тоже знал Кона**

*Памяти Игоря Семеновича Кона*

**(продолжение. Начало в №6/2014)**

**Часть IV. Ненаучные рассуждения**



се-таки Шопенгауэр, несмотря на его репутацию, - большой романтик. Потому и написал те слова, которые я дважды цитировал – об иллюзии, которую природа внушает мужчине, что эта женщина много желанней других. Философ не говорит нигде, таким ли образом обманывается и женщина, или природа дурачит её другой иллюзией. Но, как бы то ни было, его формула предполагает, пусть на некоторое время, влюбленность, то есть моногамию.

Можно романтизировать и вычитанный мной у Мани трехчастный сценарий - фазы любви: ее рождение, становление и угасание прямо напоминают жизнь человека.

А вот истории, что я вам рассказал, основаны, как принято выражаться в ученых трудах, на другой модели.

В мужчине, в женщине - постоянно бьется обезличенное желание – хорошо, пусть это будет созданная природой иллюзия, согласимся в этом с философом. Но потребность в сексуально-эротических ощущениях, желание, не сфокусированное на определенном лице – создает, то усиливаясь, то ослабевая, психобиологический фон жизни, также как возникающие у нас временами жажда, голод или усталость. Некоторые легко, быстро и весело и утоляют свою жажду, другие с трудом находят партнеров и мучительно добиваются контакта. Иногда сексуальная активность принимает форму трехчастного сценария, но не менее, по-видимому, часто возникают беспорядочные множественные связи, по-научному – промискуитет, а по обыкновенному если, то распушенность, или того хуже - разврат. Принято считать, что такое поведение порочно.

*Стремление к наслаждению [без правового ограничения] называется похотью (или просто сладострастием). Порок, возникающий из этого, называется распутством, а добродетель в отношении этих чувственных побуждений — целомудрием, которое здесь должно быть представлено как долг человека перед самим собой.*  
Иммануил Кант «Метафизика нравов»



Иммануил Кант

Но если порок свойственен большей части общества, то это должно бы означать катастрофу.



Михаил Веллер выступает по телевидению

«Хана такому обществу, - так и пишет в пижонском эссе под названием «Кассандра» известный современный автор

Михаил Веллер, - где исчезли архаичные и наивные ныне понятия вроде чести, стыдливости, верности, идеала и прочих романтик. Что стоит на рубле - под рублем и развалится. Цивилизация, где женщина легко становится шлюхой, как бы продолжая при этом оставаться нормальной женщиной - это обреченная, больная, меченная знаком гибели цивилизация».

Похоже ведь на иеромонаха Макария, бранящего Кинзи, ей богу, что-то есть...

И чуть раньше в том же тексте:

*«Переставая вообще оперировать понятием "порок", мы тем самым перемешиваем порок с нормой воедино и теряем нравственные ориентиры. Это значит - что? Это значит: стремление к деньгам остается, а стремление к чему-то большему, что главнее денег - как-то исчезает»*

Причем же тут деньги? Мои, например, истории относятся по большей части к коммунистическим временам, когда я был молод, а на рубле особенно ничего не стояло. И заметьте, ни в одной из них деньги никаким образом не участвовали.

Превосходно все же сказал Бродский: *«Наравне с землей, водой, воздухом и огнем - деньги суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться»*. Нравится это романтическому г-ну Веллеру или не нравится, но на рубле, на долларе, на евро и на прочих валютах стоит в человеческом мире многое и стоит крепко. Коммунизм потому, кстати, и развалился, что на рубле не стоял. Не так уже много на свете вещей, которые главнее денег.

Философ Кант, как видите, гневно осуждал эротизм. Попробуем дать слово и другой стороне. Правда, по масштабу личности наш защитник эротизма все же не Кант. Но пусть и ему, вернее ей, будет предоставлено слово. Вот, цитирую из романа «Emmanuelle». Забавно, что героиня романа и его автор, обоих зовут Эмманюэль, - почти что тезки Канта.

«...И что вы знаете об эротизме?

- Эротизм это.... Как бы точнее... Культ чувственных наслаждений, свободный от всякой морали.

- Ничего подобного. Все обстоит как раз наоборот.

- Ах, это культ невинности?

- Прежде всего, это не культ. Это торжество разума над мифами....»

Далее разворачивается апология эротизма, он существует только у людей, животным он не присущ, а все, что принадлежит исключительно человеку, важнее природы.... И вообще, время, когда человек не занимается любовью, — потерянное время.



Теоретико-философские рассуждения, надо сказать, маловразумительны.... Зато высказывания героинь – там несколько героинь – абсолютно ясны, они прямо утверждают, что запретов не должно быть, и чем разнообразнее сексуальная практика, тем жизнь богаче. Героини романа следуют своим убеждениям, их опыт, собственно говоря, составляет содержание романа.



Эммануэль Арсан

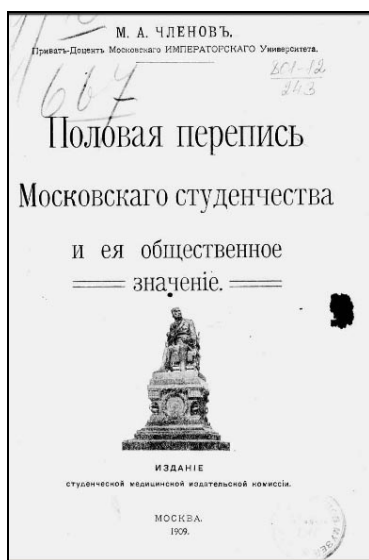
Что до «порока», то в сексе он и впрямь неотделим от «нормы» (только объяснил бы мне кто, что такое здесь «норма», и что такое «порок»). В девятнадцатом веке, например, мастурбация девочек считалась страшным пороком, их за это били, связывали руки, всячески унижали, а если не помогало, то оперировали хирургически - удаляли клитор.



Анонимный опрос, который впервые в России в тысяча девятисотые годы провел с помощью анкетирования человек по

фамилии Членов, выявил, что онанизмом занимаются более девяноста процентов студентов московского университета. Прочитавши эту публикацию, некоторые философы, Изгоев, например, схватились за голову, - «Караул! Общество порочно!».

*...Присоедините сюда другое опасное для расы зло - онанизм. Три четверти ответивших на этот вопрос студентов (около 1600 человек) имели мужество сознаться в своем пороке. Сообщаемые ими подробности таковы: тридцать человек начали онанировать до 7 лет, 440 - до 12 лет! – это из статьи А.С. Изгоева «Об интеллигентской молодежи: заметки об ее быте и настроении» в сборнике «Вехи»*



Обложка книги М. Членова

И сегодня каждый второй уверяет, что общество у нас больное. Больное общество... Пустое литературное клише, скажу я вам.

Александр Солженицын совсем в другие времена и по другим поводам, когда обличал Союз писателей СССР, выразился: «...нашему тяжело больному обществу вы не можете предложить ничего... и т. д.».

И классическая русская литература девятнадцатого века занудливо твердила обществу об его болезнях и пороках.

*Врач немощей людских, берется ль он  
лекарством,  
Самим состряпанным, бороться с общим злом  
И верною рукой, и правильным путем  
Больного общества восстановить здоровье?*

П.А. Вяземский. «Не по моим ногам  
усиленный ваш ход...» (1864)

Еще раньше: «*Смертная казнь есть некоторое лекарство  
больного общества*» - Екатерина II. Наказ Комиссии о  
составлении проекта нового Уложения (1767).

Высказалась, однако, просвещенная монархиня!  
Товарищу Сталину впору.

Болезни общества, видимо, имеют хроническую форму.  
Но если кто возьмется их лечить, то сделает только хуже. Не надо  
лекарств, а уж тем более не надо хирургических операций. Только  
хорошее питание, покой и свежий воздух дадут, возможно, какой-  
нибудь результат – такую бы мысль я принял.

Но мне кажется, проявления сексуальности, которые иные  
моралисты называют болезнями, по настоящему не болезни, а  
имманентные свойства человеческой природы.

Что же до историй вроде моих, то я убежден, что по числу  
и разнообразию таких анекдотов, всякое общество, чего бы там  
высоконравственный г-н Веллер ни изрекал, выходит ничуть не  
более порочным, чем всякое другое, смотри хоть географически,  
хоть исторически.

Мне в жизни так называемое порочное поведение  
встречалось много, а вот идеал «один единственный партнер на  
всю жизнь» один или два раза за те шестьдесят пять лет, которые я  
уже прожил в этом мире.

Личный опыт и размышления одного человека –  
неважный, разумеется, источник данных. Всегда найдется, кто  
скажет: у тебя такой опыт, а у меня совсем иной, и вообще, почему  
ты думаешь, что ты умнее всех? Да не думаю я ничего подобного!  
Просто ужасно не люблю писателя Веллера и почтительно  
недолюбливаю Канта. А на научность не претендую.

Вот если бы записать несколько сотен рассказов мужчин и  
женщин, да чтоб рассказчики были разных возрастов с разным  
образованием, и проанализировать, как надо по науке. Впрочем,  
Кинзи уже давно сделал что-то похожее, и после него многие  
тоже... Вот бы и продолжить направление, у них там анкеты были  
– а у меня бы истории. Там статистика, а у меня чтоб и психология,  
и семиотика, и анализ текстов, и... Ох, помечтать,  
пофантазировать – это меня хлебом не корми.

И что ж? Научности никакой. Так себе - воспоминания, размышления и фантазии. И цитаты. Много цитат.

## Часть V. Другой ракурс

*Мы прожили с тобой вместе семьдесят  
два года, и теперь когда твои глаз  
закрыты, мои не перестают плакать...*

Эпитафия, которую я видел  
на кладбище Монмартр в Париже

### **Трансцендентное (из того же неконченного романа)**

Я потом много думал об этом разговоре, и, боюсь, нафантазировал. Уже и сам не отличу, что на самом деле было тогда сказано, а что присовокупило сюда мое высокохудожественное воображение.

Лиза, которую в действительности зовут не Лиза, доктор физико-математических наук, преподает в университете в Ярославле... Она моя родственница – дальняя, но кровная, я долго не мог понять нашего родства, потом мне она объяснила – мой прадед по линии мамы и ее прабабка тоже по материнской линии – родные брат и сестра. Значит, выходит, мы с ней четвероюродные. Мать ее, моя четвероюродная тетка, была профессиональной художницей - пейзажи, натюрморты писала, ну и картины по заказу государства, что-то вроде: «Сбор свеклы на колхозном поле». Ее пейзаж «В горах неподалеку от Алма-Аты» висит у меня в комнате уже много лет. Лиза тоже любительски занимается живописью.

Андрей? Это Лиза из Ярославля. Я с мужем здесь в Петербурге

Лиза представила своего мужа Диму, и сказала, что хоть он и третий ее муж, она считает, что состоит в первом и единственном браке, потому что только этот брак освящен церковью.

Ты теперь религиозна?

Всегда была верующей. Но однажды я с необыкновенной ясностью поняла, кто я, что со мной и со всеми будет после смерти. Все вокруг озарило светом. Мне внутренне стал понятен смысл священного писания. Мой священник, отец Леонтий, объяснил, что такое просветление бывало у многих, даже у святых людей. Мы с Димой были на могилах Ксении Петербургской, Иоанна Кронштадтского....

Я попытался ее уколоть:

Если, по-твоему, не освященные церковью браки не в счет, выходит, обе твои дочери обе рождены вне брака.

Мои дочери крещены, наша церковь признает браки, зарегистрированные государством, но настоящую ответственность почувствовала только после венчания с Димой.



В этой часовне на Смоленском кладбище находятся мощи Ксении Петербургской

Я продолжил колоть:

Теперь можно ответственность ощущать. Искушений, желаний у тебя больше нет. Прошло по возрасту.

Глупости говоришь, - возмутилась моя мама.

Как это упрощено и зло!– обиженно сказала Лиза.

Не обижайся. У меня-то самого они отнюдь не прошли, а наоборот стали изощреннее...

*«...всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, - процитировал Дима, - уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше...».*

Вот-вот! Евангелие придает этой чисто человеческой идее статус божественный. А формула-то репрессивная...

Ты считаешь? Может быть, наоборот... Фрейд и Маркузе, сами, вероятно, не сознавая того, иногда говорят то же, что Христос. Кстати, Фрейд был верным супругом.

Пейте, ради Бога, чай, - засмеялась мама, - вот ведь горело, общаться с интеллектуалами...

Я всегда испытывал сексуальный голод. Я пил, но не мог утолить жажду, ел, но не мог насытиться.

Вот ты и заговорил библейским языком, - отметила Лиза.

У человечества не хватило бы ни глаз, ни рук, чтоб бороться со всеми соблазнами.

Для вас единственный источник света – вы сами. Любви вы не испытали, - резюмировал Дима, - потому и не утолили своей жажды. Вы прелюбодействовали, глядя на женщин с вожделением. Желали-то чуть не каждую встречную! И познали, думаю, многих...

Многих, но недостаточно...

Мне тебя жаль, – сказала Лиза

Характеры, которые вроде бы брал с природы, вышли совершенно непохожими. Дима у меня проповедует так, будто он не Дима, а какой-нибудь отец Дмитрий. А он не такой, а доброжелательный, спокойный, умный – математик все-таки. И зовут его не Дима. И Лиза не похожа. Но то видение, когда она поняла все про жизнь и смерть, действительно сильно запало ей в ду... Ой, опять я! Да, она еще говорила, что очень хочет написать красками открывшийся ей в том видении мир ...

«Не получится» - подумал я, но, чтобы зря не колоть, не сказал...

Владимир Соловьев видит в сексуальных отношениях три слоя, три компоненты:

*«Хотя все три естественные для человека в его целом отношении или связи между полами, именно связь в животной жизни, или по низшей природе, затем связь морально-житийская, или под законом, и, наконец, связь в жизни духовной, или соединение в Боге, - хотя все эти три отношения существуют в человечестве, но осуществляются противоестественно, именно в отдельности одно от другого, в обратной их истинному смыслу и порядку последовательности и в неравной мере» (Смысл любви).*

Что же, истории, которые я рассказал выше, соответствуют, пожалуй, первой компоненте: «животной физиологической связи». «На первом месте в нашей действительности является то, что поистине должно быть на последнем, - животная физиологическая связь, - говорит философ, - Она признается основанием всего дела, тогда как она должна быть лишь его крайним завершением». Должна быть? Что значит «должна быть»? Откуда философ знает, в чем истинный смысл? И еще я против прилагательного «животный». Именно его, да еще

посильнее – «скотский» – обычно употребляют церковные люди, когда говорят о сексе. Но разве у животных есть проституция? Порнография? Промискуитет? Только обладающий высоким разумом homo sapiens может наслаждаться перечисленными прелестями... Эротика – в большой степени явление человеческого сознания.

У животных нет даже понятия «супружеская измена»... Все у них, зверюшек, идет по определённом природой сценарию, и нацелено точно на продолжение рода. И если уж что-то из этой области нашей жизни уподоблять братьям меньшим, так уж скорее это брак.

*«Для других – пишет Соловьев, - на этом широком основании (под основанием следует понимать то, что философ называет «животной физиологической связью» – А.М.) поднимается социально-нравственная надстройка законного семейного союза. Тут житейская среда принимается за вершину жизни, и то, что должно служить свободным, осмысленным выражением во временном процессе вечного единства, становится невольным руслом бессмысленной материальной жизни».*

Надо же! Оказывается та жизнь, которую ведет большинство жителей Земли, материальная и бессмысленная. А что? Может быть и так....

Расскажу в этом месте печальную историю.

На поминках по моему коллеге – их устроили в поминальном зале петербургского крематория – о покойном, с которым только что простились, говорила его начальница, яркая осанистая дама:

- Он очень любил свою жену. Всегда так говорил о ней...

Дама эта вообще-то чуть-чуть глупее, чем обычно бывают яркие осанистые дамы, но заметила она правильно, он действительно...

...Смерть почти не изменила наружности Саши. Мне только показалось, что его усы длиннее, чем, как я помнил, были при жизни, и совсем стали седыми...

...действительно говорил о своей жене так.

Александр Константинович был по образованию инженер-физик, окончил политехнический институт в Ленинграде.

Не помню, что привело его в библиотеку Академии наук... Вероятно, его туда определил тесть, профессор библиотечного дела (бывают и такие профессора, не удивляйтесь, впрочем, вы, кажется, и не удивились), отец той самой женщины, о которой Саша говорил так.

Саша умел делать простые и полезные вещи, и никогда не начинал великих проектов, что время от времени делал, например, я – ни один, замечу в скобках, мой проект осуществлен не был. А он настроен был на то, чтобы просто аккуратно работать, может быть, чтобы находиться рядом с кем-нибудь, кто сможет эту работу хорошо организовать. Звезды в небесах и, как он утверждал, женщины его не интересовали.

- Я ей ни разу не изменил за двадцать пять лет. – Это он так о своей жене.

*«...Брак, - пишет Кон в книжке «Введение в сексологию», - не просто взаимные ограничения и обязанности. Тесный физический контакт способствует даже синхронизации некоторых физиологических процессов супружеской пары – температуры тела, частоты сердцебиений, гормональных циклов...»*

Она была крупной, грузной женщиной, с высоким, я бы сказал, пронзительным голосом. Мы с ней тоже работали одно время – я преподавал на кафедре информатики, она там была системным администратором. Манера общения у нее была жесткой... даже, пожалуй, грубой.

- Не открывается сеть? Оставьте запись в журнале. Не буду сейчас этим заниматься. Ничего, ничего, пусть студенты пользуются дискетами.

- У вас вчера была последняя пара в 33 классе? Там один компьютер остался не выключенным.

- Нужен проектор? Когда? Нет, в это время у меня занятие, мне он нужен самой...

Саша однажды поделился со мной некоторыми своими проблемами, о которых говорить не буду, хотя ни Саши, ни этой женщины, уже нет... Да просто незачем, пожалуй...

*«Привычка и рутинизация супружеских отношений, - говорится в той же книжке Кона, - которые нередко растворяются в материально бытовых заботах, притупляют остроту и свежесть чувств...»*

Каждый день, по дороге домой, мы с ним пили водку на углу Тучкова переулка и среднего проспекта в баре, из тех, что называют разливухами.

За прилавком там стояла стройная, большеглазая... Как их именовать, тех, которые в подобных заведениях наливают нам с вами соточки и полтиннички? Барменами? Барменшами? Продавщицами? Не то. Не подходит тем, которые наделяют нас разрушающим и вместе живительным напитком. Они, случается, собой недурны. Эту, например, звали Светой. Когда я заходил



туда в жаркое летнее время, Света бывала в таком легоньком прозрачном платье, что у меня дыхание останавливалось, и возобновлялось только после ста граммов...

Ту разливаху не ищите - ее закрыли. Уже восемь лет на ее месте итальянский ресторан с такими ценами, что близко не подойдешь.

Когда в день накануне закрытия Света последний раз налила мне сто грамм, я проникновенно произнес:

- Как мне грустно, что больше вас не увижу.

- Это потому, что вы меня любите. Ничего, пока мы живем, мы многое теряем. Не грустите.

Вот вам и Света. Кто бы мог подумать.... Да, она права, теряем многое, пока живем. Больше, может быть, теряем, чем обретаем. Нет - нет, молчу. И без того наговорил чувствительного.

Там с ней в очередь работала барменом еще одна. Тоже звали Светой. Симпатичная такая толстушка в очках. Когда-то была программистом.

Посещение этого местечка мы обозначали инфинитивной конструкцией «зайти к Светочкам»

Брали сто грамм, иногда селедочку или сосиску, Саша - полстакана томатного сока, становились к длинному столику, приделанному к стенке.

- Мне еще надо купить продукты и готовить ужин...- говорил Саша, - Ира приходит поздно, но к ее приходу надо успеть...

Его жена в то время работала в фонде Сороса и много зарабатывала.... А Саша стойчески вел домашнее хозяйство, мог всё починить – от унитаза до компьютера, готовил, убирал квартиру, а летом возился на их даче...

- Вас не смущает, что супруга у вас как бы выполняет мужскую роль, а вы... ну, извините, не под каблучком ли?

- Нет, нисколько.

Вот в такой-то, примерно, момент у Светочек он и пожаловался мне однажды на интимную проблему.... В другой, правда, раз он сообщил, что проблему удалось разрешить, и все теперь в порядке...

- Давайте еще по сто грамм...

Раньше было – ну, медицина там. ... Да и на все хватало. А олигархов и демократов этих я ненавижу! Пулемет мне сейчас, всех бы расстрелял! – громко озвучивал свои желания один из постоянных посетителей разливаху.

То время ругают, – соглашался другой постоянный посетитель и философски обобщал, – а ведь все мы вышли из коммунизма.

- Светочка как сегодня хороша! – это я сказал, а не Александр Константинович.

- Да, ничего себе, – это ответил Александр Константинович, и выпил залпом свои сто грамм – но мне все равно...

- Врете ведь, что все равно...

- Вчера по телевизору видел вашего доктора Щеглова. Он объяснял, что заниматься групповым сексом нехорошо...

- Говорят «репрессии» – развивал вечную тему постоянный посетитель, – на самом деле, если не делаешь, чего нельзя, тебя никто не тронет...

- Мои родители жили при Сталине, и ничего... – вторил другой постоянный посетитель.



После двух-трех итераций по сто или по пятьдесят грамм мы с Сашей шли в метро на «Василеостровскую». Потом делали пересадку на станции «Невский проспект». Там долго висела реклама колготок – женские ноги, красивее которых нет ничего на свете, верхняя часть красавицы отсутствует за ненадобностью, а броская надпись сообщала о выдающихся эксплуатационных и эстетических качествах рекламируемого товара.

- Сейчас они все больше носят, – это однажды, стоя напротив той рекламы, констатировал Александр Константинович, а не я, – джинсы, женские ноги только...

Цитирую Ксавьеру Холландер, знаменитую проститутку – писательницу:

*Мужчинам нравятся шорты, ведь женские ноги оказывают на них сильное воздействие. Удивительно, но когда мужчина приходит к проститутке, то не обращает большого внимания на ее лицо. Девуцу, лицо которой совсем уж уродливо, он, конечно, не выберет, но все же решающим при выборе фактором являются грудь, бедра и ноги.*

Профессиональное суждение! Уж кто-кто, а мадам Ксавьера, опытный практик секса – эксперт в таком вопросе.

И ведь философия и даже Библия подтверждают ее наблюдения:

*...поразительно красивый стан может возместить всякие изъяны: он очаровывает нас. Сюда же относится и то, что все высоко ценят: маленькие ноги, последние – существенный признак рода, и ни у одного животного тарсус и метатарсус, взятые вместе, не малы как у человека, что находится в связи с его прямой походкой: человек существо прямоходящее. Вот почему и говорит Иисус Сирахов (26,23): «Женица, которая стройна и у которой красивые ноги, подобна золотой колонне на серебряной опоре» (Шопенгауэр, опять Шопенгауэр!).*

А что же на этот счет русская классическая литература? Тоже не молчит:

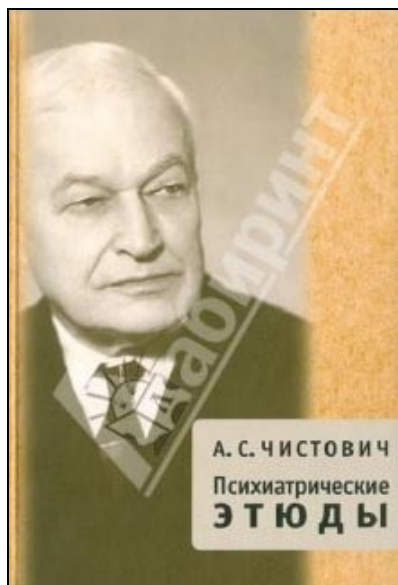
*Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее существенных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, поидет и украдет; будучи кроток - зарежет, будучи верен - изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог... (Достоевский «Братья Карамазовы»)*

*«Есть болезнь, - пишет Бердяев, - которая носит название фетишизма в любви. ... Болезнь эта состоит в том, что предметом любви делается не цельный человек, не живая органическая личность, а часть человека, дробь личности, например, волосы, руки, ноги, глаза, губы вызывают безумную влюбленность, отдельная отвлеченная от сущности часть превращается в фетиш. ... Этой болезнью фетишизма в любви больны в большей или меньшей степени почти все люди нашего времени».*

Щеглов в своей книжке объясняет, что наши сексуальные предпочтения это «мягкая форма фетишизма»... «Светлый образ» грудастой белокурой женщины, который, - пишет Лев Моисеевич,- царит в мировой поп-культуре, - фетиш, предназначенный для широкого потребления». Как хотите, а я дерзну возразить.

По-моему, все же фетишизм - патологическое состояние. Много лет назад профессор Андрей Сергеевич Чистович, психиатр, рассказывал на лекциях по медицинской психологии о больном, который коллекционировал женские туфельки. Этот человек разглядывал их, прикасался к ним и при этом онанировал. В таких действиях действительно есть что-то болезненное...

Но как назвать болезнью действие стройных ножек в чулочках сеточкой на жаждущие любви души? И мало ли что еще на эти души действует? Один более чувствителен к такой округлости, другой - к этакому изгибу, а есть, конечно, такие линии, объемы и краски, которые действуют на многих... Ножки в чулочках отнюдь не заменяют нам целостной дамы, но лишь влекут нас к ней, так возбуждает аппетит красиво накрытый стол.



... - все больше носят джинсы, - это однажды, стоя напротив той рекламы, констатировал Александр Константинович, а не я, - женские ноги только на рекламе и увидишь.

Какой, не помню, был год, когда он поехал в Крым на научную конференцию. Вернувшись, сообщил, что у него там образовался романчик, и после двадцати пяти лет супружеской верности он эту самую верность...

*«Увеличение числа успешных сексуальных взаимоотношений за последние 20 лет (речь идет об интервале между опросами, проведенными ... в 1971 и 1992 гг. – С.Г.) сопровождается, – по словам тех же исследователей, – постоянным ростом числа параллельных связей. Доля мужчин, состоящих в постоянных отношениях, при этом вовлеченных в параллельные, возросла с 24% до 44%, у женщин – с 9% до 19%»*  
С.И. Голод.

...эту самую верность, все-таки, нарушил.

Любимая жена ничего не узнала – хоть считается, что женщины чувствуют неверность. Вообще-то эта история драматичной не была, драматизм совсем не был в характере Саши, и даже небольшое продолжение романчика в Питере – две – три встречи – ничего особенного не прибавили этому его приключению.

Сашина жена в ту пору меня недолюбливала, ей казалось, что я спаиваю ее мужа.

- Опять с Масевичем бухал, - так я представляю себе выражение ее недовольства.

Дальше пойдет очень печальный рассказ.

- Иру положили в Мариинскую больницу – он взволнованно сообщил мне.

- Что случилось?

- Теряет память...

- А какой диагноз?

- Я не понимаю точно.... Кажется, инфаркт миокарда.

- Были сильные боли в груди? Ей запретили вставать? А причем здесь память?

- Более не было. Она ходит, и память теперь восстановилась...

- Тогда никакого инфаркта нет.... Давайте, я поеду с вами в больницу, мы поговорим с врачом, я пойму лучше, чем вы, все же у меня медицинское образование.

- Не надо, она вас не любит.

- Пустяки какие, я тоже ее не люблю. Но, несмотря на наши взаимные чувства, попробую разобраться в ситуации.

- Ха-ха-ха... Здорово! Спасибо...

Врача мы не застали. Больная, впрочем, выглядела неплохо, никаких признаков потери памяти не было заметно. За этим, насколько я знаю, следовала консультация невропатолога, курс какого-то лечения.

Два раза потом они были у меня дома – водочка, грибки, жареные колбаски, еще что-то посылал нам Бог. Мы ругали начальство: директора библиотеки академии наук, заведующую кафедрой, ректора университета. Начальство всегда есть, за что поругать.

Потом мы долго не видались. Весной 2011 года мне позвонил Саша.

- Плохо, не стало Иры.

- Что вы! Как это случилось?

- У нее снова начала пропадать память, ее положили в больницу и там ...

- Когда это произошло?

- Месяца полтора уже.

- Чего же вы не звонили?

- Сам лежал в больнице.... После ее смерти я некоторое время ничего не помню. Оказалось, в метро я зачем-то пытался перелезть через барьер, меня взяли и отправили в психиатрическую.... Там я провел почти месяц. Урна Иры пока у меня дома. Я договорился о захоронении, там, где ее мать, и там же нашел место себе.... Запиши новый номер моего мобильного, а то городской у меня отключили.

Я потерял записанный номер, хотел найти его, позвонить Саше, но все откладывал. Больше никогда я не слышал его голоса, он пережил жену не больше чем на год.

Мне захотелось немного помолчать... Простите.

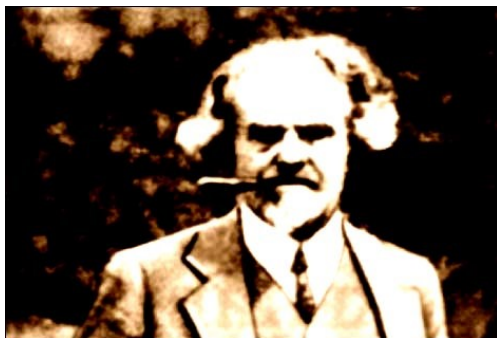
Продолжаю, вот здесь цитата из «Смысла любви», в которой описывается третья компонента:

*«А затем, наконец, как редкое и исключительное явление остается для немногих избранных чистая духовная любовь, у которой все действительное содержание уже заранее отнято другими, низшими связями, так что ей приходится довольствоваться мечтательной и бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи и жизненной цели. Эта несчастная духовная любовь напоминает маленьких ангелов старинной живописи, у которых есть только голова да крылышки и больше ничего. Эти ангелы ничего не делают за неимением рук и не могут двигаться вперед, так как их крылышкам хватает силы только на то, чтобы поддерживать их неподвижно на известной высоте. В таком же возвышенном, но крайне неудовлетворительном положении находится и духовная любовь. Физическая страсть имеет перед собою известное дело, хотя и постыдное; законный союз семейный также исполняет дело пока необходимое, хотя и посредством достоинства.*

*Но у духовной любви, какую она является до сих пор, заведомо нет совсем никакого дела, а потому неудивительно, что большинство дельных людей glaubt an keine Liebe oder nimmt's für Poesie. Эта исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая и исключительно житейский союз. Абсолютная норма есть восстановление целостности человеческого существа, и, нарушается ли эта норма в ту или другую сторону, в результате, во всяком случае, происходит явление ненормальное, противоестественное».*

Сам философ, как видите, признает, что этой самой высокой духовной любви в жизни никто никогда не видел, да и смысла в ней большого нет.

Бердяев тоже считает, что духовная любовь редкость, но потому редкость, что для нее еще просто не пришло время.



Н.А. Бердяев

*«Христова любовь, - говорит Бердяев – это, прежде всего, ощущение личности, мистическое проникновение в личность другого, узнавание своего брата, своей сестры по отцу небесному. ... Вместе с тем Христов Эрос связан с полом, этим первоисточником всякого разрыва и всякого соединения. Христов Эрос не бесполой и не бесплотный, не «импотентно-моральный», как утверждает Владимир Соловьев, он преображает плоть и преодолевает пол, утверждая его сверхприродно. Могущий вместить, да вместит новую плоть любви, но не настали еще времена для вмещения ее в коллективной жизни человечества. ... Эрос пробивался в виде ручейков, а не большого потока. Новое религиозное сознание и религиозное творчество связаны ныне с Эросом, с религиозным решением проблемы пола и любви»*

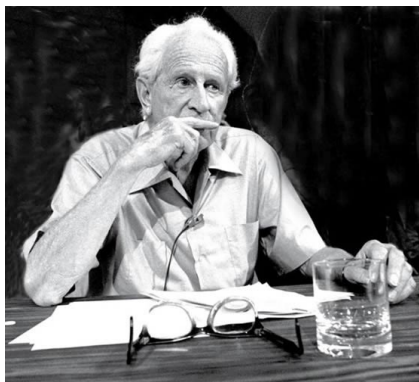
Красиво, все-таки, написано. Только спросить бы философа, когда же наступит время небесной любви? Уже более шестидесяти лет с тех пор, как Бердяев умер, но не струйки и ручейки Христовой Эроса влились за это время в жизнь людей, а мир затопил, прорвав всяческие запруды, пенящийся поток, именуемый сексуальной революцией.

Единство в Боге. Вон оно что. Но если вы атеист и смотрите на религию как на заблуждение человечества, то, казалось бы, третья компонента любви для вас не может иметь смысла. А если еще принять во внимание, что случаев таких

отношений на Земле не зафиксировано, то говорить вроде бы больше не о чем.

Вспомним, однако, атеиста Кона: «... половая близость выступает, как момент психологической, личностной интимности, выхода из одиночества, слияния двух в единое целое. Это самый сложный вид отношений .... Коммуникативная сексуальность предполагает высочайшую степень индивидуальной избирательности. Именно она обычно подразумевается, когда говорят о половой любви» (подчеркивания мои А.М.).

Разве не соприкасается здесь Кон с Бердяевым и Соловьевым? Еще как. А если имеются совпадения в высказываниях атеиста и философов-идеалистов, то о чем это говорит?



Герберт Маркузе, 1898-1979

О разном, по-видимому, говорит, но в частности том, что человеку зачем-то нужно идеализировать свои сексуальные отношения.

*Идеализация в любви*, - писал в молодости А.Ф.Лосев, последователь Соловьева и Бердяева - и даже те мимолетные грезы, которые слетают к нам при встрече с прекрасной девушкой, едва ли есть просто идеализация, то есть простое выдумывание. Не есть ли это откровение мира иного? Может быть, идеализирующий - то и увидел вещи в их настоящем бытии, которое недоступно всем прочим людям с их привязанностью к житейской прозе и неспособностью к этой "идеализации".

А вот из Герберта Маркузе, уж его-то в идеализме никак не упрекнешь:



*«... облагораживание сексуальности, ее сублимация в любовь, произошли внутри цивилизации, утвердившей собственнические частные и общественные отношения независимо друг от друга и в сущностном конфликте между собой.*

*Именно в сфере удовлетворения, в особенности сексуального удовлетворения человеку надлежало проявить себя высшим существом, приверженным высшим ценностям: сексуальность была возведена в достоинство любви». (Эрос и цивилизация)*

### **Одна пятая часть человечества**

*Равнодушие или слабо выраженный интерес к половой жизни интерпретируется многими современными психологами, находящимися под влиянием теории Фрейда, как результат невротического развития. Возьму на себя смелость предположить, что, по крайней мере, пятая часть человечества равнодушно относится к сексуальности, несмотря на то, что эти люди вступают в половые контакты и желают иметь детей.*



Адольф Гуггенбюль – Крейг

*Психология часто не принимает в расчет данное обстоятельство или же отделяется ссылками на вытеснение. Но ведь существуют люди, не обладающие ни музыкальным слухом, ни вкусом. Однажды доктор Сэмюэль Джонсон сказал: «Музыка — это единственный звук, который не в силах меня взволновать». Сексуальность тоже может оказаться неспособной взволновать человека.*

*Никому ведь не придет в голову объявлять того, кто не интересуется музыкой, невротиком, тем более что вопреки мнению некоторых музыкальных педагогов, полагающих, что людей, полностью лишенных слуха, не бывает, таковые встречаются в жизни не так уж редко, скажем, не реже, чем люди, равнодушные к сексу – так утверждает Адольф Гуггенбуль – Крейг, старый швейцарский психиатр.*

Параллель с музыкой мне не кажется убедительной. Возможно, в музыке есть что-то биологическое (музыка – единственное искусство, которое чувствуют животные), но преобладает в ней все же эмоционально-интеллектуальный компонент, ненавижу пафос, а то бы сказал - духовный. А мотивация к духовному у нас куда слабее, чем мотивация к биологическому...

Я бы предложил параллель другую: секс - еда: Существуют гурманы, готовые специально ехать в другой город, даже в другую страну, чтобы попробовать какого-нибудь блюда. Ирис, помню, водила меня в один ресторан в городе Ош, во Франции, куда ездят гурманы со всей Европы. А есть люди, которые к еде равнодушны... Едят, конечно, без этого им тоже не обойтись, но что и как, им безразлично. Хотя и у таких время от времени возникает чувство голода. А бывают которые страдают булимией, невероятно прожорливые, и бывают больные, у которых, наоборот, анорексия - полная потеря аппетита. А бывают просто с хорошим аппетитом. Этот человек сильно проголодался и только думает, чем бы утолить голод, а тот наелся так, что на еду смотреть не может... По-моему, моя параллель ближе, чем параллель с музыкой. Я на самом деле не первый, кто уподобляет секс еде. Правда, уподобление это критикуют...

- Ему бы всыпать, как следует! – возмущалась моя коллега в Российской национальной библиотеке, назову ее Л.К.. Она училась вместе с Л.М., помните ту даму? Которая - коммунистический ортодокс?

Всыпать, по мнению Л.К., надо было С. одному нашему сотруднику.

В те времена – я говорю о первой половине 80-х, всех нас часто посылали на овощную базу и в совхоз. И этот самый С. – в библиотеке мужчин было мало, и в сельскохозяйственных работах они высоко ценились – неожиданно для всех начал роман на овощной базе. Помните, может быть, как в начале рабочего дня отправлялись гонцы в близлежащие магазины, так, чтобы уже в обеденный перерыв трудящиеся могли стаканчиком-двумя скрасить свою ссылку. А подле С. оказалась некая Ц.,

отличавшаяся приятной привлекательностью. Зелье, что было своевременно доставлено гонцами, возбудило и многократно усилило желания С.. Дама же, надо сказать, благосклонно ответила на вспыхнувшее к ней чувство. Они уединились - за ящиками, что ли? – ну и.... Чуть не на глазах у всего прогрессивного человечества.

- У него жена, - клеймила Л.К., - маленький сын, а он...

- Бросьте возмущаться, Л.К. – попытался я прекратить ее причитания, - что особенного случилось? Брак без измен такая редкость, что даже не уверен, что вообще бывает...

- Супружеская верность есть! – строго возразила Л.К., - мы с мужем живем душа в душу, и никогда за двадцать лет...

- Дорогая Л...чка, - добродушно сказала Л.М., - И живи себе также дальше. Ты у нас, прямо не знаю, какая молодец...

Политические взгляды Л.К. были еще более радикальными, чем взгляды Л.М.

- Я люблю и Ленина, и Сталина, – заявляла она, - мой папа был полковником и прошел войну, он всегда говорил – если бы не Сталин, войны бы нам не выиграть.... А Хрущев разрушил веру...

Я не отвечал. В маленькой пухлой женщине была такая убежденность, что спор с ней казался бессмысленным. Глаза-угольки прямо сверлили. Обычно речь ее была сладкой, даже приторной, но когда доходило до святого, в голосе появлялся очень твердый металл.

-...Государство должно быть сильным, а правительство строгим, – провозглашала она.

- Что поделаешь, Л.К.? –продолжал мямлить я, - Зачем так осуждать... Кто без греха! Каждый ведь тянется к этим удовольствиям...

- Это псевдо, это ложное удовольствие, – голос Л.К. сделался совсем ледяным, - это грязь...

Вот как. Глядите-ка, смычка с Платоном. Хоть у поглощенной семьей и работой Л.К на чтение Платона, я уверен, никогда не было времени.

Платон в «Филебе» говорит так: *«... примесь страдания (к удовольствию - А.М.) лишь щекочет и причиняет тихий зуд, значительно же большая доля удовольствия возбуждает.... И, приводя человека в совершенное неистовство, исторгает у него безумные вопли. ... При этом он и сам говорит и другого убеждает, что, испытывая эти удовольствия, он как бы умирает. И их-то (удовольствий смешанных со страданиями – А.М.) он постоянно и всячески добивается тем настойчивее, чем более он разнуздан и безумен, называет их величайшими, а людей,*

*преимущественно проводящих жизнь в этих удовольствиях, причисляет к счастливейшим»*

А в книге архимандрита Рафаила (Карелина) «Гайны спасения: беседы о духовной жизни» мне тоже видится общность взгляда с Платоном, даром, что один из авторов язычник, а другой православный фундаменталист, и что между созданием этих текстов прошло больше двух тысяч лет. *«По своему действию наслаждение - это усыпление, погружение в подсознание, в процесс, не имеющий цели, то есть когда целью становится сам процесс или мутная радость нервов и крови, похожая на странное удовольствие, которое испытывает человек, расчесывая на своем теле лишай или рану».* - Так пишет архимандрит. Сколько, однако, презрения и у того, и у другого!

- В поликлинике, где я раньше работала, - продолжала Л.К., - нашему заведующему отделением однажды сообщили, что молодой врач и сестра заперлись в кабинете. Он открыл дверь своим ключом и застал их за этими гадкими занятиями. Обоих заставили уйти по собственному желанию. А я бы их по статье ... чтобы на всю жизнь запомнилось...

- Супружеская измена, - сказал мне В.В., восьмидесятилетний профессор, друг моего отца, зашедший в годовщину его смерти навестить нас с мамой, - это предательство. Когда моя первая жена мне изменила, я не мог оставаться с ней ни одного дня...

А второй своей жене он бесконечно предан. Когда она серьезно заболела, и заподозрили злокачественную опухоль, он заявил, что если она умрет, он проводит ее, отметит девятый и сороковой день, а сразу после этого тоже уйдет. Речь не шла о самоубийстве, просто он считал, что без нее не сможет, и все произойдет само собой. Слава Богу, опухоли не оказалось.

Отец подружился с этой семьей довольно поздно, ему и В.В. было за пятьдесят. А жена В.В., назову ее Т.М., лет на пятнадцать моложе своего мужа. Эта женщина с нежностью относится ко всякой живности. Моя мама однажды предложила ей снять паутину на кухне у них на даче.

- Что вы, что вы! Это же наш любимый паучок!

И к тому же она музыку хорошо знает.... И специалист, биолог - кандидат наук, и...много еще добродетелей.

Однако же, тогда в гостях у вашего приятеля, она сидела с вами за столом, но вы ее не заметили, а с таким интересом смотрели на брюнетку, которая вас потом пугала, что бросится с седьмого этажа...



когда-нибудь сотерн? Ну, сладкое французское вино, с фуа гра хорошо идет. Ах, пробовали... Ну, тогда, пожалуй, понимаете, о чем я... Деиндивидуализация, говорил тогда по телевизору Кон, отчуждение личности... Допустим, что и отчуждение, а сотерн все-таки хорошо...

### Что можно и чего нельзя?

*...Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей.*

Достоевский «Братья Карамазовы»

Если не ошибаюсь, а ошибиться здесь могу очень легко, в рукописи Кона, которую я тогда давно прочитал, автор объяснял разные значения слова «норма». Существует норма-норматив - регламент поведения, который задает нам общество, есть норма, как среднестатистическое состояние человека, норма в медицинском смысле - состояние организма, которое считается здоровьем, в противоположность болезни. Есть и норма поведения, которая под разными влияниями образуется в сознании субъекта, мои, так сказать, собственные границы дозволенного. Правда, в опубликованных работах Кона я этих дефиниций не нашел.



Человеческая потребность в сексе и религиозно-социальная норма ее удовлетворения плохо между собой согласуются, а то и прямо одна другой противоречат. Я где-то слышал выражение «социально – биологические ножницы»... Иначе говоря, часто человеку именно того хочется, что норма-регламент, то есть общество, запрещает.

В либеральном обществе либерально относятся и к сексу.

Голландия самая, говорят, либеральная страна - я лично в Амстердаме прогулялся разок по кварталу красных фонарей, где в витринах, свободно предлагая себя, стоят полунагие женщины... Знаю, о чем хотите спросить. Нет, их услугами я не воспользовался. Любовь не купишь, особенно на мою зарплату.

Мои коллеги преподавательницы склонны называть поведение, которое чем-то им не нравится, болезнью, хотя сами ни малейшего отношения к медицине не имеют.

Или вот, один рассказ Л.К., у которой, кстати, высшее медицинское образование.

- Сын моих знакомых страдал онанизмом. Мальчика лечили гипнозом.

- И помогло?

- Точно не знаю, это была какая-то злокачественная форма...

Когда в 1969 году мы с моей первой женой в Гаграх проводили медовый месяц, мой грузинский родственник, проявляя максимальную деликатность, объяснял мне, что я не должен допускать, чтобы моя жена ходила по улице в платье с открытым животом... «Андрюшка, дорогой – это нэхорошо, ми уважаемая сэм'я...»

Через год, оказавшись в Ярославле, мы с той же женой зашли посмотреть действующую церковь.

- Пришла в короткой юбке, - шипели старухи.

- Да она не на службу, ей посмотреть интересно...

- В храм из интересу.... Не веруешь, так и не ходи.... А пришла, так надень юбку приличную. Совсем стыда нет. Ни Креста, ни Господа – ничего не уважают...

*«Природа любви – эроса, – пишет Бердяев, - очень сложная и противоречивая и создает неисчислимые конфликты в человеческой жизни, порождает человеческие драмы. Я замечал в себе противоречие. Любовь – эрос притягивала меня, но еще более, еще сильнее отталкивала. Когда мне рассказывали о романах незнакомых мне людей, я всегда защищал их право на любовь, никогда не осуждал их, но часто испытывал инстинктивное отталкивание и предпочитал ничего не знать об этом».*

Конфликт между желаемым и дозволенным существует не только ведь на уровне личность – общество, но присутствует и внутри, внутри тоже отдельного человеческого сознания.

*«Ограничения, налагаемые на либидо, кажутся тем более рациональными, чем более универсальными они становятся и чем в большей степени они пронизывают целое общества. Они воздействуют на индивида и как внешние объективные законы, и как интернализированная сила: власть общества проникает в "сознание" и бессознательное индивида и оказывает влияние на его желания, моральные мотивы и поступки»* Герберт Маркузе *"Эрос и цивилизация"*».

Мой приятель Дмитрий бросил взгляд на проходящее мимо нас по коридору библиотеки существо.

- Как это у нее получается - отдельно двигать жопой, отдельно животом – отреагировал он прямо-таки с отвращением, хотя, уверяю вас, ничего отвратительного в этом создании не было. Словно Филиппо Томмазо **Маринетти**, он выражал презрение к женщине и к эротике.

Тем не менее, когда общество, собравшееся, чтобы провести вечер, украшали дамы, Дмитрий вливал в себя несколько стаканов чего покрепче и начинал рассказывать какой-нибудь из дам свою жизнь, читать стихи, при этом касался ее руки, плеч и так далее... А далее чаще всего так: дама предлагала ему дружбу. Мой разочарованный приятель напивался окончательно, его охватывала охота к перемене мест, «пойду я отсюда» - заявлял он, и шел, куда глядели его глаза. Попадал он несколько раз в милицию, откуда его приходилось вырывать.

Вот вам случай – 22 апреля был суббота, ленинский, коммунистический, как всегда во времена, уже порядком от нас отделившиеся. Кто постарше помнит – на субботниках немного работали под красными флагами, музыка играла, а потом пили водку, иногда прямо на месте свершения трудового подвига, а иногда шли куда-нибудь...

И в тот раз, мы с Дмитрием, взявши две поллитры, отправились к нашему коллеге Юрику, человеку, окончившему театроведческий факультет театрального института, но настоящей работы не имевшему и таскавшему книги в той же самой библиотеке...

Жил Юрик в коммунальной квартире, жена его в тот день что-то отсутствовала, и в комнате собралось порядочное общество – мы с Дмитрием, один археолог, назовем его Севой – этаким видный малый, и еще человек два, не помню, кто такие.

- Масевич статью про секс написал, - сообщил Дмитрий, - бабки в библиотеке никак успокоиться не могут...

- В библиотеке и про секс? – удивился археолог Сева

- Ну да, - пояснил я, - как систематизировать книжки по сексологии...

Хозяин комнаты вспомнил, кстати о сексе, что соседка у него по квартире молодая и ничего себе, и к ней приехала в гости подруга, такая что...

- Сева, ты ее должен трахнуть, она точно для тебя ...

Разговор дальше шел под тот особенный хохот, по которому вы всегда безошибочно определите, что мужчины затронули вечные и заветные темы. Открылось, что Сева,



выражаясь старомодно, - гроза женских сердец. Он этого и не отрицал, а напротив гордо заявил, что, да, ему бабы никогда не отказывают, даже не требуется их клеить, сами клеятся, только успевай раздевать, а трахает он все, что только ходит, летает и ползает...

- А помнишь ту у Марика? – спросил один из присутствовавших.

- Ага, сама затасила меня в ванную и задрала платье. Стоя, конечно, неудобно.... Но, если женщина просит...

За увлекательной беседой не заметили, как кончилась водка, кинули на «морского», идти выпало мне. Купив добавку, я вернулся и позвонил в квартиру. Мне открыла действительно чудная девица в легком белом пальтишке, она собиралась выходить и держала на поводке белую тоже лохматую собачку.

В комнате Юрика тем временем уже устроили танцы. Мой суровый друг Дмитрий старательно танцевал с одной симпатичной, которую я, располагая предварительной информацией, идентифицировал как соседку по квартире...

- А Танечка пошла вывести собаку, вернется через десять минут.

Видите ли, на таком интересном месте мне надо было уходить. В больнице умирала моя старая бабушка, ходить к ней нужно было каждый день.

Люди, которые испытывают тоску по советским временам, говорят, что в числе прочего тогда была медицинская помощь. Рассказываю специально для них – бабушка лежала в палате, где кроме нее было еще семь женщин, все в очень тяжелом состоянии. В палате пахло мочой, больные стонали.... Думаете, это была заурядная больничка? Отнюдь! Это была неврологическая клиника медицинского института.

Бабушке требовалось подавать судно, а санитарок не было. Иногда она не выдерживала – мочилась в постель. В этих случаях надо было перестилать. Приходить надо было не реже двух раз в день. Мы делили это бремя с моей матерью.

Так что мне, уже довольно отяжелевшему от выпитой водки, пришлось ехать на другой конец города к бабушке. Было жаль, но я утешал себя, все равно женщин всего две, а мужиков считать если со мной, то шесть, а конкуренции с Юриком и особенно с Севой мне явно не выдержать...

В понедельник Дмитрий мрачно поделился: Юрик выставил его на улицу, сказав «мы сейчас трахаться будем, вали отсюда». Было холодно и поздно, Дмитрий едва успел на транспорт.

Версия Юрика была иной:

- Димка напился, стал клеить Ольгу, которая моя соседка... Ей не понравилось. А он поля не видит, лезет, лапает. Я ему говорю, посиди во дворе на скамеечке, проветришь, потом вернешься...

В обеденный перерыв мы втроем отправились пить кофе, и Юрик изложил подробности минувшей ночи.

- Сам не помню, как мы с Танечкой оказались в Ольгиной комнате. Трахнул я Танечку с кайфом.... Кончил разок, как вдруг заходит Сева. Она как была, голая, встает, подходит к нему и принимается его раздевать.... Молча, без улыбочек, без смешков, такая серьезная, мне еще в голову пришло, что с таким лицом готовятся к самоубийству. Затем ведет его за руку к дивану, кладет на спину, садится сверху и медленно двигается верх - вниз.



И это кадр из фильма Тинто Брасса

Глаза зажмурила, губку закусила, не стонет, не кричит. А грудки у нее, гляжу, кругленькие, крепкие, прямо прЭлесь... (Юрик, забыл сказать, одессит. А как он зрелищно излагает! Театровед, все-таки...). Я подошел, сжал их руками.... А она, как завизжит! Что ты думаешь, я - блядь, групповухой заниматься буду?..

- Так ведь, - буркнул Дмитрий, - она же тебе только что перед этим дала?

- Я и думал, она без комплексов.... Но слышал бы, как визжала! На всех, небось, этажах было слышно. Севка ругался, говорит, надо ж тебе было ее хватать, я из-за тебя, гада, так и не кончил.

Я и прежде замечал, что иной раз женщина, допуская очень много, так много, что дух перехватывает, вдруг болезненно реагирует на действие, которое после того, что уже было позволено, кажется сушим пустяком.

Как-то давно я смотрел передачу о писателе Юрии Власове – помните, чемпион мира был по штанге в шестидесятые, а когда из спорта ушел, стал писать, одно время был известным, сейчас что-то о нем молчат. Один журналист рассказал такое: «Наш известный социальный психолог Игорь Семенович Кон говорил мне: «я недавно прочитал рассказ писателя Власова. Он точно описывает юношескую психологию, когда в сознании сцеплены сильная сексуальная мотивация и жестко-запретные моральные установки».

Это сцепление, по-видимому, отличает не только зреющую молодую психику.

Была такая Ц., та самая Ц., мой внимательный читатель, которая на овощной базе пошла навстречу желанию одного моего коллеги, ну, вспомнили? Миловидная женщина, хоть и не так молода, в ту пору лет тридцать девять. На работе была молчалива, старательна...

Однажды отмечали чей-то день рождения, и мы с ней рядом оказались за столом. Она вдруг просит меня:

- Рассказали бы что-нибудь из сексологии, вы, наверно, много знаете...

При этих словах из ее глаз прыгнул чертенок, и я, как человек сексуально просвещенный, кое-что предположил, и, чтобы свое предположение проверить, дотронулся как бы нечаянно коленом до ее колена. Предположение слишком подтвердилось, она стала тереть ногой об мою, и при этом, как ни в чем не бывало, участвовала в застольной беседе. А когда она на меня взглянула искоса, то такие чертенята, уже штук двадцать, не меньше, бегали по ее лицу, что я ей шепнул, не выпить ли нам потом еще в баре...

Мы добавили в баре всего-то грамм по пятьдесят, и Ц. прямо предложила поехать к ней... Она была разведена, жила с матерью и сыном, в тот момент они, кстати, уехали отдыхать.

- Я без этого не могу, - виновато сказала она, расстилая на диване простынку.

Нам с ней удалось, говоря по-научному, пролонгировать фазу перцепции на несколько лет. Мы относились друг к другу без всякой страсти, не было у нас описанных итальянским математиком осцилляций, – ни экстаза надежды, ни депрессии

разочарования, просто, когда появлялась возможность, мы ... Сами понимаете.

- Хочешь, буду только твоей?

- Что ты, зачем, мы же с тобой бескорыстно любим секс...

- Я - не люблю. Просто не могу без него. Я как пьяница – он водку ненавидит, а не может не пить.

- Не думай об этом, вот и все. Захотела – сделала...

- Так у меня и бывает, но это нехорошо...

- Что же нехорошего, разве ты приносишь кому-нибудь вред? Обижаешь кого-нибудь?

- Это нехорошо, должен быть один мужчина на всю жизнь.

- Почему?

- Должен быть один на всю жизнь.

- Повторение тезиса не есть аргументация.

- Подожди, порвешь, давай сама сниму...

Она совсем не любила читать и не скрывала этого. Любила популярную эстраду – Пугачеву там, Киркорова... Никогда, в отличие от других библиотечных дам, не рассказывала о своих домашних делах и на выборах всегда голосовала за национал-патриотов и коммунистов.

Я знал, она постоянно встречается еще с одним мужчиной, тот относится к ней, как к жене, нежен, делает подарки...

- Ему почти пятьдесят, женат не был, живет с матерью...

Она часто уезжает к родственникам, и тогда он приглашает меня к себе.

- Вот пусть он и будет твоим единственным мужчиной.

- Не получается...

- Почему?

- Не получается...

Я долго ее не видал, и недавно встретил, – совершенно увяла, еще бы – ей вот-вот семьдесят.

Признаться, не люблю встречать людей, которых давно не видел – в их старении чувствую противное действие времени... Это действие касается не столько бывших любовниц, сколько самого меня, к сожалению...

## Часть VI Танатос

Начну эту главу с самого первого своего рассказа, с него и началась моя графомания. Вот, это написано в декабре 2001 года.

*Случилось...*

*Утром пятого декабря 2001 года судебно-медицинский эксперт Нозиков приехал на место происшествия. В номере Петербургской гостиницы "Россия", в ванной найдены тела*

женщины и мужчины. Вода в ванной была красноватой от крови, что вытекла из вскрытых вен. Прижавшись к своему возлюбленному, женщина охватила его руками и ногами, положила голову на его плечо, а на лице мужчины была такая страшная улыбка счастья, что видевишему в течение двадцати лет трупы почти ежедневно Нозикову стало не по себе. “Да, лицо, - никогда такого не видал, – забормотал рядом некий милицейский работник – а так понятно все, есть записка, твои данные быстро...” и еще, обычное и раздражающее ... Выполняя процедуру осмотра, Нозиков чувствовал себя что-то непрофессионально. В первый раз за всю практику его беспокоило, что судебно-медицинские термины, которые он привычно вгонял в свой ноутбук, не описывали того, что случилось, а просто составляли пустой ритуальный текст.

Когда, разделив друг от друга, их положили на носилки, Нозикову стало понятно, что женщина удивительно красива, и что ее лицо имело неприличное мертвым выражение любовного счастья.

Невзрачная горничная гостиницы и полная дежурная по этажу уже отошедши от страха и смущения вполне внятно отвечали на милицейские вопросы.

Нозиков еще раз взглянул в предсмертную записку. Часть ее, которая адресовалась милиции, сообщала о свободно принятом решении и отсутствии виновных, другая часть, предназначенная, по-видимому, близким, говорила о том, что женщина и мужчина, решившие вот так красиво уйти из жизни, счастливы и советуют не жалеть о них тем, у кого такое сожаление может появиться.

Гостиничный администратор Паражуров раздраженно распорядился вынести тела через служебную лестницу в хозяйственный двор, где уже ждал транспорт из морга. Кто будет оплачивать все эти расходы? Потребуется, возможно, даже косметический ремонт номера. ... Взгляд Паражура подал на незамеченные прежде на темном ковре женские трусики, похожие на траурную вуалетку. “Это вам нужно? – спросил администратор одного из милиционеров – вещественное доказательство или как там...”, “Не заметили, ага ...”, и предмет последовал в большой пластиковый мешок, в нумерованном списке содержимого этого мешка появилась еще позиция, а Паражуров услышал вежливое “Спасибо”.

Тела вынесли. Милицейские и прочие люди один за другим оставили номер. Хорошо знавший смерть Нозиков думал о лицах

*мужчины и женщины. Ее и его. Здесь он уже сделал почти все, что надо, остальное закончат в морге Боткинской больницы.*

*...одно*

*В маленьком кафе-баре Нозикову налили сто, нет, кажется, сто пятьдесят граммов "Охты". За соседним столиком сидела пара. "Это случилось, - произнесла женщина, - ты придумал это, хотел этого, да и я тоже...", "Чуть больше дня назад, - ответил мужчина, - в такое же время, через несколько минут мы бы должны были расстаться". "Ты и сейчас чувствуешь, что нет никого красивее меня?... Я уже не изменюсь никогда" - "Я больше не боюсь потерять тебя" - "Но что дальше?" - "Допьем коньяк и пойдем" - "И куда же? Мы по-прежнему бездомны" - "Сейчас увидишь, что это не так". Они встали. Нозиков поднял на них глаза. Женщина красива чудной, дразнящей красотой. Она покачала головой и засмеялась, зажмурившись. Станный бородатый мужчина нежно взял ее под руку.*

*Нозикова совсем не поразило это сходство, которое должно бы заставить заорать от ужаса любого. Он думал, что знает, куда уходят эти женщина и мужчина, но ошибался.*

*...или другое*



У.Лопаткина и И. Козлов танцуют "Три гносианы" на музыку Э. Сати

*В маленьком кафе-баре Нозикову налили сто, нет, кажется, сто пятьдесят граммов "Охты". За соседним столиком сидела пара. "Это случилось, - произнесла женщина, - ты придумал это, ты хотел этого, а я? Зачем это мне? ...", "Чуть больше дня назад, - ответил мужчина, - в такое же время, через несколько минут мы бы должны были расстаться". - "Ну и что?..." - "Я больше не боюсь потерять тебя" - "Ты уже потерял меня. Я вынуждена быть с тобой рядом, но не хочу, не*

*буду думать о тебе. Но теперь, теперь - что дальше?" - "Допьем коньяк и пойдем" - "Ты и сейчас хочешь этого коньяку? А куда мы пойдем? Мы ведь по-прежнему бездомны" - "Просто в ночь". Они встали. Нозиков поднял на них глаза. Женщина очень красива, но такая грусть, просто даже отчаяние, ей не к лицу. Странный бородатый мужчина осторожно взял ее под руку.*

*Нозикова совсем не поразило сходство, которое должно бы заставить заорать от ужаса любого. Он ясно понял, что женщина и мужчина ушли, чтобы вечно бродить по Петербургским ночам. Так много веков тому назад начал свои странствия по Океану Летучий Голландец, приносящий несчастья всем, кто его встретит.*

*"Еще сто "Охты" - сказал Нозиков бармену.*



Смерть влюбленных вдвоем может иметь разные мотивы: например, несовместимый с жизнью конфликт со средой окружения. Такое многократно изображалось и описывалось. Но есть и еще мотив, мало описанный и научно, и художественно. Смерть вдвоем – как высочайшая и не всем доступная вершина любовного наслаждения. Что-то в этом роде имеется в фильме Педро Альмадавара “Матадор”, да пожалуй, еще в музыке Liebestod из “Тристана и Изольды”.

*«Эта тема связи любви и смерти, – пишет Бердяев, - всегда мучила тех, которые всматривались в глубину жизни. На вершинах экстаза любви есть соприкосновение с экстазом смерти».*

А японское синдзю? Ведь в стране Восходящего Солнца самоубийства вдвоем имеют особое значение. У Тикамацу синдзю есть почти в каждой пьесе. И до недавнего времени распространено это было настолько, что, кажется, в 2010 году был издан парламентский акт о запрете синдзю...



Кадр из фильма Педро Альмадавара "Матадор"

Природу явления можно представить себе так: любовное наслаждение есть (простите мне фрейдизм) биологически установленный предел устремлений личности. При достижении его на некоторое время исчезает жизненная мотивация. Смерть же ставит предел жизни вообще. Предельность и есть точка пересечения этих явлений – с этой магической точки смерть вдвоем и мерещится высшим наслаждением...

*«Это парадокс человеческого существования: любовь есть стремление к полноте, - декламирует Бердяев, - и в ней есть смертное жало, любовь есть борьба за бессмертие, и эрос смертоносен».*





# Виктор Гопман

## Перерыв на обед

*А не пообедать ли нам, мон шер?*

Из светского романа



Обед – это, как известно, основной прием пищи, основная трапеза дня. Или основная "выть" – старое русское слово, обозначающее пору еды. Каждая выть, каждая столовая пора, издавна носила свое название, о чем пишет и Вильям Васильевич Похлебкин в своем классическом "Кулинарном словаре": "перехватка (7 часов утра), полдник (11 часов утра), обед (3 часа дня), паобед (17-18 часов), ужин (20-21 час) и паужин (23 часа)". Впрочем, что касается конкретного времени трапезы, то здесь всегда существовала разноголосица. Как отмечал Владимир Иванович Даль, "в малых городах обедают в полдень, в больших – в два, в три, а в столицах – в пять, шесть и позже". Однако, несмотря на некоторые расхождения во времени, мероприятие это было несомненно универсальным, на что указывает и приводимая Далем русская присказка: "Боже мой, Боже, всякий день то же: полдень приходит – обедать пора!"

Этимологические словари русского слова связывают "обед" со словом "еда". Английское "dinner" происходит от глагола "to dine" ("обедать"), восходящего к старофранцузскому "diner", что, в свою очередь, происходит от латинского "disjejunus" ("прекращение, или прерывание поста"). То есть, имеется в виду, что человек попостится себе после сытного завтрака, а потом снова за стол. Любопытно, что слово "завтрак" ("breakfast") означает то же самое: "break" – "прерывать", "fast" – "пост". Продолжительность такого ночного поста составляет зачастую до восьми часов, хотя в сонном состоянии мы переносим его без особого труда. Не все, впрочем: вот, например, Афанасий Иванович Товстогуб (гоголевский "старосветский помещик") – он и среди ночи вставал, чтобы съесть чего-нибудь, дабы побороть тоскливое ощущение в желудке.

Припомним еще одну навязшую в зубах максиму – насчет того, чтобы завтрак съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Ну, что касается ужина, то и в самом деле: по достижении известного возраста многие (я в том числе) стараются ничего не есть после шести вечера. Говорят, что это полезно для

здоровья. Хочется верить. Завтракали мы всю жизнь в узком семейном кругу, а вот обедали – и в самом деле, обычно с друзьями. Ведь на работе всегда собиралась компания – даже если всего лишь спускались на пару этажей, в учрежденческую столовую. И уж тем более, если выходили за пределы здания, где горизонты, впрочем, были не столь уж широки: пельменная, чебуречная или молочное кафе, где, на ужас кашшруту, вниманию посетителей предлагались "сосиски молочные", а на закуску или на десерт, это уж кому как нравится – творог со сметаной.

Надо ли особо говорить, что меню всех этих обедов по месту работы было мало вдохновляющим, а их качество соответствовало уровню вдохновения. Бывали, впрочем, и исключения. Например, в столовой министерства сельского хозяйства. Для себя эти люди создали вполне идеальные условия питания, по которым, к сожалению, вряд ли можно было судить об общем состоянии отрасли. Посторонний мог проникнуть в этот храм гастрономии весьма хитрым образом – а именно, через научную библиотеку, располагавшуюся в здании министерства. Надо было всего-навсего взять на работе письмо, за подписью зам директора, относительно того, что подателю сего, старшему научному сотруднику, необходим доступ к фондам сельхозбиблиотеки, для сбора информации в рамках плановых научных работ. Письмо это оставалось в библиотеке, а ты, предъявив заодно свой диплом, получал взамен читательский билет, дававший право на вход в министерское здание, пусть и с бокового, библиотечного входа. А далее – коридорами, коридорами, и к заветной двери, ведущей в пункт питания. Не пункт, впрочем, а как минимум капище. Но скорее – храм, Деметры или Цереры, то есть богинь земледелия и плодородия (соответственно, у греков и римлян). Достаточно сказать, что всю зиму там не переводились салаты из свежих овощей – кончались огурцы, так народ переходил на зеленый лук: возьмешь салатник резаного лучку, к нему полстакана сметаны, вывалишь лук в сметану, круто посолишь, и с черным хлебом – объединение. И все прочее – соответственно. А по средам у них было коронное блюдо: куриные котлеты размером и формой похожие на "киевские", только начинка из печеночного паштета. Там даже стандартные марципаны были не вполне стандартными: и в начинке явственно чувствовались орехи, да и сами они были раза в полтора крупнее тех, что предлагали вниманию своих клиентов разные другие общепитовские точки. Марципаны мы брали навывнос, и уже по возвращении на трудовой пост заваривали настоящий – в смысле, не столовский – чай, полируя, таким образом, трапезу.

Кстати, неплохая столовая была в здании Радиокomiteта, что на Пятницкой, 25. Помимо всего прочего, администрация умело учитывала конъюнктуру, и в гонорарные дни выставлялись блюда повкуснее (ну, и подороже), включая традиционные киевские котлеты, а на десерт предлагался чернослив со взбитыми сливками, в такой металлической креманке, и сверху все посыпано толчеными орехами. В связи с радио вспоминается командировка в Питер, куда мы приехали делать передачу ко Дню Военно-Морского Флота, и записывалась она, естественно, на крейсере "Аврора". Нет, с плодами трудов кока "Авроры" познакомиться нам не довелось; обедали мы вовсе в другом месте – а именно, в кафе "Север", неподалеку от здания Ленрадио. Куриные котлетки с золотистой жареной картошечкой и всяческие овощные салаты, а на десерт – мороженое, эдакая конусообразная башня, обложенная, для красоты и удовольствия, кружками бисквитного печенья размером с пятак...

Вот тут-то дадим слово питерскому писателю Валерию Попову: "Самое легендарное место, которое я в своей жизни видел – это кафе "Север". Там было видно, с кого делать жизнь. Туда приходили такие красавцы, такие красавицы. Откуда?.. Аристократического вида, абсолютно замечательно одетые. В 50 каком-нибудь 8 году. Я до сих пор помню: такие зеркала, такие пирожные, такие вина, такие профитроли! Взбитые сливки!!! Кафе "Север" 50-х годов – это сгусток гигантов. Реальная Вена показалась гораздо проще. Там уже сидят в пальто в каких-нибудь кафе, непонятный сброд...

Казалось, что жизнь прекрасна. Заряд, полученный в этом кусте учреждений питания, был очень сильным..."

Хотелось бы целиком и полностью присоединиться к автору. По всем позициям – и насчет питерского "Севера", и насчет соответствующих заведений Вены. Надо заметить, что это кафе – под тогдашним названием "Норд" – проскальзывало в рассказах матери, которая училась в Питере. Незабываемые студенческие годы, и все такое. Тоже воспоминания о каком-то совершенно особенном мороженом, да и общее ощущение праздника. Это, значит, середина тридцатых, Попов говорит о пятидесятых, мои впечатления датируются серединой шестидесятых: как минимум, три точки – через них не только что прямую можно провести, но и плоскость построить (насколько я помню школьные уроки геометрии).

А вот что касается "реальной Вены"... Ведь и в самом деле, она "показалась гораздо проще" – я не сам город имею в виду, а городские кафе. Может, мы слишком многого от них

ждали, и столкновение с реальностью, как часто бывает, оказалось отрезвляющим и разочаровывающим. Я не стал бы говорить, подобно Попову, о каком-то "непонятном сброде", сидящим за столиками, но вот насчет того, что на столиках... Одно из самых ошеломляющих разочарований в моей жизни – это торт "Захер", поданный в кафе "Захер", расположенном в здании отеля "Захер", что наискосок от Венской Оперы. То есть, казалось бы, в самом правильном месте, где только и следует есть этот легендарный торт. Ну, съесть-то я его, конечно, съел – да вот честно скажу: безо всякого вдохновения. И по мере его поглощения в голове все настойчивее укоренялась жуткая мысль, которой я все же рискну поделиться с читателем: формально сходный с "Захером", и по внешнему виду, и по рецептуре, торт "Прага", испеченный в кондитерской московского ресторана "Прага" (так называемая "пражская Прага") был вкуснее. Может быть, я напрасно не последовал рекомендации путеводителя по Вене, утверждавшего, что "настоящие любители сладкого предпочитают есть "Захер" без взбитых сливок". А я лопал эти сливки, горой громоздившиеся на тарелочке рядом с ломтиком торта, и запивал все это кофе по-венски... Вообще-то очень не хотелось бы уподобляться булгаковскому Аристарху Платоновичу и заявлять, что "Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает"... но что поделаешь – истина дороже.

Вернемся, однако, в советскую действительность. Надо сказать, что, несмотря на складывающееся при чтении моих заметок впечатление, отнюдь не всегда я разъезжал по стране в теплой компании иностранных туристов, разделяя, соответственно, с ними обеды, равно как завтраки и ужины. Бывали у меня и обыкновенные командировки, когда я жил не в интуристовских гостиницах, да и все прочее было как у всего народа. И вот, помнится, в рамках такого общения с народом я оказался даже не в самом Ташкенте, а где-то в пригороде, на одном из заводов. Неважно, какой черт меня туда занес – важно (для рассказа) то, что пока я переделал все свои дела, время обеденного перерыва настало и прошло. И когда меня привели в заводскую столовую, то выяснилось, что есть практически нечего. Оставался только плов, на доньшке казана, уже без мяса. Луноликая подавальщица выскребла нам с сопровождавшим меня представителем администрации по полной миске. Почистила маргеланскую зеленую редьку, порезала ее толстыми ломтями, полила густым кислым молоком (именуемым, если я не ошибаюсь, катык). Дала по лепешке. И зеленый чай – "нет, чай несколько не стоит, это чтобы вам не обидно было, что плов без мяса..." Сели мы за

стол и приступили к еде. А вот здесь-то и следует сказать похвальное слово узбекскому плову – точнее, узбекским пилавчи, то есть, мастерам, создающим плов. Глагол выбран правильно, и я настаиваю на таком выборе. Варить – это говорят про кашу: тоже, впрочем, искусство, хотя иного рода. Что же касается мастеров по созданию плова, то они издавна были объединены в особый цех, и брали в этот цех не всякого. Причем только мальчишек, и в довольно нежном возрасте. Первое время они были исключительно на посылах, потом их сажали на резку моркови. Морковь для настоящего плова режется особым ножом и особым образом – в кулинарных книгах говорят "соломкой" (оно бы правильнее сказать "параллелепипедом", да кто ж это выговорит). Этому искусству новичков учили никак не меньше года, и лишь после этого допускали к постижению прочих профессиональных секретов, что, в свою очередь, занимало немало лет. Отбор, как видим, строгий, но это, несомненно, способствовало формированию традиций, которые передавались из поколения в поколение. Вот потому в Узбекистане плов можно было есть где угодно – и в предприятных общепитах, от шикарного ресторана до скромной забегаловки, и просто на рынке, из огромного казана, и в гостях... Не буду утверждать, что он бывал одинаково хорош повсюду – но вот плохим он не мог быть по определению.

Совсем неплох он оказался и в этой заводской столовой, но настоящее удовольствие нам доставили гостеприимные ташкентские хозяева в ближайшее воскресенье, пригласив в гости. Где они всю развернулись, устроив такой обед... Такой стол вообще и такой плов в частности я видывал, пробовал, обонял лишь считанные разы, когда в теплой компании с ооновским начальством и первыми лицами узбекских профсоюзов выезжал, также в выходной день, расслабиться и отвлечься от теоретических проблем, связанных с борьбой профсоюзов за права трудящихся, каковые рассматривались на проводимых в Ташкенте семинарах ООН. Надобно заметить, пусть и в скобках, что на таких выездных обедах узбекское начальство безудержно нарушало законы шариата, связанные с употреблением алкогольных напитков; там же я впервые услышал и пресловутую фразу насчет того, что "запрещено вино – так мы его и не будем пить". Действительно, в центре стола, где сидели начальники и я (то есть, переводчик), красовались исключительно прозрачные водочные и золотисто-коричневые коньячные бутылки; впрочем, на женском конце выставлялось, как информировали меня коллежанки-переводчицы, и попадающее под формальный запрет

местного производства сухое вино, вполне, кстати, невредное во вкусовом смысле.

Но спустимся с кулинарных высот в обычную, рядовую столовку. И процитируем одного из моих самых любимых поэтов, Александра Межирова:

Нес гороховый суп на подрагивающем подносе,  
Ложку, вилку и нож в жирных каплях  
и на мокрой тарелочке – хлеб.

Человек, далекой от той эпохи (а точнее, от общепитовской системы той эпохи), может спросить: почему столовые приборы "в жирных каплях"? Да потому, что никто никогда не вытирал посуду после мытья (что подтверждает, кстати, следующая строчка: "и на мокрой тарелочке – хлеб"). Мыть еще худо-бедно мыли, но уж вытирать... Теоретически посуда должна была высохнуть, но на практике ее так и выставляли клиентам. А уж дальше – сами, сами... Хорошо, если общепитовская точка (столовая, кафе, чебуречная, пельменная и проч.) предоставляла для этой цели салфетки. Но опытный советский человек всегда имел при себе листок-другой бумаги – на всякий случай. А уж вытирать столовые приборы – это делалось автоматически. Человек приносил свой поднос с едой к столику, садился, и тут же начинал тщательно протирать ложку и вилку.

А нож, спросите вы? Насчет ножа разговор особый. О каком времени говорит Александр Петрович? Давайте посчитаем: он родился в 1923 г., а стихотворение написано в 1967 г., на что указывает вторая его строчка, "когда мне исполнилось сорок четыре". Тогда еще ножи водились в общепите, не спорю. Но уже к концу эпохи застоя, не говоря о перестройке с гласностью, в тех местах, где реально питалось общество (откуда словечко-то, "общепит"?) пища была в основном такая, что ножа в принципе не требовалось. Все эти, условно говоря, мясные блюда: гуляш, азу, бефстроганов, котлеты, зразы, тефтели, о рыбе и не говоря (а помните ли вы, что четверг был по всей общесоюзной сети общепита "рыбным днем" – то есть, мяса в принципе не полагалось, нигде и никому!). С виду вышеназванное меню вполне разнообразно, ну, а в органолептику вдаваться не будем – может быть, кто-то читает этот текст за едой, так зачем же портить человеку аппетит печальными воспоминаниями. При всем разнообразии у этого списка блюд есть нечто общее – для их потребления нож в принципе не нужен. Строго говоря, и вилка не очень-то нужна, можно обойтись одной ложкой – хотя это, может, уже и крайности.

В этой связи любопытно вспомнить ситуацию, существовавшую в столовой ЦСУ (расположенной, невредно напомнить в скобках, в здании историческом – как известно, это было единственное в СССР архитектурное сооружение, возведенное по проекту не кого-нибудь, а самого Шарля Эдуарда Ле Корбюзье и именуемое в энциклопедиях "Дом Центросоюза в Москве, 1928-35"). Сотрудники НИИ ЦСУ начинали трудовой день в десять часов (в отличие от чиновного аппарата, работавшего стандартно с девяти). Соответственно, и обедали мы на час позднее. К массовой трапезе готовились преимущественно блюда из мясного фарша, ценой подешевле, а к нашему обеду существовал порядок жарить антрекоты, которые были более доступны научным сотрудникам с кандидатской степенью и соответствующей зарплатой. И вот тем, кто брал дорогое блюдо из натурального мяса, столовая кассирша лично выдавала нож – вместе со сдачей. Впрочем, кое-кто из коллег приходил трапезовать со своим перочинным ножом – простеньким, в одно-два лезвия, но как следует наточенным.

Уместно заметить, что в столовой ЦСУ имелось свое коронное кондитерское изделие – медовая коврижка, с кисленькой прослойкой. Это был, в строгом соответствии с "Кулинарным словарем" В.В.Похлебкина, "крупный, даже скорее гигантский "пряник", то есть изделие из пряничного теста размером до 1,5 м в длину и до 1 м в ширину, при высоте до 10 см, состоявшее из двух наложенных друг на друга половинок с промазкой между ними повидлом или вареньем"; коврижки выносили из кухни теплыми, на противне соответствующих размеров, и уже на месте буфетчица Соня резала их на индивидуальные, прямоугольные куски величиной со стандартное пирожное.

Вернемся, однако, к теме казенных столовых приборов. Как уже было отмечено, все они без исключения нуждались в дополнительной протирке, что и осуществлялось потребителем непосредственно перед тем, как он приступал к процессу потребления. И делалось это на автомате, на подкорковом уровне. В этой связи – прелестная история, рассказанная мне сотрудником протокола Интеркосмоса. Прибыла советская космическая делегация во Францию, на переговоры по своим заоблачным делам. И в ее составе был молодой доктор технических наук, зав отделом некоего почтового ящика, вполне интеллигентный мужик, говоривший к тому же (на всеобщее несчастье) по-французски. И вот после очередных переговоров в аналогичном ящике, только под Парижем, французская сторона приглашает советских камарадов отведать хлеба-соли, включая гусиную печенку,

луковый суп, пулярку и прочие невинные радости. Идут участники советской и французской рабочих групп общей толпой в местную... нет, в местный кафетерий, все-таки. А наш дтн такой из себя довольный, болтает с коллегами всю по-французски, и разговор ладится, и все друг дружку понимают. Расселись за накрытые столы, официанты разносят первую перемену блюд. И вот наш доктор, продолжая живо обсуждать актуальные вопросы космоплавания, машинально – как привык за годы питания в студенческих столовых, в городских столовых, в столовых почтовых ящиков и прочих НИИ, в министерских столовых, в столовой на Байконуре – начинает протирать нож и вилку салфеткой. Старший официант бледнеет, дает знак подчиненным, и те мгновенно заменяют столовые приборы всем сидящим за этим столом. А наш дтн, не обратив внимания на официантскую суету, столь же машинально начинает протирать вновь поданные ему нож с вилкой. Тут в действие включается французский протокольщик, извиняется персонально перед дтн (благо, тот понимает по-французски), волком смотрит на старшего официанта, тот еще более озверело оглядывает свою команду, те кидаются заменять приборы во второй раз... "Только тогда, – рассказывает мне наш протокольщик, – я врубаюсь в ситуацию, коршуном набрасываюсь на этого чистюлю и вправляю ему мозги. Потом уже, вечером, начались было разборки, но их прекратил полковник – космический, разумеется, не от нашего ведомства. Который резонно сказал, что мужик-то ничего такого не сделал. Ну, возбудился малость от своих познаний во французском – и все дела. А что столовое серебро протирал – так это автоматическая реакция нормального советского человека, не привыкшего к изящной жизни за обеденным столом".





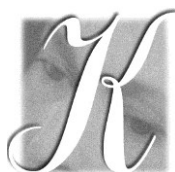
# Дмитрий Бобышев

## Я в нетях

### Человекотекст, книга 3

(продолжение. Начало в №12/2013 и сл.)

#### Парижские открытки



огда мы прилетели в аэропорт Де Голль, совсем недавно ставший ещё одним событием мировой архитектуры, Славинский заметил:

– Добро пожаловать в социалистическую Францию!

Действительно, эскалаторы, столь смело пущенные через всё пространство огромного зала прибытия, не работали, и нам пришлось воздыматься по ним пешком. Это было 15 мая 1981 года, социалист Франсуа Миттеран только что стал президентом, и вот уже машинерия забарахлила первой!

Добраться до Горбаневской было по–парижски «просто», с одной лишь пересадкой, которую помог мне осуществить Славинский, умчавший дальше в сторону своего ночлега. А я вышел у Сен–Мишеля, прошёл вдоль решётки Люксембургского сада и свернул налево, на рю Гей–Люссак, напомнившую пропорциями ленинградскую улицу в районе Коломны. Отличием было лишь нежное серо–фиалковое освещение. Это был час, когда живописные и вонючие клошары обустривали на ночлег самые неожиданные «тёплые местечки». До Натальино дома я добрёл уже в густых сумерках и, войдя в парадную, оказался в полном мраке. Плечо (на американский лад) отягощалось чехлом для одежды, в руках была дорожная сума, так что я чувствовал себя неуклюжим на узкой лестнице. Пришлось снять поклажу, чтобы нашарить выключатель. Где–то на уровне второго этажа свет погас опять, и я наощупь продолжал восхождение, пока наверху не щёлкнул замок, и Наталья сама пришла на выручку.

Мы не виделись с её отъезда. Она сменила причёску, посвежела, выглядела настоящей парижанкой. В её большой, но запущенной и заваленной книгами квартире, которую ей «дали»

городские власти, она жила с двумя сыновьями. Младший Ося ещё был школьником и отсутствовал в какой-то каникулярной поездке, а уже возмужавший Ясик, очень похожий на польского киноактёра Даниэля Ольбрыхского, мечтал стать художником, так что Наталье приходилось вкалывать за троих. Она и признавала себя воркоголиком, – помимо стихов и двух редакторств брала ещё какие-то переводы, а на шляния по Парижу её оправданно не хватало.

Общались мы главным образом по утрам. Ходили с умнейшей собачкой Тяпой в кафе. Наталья гоняла со звонами шарик в развлекательном бильярде. Однажды отправились на ближайший рынок. Я, кажется, не такой уж обжора, но зрелищно очень люблю всякие снеди. Этот местный рынок показался мне восхитительным сценическим представлением, празднеством еды, которое было устроено на уютной полукруглой площадке, ограниченной сквером. Играла музыка, на одном колесе ездил жонглёр. Среди цветов золотисто пучились копчёные куры, на вертеле жарился поросёнок. Над прилавками висели окорока и колбасы. Обложенные льдом, дышали устрицы, в тазу плавал живой осьминог. Не хватало лишь танцующей Эсмеральды, но её козочка здесь вполне бы оказалась уместна.

Мы накупили зелени и закусок для завтраков. Наталья с толком выбирала сыры – одни со слезой на восковом срезе, другие в лубяных кузовках или на опрятных рогожках, – в разной степени своей аппетитной заплесневелости.

– Тут у каждого фермера свои рецепты сыров, как и свои вина, – сообщила Наталья.

Она гордилась Парижем, Францией, и было чем. Я её поддержал:

– Вот, казалось бы, – рынок, торжище... А какое при этом изящество.

– И достоинство! – добавила она.

– И краски!

– И вкус!

Дальнейшее напоминает мне череду почтовых открыток: минимум текста, максимум изображения. На первой из них – Латинский квартал. Улочка, спускающаяся к бульвару Сен-Жермен. Я вхожу в книжный магазин издательства ИМКА-пресс, где вышла моя книжка, с казалось бы обоснованной надеждой получить причитающееся вознаграждение. И что ж – там разыгрывается сценка, чем-то напоминающая репинскую картину «Не ждали». Издатели сокрыты наверху, куда хода нет, в магазине лишь Рада Аллой, не выразившая никакого энтузиазма при виде

автора «Зияний». Но сообщает обо мне наверх. Никита Струве не соглашается («сегодня не будет»), а Володя Аллой спускается, чтобы сообщить следующее:

– Ваша книга – малотиражная и потому безгонорарная. Но авторам мы выдаём 6 экземпляров бесплатно и до 20-ти за половинную цену.

– Что ж, я возьму. А какой был тираж?

– Не помню.

– А сколько осталось?

– 60.

– Что ж они на полках–то не стоят?

– Места нету.

– Принесите все. Там есть довольно паршивые опечатки, я исправлю.

Дрогнул Аллой как-то странно, но книги принёс. И вот я в позе взыскательного автора сижу в углу, передо мной – стопки зелёных обложек. Час, другой... Опечатки, казалось бы, мелкие, но в одном месте – сокрушительные. Несколько страниц поэмы «Небесное в земном» перепутаны, и дело не в брошюровке, потому что нумерация сохранена последовательная. То есть текст, и без того фрагментарный, превращён в нечитаемый абсурд. А между тем, фрагменты и главы поэмы накрепко связаны сюжетом и должны складываться в любовный треугольник, за которым угадываются Бродский–Басманова–Бобышев! Так что же это – случайная ошибка? Очень уж в неслучайном месте. Горбаневская набирала книгу, а она на такое не пойдёт, это точно. А вот страницы (неужели бессознательно?) перепутывал и нумеровал, вероятно, Аллой, адепт моего антипода и его верный связной в том давнишнем реальном сюжете, больше некому.

Но расспрашивать бесполезно. И не надо на этом заикливаться, а не то ум за разум заходит. Да и читатель не поверит (и будет неправ).

Когда я притащил из лавки полу-купленные «Зияния», Наталья тут же отрядила меня на почту, чтобы немедленно послать книги домой, за океан.

– А завтра – что, будет поздно?

– Именно так. Завтра почта встанет на забастовку. Мы в «Русской Мысли» по этому поводу в панике.

– Почему?

– А вся наша подписка?! Впрочем, почтовики вряд ли обидят газетчиков...

И я пошёл выстаивать очередь в почтовом отделении там же, на рю Гей-Люссак.

В пределах открыточного формата, пожалуй, состоялась наша встреча с Зинаидой Шаховской. Поводом был «Русский Альманах», вышедший в начале года под её редакцией, совместно с Ренэ Герра и Евгением Терновским, в который я успел «вскочить», послав туда по подсказке Ю. П. Иваска несколько строф из «Русских терцин» (тогда они ещё назывались «Малыми»). Едва ли мой скромный вклад стоил толстого тома на веленовой бумаге, присланного мне авиа–почтой через океан! Надо было отдать за это визит главному редактору, авторитет которой вызвал и многие пожертвования на такое роскошное издание. Ещё бы: происхождение от Юрика, участие в Резистансе, орден Почётного Легиона и прочая, и прочая. Но влияние её было уже на излёте; с символической передачей «Русской Мысли» Ирине Иловойской–Альберти, солженицынскому секретарю, Первая волна сдала позиции. Её письмо с приглашением стоит здесь привести:

«13.06.80 Париж

Д. В. Бобышеву USA

Многоуважаемый Дмитрий Васильевич,

От Иваска узнала, что Вы не получили письмо Е. Терновского, с предложением участвовать в подготавливаемом нами «Русским Альманахе». Этот единовременный сборник, мне кажется, будет существенно отличаться от существующих зарубежных журналов. Он посвящён русской культуре вне всякого рода злободневности, и особенно политической. Пока что из новоприбывших поэтов обратились мы только к Вам – нам понравился сборник Ваших стихов, изданный ИМКА–Пресс – и к Бродскому. Будем рады, если Вы пришлёте нам стихотворений пять – в принципе, мы «ограничиваем» поэтов тремя стихотворениями, для того, чтобы уравновесить материал. Хорошо бы, получить Ваши стихи в августе.

Приветствую Вас и шлю Вам мои добрые пожелания. Вам обоим – Зинаида Шаховская (Алексеевна)».

Действительно, в материалах альманаха были собраны неопубликованные отрывки – всё лучшее, что удалось наскрести по сусекам: покойные Андрей Белый и Цветаева, Бердяев и Лосский, Вячеслав и Георгий Ивановы... Ещё живые Иваск и Чиннов, Моршен и Нарциссов, Перелешин и Одоевцева, Раннит и Вейдле... И в подпорку старшим – «перспективная молодёжь»: Бурихин, Савицкий... И, уже вытряхивая всё из редакционного портфеля, на дне обнаружили ценнейшую находку: письмо разбитого и отступающего Наполеона (Михайловка, 7 окт. 1812 г.) маршалу Бертье:

«Его Величество приказывает соединить Ваши шесть дивизий и напасть без промедления на врага, отбросить его за Двину и снова взять Полоцк...»

Как символично! И – так же невыполнимо...

На рю Фарадей мне открыла круглолицая тётушка с живыми глазами:

– Дмитрий Васильевич? Очень рада! Моего брата тоже зовут Димитрий.

– Да, я слышал. Это – владыка Иоанн Сан–Францисский.

– Мы с ним кое в чём сильно расходимся, но родственные связи сохраняем. А сейчас я хотела бы пригласить вас с собой на обед, а потом мы вернёмся и поговорим.

В ресторанчике поблизости она больше расспрашивала обо мне, но мы ели какой–то французский изыск с белым вином, и это отвлекало моё внимание на еду и этикет (княжна всё–таки, а по–здешнему так и принцесса), а когда мы вернулись в её небольшую, сплошь увешанную картинами квартирку, рассказала и о себе за рюмкой грушевого ликёра.

Вон тот условный пейзаж с Монмартром и Сакре Кёр написал её покойный муж Святослав Малевский–Малевич, – русский граф, бельгийский дипломат (как я узнал позже) и «немного художник», как она сказала сама.

– Очень стильно написано. И – много, много более чем профессионально!

– А какой был прекрасный человек, истинно прекрасный...

– Сочувствую в Вашей потере, Зинаида Алексеевна.

Разговор перешёл на литературу, и, конечно же, последовал вопрос:

– Как вы относитесь к Набокову, Димитрий Васильевич?

– Гурман, эстет, чемпион мира по русскому языку. Когда читаешь «Лолиту», наслаждаешься, но делается как–то противно, будто сам соучаствуешь с Гумбертом Гумбертом. А вот его «Дар» я безусловно люблю, хотя и там есть некоторый «чересчур»...

– А знаете, что о нём сказал Бунин? «Чудовище, но какой писатель!»

– Да уж... А его высказывания о Достоевском? А – о Пастернаке? И, потом, эта нестерпимая поза...

– Вы должны обязательно прочитать мою книгу «В поисках Набокова», там всё это увидите. Я её сейчас надпишу для вас.

Позже я прочитал эту и другие книги, подаренные ею с автографами. Шаховская писала русские стихи, рассказы,

мемуарные очерки, полемические заметки. Разбросанность занятий не способствовали ей сделаться крупной писательницей. Но я не упомянул ещё военную журналистику, романы (кажется, успешные) на французском, редактирование... Верные оценки, пронизательные наблюдения всё-таки превратили её в заметную литературную фигуру, хотя она сама отводила себе скромную роль свидетельницы...

Наиболее интересно собрание её заметок и статей о Набокове, с которым они были на-ты, переписывались десятилетиями, встречались, дружили. Книга заканчивается сопоставлением двух её статей, напечатанных во французской прессе с разрывом более 20 лет. Одна – о русском эмигрантском писателе Сирине, вторая – об американском Набокове. На первую он сам отозвался письмом: «Я с интересом и умилением прочёл Твою статью о «Приглашении на казнь» – она во-первых прекрасно написана, а во-вторых очень умна и пронизательна».

Вторая статья давала более широкий, но выборочный обзор написанного Набоковым – как по-русски, так и по-английски – и в ней Шаховская сравнила его творчество с бестселлерами, вышедшими параллельно на том и другом языках, то есть с тогдашними Хемингуэем и Пастернаком. Лучше бы она этого не делала! На приёме в издательстве Галлимар в его честь Набоков «не узнал» Шаховскую, брезгливо пробормотав лишь: «*Bonjour, Madame...*»!

Больше я с ней не виделся, но знаю, что дожила она до тех лет, куда и близко не дотягивали её знаменитые собеседники. Успела засвидетельствовать и падение Советской империи, и наступление нового тысячелетия. Правда, её книга, вышедшая в России, уже не застала её в живых, хотя и сумела вызвать нервные реакции. Критик Самуил Лурье прочитал (или просмотрел) эту книгу и, взяв для храбрости княжеский псевдоним, крепко обругал её. Нет, даже не крепко, а хуже – брезгливо, «в духе набоковской образности». Но с интонацией якобы Достоевской, а вкусом «безукокоризненным», (в чём я сомневаюсь). И насчёт образности, признаться, тоже, – она скорее Крыловская, поскольку Лурье-Гедройц уподобляет автора вороне, которой Бог что-то там послал, а чего-то и не додал, но она себя возомнила...

С чего, откуда такая грубость взялась у чувствительного критика? Тут верную подсказку даёт его неотёсанный коллега-правдоруб, уподобивший Лурье-Гедройца некоей партийной собачонке: «Малейший намёк на антисемитизм звучит для Гедройца командой: «Фас!»»

Но какой же может быть антисемитизм у Шаховской, будь она хоть трижды русская княжна (и при этом графиня)? Может быть, ей на таком основании запрещено употреблять само слово «еврей», хотя бы и в самом невинном контексте? Гедройц желает нас убедить в этом, приведя в рецензии фразу о поездке Шаховской в Берлин в начале 30–х: «В коридоре вагона (*слушайте, слушайте!* – С. Г.) какой-то еврей шепчет мне о своих опасениях, впоследствии оправдавшихся, и гораздо более грозно».

Прослушали. «Какой-то еврей». Ну и что? Остается лишь покрутить пальцем у виска.

Нашёлся ещё один непримиримый критик Зинаиды Шаховской – мемуарист Юрий Колкер. Обидчивый, слабо-игольчатый, похожий одновременно на кактус и на свою фамилию... Но стоит ли пересказывать чужие глупости? Впрочем, вот одна, и незаурядная, венчающая его мемуар: «На свете нашёлся один-единственный пакостник, постоянно отравляющий мне жизнь: я сам».

Среди парижских открыток есть и такая: Кира Сапгир показывает нам со Славинским «её» Монпарнас. Переулочки, закоулки, перекрёстки с сувенирными развалами для туристов. Прелестно, изящно и не по-уличному уютно! Она предлагает мне купить морскую раковину, а в ней – шум вечного праздника:

– Будешь в Америке слушать и вспоминать.

– Нет, Кира, это – детский трюк. Шум остаётся здесь!

Толстая, в широких одеждах гадалки-звездочёта (ей и этим приходится подрабатывать), она читает нам весьма озорной раёшник «В бане». Печатать не собирается, боясь за свою репутацию в газете и на радио. Но шум всё-таки приходит позднее, когда Кира публикует «документальный» шпионский роман «Дисси-блюз» о советских диссидентах в Париже. Каждый второй – агент какой-либо из секретных служб! А есть и двойной агент: она сама.

На склонах Монмартра арабы торгуют кожаными поясами и сумками. И – запускают в воздух лёгкие модели голубей с резиновыми моторчиками, порхающие в точности по чертежам Леонардо да Винчи.

А вот ещё примечательная открытка: мы со Славинским сидим на свинцовой кровле одной из башен Собора Парижской Богоматери, – справа, какходишь. Там, где химера, на которую мой друг удивительно похож. Двое бывших советских, по существу – отщепенцев, для которых Запад был сказкой, а Париж – сновидением, возвышаются теперь в позах Фауста и Мефистофеля не только над воплотившейся мечтой, но и над «и не

мечтали!», и «разве могли б мы подумать?»... Глаза навсегда вбирают прославленные виды, сердце обливается блаженными слезами, давние обиды скулят в уголке сознания, постепенно стихая. Хочется поделиться всем этим невероятием с кем-то ещё.

– Давай позвоним кому-нибудь в Питер, – предлагает Славинский. – Чей телефон ты помнишь?

– Гали Рубинштейн: 213-03-69.

Заходим в будку уличного автомата. Он набирает номер. Гудки... Я ору:

– Галя Руби! Привет из Парижа! Узнаёшь?

– Кто это? Кто это? Вы шутите!

– Нет, не шутим, но веселимся. Это Бобышев и Славинский.

– Врёте! Из какого места звоните?

Я прерываю наш диалог: «Славинский! Где мы находимся?» А монеты проваливаются в щель автомата... Он разыскивает глазами настенную табличку и кричит в телефон:

– Звоним прямо с улицы. Бульвар Батиньоль!

– Правильно, есть такой. Я в одной книжке читала...

Щёлк! Все деньги кончились. Но мы ещё с Галей здесь побываем и звонок этот вспомним...

И – заключительная сценка: со Славинским садимся в такси, торопясь на концерт Хвостенко. Тот поёт в каком-то кафе у подножья Монмартра. Пытаемся объяснить это водителю на полуфранцузском, полуанглийском языке. Таксёр, по виду типичный француз-южанин с большим горбатым носом, поводит бровью в нашу сторону и произносит по-русски с армянским акцентом:

– Да скажите вы, наконец, на человеческом языке, куда вам ехать?

Немая сцена... Россия, родина – ты найдёшь нас повсюду.

## **В «Русской Мысли»**

Я летел обратно через океан, испытывая давно забытое чувство – домой! Туда, где будет мне хорошо, где ждёт жена, где ребёнок (правда, полу-чужой, полу-свой) и даже – моя мать! Как пошутила Горбаневская в редакции «Русской Мысли»: «Все мы теперь живём на Западе, и только Дима – на Среднем Западе».

Я побывал у них на рю Фобур Сент-Оноре перед отъездом. И вот где-то в середине сентября раскрыл свежий выпуск и ахнул. Материал обо мне на целую страницу. Жаль только, что мать к тому времени уже уехала, вот бы удивилась! Только не уверен я, обрадовалась бы или нет? Ведь учила она



(даже отпуская меня за рубеж) главной советской премудрости: «Не высовывайся!», а я всё норовил наоборот.

В центре страницы красовался портрет работы Игоря Тюльпанова – тот же, что и в книге «Зияния». К нему имелось редакционное пояснение:

«Дмитрий Васильевич Бобышев родился в 1936 году в Мариуполе, с детских лет и до отъезда из СССР жил в Ленинграде, где окончил Технологический институт, работал инженером, редактором телевидения, снова инженером. Первой публикацией на Западе были «Граурные октавы» (в кн.: *Памяти Ахматовой, Париж, ИМКА–Пресс, 1974*), где он сам определил себя как одного из «ахматовских сирот». Постоянный автор «Континента», где, начиная с № 12, публиковались его стихи и статьи и где будет полностью опубликован цикл «Русские терцины» (в № 31). В 1979 г., женившись на американке, выехал в США. За эти два года печатался во многих зарубежных изданиях. Живёт в Милуоки, где вновь работает инженером».

Левый столбец заняли несколько строк из «Русских терцин», на остальном поле раскинулось интервью. Не без колебаний, я решил его здесь поместить, по крайней мере, наиболее содержательные куски, иначе – кто, какой гипотетический биограф это сделает? К тому же, газетные материалы легко исчезают... А так оно удачно свяжет темы всех трёх книг «Человекотекста».

Вопросам предшествовало краткое вступление:

«Попав впервые в редакцию «Русской Мысли», Дмитрий Бобышев сказал то, что мы уже привыкли слушать: «Какая уютная квартира у вас тут!» И правда: наша редакция похожа на просторную старинную квартиру – в ней есть дух дома. И, наверно, поэтому, выбирая место для предполагавшейся беседы, мы подумали: квартира квартирой, уют уютом – а самые лучшие разговоры всегда велись на кухне. Мы так привыкли. Так мы и устроились на тесной редакционной кухне, вокруг старого дубового стола. И интервью превратилось в общий разговор, в котором, кроме самого Д. Бобышева, приняли участие Наталья Горбаневская, Наталья Дюжева, Сергей Дедюлин, Владимир Рыбаков и Кира Сапгир».

Дальше пошли вопросы и ответы:

– Как ты ощущаешь себя вне России?

– Здесь, на Западе, всё воспринимается иначе. Но всё–таки мы – оттуда. Там мы жили, там стали сами собой. Места рождения не выбираешь, но в этом и есть интересный феномен – не выбирая,

тем не менее, преодолеть, осмыслить, стать собой. Везде это проблема. Но там, может быть, даже легче стать собой.

– Почему?

– Потому что, скажем, не печататься десять лет – это значит пройти через несколько внутренних ломок. Что-то отбракуется заведомо нежизненное, но что останется, то – настоящее. Кто сумел пройти через это и одолеть, тот ощущает себя совершившимся, состоявшимся.

– Но про себя ты можешь сказать, как ты постепенно становился самым собой? Я имею в виду – там...

– Во-первых, какое-то инстинктивное чутьё неправды у многих развивается ещё в детстве. Но русская литература и русская поэзия – это такое поразительное средство противостояния, такое противоядие от лжи! Получается так, что вместе с пропагандой в советской школе преподаются и вечные ценности. А пока есть русская литература, есть всё – Россия, будущее, настоящее, есть люди.

– А не мог бы ты в этой связи рассказать о вашей истории с газетой «Культура»?

– В 53-м году я поступил в Технологический институт. Это было сразу же после смерти генералиссимуса. Потом наступил 56-й год, повеяло переменами. В каждом из нас жила потребность участвовать в том новом, что тогда возникало, хотелось внести в этот процесс своё чувство будущего. Вот тогда и появилась та самая стенная газета «Культура». Это было обновление мёртвого жанра: обычно ведь стенгазета – это нечто вроде доски объявлений, плюс передовица, а мы вложили туда новое содержание.

– Мы – это кто?

– Мы – это... Вообще странные мы были студенты для технического вуза. Я там замечал больше – композиторов, поэтов, либреттистов... Тогда секретарём комсомола был Борис Зеликсон, поразительный человек, от которого непрерывно исходили идеи. Выбрали его, потому что он всех покорила своими пародиями и куплетами – у нас тогда были настоящие выборы, вы только подумайте! Идея с газетой «Культура» тоже принадлежала ему, и она оказалась в одно и то же время плодотворной и опасной. Зеликсон предложил мне редактировать литературный отдел, и я согласился, Евгений Рейн стал редактором отдела живописи, а Анатолий Найман – кинематографии.

Я написал статью о поэте Владимире Уфлянде. Сейчас это имя известно, а тогда он только начинал. Статья называлась «Хороший Уфлянд», что уже было необычно для заметки о

начинающем авторе. Там я писал, что в стихах Уфлянда есть ирония, юмор, есть свежие рифмы, и пишет он о простых вещах без пропагандистского пафоса, то есть буквально «не тащит читателя, уставшего после работы, на борьбу и сражения». Это оказалось крамолой. Кто-то сорвал мою заметку и отнёс в партком. Другие материалы тоже подверглись цензуре. Нас обвинили в том, что наша газета – без чёткого политического ориентира. Газета и вправду была ориентирована не политически, а культурно, она и называлась «Культура».

– Если бы она называлась «Политика», было бы ещё хуже!

– Разумеется... Но и без того в «Комсомольской правде» появился фельетон под обманчиво мирным заголовком «О чём же думают товарищи из Технологического института?» Однако тон его был нормально свирепым, даже зубодробительным. *(Позволю себе позднейшую вставку: я теперь убеждён, что под «товарищами» подразумевались не мы, а те, что сидели в парткоме и слишком долго думали, прежде чем нас разогнать. – ДБ).* Тут же последовали санкции, вплоть до исключения из института. Я в это время «удачно» оказался в больнице и избежал неприятностей.

Разгром произошёл одновременно с венгерскими событиями в ноябре 56-го года, и дальше всё уже перешло к другому ведомству. Дело газеты «Культура» существовало в анналах КГБ и не было закрыто. Но когда почти девять лет спустя Борис Зеликсон был арестован в связи с неомарксистской группой и подпольным журналом «Колокол», следователь, допрашивая его в своём кабинете, с удовольствием вынул толстую папку с делом газеты «Культура» и подшил её к делу Зеликсона. Таким образом, оно было закрыто, и, как говорится, «все были счастливы».

– О «Культуре» мы заговорили в рамках проблемы – как человек становится самим собой. Так что тебе эта история дала для того, чтобы стать самим собой?

– Я эту историю не отделял от себя. Она развивалась, и я развивался вместе с ней.

– А было ли что-то, какое-либо событие в твоей жизни, которое бы оказало влияние на твою жизнь?

– Кажется, ничего внешнего. Ничего такого, что взяло бы меня за шиворот, потащило, заставило всё изменить. Но было существенное внутреннее событие. Оно случилось в начале марта 72-го года, в годовщину смерти Анны Ахматовой. После обыкновенного дня я вернулся в свою комнату, которую снимал на Невском проспекте, прямо возле Аничкова моста, и уснул. И всё началось во сне. В течение всей ночи во мне пронеслись

мириады сюжетов, свёрнутых, как пружина, всаживались в моё сознание, и – выносились... В памяти не оставалось ничего, но сознание менялось. Так продолжалось всю ночь. Если взять зрительный образ для сравнения – это невское небо при сильном западном ветре, когда несутся клочья облаков при полной тишине внизу.

Я проснулся в полном истощении. Колотила нервная лихорадка. Долго не мог собрать силы подняться. Но сон следующей ночи был глубочайшей пропастью – никаких сновидений, бездонный покой. Когда последовало новое утро, я проснулся с ощущением внутренней мощи. Меня рвануло к письменному столу. Сознание невероятно расширилось, и мне казалось, что я вижу весь мир передо мной. Те пружинные сюжеты предыдущей ночи разворачивались в стихи и образы: вселенная, вещество, дух, человек, всё прошлое, история, доистория, послеистория – всё вмещалось сюда через понятие вещества и материи как демонов, отвердевших в своём отпадении от Творца. Иначе говоря, всё в мире являлось и является противоборством духовного и материального начал. И я стал писать об этом «Вещественную комедию», в которой земные элементы преобразуются творчеством. Всегда, когда я начинаю что–то, у меня есть хотя бы смутное представление о том, как это должно кончиться. В той поэме было предчувствие гармонических, прекрасно–ангельских звуков. И я прервал работу над поэмой ровно тогда, когда такие звуки стали издалека слышны, и стал писать «Медитации» и «Стигматы» – появились у меня такие композиции.

В процессе всего этого я оглянулся вокруг себя и внутри себя, и оказалось, что я нахожусь уже в стенах Христианской Православной Церкви. Но я не был крещён. Как раз в ту пору приехала в Ленинград Наталья Горбаневская, и я поделился с ней своими переживаниями. Наталья отвела меня к отцу Дмитрию Дудко, и он крестил меня, а она стала моей крёстной матерью.

– А что в твоей жизни значила встреча с Анной Ахматовой?

– О, это была встреча с реальной культурой. Пока читаешь книги, в этом не удостаиваешься, а она давала чувство прикосновения к мировой культуре, к наследию её прошлого и даже к будущему. Ну и, конечно, мечталось получить из её рук посвящение – наподобие рыцарского или жреческого. «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил», – сказано у Пушкина. Вот этого «старика Державина» недостаёт всем стихотворцам, ведь каждому нужен акт посвящения. Иногда он

бывает жалким. Мне повезло – Ахматова мне посвятила стихотворение. Это ж – как ощутить на плече удар мечом плашмя...

– А ещё, соприкасаясь с Ахматовой, можно было увидеть реальность не только лиры, но и Музы...

– Да, и ещё причастность к основам самой ткани культуры: к её материалу, верёвкам, жилам... У неё был свой разговор, перезвуки с Шекспиром, больше того – с Данте.

– Дима, а теперь – о «Русских терцинах». Что это такое?

– Я пока сам не знаю. Это для меня что-то новое. Я решился на многое с этими терцинами, на что никогда не решался – писать не от себя, а от имени собирательного «мы». Поэтому здесь не столько мои мысли, сколько мысли, споры, недоумения, обрывки мифологий и чувств, которые существуют сейчас там, в России, в Советском Союзе. Это все наши разговоры в дружеском застолье, в рабочих курилках, во время прогулок по набережным, по улицам – разговоры начистоту русских современных людей. Разговоры о себе, о том, кто такие МЫ, о том, что МЫ – ЕСТЬ, ответы и загадывания о смысле истории, о русскости, о причинах и следствиях... О вечных вопросах: «Кто виноват?», «Что делать?», «Ехать – не ехать?» – это современный проклятый русский вопрос. Когда собирательное «мы» диктует «мне», его части, – нельзя противостоять этой прямолинейной стихии.

– Мне кажется, прямолинейность твоих терцин снимается их полифоничностью. Тем, что эти прямые линии на самом деле не столь уж прямы и переплетаются.

– Я рассчитываю на это и делаю попытку рассматривать тему со всех возможных и доступных мне точек зрения. Кроме того, я там нашёл, мне кажется, новую форму, лапидарную, похожую на сонет, но более краткую, и форма тоже кое-что диктует. Там – десятистрочия... Первое обозначено нулём, – я начал с нуля, на Западе так и нужно!

– Но почему?!

– А потому, что мы всё оставили там, здесь же мы нагие, как Адамы, как Робинзоны. К тому же нулевая – это терцина о терцине, о том, как она пишется.

– «Русские терцины» после нулевой – это 90 десятистрочий, которые делятся на три части. Что представляет собой каждая из трёх частей в этом переплетении и всё-таки продвижении прямолинейных кривых?

– В каждой терцине есть теза и антитеза – столкновение разных умонастроений или разных подходов, а затем – вывод и поворот к новой теме. Есть и прямые – до искр из глаз –

столкновения выходца из Советского Союза с западной реальностью. А отзвуки уходят в историю и в традиционные представления о том, кто мы такие, почему нам плохо, какими мы предстоим миру? В первой части, пожалуй, силён какой-то нигилизм, самоотрицание, русским людям, впрочем, очень свойственное. Дальше, во второй части ещё похуже: уже не нигилизм, а негативизм по отношению – главным образом – к современности. Но уже возникает какое-то позитивное зерно.

И мне кажется, что в третьей части это вот позитивное больше проявляется. То есть – мы не такие безобразники, как любим порой о себе заявить. Мы нужны миру, мы – часть Божьего хозяйства и кое-что сделали для него.

И – делаем...

### **Яшина верёвочка**

Как я ни отвлекал себя и читателей от этой темы, как ни откладывал на потом, она ждать уже не может, и пора её выводить наружу. Иначе она, словно мексиканский стервятник – коричневый на голубом – будет кружить и кружить в сознании, напоминая зловещую поговорку: сколько верёвочка ни вьётся, а конец найдётся.

Он и нашёлся. Толя Каплан позвонил из Хьюстона:

– Дима, и нас беда. Умер Яша Виньковецкий.

– Что?! Как? Не может быть.

– Покончил с собой. Послезавтра похороны. Ты приедешь?

– Конечно.

– Сообщи номер рейса, мы тебя встретим.

Обдало меня известие жаром и холодом, и свет померк. За дружбу с Яковом я держался крепко, да она и напоминала мужское рукопожатие – добросердечием, надёжностью, теплом, даже взаимным восхищением. Это пошло с его мужественного выступления на процессе Владимира Марамзина, куда Яков был вызван в качестве свидетеля (с угрозой стать обвиняемым). Я находился в зале, а его держали за дверь, и он не слышал, как Марамзин капитулировал. Рискую многим «за други своя», Виньковецкий отстаивал невиновность подсудимого, который в этом уже не нуждался. Разница в их поведении была контрастной, и благородное донкихотство Якова глубоко тронуло меня. Я ему высказал своё впечатление и обрёл друга.

За предыдущие годы, что мы не виделись, оба прошли сходный опыт и оказались духовно близки, как никогда. Прозелитские трудности и восторги тесно сплывали нас и

обостряли взаимное понимание. Его отъезд с семьёй на Запад в 1975 году казался невосполнимой потерей, но постоянная и обильная переписка её восполняла, а через четыре года я сам туда перебрался.

В последний раз мы с ним встретились незадолго до рокового звонка. У него была геологическая конференция в Канаде, и я стал уговаривать его сделать на обратном пути пересадку в Милуоки. Он отнекивался. Я настаивал:

– Остановись у нас хоть на денёк, Яша! Попразднуем вместе.

– Билет будет гораздо дороже...

– Ну, так я заплачу разницу.

– И не думай! Ладно... Я поменяю маршрут.

У меня сердце горело показать ему, как я устроился в новой жизни. Конечно, не так великолепно, как он, учёный-исследователь нефтяного гиганта, но всё же очень даже неплохо, а будет со временем ещё лучше, не правда ли? – я хотел его в этом уверить (и увериться сильнее самому).

Приехал. С виду – заматерел, стал внушительней. Модная рубашка под пиджак – без воротничка, лишь со стойкой на пуговице – была ему к лицу, но взгляд, и без того неподвижный, стал как-то тяжёл.

– В честь дорогого гостя у нас сегодня фейерверк на озере, – условно пошутил я.

– Ну, ты уж скажешь... – отвёл он шутку, не поддержав.

Эта деталь помогает мне восстановить дату, когда он приехал: видимо, на День независимости, большой и весёлый американский праздник. Но Яков не хотел веселиться:

– Насмотрелся я уже этих фейерверков...

– Пойдём, ты же художник!

С трудом уговорил. Но и меня уже не радовали ни шутихи, распускавшиеся огромными звёздами, ни огненные колёса, ни вся эта пляска красок и света, дробно отражающаяся в озёрной ряби. Всё казалось пустым ребячеством...

Ольга тем временем подготовила стол. Тут уже не пришлось Якова долго уговаривать. Выпили, он повеселел. Даже спеть решился. А запел, и у меня волосы зашевелились от мрачной силы слов:

Что-то солнышко не светит,  
Над головушкой туман,  
То ли пуля в сердце метит,  
Или близок трибунал.

Эх, доля-неволя,

Глухая тюрьма!  
Долина, осина,  
Могила темна.  
...Поведут нас всех под стражей,  
Коммунист, взводи курок,  
На тропинке, на овражьем  
Расстреляют под шумок...  
Эх, доля–неволя...  
...Не к лицу нам покаянье,  
Не пугает нас огонь!..  
Мы бессмертны! До свиданья,  
Трупом пахнет самогон!..  
Эх, доля–неволя...

– Что это за ужас, Яша?

– Ты разве не помнишь? Это ж «Песня тамбовских повстанцев». Я тебе пел когда-то... Говорят, Есенин её любил.

– Песню, как ни странно, не помню, – видимо, память отказалось такой мрак удерживать, а разговор припоминаю. Ты спросил меня тогда, хорош ли, мол, этот образ: «трупом пахнет самогон», и я ответил, что нет, потому как – что ж тут хорошего?

– И верно – что ж тут хорошего? – неожиданно засмеялся Яков. – А как тебе предыдущая строчка, про «до свиданья»?

– О да! Логика железная.

И мы как верующие в бессмертие душ согласно закивали головами.

Я всё-таки спросил его, улучив минуту, – что его так тяготит? Нехотя и очень обобщённо он объяснил, что пытается изо всех сил переубедить Экссон в одном деле, а тот упирается рогом. Если удастся, то хорошо, а если нет, то...

И здесь он сделал поразивший меня жест, проведя пальцем по шее и высунув на сторону язык!

Не успел я испугаться, как он вмиг перевёл разговор на другую тему: оказывается, он совершил открытие в геологии, а точнее – в разведке нефтяных месторождений. Настоящее, большое открытие. Не один, а вдвоём с соавтором, талантливым математиком (по-моему, он даже назвал его «гениальным»). А Экссон взял, да и присвоил их открытие, посчитав самих авторов своей собственностью!

Я прокручивал в голове этот разговор, когда летел в Техас, и, вспоминая особенно удививший меня «жест висельника», корил себя за то, что воспринял его всего лишь фигурально... Конфликт, задевающий его гордость и честолюбивые амбиции, конечно, был



крут, но разве этого достаточно для такого бредового выхода в никуда? Ведь он убил... себя! А как же – его вера, духовность мыслей, как же его умозрительные любования в красках, которые называл он «окнами света»? А – двое сыновей, жена? А – радость дружбы, которой он лишил многих, в том числе и меня? Дико и непонятно!

В аэропорту Хьюстона встречал меня Марк Зальцберг, однокурсник по «Техноложке», и я сразу вцепился в него с вопросами: «Почему?»

– Эх, долго рассказывать... Но если коротко, то вот. Их обоих уволили с работы, и Яшу, и Дину. У него и так была депрессия, а тут – этот шок...

– Уволили!! За что же?

– Что-то с таксами было не в порядке...

– С таксами... С налогами, что ли? А в чём дело?

– Тут такая история: вроде бы они пожертвовали на книгу, и это считалось как благотворительность, – то, что таксами не облагается. А книга была – Дины, и денежки от продаж всё-таки возвращались «дарителям». Ну, и кто-то об этом настучал в компанию. Там – скандал, стали проверять, и вот результат...

– Так это всё – из-за той книжки!

– А ты её видел? Читал?

– Не только читал, но и писал на неё рецензию!

Упомянутая (и – злополучная!) книга, основанная на семейном материале, была первым писательским опытом Дины. Чтобы обеспечить ей успех, Яков привлёк круг своих друзей: печатал её прозаик, владелец издательства «Эрмитаж» Игорь Ефимов, иллюстрировал художник Игорь Тюльпанов, а для отзыва мобилизовал он меня. Вот она, эта вполне искренне написанная и прискорбно причастная к этой драме рецензия, которая была напечатана 17 июня 1982 года в «Русской Мысли»:

### **Малолетний любомудр**

#### **(о книге Д. Виньковецкой «Илюшины разговоры»)**

Как в стародавние самиздатские времена, эту книгу я прочёл ещё в рукописи и, признаться, не без предубеждения. Может ли мать написать о своём сыне без той назойливой умильности, с какой обычно заставляют знакомых смотреть фотографии своих детей? Ведь даже «дедушка Корней» не избежал её в своих знаменитых «От 2-х до 5-ти», – книге, породившей этот жанр, впоследствии быстро деградировавший, превратившийся в педагогические назидания под рубрикой «Взрослым о детях».

Видимо, чувство жанровой рискованности испытывала и Д. Виньковецкая во время работы над книгой, но примечательно, что это сомнение с первого же абзаца высказывает её сын, герой и по существу единственный персонаж книги, малолетний Илюша: «Кому интересно, что чужой ребёнок думает?» И в этот момент он действительно становится интересным для взрослого читателя.

Но я наблюдал Виньковецких не только на печатных страницах, а и в решающие минуты жизни: в ночь перед тем, как их семья покинула родину. Видимо, «накачанный» предварительно в школе, Илюша с бессильной яростью орал на родителей: «Вы – изменники! Я люблю свою родину, я люблю свою армию!» От силы негодования на его шее вспухли железы, как при детской болезни свинке. Однако врач успокоил ребёнка, а утренние события в аэропорту показали ему всё в новом свете: драгоценные реликвии юного армейского патриота – пустая кобура и горсть жестяных армейских эмблемок – были отобраны при таможенном досмотре.

Но, читая «Илюшины разговоры», убеждаешься, что его внутренний мир неизмеримо сложнее, чем этот схематический образ сначала запропагандированного, а затем разочарованного ребёнка. Ещё до отъезда он удивительно цепко схватил самую суть наших общественных отношений: «Какой–нибудь дурак захватит власть – и командует, командует, а все ему подчиняются». И это сказано в 8 лет!

По книге щедро рассыпаны подобные перлы, но от семейного альбома детских афоризмов отличает её точно продуманный и любовно–иронический комментарий. В сущности, это и делает её книгой, – в ней прослеживается, как матово сияющий детский космос детализируется, усложняет свои структуры, как отделяется «Я от не–Я» («Звёзды – дети, мама – Луна, папа – Солнце»), появляются отношения к предметам, к «своим» и «чужим» людям, к добру и злу, жизни и смерти, справедливости, глупости, логике и алогизму, долгу и необходимости, показухе и подлинности. Из столкновений этих понятий порой высекается какой–то особый метафизический юмор.

«Собака пошла пиво пить».

«– Волки в деревне бегают.

– А в городе – милиционеры?»

«Адама родил Бог, а Еву – обезьяна».

«А если у человека ноги нету, то и половины попы тоже нету?»

«Родился в 65–м, крестился в 73–м, умру неизвестно когда. И всё время страдал».

Эта тема страдания, так же, как тема детских «неприличностей», отличает книгу от её знаменитого образца. Конечно, К. Чуковский был ограничен цензурными требованиями оптимизма и благопристойности... Наш малолетний философ был бы при тех же условиях вычеркнут из «От 2-х до 5-ти», ибо он буквально с пелёнок медитировал над тем, что жизнь человеческая – невечная штука, повторяя, быть может, со слов взрослых обрывки античных мудростей.

«– Что ты такой печальный, Илья?»

– А что же веселиться – если как только человек родится, так он и знает, что он умрёт».

Есть в этом несоответствии возраста и темы определённая комичность, но есть и своя трогательность, и даже интеллектуальная острота, особенно когда этот «Ванюша Карамазов» начинает отвергать жизнь, «потому что горе на свете есть, и смерть».

Но, пожалуй, не менее скорбными оказались высказывания Илюши о ленинградской школе с первого посещения. Представьте себе картинку: праздник первого звонка. Толпа радостно взволнованных родителей ожидает своих питомцев после школы. Выбегают девочки в нарядных передниках, мальчики с белыми воротничками. Среди них – сосредоточенный на чём-то своём Илюша.

«– Учительница сказала, что я дурак, – объявил он толпе родителей...»

Немая сцена...

Вспоминаешь при этом и собственную реакцию первобытного ужаса от встречи с многоглавым и агрессивным чудовищем – школьным коллективом. И то, как считали мы годы, оставшиеся до выпуска, как эскизы – до окончания срока. И – стих Владимира Британишского, поэта геологического круга, к которому принадлежали и Виньковецкие:

### **Мне запах школы ненавистен...**

Здесь легко можно было бы перескочить на преимущества американской системы образования, тем более, что сам Илья, как это видно из книги, прямо наслаждается учёбой в Америке, но... Но в том-то и дело, что облегчённо-игровая система так хорошо даётся бывшему советскому школьнику именно из-за его добротной подготовки в ненавистой школе! Мне кажется, что в этом пункте в общем-то чуткий и тонкий комментарий Д. Виньковецкой заметно захромал, – ну как не поддаться опьяняющему очарованию Нового Света?

Однако я ценю эту книгу за другое. В самый разгар эмигрантской эйфории она вносит трезвую и горькую ноту реальности. Вот свидетельство о том, как американская школа выращивает беспечных «пожирателей лотоса», не думающих ни о чём, кроме наслаждений.

«Однажды Илья прибежал из школы радостный:

– Я сегодня отличился. Учительница просила нас написать про Рождество. Все дети написали: Рождество – это ёлка, Дед Мороз, подарки. А я написал: Рождество – это время, когда две тысячи назад в маленьком городке Вифлееме, в Израиле, родился Христос. Он родился, чтобы примирить Бога с человеком. Это изменило всю историю Мира».

Конечно, приятно убедиться в успехах русского мальчика, но каковы же все остальные ученики? Как это удалось американцам превратить Рождество в сугубо детский праздник с главным персонажем Санта Клаусом? И радуешься за Илью, которому даже в атеистической атмосфере родители сумели вложить в душу зерно религиозного чувства. Конечно, мальчику повезло: становление его личности отражает интеллектуальную и духовную атмосферу в семье.

Но и книге повезло. Её третьим автором стал художник Игорь Тюльпанов. Его многочисленные иллюстрации и заставки дают книге третье, артистическое измерение. На обложке смешной человек, напоминающий некоторыми чертами живого Илью, несет на приплюснутой от тяжёлых дум голове ещё 7 изумлённых голов. Человек на дальнейших листах книги куврыкается, высовывает невероятных размеров «русский» язык, отращивает или укорачивает себе ногу, закапывает своих родителей, обрастает листьями, бородой или самоварными трубами и ещё много чего делает. Художник, соревнуясь в фантазии со своим персонажем, берёт метафорическую сторону изречений малолетнего Илюши и доводит их смешное содержание до хохота. Но делает это с симпатией, не обидно...

Итак, книга получилась... Но в писательском цехе бытует убеждение, что одну книгу может сочинить и не-писатель, если вложит в неё весь опыт предыдущей жизни. И только в последующих вещах будет видна способность писателя производить новые и новые художественные идеи. С выходом «Илюшиных разговоров» появился интересный обещающий автор. Но лишь новые книги покажут, состоится ли писатель Диана Виньковецкая.

## Яшина верёвочка (продолжение)

Дом Виньковецких, показавшийся мне столь красивым, просторным и удобным в первый приезд, всем видом теперь демонстрировал крах и упадок: ворота в пустой гараж были подняты, двери распахнуты, в гостиной суетились женщины, а мужчины стояли с опрокинутыми лицами и невидящими глазами. Некоторые из них были мне знакомы. Внезапная смерть Якова вызвала шок в эмигрантской общине. Многим он помогал, давал рекомендации для работы, за кого-то поручительствовал. Он ощущал здесь своё лидерство, силу, и не мог этим не гордиться, а такое скандальное увольнение воспринял, вероятней всего, как бесчестье.

Дина находилась в полу-истерике, кидалась то в хлопоты, то в плач, но всё-таки рассказала (наверное, уже в сороковой раз) о том, что произошло: склока, донос, увольнение, депрессия...

– Но ведь от депрессии лечатся, есть даже какие-то медикаменты...

– Яша не хотел лечиться, но я отвезла его к врачу. От таблеток он тоже отказывался, я его чуть ли не силой заставляла. В то утро тоже выложила ему пилюли на столик, поставила стакан, он ещё спал. И поехала ребят в школу отвозить. Минут через 10 – 15 возвращаюсь, открываю гараж, а он там висит...

И вновь она засморкалась, затряслась плечами, но тут же взяла себя в руки.

– Как же вы будете жить теперь – Якова нет, ты без работы, дети?.. Надо, наверное, скинуться друзьям...

– Нет, нет, денег не надо. Вчера приезжало телевидение, пресса. Здесь кое-кто меня осуждает, но я подняла шум – Экссон за Яшу дорого заплатит!

– А если нет?

– Яша буквально на днях успел заключить страховку на большую сумму. Мы с Лёней сейчас поедem оформлять все бумаги.

Лёня – молодой математик, соавтор Якова по открытию, который уже принял «героическое» решение бросить жену с двумя детьми и сойтись с Диной. Но я этого ещё не знал.

– Этот Лёня симпатичный... Он, наверное, хороший друг?

– Даже не знаю, что бы я без него делала! А ты, Дима, побудь пока с Илюшей. Погуляйте с ним, что ли?..

Я взял банку пива и предложил другую Илюше, полагая, что в таких обстоятельствах это вполне невозбранно... Совершенно забыл про здешние правила! К счастью, Илья твёрдо отказался. Я приобнял паренька за плечи, и мы вышли на улицу, но она не была приспособлена для пешеходов. Ярко-зелёные

лужайки отделяли дома от проезжей части, а тротуаров попросту не было, и мы пошли по мостовой. Группка людей стояла у соседнего дома и что-то обсуждала, глядя на нас. Когда мы приблизились, они крикнули (впрочем, вполне дружелюбно):

– Извините! Вы бы лучше не пили здесь пиво, сэр... Да и мальчика не стоит обнимать.

– А в чём дело? Вы знаете, что у этого мальчика умер отец?

– Мы знаем и сочувствуем. Но таков закон. Если увидит полицейский, он вас арестует, сэр.

Проклятие! Пиво выкинуть тоже было некуда, и мы повернули обратно.

Горькое прощание с другом происходило в похоронном доме, где собралась, наверное, вся наша эмиграция плюс многие из его американских коллег. Гроб стоял на просцениуме с открытой на здешний лад полукрышкой, – причём, гроб какой-то удивляюще дорогой, чуть ли не драгоценный – из красного дерева, лакированный с резными гирляндами.

Греческий священник покадил вокруг, напевая в нос не по-нашему, а потом произнёс прощальную проповедь – по-английски, конечно, но очень тепло и сердечно. Стали подходить к покойнику. Я посмотрел на жёлтое отвердевшее лицо, чёрные брови со знакомым шрамом посредине, гриву закинутых волос. И положил ему под локоть белый свежий платок с горсткой песка, сохранённого мной с похорон Ахматовой на Комаровском кладбище и пронесённого через таможни «для себя», – поделился с другом.

Похороны были назначены на утро, а пока близкие друзья, которых оказалось немало, наполнили собой опустевший дом Виньковецких. Кое-кто приехал из других мест: Нью-Йорка, Бостона, из Калифорнии. Поэтесса Марина Малкина спросила меня:

– Вам Дина тоже прислала билет?

– Ну что вы, что вы... Как можно? Я, конечно, купил билет сам!

Она смутилась... А ведь Малкина прибыла сюда не одна, – с мужем Серёжей, ювелиром и скульптором малых форм. Давно и хорошо зная Фриду Штейн, писательницу, я был уверен, что и она прилетела не за свои. Ну, хоть без мужа. Но – с подружкой Наташей Рымовой, журналисткой. Были и незнакомые мне новоприобретённые друзья Виньковецких, живущие в этом же городе, и они казались особенно погружены в шок. Ещё бы! Для них это был и живой собственный страх, как если б рядом

разверзлась вдруг почва и соседский дом туда провалился... Тягостное недоумение висело в воздухе: как мог такой сильный, волевой и общительный человек, образец успеха для окружения, оказаться без поддержки и вдруг, в одночасье, сломаться? Куда же в эти моменты делся и куда глядел круг его многочисленных друзей? Или же – недоброжелателей? Нет, слышалось мне, в последнее время никакого круга и не было, – только три пары: Яков и Дина, Лёня с женой, да Дина № 2 с мужем. Вот они и общались. Ну, три пары – это шесть углов. Первые два – понятно, а кто остальные четыре? Лёню ты уже знаешь, его жена – так, просто домохозяйка, молодая женщина с двумя малышами. Красивая. Но её здесь нет. Эта вот – Дина № 2, преподаёт где-то русский, а муж её Семён, тоже – так никуда и не пристроился.

– А кто ж всё-таки стукнул?

– Тот, кто хорошо знал, это – наверняка...

Я подошёл ко второй Дине. Внешне – полная противоположность Дины первой: стройная высокая брюнетка с бледным худощавым лицом. В чёрных небольших глазах – страдание. И вдруг я решил проверить её – интуицией, сердцем:

– Дина, вы любили Якова?

– Да, – тихо ответила она и опустила глаза.

Тут же рядом возник её муж. Я спросил и его:

– Кто же донёс?

– Это наверняка КГБ. Компания получила какое-то письмо, и потом разразился скандал. Это КГБ, точно! Они тут вокруг нефти вьются.

Когда посетители разошлись, в доме остались лишь те, кто приехал издалека. Спальных мест не хватало, и я был не против улечься на полу в коридоре, где постелила хозяйка. Повесил рядом одёжный мешок с походными вешалками (Ольга подобрала мне всё чёрное), но заснуть не мог. Вышел к голосам во дворе. Там горел наружный фонарь, двигались фигуры. Посреди сидела на стуле поэтесса Малкина, а вокруг неё ходили с таинственно ритуальными лицами писательница Штейн и журналистка Рымова.

– А вот и Диме не спится, – заметила Фрида. – Ну что, нравится тебе она?

Фрида показывала на поэтессу, которая, встряхнув головой, рассыпала пышные волосы по плечам.

– Это в каком же смысле?

– В том смысле, что она, оказывается, последняя пассия Иосифа, и её тоже зовут Марина, – сказала с подковыркой Фрида.

– Ах, в этом смысле... Ну что ж, волосы хороши, а носик подкачал.

И я отошёл от них к мастерской, где горел яркий свет. Там находилась Дина и с ней муж «последней пассии». Знакомый интерьер выглядел теперь иначе. Большой мольберт, который Яков покупал при мне, как будто присел на корточки, – его прекрасные пропорции, пленившие художника, были искажены: стойка оказалась слишком высока для этого потолка, и он её подпилил... Под лучами лампы лежала на столе толстая пачка больших картонов с абстрактами, написанными в свежей, лёгкой манере. Яков вернулся к своим прежним темам. Вот тебе и «депрессия»!

– Берите на память о Яше! – провозгласила хозяйка. – Дима, что ж ты не берёшь?

Серёжа сворачивал тонкий картон в трубку, пачку с интересом ворожили подошедшие жрицы.

– Оставь себе, не давай расхищать это, Дина! Пригодится...

– «Расхищать!»... – обиделись гости, но копошиться в листах перестали.

– Пойдёмте со мной, я покажу вам что-то... – примирительно предложил мне Серёжа.

Мы прошли в открытый гараж, примыкающий к мастерской. На одной из балок была намотана верёвочка, коротко обрезанная у самого узла. Это была та самая упаковочная – тонкая, скользкая, но крепкая, – её моток Яков купил при мне вместе с мольбертом. Вот она, Яшина верёвочка – как раз напротив окна в гараж...

Когда я заворачивался в полы спальника, подошла Фрида. Глядя на висящий костюм, задумчиво спросила:

– Что ж, у тебя всё – чёрное? И галстук тоже?

– И галстук тоже.

– И туфли?

– Конечно.

Едва я отключился, и – утро. Суматоха вокруг ванной. Я напряжённо прислушивался к шуму воды, ожидая, когда он стихнет, чтобы прорваться в душ. В мой закут заглянула Дина:

– Встаёшь? Мы скоро едем.

Вода продолжала шуметь. Наконец – стоп, хлопнула дверь, и я вскочил на ноги. Но тут же кто-то туда вломился, и всё началось сначала. Жду...

– Дима! Такси ждёт. Едем.



Пришлось спешно одеваться: белая рубашка, чёрный галстук, костюм... что за чёрт! Где мои туфли? В десятый раз перешариваю все уголки, все отделения одежного мешка – нигде нет...

– Дима! Всё, ты остаёшься...

Выбегаю как есть, в чёрном костюме и рыжих шлёпанцах, сажусь в такси рядом с Диной (почёт). На переднем сиденье с шофёром сидит кто-то смуглявый, верглявый, брюнетистый и очень возбуждённый. Отвлекая Дину от чёрных дум, он рассказывает анекдот за анекдотом. Та истерически хохочет. Против воли, одна из шуток заставила и меня ухмыльнуться, и я рассвирепел:

– Слушай, ты, кончай!

– А ты кто такой, чтобы мне указывать?

– А ты кто? Я – Дмитрий Бобышев.

– А, это тот, кто у Бродского Марину увёл? Понятно... А я – Игорь Димент.

– Оно и видно.

С зелёными, умиротворяющими лужайками кладбища ближе всего были схожи, наверное, только поля для гольфа. Глаз отличал здесь лишь невысокие, стоямя, плиты с надписями, редкие деревья да кое-где развевающиеся звёздно-полосатые полотнища на шестах. Погода хмурилась, и над вырытой могилой был установлен тент на случай дождя. Рядом ярко желтел небольшой новенький экскаватор. Гроб, ещё накануне поразивший меня роскошной отделкой, стоял тут же на козлах. Рослые могильщики в униформе нетерпеливо ждали опаздывающих, которые подходили к гробу: дамы – поднося платочек к глазам, а мужчины – поёживаясь плечами от сквозящей утренней сырости.

Я ждал, когда опустят гроб, чтобы по обычаю бросить горсть земли на прощанье. Но ничего этого не происходило. Могильщики попросили всех присутствующих удалиться. Гроб так и оставался на козлах. Я вопросительно взглянул на Дину.

– Так надо, идём, – ответила она.

С кладбища меня увёз Марк Зальцберг, и когда мы вернулись в дом, туфли волшебным образом оказались на месте (ах, как это было кому-то смешно!).

Я прилетел домой, когда воскресенье едва перевалило за полдень. Коротко рассказал Ольге суть произошедшего, и она понимающе оставила меня в покое. Я засел в углу кухни со стаканом красного вина и просидел так до ночи. А к утру у меня сильно заболело в груди, и я попросил Ольгу отвезти меня в больницу.

## Трудная полоса

Это оказался гипертонический криз, не приведший, к счастью, ни к каким инфарктам–инсультам, но потребовавший нескольких дней на восстановление и на разные тесты, а, главное, посадивший меня уже до конца моих дней на таблетки, – такова оказалась здешняя система лечения.

Первые два дня под капельницей я, понятное дело, не курил, – было запрещено, да и просто не до того. Никотинная жажда перекрывалась более серьёзными тяготами. А на третий день, когда полегчало, уже не так и хотелось. Я подумал: нет худа без добра, – принесу–ка я эту привычку, эту почти наркотическую зависимость в жертву, помучаюсь ещё в память о Яше, да и освобожусь, как ящерица от хвоста в минуту опасности.

А пришла Ольга и «понимающе» сунула мне в больничный халат пачку Мальборо и зажигалку. Заметалась моя душа между благодарностью и тяжёлым упреком подруге. Хотелось даже скомкать пачку и бросить к её ногам на чистый до блеска линолеумный пол, да на такой резкий жест сил у меня не хватило. И я закурил.

Мысль об оздоровительном жертвоприношении, однако, меня не оставляла. Много думал о яшиной трагедии, звонил в Техас, интересовался, как там выживают остатки семьи Виньковецких. Дина сообщала, что после такого краха дела стали поправляться. Страховая компания признала легитимность договора и выплатила всю сумму. Нефтяной гигант отступил и даже извинился. Открытие рассекречено и авторские права восстановлены. Ребятам трудно, но они – молодцами... А сама Дина решила съездить и отдохнуть от всех передрыг на мексиканский курорт. Без затей – на самый шикарный, в Канкун.

– Ты, наверное, будешь меня презирать, – добавила она вопросительно.

– Ну что ты, Дина! Конечно, тебе необходимо отдохнуть, развеяться...

Вскоре я узнал, что Виньковецкие (или уже – Перловские?) переезжают с Лёней в Бостон, где он получил замечательную работу. А дом в Хьюстоне пущен на продажу. Дина опубликовала у того же издателя ещё одну книгу, вторую, затем – третью, стала держать литературный салон, конкурирующий с Фридой Штейн. Её проза – это беглые очерки впечатлений об Америке, мемуары по горячим следам, нечто вроде того, что я пишу на этих страницах. Того трагического фарса, который я только что описал, там нет, но критиковать Дину я не стану, тем более, что её расхвалил общепризнанный

властитель дум, и она прислала мне вместе с книгой копию его стихотворного комплимента:

«Ай да Дина! Ваша хевра  
удостоилась шедевра».

И – подпись: «Иосиф Бродский».

К нему был приложен перевод на английский:

«Hey, Diana! Your hevra  
is awarded a masterpiece.

Joseph Brodsky

(Nobel Laureate, 1987)»

Может быть, и шедевр... Только что означает «ваша хевра», к которой он относит и авторшу? В лучшем случае это – «похоронная команда». А в худшем? Сами ищите по словарям.

А я не отказался от своего намерения бросить курить и день за днём копил решимость, пока однажды, проснувшись, не отрезал: «Всё, баста!». И с этим уехал на работу. Таким образом, восемь часов сна уже засчитывались в актив, но последующие часы были истинным мученьем, от которого я спасался, увлекая себя с головой в рутинную работу, словно в азартную игру. К середине дня моя соседка Полетта заметила с удивлением:

– Дмитрий! Что происходит? Вы бросили курить!

Я даже заскрежетал с досады: всё, сдаваться теперь никак нельзя – она ведь заклюёт насмешками... И что ж, злость прибавила мне упорства. Задача в конце концов оказалась одолжимой, но трудней всего были первые два часа, первые два дня, два месяца и два года. А потом хотелось курить только во сне. Это оказалось одним из лучших решений в моей жизни. Одно было – отъезд в Америку, другое – вот этот отказ от курения, а о третьем я поведаю, когда придёт время...

Но параллельно наваливалась ещё одна напасть – зубы. Из моих сверстников, чьё раннее детство совпало с Большой войной, редко у кого они оставались хороши. А в школьные годы моя мать, которая сама сияла золотой коронкой на переднем зубе, гоняла меня к подпольной дантистке Екатерине Абрамовне на Колокольную улицу. Из конспирации (дабы не донесли соседи) вскрикивать от боли запрещалось. Старушка с трудом крутила ножной привод бормашины, старалась не причинить боль и дело своё знала. Так что зубы мои были вполне ухожены, и уж вовсе не «жёлтые и вонючие», как мило пошутил Жозеф в своей надписи к стихам, оставленным на моём столе. Об этом я уже рассказывал в первой книге воспоминаний, но, поскольку история получила

некоторый поворот и дальнейшее развитие, стоит её здесь напомнить.

Как бы её точнее назвать?

### Украдено у...

Я имею в виду рукопись одного из самых популярных стихотворений Бродского «Ни страны, ни погоста...». Оно настолько понравилось поклонникам поэта, что они даже вознамерились поставить памятник автору на Васильевском острове, чтобы таким образом исполнилось его невыполненное обещание придти туда умирать. Я стал обладателем этой рукописи, наверное, в тот день, когда стихи были написаны. В самом начале 60-х годов мы часто общались, называли один другого Жозеф и Деметр и носили друг другу на отзыв только что написанные стихи. Я был женат тогда первым браком, жил на квартире у тётчи, и Иосиф частенько заходил ко мне, не удосужась предварительно позвонить. Вот как я рассказал об этом в первом томе «человекотекста»:

«Однажды после работы я задержался на приёме у зубного врача. Я следил за собой и, желая нравиться моей миловидной жене, не пренебрегал визитами к дантисту, хотя бы для профилактики. Вернувшись, я услышал от тётчи:

– К вам заходил уж не знаю кто он вам – друг? Приятель? На письменном столе он оставил записку.

В пишущую машинку, выпрошенную накануне и тётчи, был вставлен лист бумаги с таким знаменательным текстом: «Деметр! Пока ты там ковырялся в своих жёлтых воночьих зубах, я написал гениальные стихи. Вот они:

Ни страны, но погоста  
не хочу выбирать...».

И т. д. И – подпись от руки: «Иосиф Бродский».

Первый мой вопрос был: «Где он нашёл на Васильевском темно-синий фасад? Там все – серые и голубые...». А второй: «Сколько времени на глазах моих близких (и – близких врагов) красовалась его паршивая и плоская шутка?». Я скомкал листок и бросил его в корзину. Иосиф исчез надолго».

Я был совершенно уверен, что содержимое корзины отправилось в мусор и, таким образом, рукопись стала жертвой моей досады на автора. У меня сохранилось несколько других автографов Бродского, но этого стихотворения среди них нет, –

следовательно, тот лист уничтожен. Однако дело оказалось сложней.

В 1979 году я покидал Советский Союз и был уверен, что навсегда. Хотя я не терял гражданства, пришлось мне пройти все те же процедуры, что и остальные эмигранты, включая строжайший таможенный досмотр и личный обыск. Вывозу не подлежали старые книги, документы, ценности, у некоторых отбирались записные книжки с телефонами, фотографии. Поэтому свой архив я частично раздарил, а наиболее дорогую мне часть передал на хранение доверенному лицу, надёжному другу. Этот человек прошёл испытание брежневским Гулагом, поддерживал меня в тяжёлое время перед отъездом, и ему я доверял полностью. Но, как выяснилось, напрасно.

С началом Перестройки я съездил в Ленинград и с тех пор стал там бывать ежегодно. Естественно, я захотел получить свой архив назад. Но каждый раз, когда я запрашивал, у хранителя находилась отговорка. Там находились мои старые записные книжки, которые мне позарез были нужны для книги воспоминаний, я начал настойчиво требовать и, наконец, получил заветный чемоданчик. Описать я в своё время, увы, не составил и, хотя мне смутно казалось, что бумаг было больше, посчитал, что вернулось всё.

И вот вышла моя книга, которая получила довольно—таки неравнодушные отзывы. Это понятно, там есть нелицеприятные описания, а многие участники былых событий живы (дай—то им Бог ещё!), и у них есть собственный взгляд на вещи. Кроме того, по словам некоторых читателей, отдельные детали оказались неточны. Например, я написал, что после нашего разрыва с Бродским он не вернул мне две книги — «Маленького принца» Экзюпери и «1919» Дос Пассоса, а теперь они уже собственность музея. Музейные работники меня поправили: Экзюпери, действительно, есть, а Дос Пассоса нет. По их мнению, это аберрация памяти, но я предполагаю другие варианты.

Позвонила мне и жена (увы, вдова) доверенного лица, теперь покойного. У неё тоже нашлись замечания к моему человекотексту, — правда, совсем небольшие. Я, оказывается, не совсем точно процитировал записку Бродского, сопроводившую стихотворение «Ни страны, ни погоста». Там нет эпитета «гениальные»... Но как же она могла знать точный текст, если рукопись утрачена? Значит, она была сохранена, но ко мне не вернулась, а была присвоена хранителем архива. Вдова отказалась от объяснений.

Тогда остаётся ещё один вопрос: почему же я так ясно помню, как скомкал листок и бросил его в корзину? Память, снова включившись, подсказала ответ: потому что так сначала и было. Да, скомкал и бросил, а потом подумал секунду и решил (сознаюсь, довольно цинически), что время покажет и я, может быть, получу какое-то удовлетворение от этого листка: продам или обнаружю эту позорящую меня (и, конечно же – автора!) шутку. Я вынул рукопись из корзины, расправил и спрятал в архив. А хранитель взял, да и украл её.

У некоторых библиофилов бытовал такой обычай, – они либо ставили резиновый штамп, либо наклеивали на свои книги экслибрис с надписью не совсем обычного содержания: «Украдено у...». И дальше вписывали своё имя. Это, конечно, было не очень учтиво по отношению к гостям и посетителям, но суть дела передавало совершенно точно. Вот и та рукопись была украдена у Дмитрия Бобышева, – так что советую учесть уголовный характер сделки возможному её покупателю.

### **Трудная полоса (продолжение)**

Когда я приехал в Америку, рот мой был полон зубов. Однако, мне нелегко было состязаться по части улыбок с местным населением. Когда я лицом выражал радушие и приязнь, во рту угрюмо поблескивали 2 – 3 стальных коронки, – результаты работ, проведённых в зубоврачебной клинике, находившейся тогда на Петроградской стороне в очаровательном особняке стиля модерн на улице Скороходова (ныне Б. Пушкарской). Хотя я и получил от тех дантисток (с платонической благодарностью) восхитительное чувство крепких зубов, до американских достижений им тоже было далеко. При здешних общениях это подтверждалось на каждом шагу. Особенно охотно улыбались старички и старушки, показывая миру два ряда отборного жемчуга. Их оптимизм был двойной возгонки. Такое явление называется аутотренинг и заключается в том, что улыбка, даже искусственно вызванная, приводит в движение лицевые мускулы, а те, в свою очередь, посылают сигналы в мозг, к центрам оптимизма и радости, и тогда уже наступает вселенское счастье.

Но в самой глубине этого сияющего улыбками рая коренилась кровавая, простая и страшная процедура: выдирались к черту все зубы, как больные, так и здоровые, давалось время зажить несчастным дёснам и челюстям, а затем туда вставлялась пара искусственных совершенств. Такова была стоматологическая доктрина, под которую подпадало всё предыдущее поколение оптимистических старичков.

К моему приезду эта жестокая практика дала послабления: дети стали подолгу носить уродливые шины во рту, чтоб исправить прикус, а к тем, кто постарше, стали применять хитрые незаметные устройства в виде мостов и металлокерамики. Помню, как Айлин, ольгина нью-йоркская подруга, очнулась от затяжного периода хмурости, раздражения и уныния и разом похорошела, стала приветливой. Её муж Макс объяснил это по-американски:

– У неё во рту поместился мой новый автомобиль.

– Ну уж ты скажешь... Так-таки новый? – не удержалась и лишний раз улыбнулась Айлин.

– Новый подержанный – это точно.

Они рассуждали о том, сколько эта улыбка стоила.

Когда заболел у меня зуб под коронкой, мне тоже пришлось об этом подумать. «Астронавтика» оплачивала общую медицинскую страховку, но не зубную. Пришлось раскошелиться нам самим из семейного бюджета. И начались мои растянувшиеся месяца на два терзания не только у дантиста (мы уж выбрали лучшего – председателя местной ассоциации зубарей), но и у периодонтиста, то есть челюстного хирурга, тоже какой-то знаменитости. Первым делом они наобещали минимум неудобств и максимум ослепительных улыбок по окончании дела. Потом они разругали в пух работу своих советских коллег и принялись за малые мучения. Это были обмеры, рентгены и гипсовые слепки. Затем приступили к наиболее серьёзным частям проекта: выдрали 11 (одиннадцать) зубов. Правда, не все сразу. У оставшихся подрезали дёсны и скоблили корни, – разумеется, сначала крепко заморозив, да так, что голова чувствовала себя черепом дохлого осла. Когда это всё оттаивало, хотелось лезть на стенки. В таком состоянии водить машину было нельзя, и я ездил на муки автобусом.

Оказалось к тому же, что дорогая моя супруга не может видеть моих страданий, а потому каждый раз у неё находились неотложные дела в университете. Конечно, мне выписали сильные обезболивающие таблетки. С рецептом в руке и кровавым тампоном за щекой я спустился в аптеку. Пока ждал и смотрел, как провизорша отмеряет составляющие ингредиенты и штампует крупные белые пилюли, боль разморозилась. Сухая таблетка не лезла в горло.

– Water, water, – просил я, пуская розовые пузыри.

Воды у аптекарши не нашлось. В ослеплении я нажал не на ту кнопку в лифте и оказался в подвале. Там чернорабочий (и – чёрнокожий к тому же) ворочал мусорные контейнеры. Лифт ушёл. Как в ловушке, заметался я в поисках выхода. Рабочий заметил

моё смятение и с добродушной ухмылкой вызвал лифт, но я уже обнаружил лестницу наверх и выбрался из здания. От автобуса уже бежал до дому, чтобы запить проклятую пилюлю. До того, как она подействует, оставалось ещё полчаса. И что ж? Меня отвлекла видеоигра: электронная лягушка должна была невредимо пересечь реку, изобилующую крокодилами. Она прыгала по плавающим брёвнам, по спинам крокодилов, обрывалась в воду, прыгала вновь...

Я чувствовал себя этой лягушкой.

Как известно, зубные врачи любят разговаривать с пациентами, когда те сидят с открытым ртом. Не отсюда ли пошло выражение «заговаривать зубы»? Хорошо, пусть не отсюда, но разговорчивость их подтвердят многие. О чём же болтали мои мучители в моменты «интимной близости»? О русской литературе, конечно, о трудностях языка, о спутниках, тройках, водке, матрёшках, о своих планах когда-нибудь обязательно посетить город на Неве и далее – по широкому спектру вопросов, в том числе на темы жизни и смерти. Мой периодонтист выдал внушительный афоризм: «Самоубийство – это окончательное решение временных проблем». Трюизм, конечно, но как точно в нём выражается суть! Вот что надо было сказать мне Виньковецкому, а не обсуждать запахи тамбовского самогона.

Между тем, коварная тема поселилась в мыслях, незаметно и постепенно погружая сознание в депрессию. Разрослась она, заклубилась вокруг «временных проблем», представляя их постоянными, и заныла тоска, и свет стал не мил. Уродливо вспухал и опять опадал протест, даже обвинение, против – не чего бы то ни было, а – всего мироустройства. Мнилось: и я к чему-то стремился, вот-вот бы и достиг, и чуть-чуть не схватил, но фейерверки уже осыпались и погасли, а в результате – только жизнь себе и другим изломал... Тогда зачем это всё?

Теперь, когда пыточная эпопея сводилась «всего лишь» к замораживанию–размораживанию, бурению, удалению зубного нерва и цементированию каналов, я уже не ездил автобусом в центр города, а машиной – в зелёный благоустроенный район на севере. Когда описанные процедуры и разговоры заканчивались, я ехал мимо нарядных коттеджей и ухоженных лужаек и, сбросив скорость, сворачивал направо, на живописную дорогу, петляющую по-над озером. На подъезде к этому повороту открывалась с обрывистого берега великолепная водная, почти морская перспектива, переходящая за горизонтом в воздушно-океанную. Там вверху творилась нежная бело-голубая мистерия: на



немыслимую высоту наносился лёгкий рисунок, напоминающий оперенье заоблачной цесарки, а ещё выше широкими на весь небосвод завитками разметались головокружительные полосы, ветровые лекала и завихрения, летучие трассы – кого? – ангелов, возвышенных замыслов, инопланетных пришельцев?

И хотелось тогда вместо тормоза ударить педаль газа, шпорами разогнать широкобокую золотистую Голду и, вместо поворота направо, смести на возрастающей скорости условный заборчик впереди, да и взлететь... И, хоть на несколько миггов, стать частью разверзнувшегося пейзажа.

– Вот сейчас! – давал я себе команду, подъезжая.

И тут же её отменял.

– Эх, надо было начать разгоняться чуть раньше, на горке.

Что это было – игра? Серьёз? Или – истерика на грани обрыва? К счастью, я скоро получил ту награду, ради которой столько терпел – улыбку. Не такую уж ослепительную, хотя и честно вымученную, а вместе с ней и бодрящее чувство крепкозубости. Улыбка привела в движение лицевые мускулы, те дали сигнал в мозг, и жизнь, чёрт подери, оказалась не такой уж паршивой штуковиной.

### **Милуокские празднества**

Человеку с улыбкой находилось немало забав и удовольствий в округе. Любили жители Пивной столицы устраивать фестивали, да и сейчас наверняка любят. Даже экскурсия на завод Миллера, куда я отправился с матерью, чтоб показать ей нашу достопримечательность, был обставлен как праздник. Разговорчивый пивных дел мастер с усами щёткой и в белой пластмассовой каске (такие же были выданы на голову каждого посетителя) провёл нас по цеху вдоль сияющих труб красной меди и пузатых наполированных аппаратов, и ни солода, ни дрожжей, ни другого бродильного пучения в воздухе не почувствовав, мы были проведены с почётом в распивочный зал, где получили сувениры и по кружке светлого пенистого Миллер-лайта, выпитого с удовольствием. Чисто, нарядно, – не то, что на заводе Степана Разина, после посещения которого (в бытность мою редактором ленинградского ТВ) я с содроганьем за версту обходил пивные ларьки. А ведь бывали там и такие извращенцы-любители, что алкали и рыскали в поисках кружки пивных дрожжей! Но можно было понять и Тадеуша, моего польского ко-астронавта, который мрачно шутил по поводу излишней стерильности Микелоба и Миллера: выгнали, мол, из Германии неумелых пивоваров, и всех – сюда... Польского пива я не

пробовал, да и не стану, – вкусней чешского Пильзнера Урквелла всё равно ничего не найти!

Что же касается празднеств и фестивалей, то здешние жители были на них мастера и даже соревновались общинами и соседствами (микрорайонами? околотками?) между собой. С начала лета что–нибудь да происходило на выходные, а бывало и на целую неделю: то художественная ярмарка на пространствах городского пляжа со множеством уникальных забав (пропустишь – уже не повторится), то итальянский, то польский фестиваль с изобилием популярных напитков и еды: шипящие на жаровнях колбасы, копчёные языки, десятки поросят на вертеле, которые жарятся тут же. А на воде – парусные регаты и скоростные скутеры... И – реющие в воздухе разноцветные змеи причудливых форм! И – сахарные липкие снежки! И – клоуны, раздающие детям конфеты!

Были и открытые пикники по районам – мексиканский, «чернышевский», но там больше привечали своих, и на них мы не бывали. А на индейское пау–вау всё же пошли – из одного любопытства: куда же исчезло коренное население?

А оказалось – просто прятались в обыденных джинсах и куртках, словно охотник в кусту. Их празднество происходило в одном из больших спортивных залов; на лужайке стоял раскрашенный тотем и были разбиты жилища: островерхие типи и полусферические вигвамы (а не наоборот!). В большой бубен били и завывали койотами племенные вожди с расписными лицами. У парней в хороводе перья были прикреплены на поясице, на манер индюков, а на курочках–женщинах тряслись украшения из бисера. Пластика танцев с мягкими притопами менялась от осторожной и вкрадчивой до грубо агрессивной, как бы охотничьей; ритм бубна (а других инструментов и не было) показался мне унылым и диким.

Несколько лиц из танцующих выглядели знакомо. Это были двое рабочих и уборщица из «Астронавтики», а я прежде и не думал, что они индейцы. Мне почудилось, что я смущаю их моим присутствием, и я не показал виду, что мы знакомы. Они тут же отделились первобытной магии танца и в конце с оживлением принимали подарки от вождей – домотканые одеяла и накидки – предметы комфорта для кочевого быта.

Ещё до отъезда матери нам удалось свозить её на совсем необычный «Карнавал короля Артура», костюмированный под средневековые праздник за пределами города. Там пелись мадригалы, там фехтовали деревянными, но довольно увесистыми мечами члены «Общества творческого анахронизма» и ристали конные рыцари в латах. Живой слон катал онемевших от страха

детей. И даже – представить себе трудно! – в луже сидел юродивый и размазывал грязь по лицу и лохмотьям. Тут уж детишки, да и взрослые просто заходились от сладкого ужаса.

Надо припомнить тогда и немецкий «Октоберфест», наиболее размашистое гулянье, – пир горой по количеству пива и сосисок, да и самый голосистый по горловым «йодль–йодлям»? Но ещё пуще заливались над озером звёзды эстрады с заслоном охранников–тяжеловесов перед сценой. Тут уже раскошеливался мэр из немалых бюджетных зачачек. Громовые усилители песен–кричалок возбуждали подростков, а родителям были милей задуманные придыхания Мэла Торме...

Городские празднества, пышные и щедрые, заключал собой «Фестиваль фестивалей», занимавший разом два самых объёмистых сооружения для массовых сходок горожан – Арену и Форум, соединённых стеклянным виадуком. Там уже все этносы показывали самое яркое из своих культур в наиболее очевидных выражениях, конечно, – танцах, костюмах и горячих образцах национальных блюд. Наслушавшись скрипок и цимбал, насмотревшись на танцевальную пестроту смуглых, розовых и жёлтых девчонок и парней, хорошо было отведать украинского борщеца и заесть его чилийским цыплёнком в шоколаде или китайским пряным пельменем, держа его в клюве из бамбуковых палочек.

Всё это собирало тучи народу, и когда был объявлен джазовый фестиваль звёзд, мы с Ольгой приехали к летнему театру загодя, чтобы попасть наверняка. Имена в программе были обещаны легендарные, и услышать, увидев их живьём, граничило бы с чудом для моих давних и далёких сверстников, которые (когда–то в былом!) благоговейно внимали волшебным звукам, звучащим сквозь радио–хрипы в передачах Виллиса Коновера или в шипеньях тупых иголок, терзавших «джаз на костях». Взять бы сюда из тех лет, если б он точно пообещал не приставать к моей подруге, Серёжу Вольфа с его джазовыми (в сказочном жанре) фантазиями, с импровизациями при помощи гитары и телефона на тему «Колыбельной птичьего острова». Пригласил бы, пожалуй, если б мы помирились, и Жозефа, мечтавшего читать стихи под джаз и токовавшего, полузакрыв глаза и мечту свою заклиная:

Играй, играй, Диззи Гиллеспи  
и Джерри Маллиган, и Ширинг, Ширинг.  
В белых платьях, все вы там в белых платьях  
и в белых рубашках...

Но никакого билетного ажиотажа не наблюдалось. Театр под открытым небом был почти пуст. Редкая публика собиралась за сетчатым забором, подтянув поближе пикниковые столы со скамейками, располагаясь на них с холодильными сумками, чтобы оттуда послушать артистов на дармовщинку. Мы купили недорогие билеты и, войдя в огороженное пространство, легко нашли места поближе к сцене. Прославленные артисты прибывали на солидных машинах к боковому входу, где уже стоял невиданный открытый вихикл (транспортное средство) пожарно–красного цвета с никелированными колёсами, крыльями и радиатором. Кто же на нём приехал? Не Луис ли Армстронг? Нет, великий трубач отмаршировал уже со святыми в высшие эмпирей...

На сцену вышел как раз Диззи Гиллеспи с нагло заломанным кверху раструбом своей золочёной штуки и оглушительно ею пискнул, пукнул и заиграл, заиграл жаркий би–боп, огромными шарами раздувая коричневые щёки, – да так, что они уже просвечивали жёлтым.

Публика у сцены и уже довольно–таки многочисленно собравшаяся за ограждением бурно заплодировала.

Появилось ещё одно чудо в виде четырёх афроамериканских пожилых джентльменов. Это был Модерн Джаз Квартет, давно распавшийся, но ради такого дела объединившийся вновь. Они были одеты очень стильно, а уж играли – я бы сказал, платиново–иридиево, эталонно!.. Полновесные, но дрожащие и чуть печальные звуки вибратона просквживались по диагонали чистыми, твёрдыми, но тоже не без бемольной слезы пассажирами фортепьяно. Мягкие синкопы поддерживал бас и шепотком утешал ударник. Памяти Джанго Рейнхарта! Кто теперь помнит этого гитариста? А они его с просветлённостью вспоминали, заодно готовя и нас, чтобы мы помянули когда–нибудь их, гармонических мудрецов, когда жизненный срок уже совсем выйдет. Но пока они были здесь, мы вместе вызывали былое, длили и провожали его, а затем светло и уже навсегда прощались.

И – вышла к нам Элла, великая Элла Фицджеральд. Боже мой, почти совсем–совсем старенькая или, скорей, совсем пожилая, похожая на школьную учительницу платьицем в мелкий горошек, но притом в красной шляпке на серых кудельках, она всё равно вызвала штормовой восторг. Сильные очки скрывали половину её тёмного личика. Экстатический поклонник выскочил к ней на сцену – то ли за автографом, то ли чтоб секундно покрасоваться со знаменитостью, но был тут же оттащен вбок и исчез за кулисами.

И она запела легко, лишь чуть расцвечивая наивную интонацию каплей кокетства. И я понял, что в её голосе так нас тянуло к ней в пору юных погонь за подругами, – вот эта частица незримого феромона, впрыснутая в разгорячённый молодой заботой мозг. И тут же понял другое: дело не в самой эротической клавише, а во всём многогласии её драгоценной гортани и остальных певчих устройств, когда глупая песенка превращается в богато поставленную оперу, исполняемую ею одной. Что она выделяла горлом, помимо нехитрых словечек текста: то испускала фортепьянные рулады заумных звуков, то на равных забалтывала саксофон, то жужжала, как щётки ударника по литавре, то звенела трубой!

Элла уехала на том самом красном вихikle с никелированными наворотами. Её шляпка в точности гармонировала с цветом его бортов.

*(продолжение следует)*



# Игорь Рейф

## Юрий Трифонов: 30 лет спустя

*...И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство.*  
Борис Пастернак



В марте не так давно отшумевшего 2011 года исполнилось 30 лет со дня смерти Юрия Валентиновича Трифонова. Срок по нынешним временам огромный, вместивший в себя грандиозные перемены и подвижки – в быту, в сознании, в социальных отношениях. И хотя все мы родом из СССР, включая и тех, кто родился после его распада, но все же люди в своей массе живут и думают теперь не совсем так, как когда-то, а потому и многое в этом прошлом видится им как сквозь слегка затуманенное стекло. Что уж говорить о художественной литературе тех лет, особенно, как в случае с Трифоновым, намертво привязанной к реалиям поздне-советской эпохи. Между прочим, многие и смотрят сегодня на его творчество как на ее литературный отпечаток, теперешнему читателю уже мало созвучный, а потому и не слишком интересный.

В Википедии о Юрии Трифонове сказано так: «одна из главных фигур литературного процесса 1960-х –1970-х годов в СССР». То есть не вообще русской, советской литературы, а именно литературы конкретных десятилетий. Да, о жизни городской, столичной интеллигенции послевоенных десятилетий судят и будут судить в первую очередь по Трифонову, по таким его вещам, как «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной», потому что правдивей и глубже него никто эту жизнь не описал. Как ядовито заметил в своем дневнике Юрий Нагибин, «все, кого я ни читаю, – Трифоновы разного калибра. Грекова – Трифонов (наилучший), Маканин – Трифонов, Щербакова – Трифонов, Амлинский – Трифонов, и мой друг Карелин – Трифонов»<sup>1</sup>. Но ведь и о России последнего десятилетия XIX века мы судим

---

Нагибин Ю. Дневник М.: Издательство «Книжный сад», 1996. С. 403

<sup>66</sup> Трифонов Ю. Записки соседа. Воспоминания  
[http://royallib.ru/read/trifonov\\_yuriy/zapiski\\_soseda.html#0](http://royallib.ru/read/trifonov_yuriy/zapiski_soseda.html#0)

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

прежде всего по Чехову, однако никому не придет же в голову аттестовать Чехова как главную фигуру литературного процесса 1890-х годов, хотя это и правда.

В свое время ангажированная советская критика, почти так же, как когда-то Чехова, упрекала Трифонова в заземленности, в увлечении бытописанием, и эти попреки, надо сказать, не проходили бесследно.

– Я пишу о жизни и смерти, – недоумевал он, – а у меня находят один лишь быт. Пишу о любви, о долге, о человеческой порядочности, а мне опять вменяют в вину неспособность подняться над подробностями быта.



Юрий Трифонов

Да, что-то подобное происходило и с Чеховым. Его сразу полюбила читающая публика, но очень долго косилась в его сторону журнальная критика, видевшая в нем холодного натуралиста, «апостола беспринципности», бесстрастно фиксирующего неприглядные стороны современной ему действительности, не уравновешенной никакими позитивными идеалами. А все дело было в новой художественной эстетике, до которой просто не дозрели некоторые из чеховских недоброжелателей.

И еще одна параллель, невольно напрашивающаяся при сопоставлении этих двух авторов. Ведь, как известно, было два разных Чехова. Один – автор «Осколков» и «Будильника», легкий и плодовитый Антоша Чехонте, относившийся, по собственному его признанию, без должного уважения к своему таланту. И другой, каким он стал к 26-27 годам, постепенно вырастая из неприятельского газетно-журнального юмориста и превращаясь в глубокого и трезвого художника, безжалостно браковавшего

плоды своего раннего творчества, значительную часть которого он даже не включил в собрание сочинений (это сделали без него полстолетия спустя, наплевав на его авторскую волю).

25-летний Юрий Трифонов заявил о себе как типичный литератор эпохи соцреализма. Его первая большая вещь «Студенты», получившая одобрение на самом верху, была удостоена Сталинской премии (впоследствии он говорил, что не отказывается ни от чего им написанного, но из повести «Студенты» не в состоянии прочесть больше двух страниц). А потом были полтора десятилетия мучительных поисков – себя, своего мироощущения, своего места в литературе и своей особой стилистики. За это время у него вышел большой роман «Утоление жажды» – о строителях Каракумского канала, сборник рассказов, серия очерков на спортивную тему, но все это был еще тот, по преимуществу старый Трифонов, с которым он окончательно распрощался лишь к концу 1960-х годов. И так же как для Чехова все его «Лошадиные фамилии», «Унтеры Пришибевы» и пр. были лишь пробой сил, только подготовкой к предначертанному ему великому поприщу, так и проза Трифонова первых полутора десятилетий явилась для него своего рода предстартовой площадкой, испытательным полигоном, когда старое еще цепко держало его в своих соцреалистических объятьях. И если бы не чудо его второго рождения, он был бы сегодня скорее всего забыт, а его творчество осталось бы достоянием одних историков литературы.

Новый Трифонов, которого мы так любим и ценим, начался с автобиографической повести «Отблеск костра», посвященной памяти его репрессированного отца (вышла в 1967 г. отдельной книгой), но в особенности – с опубликованной «Новым миром» повести «Обмен» (1969 г.) и нескольких рассказов («Голубиная гибель» и др.). И тут нельзя не сказать о некоторой драматической несинхронности в творческой судьбе писателя.

Ведь все написанное им после 1967-68 года с полным правом можно отнести к так называемой оттепельной прозе, хотя оттепель к тому моменту осталась уже позади. Как сказал однажды сам Трифонов, вернувшись из издательства, где подписывался в набор «Отблеск костра», «мною захлопнули дверь». Но в то время когда Твардовский открывал и переоткрывал своих новых авторов, поднявшихся на оттепельной волне, – Солженицына, Федора Абрамова, Георгия Владимова и др., – которых пестовал, как собственных детей, и которыми гордился, Трифонова, однако, «своим» не считал и к его творчеству относился безо всякого интереса. Хотя чувствовал в



нем родственную душу и мог часами увлеченно беседовать, стоя у дачного заборчика – они были соседями в поселке «Красная Пахра» – и обсуждая последние литературные новости, а нередко и выпивать. (Заметим в скобках, что именно Твардовский напечатал когда-то в «Новом мире» его повесть «Студенты» и даже выдвинул ее на Сталинскую премию. Но то был другой «Новый мир», другой Твардовский и, вообще, совсем-совсем другая эпоха.) И когда Трифонов после 17-летнего перерыва вступил, наконец, на подножку поезда под названием «Новый мир», решив передать редакции сначала «Голубиную гибель», а затем и «Обмен», поезд этот отсчитывал уже последние километры пути, и Твардовскому, ушедшему с головой в борьбу за сохранение журнала, было уже, по большому счету, не до него. И только этим можно объяснить прохладную реакцию главного редактора, принявшего к печати его первую «московскую» повесть.

«Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? – спросил он, возвращая автору рукопись с редакторскими пометками. – Какая-то новая тема, она тяжелеет, запутывает. <...> Вот вы подумайте, не лучше ли убрать». «Может быть, Александр Трифонович не слишком внимательно читал – было не до того, – вспоминал впоследствии Трифонов, – а может, в виду сгущавшейся опасности проявлял некоторую осторожность. <...> Но, когда я сказал, что поселок красных партизан для меня важен и убирать его не стоит, ибо исчезнет второй план, Александр Трифонович легко согласился: «Пожалуйста, оставляйте...» В этом легком согласии я почувствовал не только великодушие редактора, но и некое грустное безразличие... И это было то, что омрачало радость»<sup>2</sup>.

«Обмен» был напечатан в предпоследнем номере журнала, подписанном Твардовским, а с января 1970 года «Новый мир» в прежнем своем составе прекратил существование. И это была потеря не только для тех, кто в нем работал и печатался, но для всей читающей России. Да, не стало журнала, сумевшего собрать вокруг себя лучшие литературные силы, а год спустя, сломленный утратой своего детища, ушел из жизни и главный «собиратель» Александр Твардовский. Но осталась блестящая когорта выпестованных им авторов, «птенцов гнезда александрова», какой

---

<sup>66</sup> Трифонов Ю. Записки соседа. Воспоминания  
[http://royallib.ru/read/trifonov\\_yuriy/zapiski\\_soseda.html#0](http://royallib.ru/read/trifonov_yuriy/zapiski_soseda.html#0)

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

могла бы на тот момент позавидовать любая литература мира, и каждому из них предстояло теперь выгрести самостоятельно.

Всего десять лет отвела судьба на это самостоятельное плавание самому Юрию Валентиновичу. Но именно в эти десять лет он развернулся в полную свою силу, как бы перехватив эстафету, перенятую им из рук Твардовского, а, с другой стороны, уйдя далеко за горизонты новомирской школы. И если к 1962 году в активе Трифонова не было ничего равного «Одному дню Ивана Денисовича» или «Случаю на станции Кочетовка» – Солженицын считался в те годы первым автором «Нового мира», – то в дальнейшем по масштабам литературного дарования он, конечно, его превзошел, хотя Нобелевской премии и не получил (правда, выдвигался на нее и даже, как говорят, был близок к заветной черте, но внезапная смерть перечеркнула эти надежды). Впрочем, ее не получил и Чехов, а в случае с Солженицыным, если быть откровенными, известную роль сыграла и политическая конъюнктура.

Невозможно не поражаться тому, как же много было сделано Трифоновым за это последнее отпущенное ему десятилетие. Цикл «московских повестей», «Записки соседа» (некий аналог солженицынского «Теленка»), исторический роман о народолюбцах «Нетерпение», романы «Старик», «Время и место» (по социально-историческому охвату выведенных в нем людей и событий вполне могущее претендовать на звание эпопеи), оставшееся неоконченным «Исчезновение»... И на каждом из них печать его мощного таланта. Однажды, проводя аналогию с чеховским «многочислением», он назвал этот стиль работы бурнописанием, страстнописанием. Но этот лихорадочный, обгоняющий слова и мысли творческий поток направлялся твердой рукой, о чем можно судить по великолепно выстроенной архитектонике каждой из его вещей, когда сюжет раскручивается как пружина, властно приковывая к себе неослабевающее читательское внимание.

Как-то на встрече со студентами литинститута Трифонов признался, что в молодости самым главным для писателя считал сюжет и гонялся за сюжетами. Потом пришло осознание того, что главное это слова, а еще позже, что главное это мысли. Однако когда читаешь Трифонова, начинаешь понимать, что все это, как говорится, условия необходимые, но недостаточные, и что главное все-таки – это его удивительный дар рассказчика, проявляющийся в каком-то особенном сцеплении мыслей и слов, столь естественном и органичном, что каждый сюжетный поворот, каждый поступок или реплика героя по степени своей

достоверности кажутся соперничающими с самой жизнью. И эта завораживающая чужая жизнь со сложной игрой ее явных и скрытых смыслов берет нас в плен с первых же страниц произведения, так что уже не оторваться.

Это колдовство усугубляется еще и постоянной перебивкой планов – сна и яви, внешнего и внутреннего, настоящего и прошедшего, вкраплением в ткань повествования фрагментов с участием автора и т.д. Особенно примечательно в этом смысле смещение временных планов – ведь время, его приметы, его специфическая атмосфера, едва ли не главный герой трифоновской прозы. Следуя за судьбами его персонажей, мы все время словно бы колеблемся между настоящим и прошлым, то переносясь в еще не остывший вчерашний день, то погружаясь в самые отдаленные, глубинные его истоки. Эта уникальная авторская позиция, когда нет ни устойчивого вчера, ни сегодня, которые постоянно перетекают друг в друга, то и дело меняясь местами, позволяет увидеть человеческие судьбы как бы с высоты птичьего полета, одномоментно, или симультанно, как говорят психологи, во всем их масштабе и объеме. При этом подробности быта – неизменный объект пристального внимания автора – вырастают у него до размеров бытия, к которому устремлены все его интересы. И это прикосновение к бытию, к его экзистенции, проступающей сквозь вещную, осязаемую оболочку, и есть, наверное, одна из самых драгоценных особенностей трифоновской прозы, не оставляющей безучастной ни одну живую читательскую душу.

Вместе с тем, при всем совершенстве своей писательской техники, Трифонов был и остается продолжателем русской реалистической школы, в том смысле как ее понимал еще Белинский – «воссоздание жизни средствами самой жизни», и мог бы повторить вслед за Л.Толстым: главный герой моих произведений – правда. Но это реализм, обогащенный всеми достижениями литературы минувшего столетия с ее кинематографичностью мышления, углубленным психологизмом, вниманием к сексуальной стороне жизни, отказом от многих табу и пр. Да и само его творчество вплетено в самую сердцевину художественных поисков XX века, и в этом смысле он может по праву числиться в одном ряду не только с Буниным или Чеховым, но и с Элинджером, Бёллем, Ленцем и др.

Как и все советские писатели, Юрий Трифонов ездил в творческие командировки, выписывавшиеся редакциями журналов. Результатом этих поездок стал роман «Утоление жажды», каким-то своим краешком «Предварительные итоги» и, возможно,

«Время и место». Однако зрелый Трифонов в подобных географических перемещениях большей частью уже не нуждался, потому что на первое место для него выдвинулись перемещения во времени. И эти «командировки» он выписывал себе сам, вновь и вновь обращаясь к своей детской и юношеской памяти, к зарубкам и вехам собственной судьбы, не пренебрегая, впрочем, и чужими свидетельствами и, подобно Реброву из «Долгого прощания», месяцами просиживая в архивах и книгохранилищах, без чего не появились бы ни «Отблеск костра», ни «Старик», ни, тем более, «Нетерпение».

Писательская память уникальна, в особенности, если речь о таком человеке, как Трифонов. И там, где память обычных людей сохраняет связанные или не связанные между собой предметы, лица, события, память писателя кроит уже готовые образы, сцены и сюжеты, иногда близкие к тому, что пережито в действительности, а иногда существенно преобразованные. Как говорил Станиславский, память это лучший эстет. Давно замечено, что есть писатели, которые всю жизнь пишут одну и ту же книгу, хотя она и выходит у них под разными названиями – то в виде повести, то романа, то рассказа. Трифонов, бесспорно, из их числа, и все его творчество можно сравнить с домом, комнаты которого – его книги. Но воздухообмен у всех у них общий и проблемы, затрагиваемые в каждой, – лишь отпочкования одной общей «метапроблемы». И, как у каждого большого писателя, у него был свой «скелет в шкафу». Это – тема сталинских репрессий, страданий и уничтожения миллионов безвинных людей, десятилетиями замалчивавшаяся идеологами советского режима. Она, словно аура, наполняет воздух большинства его произведений, и пройти мимо нее для Трифонова, испытывавшего этот ожог еще в детстве, было невозможно. Как пепел Клааса, она стучалась в его сердце.

«Тема страшная, бросить нельзя, – записал однажды в своем дневнике Твардовский, – все равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи»<sup>3</sup>. И все же, несмотря на бдительность цензуры, Трифонов умел писать так, чтобы его понимали. Ведь художественная проза это особая материя, и то, что говорится открытым текстом, далеко не всегда попадает в цель, тогда как намеки и полунамеки действуют порою куда вернее. Но даже там, где речь у него вообще не идет о прямых репрессиях, они все равно присутствуют где-то на заднем

---

<sup>3</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989, № 7.

плане, в самой атмосфере произведения, которой дышали и в которой действовали его герои. Хотя бы потому, что она формировала и деформировала их (да только ли их!) психику. «Многое заваяно песком, запорошено намертво, – говорится в повести «Дом на набережной». – Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок – это рисунок страха. <...> И был страх – совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье, – страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородками, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего».

\*\*\*

«Дом на набережной» – самая знаменитая из «московских повестей» Юрия Трифонова. Ее успех был настолько оглушительный, что достать номер «Дружбы народов», в котором она публиковалась, было практически невозможно, а последний нераздаренный экземпляр был похищен в редакции прямо из стола писателя. Однако невероятная популярность этого произведения была связана вовсе не с тем, что большая часть описываемых в нем событий разворачивается в широко известном правительственном доме на берегу Москва-реки (к которому с тех пор и приклеилась эта кличка), словно медальонами, увешанном бесчисленными досками с барельефами известных полководцев, партийных и государственных деятелей. Это лежало, так сказать, на поверхности. Гораздо важнее, что повесть затрагивала что-то главное, сердцевинное, созвучное каждому, кто варился в этом котле под названием советское общество, хотя по-настоящему, может быть, не додуманное и не осознанное, вытесняемое житейской круговертью. Трифонов сумел пробиться сквозь эту круговерть и помог пробиться читателю, создав неповторимый образ эпохи. И, что всего ценней, образ выстрадавший, пропущенный сквозь душу автора, чье появление на страницах повести привносит в нее какую-то особую щемящую ноту и очень важное добавочное измерение. И не случайно именно автор, от лица которого в эпилоге ведется повествование, сопровождает 86-летнего профессора Ганчука в Донской крематорий на могилу его дочери Сони. Когда-то, давным-давно, он был безответно влюблен в эту девочку.

Приехали к самому закрытию, когда кладбище уже опустело. Сторож, в котором спутник Ганчука узнает бывшего своего одноклассника и соседа по дому спившегося и

опустившегося Левку Шулепникова, с большой неохотой выпускает их внутрь.

«Обогнули черный, недышащий крематорий и стали искать могилу, что оказалось в потемках делом небыстрым. Старик наклонялся и ощупывал камни. Наконец произнес, тяжело дыша:

– Это здесь...

Он присел на корточки и долго делал что-то, сидя так: что-то стряхивал, перебирал, шелестел сухой листвой.

Я думал о том, что нет ничего страшнее мертвой смерти. Погасший крематорий – это мертвая смерть. И Левка Шулепа в воротах кладбища... Вдруг я понял старика, который не хотел вспоминать. Оглушающе орали вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их владения. Или, может быть, начинался их час, когда мы не смели тут появляться. На деревьях вокруг было множество темных и жирных гнезд.

Старик шептал, разговаривая сам с собой:

– Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? – Он стискивал мою руку цепкой клешней. – И как не хочется этот мир покидать...»

Трифоновские концовки... О них можно было бы написать отдельную статью или даже целую книгу. Их следовало бы изучать на филологических отделениях университетов. Неожиданные и пронзительные и, вместе с тем, нарочито сниженные и приземленные (на обратном пути из крематория Ганчук просит шофера ехать побыстрее, чтобы успеть на какой-то пустопорожний телесериал), они как бы отбрасывают резкий, безжалостный свет на все предыдущее повествование. И если прав Л.Выготский, трактующий катарсис как «короткое замыкание», аннигиляцию противоположных рядов чувств, то все провода высокого напряжения тянутся у Трифонова именно сюда, как бы накапливая энергию для завершающего очистительного разряда. Они и диагноз, и обобщение (взгляд на те же самые события с какой-то новой, равноудаленной позиции), и философское примирение с жизнью, которую надо принимать такой, как она есть, а иной раз и попытка провидения будущего. Во всяком случае, трудно отделаться от мысли, что финальный аккорд «Дома на набережной», исполненный какой-то запредельной «мировой» тоски, имеет отношение не только к судьбам его героев, но и к чему-то большему. Предчувствовал ли Трифонов (говорю предчувствовал, потому что предвидеть этого не мог никто)

близкие сумерки той грандиозной социальной антиутопии, в которую без остатка вместились вся его недолгая жизнь и о которой никто, пожалуй, не сумел сказать столько, сколько он?

А десятилетие спустя после смерти Юрия Валентиновича стало вроде бы не до Трифонова. В одночасье ушла в небытие целая историческая эпоха, а с нею не стало и его читателя. Нет, не в физическом смысле этого слова – просто разом отброшенные на обочину жизни, люди были вынуждены теперь думать не о духовной пище, а о хлебе насущном. Никогда не забуду, как в начале девяностых годов к нам обратилась соседка с верхнего этажа с просьбой приютить пропадающие у нее комплекты старых журналов, которые они с мужем собирали и переплетали на протяжении двух десятилетий. Рука не поднимается нести это богатство на помойку, а хранить его больше негде, да и незачем. Семья уже несколько лет как распалась, с квартиры они съехали и, чтобы выжить, сдают ее какой-то фирме, а сама она, совершенно посевшая за какие-нибудь полтора-два года, ютится с дочерьми где-то на окраине, в снимаемой там малометражке.

И вскоре на площадке перед нашей дверью выстроились две высоченные, в человеческий рост, стопы. Когда я занес их в дом и раскрыл несколько побуревших переплетов, сердце так и сжалось. Ведь там было собрано все, что сберегали и мы, что передавали из рук в руки, за чем стояли в очереди в библиотеках: Тендряков, Виктор Некрасов, Искандер, братья Стругацкие и, конечно, Трифонов. И всему этому теперь дорога на свалку. Так кончается советская интеллигенция, думал я, стоя в растерянности перед этим развалом.

Впрочем, и для новых хозяев жизни, упоенных открывшимися перед ними головокружительными возможностями, Юрий Трифонов стал как отыгранная карта. Интерес представляли прежде всего те, кто был в моде, кого не печатали в советские времена (а Трифонова с трудом, но все же печатали) и чьи «задержанные» произведения разом выплеснула волна перестройки. Или те, кто был жив и здравствовал и мог участвовать во всякого рода презентациях и телевизионных тусовках, представить в которых Юрия Валентиновича было просто невозможно. И когда в середине тех же девяностых его вдова хотела установить мемориальную доску на доме, где он жил, ей было в этом отказано. С точки зрения тогдашних властей Трифонов этой чести не заслужил, а потому было предложено установить уже готовую доску внутри подъезда (хорошо еще, что не в квартире!). «И где каким висеть портретам – впрямь на века заведено...»

Слава богу, эта позорная страница осталась далеко позади, и сегодня «Дом на набережной» проходят в школе, или, точнее, он входит в школьную программу, что, вообще говоря, не одно и то же. Но дело даже не в формальном признании. Трудно избавиться от ощущения, что творчество Трифонова сегодня не ко двору и что даже известность его «Дома на набережной» обязана не столько его художническому дару, сколько месту действия повести – этой конструктивистской громадине на стрелке Москвы-реки, за стенами которой проходила недоступная простому смертному жизнь его элитных обитателей. А если спросить какого-нибудь молодого человека, родившегося в перестроечные или постперестроечные времена, что известно ему о писателе Трифонове, то названием этой книги, давшей имя и самому дому, дело скорее всего и ограничится. А иначе к чему, например, было предварять выпущенную в 2008 г. аудиозапись трех его рассказов предисловием Александра Кабакова, разъясняющим непосвященному, кто такой Юрий Трифонов.

Да, конечно, литературные профессионалы, знатоки и ценители в подобном представлении не нуждаются. И когда в марте 1999 г. в Москве во время международной конференции «Мир прозы Юрия Трифонова» ее участникам был задан вопрос: «Влияет ли проза Трифонова на современную русскую словесность?» ответ был единодушен: «да». И не только влияет, но самый «воздух» современной прозы во многом соткан именно его книгами<sup>4</sup>.

Но ведь Трифонов писал не для избранных – уж в чем - в чем, но в снобизме заподозрить его никак невозможно. Да и вообще, трудно было найти в писательской среде человека более демократичного. Но увы – тех, для кого писались когда-то его книги, сегодня почти уже не существует. На их место пришли другие. С двумя совсем коротенькими комментариями этих других довелось мне недавно столкнуться на сайте библиотеки Альдебаран, где выложен «Дом на набережной». Честное слово, специально я их не искал, подвернулись сами. Вот отклик некоей читательницы под ником Сули (судя по лексике, не старше 19-20 лет): «Книга не понравилась. Скучно и нудно». И другая – Зета: «Нудятина, зря время потратила. И вообще – непонятно, о чем книга». Больше на этой странице откликов нет, что, впрочем, не означает, что их нет на других интернет-сайтах (повторяю, специально я их не искал). И стало мне обидно и больно – то ли за Трифонова, то ли за этих неведомых мне Сули и Зету, воспитанием ли, временем, навсегда

---

<sup>4</sup> Иванова Н. Нескончаемое присутствие // «Знамя» 1999, № 6.



отлученных от его творчества, для которых одна из лучших его вещей оказалась книгой за семью печатями.

\*\*\*

Но вернемся к «Дому на набережной». Вскоре после выхода в свет эта вещь была инсценирована Театром на Таганке, что в ту пору – 1980-й год – было совсем не просто, поскольку требовало бесконечных согласований и преодоления цензурных рогаток. Однажды, по свидетельству Юрия Любимова, во время одного из прогонов, проходивших в присутствии автора, какой-то чиновник министерства культуры обратился к нему с предложением заострить образ главного героя – приспособленца Вадима Глебова, придав ему черты законченного негодя и циника. И тогда Трифонов объяснил своему театральному церберу, что не может этого сделать, потому что Глебов – он сам.

Это признание дорогого стоит. Но не потому, что вот, мол, и сам знаменитый писатель, считавшийся совестью русской интеллигенции 1970-х годов, пользовавшийся любовью и доверенностью самого Твардовского, оказывается, недалеко ушел от своего героя. Всем понятно, что дело тут гораздо сложнее и что в каждом из нас изначально заложены самые разные потенциалы, одни из которых мы успешно преодолеваем, тогда как другим даем ничем не стесненное развитие. Замечательно же в этом признании иное – что исследование других писатель начинает с себя, не страшась заглядывать в глубины собственной души. «У них жалости ведь нет, они только себя помнят», – говорит отцу Сергию купец из одноименной повести Л. Толстого, пытаясь оградить прославленного старца от толпы жаждущих его благословения паломников. Слово «помнят» употреблено здесь в смысле понимают, знают – свою нужду, свои болезни, потребности и желания и готовы в ажиотажном рвении сбить святого отшельника с ног, лишь бы припасть к исцеляющей руке.

Увы, великое множество людей не знают по-настоящему и себя, или, по крайней мере, знают весьма приблизительно. О более или менее глубоком понимании других тут уже говорить не приходится. Как удается даже средне одаренному писателю подняться над этим общим уровнем, вопрос особый. Но все-таки знание Трифоновым других людей поразительно. Иной раз кажется, что все это не придумано им, а подсмотрено или подслушано. Хотя ни Сони Ганчук, ни Дмитриева из «Обмена», ни Ольги Васильевны из «Другой жизни» нет и никогда не было в действительности. И, тем не менее, для нас они, подобно другим известным литературным героям, почти так же реальны, как и

люди нас окружающие. Мы невольно соотносим себя с ними, находим у себя или у других общие с ними черты, можем сказать о ком-то: «он смотрел на смерть по-базаровски» и т.д. Словом, вымышленный писателем образ работает в нашем сознании, выступая в роли некоего духовного компаса. И если Сули и Зету не тронула хрупкая прелесть Сони Ганчук, которая одна своей сердечностью и добротой, своей разбитой, искалеченной жизнью искупает все то мрачное и бездушное, что за десятилетия сталинщины скопилось в серых стенах этого дома, значит эта сторона человеческого бытия для них закрыта, значит стрелка их внутреннего компаса упирается во что-то несравненно более заурядное, унылое и примитивное.

А так называемые семейные войны, бесподобно выписанные Трифоновым в «Обмене» и в «Другой жизни». Что это, быт или бытие, и где проходит граница? И если быт, то нередко иссушающий и калечащий душу, требующий в жертву не только наши заветные мечты и стремления, но иногда и «полной гибели всерьез» – как в случае с Сергеем Троицким из повести «Другая жизнь». А главное, и винить-то практически некого – у каждой стороны своя правда и свои неопровержимые резоны. «Всякий брак, – говорится в повести, – не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак – двоимирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого?»

Нет, нельзя сказать, чтобы мы не знали обо всем этом и до Трифопова, но воспринимали, скорее, как некую досадную частность, омрачающую существование кого-то из нас или наших близких. Трифонов показал, что это и есть то самое житейское поле, переход которого, вопреки пословице, почти всегда связан с теми или иными нравственными потерями. Потому что именно на этом будничном оселке люди обычно и проверяются «на сжатие» и «на излом», не выдерживая зачастую ни того, ни другого.

Показательны в этом отношении и «фирменные» трифоновские сюжеты, где вы также не встретите ничего такого, что выходило бы за рамки житейской повседневности. Семейные распри, связанные с разменом жилья («Обмен»), чтобы съехаться с больной, умирающей матерью – в самом деле, не пропадать же жилплощади, когда сын с невесткой и внучкой ютятся в единственной комнате коммунальной квартиры. Или метания героя, вызванные необходимостью, в интересах личного, карьерного продвижения, выступить на ученом совете с критикой своего шефа. Причем критикой вовсе не разносной, а вполне умеренной, да к тому же во многом и обоснованной («Дом на

набережной»). И даже тыловая изнанка войны, которой посвящены главы романа «Время и место», показана именно как тыловые будни, отнюдь не героические и, в общем, ничем особенно не примечательные. Скромная вечеринка сотрудников инструментального отдела авиазавода по случаю дня рождения горбуни-раздатчицы Люды. Поездка в подмосковное Одинцово за мешком картошки, лопнувшим на обратном пути в электричке. Неудачная, едва не закончившаяся тюремным сроком, попытка сменить выданный сверх карточной нормы кочан капусты на ворованный табак с соседней табачной фабрики и т.д.

Но вот что примечательно: все эти незначительные детали и подробности почему-то волнуют и трогают нас глубже, чем многостраничные эпопеи с описанием самоотверженной тыловой героики, лишений и жертв, которыми действительно был выстлан путь к победе. Быть может потому, что за этими подробностями – отношения и характеры живых людей, а их Трифонов знает и чувствует как никто другой. И чтобы вскрыть их глубинную подоплеку, ему иногда достаточно самого малого, иной раз двух-трех штрихов. Вот лишь один пример.

18-летний Саша Антипов, своего рода alter ego автора, житейски неприспособленный, медлительный тугодум, как и он, лишившийся в детстве родителей (отец расстрелян, мать отбывает срок в лагере) и освобожденный от фронта по близорукости, попавшись на противозаконном натурообмене ворованный табак – капуста и почти сутки проведя в заводской комендатуре, наотрез отказывается назвать того, кто подбил его на эту авантюру (сам Саша не курит и пошел на риск не ради себя). Но идет война, и «тыловому особисту» Смерину выгодно раздуть это дело, втянув в него как можно больше людей и придав ему некий показательный характер. А подставляться и конфликтовать из-за человека с подпорченной анкетой никому неохота, и потому никто не спешит на выручку Антипову. И в таком вот подвешенном состоянии – передадут дело в суд, не передадут – проходит месяц. Пока однажды в инструментальную мастерскую не врывается стремительный и экспансивный начальник отдела Лев Филиппович Зенин со словами: «Антипов, можешь писать стихи дальше. Тебе будет объявлен строгий выговор и больше ничего. Смерин меня запомнит! Пусть он скажет, где такой инструментальный отдел, как у нас! Где такой фонд сверла? А такие фрезы? Вся Москва к нам бегаёт, попрошайничает. От Зенина освободиться легко, а что дальше?»

Есть, вероятно, своя логика в том, что именно Зенин в критическую минуту приходит на помощь Антипову. Оба сироты

– у одного в тридцать седьмом году репрессированы родители, у другого в оккупированном Киеве погибла семья. Оба равнодушны к одной и той же женщине – раздатчице Наде, хотя первый пользуется ее взаимностью, тогда как второму остается лишь тайно о ней вздыхать. Но что-то, видимо, она нашептала своему избраннику, убедив его через главного инженера, через парторга завода поприжать не в меру ретивого кадровика. Однако истинная подоплека все же в другом. «Я б его не стал выручать, да вдруг вспомнил: он сирота», – признается девушкам из инструменталки Лев Филиппович. – «Я сам сирота по вине войны. А мы, сироты, должны помогать друг другу... Все кругом сироты и должны помогать...»

Вот ради этой последней реплики я и позволил себе столь длинное отступление. Ведь война делает сиротами не только детей, но и взрослых. Какое из сиротств горше, мы обсуждать не станем. К тому же у Антипова сиротство особое, с войной вообще не связанное. Но все равно: «Все кругом сироты и должны помогать...» Как же много скрытого смысла в этих простых и беспасфосных словах, в которые автор, вложил, должно быть, и свою собственную боль. И тут мы подходим к самому, может быть, главному, что составляет стержень трифоновской прозы – выньте его, и все развалится, – к ее гуманизму.

Гуманизм, как известно, бывает разный. Гуманизм абстрактный, декларативный, ярче всего выраженный в словах Сатина из пьесы «На дне»: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека», – гуманизм, от которого, грубо говоря, ни тепло, ни холодно. Гуманизм романтически приподнятый, как у Шиллера, но зачастую слабо сопрягающийся с реалиями обыкновенного человека. Гуманизм сочувственный (образ маленького человека в русской литературе XIX века) и т.д.

Гуманизм Юрия Трифонова я бы назвал понимающим гуманизмом. Вообще, понимание это редкий дар, но трифоновское понимание особенное. Это не позиция холодного наблюдателя, отдающего себе отчет во всем несовершенстве человеческой натуры. И хотя автор не щадит своих героев, проникая в мир потаенных чувств и безжалостно обнажая их душевную изнанку, но он искренне большинству из них сопереживает. Чего больше в этом сопереживании – сердечного тепла или понимания? Ведь лучше, чем кто-либо другой, Трифонов видит и те суровые правила игры, которые навязываются нам самой жизнью и противостоять которым обычному человеку зачастую не под силу. То есть наша жизнь, по Трифонову, разыгрывается по нотам,

написанным не нами, почти не оставляя пространства для личного выбора. И, видимо, не случайно на долю его персонажей, как правило, выпадает не столько даже самый момент выбора, сколько нравственные терзания, с ним связанные, так как выбор этот фактически уже предопределен. Причем не только внешними обстоятельствами, но и характером человека и всей сложившейся на его основе судьбой.

«Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел», – говорит Дмитриеву его неизлечимо больная мать в ответ на робкое предложение съехаться с ним и его семьей, на чем настаивает трезвая и практичная жена Дмитриева Лена. «С закрытыми глазами она шептала невнятицу: – Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...» А два дня спустя извещает по телефону о своей готовности пойти навстречу желанию невестки и осуществить этот житейски разумный и выгодный для семьи сына шаг.

Да, проза Трифонова это жестокая проза, но, странное дело, она не вызывает в нас чувства безысходности. Может потому, что она поднимает нас над так называемой житейской мутой и дает нам новую точку обзора, раздвигая горизонты нашего видения? Ведь если Глебову, мечущемуся между предательством любящей и, по-видимому, любимой им женщины и своего учителя профессора Ганчука и отказом от открывшегося перед ним быстрого карьерного роста, неизвестна истинная цена этого предательства (она если и откроется ему, то много позднее), но ее знаем мы. Это внешне успешная, но, по сути, выхолощенная его собственная судьба. Это загубленная жизнь Сони. Не дешевле обходится и Дмитриеву его мучительная уступка жене, настоявшей на обмене с безнадежно больной свекровью. Всем своим творчеством Трифонов как бы говорит нам, что есть в жизни вещи – в философии они называются ценностями, – которыми нельзя поступаться ни в большом, ни в малом. Потому что за все это приходится платить. Но начинается-то все с малого, «просто так незаметно», как в полусне-полубреду пытается внушить Дмитриеву его мать Ксения Федоровна. Когда ничего еще не предопределено и выбор до поры до времени действительно находится в руках человека.

Перечитывая Трифонова невольно задаешься вопросом: а насколько понятны его специфически «совковые» коллизии, вокруг которых кипят нешуточные страсти, сверстникам перестройки? Ведь даже самое понятие «обмен», вынесенное в заголовок одной из его повестей и подразумевающее разного рода

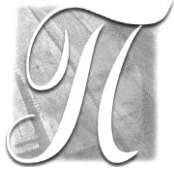
манипуляции с казенной жилплощадью (а иной и не существовало) – разезд, съезд и т.д., навсегда осталось в нашем советской прошлом. А поймут ли нынешние тридцатилетние, если в тексте впрямую об этом ничего не сказано, откуда вернулся после долгого отсутствия дед Дмитриева и почему у него, юриста с дореволюционным университетским образованием, отсидевшего в царской крепости, пережившего ссылку и эмиграцию, «корявые, изуродованные тяжелой работой, негнущиеся руки»? Увы, нам, читателям первых трифоновских публикаций, трудно порою представить, что некоторые самоочевидные для нас вещи могут для кого-то быть подернуты дымкой временного тумана.

Но это-то как раз нормально. Ведь сменилось не только поколение, трансформировался весь социально-экономический уклад, и сегодня квартиры или комнаты продают, завещают, дарят, но *не меняют*. Так что «непонятность» отдельных мест у Трифонова в известных пределах оправдана и, более того, естественна. Один и тот же текст зачастую по-разному воспринимается современниками и читателями следующих поколений: что-то теряет свою остроту, отходит в тень, что-то, наоборот, углубляется; смещаются акценты, утрачивается смысл некоторых аллюзий и жаргонных словечек и т.д. И далеко не всё, пользовавшееся громким читательским успехом, выдерживает это бесстрастное испытание временем, причем не всегда это можно даже предугадать заранее.

Теперь, по прошествии тридцати лет, можно сказать: Трифонов выдержал. Потому что в своих вроде бы непритязательных историях сумел высветить такие стороны души современного ему человека, показать его внутренний мир в таком специфическом ракурсе, до которого не касались литераторы предшествующих ему поколений. Да и мы-то по-настоящему осознали присутствие в себе этой трифоновской «специфики» во многом благодаря именно его творчеству. «Трифоновский персонаж», «совершенно трифоновская коллизия», говорим мы сегодня, и это лучшее подтверждение неувядаемости его прозы. А относится это сравнение к советским временам или к дню сегодняшнему – разве имеет это какое-нибудь значение?



## Николай Овсянников Волошин и Фетисов



редлагаемая к прочтению история, вопреки названию, имеет лишь одного реального героя – поэта Максимилиана Волошина (1877-1932). Фетисов – имя литературного персонажа антиутопической повести Михаила Яковлевича Козырева «Ленинград» (1925), за «распространение» (в реальности его не было) которой этот смелый писатель-сатирик в 1941 году был арестован и в 1942-м уничтожен. Как связаны между собой яркая литературная личность, известная миллионам, и загадочный персонаж книги, прочитанной сотней-другой интеллектуалов, рассказать не просто. И, тем не менее, в расчете на небольшое число людей, интересующихся *странными* советскими реалиями, загадками и легендами, приступаю к делу с самого, что ни на есть, *загадочного* факта.

В последних числах июня 1921 года Максимилиан Волошин, работавший в то время преподавателем феодосийского Института народного образования, встретился с приплывшим в Феодосию из Севастополя на военном судне поэтом Николаем Гумилевым. Они не общались с декабря 1909 года – после жестокой ссоры, приведшей к дуэли. Был ли у этой встречи инициатор или поэтов свел случай, сколько времени длилось их общение, ограничилось ли оно пребыванием на пристани или, беседуя, они прошли в контору Центросоюза на территории порта, а главное, о чем они говорили – до сих пор точно неизвестно. Неизвестно и то, примирились ли после этого бывшие дуэлянты.

«Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать, если мы с ним встретимся, — вспоминал впоследствии Волошин. — Поэтому я сказал: „Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки“. Конечно, благородный Гумилев протянул руку своему вчерашнему противнику. В это время Николая Степановича окликнули: „Командир вас ждет, миноносец сейчас отваливает“».

Известен, однако, следующий комментарий Анны Ахматовой, первой жены Гумилева:

«Волошин по отношению к Гумилеву, а после смерти Гумилева — к его памяти, должен был держаться крайне осторожно и, казалось бы, стремиться загладить свой поступок. И вместо этого Волошин двуличничает до сих пор: пишет (после смерти Гумилева) о пощечине, которую дал ему, и посвящает ему посмертное стихотворение. Перемывает... косточки о „Жиль де Реце“ (*стихотворение Н. Гумилева «В библиотеке», комментируя которое, Волошин допустил ошибку. Н.О.*), рассказывает ложный вздор о примирении Гумилева с ним в 21 году и т. д. и т. п. Примирения не было: Лозинский (*Михаил Леонидович Лозинский, поэт-переводчик, близкий друг Гумилева. Н. О.*) рассказывает, что Гумилев на его вопрос, действительно ли он помирился с Волошиным, коротко ответил: „Мы при встрече пожали друг другу руку“. Если Волошин думает, что, встретившись с ним в 21 году — через десять лет (*ошибка: через 11 с половиной. Н. О.*) после дуэли — и не отведя руки в сторону, Гумилев помирился с ним, — то это доказывает только наглость Волошина и ничего больше».

То, что Волошин был способен на наглость в отношении собрата-поэта, доказывает частично задокументированная история его конфликта с Осипом Мандельштамом, случившаяся примерно за год до его феодосийской встречи с Гумилевым.

С марта по июль 1920 г. Осип и его брат Александр, оказавшиеся в «белом» Крыму практически без средств к существованию, гостили в коктейльском доме Волошина. В конце июля Мандельштам с хозяином поссорился. Из-за чего произошла ссора, неизвестно. Но, судя по ее последствиям, Осип Эмильевич почувствовал себя настолько оскорбленным, что волошинскому гостеприимству предпочел улицу. Мало того, в порыве негодования он то ли сам, то ли руками брата забрал из дома Волошина свою книгу стихов «Камень», которую сам же подарил матери Волошина Е.О. Кириенко-Волошиной в 1916 году. Правда, прежде чем убить из Коктебеля, он передал ее гостившей там же жене Ильи Эренбурга Любе, а та возвратила книгу хозяину. Волошин, тем не менее, послал своему приятелю – начальнику феодосийского порта А.А. Новинскому письмо со следующей концовкой:

«Окажи мне дружескую услугу: без твоего содействия они (*Осип и Александр Мандельштамы. Н. О.*) в Батум уехать не могут, поэтому поставим ультиматум: верните книгу, а потом уезжайте, не иначе. Мою библиотеку Мандельштам уже давно обкрадывал, в чем сознался: так как в свое время он украл у меня итальянского и французского Данта. Я это выяснил только в этом году. Но



"Камень" я очень люблю, и он еще находится здесь, в сфере досягаемости. Пожалуйста, выручи его.

P.S. Только что выяснилось, что Мандельштам украденную книгу подарил Любове Михайловне Эренбург, которая мне ее возвращает, так что моя вторая просьба, естественно, отпадает».

Первая просьба, занявшая 2-3 строки в начале письма, касалась лекарства от невралгии, в котором нуждался Волошин. Странно, однако, что, получив назад книгу, он не счел нужным переписать их (2-3 строки) начисто и отправить Новинскому, а препроводил вместе с подробно описанной «кражей», которой по существу не было. Получается, письмо Новинскому отправлялось Волошиным, по меньшей мере, с двумя целями: попросить о лекарстве и представить Мандельштама в качестве мелкого воришки. Это настолько не вязалось с обликом несчастного поэта-скитальца, что симпатизировавший ему Новинский дал прочитать это «дружеское послание» Осипу Эмильевичу. Реакция Мандельштама выразилась следующим образом:

«Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы толстым слоем духовного жира, простодушно принимаемого многими за утонченную эстетическую культуру, скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина. Вы позволяете себе в письмах к общим знакомым утверждать, что я "давно уже" обкрадываю вашу библиотеку и, между прочим, "украл" у вас Данта, в чем "сам сознался", и выкрал у вас через брата свою книгу. Весьма сожалею, что вы вне пределов досягаемости и я не имею случая лично назвать вас мерзавцем и клеветником. Нужно быть идиотом, чтобы предположить, что меня интересует вопрос, обладаете ли вы моей книгой. Только сегодня я вспомнил, что она у вас была. Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне вы лишились Данта: я имел несчастье потерять 3 года назад одну вашу книгу. Но еще большее несчастье вообще быть с вами знакомым.

О. Мандельштам».

Испытал ли подобное «несчастье» писатель Михаил Козырев, точно неизвестно. Есть некоторые основания считать, что один раз, между 23-м и 25-м гг. он побывал в коктебельском Доме Поэта, но сколько-нибудь близко с Волошиным не сошелся. Зато в «красной», а затем «белой» Одессе в 1919 г. он имел удовольствие наблюдать за его гуманитарными подвигами. Но об этом позже.

Теперь же самое время поговорить о повести Козырева «Ленинград».

Толчком к написанию этой смелой антиутопии стал, на мой взгляд, развернувшийся в 1924 г., сразу после смерти В.И. Ленина, процесс открытого обожевления «вождя мирового пролетариата». Созданием ленинского культа большевики занялись практически сразу после октябрьского переворота, но шокирующих всякого нормального человека масштабов эта вакханалия достигла в момент переименования в его честь бывшей столицы государства – города любви и юности писателя, что, очевидно, переполнило чашу его терпения.

Так же, как недавнее божество, до ленинского пришествия бывшее главным объектом народного поклонения, Ленин предстает в повести Козырева в трех ипостасях. Сначала мы видим «воскресшего из мертвых» в 1950 г. революционера-подпольщика с дооктябрьским стажем, который по прибытии в колыбель революции задумывается о любви. Реальный Ленин, как известно, прибыл в апреле 1917 г. в Петроград и точно так же вспоминал о своей возлюбленной и спутнице по «пломбированному» вагону Инессе Арманд.

Затем он предстает в облике Витмана, циничного аппаратчика, по совместительству выполняющего работу чекиста. Витман похож на бывшего лицеиста, говорит, как и Ленин, с «картавинкой». И тут вспоминается общеизвестный политический *цинизм* Ленина, его характерное произношение («Они пили нашу к'овь!»), гимназическое, т. е. по симбирским меркам почти *лицейское* прошлое. Кроме того, говорящей является сама фамилия Витман: *vita* – жизнь (лат.), *ман* – от «мания», т. е. маньяк, стремящийся к бессмертию. На маниакальность ленинского мышления обращали внимание многие исследователи, в т. ч. историк Ю. Фельштинский. А все признаки бессмертия он получил еще при жизни, когда в газете «Правда» от 7.11.1923 г. провозглашалось: «Ленин – это торжество высшего разума <...> Все проблемы находят в этом имени свое решение».

Наконец, мы встречаем его в облике состарившегося философа Фетисова, умело использующего в работе с молодежью свое сходство с Толстым и идеи последнего о непротивлении злу насилием. В результате – бунтарь, не последовавший советам толстовца (он же – лучшая ипостась Ленина), оказывается вместе с самим философом в кабинете следователя ГПУ, только первый в качестве подследственного, а второй – пособника власти. Как тут не вспомнить ленинского «успехи» в изучении философии, его слова о Толстом – «зеркале русской революции» и губительное

воздействие на неоперившуюся молодежь идей толстовского анархизма, расчищавших дорогу большевикам. Вспоминается и то, что «Старик» (так иногда называли Фетисова юные революционеры) – одно из прозвищ Ленина, данное товарищами по партии. Нельзя не обратить внимания и на говорящую (важный для Козырева момент) особенность фамилии Фетисов – от *feitico* (португ.) – амулет, предмет поклонения.

Примечательно, что разоблаченный с помощью Фетисова предводитель трудящихся масс, затеявших очередную революцию, в конце жизни оказывается заточенным в психиатрическую больницу «вблизи станции Удельная». Неподалеку от железнодорожной станции оказывается заточенным своими соратниками лишившийся рассудка Ленин.

Феномен человека, сумевшего за 4 года превратить трехсотлетнюю православную империю в атеистическое «государство рабочих и крестьян» подвергнут в повести «Ленинград» литературно-психологическому анализу, который у Козырева весьма своеобразен.

По сообщению героя-повествователя, выполняющего, напоминаю, роль лучшей ленинской ипостаси, в 1950 г. (время основных событий повести) ему было 66 лет. Таким образом, его погружение в 1913 г. в многолетний летаргический сон в тюремной больнице, о чем рассказывается в начале повести, произошло, когда ему было 26 или 27 лет. Это был симпатичный, полный иллюзий о справедливом устройстве будущего общества, борьбе за которое он решил посвятить жизнь, молодой, неженатый человек, состоявший в одном из нелегальных марксистских кружков столицы. Вряд ли он в чем-то мог измениться (если не принимать во внимание возраст), когда, проснувшись, оказался в коммунистическом Ленинграде 1950 года. По сути, с тем же мечтателем о социальной справедливости мы расстаемся в конце повести, когда он, уже в коммунистической тюрьме, спокойно ждет смерти, зная, что начатое им дело не погибнет. Сомнений нет, перед нами Володя Ульянов образца 1896-97 гг., когда, будучи впервые арестован за нелегальную деятельность в марксистских кружках Петербурга, ожидает высылки в Сибирь. Как и герой-повествователь «Ленинграда», он молод, симпатичен, не женат, полон сил и энергии и, разумеется, дум о справедливом переустройстве общества на основах усиленно изучаемого марксизма. Умри Володя в столь нежном возрасте, мы никогда бы не слышали слов «Ленин», «ленинизм», тем более «Ленинград». Наверно, в чьей-то памяти на какое-то время он оставался бы как один из тысяч молодых симпатичных мечтателей марксистского

толка той далекой поры. Но он, как известно, не умер - ни тогда, ни позже, ни до сего времени. Он по-прежнему «живее всех живых». Это не удивительно, хотя, сразу признаем, бессмертие Володе Ульянову дала не эта, лучшая из его ипостасей, а другая, о которой речь впереди.

Фетисов был не просто философом, а стариком-ученым, всю жизнь посвятившим изучению гуманитарных наук. «Он изложил мне в кратких словах историю революций во Франции, в Риме, Египте, Китае. Он отлично знал историю». Его убеждения последнего времени действительно больше всего напоминали предреволюционные проповеди толстовцев. Но не это в Фетисове главное. Все его познания не помогли ему, как и Ленину, остаться честным, порядочным человеком. Его философский багаж, включавший давно преодоленный марксизм, не мешает тайной службе режиму, при котором совестливому человеку жить невозможно.

«Но ведь так нельзя! – воскликнул я.

- Да, - усмехнулся философ, - это правда. Я сам раньше думал это, а вот видите – живу...»

Так перед нами раскрывается ленинская ипостась, сделавшая своим *feitiço* философию, причем нет принципиальной разницы, что это за философия: вульгарно истолкованный марксизм, как в случае с Лениным, новое «издание» толстовства, как у Фетисова, или что-то другое.

Фетисова в повести М. Козырева еще в меньшей степени, чем Витмана, можно принять за схему или картонного злодея. Это, безусловно, живой человек, за которым стоит фигура, ставшая особенно заметной к середине 20-х (время написания «Ленинграда»). Автор оставил нам несколько узелков для ее распознавания.

Первый - увлеченность молодого Фетисова революционным движением далекого (относительно 1950 г.) прошлого и последующее разочарование в его идеях и целях.

Второй - обширные гуманитарные познания, прежде всего в философии и истории.

Третий – примиренческая позиция по отношению к существующему порядку, вытекающая из его мировоззренческих установок.

Четвертый – возраст, внешность, артистизм («работа» под Л. Толстого).

Пятый – оборотничество Фетисова.

К сожалению, мы вынуждены признать, что в середине 20-х гг. людей с подобным качественным набором можно было наблюдать немало.

Попробуем, однако, обратиться к ключевым для понимания историософии Фетисова словам героя-повествователя:

«Он изложил мне в кратких словах историю революций <...>. Он отлично знал историю – и везде, по его словам, было одно и то же. Хуже или лучше, но новый строй копировал старый до мелочей».

Теперь вспомним, что писалось это как раз в то время (1924-25 гг.), когда Козырев, по крайней мере, дважды (сначала в письменном, а затем в устном виде) мог ознакомиться со следующими стихотворными строками одного известного поэта:

В нормальном государстве вне закона

Находятся два класса:

Уголовный

И правящий.

Во время революций

Они меняются местами, -

В чем

По существу нет разницы.

В другом месте Фетисов такими словами пытается разубедить вставшего на революционный путь героя:

«...а вы уверены в том, что устроенный вами порядок всех удовлетворит? А если нет – разве вам не придется держать часть населения в подчинении? Нет, научив людей видеть в других людях врагов, вы уже ничем не вытравите этого чувства. Победивший класс будет дрожать за свою власть, он побоится кого-нибудь близко подпустить к власти. Он закрепит свои права навеки – возникнет сословие, а вместе с ним все то, что вы видите вокруг себя...» Тут Фетисов прервался, но читателю-то уже давно ясно, что герой-повествователь видит вокруг себя. И тут лучше всего воспользоваться еще одной цитатой из стихотворения, 8 строк которого были нами приведены. Вокруг себя он видит

...Благондежность, шпионаж, цензуру,

Проскрипции, доносы...

Следующие затем в цитируемом отрывке слова «...и *террор*» мы опустили потому, что он был актуален для поэта, писавшего по горячим следам белого и красного террора, необходимость в котором при застойном социализме, изображенном Козыревым, отпала.

А вот строки того же стихотворения, прямо перекликающиеся с пророчествами Фетисова:

...каждый  
Дорвавшийся до власти сознает  
Себя державной осью государства  
И злоупотребляет правом грабежа,  
Насилий, пропаганды и расстрела.  
<...>  
Так революция,  
Перетряхая классы,  
Усугубляет государственность.

Когда герой-повествователь в беседе с Фетисовым выдвигает свой главный аргумент:

*«мы боремся за справедливость...»*, -  
вот что отвечает ему Фетисов:

«Справедливость... Сколько раз на своем веку я слышал о справедливости. И чем кончилось? <...> Справедливость... Разве они борются за справедливость? Нет. Вы внушаете им чувство зависти, вы заставляете их ненавидеть друг друга. Злоба рождает злобу, ненависть растет, и самая полная победа будет торжеством самой злой, самой отчаянной ненависти».

Посмотрим на два отрывка из другого стихотворения, относящегося к тому же периоду и объединенного с ранее цитированным в один сборник:

Меч создал справедливость...

Не веривший ли в справедливость  
Приходил  
К сознанию, что надо уничтожить  
Для торжества ее  
Сначала всех людей?  
Не справедливость ли была всегда  
Таблицей умноженья, на которой  
Труп множили на труп,  
Убийство на убийство  
И зло на зло?

«Одно скажу», - советует Фетисов герою-повествователю,  
– примиритесь и живите так, как живете сейчас...

- Но ведь так нельзя!

- Да <...> - это правда. Я сам раньше думал это, а вот видите – живу...»

«Подумайте! Еще не поздно отказаться от вашего замысла»

«Я знаю, – спустя несколько дней продолжает он убеждать героя, - ...что ваше дело зашло далеко. Но, может быть, вы все-таки остановите его... Еще есть время...»

Поэт, имя которого, должно быть, уже известно читателю, в другом стихотворении сборника, написанном в те же годы, так рассуждает на тему «благоразумия» и «мятежа»:

Лишь два пути раскрыты для существ  
Застигнутых в капканах равновесья:  
Путь мятежа и путь приспособленья.  
Мятеж – безумие!  
Благоразумным:  
Возвратитесь в стадо!  
Мятежнику:  
Пересоздай себя!

В самом конце последней (незадолго до ареста героя) беседы Фетисов пытается в качестве утешения посоветовать ему постепенно перевоспитывать массы. «Но можно ли перевоспитать их?» - тут же риторически вопрошает он.

Максимилиан Волошин, которого мы продолжаем цитировать, в 1923 г. писал по поводу возможности перевоспитания людей следующее:

Но человек не различает лики  
Когда-то столь знакомые, и мыслит  
Себя единственным владыкою стихий,  
Не видя, что на рынках и базарах  
За призрачностью биржевой игры,  
Меж духами стихий и человеком  
Не угасает тот же древний спор;  
Что человек, освобождая силы  
Извечных равновесий вещества,  
Сам делается в их руках игрушкой.

Действительно, трудно рассчитывать на перевоспитание «игрушек», и Волошин заключает:

...люди неразумны. Потому  
Законы эти вписаны не в книгах,

А выкованы в дулах и клинках,  
В орудьях истребления и машинах.

Итак, по Фетисову, как и по Волошину, благоразумным остается одно – возвратиться в стадо и приспособиться. А не благоразумным? Мятеежникам, борцам за «справедливость»? Фетисов ничего по этому поводу не говорит: очевидно, как и Волошин, он, в итоге, приходит к пониманию, что спорит с тем, кто

...Сойдя с ума, очнулся человеком –  
Опаснейшим и злейшим из зверей –  
Безумным логикой  
И одержимым верой.

Фетисов как раз и помогает в кабинете следователя пересозданию героя - признанию в совершенных преступлениях, раскаянию и многолетней тюремной епитимье.

Таким образом, знакомство с важнейшим поэтическим завещанием Волошина, циклом философских поэм «Путиами Каина» (1921-23) дало нам ключик, с помощью которого попытаемся один за другим распутать козыревские «узелки».

Итак, первый: увлеченность молодого Фетисова революционным движением далекого (относительно 1950 г.) прошлого и последующее разочарование в его идеях и целях. Фетисов так вспоминает об этом:

«Я стар, - он показал на свою седину, - я пережил революцию от начала до конца, я слышал много речей, подобных вашей... Я сам верил этим речам, я, тогда молодой человек, яростно рукоплескал ораторам...»

Очевидно, Фетисов умышленно не договаривает, дабы не давать собеседнику повода обвинить себя в ренегатстве. Ясно, что, если молодой человек яростно рукоплескал революционным речам, то его следующим шагом было непосредственное участие в той или иной форме в революционном движении.

Известно, что 21-летний студент М. Волошин в феврале 1899 г. участвовал в студенческих беспорядках, за что его исключили из университета и выслали из Москвы. В августе 1900г. он был арестован в Коктебеле по делу Исполнительного комитета студенческих организаций, на заседаниях которого присутствовал несколько раз и, очевидно, как и Фетисов, яростно рукоплескал ораторам. Вскоре Волошин был освобожден и уже в сентябре 1900 г. уехал в Среднюю Азию для участия в изыскательских работах по строительству железной дороги.



Мы не знаем, где и когда произошло разочарование Фетисова в революционных увлечениях молодости. Но Козырев и не мог знать, где и когда такое же разочарование постигло Волошина. Благодаря архивным разысканиям В. Купченко, мы теперь осведомлены, что это произошло в 1902 г. в Париже, где Волошин познакомился с основополагающими идеями буддизма, который, как в том же году он писал своему гимназическому товарищу, «...считает каждую пропаганду идеи преступлением, т. к. это насилие над личностью. Я вполне преклоняюсь перед высокой буддийской моралью».

Обширные познания в философии и истории, которыми обладает Фетисов, - самый легкий из козыревских узелков. Практически всю свою сознательную жизнь Волошин занимался изучением этих наук. Он «прошел» через анархизм, толстовство, ориентализм, теософию, символизм, авангардизм и т. д. Их следы легко найти в его статьях, стихах, монографиях и автобиографической прозе.

О мировоззренческих установках Волошина, обосновывающих его примиренческую позицию по отношению к существующему порядку (третий узелок), мы уже говорили, приводя соответствующие цитаты из философско-поэтического сборника «Путями Каина». Но одно дело поэзия, философия, другое – жизненная практика.

К сожалению ли для нас, к счастью ли для Волошина, но после событий 1900 г. до конца жизни он ни с какими властями (французскими, германскими, царскими, «февральскими», оккупационными немецкими, белогвардейскими, большевицкими) фактически не конфликтовал. Вполне отвечая предписанию Фетисова: «примиритесь и живите так, как живете сейчас». В 1916-м он отказался от военной службы «по моральным убеждениям», но был освобожден от нее по состоянию здоровья, так что и тут никакого конфликта не вышло. Летом 1919 г. он пытался помочь арестованному белой контрразведкой за нарушение присяги бывшему царскому генералу Н. Марксу, перешедшему на сторону большевиков, но и на этот раз все устроилось без него. Осужденного на 4 г. каторжных работ Н. Маркса помиловал А. И. Деникин, и без каких-либо последствий бывший генерал жил и работал как при белых, так и при красных. Какое-то время отдохавший в Доме Поэта его друг белогвардеец Сергей Ефрон (муж Марины Цветаевой, в недалеком будущем заграничный агент ГПУ) никакой угрозы для Красной армии не представлял и, скорее всего, уже тогда всерьез задумывался об ошибочности своего выбора. Наверно, в доме Волошина время от

времени «отдыхали» и какие-то большевики-подпольщики, но вряд ли гостеприимство такого рода может свидетельствовать о его неприятии существовавшего в то время в Крыму режима. Тем более что в нужные моменты Волошин охотно прибегал к его помощи, как например, в описанном случае с братьями Мандельштамами.

В качестве смелой, чуть ли не самоубийственной выходки Волошина некоторые его поклонники называют чтение им в марте 1924 г. в Кремле Л. Каменеву и другим советским сановникам стихов о красном терроре в Крыму. Вопрос лишь в том, принималась ли всерьез высокопоставленными слушателями его эскапада. Им ведь было прекрасно известно и о просоветских симпатиях Волошина, и о его активной работе в советских учреждениях Крыма (зав. по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде, культурно-просветительская работа в Крымнаробразе, преподавательская работа в Феодосийском институте народного образования, народном университете и на командирских курсах г. Феодосии, председательство в Крымской комиссии по улучшению быта ученых и т. д.) Что же касается красного террора в Крыму, то кремлевские руководители вовсе не стеснялись того, что по их приказу совершалось карательными органами не только в годы гражданской войны, но и при подавлении кронштадтского и антоновского восстаний в мирном 1921-м. Были и до Волошина яркие обличители большевико-чекистских безобразий: В. Короленко, И. Шмелев, Е. Зозуля, В. Вересаев – никто из них, как известно, не пострадал. Правда, никто из них, кажется, не писал вслед за своими обличениями личных писем Каменеву, как это сделал Волошин, признавшись: «...я принимаю анализ марксизма, но не его идеологию <...>. Но от конечных идеалов коммунизма мысли мои не так уж далеки». Вряд ли Козырев что-нибудь слышал об этом письме, но все же зададимся вопросом: зачем понадобился 47-летнему коктейльному мудрецу этот реверанс?

Что касается возраста, внешности и артистизма, то достаточно почитать воспоминания людей (их немало), посещавших Волошина в 20-е гг. в Коктебеле, посмотреть его фотографии тех лет, как сразу станет ясно, кто служил образцом хозяину Дома Поэта при создании его общеизвестного имиджа.

В козыревском описании Фетисова есть два момента, как будто расходящихся с Волошиным: «толстый» нос и «длинная» борода. У Волошина, как известно, борода была средней длины, толщину носа так же следует признать средней. Однако нельзя забывать, что, если Козырев действительно изобразил в Фетисове

Волошина, то в 1950-м году это был бы Волошин в возрасте 73 лет, до которых он, к сожалению, не дожил. Что же касается пушистости бороды и серых узких глаз, то тут уж судите сами: сохранившихся фотографий достаточно.

Самым сложным из узелков автора «Ленинграда» является, конечно, последний – оборотничество Фетисова, которое обнаруживается в последней сцене повести:

«Старик философ сидел рядом со следователем и, когда я пытался скрыть что-либо, он поправлял меня и при этом так смотрел в мои глаза, что приходилось поневоле соглашаться. Признаюсь, его поведение – самое темное и непонятное для меня место во всей этой истории».

Были ли в 1924-25 гг. у Козырева основания подозревать Волошина в чем-то подобном? Для ответа на этот вопрос нам придется несколько отступить назад и начать с зимы 1919 г., когда Козырев и Волошин находились в белой, а затем красной Одессе.

Новый 1919 г. Волошин встретил в красном Севастополе, где читал лекции в Народном университете. Время, прямо скажем, не самое лучшее для дальних путешествий, когда у тебя есть работа, крыша над головой, а за перешейком – разгул бандитизма и анархии. Тем не менее, 19 января Волошин отправляется в белую Одессу. Зачем? Оказывается, чтобы выступить в «Клубе ученых воинов» и на литературных собраниях, пообщаться с И. Буниным и другими писателями и поэтами, сбежавшими в этот город от большевиков. Но к этому времени Волошин скорее симпатизирует большевикам, чем белым, ведь по его тогдашнему убеждению, России предстояло «дойти до крайних форм социалистического строя» («Портреты поэтов», т.2, стр.242), а главным лозунгом белых было, как известно, непрещенчество.

Между тем, в Одессе Волошин общался не только с представителями творческих профессий. Стоило смениться режиму (6 апреля 1919 г. Одессу заняли красные), как у него появились знакомые иного рода. В «Окаянных днях» И. Бунин рассказывает, как посетивший его Волошин расхваливал, наделяя «кристальной душой» некоего Северного – председателя той самой одесской чрезвычайки, где людей расстреливали «над клозетной чашкой» и где, как мы знаем из козыревской «Девушки из усадьбы» (1924), заправляли отпетые мерзавцы наподобие изображенного им дворянского оборотня Балакшина. Но, может быть, это лишь наговоры, и чекист Северный действительно обладал «кристальной душой»?

Факты, однако, говорят о другом. Северный (он же - Борис Самойлович Юзефович, сын одесского врача) в 1922 г. стал

во главе Разведупра войск Украины. При этом он каким-то образом не заметил, как его подчиненными была организована банда, занимавшаяся ограблениями и убийствами лиц, которым за немалые суммы обещалась переправка в Румынию и Польшу. Помощника Юзефовича, некоего Айзеншписа, назначенного козлом отпущения, быстренько расстреляли, остальных, включая Юзефовича, разбросали кого куда. Вот такая «кристальная душа».

Между тем, при белой администрации Волошин предпочитал знакомства во властных структурах не заводить и лишний раз, что называется, не светиться. Даже если обстоятельства обязывали его к тому в качестве заступника несправедливо обиженных. Этот имидж он старался поддерживать, где бы ни находился. Так, по воспоминаниям Т. Тэффи, при белом коменданте города Гришине-Алмазове к ней как-то зашел Волошин и, прочитав две поэмы, попросил «немедленно» (!) выручить поэтессу Кузьмину-Караваеву. Последняя в это время по решению суда отбывала двухнедельный арест «при тюрьме» г. Анапы, захваченного белыми. Со слов же Волошина, как пишет Тэффи, ее арестовали «по чьему-то оговору и могут расстрелять. “Вы знакомы с Гришиным-Алмазовым, просите его скорее”».

Тэффи тут же позвонила коменданту, который, сочтя ее поручительство достаточным, дал телеграмму в Анапу, и Кузьмину-Караваеву досрочно освободили. Выходит, стоило тратить время на поход к Тэффи, чтение поэм и посредничество их слушательницы, лишь бы самому не идти к Гришину-Алмазову и лично поручиться за родственницу Н. Гумилева.

Возможно, это случайность, но приход в Одессу красных и разгул террористической деятельности чрезвычайки (аресты и расстрелы происходили ежедневно), напротив, не заставляют Волошина задержаться и помочь несчастным «буржуям» и «интеллигентам». 10 мая при содействии своего приятеля Юзефовича и еще одного друга - бывшего царского адмирала А. Немитца, изменившего присяге и перешедшего к большевикам, он отплывает из Одессы в Крым на шхуне «Казак». Напомним, что все это время Козырев находился в Одессе и, разумеется, знал о пребывании Волошина и его «миротворчестве».

Через 35 дней после прибытия Волошина в Феодосию она была занята белыми: он словно спешил на встречу с друзьями (или все же с теми, кем больше всего интересовалось одно небезызвестное учреждение?) Надо признать, встреча растянулась не только во времени, но и в пространстве. Используя в качестве повода хлопоты по делу генерала Маркса, Волошин отправляется сначала в белую Керчь, затем в белые Новороссийск,

Екатеринодар и даже Ростов. Обратное путешествие пролегало по тому же маршруту и, таким образом, Волошин около месяца разъезжал по белым тылам, встречался, с кем хотел, и, хотя не спас своего друга Маркса, но заслуга в его освобождении приписывается с тех пор исключительно ему.

Чем же занимался в белых тылах М. Волошин? Известно об этом немного. Но в Ростове, например, он встречался со своей старой знакомой (с 1912 г.) М. П. Кудашевой, которая позже перебралась к нему в Коктебель.

Интересно, что этой княгине и вдове царского офицера, арестованной в Крыму после прихода Красной армии «за связь с бандитским подпольем», не только удалось освободиться из лап организации, осуществлявшей там жесточайший террор, но и беспрепятственно уехать в Москву. Там она устроилась во французское консульство секретарем визового отдела и гидом-переводчиком при приезжих французах. Впоследствии с помощью Волошина ей удалось вступить в переписку с Роменом Ролланом и завлечь его в свои (и, разумеется, ГПУ) сети обещанием выпустить в России собрание его сочинений. Дальнейшая история их отношений и постепенного сползания французского писателя под влиянием Кудашевой в объятия Сталина хорошо известны.

После своего путешествия, больше напоминавшего служебную командировку, Волошин возвратился в Крым, где проживал до прихода красных в ноябре 1920 г. Возможно, это еще одно совпадение, но свой крымский съезд в мае 1920-го чекистские подпольщики провели не где-нибудь в горах Ай-Петри, а буквально в двух шагах от Дома Поэта (если не в самом доме). Так что, когда по чьему-то сигналу на их задержание выехал вооруженный отряд, одного из чекистов Волошин даже спрятал у себя. Неприятных последствий, правда, ни для кого не наступило.

События марта 1921 года, всколыхнувшие всю страну (Кронштадтское выступление, крестьянские мятежи), кажется, остались для Волошина незамеченными: он занят встречами с А. Байковым, Ф. Раневской и др., переводами В. Гюго, выступлениями на вечере памяти Парижской коммуны. Никакой реакции в течение пяти месяцев (!) не вызывает у него расстрел Николая Гумилева и 60 его «соучастников». Только в январе 1922 г. он напишет посвященное памяти его и А. Блока стихотворение «На дне преисподней», где заявит о том, что готов в случае своей неожиданной смерти встать из гроба, как Лазарь, вместе с «детоубийцей» Русью. Заметим, однако, что если под ее, Руси, детьми он имел в виду Гумилева и Блока, то убивала их (во всяком случае, Гумилева точно) не Русь, а большевицкое

руководство Советской России. И делало это, надо признать, при полном молчании Волошина и его многочисленных друзей и поклонников. Впрочем, при одном ли только молчании?

Ссора 1909 г. между Гумилевым и Волошиным, повлекшая дуэль, оборвала многообещающее сотрудничество Волошина в элитном петербургском журнале «Аполлон». Ему пришлось расстаться со столицей, сменить круг знакомств, вызвать настороженное отношение со стороны целого ряда уважаемых и авторитетных людей. Ведь главным автором и сценаристом весьма сомнительной, с душком провокации, «истории Черубины де Габриаки», повлекшей резкую, но понятную реакцию Гумилева, был – и этого никто никогда не оспаривал – Волошин. Однако, вместо того, чтобы как-то сгладить последствия своих действий или хотя бы промолчать, он публично оскорбил Гумилева, неожиданно, фактически исподтишка ударив по лицу. Сделать на дуэли ответный выстрел Волошин то ли побоялся, то ли нарочно все свел к фарсу.

С тех пор он не виделся и, похоже, избегал встреч с Гумилевым до июня 1921 г. – почти 12 лет. Наверно, все это время Волошин «пересоздает» себя, идя «путем творческой эволюции» (цитаты из его письма Л. Каменеву).

И, надо признать, пересоздал: встреча бывших товарищей по «Аполлону» состоялась-таки в Феодосии. После нее Гумилев оказался настолько беспечен, что, возвратившись в Петроград, несмотря на произошедший в его отсутствие арест В. Таганцева, человека, которому в разгар Кронштадтского выступления (середина марта) обещал свою поддержку в случае успеха восставших и захвата ими Петрограда, не принял никаких мер предосторожности. О содержании разговора, произошедшего между Гумилевым и Волошиным наедине, мы знаем лишь со слов Волошина. Поверить этому банальному хвастовству довольно сложно: во-первых, потому что Гумилев по какой-то причине сохранил его в тайне даже от жены и ближайших друзей, а во-вторых, потому что не Гумилев искал этой встречи, а его везли на нее из Севастополя по распоряжению друга Волошина адмирала Немитца.

По нашему мнению, эта встреча завершала цепочку событий, которые в свете дальнейшей судьбы Гумилева представляются не чем иным, как хорошо спланированной оперативной комбинацией (провокацией) ВЧК.

Затеянное руководством этой организации в мае-июне 1921 г. так называемое «таганцевское дело» имело целью громко напомнить о себе партийной верхушке страны, только что

перешедшей к новой экономической политике. В логике ее проведения чекисты сразу почували угрозу своему всевластию.

Их планы, на самом деле, были даже шире, чем показалось после кровавого завершения этой провокации. Они рассчитывали объединить «дело Таганцева» с делом савинковской организации (см. книгу Л.Флейшмана «В тисках провокации», М., 2003), превратив их в устрашающий, чуть ли не международный заговор. По какой-то причине сделать им этого не удалось. Но, повторяем, в мае-июне, если не раньше, это планировалось и обсуждалось. Для связки двух дел чекистским сценаристам необходимо было подыскать хотя бы десяток бывших или действующих профессиональных военных (лучше всего из бывших офицеров царской армии), якобы входивших в «таганцевскую организацию». При их наличии представлялось легче провести цепочку к организации Савинкова, по-настоящему боевой. Очевидно, чекистской верхушкой рассматривался специально подготовленный список кандидатов и, с учетом последних донесений агентуры, было решено включить в него Гумилева – бывшего офицера, который, в самом деле, обещал Таганцеву в марте свою, пусть и обусловленную успехом кронштадтцев, поддержку.

Чекисты, однако, опасались, что в том в случае, если арест Таганцева станет известен Гумилеву (а как его утаишь: отец Таганцева, человек известный и влиятельный, сразу поднимет шум, что в итоге и произошло), то Гумилев, человек вовсе не беспечный и, как-никак служивший в конной разведке, может на время где-нибудь спрятаться, либо попытаться уйти за границу. У страха глаза велики, а фантазии чекистов того пуще. Поэтому был разработан план по выводу Гумилева хотя бы на месяц подальше от места событий. К нему был подослан «полупоэт-получекист» В. Павлов (помощник адмирала Немитца), передавший приглашение черноморского командования посетить Севастополь и в качестве приманки пообещавший издать там его поэтический сборник «Шатер» (что и было сделано).

Но, кроме того, надо было усыпить его бдительность - на случай, если за время его отсутствия не удастся объединить оба дела и, вернувшись, Гумилев узнает об аресте Таганцева. Сажать рано, оставлять на свободе в напряженном ожидании - рискованно. Тут-то и возникла мысль о человеке, который мог бы дезинформировать Гумилева.

Волошин представлялся им идеальной кандидатурой. Под предлогом примирения после долгих лет вражды он должен был «по секрету» сообщить Гумилеву якобы полученные из надежных

источников сведения об аресте в Петрограде Таганцева (что было правдой, и позже Гумилев в этом убедился). Кроме того, поведать, что следствию якобы известно о связи арестованного с Гумилевым (что тоже было в какой-то степени правдой, и Гумилев об этом знал). Но в случае, если сам Гумилев не наделает глупостей и поведет себя так, будто ничего не произошло, связываться с ним не будут - из-за неизбежной шумихи и неперемного заступничества его начальника по издательству «Всемирная литература» А.М. Горького. Подобное «благородство» бывшего обидчика, как рассчитывали разработчики операции, обезоружит и дезориентирует такого джентльмена, как Гумилев, и по прибытии в Петроград он спокойно продолжит свои литературные занятия.

Волошин же, считали они, не сможет отказаться от предложения такого рода. Во-первых, из-за неоплатного долга перед чекистами, не только сохранившими ему в 1918-20гг. жизнь и имущество, но и всячески помогавшими выжить в непростых условиях гражданской бойни. А во-вторых, из-за ненависти к человеку, некогда поломавшему его столичную карьеру. В то же время, рассуждали они, Гумилев, как человек чести, будет обезоружен бескорыстным жестом недруга и, подавшись чувствам, не станет отрицать очевидное в беседе с глазу на глаз.

Все примерно так и произошло. Ничего не опасавшегося Гумилева арестовали ровно через месяц после возвращения из Крыма. С арестом не спешили, поскольку в это время чекисты все еще были заняты попытками «документально» подтвердить связь Таганцева с боевой организацией Савинкова. В камеру к Таганцеву был помещен опытный агент Опперпут, но, то ли Таганцев не поддавался Опперпуту, то ли Опперпут по каким-то причинам саботировал указания следователя Агранова. Так или иначе, попытка соединить два дела в одно к началу августа окончательно провалилась, и было решено брать ранее назначенных «военных» кандидатов хотя бы для «поддержки штанов» и без того хлипкого «таганцевского дела».

Однако и тут возникли сложности. Таганцев не называл фамилии Гумилева, Гумилев вообще ничего не говорил о других «участниках заговора». Следствие запаниковало: эффектная чекистская задумка грозила обернуться пшиком. Оставался выход, напрашивавшийся сам собой: предъявить Таганцеву показания Волошина - что-нибудь в таком роде: «В конце июня с. г. в Феодосии я встретился с Гумилевым и по старой дружбе предупредил его о ставшем мне известном аресте Таганцева. Зная из надежных источников, назвать которые не могу в силу данного слова, что Гумилев и Таганцев связаны сомнительными



политическим планами, я посоветовал Гумилеву как можно скорее о них забыть, вести себя тихо и не совершать рискованных поступков. Гумилев горячо меня поблагодарил, с чем мы и расстались».

Что было делать измученному двухмесячными допросами Таганцеву после прочтения показаний столь авторитетной для всякого интеллигента личности, как Волошин? Разве эти показания без него, Таганцева, не избличали Гумилева в связи с ним? И Таганцев дал столь необходимые следствию показания, которые затем предъявили Гумилеву. Человек чести, тот больше не отпирался. Очевидно, нечто подобное происходило в отношении других, менее заметных «участников заговора». По цепочке, начатой каким-нибудь агентом-provokatorом, они избличали друг друга. Через несколько дней 61 заранее отобранный кандидат в заговорщики был расстрелян. Но громкую известность этой чекистской провокации навсегда дало имя единственной из 61 жертв – выдающегося русского поэта Николая Гумилева.

Изложенная здесь версия событий марта-августа 1921 г. была, судя по всему, «высчитана» сразу после гибели Гумилева одним из невольных участников – поэтом и другом Гумилева Сергеем Колбасьевым, управлявшим канонеркой (а не миноносцем, как фантазирует Волошин), на которой Гумилев был отправлен из Севастополя в Феодосию на встречу с хозяином Дома Поэта. Служить под началом А. Немитца, согласившегося участвовать в грязной чекистской провокации, он, с юных лет влюбленный в поэзию Гумилева и с благоговением относившийся к поэту, дальше не мог. Уволившись из флота, Колбасьев некоторое время работал переводчиком в издательстве «Всемирная литература», душой которого был покойный Гумилев, а затем уехал с дипломатической миссией в Афганистан. В 1937 г. он был арестован и исчез в лагерях.

Но если нашу версию вычислил С. Колбасьев, если к ней полунамеками подводила Надежда Яковлевна Мандельштам во второй книге своих «Воспоминаний», то почему столь умный аналитик и наблюдательный очевидец, как Михаил Козырев, не мог прийти к тем же выводам? Выходит, были у него основания считать Волошина оборотнем. Впрочем, духом этого существа повеяло от этого человека еще в истории с «Черубиной». Что это было, как не перевоплощение, не провокация, не сладкая месть своим снобистским коллегам-соперникам по «Аполлону»? Но тогда, в 1909-м, лишь повеяло.

Как писал внимательный наблюдатель русской смуты Федор Степун, с воцарением большевиков «все начинает двоиться» и «в жизнь входят двуличное сердце, мертвая маска и заспинный кинжал». Чтобы войти, добавим от себя, нужно откуда-то выйти. Быстрее всего такие вещи выходят из душ, уже тронутых ядом лжи и провокаций.



# Оскар Рохлин

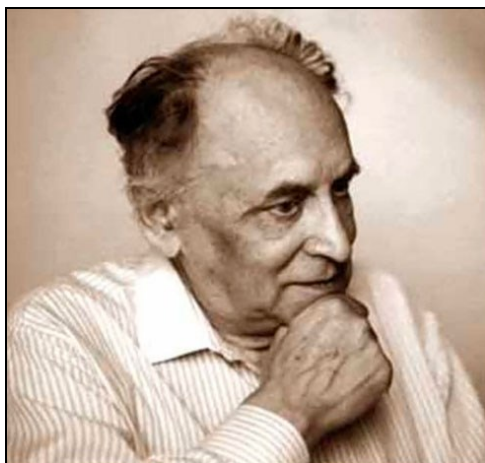
## Мой учитель Владимир Павлович Эфроимсон



учился в Московском фармацевтическом институте (1955-1960), где в то время преподавал ботанику выдающийся генетик и исключительной доброты человек - Владимир Владимирович Сахаров. Отработав два года в аптеке, я понял, что надо убегать от этой скукоты и попросил Владимира Владимировича (ВВ) найти мне аспирантское место по генетике. ВВ обещал, сдержал своё слово и в июне 1963 года сообщил мне, что есть аспирантское место у замечательного человека и генетика, Владимир Павловича Эфроимсона. Работает он в Институте вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и мне надо к нему приехать и познакомиться. И в один из июньских дней я поехал знакомиться. Передо мной был человек лет 50-60, с пронзительными светлыми глазами, ястребиным профилем, в мешковатом костюме и съехавшем на бок галстуке. – Аспирантское место у меня по иммуногенетике,- сказал Владимир Павлович. – Вы знакомы с иммунологией? – Нет, - честно ответил я. - Ну это неважно,- последовал неожиданный ответ. - Важно другое, можете ли Вы вкалывать по 12-14 часов в день? – Могу,- не колеблясь ответил я. – Откуда Вы знаете? Я рассказал Владимиру Павловичу, что работал на скорой помощи студентом и на полторы ставки в аптеке. Ответ его удовлетворил, я почувствовал, что всё идет как надо, но тут Владимир Павлович задал простой вопрос, который чуть всё не погубил. – Где Вы живёте?- спросил ВП. Я сказал, что на улице Семашко. – Где это? Я объяснил, что эта улица выходит на Калининский проспект в самом его начале, рядом с Военторгом. И тут лицо ВП неожиданно исказилось, он презрительно усмехнулся и я услышал: - Только полный невежда может сказать, что он живёт рядом с Военторгом, а не рядом с Библиотекой Ленина. ВП поднялся, давая понять, что разговор окончен, но тут уж я разозлился, терять было нечего и я сказал: - Любой справедливый человек вначале до конца выслушает, а потом уже будет делать выводы. Я взял листок бумаги, нарисовал схему, из которой ВП стало ясно, что рядом с библиотекой находится переулок

Грановского, а вовсе не улица Семашко. – Ну, ладно, ладно, - пробурчал ВП, - забудем об этом. Идите к учёному секретарю института, он Вам даст разные бумаженции для заполнения и расписание экзаменов. Экзамены я благополучно сдал и с 1 сентября 1963 года началась моя аспирантская жизнь.

Владимир Павлович Эфроимсон родился 21 ноября 1908 года в Москве в семье банковского служащего. Семья жила в доме страхового общества «Россия» на Лубянке 2, в том самом, где потом разместилась ЧК и НКВД. Отец – Павел Рувимович – обрусевший сын местечкового раввина, был крупным банковским специалистом и в начале двадцатых годов участвует в работе по стабилизации русского червонца. В 1926 году Павел Рувимович обвинён в экономической контрреволюции и получил 10 лет, из которых пять провел в Лефортовской тюрьме. Владимир Павлович (ВП) в 1914 году поступил в немецкую школу «Петер-Пауль шуле», которую закончил в 1924 году в возрасте 15 лет, овладев пятью иностранными языками. В детстве ВП увлекался историей и с утра до вечера проводил в Румянцевской библиотеке, но в 1925 году поступил на биологическое отделение физмата МГУ.



Владимир Павлович Эфроимсон

Здесь под влиянием выдающихся генетиков Н.К.Кольцова, М.М.Завадовского, Г.И.Роскина ВП на всю жизнь увлёкся генетикой. Но университет ВП закончить не удалось. В 1929 году начались идеологические чистки в университете, который тогда возглавлял А.Я.Вышинский – будущий государственный обвинитель на процессах 30-х годов. Травле за идеализм подвергся

замечательный генетик Сергей Сергеевич Четвериков. Преданные пролетарским идеям студенты взхлёб клеймили на собрании Четверикова, и только студент В.П.Эфроимсон, один против всех, произносит пламенную речь в защиту Четверикова. Четвериков был арестован и сослан, а ВП – исключён из университета. По рекомендации Н.К.Кольцова ВП стал работать в Рентгеновском институте, где изучал действие облучения на мутационный процесс. В 1932 году ВП сформулировал принцип равновесия между скоростью мутационного процесса и отбора в популяциях человека и впервые предложил способ оценки частоты мутирования рецессивных сублетальных генов. Через пять лет за аналогичную работу всемирную известность получил английский генетик Холден, а ВП опубликовать свою работу не успел – его арестовали 29 декабря 1932 года. Формально ВП арестовали за участие в работе «Вольного философского общества», но как считает Симон Шноль – истинная причина ареста – выступление в защиту С.С.Четверикова. Следователи добивались от ВП компрометирующей информации на Н.К.Кольцова и ничего не добившись осудили ВП на три года лагерей. ВП отбывал срок на строительстве Чуйского тракта в Горной Шории (на стыке Алтая и Саян) в тяжелейших условиях голода и холода. После освобождения из лагеря ВП прожил два месяца у своего дяди в Куйбышеве и затем начал работать в Ташкенте в Среднеазиатском институте шелководства. Несмотря на интенсивную успешную работу, ВП был уволен в сентябре 1938 года, после нескольких месяцев безработицы устроился на шелководческую станцию под Харьковом, но и здесь его достали лысенковцы, опять уволили и он устроился преподавателем немецкого языка в школе небольшого городка. По результатам своей работы в Ташкенте и на Украине ВП написал книгу «Проблемы генетики, селекции и гибридизации тутового шелкопряда». Книга в свет не вышла, но ВП в мае 1941 года удалось защитить кандидатскую диссертацию в Харьковском университете. ВП воевал с августа 1941 по ноябрь 1945. Был эпидемиологом, переводчиком, разведчиком, награждён тремя орденами и восемью медалями. В феврале 1945 года ВП пишет докладную записку командованию с резким протестом против грабежей и насилия советских солдат над мирными жителями. После войны ВП возвращается в Харьковский университет, интенсивно работает и в 1947 году успешно защищает докторскую диссертацию. ВП читает лекции по генетике, критикуя лысенковцев, что вызывает их гнев, особенно после того как ВП перевел с английского анти-лысенковскую статью генетика-эмигранта Т.Г. Добжанского. В результате в

феврале 1948 года ВП выгоняют из Харьковского университета и он пишет фундаментальную работу «Об ущербе, нанесенном СССР новаторством Лысенко» и отдаёт её в отдел науки ЦК КПСС накануне сессии ВАСХНИЛ, окончательно разгромившей классическую генетику. В мае 1949 года ВП арестовали по обвинению в дискредитации Советской армии, припомнив докладную записку 1945 года, но на самом деле арест был вызван анти-лысенковской активностью ВП. Проголодав 15 дней в ледяном карцере Бутырской тюрьмы, ВП не подписывает ни одной бумаги и получает 10 лет каторжных работ в «Степлаге» (Джезказган). Стоит отметить, что после сессии ВАСХНИЛ был арестован только один генетик – Владимир Павлович Эфроимсон. Много лет спустя после поступления в аспирантуру, в книге Дмитрия Быкова «Булат Окуджава» натыкаюсь на стихотворение:

Подогретый общим интересом,  
На грядущий беспокойный сон  
Нам читает лекции профессор  
Он теперь – ээка Эфроимсон.

Только нам он дорог без протекций.  
Разгоняет и тоску и грусть,  
Да вдобавок после этих лекций  
Гумилёва шпарит наизусть.

Стихи написал Вадим Попов, который сидел в Джезказгане вместе с тбилисскими друзьями Окуджавы.

ВП освобождён в 1955 году без права проживания в больших городах. Поселившись в Клину, ВП зарабатывает на жизнь рефератами по генетике в ВИНТИ (Всесоюзный Институт научной и технической информации), полная реабилитация пришла 31 июля 1956 года. После ареста в 1949 году специальным постановлением ВАКа ВП был лишён кандидатской и докторской степеней, так что переехав в Москву ВП начинает работать референтом в библиотеке иностранной литературы благодаря замечательной Маргарите Ивановне Рудомино – директору библиотеки. В 1955 году ВП направляет свою работу «Об ущербе, нанесенном СССР новаторством Лысенко» Генеральному Прокурору СССР, без всяких последствий для Лысенко, но лысенковская банда задержала возвращение докторской степени до 1962 года. В 1961 году ВП переходит на работу в отдел информации Института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, а после возвращения докторской становится старшим

научным сотрудником отдела иммунологии и в 1963 году Институт выделяет ВП два аспирантских места.

Раиса Львовна Берг в своих воспоминаниях «Суховой» называет ВП «Берсерком». Я не знал кто такие «Берсерки» и полез в Википедию, в которой сказано: «Берсерк – в древнегерманском обществе воин, посвятивший себя богу Одину. В сражении отличались неистовостью, большой силой, быстрой реакцией, нечувствительностью к боли. Берсерки не признавали щит и доспехи, сражаясь в одних рубахах или обнажёнными по поясу». Вот к такому человеку привела меня заботливая судьба, подняв меня на совершенно иной уровень понимания окружающего мира и населяющих его людей.

НИИ вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова основан в начале 1919 года для организации борьбы с сыпным тифом и другими инфекционными болезнями. Затем институт освоил выпуск различных вакцин, антисывороток и препаратов для диагностики инфекционных болезней, а в начале 30-х годов замечательный учёный Лев Александрович Зильбер (родной брат писателя Вениамина Каверина) начал в институте вирусологические исследования. Директором института в 1963 году была профессор Антонина Николаевна Мешалова. Я с ней напрямую никогда не общался. Владимир Павлович относился к ней уважительно и было за что: Мешалова не побоялась взять на работу опального Эфроимсона ещё в 1961 году, до возвращения докторской степени. Вот что рассказал ВП в интервью с Еленой Кешман (1988 год): « В разговоре с директором института я упомянул о том, что в ВАКе рассматривается вопрос о возвращении мне докторского диплома. На вопрос, кто же мешает, я сказал, что мешает член президиума ВАК Жуков-Вережников. К нему отправился секретарь парторганизации института и узнал от Жукова-Вережникова (в 1961 году!), что конечно Эфроимсон сейчас на свободе, но мы же всегда можем посадить его обратно. Ещё через полгода меня всё же взяли в этот институт. Я с большой теплотой до сих пор вспоминаю годы моей работы в нём. В то время я собрал материал для книги, вышедшей в 1971 году – «Иммуногенетика». ... Но основные силы я всё же продолжал направлять на работу в области медицинской генетики и генетики человека». Как только в 1962 году ВП вернули докторскую степень, Мешалова перевела ВП в отдел иммунологии и выделила два аспирантских места. Вот одно из этих мест я и занял. Другим аспирантом была Таня Федосеева, ей ВП поручил исследовать роль гено типа в устойчивости к инфекционным заболеваниям, она работала в отделе микробиологии и я с ней редко общался. А моя

тема называлась – «Роль генотипа в образовании антител». Название, сами понимаете, красивое, да вот незадача - не знал я, что такое антитела и вообще иммунология, не учил я эту науку в фармацевтическом институте, не преподавали её нам. Но как-то это меня не обескуражило. Нахален я был по молодости лет и мало чего боялся.

Мне поставили небольшой письменный стол в кабинете ВП, а экспериментальную работу мне предстояло выполнять в группе профессора Софьи Иосифовны Гинзбург-Калининой. Было СИ за семьдесят, сохранила она ясный, светлый ум, была небольшого роста, сухошава, горбоноса, с прелестными, выразительными чёрными глазами. Не обделил её Господь и чувством юмора. Вот пример. Я сижу рядом с Софьей Иосифовной, показываю результаты опытов. Приходит учёный секретарь института, извиняется, что потревожил, но дело срочное: Министерство здравоохранения распорядилось составить планы научных работ на предстоящие 25 лет. Так вот не будет ли так любезна Софья Иосифовна написать такой план в течение недели. – Ну что Вы,- тут же отвечает СИ,- не стоит откладывать. Вы присядьте на пять минут, и я тут же напишу.– Как? Прямо сейчас?- изумляется учёный секретарь. – Конечно, - радостно говорит СИ. – Вот если бы Вы меня попросили дать Вам план работы на следующий месяц, мне пришлось бы основательно подумать. А в мои 73 составить план на 25 лет ничего не стоит. И СИ быстро написала несколько фраз и торжественно вручила эту бумагу учёному секретарю, с чем ему и пришлось удалиться.

Что же такое иммунология и антитела. Иммунология – наука о защитных силах организма, позволяющих бороться с бактериальными и вирусными инфекциями и вообще с любыми чужеродными для нашего организма агентами. Осуществляют эту защиту клетки иммунной системы – дендритные, макрофаги, и различные лимфоидные клетки: Т-лимфоциты (генерируются в тимусе, поэтому и Т) и В-лимфоциты (В – потому что из костного мозга –bone marrow). Разумеется, всё гораздо сложнее - есть многочисленные субпопуляции Т - и В-лимфоцитов, но в 1963 году только-только начиналось исследование Т-клеток. Общий термин для любого чужеродного вещества – антиген. И конечный результат внедрения антигена в организм – образование антител, которые с этим антигеном специфически взаимодействуют по принципу ключ-замок. Хитрость в том, что при внедрении в организм любого антигена, - бактерии, вируса, чужеродной макромолекулы, - антитела образуются к отдельным участкам антигена, называемыми антигенными детерминантами, или, по



современному, эпитопами. Представьте себе шар, из поверхности которого торчат наружу разнообразной формы штыри, болванки, шпильки. Так вот, антитела образуются не к поверхности шара, а к отдельным выступам на его поверхности. В результате, появляются разные по специфичности антитела, все они реагируют с шаром, но с отдельными его участками. Антитела синтезируются и секретируются в кровотоке В-лимфоцитами, которые, появляясь вначале в костном мозге, затем расселяются по всему организму и выявляются в селезенке, лимфатических узлах, кровотоке. Казалось бы, причём тут наследственность, когда речь идёт о борьбе организма с инфекцией. Если организм ослаблен, например, голодом, то инфекция побеждает. Но и при одинаковых условиях жизни разные люди по разному реагируют на одну и ту же инфекцию. Владимир Владимирович Сахаров нас учил, что ненаследственных признаков нет. Даже то, как женщина подкрашивает губы определяется её генотипом. Как рассказывал Владимир Павлович, он впервые задумался над этой проблемой в Джезказгане – самое время и место размышлять о проблеме выживания, катя тачку с землёй в концлагере. Так уж был устроен Эфроимсон – ему было необходимо решать очередную задачу, иначе это была не жизнь. ВП пришёл к выводу, что должен существовать внутривидовой полиморфизм по каким-то структурам, определяющим способность к иммунитету: в процессе естественного отбора выживали особи, которые обладали «структурами устойчивости». Наиболее простой способ поиска – сравнение иммунного ответа разных инбредных линий мышей на введение определенного антигена. Мыши в пределах инбредной линии идентичны друг другу по генотипу и, следовательно, внутрелинейная изменчивость должна быть невелика, если изучаемый признак наследственен, а мыши разных линий могут отличаться по интенсивности образования антител и если бы межлинейные различия были обнаружены, то можно было бы приступить к генетическому анализу этих различий путём скрещивания контрастных линий мышей и исследования иммунного ответа у гибридов первого и второго поколений.

Мышей инбредных линий я получал из питомника АМН, расположенного на станции Столбовая Курской дороги. Электричка шла до станции минут пятьдесят и от станции до питомника надо было идти минут пятнадцать. Помня свой опыт добывания лекарств с аптечного склада, я решил, что надо познакомиться с работниками питомника, тем более что научным руководителем питомника являлась жена Владимира Павловича, Мария Григорьевна Цубина. Мария Григорьевна была очень

красивой женщиной даже в свои пятьдесят лет, с громадными чёрными глазами, и можно было легко себе представить какой красавицей она была, когда стала женой ВП в конце тридцатых годов. Забавно, что супружеская пара – Владимир Павлович/Мария Григорьевна – напоминали мне собственную супружескую жизнь: моторный, реактивный ВП уравновешивался спокойной, доброжелательной МГ. Отделом инбредных мышей питомника заведовала женщина лет сорока, Лия Владимировна, она обожала МГ и ВП и никаких проблем с получением инбредных мышей во время аспирантуры у меня не было. Мой рабочий день начинался примерно в восемь утра с уборки мышиных клеток. В каждой клетке жили-поживали 8-10 мышек, на дно клеток насыпались опилки, впитывавшие жидкие и твёрдые выделения мышек, грязные опилки надо было выкинуть и заменить свежими. На уборку 20-30 клеток уходило часа полтора и освеженный запахом свежих опилок я приступал к научной работе. Было решено иммунизировать девять линий мышей и один межлинейный гибрид (столько линий было в Столбовой) двумя антигенами: эритроцитами барана и бактериями брюшного тифа и в конце 1963 года, нагруженный только что приобретенным теоретическим багажом, я приступил к экспериментальной работе.

Спокойное течение нашей жизни и работы (насколько оно вообще могло быть спокойным с таким реактивным руководителем как Владимир Павлович) было нарушено в начале февраля 1964 года публикацией статьи тогдашнего президента сельхозакадемии Ольшанского. Вначале статья была опубликована в газете «Сельская жизнь», а через два дня была перепечатана газетой «Правда» - рупором ЦК КПСС. Хрущёвские упражнения привели к катастрофическому положению в сельском хозяйстве и большой учёный Ольшанский нашёл этому причину: клеветнические измышления Владимира Павловича Эфроимсона и Жореса Александровича Медведева о разрушающей роли Лысенко и лысенковщины дезориентируют работников сельского хозяйства и препятствуют его развитию. Необходимо убрать этих двух клеветников и сразу всё наладится. Я уже упоминал, что Владимир Павлович направил в ЦК КПСС и Генеральную прокуратуру докладные записки о преступлениях Лысенко в 1948 и 1955 годах и опубликовал убийственную анти-лысенковскую статью в 1956 году в бюллетене МОИПа. Жорес Медведев работал в Обнинске, в институте медицинской радиологии, но занимался историей генетики. ВП передал ему собранные им материалы о лысенковщине, Медведев дополнил их и опубликовал на Западе. Статья в «Правде» была приговором: правительство страны

предлагало судебным органам изолировать (т.е. посадить) этих двух мерзавцев. Запахло судом и тюрьмой и ВП предложил мне и Тане Федосеевой немедленно сменить руководителя, чтобы нас не выгнали из аспирантуры. Таня тут же согласилась и с тех пор я её больше не видел. А я отказался. ВП кричал на меня, обзывал идиотом, пытался меня убедить, что я изуродую свою жизнь из-за пустого упрямства – всего лишь надо сменить руководителя и я буду в безопасности. Я спрашивал у ВП почему он меня толкает на предательство, тогда как сам никогда никого не предавал и напомнил ему историю с Четвериковым. В конце концов, я сказал ВП, что если я его сейчас оставляю, то это предательство поставит крест на моём общении с другими учениками Сахарова и с самим Владимир Владимировичем и вот это-то как раз и изуродует мою жизнь. «Ну, чёрт с Вами», - резюмировал ВП, минуту сверлил меня буравчиками глаз и вернулся к своему письменному столу. Спасли ВП и Жореса физики. Академики И.Е. Тамм и М.А.Леонтович обратились «наверх» и газетная травля стихла без судебных последствий для ВП и Жореса. Разумеется, я не обиделся на ВП за крики и «идиота», понимая, что это продиктовано его заботой обо мне. ВП был на редкость щедрый и великодушный человек. При этом ВП старался сделать так, чтобы объект его щедрости об этом не догадывался. Приведу пример.

В конце пятидесятых - начале шестидесятых годов ВП написал замечательную книгу - «Введение в медицинскую генетику», которая должна была стать оазисом в пустыне лысенковщины, убившей генетические исследования не только в биологии и сельском хозяйстве, но и в медицине. В 1961 году ВП сдал книгу в издательство «Медицина», но благодаря противодействию медицинского лысенко – Жукова-Вережникова (по прозвищу жуков-навозников) публикация книги всё откладывалась, а ВП тем временем дополнял книгу новыми данными. Наконец, в конце 1963 года была готова окончательная машинописная версия книги и ВП предложил мне стать корректором книги, т.е. внимательно её вычитать, чтобы убрать все опечатки. О медицинской генетике я имел весьма смутное представление, так что изучение книги ВП мне было просто необходимо и я бы внимательно прочёл её в любом случае, но оказалось к тому же, что это ещё и хороший заработок. ВП объяснил мне, что корректоры издательства работают плохо, пропускают много опечаток, и он мне будет очень признателен, если я внимательно вычитаю рукопись. Заплатит он мне по рублю за машинописную страницу, а рукопись содержала около 500 страниц. Я было заартачился, уверяя ВП, что я и без денег буду

внимательно работать, но ВП настоял на оплате, заверив меня, что издательство всё равно должно кому-то заплатить эти деньги. Много лет спустя я узнал, что корректор получает два рубля за печатный лист, а в печатном листе около 20 машинописных страниц. Так что ВП заплатил мне из своего кармана в 10 раз больше, чем заплатило бы издательство. Книга вышла во второй половине 1964 года, переиздана в 1968 году и стала откровением и учебником для многих тысяч студентов и медиков страны.

В кабинете ВП помимо его и моего письменных столов (стол ВП находился у окна, в дальнем от двери конце комнаты и отгорожен перегородкой, а мой стол располагался справа от двери) был ещё и круглый, как бы обеденный, стол, слева от двери, за которым чаевничал любящий ВП разнообразный люд. Приходила иногда и заведующая отделом – Мирра Александровна Фролова. Брюнетка лет сорока, высокого роста, со слегка монголоидным лицом, в очках и сигаретой в углу рта, она старалась выглядеть строгой, но чувство юмора не позволяло ей застыть в напускной важности. Любимым развлечением ВП и Мирры Александровны была игра – суровая начальница отчитывает нерадивого сотрудника. Правда, долго они не выдерживали и начинали хохотать, вполне довольные друг другом. ВП заботился, чтобы в «доме» всегда была еда, покупая что было в магазинах по дороге на работу: колбасу, сыр, консервы, и это при полном равнодушии к еде, за исключением хлеба. Он мог оставить на столе и потом выкинуть недоеденный кусок колбасы или сыра, но крошки хлеба он сметал со стола в подставленную ковшиком ладонь и опрокидывал в рот. Делалось это совершенно бессознательно, автоматически – лагерная привычка – самое дорогое – хлеб. ВП очень редко отчитывал меня и если и делал замечания, то в мягкой, иносказательной форме, вспоминая какую-нибудь подходящую историю из своей жизни. Но один раз я получил прямой «втык» и запомнил его на всю жизнь. Какой-то из моих экспериментов прошёл неудачно и я, сидя за своим письменным столом и рассматривая результаты, тихо выматерился на «ё. твою мать». Однако ВП услышал, подошёл ко мне и разразился гневной речью: «Послушайте, Вы, не смейте при мне произносить эти грязные слова. Если Вы хотите отвести душу в ругани, то делается это совершенно не так». И из уст ВП полилась такая чудовищная матерщина (где «мать» впрочем не затрагивалась), как прозой, так и в рифму, какой мне не приходилось слышать ни до, ни после. Длилось это довольно долго, я слушал открыв рот и вытаращив глаза, а ВП, закончив урок, сказал: "Вот так мы отводили душу в лагере. Так что в

следующий раз извольте материться как положено». Я попросил списать слова, ВП отмахнулся, но кое-что я всё-таки запомнил и с успехом использовал в разнообразных конфликтах. Но не только «правильному, не грязному» мату научил меня Эфроимсон. Он внушил мне любовь к поэзии и делал это с присущей ему деликатностью. Со стихами у меня как-то не складывалось со школьных лет. Нас заставляли учить наизусть стихи украинских поэтов, в том числе и современных, - например, Павло Тычина: «На майдане коло церкви/ Революция иде/ Хай чабан уси гукнули/ За атамана буде.» Не то чтобы я в результате возненавидел стихи, но как-то не тянуло их читать. Что я при случае и рассказал Владимир Павловичу. Через некоторое время ВП дал мне несколько страничек, написанных его рукой, объяснив, что любимые стихи он записывает, боясь их забыть. На листочках были стихи Гумилёва, Цветаевой и Мандельштама. Гумилёв понравился, но не потряс, а потрясение вызвали Цветаева и Мандельштам. ВП рассказывал мне об их жизни и смерти, периодически подбрасывая мне их стихи и с удовольствием выслушивал мои восторги. Объяснение ВП, что он записывает стихи, чтобы их не забыть, было просто выдумкой по той простой причине, что память у него была необыкновенная и он помнил не только стихи, но и прозу, прочитанную много лет назад. Вот пример. В 1965 или 1966 годах в Самиздате появился роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого». Прочитав роман, ВП сел писать письмо Солженицыну. Оказывается, тот неправильно указал расположение русских и немецких дивизий при каком-то сражении (не помню каком) и ВП подробно описал, как в действительности располагались войска. Совершенно ошарашенный, я спросил у ВП, зачем он проверял Солженицына. ВП ответил, что он его не проверял, а просто читал об этом сражении в 1924 году (сорок лет назад!) и запомнил расположение войск. Он отправил письмо Солженицыну и получил вскоре его благодарственную записку, вполне, впрочем, суховатую. Не любил наш пророк замечаний. ВП иногда тратил всю зарплату на перепечатку самиздатовских произведений и раздавал их своим знакомым, но непосредственно в правозащитном движении он не участвовал и не подписывал никаких коллективных писем в защиту репрессированных правозащитников. В интервью с Еленой Кешман за несколько месяцев до смерти, ВП рассказал, что он познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым в начале семидесятых годов и тот предложил ему присоединиться к правозащитному движению. ВП отказался, понимая, что диссидентство и наука несовместимы, и ВП выбрал науку. В

интервью с Кешман ВП выразил сомнение в правильности своего выбора, но я уверен в правильности выбора ВП. Зная его целостность и полную самоотдачу избранному делу, нет сомнений, что правозащитная деятельность поглотила бы ВП целиком, и мы были бы лишены его блистательных, первопроходческих книг, таких как «Генетика гениальности», «Педагогическая генетика» и другие. И самое главное – ВП был слишком крупной личностью, на голову выше подавляющего большинства правозащитников (не в обиду будь сказано этим замечательным людям), у него было своё видение мира и он не смог бы стать одним из «них», как бы хороши «они» не были. Как справедливо сказала Елена Кешман: «Эфроимсон был идеальным примером человека-мономана, одержимого одной идеей и канализирующего всю свою колоссальную энергию для воплощения этой идеи в жизнь. Его идея, демон, которым он был одержим: своими знаниями, своим трудом, своей жизнью принести как можно больше пользы людям». И ВП служил людям своими работами, открывая им глаза на человеческую природу и тот мир, в котором нам приходилось жить. В 1971 году журнал «Новый Мир» опубликовал статью ВП «Родословная альтруизма». Вот что написал ВП: «История показывает, что идеология, противоречащая человеческой совести, для своего поддержания нуждается в таком мощном чиновничье-шпионско-полицейско-военном аппарате подавления и дезинформации, при котором очень затруднён подлинный накал свободной коллективной мысли, необходимой для самостоятельного прогресса. Специфика эволюционного развития человечества такова, что естественный отбор был в очень большой степени направлен на развитие самоотверженности, альтруизма, коллективизма, жертвенности... Эволюционно-генетический анализ показывает, что на самом деле тысячекратно осмеянные и оплётанные этические нормы и альтруизм имеют также и прочные биологические основы, созданные долгим и упорным, направленным индивидуальным и групповым отбором... Наоборот, социальный отбор постоянно подымал на верхи пусть и энергичную, но прежде всего наиболее властолюбивую, жадную, бессовестную прослойку человечества». ВП дал и название этой прослойке, пустив в употребление убийственный термин «номенклатурная шпана». Относясь с большим сочувствием и уважением к диссидентам, я в правозащитной деятельности никогда не участвовал. Разумеется, я читал всё, что мог достать, «Сам»- и «Гам-издатовского». В повседневной жизни я старался следовать замечательным правилам, озвученным Юлием Кимом:

Это знают даже дети,  
Как прожить на белом свете:  
Проще этого вопроса  
Нету ничего.  
Просто надо быть правдивым,  
Благородным, справедливым,  
Умным, честным, сильным, добрым –  
Только и всего.

Не всегда это в полной мере мне удавалось, но я старался, благо мои наставники, Владимир Владимирович и Владимир Павлович, всей своей жизнью убеждали, что можно оставаться человеком и в условиях советского беспредела.

На чаепития в нашу комнату собирались сотрудники лаборатории иммунохимии, расположенной напротив кабинета ВП. Заведовал лабораторией Миша Далин, симпатичный, кареглазый брюнет 28 лет, спокойный, улыбчивый, знающий себе цену, а потому роняющий слова редко и со значением. В 1964 году в лаборатории появился Алик Мац, с которым я быстро сдружился и многому у него научился. Алик закончил мединститут в 1960 году, недолго проработал на мясокомбинате им. Микояна, после чего несколько лет не мог есть колбасу, понаблюдав как она готовится, а затем работал в Центральной туберкулёзной больнице. В Институт Мечникова Алик пришёл с готовой кандидатской диссертацией и защитился в 1965 году. От Алика я впервые услышал песни А. Галича, он знал много песен Вертинского, хорошо играл на гитаре и было замечательно иногда по вечерам, выпив немного спирта, распевать вдвоём любимые песни и романсы. Общение с Аликом, однако, никак нельзя было назвать безмятежным. Время от времени Алик отпускал в мой адрес язвительно-уничижительные замечания. Стоило мне похвастаться своим маленьким экспериментальным успехом, как в ответ раздавалось что-нибудь типа: «Какая жалость, что Мечников и Пастер не дожили до этого дня. Представляю себе, каким мощным стимулом оказались бы твои эксперименты в их исследованиях» и так далее и так далее. Язвительная тирада Алика могла длиться 10-15 минут. Как и все неопиты, я польхал энтузиазмом и язвительные словоизвержения Алика несколько охлаждали мои восторги, но не умеряли экспериментальный энтузиазм. Сам Алик легко обижался и когда я назвал его лаборантку «замачанной», он не разговаривал со мной несколько дней. Мы много раз ссорились и мирились, но остались друзьями на всю жизнь по той простой и основной причине, что я знал - Алик в трудную минуту не предаст и всегда придёт на помощь. Надеюсь, что Алик думал обо мне так

же. Последний раз удалось нам свидеться в 2005 году в Иерусалиме, но по телефону из Айова Сити в Москву перезваниваемся до сих пор.

Два-три раза в месяц я приходил по вечерам домой к Владимиру Владимировичу и Софье Владимировне. Удивительная атмосфера этого дома с разговорами о последних достижениях науки, о поэзии и музыке, а часто и прослушивание новых пластинок с записями известных музыкантов (двоюродный брат ВВ был аккомпаниатором замечательной певицы Надежды Обуховой и источником новых записей) неотвратимо меня притягивала, хотя вначале я очень боялся прослыть назойливым, хорошо к тому же понимая, что вряд ли могу быть интересен тем людям, которые собирались в доме ВВ. А общество собиралось замечательное. Прежде всего – многолетние друзья ВВ – Николай Николаевич Соколов и Борис Николаевич Сидоров, приезжал из Обнинска Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Борис Львович Астауров, Александра Алексеевна Прокофьева-Бельговская, но всех не перечислишь. Случалось иногда и так, что я приходил в 9-10 вечера, и гостей никаких не было. Софья Владимировна усаживала меня в гостиной и распевно сообщала: - Во-ло-дя, Оскар пришёл. – Сейчас, - раздавалось из соседней комнаты, где в кабинете-спальне работал ВВ. Через 3-4 минуты ВВ выходил в гостиную. Догадываетесь, что делал ВВ эти 3-4 минуты в своей комнате? Он переодевался. Не мог он выйти ко мне, сопляку, в пижаме – воспитание не позволяло: гостей в пижаме не встречают. Я всегда использовал возможность рассказать ВВ о своих делах, когда заставал его одного, причём делился с ним не только своими аспирантскими делами, но и личными. Иногда ВВ, вместо совета, ставил новую пластинку с вальсами Шопена, меня это почему-то успокаивало и я уходил с ощущением, что всё наладится и будет хорошо. Изредка я заставал Софью Владимировну в одиночестве, ВВ где-то задерживался, и в один из таких вечеров я набрался храбрости и спросил у Софьи Владимировны был ли ВВ женат. Вместо ответа Софья Владимировна пригласила меня в комнату ВВ и показала портрет молодой, очаровательной женщины. – Он очень её любил,- грустно сказала Софья Владимировна,- поэтому и не женат. Она не стала ничего объяснять, и никто из нас так и не узнал, почему не сложились отношения у ВВ с этой прекрасной дамой, а другой, такой же прелестной, ему не привелось повстречать.

У ВВ я познакомился я и сдружился с замечательной парой – Володей Полюниным и его женой Ниной. Полюнин – псевдоним, фамилия Володи – Блантер, его отец – известный в



своё время композитор Матвей Блантер, но Володя с отцом перестал общаться после развода родителей. Володя закончил юридический факультет МГУ, работал следователем на железной дороге, о чём вспоминал с отвращением. Отработав положенные три года, стал писать очерки о селекционерах и познакомился с Владимир Владимировичем, что и определило его дальнейшую судьбу. Работал Володя корреспондентом журнала «Огонёк», затем стал ответственным секретарём журнала «Природа», в 1967 году вышла его блистательная книга «Мама, папа и я» - о генетике и генетиках, а затем – «Пророк в своём отечестве» - о Николае Константиновиче Кольцове. Володя был типичным меланхоликом, что впрочем сочеталось с любовью к анекдотам и хорошим чувством юмора. Энергией Володя заряжался от своей жены Нины. Яркая, полная блондинка, с полыхающими голубым огнём глазами, Нина легко рассекала пространство, неистово танцевала, доводя своих партнёров до иступления и вызывая приступы ревности у Володи. Мало этого – Нина великолепно готовила. Выросла она в Баку и вкус её пища забыть невозможно. Но самое главное: Нина была замечательным врачом. Она заведовала терапевтическим отделением в одной из московских больниц (не помню в какой) и стала домашним врачом ВВ. Заботы Нины безусловно продлили жизнь ВВ. После двух инфарктов сердце у ВВ барахлило, часто возникала одышка. К тому же ВВ страдал от язвы желудка и ему была необходима строгая диета. ВВ много работал – это ему было противопоказано; ВВ любил за компанию выпить одну-две рюмки водки – и это было противопоказано. ВВ к тому же курил – это уж совсем выводило Нину из себя. На все наскоки Нины ВВ спокойно отвечал: «если я перестану работать, пить и курить, то это уже буду не я, а кто-то другой и судьба этого другого мне не интересна. Я хочу умереть Владимир Владимировичем Сахаровым». Нине ничего не оставалось, как примерно раз в полугодие укладывать ВВ к себе в отделение на 2-3 недели, после чего ВВ буквально оживал.

Радостное событие произошло наконец в генетике. Осенью 1964 года сняли Н.С.Хрущёва и вместе с ним полетел со всех своих высоких постов Лысенко и вся его армия подонков. Но до снятия Лысенко, весной 1964 года, мы успели лично пообщаться с корифеем и любимцем советских вождей. Мы – это молодые аспиранты и научные сотрудники из анти-лысенковских лабораторий. Собралось нас человек десять – помню Вальо Андреева, Витю Гиндилиса, Мишу Оганесяна, Кирила Гринберга. Собрались мы послушать лысенковского холуя Кушнера, которого Лысенко выдвинул в члены Академии Наук и тому надо было

выступить с программной речью о своих достижениях. Выступал Кушнер в зале биоотделения Академии наук на Ленинском проспекте, нёс обычную лысенковскую ахиною о жизненных силах организма, которые преобразуются средой обитания, а потом и наследуются и после доклада мы стали задавать вопросы. Не помню о чём мы спрашивали, но ответа ни на один вопрос не получили и, в конце концов, озверевший Кушнер нам сказал: «Вот тут на втором этаже кабинет Трофима Денисовича, идите к нему и задавайте свои вопросы». Мы поднялись на второй этаж и объяснили секретарше, что Кушнер не сумел ответить на наши вопросы и послал искать ответы у самого Лысенко, как создателя и корифея. Секретарша скрылась в кабинете, вскоре вернулась и пригласила нас войти. За большим письменным столом восседал Лысенко. Он слегка приподнялся, приветствуя нас, и жестом пригласил рассаживаться за длинным столом, стоящим перпендикулярно к письменному. Землисто-серого цвета лицо, тусклый взгляд, свисающая на лоб косая чёлочка – личико корифея не впечатляло. Вопросы задавал Валя Андреев, а в ответ на нас выливалось всё то же – жизненная сила, воспитание средой. Минут через тридцать Лысенко поднялся над столом, упёрся в него кулаками, наклонился вперёд и произнёс: - Я знаю, кто вас послал. Передайте им, что они дураки и победа будет за нами. На чём и распрощались. Каков же был интеллектуальный уровень правителей СССР, если это серое ничтожество столько лет убеждало их в своей правоте.

Разгон лысенковцев открывал путь к созданию института генетики, где могли бы работать и учить молодёжь замечательные учёные: Сахаров, Соколов, Сидоров, Эфроимсон, Прокофьева-Бельговская, Р.Л. Берг и многие другие. Правительство приняло решение о создании Института общей генетики, осталось найти директора. И искать его долго не пришлось. Антон Романович Жебрак – почти все считали, что лучше директора и быть не может: первоклассный учёный, опытный администратор, демократичный, спокойный, выдержанный. И Жебрак к всеобщему ликованию был утверждён в должности директора Института общей генетики. Ликование продолжалось два дня, а на третий день Жебрак умер от инфаркта. Не везло советской генетике, не везло – и всё тут. И назначили директором Николая Петровича Дубинина – и это была катастрофа. О Дубинине много написано и сам себя он не обидел, написав книгу «Вечное движение», из которой вытекало, что в СССР только один настоящий генетик был и есть – Николай Петрович Дубинин, за что книгу и обозвали «Вечное выдвигание». Сахаров, Соколов и

Сидоров вошли поначалу в Институт общей генетики, но уже через год вынуждены были перейти в Институт биологии развития, так как Дубинин просто не давал им работать. Достаточно сказать, что в Институте было тридцать аспирантов и всеми руководил лично Николай Петрович.

Летом 1965 года была организована двухнедельная генетическая школа на Можайском море.

Цель школы – чтение лекций для начинающих молодых генетиков, а читать лекции должны были наши замечательные классики: Сахаров, Эфроимсон, Тимофеев-Ресовский, Прокофьева-Бельговская, Р. Л. Берг, Иосиф Абрамович Рапопорт, В.Я. Александров, Л.А. Блюменфельд. Рапопорт дружил с Владимир Павловичем и ВП называл его Юзек. Я о Рапопорте слышался от Эфроимсона удивительных рассказов, а тут представилась возможность с ним познакомиться. Институт химфизики, где Рапопорт заведовал отделом химического мутагенеза, выделил ему машину («волгу») для поездки на Можайское море, Рапопорт пригласил ВП поехать вместе, а ВП взял меня с собой. Так я познакомился с легендарным Рапопортом и немного сейчас о нём расскажу. Рапопорт родился в 1912 году в семье врача в городе Чернигове. В 1930 году он поступил в Ленинградский университет и затем в аспирантуру Института экспериментальной биологии к Николай Константиновичу Кольцову. После аспирантуры Рапопорт остался работать в ИЭБ, сосредоточившись на фенотипических изменениях под влиянием химических веществ, что и привело затем к открытию химического мутагенеза. Защита докторской диссертации была назначена на конец июня 1941 года, но началась война и Рапопорт уходит добровольцем на фронт. За годы войны И.А.Рапопорт был трижды представлен к званию Героя Советского Союза и ни разу этого звания не получил. В первый раз звание Героя он должен был получить за форсирование Днепра. Завязались тяжёлые бои на правом берегу Днепра и возникла угроза окружения. Командир дивизии с ротой разведчиков, бросив свои батальоны, отступил в тыл, а Рапопорт принял на себя командование дивизией и выдержал натиск немцев. Тут вернулся командир дивизии и потребовал от командиров рапорт. Первым докладывал Рапопорт. Он подошёл и дал пощёчину комдиву. Золотую звезду не дали и перевели Иосифа Абрамовича в другую дивизию. В 1943 году Рапопорта направили на прохождение ускоренного курса высшей военной академии имени Фрунзе в Москве и во время этой учёбы он защитил в МГУ докторскую диссертацию, которую не успел защитить из-за начала войны. Рапопорт возвращается в

действующую армию, был тяжело ранен и потерял глаз в 1944 году и ещё два раза был представлен к званию Героя, но каждый раз успешные военные операции Рапопорта проходили в нарушении приказов больших начальников, которые и не подписывали представления командира дивизии – непосредственного начальника Рапопорта. После войны он возвращается в Кольцовский институт и в 1945-48 годы открывает целую серию веществ, вызывающих мутации – так был открыт химический мутагенез, одновременно и независимо с Шарлотой Ауэрбах в Англии. Сессия ВАСХНИЛ прервала эту работу. Рапопорт выступил на сессии и сказал все, что он думает о Лысенко и «мичуринцах». Он немедленно был выгнан с работы, исключён из партии, куда вступил во время войны, и работал с 1949 по 1957 годы сотрудником экспедиций нефтяного и геологического министерств, занимаясь палеонтологией и стратиграфией. (Я не знаю, как принимали на фронте в партию Рапопорта, но могу рассказать, как мой отец стал членом партии. Перед битвой на Курской Дуге в 1943 году танковый полк, где воевал отец, был торжественно построен и командир полка торжественно произнёс, что в предстоящей битве с немецкими захватчиками победа будет за коммунистами и весь полк, не сходя с места, единодушно вступил в партию). В 1957 году неподвластный лысенковцам академик Н.Н.Семёнов берёт на работу Рапопорта в Институт химической физики АН и Рапопорт ведёт дальнейший поиск химических мутагенов, открывая класс супермутагенов, индуцирующих мутации генов с высокой частотой.

Я сейчас немного расскажу о необыкновенной женщине, которую её ученик, Михаил Голубовский, назвал «явлением природы» и был совершенно прав. Раиса Львовна Берг, именно о ней и пойдёт речь, появилась у Владимира Павловича осенью 1966 года. До этого я видел Раису Львовну на заседаниях секции генетики МОИП, на Можайском море, но знаком с ней не был и лишь издали, с почтительным восторгом любовался ею. Раиса Львовна свободно владела немецким, английским и французским. Её научные интересы были необъятны: исследование закономерностей мутационного процесса в популяциях дрозофил, эволюционная морфология растений и медицинская генетика. Она начала писать книгу «Наследственность и наследственные болезни человека» вместе с известным невропатологом и генетиком Сергеем Николаевичем Давиденковым, но Давиденков умер в 1961 году и книга осталась незаконченной. Для завершения книги Раиса Львовна обратилась за помощью к Владимиру Павловичу и

ВП предоставил в распоряжение РЛ свою богатейшую картотеку по медицинской генетике. Две недели РЛ провела в нашей комнате, делая выписки и записывая соображения ВП и книга была издана в 1971 году. РЛ много путешествовала, увлечённо и ярко рассказывала о своих походах и кроме того она прекрасно рисовала. Я запомнил рассказ ВП о защите докторской диссертации РЛ в Ботаническом институте в Ленинграде в 1964 году. – Представьте себе, - захлёбываясь от восторга, рассказывал ВП, - эта женщина из 40 минут, отведенных на защиту, первые 20 минут описывала чувства, которые её охватывают при виде цветущего весеннего поля и показывала слайды своих абстрактных картин. Вот такая женщина поселилась у нас на две недели и я как зачарованный слушал её рассказы во время чаепития. РЛ эмигрировала в США в 1974 году и в 1983 году вышла замечательная книга её воспоминаний «Суховой». При общении с Раисой Львовной возникало удивительное ощущение, что окружающий мир ей подчиняется. Вот мы в гостях у Владимир Владимировича и в этот вечер Раиса Львовна уезжает в Ленинград. Поезд отходит в 11 вечера. ВВ просит меня проводить РЛ на вокзал, я охотно соглашаюсь, но вот уже 10-30, до отхода поезда полчаса, а РЛ никуда не торопится. Я с удивлением перевожу взгляд с ВВ на РЛ, наконец ВВ не выдерживает и спрашивает РЛ не забыла ли она, что ей давно пора на вокзал. – У меня такое чувство,- спокойно отвечает Раиса Львовна,- что поезд без меня не уйдёт. В 10-45 мы выходим из дома, и тут подъезжает такси, что для тихой улочки Остужева было событием редчайшим. Прибываем на Ленинградский вокзал в 11-15, РЛ идёт не торопясь и подсмеивается над моей нервозностью, выходим на платформу, поезд стоит, по-видимому в ожидании РЛ, она меня треплет по затылку, приговаривая,- Я же Вам говорила, - входит в вагон и поезд трогается. Раиса Львовна умерла в 2006 году в Париже и похоронена на кладбище Пер Лашез. Раиса Львовна прожила 93 года и оказалась последним представителем замечательной плеяды российских генетиков XX века.

Пора, однако, вернуться к моим аспирантским опытам. После трёхкратной иммунизации девяти инбредных линий мышей и анализа уровня антител к эритроцитам барана и тифозным бактериям удалось выявить две линии, отличающиеся в 6 раз по уровню антител к эритроцитам, и другую пару линий с различиями титра антител к бактериям. Это была трудоёмкая работа: после каждой иммунизации кровь для анализа бралась на разные сроки после введения антигена, чтобы следить за развитием иммунного ответа во времени, и, разумеется,

проверялся ответ индивидуальных мышей для анализа внутрилинейной изменчивости по сравнению с межлинейной. Всего было протестировано около тысячи мышей, так что я «вкалывал» (как выражался ВП) с утра до вечера. Результаты должны были подвергнуться дисперсионному анализу, чтобы выявить отличается ли внутрилинейная изменчивость от межлинейной. И я, стиснув зубы, засел за учебник Плохинского «Биометрия». Ни компьютеров, ни даже калькуляторов, в то время не было (разве что арифмометр) и обсчёт тысяч полученных цифр я проводил практически вручную, так что к концу дня глаза лезли на лоб. Результаты однозначно показали, что внутрилинейная изменчивость гораздо ниже различий между линиями на всех этапах иммунного ответа и, следовательно, уровень иммунного ответа определяется наследственными факторами. Нужно было писать статью и публиковать результаты. С помощью Владимира Павловича я написал свою первую статью и отослал её в «Бюллетень МОИП». Статья, десять печатных страниц, вышла в начале 1966 года. ВП отказался от соавторства. Как я его ни уговаривал, что без него не было бы ни самой работы, ни статьи, и что совместная публикация для меня большая честь, ВП твёрдо стоял на своём, утверждая, что его имя широко известно, и он опасается, что при совместной публикации никто на меня не обратит внимание, а нужно, чтобы Рохлин воспринимался как самостоятельный учёный, а не придаток Эфроимсона. Так что ни в этой, ни в последующих трёх аспирантских статьях ВП соавтором не был.

Дисперсионный анализ внутрилинейных и межлинейных различий показал, что наследственные факторы играют существенную роль в определении уровня антител, но генетический анализ (т.е. получение гибридов первого и второго поколений) выявленных межлинейных различий был бессмысленен, так как количественные различия между линиями были невелики и было ясно, что будет невозможно фенотипировать гибридных мышей. Надо было искать другой антиген с небольшим числом антигенных детерминант, чужеродных для мышей, и мы решили попробовать иммунизацию мышей эритроцитами крысы, как вида животных достаточно близкого к мышам. Первая иммунизация разочаровала – опять количественные различия между линиями, но всё же я продолжил и повторно ввёл эритроциты крыс мышам всех линий. И тут, к моему изумлению, одна из линий не ответила образованием антител на повторную иммунизацию. Я решил, что может быть эта реактивность связана с дозой антигена или с интервалом между

первой и второй иммунизациями и провёл серию опытов, варьируя дозу эритроцитов крысы и время между первой и второй иммунизациями. Ничего, к счастью, не изменилось: мыши этой линии отвечали на первичное введение антигена и затем становились ареактивными. Вот теперь можно было приступить к генетическому анализу этих различий. Ответ гибридов первого поколения показал, что ареактивность является доминантным признаком. Затем гибридов скрестили с мышами реагирующей линии (возвратное скрещивание) и признак ареактивности/реактивности расщепился в потомстве примерно один к одному, т.е. наследовался моногибридно и, следовательно, один ген определял способность мышей отвечать образованием антител к эритроцитам крысы.

Сделаю небольшое отступление на тему: «Почему я люблю науку». Девяносто процентов моего времени (12-14 часов ежедневно, часто без выходных) уходило на «чёрную» работу: уход за мышами, иммунизация сотен и сотен мышей, взятие у них крови и, наконец, самое приятное в моей работе – постановка различных реакций для выявления уровня иммунного ответа. Бывало очень досадно, когда эксперименты не приносили ожидаемых результатов, но зато как всё расцветало, сияло и пело, когда результаты были интересными и уж полный восторг переполнял меня при неожиданных результатах, как в случае паралича иммунного ответа. Я ушёл из аптеки, потому что мне стало скучно и сама мысль, что вот так, монотонно, день за днём я буду тянуть эту лямку, отравляла мне жизнь. Я не рвался в начальники. В 24 года я управлял аптекой, где работало 50 сотрудников. Чем не карьера. Но скучно и тоскливо было тянуть эту бесконечную лямку. Я бы сравнил любовь к науке с любовью к азартным играм. Просиживать часами за карточным столом можно только в надежде, что, в конце концов, вам повезет, и вы сорвёте банк. Большой или маленький – неважно (лучше, конечно, большой), главное – выигрыш. Выигрыш в науке – это открытие нового, ранее никем не наблюдавшегося. И опять – открытие может быть большим или маленьким, как повезёт, но в любом случае – вы первый и оно ваше. И вам никогда не скучно, потому что вы находитесь в ожидании блаженных минут открытия.

Я опубликовал результаты в журнале «Генетика» и сел писать диссертацию с красивым названием «Роль генотипа в образовании антител». Разумеется, надо было исследовать механизм этой странной ареактивности: ведь мыши отвечали на первичное введение антигена, а после повторного введения появлялся (индуцировался) какой-то фактор, вызывающий

паралич иммунного ответа. Ничего подобного в литературе описано не было и очень хотелось продолжить исследование. Но сроки поджимали. Диссертацию я сдал в учёную часть института в срок – в конце августа 1966 года (аспирантура была трёхлетней и считалась успешной, если к концу аспирантского срока завершалась диссертацией) и меня из аспирантов перевели на должность младшего научного сотрудника. Теперь предстояло найти двух оппонентов – иммунологов и ими стали Лев Николаевич Фонталин и Роальд Соломонович Незлин. Фонталин, доктор биологических наук, заведовал лабораторией иммунологической толерантности в институте микробиологии и иммунологии имени Гамалея АМН, а Незлин, кандидат наук, был старшим научным сотрудником в Институте молекулярной биологии АН. С Фонталиным я встречался на иммунологических семинарах в Институте Гамалея и в лаборатории Надежды Аркадьевны Краскиной (Институт иммунологии и микробиологии Минздрава РСФСР). Фонталин мне очень нравился. Среднего роста, несколько мешковатый и явно неспортивный, он привлекал удивительно точной, яркой речью, излагая самые запутанные вопросы иммунологии ясно и доступно. Мы с ним потом подружились, несмотря на разницу в возрасте (ему было около сорока), а когда они с мамой купили кооперативную квартиру в Тушино, в пяти минутах от нашего дома, мы ходили в гости друг к другу, играли в шахматы (Фонталин почти всегда выигрывал) и часами разговаривали. Незлин занимался биосинтезом антител, был хорошим иммунохимиком, я знал его работы, но никогда с ним не встречался.

Оба оппонента дали положительные отзывы, защита состоялась весной 1967 года, и учёный совет института Мечникова единогласно присвоил мне звание кандидата биологических наук. Отец мне сделал царский подарок – пишущую машинку «Эрика». Достать их было невозможно, и отец купил машинку у киевских спекулянтов. Теперь я мог делать рефераты дома на хорошей портативной машинке, а не сидеть допоздна на работе за старинным чугунным «Ундервудом». Я подрабатывал референтом в ВИНТИ (Всесоюзный Институт Научной и Технической Информации), так как моих аспирантских ста рублей не хватало на жизнь. За один реферат платили в среднем 2 рубля 50 копеек и надо было сделать 40 рефератов в месяц, чтобы удвоить стипендию, да и зарплата младшего научного сотрудника (мнс), хоть и кандидата наук, была всего 150 рублей. Рефераты я теперь стал делать дома по воскресеньям, десять рефератов в день, на один реферат уходило час-полтора, так что с утра я садился за



машинку и к вечеру, выполнив норму, сползал со стула на кровать. После защиты полагалось устраивать банкет с приглашением официальных лиц, оппонентов и друзей. Ресторан «София» на улице Горького стал местом банкета, поздравляли, ели, выпивали. Я уговорил Владимир Владимировича придти на банкет, хотя и знал его неприязнь к официальным мероприятиям, но уж очень мне хотелось, чтобы оба моих учителя, Сахаров и Эфроимсон, были со мной в этот день. Не очень помню, как проходил банкет. Что поразило – когда мы уходили из ресторана, старший официант мне сказал, что осталось четыре нераспечатанных бутылки коньяка «Плиска», так вот, я их возьму или как? – Возьму, возьму, - обрадовался я, поразившись порядочности официантов. Разумеется, я не подсчитывал число выпитых бутылок.

Ещё до защиты кандидатской, параллельно с оформлением диссертационных бумаг, я решил исследовать действие супермутагенов на иммунный ответ. Иосиф Абрамович Рапопорт открыл, что нитрозоалкилмочевины в десятки раз увеличивают частоту мутаций различных генов и, находясь под сильным влиянием как личности Рапопорта, так и его пионерских работ, я приступил к этим опытам. Я встретился с Рапопортом в Институте химфизики, он одобрил мои планы и посоветовал начать работу с тремя супермутагенами: нитрозометил(НММ), нитрозоэтил (НЭМ) и нитрозопропил (НПМ) мочевины. Рапопорт усадил меня в углу большой лабораторной комнаты и сказал, что скоро придёт его сотрудник с препаратами. Через некоторое время в комнату влетел сотрудник лет тридцати пяти и, не заметив меня, закричал: - Где этот мудака, которому нужны препараты? – Этот мудака здесь, - откликнулся я. Сотрудник покраснел и молча протянул мне три пробирки с белым порошком. В 1966 году о генах иммуноглобулинов было мало что известно и нельзя было предсказать, как обработка супермутагенами отразится на иммунном ответе. Как раз то, что я так любил: исследовать неизвестное. Я вводил мышам различные дозы препаратов до и после введения антигена (эритроцитов барана) и определял не только уровень иммунного ответа, но и число лейкоцитов и лимфоцитов в крови и селезёнке, чтобы оценить токсичность препаратов. Результаты с НЭМ оказались совершенно удивительными: НЭМ подавляла иммунный ответ в узком временном интервале - только через 48-60 часов после введения антигена, при этом последующие иммунизации не выводили мышей из иммунологического паралича к данному антигену. Я быстро написал статью, опубликовал её в Докладах Академии наук (статью представил академик Борис Львович Астауров) и

строил грандиозные планы дальнейших исследований. Но жизнь моя круто изменилась и планы так и остались на бумаге.

Весной 1967 года Владимир Павлович мне сообщил, что он переходит на работу в Институт психиатрии Минздрава РСФСР, где он должен был организовать лабораторию генетики психических заболеваний и предложил мне должность старшего научного сотрудника. Я растерялся, совершенно не представляя себе, что я могу исследовать в Институте психиатрии. Я поговорил с Миррой Александровной, заведующей отделом иммунологии. Она меня заверила, что я могу остаться в её отделе после ухода ВП и продолжать дальше свою работу и, более того, мне дадут лаборанта. Промучившись несколько дней, я сказал ВП, что предпочитаю остаться в Институте Мечникова. ВП с пониманием отнёсся к моему решению, и мы навсегда сохранили добрые отношения.

В 1975 году уволили директора Института психиатрии, который пригласил ВП в институт, и новый директор тут же расформировал лабораторию ВП и отправил его на пенсию. Директор Института биологии развития АН, академик Борис Львович Астауров зачислил ВП в штат института - они были знакомы ещё с тридцатых годов и относились друг к другу с глубоким уважением. Собственно, ВП мало что утратил, лишившись лаборатории. Со свойственной ему щедростью ВП раздавал идеи сотрудницам лаборатории, а милые дамы, вместо проведения исследований, выясняли, кто из них самый-самый и лаборатория вскоре превратилась в клубок шипящих змей. ВП был типичный учёный-одиночка. Он был переполнен идеями и всё что ему нужно было для работы – это ручка и бумага и работал он по 14-16 часов ежедневно, не признавая выходных. Он и Новый Год встречал за письменным столом, утверждая, что как встретишь Новый Год, так он потом и сложится. После смерти жены, Марии Григорьевны, ВП жил один в небольшой двухкомнатной квартире у метро Юго-Западная, питаясь всухомятку, чем Бог послал, т. е. консервами типа «бычки в томате», сыром и колбасой. Но раз в год, 21 ноября, в день рождения ВП, я совершал акт насилия и как он ни отбивался я и Алик Мац приходили к нему в гости, приносили с собой выпивку и еду. ВП спиртное не употреблял, но мы с Аликом ни в чём себе не отказывали, а поев и выпив, услаждали слух ВП романсами и песнями Вертинского, Окуджавы, Высоцкого, Галича. ВП написал несколько книг по психиатрии и две книги общемирового значения – «Генетика гениальности» и «Педагогическая генетика». Никакой надежды не было опубликовать эти книги при советской власти, от предложений

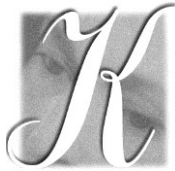
передать их на Запад ВП отказывался, я хранил обе рукописи и передал их в середине восьмидесятых по распоряжению ВП Елене Кешман (Изюмовой), которая опубликовала их с помощью Миши Голубовского в середине девяностых, уже после смерти ВП (21 июня 1989 года). Последние 3-4 года жизни Лена была ангелом-хранителем ВП, и он умер у неё в доме.



# Марина Вирта

## Два голоса. Стихи

\*\*\*



концу ноября стали дни друг на друга  
похожи,

И ночи длинней, и загадок полны вечера...  
Из Летнего сада уходит последний прохожий,  
И тянут его, увлекая за полы, ветра.  
Стоит на мосту неуверенно, как виноватый.  
О, если бы он сквозь густую преграду ветвей  
Сумел разглядеть меж немых заколоченных статуй  
Смешное подобье великой печали своей...  
Снега упадут, и под кронами станет светлее.  
И пристально глядя, увидит другой кто-нибудь:  
Вертящая девочка плачет на главной аллее  
И шепотом просит ей облик минувший вернуть.

\*\*\*

Из памятного дня с цветами и травой,  
Когда свинец Невы сменился синевой,  
Донесся слабый звук, в тиши подобный вскрику.  
Я к шкафу подойду и дверцу отворю,  
И с Вами по душам я вновь поговорю,  
И руку протянув, поглажу Вашу книгу.  
И этот краткий миг  
Молчанья возле книг,  
И этот долгий мрак  
Возни среди бумаг,  
И солнечного дня тепло и пониманье  
Составят долгий век.  
И строгий человек  
Мне ласково кивнет с улыбкой состраданья.

\*\*\*

Молодой ли, старый – все равно.  
Все прошло и кануло. Ни строчки  
Не осталось. Желтые листочки  
Из тетрадей сгинули давно.  
Наклоняться к белым кружевам,

Целовать протянутую руку,  
Узнавать гармонию по звуку,  
Правду – по замученным глазам.  
Просто жить. И голову вскружив,  
Жизнь подарит радость и мученья.  
А стихам не придавать значенья:  
Это – как дышать, покуда жив.

\*\*\*

Зима, дорога, одинокий путь,  
От ревматизма вновь свело колени.  
Гляди в окно и знай – не в этом суть,  
А в предстоящей трудной перемене.  
Летит, летит старинный экипаж,  
И путник ловит вьюги отголоски.  
От множества находок и пропаж  
Он присмирел и смотрит философски  
На жизнь, на лес, на сумрак за окном  
И на свои распухшие суставы.  
И стоит ли гадать – а что потом?  
А что потом? Доехать до заставы,  
Коней сменить и вновь куда-нибудь,  
Не привыкая к стенам и порогам.  
Зима, дорога, одинокий путь  
Располагают позабыть о многом,  
О возрасте и прочих мелочах,  
Забуть судьбы превратности и милость.  
В нем дух силен и разум не зачах,  
И перемена где-то притаилась.  
Навстречу ей, вперед, еще чуть-чуть...  
Он сел прямей и смотрит зло и властно.  
Зима, дорога, одинокий путь –  
Ведь это тоже, в сущности, прекрасно.  
Мельканье лет, и мыслей, и застав,  
Рука тверда и непреклонен почерк...  
Красавица, роман перелистав,  
К окну припав, на цыпочки привстав,  
Еще услышит легкий колокольчик.

\*\*\*

*Б.Г. Друяну*

Пускай стихи приходят с холодами,  
С бессонницей и зрелыми годами,  
А то, что раньше, – это не стихи,  
А бунинское легкое дыханье,

Кисейной занавески колыханье,  
Наивный трепет, лепет, пустяки.  
Зато она и вправду хороша –  
Свою судьбу принявшая душа,  
Прервавшая себя на полуслове,  
Как только различила между строк  
Чужой потусторонний холодок  
С чужими запятыми наготове.  
Сегодня, ежечасно, ежегодно  
Живи, душа, отныне ты свободна,  
Чужое не возьмет тебя в полон.  
Выращивай свое, но помни свято  
О тех, кто путь твой осенил когда-то.  
Пусть вечным будет – только так и надо –  
Твой первый ученический поклон.

\*\*\*

Как при Блоке – лиловые складки,  
Полусумрак и полупокой.  
И все в том же знакомом порядке  
Возникают строка за строкой.  
Как при Блоке – пустые подъезды,  
Ночь и гулкое эхо шагов.  
И во мне возникают подтексты  
Самых светлых на свете стихов.  
Как при Блоке – метель не стихает.  
И в любых закоулках Москвы,  
Где ни спрячешься, - везде настигает  
Тот пронзительный ветер с Невы.

\*\*\*

Оставлю в скверике скамью,  
Сверну на площадь наудачу,  
Под теплым снегом постою,  
От теплой радости заплачу.  
А на Неве, на грязном льду

Вороны серые скучают.  
Они тоску обозначают.  
Я поскорей от них уйду.  
А снег разлегся на кустах,  
Кусты пушисты и красивы.  
Но почему в моих ушах  
Гремят тяжелые разрывы?  
Как пуст зимою Летний сад!

Как мерзнут руки в рукавицах!  
Война. Блокада. Ленинград.  
Две «шпалы» в папиных петлицах...

### Коктебель

Не уйти – повсюду с нами  
Тень ошибок и обид...  
Над безлесыми холмами  
Птица серая парит.  
Лопушок, на мышь похожий,  
В пыль зарылся и зачах.  
Птичья тень тяжелой ношей  
Распласталась на плечах.  
Путь недалкий, вид унылый,  
Бесконечно длится день.  
Над высокою могилой  
Кружит умершего тень.  
Не спеши остановиться,  
Приглядишься – холмы ли, дым?  
На лицо мое ложится  
Тень поэта или птицы?  
Где живые? Где граница  
Между мертвым и живым?..

### МЕТЕЛЬ

«Но едва Владимир выехал за околицу в поле,  
как поднялся ветер и сделалась такая метель,  
что он ничего не взвидел».  
А.С. Пушкин. «Метель».

#### 1.

Отправят девочку в кровать,  
Она пригреется в постели  
И будет тихо засыпать

Под шорох пушкинской «Метели».  
Ей хорошо. А надо мной  
Сны и невнятные, и недолгие.  
Зато я чувствую спиной  
Всю благодать вагонной полки.  
И мельтешащие стволы  
Вдруг остановятся на месте,  
Где обе встречные «Стрелы»  
Видны друг другу на разъезде.

В обеих сон и забытьё.  
Но кто-то в той в Москву стремится.  
Он едет в прошлое мое,  
Как я в его. И нам не спится.  
Рассвет. Перрон. Метель и мгла.  
Но я увижу сквозь преграду:  
Адмиралтейская игла  
Летит навстречу снегопаду.  
Звенит мотивчик в голове,  
Мурлыча мне о небывалом...  
Уютно девочке в Москве  
Дремать под теплым одеялом.

2.

К окну подойди, близоруко глаза напрягая,  
Закутайся в кофту и зябко дыши на стекло.  
Метель замечает дороги от края до края,  
Все выше сугробы, всю память твою замело.  
Бессмысленно думать метельною ночью о лете,  
Да ты и не помнишь, как выглядят летом луга.  
Ты лучше послушай, как северо-западный ветер  
Все гонит и гонит с балтийского неба снега.  
А там, далеко, у Невы, вдоль пушистой аллеи  
Идет человек, побелевший от снежной красы.  
Ты за полночь свет погаси и укройся теплее,  
И незачем взгляды косые бросать на часы.  
Не видно домов и людей, и весь город как вымер.  
Два скорых, два встречных готовы в дорогу опять.  
В такую метель заблудился бы снова Владимир,  
В такую метель, разумеется, нечего ждать.

3.

Черный Пушкин в сугробы одет,  
На бульваре скамьи завалило.  
У художника выбора нет,-  
Надо впрок заготовить белила.  
Он подрамник берет за ремень  
И выносит его на свободу.  
В безмятежный, безветренный день  
Принимается он за работу.  
Вот и мне за работу пора.  
За окном тишина и доверье.  
На заснеженной глади двора  
Выделяются четко деревья.  
А вчера уверяло меня



Мельтешение линий и точек,  
Будто слышно хрипенье коня  
И под самым окном – колокольчик.  
Чем кончается повесть? Ах, да –  
Тем же самым, чем кончилась прежде.  
Совпадение в конце, как всегда,  
Оставляет пространство надежде.  
Кто виновен, что мы в суете  
Забываем про снежные бури?..  
У художника снег на холсте  
Получился белей, чем в натуре.  
Зимний день потускнеет к пяти,  
Мы опять никуда не успели.  
Ну и пусть. Посидим взаперти,  
Подождем продолженья метели.

## Два голоса

### 1.

Перед тем, как отчаяться, я проявлю нетерпенье,  
Я позволю себе Вас от будничных дел оторвать.  
Может быть, не любовь, а наивная вера в спасенье,  
Золотая надежда меня посетила опять.  
Может быть, не любовь, - тяготенье к покою и свету.  
Может быть, не слеза, а капель на озябшей щеке.  
На Неве ледоход. Вы стоите спиной к парапету.

Вы пальто распахнули и держите шапку в руке.  
Так стойте еще и позвольте на Вас наглядеться.  
Мне от счастья тепло, я легко подбираю слова:  
Может быть, за мое сиротливое темное детство  
Мне сегодня подарены Вы, ледоход и Нева.  
Этот день отойдет, растворясь в суетливых и шумных  
Прочих днях нашей жизни, растает, как мартовский  
лед.  
Но однажды в глазах Ваших добрых, серьезных и  
умных,  
Может быть, не любовь, - благосклонность ко мне  
промелькнет.

### 2.

Перед тем, как отчаяться, я вспоминаю все то же:  
Ледоход на Неве и оттаявший серый канал.  
Может быть, не любовь, но я думаю, будь я моложе,  
Я, наверное, все же любовью бы это назвал.

Может быть, не любовь, а надежда тихонько  
вернулась,  
Не надежда сама, а ее осторожная тень.  
Может быть, за мою дистрофичную нищую юность  
Мне подарены были и Вы, и сырой этот день.  
Так садитесь удобней и на ногу ногу закиньте,  
Полудетскую туфлю небрежно качнув на мыске...  
Может быть, не любовь, но звенят напряженные нити,  
Но тепло на душе, но ладонь замерла на виске.  
Этот день отойдет, и мы оба привыкнем к разлуке.  
Может быть, не любовь, - благодарность пойдет по  
пятам.  
Но когда-нибудь я на ветру покрасневшие руки,  
Ваши руки прижму к задрожавшим безмолвным  
губам.

\*\*\*

*Е. М.*

И все... И запоздалая весна  
Глядит в окно, меня не утешая,  
И яма, неуклюжая, большая,  
С водой и грязью, из окна видна.  
Чернеет лес, дома грязны и серы,  
Темна земля в неряшестве своем.  
И снова изменяет чувство меры  
И наделяет зреньем и чутьем.

Осколки сна... видения... обман...  
Дрожит луна за тонкой занавеской.  
Над рукописью плачет Достоевский,  
За голову хватается Иван.

### **Тугодум**

Рождественское зеркало молчит,  
За окнами пустынно и угрюмо,  
Но снег идет – и музыка звучит  
В ночной душе героя-тугодума.  
Он покурить выходит на балкон,  
И медленные, медленные мысли  
Его тревожат. Ночь, сочельник, сон  
Над заметенным городом нависли.  
Он думает о том, как далека  
Предавшая и слабая рука,  
Но замирает мысль на этой фразе.

Над ним луна в своей округлой фазе  
Едва-едва мелькнет сквозь облака.  
Все остальное – мимо, мимо, мимо,  
Как легкий сон и приглушенный шум.  
Еще не срок – на то и тугодум –  
Понять, что все уже непоправимо,  
Что в зеркале рождественском – беда.  
Он вспомнил: «Вифлеемская звезда...»,  
Взглянув на огонек от сигареты,  
Но мысль опять пропала без следа,  
И он вернулся в комнату. А где-то  
Созвездья стыли, женщина спала,  
Собаки выли и метель мела.  
А перед ним – искусственная елка  
И маленькая детская кровать,  
И девочка, которой надо спать,  
Еще не спит. Но музыка не смолкла.  
Он слушает ее. Идет к концу  
Рождественская ночь под плач метели,

И медленные, медленные тени  
Плывут по вдохновенному лицу.

\*\*\*

*Памяти Юлиана Григорьевича Оксмана*

- Красавица, умница, думай,  
И месяц припомни, и год.  
На смену усмешке угрюмой  
Улыбка прозренья придет.

- Я помню декабрь и заносы,  
Метель в переулках пустых,  
И я задавала вопросы,  
И Вы отвечали на них.

Вы шли в ореоле печали,  
Как будто несли на плечах  
Все то, что для Вас означали  
Слова о «сибирских ночах».

О, как Вам пришлось потрудиться  
На склоне замученных лет,  
Чтоб школьнице с бантом в косице  
Понятен был каждый ответ...

И чей-то крошечный, запретный  
Всплыл облик над снегом и льдом...  
Нас ждал на Садово-Каретной  
С большими подъездами дом.

- А дальше?  
- А дальше – в тумане –  
В портретах и книгах стена.  
На темном и низком диване  
Так прямо сидела – Она...

- А дальше?  
- А дальше не надо:  
Все помню: чужое жильё,  
Дыхание Летнего сада,  
Блокадных ночей Ленинграда,

И горечь смертельного яда,  
И спину прямую ее.

- А дальше?  
- А дальше всё то же:  
Москва и декабрь непохожий,  
Метель, фонари, гололед.

А память все тает и тает,  
Но кто-то меня окликает,  
И мудрый старик возникает,  
И школьницу дальше ведет...

\*\*\*

Еще одна – строка или вина,  
Победа ли, страница ли, утрата,-  
Она опять приходит, значит, надо,  
Чтобы она пришла – еще одна  
Надежда, безутешность, годовщина,  
Еще одна иллюзия – причина  
Того, что так заманчиво смотреть  
В грядущее, и там, за облаками,  
Беду чужую развести руками  
И, мудрости набравшись, не стареть.  
Еще одна загадка между строк,  
Дорога, птица и краюха хлеба.  
Листву сожгли, но тянется дымок

Живою нитью, уходящей в небо.  
Ему навстречу, медленно кружа,  
Еще одна опустится душа  
И горько всхлипнет над непоправимым.  
Бессмертны узы неба и земли...  
Мы б этому поверить не смогли,  
Когда б не надышались горьким дымом.  
Легко ль пробиться будущим побегам?  
Но Родина, засыпанная снегом,  
Вся в ожиданье солнца и тепла.  
Еще одна весна, влюбленность, жалость...  
Дорога вверх вовек не прекращалась,  
В нее самозабвенно превращалось  
Все, что сжигалось на земле дотла.  
\*\*\*

И краткий дождь под Новый год,  
В ночи ударивший по стеклам,  
И три зарницы в небе блеклом,  
И вспыхнувший зеленым лед,  
И ветерок над головой,-  
Все эти странные детали -  
Лишь растревоженные мной  
Смешные детские печали.  
Они, конечно бы, не стали  
Прологом к драме мировой,  
Когда бы не возник впотьмах  
Вослед мелодии метельной  
Невыносимый страх смертельный  
В бессмертных огненных глазах.  
\*\*\*

Сто мелодий сплетутся в одну,  
Отлетев от оркестра и хора,  
И обрушит на мир тишину  
Повелительный жест дирижера,  
Чтоб, задетый полночным огнем,  
Мир очнулся, спокоен и светел,  
Чтоб за темным и дальним окном  
Кто-то ангела в небе заметил  
И, смиряя дыханье, следил  
Так доверчиво, нежно и чутко  
За согласьем небесных светил  
И согласьем души и рассудка.

\*\*\*

В сумерках классической метели  
Каждый видит что-нибудь свое...  
...На меня пронзительно глядели  
Очи беспощадные ее.  
Вместо трона – ледяная горка,  
Снежный нимб вокруг гордой головы.  
Вздорная принцесса, фантазерка,  
Золотая пленница Москвы.

Я шепчу губами ледяными,  
Поклонившись ей издалека:  
«Нам с тобой одно и то же имя  
Нашептали в разные века.  
И как будто небо расколосось,  
И пространство – ненадежный кров.  
Мы с тобой один и тот же голос  
Различаем с дальних берегов».  
Нет ответа. Значит, и не надо.  
Потемнеет небо, и тогда  
Над дворами Старого Арбата  
Загорится древняя звезда,  
И душа опять сольется с небом.  
Но опасен под ногами лед,  
Но блестят, блестят под грязным снегом  
Золотые туфли Турандот.

\*\*\*

Еще не наступила темнота,  
Но улеглась дневная суета  
И вместо рампы высветился иней.  
Вот-вот польется музыка с небес,  
И мир затих в предчувствии чудес  
И шумного успеха героини.  
Героя назвала бы я творцом  
Или певцом. С загадочным лицом  
Он предстает, то весел, то печален,  
И так небрежно и легко творит...  
Короче, он красив и знаменит,  
Талантлив и местами гениален.  
От героини он весьма далек.  
Она ж надела свадебный веночек  
И выверяет каждое движенье,  
И вспоминает пару нужных фраз...

Но этот интригующий рассказ  
Останется, увы, без продолженья.  
Пойдет ли героиня к алтарю  
С тем самым, про кого я говорю, -  
Конечно, интересно, но не очень.

Куда важнее то, как хороша  
Была ее полночная душа,  
Когда она глядела, не дыша,  
Герою в ослепительные очи.  
И оказалось, все ей нипочем:  
Ни страшный ангел с огненным мечом  
И стойкой репутацией изгоя,  
Ни звонкие провалы прошлых лет.  
Нет, для нее сошелся клином свет  
На тонком обаянии героя.  
Она чудит. Ну что ж, чуди, чуди...  
Кто ведает, какая впереди  
Откроется туманная страница...  
Нам в темноте ни слова не прочесть,  
И в этом свой резон, конечно, есть...  
Но как похожа на благовую весть  
Надежда, озаряющая лица.



# Ян Пробштейн

## Перекличка с собой

\* \* \*



этот день всего лишь черновик,  
всего лишь очертанья бытия  
и контур мысли, а к стеклу приник  
рассвет, грядущее в себе тая.

Из сумрака да в предрассветный мрак  
ступил я, не заметив перемен:  
рассвет плеснул мне кофе натошак  
и стрелки перевел. Я пересел  
в другой вагон и снова — по кольцу:  
огнями встречный зренье резанул,  
к началу мчась, а может быть, к концу  
кольца, напоминающего нуль.

От этой точки я веду отсчет  
того, что остается между строк,  
и каждый перекресток, день и год  
ложится знаком минуса у ног.

1981

### Рождественская коммунальная элегия

I.

Я двери распахну друзьям, хотя  
здесь каждый след в треклятом коридоре  
соседи мною вытереть хотят,  
но никогда я двери на запоре  
держат не буду - в мире и согласье  
мне в коммунальном мире сем нельзя  
прожить - хоть разорвись на части.  
Я позывные шлю в эфир: „Друзья,  
вас ожидает чай и мелкий частичек  
в томате, и - за неимением спирта –  
пшеничной водкой обожжем нутро.  
Да будет радость и печаль испита  
до дна стакана с меткой общепита –



такие уж настали времена,  
и вы, увы, вскочив не в стремяна,  
но выдравшись из толкотни метро,  
все ж явитесь, чтоб выпить в этот час  
за продырявленный звездой покров:  
она торчит, как гвоздь, о рождестве  
напоминая нам в который раз,  
хотя одни на нашем торжестве  
мы в коммунальнейшем из всех миров.

## II.

Признаюсь вам, что грусть есть существо  
с печальными жирафьими глазами.  
Я издали, друзья, слежу за вами,  
вдали от вас справляю рождество,  
и Новый Год... но впрочем, не берусь я  
поведать вам о длинношеей грусти.

1982

## Старым друзьям

Мы за полночь, как встарь, на чашку чая  
с лимоном, прихватив с собой пирог  
домашний, испеченный старой мамой,  
уже не скоро, видимо, придем  
друг к другу, и стихи, как встарь, друг другу  
мы до утра читать не скоро будем:  
во-первых, маму (уж тому два года)  
в больнице до инфаркта долечили;  
а во-вторых, тому немало лет,  
как развели нас: города и страны,  
и для того, чтоб время скоротать,  
пространство покорить конем железным  
не всем удастся; в-третьих, расстоянья –  
еще не самый страшный бич, поскольку  
еще есть служба, очередь в продмаг,  
и потому, наверное, не скоро  
мы снова навестим друг друга, впрочем,  
я узнаю и даже принимаю  
такое вот свое житье-бытье:  
жизнь - очередь от края и до края,  
я оказался, как всегда, в хвосте...

1982

## Говорящие Камни

1.

Я подышать уехал из Москвы -  
У матушки так мало кислорода.  
Когда любовь есть только несвобода,  
что я нашел на берегах Невы?

...Застыли львы, и не журчит канал,  
дворцы смиренно терпят ротозейство,  
и только камень с камнем говорит.  
Пржевальский в Азию свою глядит,  
верблюд взирает на Адмиралтейство,  
не понимая, как сюда попал ...

2.

Медяки бренчат в кармане,  
и на совести легко,  
сквозь игольное ушко  
арки прохожу в тумане.

3.

Среди линий, расчерченных косо,  
я метался в счастливом бреду.  
Я пришел на Васильевский остров —  
по камням, как по лугу, бреду.

Незнакомое странно знакомо:  
неужели сие — вертоград?  
Я от дома шарахаюсь к дому,  
и в Неве остужаю взгляд.

4.

Свинцовая тяжёлая Нева,  
такая же, как в дни того поэта,  
которого не приняла Москва,  
клевал Воронеж, довели наветы

до плахи, о которой он страдал.  
Здесь камни и река, река и камни,  
и отделившись от толпы, так мал  
я стал и понял это. Но куда мне

расти, когда верзила двухметровый,  
построивший культуру и дворцы,  
теперь сидит в Кунсткамере. Хреново.  
Уж лучше до конца отдать концы

и прахом лечь среди камней узорных  
иль в воздухе кузнечиком звенеть .  
... Свинцовый блеск Невы в глазницах черных,  
и зеленеет памятников медь.

5.

Позеленели Петр и Николай,  
и плесень вечности легла на спины —  
гляди на них, по вкусу выбирай  
и примеряй бессмертия личины.

Над черною Невой огонь горит:  
поминки. Сумерки. Ростральных свечи.  
И смерть в глухих гексаметрах пиит  
на поле Марсовом увековечил.

Но если камень всё твердит о тризне,  
то что здесь говорит о нашей жизни?

6.

Не выпью малахита древний яд  
и не взойду по мраморным ступеням,  
не завлечёт меня Висячий Сад  
танталовым бессмертным вождельем.

Я промелькну, неузнанный никем,  
среди лабиринтов русского барокко ...  
Сусанна ждет. Рембрандтов старец нем.  
Как прежде, в этом мире одиноко.

7.

Колокола повиснут безъязыко,  
и конь окаменеет на скаку,  
и, взвившись над толпою многоликой,  
застынет Всадник. А на берегу

реки, когда-то бурой и бурливой.  
а ныне серой — каменные львы  
на ход времен взирают молчаливо,  
и лег мазут на зеркало Невы.

И кажется: окаменело время,  
у вечности застыло на посту,  
а мы пройдем и сгинем вслед за теми,  
кто заполнял собою пустоту.

8.

*Только камни нам дал чародей,  
Да Неву буро-желтого цвета ...*

И. Анненский

История — зачитанная книга:  
начало вырвано, разорваны листы.  
Конец неведом. Истина двулика.  
И меж страниц - засохшие цветы.

Кричат о чем-то камни безъязыко,  
и Всадник угрожает с высоты,  
и львы стократ страшней, когда без рыка  
глядят в упор. И вздыблены мосты.

Мы разбираем по слогам скрижали:  
давно забыт булыжника язык,  
учитель нам оставил черновик,

но там, где камни древние стояли,  
школяр самоуверенный воздвиг  
внушительный ностян из мертвой стали.

9.

Мы к вам еще придем в такой вот день ненастный,  
построимся в каре на площади Сенатской.  
отнюдь не на парад мы соберемся снова  
и, может быть, дойдем до площади Дворцовой —  
мы, блудные сыны, вернемся в Петербург ...  
Прими нас, Петроград, и выпей нашу горечь.  
Застыло все вокруг. Нам не с кем больше спорить.  
Прими нас, Ленинград, ты - дело наших рук.

1983

## 10. Минск

Сей городок расчерчен на манер  
архитектурной планировки Рима,  
какой-то сумасшедший геометр  
чертил прямые здесь неумолимо.  
Отростки недоразвитых колонн  
торчат, как атавизмы тех времен,  
которые, как будто бы, прошли.  
Из этих мест не виден край земли,  
здесь чувствуешь себя мишенью в тире,  
быть может, оттого, что человек  
так виден отовсюду в перспективе

квадратов и баранок площадей.  
И я отсюда совершил побег,  
чтоб заблудиться среди иных путей.  
1979

## 11. Москва

В том городе, где прячутся дома  
за сверхнесокрушимостью забвенья,  
на площади, сводящей нас с ума,  
где каждый камень — камень преткновенья,

замешкался на Лобном Месте страх,  
стремясь найти забытые истоки.  
Здесь каждый узнает в других глазах,  
что мы друг в друге даже — одиноки,

и, разделенные, друг к другу мы  
все тянемся, как стороны квадрата,  
но восстают навстречу нам из тьмы  
те площади, где мы с тобой распяты.  
1979

## 12.

*Москва ... Как много в этом звуке ...*

ПУШКИН

В моем мозгу проквакал глухо  
зеленоватый лягушонок.  
“Мос - ква!” - Два слога звук за звуком  
я повторил за ним спросонок.

Москва! Ты ледяной рукою  
меня душила после пьянки.  
Мечтой о воле и покое  
пыталась соблазнить Лубянка.

А после вновь, Москва, с тобою,  
сцепившись, словно две собаки,  
друг друга грызли мы с тоскою  
В неравно беспощадной драке.  
1980-83

\* \* \*

Где лжепророк словами торг ведет  
на торжище тщеславий и сует,  
где на краю забвенья гаснет отзвук

больного слова, сказанного всуе,  
царапающего стеклянный воздух,  
как времени тупое лезвие,  
мы жили, не другой судьбы взыскав,  
а только лишь надежды на нее.  
Как просто жить отшельником в скиту,  
леляя добродетели, а мы,  
из густонаселенной выйдя тьмы,  
с надеждою глядели в пустоту.  
1982

### Из новых элегий

\* \* \*

Мы каждый раз осуществляемся:  
лишь только ступим на полосу  
еще не бытия — преддверья,  
как тут же снова отступаемся  
то в малодушье, то в неверье.  
— Как жизнь?— И ты ответишь плоской  
сентенцией: мол, жизнь трудна.  
— Да, жизнь безумно дорожает,  
И на бензин растет цена.  
И впрямь, все дорожает — правда,  
участие и со-участие,  
душа к другой примкнуть бы рада,  
но там — или допрос с пристрастием,  
иль та уже заселена  
и разгорожена, как в офисе,  
и там табличка: нет приёма,  
и на соседних те же подписи.  
Меня и самого нет дома.

Идешь, не узнавая города,  
страны, людей, своих приятелей,  
вся жизнь-калейдоскоп расколота,  
головоломка — чем старательней  
ты собираешь воедино,  
тем бесполезней и странней,  
а путь давно за половину  
в неузнаваемой стране.

12 июля 2012

\*.\*.\*

Рябина краснеет, как девушка, и вяз увяз в желтизне.  
Прекрасную дань увяданью платят клены и ясени.  
На их листьях — последние новости осени.  
На деревьях — собрание птиц,  
галдеж, как на предвыборных дебатах,  
так же забывают о том, что сказали.  
Птицы срываются вверх, листья — вниз,  
пересекаясь на миг,  
что очевидней, когда  
встречаются коляска с новорожденным  
и кресло-каталка со стариком,  
чтобы разъехаться уже навсегда.  
Пространство дает времени фору  
афористичности, словно ковер-самолет  
или трамплин переносит из точки А в точку Б  
над бездной — а если без помощи помочей  
застыть на краю?  
Тогда, быть может, дойдет, что каждая строчка —  
последняя, не успеешь докурить сигарету  
или даже поставить точку.

19 октября 2012

Песок струится из часов песочных:  
как незаметно вытекает время,  
и вот лежат огромные барханы —  
среди песков зыбучих не пройти  
туда, где зыблется оазис детства,  
мираж разгорячённого сознания,  
и ты бредёшь годами по пустыне  
сквозь сон, сквозь стон, всегда томимый жаждой.  
Как дождь, струится золотой песок,  
тебя стеной от прошлого отрезав,  
и ты от странной тишины проснёшься  
однажды на рассвете и поймёшь,  
что не течёт песок — застыло время  
на кромке-перепутье двух миров  
в беззвездный миг прощенья и прощанья.

2012

\*.\*.\*

Что толку просить подаянья у будущего?  
Там смеркается и горизонт смыкается  
за Титаником. Если разорвать завесу  
усилием духа, там прозревая, быть может,

увидишь тех, кого знал ты и прежде,  
кто оставили след свой на стертых камнях  
прошедших времен, да ты не ходил там,  
либо прошел, не заметив, заглядевшись на звезды.  
Мы — футуристы, стремящиеся взглянуть  
на себя с той стороны горизонта.

2012

\*.\*.\*

Не каждый ли день — рожденья?  
Не каждый ли новый — год?  
Граница света и тени —  
бездна, водоворот.

На грани осуществленья  
исследуй и верх и низ,  
на границе света и тени  
самокопаньем займись.

Вдали маячат скрижали,  
относительно все вблизи,  
относительно все? едва ли...  
так рождайся на свет — ползи,

а потом научись выпрямляться,  
где достоинство — там и стать:  
каждый день предстоит родиться  
и каждый день — умирать.

13 июля 2013

\*.\*.\*

Приходишь поутру в сознание,  
как будто в гости сам к себе,  
и видишь буквы на трубе,  
как птички, словом — А и Б,  
точнее, альфа и омега,  
и ты застыл на этой грани,  
как бы готовясь для забега,  
финальный, словом, марафон:  
как ваше имя? смотрит он  
и отвечает: Агафон.

А может, жизнь приходит в гости  
и смотрит преданно в глаза,  
как песик, дружелюбный хвостик  
наизготовку держит, блин.



Не понимая ни аза,  
с утра смотрю спектакль, фарс,  
и вот на сцену из глубин  
весь задник жизни, весь в анфас,  
то ли парад, то ль маскарад,  
и буквы на стене горят,  
как мене, текел, упарсин.

2014

Унесенный ветром собачий лай  
Возвращается эхом, как бумерангом,  
Не трави себе душу, не растравляй  
Тем, что не вышел ростом иль рангом,

Как опасен мир вокруг, посмотри,  
Он опасен не только насильем, но ложью  
И цинизмом, но если сможешь, сотри  
Все черты случайные с тайной дрожью,

И снова увидишь фонарь, аптеку  
И плакаты да здравствует во весь рост,  
И не знаешь, к какому прибило веку,  
И кого снова в венчике из белых роз

Возводят на трон или на Голгофу,  
Ничего личного, как и прежде,  
А за Ним идут и слагают строфы,  
О любви и милости и надежде.

7 июня 14

### **Играющийся человек**

1.

Иградовался человек,  
Не слушал радиовещаний,  
Не замечая целый век  
Взаимонедопониманий,

Из пыли звездной мелкий бисер  
Нанизывал на биссектрису,  
Бросал на ветер бисер мыслей  
И укрывался за кулису

От любознательных сочувствий  
И от двусмысленных признаний,

Молчаянья постиг искусство  
И светотьмы увидел грани.

2.

Играй пока играетя  
Иградуйся пока  
Играй пока не хватит  
Кондратия рука

2011



# Марк Троицкий

## Мы живём в ожидании смерти...

### Вместо предисловия



Марк Троицкий – художник и поэт. Родился в Ленинграде. Окончил Академию художеств. Автор трех поэтических сборников. С 1986 г. живет в Чикаго. В Америке большая подборка его стихов была включена в Антологию новейшей русской поэзии «У голубой лагуны».

Почти в каждом стихотворении Марка Троицкого встречаются, перекрещиваются жизнь и смерть. Поражает энергетика, своеобразная образность, отстранение от мелкой бытийной суетности – все крупно, значимо, весомо.

Автор идет по жизни разнообразными путями. Кроме основных – живопись, поэзия – ходил в дальние плавания электриком, исколесил за рулем множество дорог, работал охранником...

Стихи Троицкого похожи на своего автора - человека широкой души, оригинального мышления, энциклопедически начитанного и, что самое главное, - всегда готового подставить свое сильное, доброе плечо.

**Галина Гампер**

\* \* \*

Ещё не сказаны последние слова,  
ещё не отлетела голова  
в пространство,  
ещё растёт на нашском дворе трава,  
и думать не моги рубить на ней дрова —  
не нарушай весны зелёное убранство.  
И год был выморочен весь до основанья,  
как провалился — не было его!  
Ни в ясной памяти, ни даже в подсознании  
он не оставил ровно ничего.  
На вытопанной армией равнине  
пять-шесть былинки, может, и найдёшь...

Уж сколько лет тому,  
а всё война в помине...  
... и подорвёшься ты  
на противопехотной мине,  
с тобой так терпеливо ждавшей встречи  
железным, ржавым притяжением сердечным,  
уверенным — ты на свидание придёшь...  
В ушко игольное верблюду двугорбый  
пройдёт, не ободрав себе бока.  
Но дровокол урок свой знает твёрдо:  
оставшихся верблюдов он угробит,  
сказав, что сыт верблюдами по горло,  
и возмущайтесь, сколько вам угодно,  
а лезть в проушину — ищите дурака!  
... Нарублено дровишек свыше меры  
и изничтожена дворовая трава...  
Без слов прощальных за границы стратосферы,  
в открытый космос, в горнии пределы  
летит усекновенная глава.

\* \* \*

Когда лежал в реанимации,  
то было не до философии.  
Но в подсознании, друг Горацио,  
знакомые мелькали профили —  
то ли Сократа, то ль Вольтера...  
А ликами они не схожи:  
Сократ — мордат, Вольтер — ехидна  
(мне это даже в коме видно),  
да эта вот ещё манера  
всё подвергать сомнению —  
тоже  
меня, конечно, раздражает,  
как по стеклу скребут ножами,  
(хотя б скрижали уважали!  
...Мне в коме —  
в тёмном, мрачном карцере —  
мерцали истины искомые...  
Смирненно ждал реинкарнации  
в собаку, в крысу, в насекомое:

Быть человеком затруднительно.  
Как ни пыхти, ни лезь из кожи,  
а результат весьма сомнительный —

глянь на людей – на **что** похожи?..  
...Но оклемался. В день же выписки  
погода – надо б хуже – некуда!  
весна! а черти прямо взапуски –  
дождь, ветер, снег – и всё им некогда!  
...Под ливнями метеоритными  
летит Земля к конечной станции.  
Мы все на ней – однокорытники –  
с Природой в странном мезальянсе.  
.....  
Сократ был чистой мысли рыцарем.  
Вольтер прослыл же вольтерьянцем.  
май, 2014

*Памяти Даниила Хармса*

Шла по улице собака.  
Рядом с нею шёл пингвин.  
"Удивительное рядом!" –  
удивился я один.

А все прочие спешили,  
кто куда и кто за чем,  
потому что разучились  
удивляться, ну совсем.

Ведь живём в стране чудес мы,  
где бывает и не то!  
Даже я со всеми вместе  
совершенно не заметил,  
что пингвин-то был – в пальто!

Для чего пальто пингвину?! –  
тридцать градусов жара!  
Назовите мне причину,  
потому что без причины,  
(где одна, а где другая)  
согласитесь, не бывает  
ничего и никогда!

Но на улице Садовой  
неожиданно вполне,  
не сказав ему ни слова  
(и хвостом-то не махнувши,

что невежливо вдвойне!),  
р-раз! – собака в подворотню,  
и покинутый пингвин  
среди толкучки равнодушной  
навсегда, бесповоротно  
оказался вдруг один.

Только он не растерялся  
и вразвалку, как матрос,  
до Невы пешком добрался,  
снял пальто, бока огладил,  
стал во фрунт, как на параде,  
с парашюта прямо в воду  
на глазах всего народа  
сиганул – и был таков.

\* \* \*

Нетопырей неторопливых  
полёт над городом ночным,  
громадных крыльев переливы,  
свистящий шелест, чёрный дым,  
клубящийся в ущельях улиц,  
желтушный проблеск фонарей,  
заснувший человеческий улей,  
(чем беззащитней он, тем злей),  
и хищно клювы изогнули  
в бессонном мрачном карауле  
грифоны, притаясь, ссутулясь  
во мраке парковых аллей.

Чу... слышишь? – Аты! Аты-баты!  
дрожат от топота торцы,  
безмолвным ужасом объята  
соборы, статуи, дворцы –  
он близок, близок час расплаты:  
в жестяной тусклости луны  
грядут болотные солдаты,  
рабы петровы (аты-баты!!)  
из трёхсотлетней глубины.

Отмщенье, государь, отмщенье!  
«Красуйся, град Петров, и стой...» –  
высокопарные реченья  
не скроют истины простой,

не спрячут истины кровавой:  
милыоны жизней крепостных  
он стоил – монстр величавый...  
Но что до них? Кому до них?!

. . . . .  
Нетопырей улётный прочерк  
в рассветной мути растворён...  
День настаёт – страшнее ночи –  
день жажды, ненависти, порчи,  
победных маршей и знамён.  
В нём – ужас сбывшихся пророчеств  
и грай кладбищенских ворон.  
\* \* \*

Уходили из Крыма последние –  
белых к морю прижал Тухачевский...  
Боль – не деньги, и нету наследников,  
заявивших права не бесчестье.  
Остаётся ещё недописанной  
скотобойная пьеса российская ...  
... под винты пароходные с пристани  
оскользались подонки и рыцари.  
За кормою дорожка кровавая  
через Чёрное море прочерчена...  
«Мы вернемся за отнятой славою!  
мы вернёмся...  
Но – незачем.  
Нé к чему...  
Не вернуть потаённого прошлого:  
Было – сплыло. Припомнишь – забудь!  
Дорогая ж моя ты, хор-ро-шая,  
доживём этот век как-нибудь.  
Что там родина или не родина –  
тварь дрожащая, сирая тварь,  
эк, в границах тебя заколодило!  
Да пойми же, квасная уродина –  
в р е м я г о д а – псалтырь и словарь!  
о с е н ь (ссылно-холерную) – в Болдино,  
л е т о (в откуп безумию отдано) –  
спрячь в Ван Гога расплавленный Арль.  
Там неважны разборки звериные  
революций, царей, плутократов ...  
...только строчка – как веточка в инее...  
... только холст – вулканический кратер...

\* \* \*

Мы живём в ожидании смерти,  
притворяясь, что вовсе не ждём...  
Первый – он. Я – второй. Этот – третий.  
А четвёртый – стоит под дождём.

Вот и финишная прямая.  
Остаётся последний рывок.  
Грудью ленточку разрывая,  
видишь ясно, что это – подлог:

Кто обрёл нас на праздную гонку?  
Кто дал старт, ухмыляясь тайком?  
Кто слинял незаметно в сторонку,  
сделав вид, будто он ни причём?

Нет ответа! Да те ли вопросы?!  
Задавать их?! Да кто ты такой?! –  
заяц, травленный гончими вроссыпь  
по подмёрзшему полю зимой.

Нет ответа... Не вызнать и пыткой...  
Ну, а если спросить бы о том:  
тот, четвёртый, промокший до нитки,  
что он ждал ОТ ДОЖДЯ – под дождём?  
.....

Ведь не спросишь, как Курочка Ряба  
снести смогла *золотое* яйцо...

...так в небесных разверзшихся хлябях  
растворилось его существо...

\*\*\*

Собаке – собачья смерть.  
Кесарю – кесарева.  
Но это – как посмотреть:  
обоим, в общем, невесело.

Обменять бы им знак Зодиака,  
поменяться лицом и нутром:  
и Цезарь станет собакой,  
а пёс – на троне царём.



А там – живодёрня ли, плаха –  
(кто хочет, может оплакать),  
а всё результат одинаков:  
две равных горсточка праха.

Никто и не вспомнит потом.

Не всё так печально, однако,  
и, может быть, их вдвоём –  
и Цезаря и собаку  
вернёт из забвения мрака  
Эзоп, праздный раб и гуляка –  
человек с золотым пером.

\* \* \*

Кто хочет быть обманут – будет.  
Влекомый страхом одиночества,  
он подлость назовёт причудой  
и низость примет за высочество.  
И маскарадные одежды,  
и грим, и маски без лица –  
учёным сделают невежду  
и благородным подлеца.  
Итак – дороже низких истин  
нас возвышающая ложь?  
Коль хочешь жизнь прожить туристом,  
не сомневайся – проживёшь:  
дорога будет не тернистой,  
и налегке придёшь на пристань,  
с которой в нети уплывёшь.  
Расплачиваясь с Хароном,  
не мелочись, не суетись:  
то, что оставил за кордоном,  
всего лишь называлось – жизнь.  
И поздно уж просить пардону,  
хоть богохульствуй, хоть божись.  
На Стикса сопредельный берег  
ступи уверенной стопой –  
все те, кому ты слепо верил,  
тебя встречать придут толпой.  
Ты снова с ними...  
Бесполезный  
тебе урок последний дан:  
закон симметрии – железный! -

коль жизнь обман, и смерть – обман.

### Из «Записок внука А.И.П-а»

Сорок восьмого мартабря,  
а года чёрт знает какого  
она не вышла за меня,  
а вышла за совсем другого.  
Она так поступила зря,  
подумаешь, какая фря!  
А я-то десять лет подряд  
звонил ей в полвторого:  
значит, три тысячи шестьсот  
и пятьдесят три раза,  
поскольку високосный год  
за десять лет – три раза.  
Ах так?! Ну что ж, прощай, Нинель –  
закончим эту канитель.

Я взял копьё и щит, и меч  
и влез на бронепоезд;  
помчался я, как буйный смерч,  
как "Временных лет повесть";  
куда стремился я? – Бог весть!  
(и Бог не знает то есть).  
А конь мой верный – он не зря  
в деревне слыл строптивым –  
вдоль насыпи летел, ноздря  
в ноздю с локомотивом.  
Мне было жаль его усилий –  
его ж об этом не просили;  
и я страдал, а он скакал,  
мой щит и меч ему сверкал.

Мне эти гонки надоели.  
Я взял и вышел из шинели.  
Хотя не вспомнит и Нинель,  
откуда у меня шинель.  
(Не трону я избитой темы –  
мол, из Шинели вышли все мы.  
И то-то, блин, литература  
дрожит от холода, как дура).  
И я дрожу, и я промёрз –  
я ж вам не Железняк-матрос.

Ура! Шестого феврумая  
мой конь и я – у врат Китая!  
Гласила надпись у ворот:  
"Закрыто на переучёт".

Что значит козни плутократов!  
Я проиграл... Куда ж теперь?  
Назад! в деревню! в глушь! в Саратов! –  
в твои объятия, Нинель.

Ах да, ты замужем, поди-ка...  
Но – щит? но – меч?! О, я не трус:  
прикончу мужа в поединке  
и на вдове его женюсь.

.....  
Муж мёртв... Восьмого декабря  
(вот ТАК сбываются мечты!)  
уже я на электростуле.  
...Нинель, любовь, о, где же ты?!

.....  
Отняли щит, забрали меч мой,  
сломали славное копьё...  
Нинель, ты помнишь наши встречи?  
Нинель! Да где ж ты, ё-моё ?!!



# Александр Танков Темы и вариации

## Левая рука

### Вариации на тему Востока и смерти

1



се равно умереть когда-нибудь,  
умереть,

Побродить по узким улочкам Вавилона,  
Ни за что ветру следы на песке не стереть -  
Здесь прошла четвертая танковая колонна,  
Чтобы серной спичкой в ладонях знаешь кого сгореть.  
Все равно опадет нежный розовый лепесток,  
Всею пошlostью жадной в жизнь не сумеет впитаться,  
Потому что жизнь – это жажда, жара, Ближний  
Восток,  
Потому что смерть на запад летит, как солнце, как  
птица.

2

До свиданья, Франция! Ты скоро умрешь. Умрешь  
С песком на зубах, звуком речи чужой в гортани.  
Пропадут ни за цент, ни за рупию, ни за грош  
Заливные луга Нормандии, яблочный сон Бретани.  
Потому что жизнь не читает Верлена, не носит  
шелковое кашне,  
Не курит «Житан», не пьет кальвадос, не играет в  
петанко,  
Она храпит, скрипит зубами и ворочается во сне,  
Гремит цепями, скрежещет гусеницами тяжелого  
танка.  
Она пьет тормозную жидкость, стоит в очереди за  
кипятком,  
Она вся – зашитая ржавой иглой рваная рана.  
Она проходит мимо, скрипя сапогами и не думая ни о  
ком,

Бормоча под нос четвертую суру Корана.

**3**

Ошалелое солнце скрипит на зубах,  
Пробирает до самых костей,  
И хлопчатая правда арабских рубрах  
Горячее ночных новостей.  
Заучи геометрию сомкнутых скал,  
Перекрестье веда, не дыша,  
И следы, как голодный облезлый шакал  
Обгрызает приклад «калаша».  
Впереди – обнаженный расстрелянный склон,  
Позади – полевой лазарет...  
Если смерть тебе скажет: пароль – Вавилон,  
Прошепчи ей в ответ: Назарет!

**4**

Где пустыни измятые простыни  
Палестины постлали постель,  
Снятся сны по-восточному острые,  
Словно сорванные с петель.  
Заучи поутру перво-наперво  
Позабывтое слово «закон».  
С прирожденной сноровкою снайпера  
По стене пробегает геккон.  
Не пытайся прожить это начерно,  
Поскорее захлопни тетрадь.  
Эта жизнь не тебе предназначена,  
Не тебе эту смерть умирать.

**5**

Этот Бог - неправильный Бог, левша.  
Целый мир в рукав реки надышал,  
Целый мир нелепый и левый.  
Он как будто и сам творенью не рад,  
Нарядился на призрачный маскарад  
Козерогом, Весами, Девой.  
Скорпион прикуривает у Льва,  
И слова растут, как дурная трава,  
И заря полыхает справа.  
Он глядит как в зеркало в польнюю,  
И мороз трещит, и что ни пою -  
Все выходит хвала и слава.

## ШАХЕРЕЗАДА ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

### I

#### ПОКУПАЯ ЕЛКУ

Все законное волнение  
Деревьев, крыш и снега колкого –  
Все незнакомое, все вне ее,  
Когда отправимся за елкою  
И, выдвинув состав суставчатый  
Из-за слезящихся пакгаузов  
За Кокчетав, за мелкогравчатый  
Студеный сон в вагонных паузах.  
И вот ее выносят – спящую,  
В сырых и жарких льдистых звездах,  
И пахнет сном, и ахнет чащею  
Подтаявший когтистый воздух,  
И распахнется, и откроется  
Вся новая, живая, та еще –  
И на пол капает сукровица  
Морозной ночи, речи тающей.

### II

То ли стоны, то ли вздохи долетают с верхней полки,  
Ночь натянута на станции, как струны на колки.  
Встречный поезд жажнет мимо, словно выстрел из  
двустволки,  
Полуночным полустанкам освещенье не с руки.  
За окном столбы мелькают, рядовые ополченцы,  
Березняк стоит на склоне, недоступный, как санчасть,  
В темноте кусты крадутся, как ингуши и чеченцы,  
Провожают поезд взглядом, удивляясь и дичась.  
Так наш поезд разогнался, что закладывает уши,  
Отстает на повороте ошалелая звезда,  
Это – тысяча вторая ночь в одну шестую суши,  
Нам дожить бы до рассвета, да светает не всегда...

### III

Плосколица, широкозада,  
Словно каменный истукан,  
Проводница – Шахерезада  
Дребезжащий несет стакан  
И плетет свою ахинею...  
Смысл ее заключен в одном:

В знаке равенства между нею  
И просторами за окном.  
Лязгнет стык, как вставная челюсть.  
Верст четыреста до утра,  
И столбы с проводами спелись,  
Как заправские тенора.  
Вы с дорогой одной крови,  
Словно тысяча и одна  
Ложь, и нет ничего, кроме  
Бесконечного полотна...

#### **IV**

Лязгнет тамбур – Гдов, товарная,  
Выгнет спину черный мост...  
Эта музыка коварная  
Ледяных скрипучих звезд.  
Чтобы небо нам не застила,  
Не сводила нас с ума –  
Гасит свет и стелет засветло  
Неразменная зима.  
Тяжело нам с ней, стареющей,  
До чего же тяжело,  
Ледяные руки греющей  
О морозное стекло.  
И на стыках между шпалами  
Я язык ее пойму,  
Городами шестипальными  
Перелистывая тьму.

### **ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ**

#### **1.**

Как какой-нибудь вусмерть взьерошенный  
Пьяный талой водой воробей -  
Я не пил тебя, жизнь, по-хорошему,  
Погоди, не спеши, не убей  
Водопою певучею заушью  
Наглотаться, как в юности, власть,  
И большими, как счастье, слезами  
Слюдяная весна налилась.  
Научи меня заново, замертво,  
Как ты только умеешь - навзрыд,  
И железным ковшом, как гекзаметром  
Ледяной переулок разрыт.

2

В слове «гексаметр» больше железа, чем в  
пресловутой Магнитке.  
Археология летнего ливня слой убирает за слоем.  
Древнее детство. Тело Патрокла. Греки промокли до  
нитки.  
Так и уходят в темное время - парами, ротами,  
строем.

Нежная Троя детского сада переболела сиренью.  
Честная осень не за горами, топчется где-то в  
передней.  
Как раздражает тихое время, склонность его к  
повторению.  
Каждое лето кажется первым, каждая осень -  
последней.

3

Поступь чеканная. Бряцанье тяжелой меди.  
Песнь боевая, щиты и венки спартанцев  
Ближе мне, чем в вечернем метро соседи -  
Кто-то с работы едет, а кто-то с танцев.  
Впрочем, теперь это называется дискотекой.  
Как на руках дискобола вздулись вены!  
И задержался, закуривая перед аптекой,  
Брат его токарь, нетрезвый слегка после смены.  
Темное время струится по склеротичным жилам,  
Сердце бьется  
с перебойми. Как ему не хватает веры  
В чье-то присутствие! Все, что мы помним, живо  
И Фемистоклу Троицкий рекомендует крутые меры.

4

Тускло отсвечивают корешки моих старых книг,  
Да часы строят давно позабытый БАМ.  
Не оставляй меня и на кратчайший миг -  
В полутьме вдоха так одиноко моим губам.  
За окном, кажется, выключили фонари.  
Я прошу: медленно, с самой первой строки  
Доказательства существования повтори:  
Тусклый отсвет на коже, холод твоей руки.  
Я прошу как улику последнюю уберечь  
Шорох шторы задернутой, лунный текучий клей,  
Жаркий шепот бессмысленный, эту слепую речь,  
Список прозвищ нелепых, как перечень кораблей.



## ПЛАЧ ДЕЗДЕМОНЫ

### Вариации на тему грозы и ночи

#### 1

Эта ночь с курчавой смуглой червоточиной,  
Этот в горло льющийся свинец,  
Карандаш чернильный, кое-как заточенный,  
Выпавший из времени птенец.  
Напиши потемок жаркими чернилами  
Как ты любишь этот черный плющ,  
Кляксы звезд, как ты с ума сходил,  
Как ты звонил ему,  
Задыхался – вылитый Лелюш,  
Как ты бормотал, как пил кусты колючие,  
Изгороди, дальние огни,  
Как ты умереть за них готов при случае,  
Карандашик ночи послуни.

#### 2

Это небо не застегнуто на пуговицы сна,  
Потому и выпадают звезды мелкою трухой.  
Это кто меня окликнул? Подмосковная весна,  
То-то голос незнакомый, незнакомый и сухой.

Это полночь вороватая под окнами шуршит,  
В сонном сумраке ворочается, ухает совой.  
Ночи звездный балахон кривыми стежками зашит,  
Из-за облака выглядывает месяц неживой.

Всей-то жизни мне осталось – эта звездная труха,  
Этот месяц полупьяный да далекие огни...  
Вот еще одна звезда упала за ВДНХ,  
Так еще совсем немного – и останемся одни...

#### 3

Словно легкий холодок сухого рислинга,  
Отдающий раннею весной,  
Неба звездного, ночного неба выслуга,  
Руководство ночи прописной.  
Повтори ее подробную инструкцию,  
Штучных звезд колючие лучи,  
Эту ночь заочную, зачитанную, русую  
Как псалом соленый заучи.  
Как она слабеет, отступает, пятится,  
Как по нотам гасит фонари,  
Как мало ей это ситцевое платьице...

Начерно ее удочери.

#### 4 СОН

Он жжет бумаги, вспоминая про погром.  
Не кишиневский, нет – двенадцатого года.  
Все возвращается, он чувствует нутром.  
Так ноет лоб, когда меняется погода,  
И эти шалости не кончатся добром.  
Что за чудовище вздыхает за окном?  
Ночь, как овин, разрыта ржавыми баграми.  
Он жжет бумаги и жалеет об одном –  
Что лишь статистом будет в этой мелодраме.  
Корявой молнией распотрошили ночь  
И по губам, как по линованной бумаге  
Сухое бешенство разбрызгано, точь-в-точь  
Помарки времени, потемки и овраги.  
И каждый куст глядит, как брошенная дочь.

#### 5

Гроза суетлива, как пляжный фотограф,  
И вспышка за вспышкой, и кажется, птичка  
Вдруг вылетит. Липы в подоткнутых тогах  
Как римляне вздорны. За спичкою спичка  
Ломается в тонких измученных пальцах.  
Прикуришь от молнии, лучше от слова.  
Судьба истончилась муслином на пяльцах  
И скоро наверно проступит основа.

#### 6

Грохоча ступенями всамделишного трапа,  
С облаков спускается июньская гроза.  
Разрыдалась – замуж за ревнивого арапа,  
За море, за дело, за глаза...  
Раскричалась – если дож, то можно, значит,  
Варвару – единственную дочь?  
Слышишь, как скулит, изнемогает, плачет  
Белая как Дездемона ночь...  
Если дож, то – дождь, вся лиственная влага,  
Весь запас соленых, невесомых слез,  
Дрожь листвы, рыданье, трепетанье флага,  
Расставанье, ставни, стук колес,  
Форточка, платок, от слез промокший, Яго,  
Ночь, гроза стихает, лунный плес...

#### 7

Приступ Шопена, наплывы мигрени,  
Желтое облако света ручного,

Детское плечико чахлой сирени,  
Речь посполитая сада ночного.  
Сколько больших, дорогих, незнакомых  
Ломится к нам из волшебного круга,  
Руки ветвей и глаза насекомых –  
Как же они понимают друг друга!  
Как же хотят объяснить нам, незрячим,  
Не понимающим, с чем мы играем,  
Шелестом влажным, шуршаньем горячим  
Страх и смятенье за призрачным краем.

### **МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ**

#### **1**

На гремучей бронзовой латыни,  
На колючем выцветшем фарси  
Ты у наступающей пустыни  
За меня прощенья попроси.

Раздирая яркую обертку,  
В новостях вечерних помяни  
Лошадей чугунную четверку,  
Озерки, Гражданку, Сен-Дени,

Пригороды, взятые в осаду  
Горечью твоих коротких встреч  
Трещиной, бегущей по фасаду  
Разрывает варварская речь.

Не кичливым говором армейским,  
Не скрипящим на зубах песком –  
Ассирийским, коптским, арамейским,  
Мертвым и воскресшим языком!

#### **2**

Может, где-нибудь под Кандагаром  
Так же ночь душиста и темна,  
И гордится смоляным загаром  
Смуглая восточная луна.  
Собственно, и важно только это:  
Ночь и исчезающие в ней  
Острые, скупые искры света –  
Светляков ли, бортовых огней...

3

Это небо вязкое, ночное,  
Звезды, растворенные в реке –  
Бездыханность, пауза, апноэ,  
Разговор на мертвом языке.

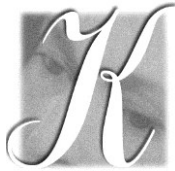
Город, разлинованный тенями  
На квадраты шахматной доски,  
Связанный воздушными корнями  
Европейской сумрачной тоски...

Это – сицилийская защита,  
Ход конем из жизни в никуда,  
И в подкладку времени защита  
Жестяная желтая звезда.



# Елена Аксельрод С природы

\*\*\*



лонилась акация, выгнув колено,  
скворец на колено уселся мгновенно,  
и я бы писала еще про скворца,  
но птичьего я не видала лица,  
а видела мать, что качели качала,  
при том по-английски на сына кричала.  
Чем выше сынок, тем мамаша сердитей,  
а мальчик, летя, ликовал на иврите.

\*\*\*

Мой утренний гость-муравей  
черною запятой на белизне простыни,  
и сразу буковки, как муравьи,  
и вспоминаю, что тридцать в тени,  
что я не та, что была во сне,  
что не те уж гости мои...  
Говор амхарский  
с птицами соревнуется  
по высоте звучания,  
на приبلудившейся, вторгшейся в дом волне  
кто-то беснуется –  
то ли угроза, то ли отчаянье...  
Жареный лук соседский  
пахнет так по-домашнему,  
так по по-вчерашнему,  
что кажется, с луком вместе  
в предпраздничной жарке-варке  
на сковородке чугунной  
верещат гусиные шкварки  
А здесь взволнованный кочет  
кричит предпасхальным днем.  
Мусорщик баком грохочет  
почти в изголовье моем.

**В ПРЕДЧУВСТВИИ ДОЖДЯ**

**1**

Высь разлинована параллельно.  
Дожди упакованы каждый отдельно.  
Может быть, верхний сверзится первый,  
может, сдадут у нижнего нервы,  
может быть, главный, частый и колкий,  
спрятан в продольной чернеющей щелке?  
Глянула в небо, чуть погода.  
Нет, никакого не будет дождя,  
и никаких параллелей нет,  
льется не дождь, а бессовестный свет,  
хлещет свирепо по кронам и склонам,  
день захлебнулся питьем раскаленным.  
Так и живем: ни зонтов, ни плащей.  
может быть, это в порядке вещей?

**2**

Оплеухи ветвей, в раздражении ждущих дождя,  
вместе с ветром летящий заученный зов муэдзина –  
никуда, куда я от вас не уйду, уходя  
по проулку, зажатому в тесных кустах розмарина.  
Я брожу меж кустов, между запахов и голосов,  
меж молитв и проклятий, не видя последних  
ступеней.  
Не умею ответить на зов изнуренных кустов.  
но у веток сухих к январю иссыкает терпенье.

**НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ**

*«Назначь мне свиданье на этом свете»*

Мария Петровых

Вот мой сегодняшний тихий улов:  
над каменистым тенистым обрывом,  
как белые руки, полоски домов,  
горы над ними мягким наплывом,  
лентой защитной, волнистой дугой.  
Тянутся руки одна к другой  
и не встречаются так же, как жители  
этих домов, что друг друга не видели,  
или, вернее, не разглядели...  
Назначь мне свиданье на этой неделе.

\*\*\*

Листвы вечерней дребедень  
дорогу обрядила.  
Моя заботливая тень  
меня опередила.  
Я шла доверчиво за ней.

сжимала ночь объятья,  
и по заборам меж камней  
метались наши платья.  
Ночной листвы сплошная вязь  
как будто тьму копила.  
От няньки я оторвалась,  
ей место уступила.

\*\*\*

Зажмурилось сознание.  
Глаза тут ни при чем.  
Достроила бы здание –  
проблемы с кирпичом,  
ни одного макета,  
ни одного наброска,  
и лето не пропето,  
и тучи шутят плоско.  
Ни краски, ни замазки,  
ни запаха, ни звука.  
Никто стучится в двери,  
и я не слышу стука.

\*\*\*

Ночь. Отдувается ветер потный.  
Прошмыгнул и пропал меж веток.  
Зной не сдается, недвижимый, плотный,  
как тут заснешь без таблеток?  
Вот и не знаю других объятий,  
кроме объятий зноя,  
а задремлю, приснится некстати  
давнее солнце больное,  
укутанное бинтами  
мартовских туч несвежих.  
Ты или тень твоя? Рядом... Где же?  
Что приключилось с нами?  
Одеяло откинула.. Ноют колени,  
одолевает дремота...  
Только непрошено бродят тени.  
вдоль выдавшего виды блокнота.

### **СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК**

Скачет зайчик ошалелый  
по гардине, по картине,  
по листу бумаги белой,  
голой, как песок в пустыне.

Пущен из какой же пущи  
этот пляшущий посланник?  
Знай резвится пуще, пуще  
на столе, как на поляне.  
Этот, посланный украдкой,  
кем, зачем, с какою целью, –  
знак участия беглый, краткий,  
схвачен солнечной метелью.

## **ЖИВЕМ С ТОБОЙ КАК ПОЛОЖЕНО**

### **1**

Живем с тобой, как положено:  
скатерть на стол положена,  
свечи есть, и подсвечник,  
коврик припал к порогу,  
в холодильнике мерзнет йогурт,  
срок его истечет не скоро  
и наш не вечен.

### **2**

#### **ШЛЯПА**

Прошляпила свои поля,  
пылится тулья.  
В прихожей, дни пустые для,  
лежит на стуле.  
Ненужность, праздность и тоска.  
А было дело,  
когда, взирая свысока,  
на голове сидела.

### **3**

#### **VITA NUOVA**

Зовут из вазы абрикос и слива.  
Прости меня, прекрасная чета -  
не натюрморт, а vita... Что за диво!  
Жаль, ни таланта нету, ни холста,  
ни кисти Куприна или Машкова.  
Пригубить свежести?... Да нет, сыта!  
Но все короче эта вита нова,  
короче, чем моя. Не мне чета.



\*\*\*

*Памяти Юрия Карякина*

Не возлагайте венков, пожалуйста,  
на того, кто не чувствует благоуханий.  
Тому, кто не слышит, не надо жалости,  
не надо ваших признаний.  
И ваших скорбных не надо лиц  
тому, кто лишился зренья.  
Не надо пенья, не надо молитв –  
умерьте градус кипенья.  
Не знаю... Скажите, что я не права,  
что, может быть, нужно, нужно  
венки возлагать, восклицать слова  
страстно или натужно,  
а вдруг не так уж вы далеки.  
а вдруг не бумажные ваши венки.

\*\*\*

Лиственной глыбой стоит Переделкино –  
черный полуночный монолит.  
Лишь рассветет – в тощий дождик одетое,  
в неизлечимый ревмокардит  
дышит едва, только хрипы и всхлипы  
веток простуженных, гнутых стволов,  
силятся небо расчистить липы  
и улететь – я не слышу их слов.  
Я засыпаю – и вижу море,  
безудержный самоуправный полет.  
Что ж меня будят московские хвори,  
что ж там и здесь лихоманка бьет?

## СТИХИ СЫНУ

1

Весь мир непрочен, заболочен,  
дорога из одних обочин,  
в окне гримасничают горы,  
не находя себе опоры,  
ломлюсь в открытые ворота,  
за ними незнакомцев рота.  
Неужто добралась до грани,  
когда с покорностью бараньей  
цепляюсь я за провожатых....  
Вокзал. Среди цветов и брани  
бредет незрячий. В веках сжатых

маршрут, угаданный заранее.  
Одно в толпе неразличимой  
твое лицо светло и зримо.

2

Ветер захлопнул окно.  
Стали слышны часы.  
Твой Боинг поднялся давно  
со взлетной ночной полосы  
Слушаю справочную Эль-Аль:  
шестьсот тринадцатый рейс  
по расписанью прибудет в даль,  
саднящую, как порез,  
как старый неизлечимый недуг,  
как врожденный изъян...  
Сейчас кошерный гуляш принесут,  
сока нальют в стакан.  
Попутчик припал к твоему плечу  
в креслах, пристегнутых к облакам.  
С тобою лечу, с тобою молчу,  
как разлучиться нам?  
Давка в проходе, плащи, свитера,  
слишком длинен туннель.  
Я отстаю, на часах пять утра,  
ветер свистит, холодна постель.

### **СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ**

Рой темнокожих детей на снегу.  
Черные зернышки в белом стогу.  
Белому снегу пора удирать,  
Нам - напоследок в снежки поиграть,  
снег однодневный ловить на бегу –  
черные прошвы на белом лугу.

\*\*\*

Проковыляла свой путь по ухабам.  
Уподобляясь не дерзким, не храбрым,  
я выбирала не гору, а холм,  
полу-молчанье с полу-стихом,  
не замечая окрестность и местность.  
Угол с окном, тишина и безвестность  
сами решили – меня не спросили, –  
дескать, не надо лишних усилий,  
будто бы мне все равно, все одно –  
угол какой и какое окно.

### ИЗ ДЕТСТВА

Бело-розовая жимолость -  
дождиком умытый вьюн,  
под вьюном – скажи на милость -  
незасыпанный гальюн.  
Дача с клетчатой терраскою.  
Чахлый, узкогорлый пруд  
выкрашен ленивой краскою.  
Листья бурые плывут.  
Плавают меж листьев дачники –  
что за отдых без воды?  
Прочь, учебники, задачки,  
горы зимней ерунды.  
Выплыли откуда жимолость,  
тот колодец, та сосна  
и хозяин тот прижимистый –  
деревянная цена?  
Что же было там хорошего –  
верно, память коротка.  
Промелькнувшей жизни крошево  
тонет в мареве песка.

### ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

*Памяти отца*

Распаялся век бесноватый,  
багровел, набирался сил,  
когда дед мой подслеповатый  
белорусскую хлябь месил,  
держась за плечо моей бабки,  
ступавшей на шаг впереди.  
Ребенок, завернутый в тряпки,  
спал у нее на груди –  
первенец годовалый.  
Добрались до пустого гнезда,  
до трухлявого полуподвала,  
из водокачки вода,  
затируха в глиняной миске,  
для младенчика леденец.  
В малорослом бревенчатом Минске  
своевольный растет птенец.  
Подбирает бумажки, картонки  
и елозит по ним угольком.  
Точно порча какая в ребенке,

что попало, таскает в **дом**.  
Я от деда и бабки отстала  
на полвека. Но как поднялись  
те картонки из полуподвала:  
кочерга, связка дров, поддувало,  
и откуда они взялись –  
эта зрячесть в подростке кудрявом,  
простодушная детская прыть,  
эта радость, веселое право  
неуловимость ловить.

\*\*\*

Старуха видела плохо. Ее старик  
пуговицу искал, закатившуюся под кровать.  
Нашел. Распрямился не вмиг  
и принялся нитку в иголку вдевать,  
пуговицу пришивать.  
Старуха ждала... Застегнула с усилием жакет,  
к зеркалу подошла. Себя кое-как обсмотрела.  
Дед не смотрел. В книжку уткнулся дед.  
Вослед старикам солнце в окне горело.

\*\*\*

Утренний старик  
бродит меж старых книг,  
снова читает Толстого  
неторопливо, за главкой главку,  
и поспекает за овощами в лавку  
до половины второго.  
Вечерний старик,  
проводя последний блик  
света дневного,  
откладывает Толстого,  
глядит глазами усталыми,  
мается сериалами,  
ужинает кашей вчерашней,  
становится меньше и старше.  
Про старика ночного  
не пророню ни слова.



# Виктор Каган

## Отзвуки детства

\*\*\*



Чёрно-белое в розовом свете –  
просто выкупанное в марганцовке –  
фото маминой перелицовки:  
лейтенантик, жена и дети.

Года сорок, примерно, седьмого  
миг застывший недвижно длится,  
или, может быть, сорок восьмого.  
Взрослым, стало быть, где-то под тридцать.

Мать отца умерла в блокаду.  
Мамин папа пропал в ГУЛАГе.  
Детям этого знать не надо –  
хорошо им на фотобумаге.

Я гляжу и в волшебной трубке  
Чёрно-белое в розовом свете:  
из кошмарной войны мясорубки  
вышли всё-таки в жизнь, не в нети.

Жили бедно. Держались кучкой.  
Одевались – перешивая.  
Обходились как-то получкой  
никакой. А семья – живая.

Старой камеры чудодейство.  
Тень и свет родословного древа.  
Вот такое святое семейство ...  
Только кто этот мальчик слева?

\*\*\*

Это было, было, было,  
я же помню: два крыла,  
вдох – и неземная сила  
меня в воздух подняла.

Помню мышцами и кожей  
это лёгкое скольжение  
и восторг, слегка похожий  
на восторг стихосложения.  
... Недоступное наследство –  
ощущение крыл из детства.  
\*\*\*

Муравейник общего вагона.  
Ожидание чая, чуда, встреч.  
Стук колёс на стыках перегона.  
В полутьме струящаяся речь.  
Пять минут стоянки. Гул перрона.  
Дымный тамбур. Табор за стеклом.  
Огоньки у кромки небосклона.  
Стрелочник. Коза. Металлолом.  
Памяти забытое наследство.  
Паутина. Тайна. Трепет. Пыль.  
Глупое доверчивое детство.  
Заново читаемая быль.  
\*\*\*

Посреди чумной эпохи  
Вспоминаю бедный рай –  
лопухи, чертополохи,  
солнца рыжий каравай,  
под подушкой корка хлеба,  
выше маковки трава,  
незамызганое небо,  
незатёртые слова,  
перешитая одежда,  
в огороде бузина,  
золотушные надежда,  
золотые времена.  
\*\*\*

Сквозь время, будто через вату,  
кричат, а что – не разобрать...  
Двор ... и вокруг меня ребята ...  
и мне, наверное, лет пять ...  
и, значит, три – не больше! – брату ...  
И ясно различаю вдруг –  
кричит, смеётся: «Жид пархатый!».  
... как все вокруг ... как все вокруг

## Бородинка

### 1

Снов туманные картинки  
различаются с трудом.  
Вот иду по Бородинке,  
Захожу в знакомый дом  
и в затрюханой клетушке  
лифта старого курю.  
Стынут слёзы на подушке.  
Сам себя во сне корю.  
Самому себе не верю.  
Горожу какой-то вздор.  
Звякнет крюк на старой двери  
в бесконечный коридор  
и, не зажигая света,  
по нему пойду легко.  
Детства дальняя планета –  
сквозь игольное ушко.  
В колесе мелькают спицы,  
в небесах продрогли птицы.  
И во сне, как наяву,  
самого себя зову.

### 2

Улыбаясь я картинке –  
хоть завязочки пришей.  
Старый дом на Бородинке  
И жильцов нём как мышей.  
Двор-колодец, так что солнце  
никогда не греет дна,  
и в замызганном оконце  
зелень чахлая видна.  
На шестой этаж взбираюсь  
я в квартиру тридцать шесть,  
жму на кнопку, извиняюсь,  
мол, когда-то жил я здесь.  
Здесь в два года  
корку хлеба я на утро припасал,  
из окошка видел небо  
и со щепками играл.  
Да, тогда ещё топили  
кафельную печь в углу,  
то ли жили, то ли были,  
дружно спали на полу.

Коммунальная квартира  
полунищего житья.  
И на стенке у сортира  
есть отметина моя.  
После были новоселья  
и уж верилось с трудом  
в коммунальное веселье,  
в муравьиный этот дом.  
Но всё та же муха лапкой  
чистит стёклышко крыла.  
Здесь мы жили вместе с бабкой,  
здесь она и умерла.  
От копейки до копейки,  
что ни день – забот мешок.  
На кладбищенской скамейке  
выпил с ней на посошок.  
А теперь, с судьбой воюя,  
вижу в бесконечном сне:  
в дверь знакомую звоню я –  
открывает бабка мне.  
И мгновенье это зыбко,  
и я, старый дуралей,  
чувствую свою улыбку –  
хоть завязочки пришей.

\*\*\*

Моросит слезами осень  
по стеклу, как по щеке.  
Проводница чай разносит –  
подстаканники в руке  
колокольничают мелко.  
Стынут стрелки на часах.  
Тётка в ватнике на стрелке.  
Мокнут тени в небесах –  
то ли ангелы, то ль птахи,  
то ли души, то ли что ...  
Убегают вдаль бараки,  
козы, церкви, шапито.  
Из земли – войны осколки.  
Чёрный ворон на сосне.  
А малец на верхней полке  
улыбается во сне.  
Убаюкан сладкой сказкой,



поездом во сне рулит.  
Он свободен в клетке тряской,  
спит – в две дырочки сопит,  
и ему ещё не снится,  
что он пьёт на посошок,  
что в какой-то загранице  
сочиняет сей стишок.

\*\*\*

Желтухой схвачен старых фото глянец  
и на мякине жизнь не провести.  
Я по-английски бормочу *прости* –  
тоскующий по-русски иностранец.  
Из чёрной плошки – Левитан и гимны,  
Русланова, Бернес, «Вставай, страна...»  
Отец – юнец и мать ещё юна,  
им не расслышать моего *forgive me*,  
а и расслышат – сына не узнают.  
Он на меня сквозь прошлое глядит  
и отвечает тихо: «Бог простит»,  
и птичку ждёт ... А та не вылетает.

\*\*\*

Смертный день клонится в вечер.  
Рюмка. Хлеб. Горит свеча.  
Тень у левого плеча.  
С жизнью улетевшей встреча.  
Дождь колотится о крышу  
вперестук с житьём-бытьём.  
Дождь идёт, и мы пойдём, –  
я отцовский голос слышу.  
Память путается в датах,  
но мгновения ясны,  
словно прозелень весны  
на проталинах-заплатах.  
И последний самый вечер  
декабря шестого дня –  
взгляд, смотрящийся в меня,  
рук признание мне на плечи.  
Оплывает жизнь свечою,  
сплавив счастье и беду.  
Дождь идёт... и я иду...  
Дождь идёт...

## 1945

Басистый и прожорливый малёк,  
от голода, скулящий, как дворняжка.  
Мне бабка отдавала свой паёк –  
сырую и колючую черняшку.  
Дрожащий свет по стенам оползал  
и освещал нехитрую пирушку.  
Я мякиш из горбушки выгрызал,  
а корочку на утро – под подушку.  
И до сих пор, что мне ни говори,  
я выбросить черняшку не умею.  
Сушу, как бабка, с солью сухари  
бог весть зачем. Но так оно вернее.

\*\*\*

...И масло в июле на рынке  
в воде на капустном листе,  
и ряженки золото в крынке,  
и соль на пахучем ломте  
горячего чёрного хлеба,  
и яблочный дух поутру,  
и синь бесконечного неба,  
и я никогда не умру,  
и мама ещё молодая,  
и папа вернулся с войны,  
и я ещё сню, что летаю,  
и чувства не знаю вины  
за то, что зажился на свете  
и жить научился без них ...  
Кладбищенский с проснежью ветер  
сгоняет с берёз вороных.

\*\*\*

Банальности, мелочи, малости,  
пустые вещицы, альбом,  
затёртые шутки и шалости...  
Посмотришь – ну, просто дурдом.

Похерить всё это без жалости  
и выключить памяти свет –  
мол, мелочи, глупости, малости...  
А жизни без этого нет.

И слушая в сердце жалейку  
сквозь музыку бед и побед,  
кручу я в руках тюбетейку,  
что мама мне сшила в пять лет.

\*\*\*

Ворошить прожитого наследство,  
подводя не черту, так итог,  
золотое счастливое детство,  
словно книгу, читая меж строк.  
Было всяко. Могло быть и хуже.  
И сквозь памяти тусклую мглу  
ус вождя отражается в луже  
у витрины на пятом углу.  
Нарисованный вкус оковалка.  
Вьётся в небо трамвайный звонок.  
Жизнь проходит то шатко, то валко,  
как по рытвинам тьмы – воронок.  
Газировка – стакан за копейку,  
эскимо за одиннадцать коп  
да в заборе пошире лазейку –  
счастье лупит то по лбу, то в лоб.  
В луже чудится синее море  
и роскошно одёжки драньё,  
и не слышит за маршами горя  
золотушное детство моё.

\*\*\*

Абракадабра, бред, белиберда.  
Сойти с ума и выйти на перроне –  
туман, домишек чахлых два рядá  
и тусклый свет на хвостовом вагоне.  
Когда-то был я здесь, да вот беда –  
монетка памяти застряла в телефоне  
и не припомнить этого *когда*,  
потерянного на забытом перегоне.

Но пощекатывает ветер вдоль щеки,  
и тянет рыбным духом от реки,  
и – Господи! – в тумане бродят кони,  
кусты темны, как древние божки,  
шуршат ежи и шелестят зрачки  
у птиц, клюющих прошлое с ладони...

И мать на расстоянии руки...

## Март 1953

В марте, в пятьдесят третьем – сумрном и великом  
году  
стою в актовом зале школы, во втором ряду.  
Директор против обычая трезвый, на хмуром глазу.  
Тяжёлым взглядом, без слов останавливает бузу.  
Заплаканные учителя. Молчание. Кирпичная тишина.  
Так, наверное, было, когда началась война.  
Он говорит, что траурный митинг открыт.  
В сопливом моём мозгу что-то такое свербит:  
рефлекс аплодировать бурно на митинг, который открыт,  
рвётся в работу ... А он, между тем, говорит,  
произносить пытаюсь сопротивляющиеся слова  
с тем выраженьем, что утром произносила Москва.  
И пока он говорит, я – дурулом, отличник, почти пионер,  
за три года привыкший всем подавать пример,  
лихорадочно думаю, бить в ладоши или не бить,  
чтоб сообразно моменту правильным мальчиком быть.  
Он договаривает. В башке у меня колотят колокола.  
И я – верблюдом в игольное ушко, была не была,  
хлопаю, но лишь один траурно-сдержанный раз.  
Через секунду мой аплодирует класс,  
за ним – мелюзга перед нами и старшие за спиной...  
Ужас учителей. Что теперь будет со мной?!  
Но обошлось, замаяли – ну, несмышлёныш, сопляк.  
В избе оставили сор, сделали вид, что пустяк.  
Митинг закончился. Я, как попавшийся вор,  
от глаз честного народа слинял незаметно во двор.  
Ещё не прошли морозы. Спустись со ступенек – каток.  
Надо быть идиотом, чтоб не прокатиться разок.  
Вокруг – ни души. Оттолкнулся и – Господи, помоги! –  
влетаю с разлёта прямо директору в сапоги.  
Всё! Теперь уже не отвертеться! Держись!  
Он глядит на меня с интересом ... и говорит: «Катись!».  
А в глазах у него такая стоит тоска –  
сам бы, мол, покатался, да больно цена высока.

\*\*\*

В бывшем доме моём проживает неведомо кто –  
обживает углы, под себя подгоняет пристрасно,  
огорчается, если выходит не так и не то,  
и надеется, что уж теперь-то всё будет прекрасно.

Так когда-то и я хлопотал в этих самых стенах,  
не умея признаться себе, что они только стены,  
только хрупкий кораблик в безвестного моря волнах  
весь в коросте ракушек и намертво въевшейся пены.

И стою у дверей, вспоминаю, грущу и курю,  
и читаю на стенах бессмертное *Катя + Петя*,  
и о чём-то с собою самим говорю, говорю,  
и не наговориться, и кажется в лестничном свете,

будто солнечный зайчик, как Сивка, висит надо мной  
и спускается ангел:

- Вы, дяденька, ждёте кого-то?

- Птичку жду.

Рядом брат. Папа с мамой у нас за спиной.

Улетевшая жизнь. Пожелтевшее старое фото.

\*\*\*

В желтеющих листках календарей,  
как мухи в янтаре, застыли даты.  
Вот на трибуне стая упырей,  
перед трибуной стайкой упырята.

Мне галстук жмёт и чешется в носу,  
но руки заняты, я не чихать стараюсь  
и, как большой упырь, плакат несу,  
в трибуну взглядом честно упираясь.

Дорогой верной прямо в никуда  
шагаю, осенённый высшей мерой  
улыбки упырей. Горит звезда –  
не может догореть. И пахнет серой.

\*\*\*

Откос песчаный. В небо льётся Волга,  
а небо в Волгу. Коротко ли, долго

на самом деле длится миг свободы?  
Шум тишины. Беззвучны пароходы.

Волна легка и терпок запах тины.  
Другого берега туманные картины.

Прозрачный звук дыхания речного.  
Не сказанное невесомо слово.

Тебе четыре. Ты – песчинка, кроха  
в пространстве, где бесчинствует эпоха.

Тебя несёт нелёгкая счастливо  
сквозь время в стороне от кровослива

и тенью облаков песок примятый  
шекочет ноги. Год сорок девятый.

И мамин голос: «Больше так не делай –  
не убегай ...». И прядка – болью белой.

\*\*\*

Хрустнет в окне керогаза слюда.  
Скоро закончится в доме вода –

стало быть, снова придётся  
валенки бить до колодца.

Мышь согревается возле огня –  
Смотрит, не дам ли чего, на меня,

а у меня, без кокетства,  
только лишь золото детства.

Мама из юбки кроит мне штаны,  
чтобы заплаты не слишком видны.

Год пролетит – маловаты,  
Значит, достанутся брату.

Школьный директор пахнет махрой.  
В зале оркестр дудит духовой.

Галстук на шее, значок на рубахе –  
злые буржуи корчатся в страхе

и пролетариев всяческих стран  
соединяться зовёт левитан.

Плачет молочница – как без коровы?  
Смотрят вожди с мавзолея суровы.

В книжках нельзя загибать уголки,  
дома нельзя забывать дневники.

К валенкам крутишь верёвкой коньки  
счастлив и весел всему вопреки.

\*\*\*

*там жизнь была она сперва казалась  
а после сам поверил что твоя*  
Алексей Цветков

Тень, скользнувшая молча с крыльца,  
словно с крыл махаона пыльца  
и приметы со времени оно...  
Не твои очертанья лица  
у прилипшего носом мальчика  
к слюдяному окошку вагона.

Он мудрей и честнее, чем ты.  
Он исполнен такой простоты,  
что теперь тебе и не приснится,  
и среди суеты и тщеты  
для него расцветают цветы  
на полянах весёлого ситца.

Ты его окликаешь: "Малыш!",  
понимая, что сам себя снишь -  
Он не слышит тебя издалёка  
и глядит как струится из крыш  
дым, которому не запретишь  
быть свободным без смысла и прока -

просто так, ни зачем, ни про что,  
просыпаясь сквозь зла решето -  
в небе манной земной рассыпаться.

Поезд вздрогнет. Он нос оторвёт  
от стекла и тебе подмигнёт:  
"Что, не хочется, брат, просыпаться?"

\*\*\*

Было зябко, мрачно, гулко.  
Было чисто и светло.

Тень шагов вдоль переулка.  
Позабывтое число  
Позабывтого столетья.  
Неужели всё прошло?  
Вспомнить – будто умереть и  
вновь родиться.  
Набело.  
2000-2012





## Виктор Леденев Дорога домой



ы заметили их первыми. Четверо рейнджеров из «первой парашютной» двигались гуськом по скальной площадке. Пижаоны, даже каски не надели, красуются в своих ярких беретах, как попугаи. Славка поднял руку с раскрытой ладонью. Я его понял, пусть отойдут подальше от кустов, тогда прятаться им будет негде. Славка выбросил вверх указательный палец и показал на вьетнамцев.

Четыре «калаша», даже если они палят одиночными выстрелами для растерявшихся без укрытия рейнджеров оказалось вполне достаточно. Последний из них почти добежал до спасительных кустов, но чей-то выстрел распластал его на скале. Мы переглянулись, но пока молча. Кто ж их знает, этих азиатов, может еще два десятка сидят и ждут, когда мы покажемся, нам ведь тоже эту скальную площадку переходить придется, а там прятаться негде, четыре трупа хорошо доказывали это. Мы лежали молча и до боли вглядывались в стену джунглей. Никого...

Славка осторожно поднимался, держа автомат наготове. Встал. Тишина. Птицы возобновили свой визг, лес снова жил своей жизнью, на время остановленной жесткими хлопками выстрелов.

- Откуда они взялись?

- А ты у них спроси, я откуда знаю.

Славка был явно встревожен. Вроде бы все шло гладко, самолет мы нашли быстро, две головки наведения от ракет оказались целехонькими, мы быстренько их демонтировали и айда до дому. Ничего особенного, все, как всегда. И вот, нате вам, явление тени отца Гамлета – четверо рейнджеров за сто километров от их главной базы. Ох, неспроста все это...

«Хью» выскочил, как чертик из табакерки. Только что не было и вот он... Вертолет поднялся из ущелья, потому мы и не слышали его мотора, и завис всего в сотне метров. Я отчетливо видел светлые пятна лиц в его брюхе, успел заметить, как пулеметчик разворачивает ствол в нашу сторону. Не сговариваясь, без команды, четыре «калаша» ударили по вертолету. Это сильно не понравилось пилоту, и он рванул машину вниз и вправо.

Пулеметчик успел дать одну короткую очередь и «Хью» вновь нырнул в ущелье.

Одна-единственная очередь, патронов восемь, не больше, и наша маленькая победа обернулась большой бедой. Вадим лежал на боку, прижав руки к животу, из-под него струилась, скатываясь в пыльные комочки, струйка крови. Я вкатил ему дозу «антишока» прямо через штанину, остальные искоса наблюдали за нами, основное внимание уделяя ущелью – ушли или снова вернуться? Если вернуться, нам крышка. Всем. И тогда ранение Вадима только первая ласточка...

Вертолет не появлялся. То ли мы во что-то важное угодили или хорошенько напугали,

Но нас на время оставили в покое. Вот надолго ли? А до темноты еще часа два, а до хорошего укрытия километров пять, не меньше. Я перевернул Вадима на спину. Плохо, ох как плохо... Две пули и обе в живот. Одна справа, наверняка в печени, другая пониже. Вот же гад, одну очередь успел дать и попал... Я поднял куртку, кровь, как ни странно, текла не очень сильно, но дырки были здоровые. Так, тампоны побольше, потом бинт, тоже побольше, и потуже, больше пока ничего сделать не смогу, Вадик, терпи. О том, что я могу сделать еще, думать не хотелось, так ничего другого я сделать не мог. Это хирург бы смог, да где ж его взять-то, хирурга. Он за двести километров, в Ханое, а мы где? Кажется тут еще Камбоджа, а может и нет... Хрен их поймет, эти границы. Вадим, наконец, потерял сознание, я и так удивлялся, что он еще в памяти, после таких ранений...

Пять километров мы почти пробежали, благо путь был понемногу вниз, Вадима несли поочередно, носилки было делать некогда, да и не из чего. Наконец снова в джунглях. Вот у ж не думал, что буду радоваться, что снова в этом проклятом сыром лесу со множеством всяких ползающих и летучих гадов. Зато теперь сверху нас никто не засечет, а это главное. До темноты всего чуть-чуть, солнце едва нырнет за те дальние горки, как будто кто-то выключит свет. В этих тропиках все, не как у людей.

Пока еще окончательно не стемнело, я заново перевязал Вадима. Бинтов почти не осталось, да и толку от них. Предохранить от заражения? Какая к черту зараза, если две пули прошли насквозь живое тело. Пока живое. Хоть и бессознательное. Тело нашего товарища. Вот это главное. Славка прикурил две сигареты, одну из них сунул мне в рот, руки у меня были в подсохшей липкой крови.

- Плохо?

- Очень. До сих пор не понимаю, почему он жив.

- Вадьку так просто не убьешь. У него здоровья на пятерых.

Славка витиевато выругался. Его можно было понять. Положение аховское. Задание мы наполовину выполнили, унесли в клювиках то, за чем охотились, а вот что делать дальше?

- Ты думаешь, эти рейнджеры случайно тут появились?

- Думаю, нет. На нас охотятся. Да и вертолет.

- А может, они за своими прилетели? Самолет-то почти целый, подумали, что в живых пилоты могли остаться? Один, во всяком случае. Ты же сам видел, что от второго осталось.

- Это вряд ли. Скорее всего – за нами пришли. Вроде засады устроили, только опоздали немного, не поверили, что мы так скоро здесь окажемся.

- И то верно. Только что делать будем. Как уходить? Сколько нам до вертолета?

- Если по прямой, то еще километров тридцать, если по горам, так и все пятьдесят наберется.

- С Вадимом – три дня... Если, конечно, нас раньше не достанут.

- Ладно, пошли, место на ночь тут неудобное.

... Вадька - самый здоровый из нас, атлет, килограммов под сто. Это, когда был здоров, а сейчас он весил в два раза больше, вам скажу, точно. Ноги у меня подгибались сами собой, как у детской игрушки. Наспех сделанные носилки из двух палок и двух курток плохо подходили для переноски такого тяжелого тела в горах. Сзади идти было хуже, не видно предательских, скользких под ботинками камней. Вадим пришел в себя, было видно, как он, несмотря на боль, переживает, что стал обузой, невыносимым бременем для всех. Я несколько раз ловил на себе его взгляд и только пытался усмехнуться в ответ. Но усмешка, наверно, у меня не очень голливудская. Вадим при очередной моей попытке выглядеть героем закрывал глаза. У меня оставалось еще три упаковки морфия, одну я ему уже вкатил, и что будет, когда у меня не будет ничего, чтобы хоть как-то облегчить эту адскую боль, я не хотел думать. Славка заставил всех сдать весь «первитин» и я уже жалел, что не догадался оставить хоть пару таблеток. Но он был прав, вчера все четверо явно переборщили со стимулятором, почти всю ночь толком никто не спал, утром даже чифирь пополам со спиртом мало помог, Только часам к десяти все четверо втянулись в ритм ходьбы и перестали дышать, как паровозы «ФД» на подъеме. А вот удастся ли поспать в следующую ночь, никто не знал.

Американская «вертушка» с утра помаячила довольно далеко на юго-западе, потом свалила. Наверно, нас все-таки они потеряли, но это дела не меняло. Они знают, что нам все равно придется выбираться на плато, чтобы встретить свой вертолет. Где-то там, наверху, они и будут нас ждать. Если мы не поторопимся. Но «Хью» это еще полбеды, за нами теперь, как борзые, идут рейнджеры, а это уже серьезнее. С этими ребятами лучше не связываться, да их наверняка раз в десять больше чем нас. Что мы – четверо еле живых от бешеной беготни по скалам с носилками... Вояки. Хотя, конечно, еще можем показать кое-кому «кузькину мать», как когда-то обещал всем наш незабвенный Никита Сергеевич... Но лучше бы не показывать.

Мы пересекли солидный кусок открытого пространства без леса, даже небольших кустов, и снова полезли в гору. Где-то здесь должна проходить знаменитая тропа Хо ши Мина, но пока на нее не наткнулись. Карта паршивая, на вид вроде бы очень подробная, но, как оказалось, такая же приблизительная. Горы там, где их нет, а тропа не показывается. Да это вообще притяжка, что тропа, а на самом деле так, место, где можно пройти, не обладая альпинистскими навыками, не более... И то хлеб.

- Ребята, дайте попить.

Голос у Вадима совсем сел, тусклый какой-то, обычно он мог рывкнуть так, что стекла дрожали. Мы уставились на него, его голос яснее ясного показал, что дела совсем плохи. Колька нарочито небрежно, как заправский медик, пробасил:

- Тебе нельзя. У тебя ранение...

Вадим разлепил ссохшиеся губы.

- Мне теперь все можно. Правда, Паша?

Что тут скажешь... Я открутил пробку фляжки. Вадим смог сделать лишь один глоток, тяжело закашлялся, по недельной щетине, смешиваясь с водой, потекла почти черная кровь. Плохо дело... Славка первым оценил обстановку.

- Все. Вставайте, вот вам по паре таблеток и вперед. К ночи надо успеть до той вершинки.

Ага, вершинки... Как ласково и по домашнему. До нее топать и топать, да что толку в географии, если ее ногами проверять надо. Пошли, так пошли... Сегодня меняемся уже на носилках через каждые полчаса, больше кисти не выдерживают. Дураки, с самого начала не обстругали хорошенько ручки носилок, сорвали ладони, теперь вспомнили, да что толку. Идем, как тупые бараны, только вперед, только вперед. А куда? Мы уже не живые даже, а так, полуфабрикаты для ада. А если и туда не примут, то куда? Может, будем вечно болтаться вот по таким же горам,

только где-нибудь на другой планете... Черт! Что за мысли дурацкие в башку лезут. Может песню затянуть, вроде «По долинам и по взгорьям...» И долины есть и взгорья, чего еще-то... И все герои мы несусветные, посередине Азии тащимся по горам, воруем неизвестно что, а Вадиму жить осталось... Кто ж его знает, сколько ему осталось, может и дотащим до вертолета, а там, глядишь, и в госпиталь поспеем, на операцию... Да только как поспеть туда. Сзади рейнджеры топают, им тоже несладко, но у них нету носилок, они, говорят, своих пристреливают, чтоб не мешали, значит... Оно, конечно, правильно, с точки зрения тех, кто нас послал на это задание, что для них мы, а вот лежит на носилках мой товарищ, Вадька, и мне уже плевать на любое задание, я его хочу вытащить.

Врешь ты однако, Паша... Это ты себя хочешь вытащить. Нет, постой, ты не прав, Паша, Себя я тоже хочу, но вместе с Вадькой. Ну и дурак! Вместе никак не получится, либо он, либо ты. Или все вместе, одной веревочкой связаны. Только самое тяжелое звено вот оно, у меня перед глазами, качается на носилках и стонет. И никуда от него не денешься, если ты человек еще. Как это еще! Я – человек. Как говорится, звучать должно гордо. Только вот не звучит...

Сухой спирт – последний, хоть цифирь заварить хватит. А больше ни на что. Ладно, не привыкать всухомятку. Было бы что жрать, а уж как, дело пятое. Вадька вон уже три дня не ел, и как он только держится, в башке не умещается. У меня всего одна ампула морфия, больше взять негде, разве что у рейнджеров попросить? Только не дадут, суки, вернее дадут и еще добавят...

- Больно, Вадька?

- Нет, не очень. Тупо как-то, сначала резало, а теперь притихло.

- Потерпи, завтра, может, и к вертушке выйдем.

Не стану же я рассказывать, что Толян вчера провел разведку с небольшой горушки и то, что он увидел, лучше Вадьке и не знать. А новости хреновые. Как раз на нашем пути еще одна группа рейнджеров, Толян как раз застал их, когда они высаживались, а сзади – другие ребята - тоже хотят с нами потолковать. Куда ни кинь, везде клин.

- Ты где сейчас, Паша?

- Я? Да здесь, рядом с тобой.

- Нет, я вообще.

- А вообще я сейчас добываю золотишко с какой-то артелью где-то в районе Благовещенска.

- Смешно. Я тоже в артели сейчас, только на Колыме.

- Далеко тебя занесло...
- Да уж не дальше тебя... Паша, я тебя попрошу, напиши матери, где я... помер.
- Брось ты, Вадька, никто не помер и не помрет...
- Кончай ты, на хрен, свои утешения. Как будто не знаешь, ты же у нас доктор.
- Ха, нашел доктора! Кроме уколов ничего не умею, ты и сам их не хуже меня делаешь.
- Заткнись, Паша, я что, кретин, по твоему, думаешь, я не понимаю.
- Вадим закусил губу.
- И чего меня сюда понесло, к этим косоглазым? Сидел бы себе дома, так нет, в герои захотелось. В неизвестные герои. Комсомолец-доброволец... Ты все-таки напиши матери, хрен с ней, с этой секретностью, мне уже плевать на нее. Запомнишь?
- Запомню, Вадик. Если сам доживу до того, чтобы письма писать.
- Доживешь, ты везучий. Новосибирск, Красная, десять, квартира тоже десять. А фамилия у меня простая – Воробьев. Напиши. Или заезжай, мать у меня добрая, борщом накормит.
- Что это ты себя хоронишь? Я-то запомнил, а вот теперь запомни мою фамилию, может, и сам в гости заедешь.
- Вот мне-то как раз твоя фамилия ни к чему...
- Вадим вдруг дернулся и затих. Неужто умер? Схватил руку – пульса нет! На шее - есть. Только слабый, правда, но откуда ж ему сильному взяться... Отключился.
- Вырубился?
- Славка подошел так, как умел только он один, словно не ходил, а летал над землей.
- Ага. Оно и лучше, меньше болеть будет.
- Как ты думаешь, он долго протянет?
- Кто ж его знает, по мне, так он давно умереть должен, а вот...
- С ним нам не уйти.
- Уйти или не уйти, никто пока не знает, а ты что предлагаешь, старшой?
- Славка любил, когда его так называли, но мы его не баловали, так что он скопил на меня глаз – не подколка ли?
- Не знаю, Паша, не знаю. Аж башка разламывается, все думаю. И ничего придумать не могу.
- Слышь, старшой, там я видел впереди стенку скальную, отсюда смотреть – высота никак не больше метров ста. А если на нее залезть и потом по плоскогорью топать? Ежели с вертолета не

засекут, то мы сэкономим километров двадцать, да и расселин там, уверен, много, тихо, незаметно пройдем. Они же нас в обход ждут. На дороге.

- Неплохо придумал, да только как вот ты его... туда затащишь, а рейнджеры часах в двух позади, не больше. Если ночью не идут, а если идут? Так и двух часов не будет.

- Нет, ночью они не пойдут. Без мощных фонарей тут ходить - дохлый номер, а фонари бы мы и отсюда разглядели.

- Тоже верно.... Ладно, попробуй поспать. Я подежурю.

Чертовы тропики, днем чуть от жары не растекся, как воск, а ночью холодина... Правда, в горах всегда так, в тропиках они или на Кавказе... Эх, Кавказ! Озеро Рица, Терскол, Эльбрус... Лазай себе по горам и ни от кого бегать не надо... Красота...

Где Вадька взял «стечкин», никто не знал. Может мы забыли забрать его собственный, так за поясом и торчал? Нет, вроде бы я чуть не штаны с него снимал, не было там никакого пистолета. Да и что гадать, пистолет у него в руке, а рядом Славка стоит белый от напряжения – «стечкин» ему живот нацелен. И рука у Вадьки не дрожит.

- Вадим, положи пушку. Отдай мне. Ну, пожалуйста.

- Не подходи. Сделаешь шаг – выстрелю.

- Ты что, по своим стрелять будешь?

- Сейчас – буду. Отойди на пару шагов, слышишь!

Господи, вот это пробуждение! Век бы такого не видел. Колька и Толян стоят немного поодаль, Славка медленно отступает. А мой друг Вадька целится в командира группы.

Сказал бы, как в цирке, если б не на самом деле. Вадим дышал тяжело, видно, что привстать ему оказалось делом трудным, но он твердо упирался рукой в землю, а в другой у него был неизвестно откуда взявшийся «стечкин»

- Спасибо, Слава, а то бы я все-таки выстрелил. А мне очень не хочется стрелять в тебя. Паша, подожди.

Я постарался подняться как можно медленнее, без резких движений и подошел. Лицо Вадима покрывали крупные капли пота, я и не знал, что такие могут быть, а губы раскусаны до крови.

- Паша, не пытайся выхватить у меня пистолет. Я буду стрелять. Даже в тебя.

- Не буду. Вадька, ты что это задумал, кончай дурить, пора двигать, солнце уже вон где.

- Паша, я никуда отсюда не пойду. Оставьте мне «калаш» и пистолет. Я их задержу. Ты ведь и сам знаешь, что не дотащить вам меня до госпиталя...

Я покосился на ребят. Лица напряженные, но ничего прочесть в глазах я не сумел, хреновый из меня психолог.

- Паша, не тяни, вам уходить надо. Я вчера слышал, что вы можете вырваться, через горку. Я в сознании был... А из-за меня вам всем кранты.

- Ну, до крантов, дело пока не дошло...

- Не трепись, Пашка, давай автомат и... прощайте. Я их тут на час, не меньше, задержу. Они же не знают, что я один...

Славка еле заметно кивнул головой. Шутки шутками, но Славка действительно был старшим в группе и его кивок означал приказ. Я поднял автомат и положил рядом с Вадькой, присел на корточки. Мне показалось, что на глазах у него навернулись слезы, но, может, это только показалось...

- Вадька, я все сделаю, если...

- Никаких если, вы прорветесь, а я им покажу, что такое сибирские ребята... Только устройте меня поудобнее, а то я что-то ходить плохо стал....

Неподалеку оказался небольшой валун, идеально подходивший для огневой точки. Колька на руках перенес Вадима, уложил к спиной к камню и отошел. Толян положил на землю запасной рожок и похлопал Вадима по плечу, Славка, у которого все карманы были обычно забиты обоймами, разложил три штуки на валуне... Прямо возложение даров святым... Только вот святым, да к тому же еще живым, был наш товарищ Вадька. Вадим Воробьев. А как же его отчество? Я наклонился к самому его уху.

- Эй, Вадька, а как твое отчество?

- Со смеху помрешь – Онуфриевич... Спасибо тебе, Паша... Ты знаешь, совсем не больно, тянет только немного, как будто понос у меня, а так ничего...

Вадим протянул левую руку для пожатия. Я и забыл, что он левша... Рука белая, на солнце даже отливала желтизной, но все еще крепкая...

Я оказался прав, стенка высотой около ста метров, но только часть перед вершиной оказалась действительно сложной, почти половину подъема можно было преодолеть безо всяких альпинистских причиндалов. Зато на второй половине я уже потел ровно сорок минут. По часам. Славка оказался прав, вьетнамцы шли ночью, потому что выстрелы мы слышали всего через час, как оставили Вадима...

Ботинки пришлось снять, по этим скалам они были скорее помехой, и теперь я цеплялся пальцами рук и ног за мельчайшие выступы, как приличная обезьяна. Крюков в запасе тоже немного, на собственную страховку я вообще вбил только два, остальные –



для навешивания перил. Еще двадцать минут, и я улегся расцарапанным пузом на вершине скалы. Выстрелы позади замолкли, теперь только мое дыхание нарушало тишину... Эх, Вадька... Спасибо, старик.

Из-за выступа я не видел подножия и приготовился принять кого-то из ребят, подстраховывая и подтягивая слабинку веревки, но вместо Кольки или Толяна увидел, что тащил рюкзак. Ну, бляха, Славка, служака чертов! Сначала, он, конечно, заставил меня затащить эти чертовы боеголовки... Не догадался, идиот, что вдвоем наверху мы бы все сделали гораздо быстрее... Наконец, все были здесь. Толян с удивлением смотрел вниз.

- Я что, сюда сам забрался?

- Точно, теперь ты у нас снежный барс.

- Какой барс? Нет, я скорее волк, научившийся лазить по скалам.

Ребята растянулись на камнях, переживая первое в жизни восхождение по скалам, а я снова полез вниз – перила надо убрать. Заметят – вся наша авантюра пойдет к чертям собачьим... У меня уже отваливались руки, а пальцы ног превратились в крошево из лоскутов кожи и живого кровоточащего мяса, но в горячке я лишь глухо ощущал боль, как будто болело не у меня... Неприятности начались, когда перебинтованные ноги не захотели влезать в ботинки... Пришлось отказаться от повязок и лишь переложить ранки кусками бинта и ваты. Если через пару дней не будем дома, прощай, Паша, быть тебе с хорошенькой гангреной...

Славка остался понаблюдать за рейнджерами, Осторожно прикрыв стекла бинокля, чтоб, не дай Бог, не бликнули, он смотрел, как группа вьетнамцев с предосторожностями проследовала по той тропинке, что еще час назад была нашей единственной дорогой к спасению. Теперь мы, как учил товарищ Ленин, пошли другим путем...

Радиомолчание вещь нужная, но сейчас пришел мой черед. Это хорошо, что мы так высоко, никаких сложностей в связи не будет... Я покрутил ручку настройки и услышал такой знакомый, ну просто родной, телеграфный почерк Игоря. С базовой радиостанции он передавал на нашей частоте всякую муру, изредка вставляя QRZ?. Я дождался паузы и вбросил свое - Roger. Нет, точно, Игорь наверно, подпрыгнул на стуле, в эфир с дикой скоростью полетел пароль, я так же быстро ответил и в конце передал заветную «тройку». Он переспросил, понятное дело, что не поверил сразу, я снова подтвердил. Все. SK. Полный конец связи.

«Тройка» означала запасную посадочную площадку почти в тридцати километрах от того места, куда мы могли выйти по всем мыслимым и немыслимым планам. Понятно, что Игорь не сразу поверил... Ладно, как-нибудь разберемся потом, а теперь надо сидеть, как мышка в норе и не высовываться. А потом бежать, как заяц, к вертолету и улепетывать, как воробей от коршуна. Короче, зоопарк, а не жизнь...

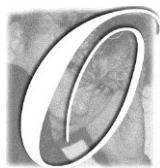
Пилот по кличке «Вася» махал рукой из дверей «вертушки» - быстрее, быстрее... Но нас не надо было подгонять, мы и так неслись на всех парах. Славка ковылял, едва переставляя ноги, впереди с тремя рюкзаками и оружием, за ним Колька с Толяном волокли меня, мои ботинки царапали камни, изредка высекая искры, когда стучались стальными подковками... Нам, правда, казалось, что мы бежали, но по морде пилота Васи чувствовалось, как он нервничает, видя нашу крейсерскую скорость....

Небо еще не донца потемнело, когда вертолет оторвался от скалы, громыхая всеми своими деталями вплоть до заклепок. Любопытный пилот Вася вышел, как обычно, поболтать о рейде. Но разговаривать было не с кем. Мы спали и даже во сне видели, что летим домой.

Домой... Господи, неужели у нас есть дом?



## Александр Бабушкин Невидимка



т избы до погоста и рукой подавать не надо. Вон на пригорке. За огородами. Всегда на глазах, как на горизонт смотришь. А значит и в голове спокойно. Так есть. Всегда. Как снег зимой и трава летом. Одно приходит. Другое уступает. Срок вышел, значит. У соседских из девяти трое лишь поднялись. Шесть рядком лежат. Отсель видать. Трое бегают. Слышно далеко. А у нас теленок вот. Да у коровы молока не стало – и зарезали. Лишний рот. Теленок сам и помер. С чего жить-то. А картошка не удалась (мелкая как ягода), и в зиму чуть зубы на полку не положили всей деревней. И так все вокруг прибывает и убывает. На глазах. Не спрячешь. Просто и обыденно. Как рождение и смерть – ни близко, ни далеко. Всюду. Порядок. Как положено.

А как в город перебрались – и встало все с ног на голову. Дверей больше, чем людей. А люди все чужие. Что откуда берется – загадка. Деньги всё. А за что дают – тайна. Все куда-то бегут, на часы смотрят. А время не идет. Стоит большое. Безвременье. Была соседка-старушка. А уже и нет. Третьего дня как. И то чудо, что сказали. Походя на лестнице. Отошла. Вот и свезли куда-то. Детям банку дали. Пепел. Они и не знают, что с ней делать. Так и сами уйдем – никто не заметит. Как в яму кромешную. И ладно бы пропадем. Не от того сердце болит. А что украдкой. Как нечисть какая. А от мира этого и не увидит. Вон он какой большой, мир-то городской. И не заметит.

### Мишка

Олимпиада-80 запомнилась бумажным стаканчиком из-под «Пепси-колы». Диво было невероятное. Ее мне купили у стадиона им. Кирова в Ленинграде. Мы ходили на матч Венесуэла–Замбия. Это я сейчас посмотрел, кто играл. А в памяти остался матч двух африканских команд. Да... Венесуэла — не Африка. Тот стаканчик с надписью «Пепси-кола» еще долгие годы стоял на кухонном серванте как символ космически далекого мира за границы.

Олимпиада запомнилась похоронами Высоцкого. Правда, это воспоминание добавленное. Добавленное последующими годами знаний... Москвичи помнят вживую.

Запомнилась она бойкотом из-за ввода наших войск в Афганистан. Что такое Афганистан, мы поняли позже. Каждый по-своему.

И конечно закрытием. Слеза олимпийского Мишки на всю жизнь. И то, как он улетел... А вместе с ним эпоха. И песня эта прощальная комом в горле до сих пор стоит.

Была ли тогда гордость за страну? Конечно. В той бедной жизни, где информация из-за бугра уже не просачивалась, а проливалась, за всякое подтверждение могущества страны, в которой все мало-мальски значимое было в дефиците, конечно же, цеплялись. А цепляться, с каждой новой звездой героя на груди выпадающего в маразм Брежнева, было все сложнее. Но гордость оставалась. Она продержалась до 1982-го. Когда Брежнев умер. Первый курс универа. Ноябрь. Ошеломление. Хотя все ясно было давно, и только ленивый его шамкающие губы не обстебал. И этот гроб его, скользнувший с ленты на похоронах. И Андропов тоже скоропостижный... Рейды по кинотеатрам в дневное время — ловили тех, кто не на работе. «Андроповка» с зеленой этикеткой и переход с 3.62 на 4.12 — для моего поколения (рожденных в начале 60-х) эпохальное. Как было эпохальным для наших неокрепших мозгов сообщение о фантастических планах Бжезинского — это препод по истории набрался смелости и рассказал нам шепотом на семинаре, что, согласно наметкам Збигнева, СССР рухнет в 2000 году. Как-то не верилось. Но мои студенческие мозги были заняты другим. Вовсю резвились фарцовщики и мажоры. Девчонки на дискотеках кружили голову. Молодость искала любви и приключений на свою бедную задницу. И того и другого было в избытке. Денег не было. Ну да разве это когда-либо мешало молодым?! Все мы были еще относительно равны. И дети рабочих и ИТР, и дети не шибко улетевшей мелкой и средней партноменклатуры.

Но тут понеслось. Конец 80-х уже пугал. Даже тех, кто мало в чем разбирался. Скоро разобрались все...

За 90-е тире нулевые единственным мало-мальски заметным спортивным международным событием в стране запомнились Игры доброй воли 1994-го. Чудовищная жара в Питере. Офис издательства на Фонтанке (в которое я сбежал от преподавательской безнадеги из нищего института) ходил скорее на дорогой бордель. Мраморные полы, своды, шкуры на стенах и братва. Как раз в разгар Игр кого-то из боссов нашей крыши расстреляли с охраной во дворе перед офисом. Нас, редакционных ботаников, братва на день отправила гулять. До выяснения, кто заказал и тэдэ... Мы двинулись к Инженерному

замку, где весь день пили теплую водку и обсуждали зашифрованные и на фиг никому не нужные Игры доброй воли. Какие, в жопу, игры? Город жил одними разборками братвы. Это и были наши Игры. На выживание. Для всей страны.

Между Олимпиадой в Сочи и Играми доброй воли двадцать лет. А между двумя нашими Олимпиадами тридцать четыре. Это мои годы. Они должны были быть лучшими. Для отличника и хорошиста в школе. Для выпускника универа с лучшим дипломом на факультете. Они стали годами безнадёги, растерянности и ошеломительного запоя на три десятилетия. Годами потерянных навсегда школьных и студенческих друзей. Переосмыслением всего и вся. И все эти годы, где слово «благополучие» было засунуто в задницу, я мучительно хотел одного — возвращения своей страны. Я это понял, глядя в экран телевизора на торжественное открытие Олимпиады. Понял, гася во френдленте фэйсбука накатывающий волна за волной шквал помоев на страну. Мою страну. Я всё вспомнил. Вспомнил всё, что любил вопреки. Чем гордился вопреки. Гордился все свои детские и юношеские годы. И что у меня тридцать лет отнимали. Отнимали, но не отняли. И теперь не отнимут никогда.

Тогда, в 80-м, в пору бесчисленного количества анекдотов ленинградцы беззлобно шутили: «Пережили Блокаду, переживем и Олимпиаду». Я эту шутку запомнил навсегда. И слезы нашего олимпийского Мишки. Он ведь всё знал. Он плакал по той стране, которой скоро не будет. По людям, которых сметут четверть века безвременья.

У Сочи свои талисманы. Меня, старого и лысого, воротит и от этого убищного леопарда, и от этого дебильного зайки. И только Мишка напоминает мне того — нашего. Когда у тебя всё отняли, остается только память. И эта память становится последним смыслом жизни. И вроде и не было жизни-то. Пропала. Затерялась в мутных годах. И не нужна совсем стала. А Мишка — вот он. Выжил. Значит, выжила и моя страна. Обгрызенная и обворованная вечно «переживающим» за нас Западом. Выжила назло. Как всегда, впрочем. И как всегда — вопреки. И всё у нее теперь будет. Хорошо? Это уже не важно. Просто будет. Свое. И это главное. Для меня.

Уронили мишку на пол,  
Оторвали мишке лапу.  
Все равно его не брошу —  
Потому что он хороший.

## **Я ДАВНО НИКУДА НЕ ИДУ**

Я давно никуда не иду. Не выхожу из дома. Не прихожу домой.

Это страшно. Для человека, который всю жизнь по утрам привычно дом покидал. Малышом его уносили в ясли, везли на санках в сад, провожали до школы в первый класс. Потом шел сам. В школу, институт, на первую работу, на последующие места работы. Уходил из дома. Чтоб в дом вернуться. В этом очень много сакрального.

Я не ухожу. Мне некуда возвращаться.

И поначалу это паника. Особенно когда по утрам смотришь в окно кухни, как торопятся на работу... И мгновенное острейшее чувство ненужности. И 200 залпом. И еще и еще. И себя, любимого, жалко. И эта охватывающая ненависть ко всем, кто так или иначе... И конечно, все они идиоты, бездари, суки и приспособленцы. А ты, стойкий и несгибаемый, со светлой (это само собой) головой — и за бортом. И мир пусть пропадет. И небо пусть почернеет. И вот в очередной раз везет тебя, мудака, скорая. И очередная сестра в реанимации вяло кроет матом и желает тебе поскорее сдохнуть.

А потом ломается стержень во всей событийной конструкции. Пропадают начала и концы. Начисто. А вместе с тем и привычная формально-логическая цепочка целеполаганий вдребезги. Важная штука, между прочим, — причинно-следственные связи к черту. Дальше уже линейно. Круг проблем шире — круг близких уже. Эта сжавшаяся окружность — последняя черта. И чтоб не стала она овалом над ямой, ты бежишь от себя любимого к себе неизвестному. О существовании которого ты не и подозревал.

О том, что не ты живешь жизнью, а жизнь живет тобой, задумываешься лишь тогда, когда из жизни выброшен. Понять, что это была не жизнь, — трудно. Срабатывают рефлексы: догнать, схватиться за поручень, запрыгнуть в уходящий вагон. Это понятно. Это привычно. Это стереотип: step by step, лестница вверх, по спирали, количество переходит в качество... А то, что количество это даже в качество гроба не обязательно перейдет, именно вдруг и понимаешь. И вот тогда, когда понимаешь, — и становишься чужим. Человек, который не уходит и не приходит, — неизбежно чужой всем уходящим и приходящим. И время не вперед. Время давно стоит. Даже не так — ход времени перестает что-либо значить и определять. Время просто есть вообще.

Мне давно все равно — день или ночь. Все равно, потому что для человека, который никуда не уходит и не возвращается, не

имеет значения рано или поздно. Зато появилось новое. Всегда. И это мой новый дом. И то ли я его обживаю, то ли он меня.

И как мы нашли друг друга? Жаль, что так поздно.

### КЛАДБИЩЕ

— Ну здравствуйте! Вот я до вас и доплелся. Все здесь. Как один. Могилка к могилке. Крестик к крестику. А оградка одна. На всех. Как и жизнь одна. На всех. Даты только разные. Но с годами, с долгими этими годами, — все ближе. Уже и сейчас почти слились. Как же вас всех... Вроде и поодиночке каждого. А вышло очередью. Наповал. Всех ведь наповал. Я вот выпить нам принес. Много принес. Очень. Как тогда. Я разного нам принес. И шила, и водки из ларька, и конины, и портвейна того нашел, и квадрат, и пива в трехлитровой банке... Всего. А закуски мало. Тоже как тогда. Что градус-то красть. Так-то я и не пью. Почти. Давно. В завязке. Но с вами, как без этого? Это и не встреча будет. Вы не говорите ничего. Наливайте. Я за вас все скажу. Я все скажу. Всё, всё. Наливайте. Я всегда тогда говорил. Я ведь один и говорил тогда. Без умолку. Говорил и говорил. Это сейчас я молчу. Уже 15 лет. Молчу. И с каждым годом все глуше. А помните?..

И старая шарманка несет по 70-м, 80-м, 90-м. Несет и обрывается. Она всегда обрывается в конце 90-х. И я долго еще ползаю один. Пьяный в жопу. Обнимаю ваши холмики. Пою в обнимку с крестами. Кричу что-то. Дерусь. Доказываю.

— Ты пришла за мной. Зачем ты опять пришла?

Она всегда знает, где меня искать. Всегда. Она привычно вытирает платком мою опухшую от бухла и слез морду, отрывает от крестов, от оградки и укладывает на диван.

— Отдай телефон. Отдай. Зачем ты опять звонил? Ну зачем? Не будут они отвечать. Не хотят они с тобой говорить. Забудь. Развела вас жизнь. Навсегда. Спи... Вот же беда-то. Вот беда.

### ДИМКА

Его убили в январе 96-го. Все тело было словно решето от ножевых. Вообще без живого места. Фарш. Убили и ее. Порвали на куски. А они ждали ребенка...

Это были свои. Попасть к нему домой можно было только по звонку... Дверь бронебойная. Замки запредельные... Квартира была нафарширована оружием. Он его любил всегда. Знал в нем толк. Знал он толк и в рукопашном бое. Вообще был похож на боевую машину. Значит, он сам открыл. Открыл своим. Получается, ждал. То, как его завалили, говорит лишь об одном — пришли еще более крутые. Дальше — все вверх дном. Видать,

бился как волк. За себя. За жену. За все на свете. Бился с такими же волками.

Они не взяли ничего, кроме оружия. Те деньги и драгоценности, что были у него, им оказались неинтересны.

Тут все было крупнее... Его наказали.

За пару месяцев до гибели он заехал вечером за мной в издательство. Удивил. В последние годы мы очень редко встречались. Студенческая дружба умирала. Он давно был в темах. Я перебивался. Но что-то между нами оставалось, и где-то раз в год он залетал ко мне, мы брали пузырь... и сидели до утра — вспоминали... А потом как обрезало. Он нырял в свое, я уползал в свое.

Разные миры. Когда-то мы вместе учились в универе, зажигали на Васьеке: мажоры, проститутки, Прибалтийская... Я постепенно впадал в постперестроечный интеллигентский ступор и нищенствовал. А он сразу ушел в серьезные завязки. Но какую-то психологическую черту перейти, видимо, не был готов... И это его отличало и от природных бойцов, и от людей очень конкретных. Но — рос. Как раз тогда, за пару месяцев до гибели, он заехал на новенькой Audi-80 (сам пригнал из Бундеса), очень долго выбирал мне водку и, когда остановился на Smirnoff, я как-то все сразу понял... Не по чину мне это было... По спине тогда даже не холод пробежал, а разряд тока...

Вместо воспоминаний он сразу предложил реально подняться. Он шел на скачок — сразу всё хотел взять. Я в его раскладах должен был сыграть роль ботаника-бухгалтера-посыльного. Пара визитов с деньгами в кейсе за партию..., а третьего уже быть не планировалось... Он кидал, не желая светиться... Мне было предложено много. Для меня много...

Меня спасли две вещи: быстрых два стакана и мгновенная легенда-отмазка: в кармане лежал загранпаспорт с многократной немецкой визой. Плюс я только что вернулся из Кельна с гигантской международной выставки, проехав пол-Германии на вэне, да еще задержавшись на пять дней в Гамбурге у шефа.

Я врал ему, что на днях улетаю и так подробно расписывал свой предстоящий немецкий маршрут, как это может делать человек, этот маршрут (волею судеб) уже прошедший.

Паспорт был с удивлением просмотрен... Водка допита. Расставание быстрое. Через два месяца раздался звонок с известием о его страшной смерти. Он все-таки решился. И его вычислили.

Семнадцать лет назад... мы должны были или лежать вместе... или... Или только я.



Откуда он мог знать тогда, в конце 95-го, что за четыре года до этого со мной хотел повернуть такую же тему... мой школьный друг. Тогда меня тоже спасло какое-то шестое чувство...

Я был у него на Северном кладбище только два раза за все эти годы: в день похорон и на следующий год. Больше ноги не идут... Но я постоянно хочу прийти... Прийти и спросить его... Не знаю... о чем... Хочу... Все эти годы. И не иду.

### **ЗОЛОТАЯ ПОРА**

И как-то незаметно подступила Золотая пора. Недоступное опять обернулось недоступным. Как тому и положено быть: власть — от Бога, сила сильным, деньги к деньгам, за правдой к кривде и тэдэ. Боле про то глотки вменяемые люди не рвали, а тихо глотки те использовали по прямому назначению. Пили, в общем. Блаженных вот стало больше. Только они строем ходили уже не на БАМ, а в мегамолы, где предавались... Но и не о них. А о поре Золотой. Язык эзопов вновь в почет вошел. Рюкзаки с гитарами нарасхват. Золотопорцы дошли до того, что оккупировали шпиенские общественные сети и вместо порно-ретвитов ударились в высокий штиль, чем заразили и вовсе было пропащее население окончательно свободных забугорцев. Всяк мыслящий норовил первой всех воскликнуть: «Шалом, православные!» А всяк думающий радостно вопил в ответ: «Аллах акбар, славяне!» Если слышалось: «Хари-катха, братия и сестры!» — все радостно оборачивались и протягивали для чоканья граненые стаканы. Деньги были не в почете. А вот за хорошую книгу могли и дров напилить, и трояна изничтожить. Женские лица светились счастьем. Еще бы. Несчастливая любовь вновь соперничала с удачной партией на равных и все чаще брала верх. Дамы стали романтичней, выстраиваясь, как и встарь, в длинные очереди за спившимися тиллихентами. Уходя от просветленных — не бросали на погибель, а передавали лучшим подругам как драгоценность. Власти обещали вернуть выпрезвители и черные субботы. Деловые были оперативней — черные кассы завертелись раньше. В общем, и не верилось ведь уже. А эвона как вышло. Всё на круги. И всё к лучшему. Слава тебе, господи!

### **THE END**

Не. Умирать надо с похмелья. Настоящего. Когда токсикоз недельный. И 200 залпом дает не облегчение, а разве что гарантию обморока-сна на пару-тройку часов. Чтоб очнувшись от забытья-бреда в поту и ужасе, плестись, шатаясь, на кухню и снова

200, и, через сигарету, снова 200, и снова... И не дай бог выпить нечего. Тогда винты и с катушек...

Или от страшного беспросветного безденежья. Такого, что и из дома-то не выйдешь — должен даже уличным фонарям. И на телефон смотреть больно: каждый номер — унижение и отказ. А ты профессионал, каких поискать. Ты гордый. Но на хер никому не нужен, потому что время молодых. Вообще других время.

И конечно, от более диких. Когда день за днем, месяц за месяцем током в мозг. И уже весь мир — один пульсирующий воспаленный нерв. Вот тогда. Так, чтоб разом. И нет ее, боли. Вместе с большой жизнью этой, которая и не жизнь, а ад.

От любви? Тут без вопросов. Только трагической. Когда словно свет вырубил. А в голове сбой всех программ, кроме одной — все к черту и бежать к ней. А бежать некуда. Некуда бежать-то. Разбито всё. Без шансов. И ты врубаешь в ванне душ и воешь. И наваливается ужас. Космический ужас. Вот тогда. На вздохе глубококом. Раз — резко в сердце. Всё.

А еще...

— Чай-то твой давно остыл. Вот скажи: зачем было просить свежий заваривать и смываться с кухни на полчаса? Что там у тебя — горит?

— Да сам не пойму. Прилетело вдруг...

— Вижу, что не пришло... Покажешь?

— Да рано еще. Хотя... Хотя концовка понятна: жили они долго и счастливо и умерли в один день.

— Ну если так, я подожду.



# Борис Геллер Два рассказа

## Альмина в стране чудес

*"Ко всему нижеследующему стоит отнестись с долей сарказма – если не с полным недоверием".*  
Иосиф Бродский. Путешествие в Стамбул. 1985.



кна гостиницы "Альмина" выходили на Босфор. Но, конечно, начать надо не с этого. Отель "Альмина" не значился в большинстве путеводителей по Стамбулу, и если вам не было доподлинно известно, что он вообще существует и где находится, то вряд ли бы вы наткнулись на него, бродя по городу. В этом была его ценность для всех, кто по разным причинам не хотел привлекать к себе внимание, а дополнительная прелесть заведения состояла в том, что его окна, как я уже сказал, смотрели на Босфор.

Пролив в этом месте очень широк, и, собственно, трудно указать на границу между ним и Мраморным морем. Да это и не важно. Зато в хорошую погоду можно было, стоя на плоской крыше гостиницы, наблюдать стаи дельфинов, выпрыгивающих из воды, словно в попытке разглядеть, что там за странная жизнь на этих когда-то пустынных, а теперь сплошь покрытых минаретами берегах.

Я не оговорился, употребляя по отношению к отелю прошедшее время. Год назад "Альмину" снесли (в планах было построить на ее месте супермаркет с подземной стоянкой), но при рытье котлована обнаружили какое-то древнее захоронение, и работы заморозили. Для любителей мистики, теории конспираций и просто лингвистов добавлю, что меня этот факт не удивил, а скорее позабавил, ибо на языке иврит "Бэйт альмин" означает кладбище. Само же слово "альмин" происходит от арамейского "альма", что переводится как "мир" или "миры", в том числе и потусторонние.

Человек, который вошел в маленький холл отеля мартовским вечером 2004 года принадлежал, видимо, к категории нелюдимых. Принявшись описывать его внешность, мы попали бы в весьма затруднительное положение, ибо наружности он был

самой, что ни на есть неприметной. Среднего роста, худощав. Возраст - от 40 до 50. Волосы короткие, с легкой проседью. На нем был зеленовато-серый плащ. Плечо оттягивала дорожная сумка. Оглядевшись, он назвал заспанному портье свое имя, на которое, как оказалось, была зарезервирована комната. По-английски он изъяснялся с большим трудом. Заметим, что этим в Турции трудно кого-либо удивить. Оставив служащему паспорт и получив ключ, наш герой поднялся по крутой лестнице на четвертый, последний, этаж и открыл дверь 406-го номера. Больше его никто никогда не видел.

Согласно англоязычной "Istanbul Times" полицию вызвал хозяин отеля, узнав от горничной, что приезжий в течение двух дней не спускается к завтраку и его комната закрыта изнутри. Прибывший в гостиницу наряд лишь подергал дверь, но ломать ее не стал, а почему-то сразу связался с 25-м, антитеррористическим, отделом жандармерии. Примерно через полчаса, группа одетых в черные комбинезоны крепких мужчин легко выдавила дверь из рамы при помощи пневматической струбины. Зачистка маленького номера длилась меньше минуты, после чего эстафета была передана следователям. Паспорт исчезнувшего, оставленный у портье, оказался украинским, на первый взгляд подлинным, на имя Василя Шепитько, 1964 года рождения. Никаких пограничных штампов, кроме выездного украинского и въездного, турецкого, паспорт не содержал, равно как и отметок о выданных в прошлом визах. Другими деталями газета не располагала. Вечером того же дня судья Нелли Кибар наложила запрет на распространение любой информации о данном деле.

\* \* \*

Ведущие криминалисты собираются на совещание раз в два года в одной из европейских стран. Этот клуб избранных скромно называется Рабочей Группой и включает в себя человек двадцать экспертов, часть из которых поддерживают между собой постоянные и довольно близкие отношения. В 2005 году Группа встретилась в Стамбуле. Гордые оказанной им честью, турки все организовали наилучшим образом, и были воплощением любезности и гостеприимства.

Заключительный обед, официальный и скучный, как и все подобные мероприятия, окончился рано, - на часах не было еще и семи. Народ разошелся "по интересам". Я спросил Исмаила Сулака, симпатичного худенького парня из оргкомитета, где можно попробовать местное пиво. Исмаил был сыном дипломата, ребенком пять лет прожил в Ленинграде и говорил по-русски почти без ошибок. Он знал нужное место, расположенное вдали от

туристских троп, и вскоре мы уже сидели в эффектно декорированном зале ресторанчика "Зарифи".

После примерно часа дегустации я коснулся дела Шепитько, и коллега посвятил меня в суть истории. К тому, что нам с вами уже известно, многого он не добавил, но все же кое-какие интересные подробности появились. Будь в ресторане "Зарифи" мода записывать на пленку разговоры клиентов, интересующая нас часть беседы звучала бы так:

- Ну, и сколько на сегодня осталось рабочих версий?

- Две. Первая – наркотики, вторая – террор. По первой версии он курьер, которому не повезло, или просто решил слизать с товаром.

- Слизать, а не слизать.

- Ну да, слизать. По второй он есть выписанный с Украины специалист.

- Специалист? Что, известно, чем он занимался у себя на родине? Запрашивали украинское посольство?

- Естественно. Но результаты как тебе..., то есть - так себе... Мы хотели получить от них как можно больше информации о Шепитько, но они ограничились формальным ответом. Уголовного прошлого Шепитько не имеет. Он уволенный с флота офицер, но не моряк, а что-то там связанное с противосамолетной обороной.

- О-п-п-а, вот это интересно, пахнет Кенией и ракетами "Стрела".

- Что это значит "пахнет Кенией"?

- В ноябре 2002 года Эль-Кайда пыталась ракетой "Стрела" сбить в Кении, в районе аэропорта Мамбасы, израильской пассажирский самолет.

- Это наводит на мысли...

- Правильнее сказать – наводит на размышления. А что дал допрос портье?

- Я мало что знаю, ведь дело у нас забрал "МИТ"<sup>1</sup>, а они информацией не выделяют, то есть не делятся. Да и старик многого не помнит. Говорят, что сумка у Шепитько была большая и, видимо, тяжелая, с биркой авиакомпании "Туркиш".

- Эмблема "Туркиш" похожа на символ "Люфтганзы", да и вообще бирку любую нацепить не проблема. Из Борисполя в Стамбул можно прилететь более чем десятком рейсов с пересадкой в Европе.

- Ты прав, но я лишь пересказываю, что знаю.

---

<sup>1</sup> МИТ – Milli Istihbarat Teskilati, турецкая служба безопасности.

- В котором часу Шепитько пришел в отель? В девять?

- Да, около девяти.

- А когда прибывает из Киева рейс "Туркиш"?

- Днем. В час сорок пять.

- Значит, он не сразу из аэропорта поехал в гостиницу. У него было по крайней мере пять часов свободного времени. Кстати, что это за листики ты жуешь?

- Да это так, что-то вроде йеменского "гата". Формально наркотиком у нас не считается, но помогает расслабиться, развивает фантазию, как это... расширяет кругозор, да? Попробуешь?

- Давай, только немного. А то без привычки да с алкоголем... Скажи, а комнату его обыскали хорошо? Нашли что-нибудь?

- Существенного – ничего. Два грязных исполь-3-о-в-а-н-н-ы-х господа, что за язык у вас, бумажных носовых платка в мусорном ведре.

- И это ты называешь "ничего существенного"? Это же ДНК в чистом виде!

- Верно. Но ты забываешь, что у нас нет банка ДНК, а уж на Украине и подавно. Бедность – не порок, так, кажется, вы любите говорить, но работу осложняет. Да, вот еще, чуть не забыл, - окно в номере было плотно прикрыто, но не закрыто на задвижку.

- В каком состоянии была кровать? Он ложился?

- Лежал он поверх покрывала.

- Может время его поджимало...

\* \* \*

У меня, в отличие от исчезнувшего Шепитько, времени было навалом. Я улетал в Тель-Авив лишь через день, в воскресенье, утренним десятичасовым рейсом. Поэтому назавтра, заплатив по счету в роскошном "Стартоне", я взял такси и переехал в несравненно более дешевую "Альмину". Была здесь, помимо экономии государственных денег, и другая идея, нетрудно догадаться какая.

За стойкой портье сидела девушка лет двадцати, свободно говорившая по-английски. Ну, я рассказал ей простенькую басню о том, что уже был, дескать, в этой гостинице много лет назад, в номере на последнем этаже, кажется в 405-м или 406-м, точно не упомяну... Она заметила с улыбкой, что у меня замечательная память, что номер был 406-й, раз на последнем этаже, - он там единственный. Перекинулись парой ничего не значащих шуток.

- Да, я обязана вас предупредить, - сказала девушка, записывая мое имя в регистрационную книгу - что у нас несколько

шумно. Вы, вероятно, обратили внимание, что рядом строят дом. Нас эта стройка вконец замучила, уже два года работают, все никак не закончат. Сейчас хоть кранов нет, а то я все боялась, что они на нас упадут.

Я оставил ей свой паспорт и получил взамен увесистый ключ с большой биркой "№ 406". По лестнице я поднимался специально медленно, входил в роль. Осмотрел площадку четвертого этажа, оставил лаз на чердак на потом и повернул ключ в замке...

Итак, вот Шепитько вошел, зажег свет, захлопнул за собой дверь, закрыл ее изнутри, поставил на пол сумку, снял плащ, протиснулся в крохотную ванную, воспользовался туалетом, умылся, возможно – попил воды из крана, вернулся в комнату, сел на подоконник, раздвинул плотную штору и открыл окно... Тогда был месяц март, в Стамбуле в это время очень холодно, так что, скорее всего, окно он открытым долго не держал.

Что, собственно, я надеюсь найти? Прошел год, да и в комнате явные следы косметического ремонта. Это логично. Турки - не идиоты, отпечатки пальцев смотрели тщательно, а после таких поисков стены надо перекрашивать. И тайник они наверняка искали. Его, скорее всего, просто не было. Дверь новая и сплошная, из цельного дерева. Ковер сто раз пылесосили и окна мыли. Что могло остаться нетронутым? Электрические розетки – раз, ну, полые стержни для вешалок в стенном шкафу – два, тяжелые занавески на окне – три. Надо будет для очистки совести открутить заслонки розеток, пока светло. Но, между нами, все это ерунда, игра в шпионов. Не ясно главное: почему Шепитько не оставил отель обычным образом? Мог же он выйти через дверь и не вернуться... Видимо, он не планировал уходить. Его заставили? Похитили? Кому он нужен... да и как выкрадешь... Четвертый этаж. Кстати, что там под окном? Ну-ка, посмотрим... Ага, крыша третьего этажа. Я открыл ставни, перелез через подоконник и осторожно спустил ноги на черепицу. Да, вид – дух захватывает! Босфор, простор... До берега метров сто, не больше. Кораблики, моторки снуют... Секундочку, снуют, да не все... Я перемахнул обратно в комнату, метнулся к своей дорожной сумке и вытащил из нее завернутый в майку портативный бинокль. Затем на карачках пролез в ванную, встал ногами на унитаз и через маленькое окошко начал оптикой осматривать залив. Вот он! Чуть правее меня дрейфовал средних размеров катер. Облокотившись на низкую рубку, человек в синей куртке смотрел в мощную подзорную трубу прямо на мой номер.

Ничего себе оперативность! Я взглянул на часы. Прошло меньше часа с момента моего разговора с девушкой. Выходит, дело у турков не закрыто и ей велено звонить, куда следует всякий раз, когда кто-то хочет поселиться в 406-м. Это значит, что в холле уже сидит с путеводителем в руках туристка неприметной внешности, а у подъезда обязательно окажется свободное такси, с водителем, понимающим по-английски. Чтобы окончательно убедиться в том, что я вляпался в дерьмо, оставалось лишь позвонить вниз и заказать такси. Вежливое "такси, по случаю, у подъезда, сэр..." поставило точку над "и".

Я сел, почему-то на ковер, рядом с креслом и уставился на входную дверь. В голове вертелась глупая фраза: "Из России – с любовью". Ах, ну да, это же название то ли фильма, то ли романа про Джеймса Бонда, и, кажется, дело там происходит в Стамбуле. Шпионские страсти поневоле. Этого только мне не хватало! На коленях я дополз до сумки, пошарил в ней и нашел карманную фляжку с коньяком. Много там не оказалось, к сожалению, но как-то я все же успокоился.

О'кей, что может случиться в этой ситуации самого плохого? Они меня задержат для допроса ипустят, как только им позвонят из посольства. Но, скорее всего, до этого не дойдет. Попасут – это уж как пить дать, одного не оставят до самого отлета. Небось, решили что я из Моссада. А может, кстати, Моссад этого самого Шепитьку и оприходовал, а? Допустим, кто-то украинского спеца выписал, чтобы завалить израильский самолет над аэропортом, или еще там..., а тут его и цап-царап, через окошко... Ладно, черт с ним, но мне-то что теперь делать? Сидеть полтора дня в гостинице? Позвонить в посольство? Побеспокоить Исмаила? Рассказать всем, какой я идиот? Нет уж, придется терпеть и делать вид, что ничего не происходит. Дебил, шпион хренов...

Не знаю, сколько я так просидел, но раздражение постепенно улеглось, и я вдруг ощутил волчий голод. Видать, много энергии израсходовал пока психовал. Часы показывали половину второго. Я поднялся с пола и выглянул в окно. "Моего" катера не было. Задернув шторы, я принял душ, переоделся, рассовал по карманам пиджака документы, сигареты и деньги, взял в руки путеводитель по городу и ключ и спустился в вестибюль. Девушку за конторкой сменил пожилой усатый мужчина, а на диване, напротив входной двери углубилась в журнал дама средних лет, в блеклого цвета юбке и серой куртке. Проходя мимо, я бросил взгляд на ее обувь, - спортивного типа туфли без каблучков - и холщевую емкую коричневатую сумку.



Она же на меня даже не посмотрела. Такси у подъезда не оказалось, но когда я свернул в соседний с отелем переулок мимо меня медленно проехал вперед белый "Фиат Марей" с двумя молодыми людьми в темных очках. Я сверился с картой, развернулся и направился в сторону моста Галата.

\* \* \*

У мостов, особенно высоких, хорошо проверяться, следят за тобой или нет. Поднимаясь, всегда можно остановиться, чтобы осмотреть окрестности, отдышаться, завязать шнурок, закурить – да мало ли причин у человека задержаться при подъеме на мост. Собственно, проверка мне была не нужна. Если слежка организована примитивно, то через час я встречу в городе даму из гостиницы, и хотя куртка на ней будет иного цвета и фасона, чем та, что я приметил, но юбка, туфли и сумка, скорее всего, останутся те же – их так быстро в подъезде не переменяешь. Если же мне на хвост посадили профессиональную "наружку", то ни обнаружить их, ни тем более оторваться в чужом городе шансов нет. Да и к чему отрываться?

Минут через двадцать быстрой ходьбы я замедлил шаги у закусочной "Турецкий кебаб". Внутри было чисто и немногочленно. Устроившись в глубине зала, лицом ко входу, я заказал мясо и пиво, и закурил. На стенах ресторанчика висели фотографии богов местного значения - баскетболистов турецкого клуба "Эфес Пилзень". У парня, чей снимок находился прямо над моим столиком, было симпатичное лицо и смешная для англоязычного уха фамилия Догус. Что-то невнятное вертелось у меня в памяти, но никак не желало воплощаться в мысль. Откуда я знаю это слово, "Догус"? А ведь где-то видел, ей богу-с... Босфор, Мармара, Догус. Ну конечно! Я же знал, что кубик Рубика рано или поздно сложится и все вдруг встанет на свои места, а мой сегодняшний марафон с наружкой на хвосте обретет цель. Поясню: в Стамбуле несколько университетов, в том числе Босфорский и Мармара, но один из них, частный, называется Догус, и известен своей отличной библиотекой. Хорошо бы прямо сегодня ее посетить и пролистать украинские газеты за, скажем, февраль – апрель 2004-го года... Вот сейчас быстренько закушу – и туда.

Хозяин заведения оказался расторопным: не успел я докурить, как на столе появилась еда. Я жадно глотал, но вход держал под контролем. Вошла женщина с мальчиком лет двенадцати. Проехало мимо такси. На противоположной стороне улицы остановилась пара туристов, она читает путеводитель, а он размахивает руками. А вот и наш "Фиат"! Притормозив, как мне

показалось, несколько даже демонстративно, напротив входа, водитель повернул голову в мою сторону. Я поперхнулся пивом и закашлялся. Интересный поворот: ты уверен, что тебя пасут скрытно, а дело-то, похоже, обстоит совсем не так. Открытая слежка – это психологический прессинг, и очень часто он является предвестником более активных действий. Туристы, тем временем, пересекли улицу, вошли в закусочную и заняли ближайший к двери столик. С подошедшим к ним официантом они объяснились по-немецки, заказали чай и сразу же расплатились. И вот тут-то, как говорят в Израиле, у меня "упал асимон"<sup>2</sup>! А с чего, собственно, я решил, что за мной ходит МПТ? Заплатив за заказ сразу, эта пара выдала себя с головой. Так поступают филеры, чтобы сэкономить время на поиски официанта, пока их "объект" покидает ресторан. Для профессионалов промах непростительный, а в МПТ дилетантов не держат. И с чего бы туркам работать под немецких туристов?

Я оставил на столике деньги и вышел на улицу. На противоположной стороне, метрах в ста, виднелась стоянка такси. Не доходя до головного автомобиля, я закурил, чтобы потянуть время и пропустить первые две машины. Сел в третью, и назвал адрес университета Дугус в районе Кадикой. Водитель не стал зря кружить, и мы быстро и мирно доехали до кампуса. На входе меня "прогладили" – зазвонил тяжелый ключ от гостиницы. Я без труда сориентировался в указателях, благо все они были продублированы по-английски, и, неловко хлопнув тяжелой дверью, очутился в читальном зале библиотеки. Несколько человек обернулось на шум, а сидящий за конторкой служащий укоризненно покачал головой и приложил палец к губам. Я направился к нему, стараясь как можно меньше скрипеть тяжелыми ботинками. Библиотекарь выслушал мой вопрос по поводу украинской периодики с профессиональным интересом и застучал клавишами компьютера, пробираясь через дебри многоязыкого каталога. Через пару минут, удовлетворенно

---

<sup>2</sup> Асимон (*ивр.*) – телефонный жетон. Существовал в эпоху до пластиковых телефонных карточек. Связь с абонентом осуществлялась, когда брошенный в прорезь автомата жетон падал на его дно. Отсюда выражение "упал асимон", что означает "до меня, наконец, дошло..."

<sup>2</sup> Один из способов обездвиживания объекта при похищении включает в себя внутримышечную инъекцию нейролептика в смеси со спиртом. Укол вызывает мгновенжетон. Существовал в эпоху до пластиковых телефонных карточек. Связь с абонентом осуществлялась, когда брошенный в прорезь автомата жетон падал на его дно. Отсюда выражение "упал асимон", что означает "до меня, наконец, дошло..."

хмыкнув, он попросил меня подождать, а сам отправился куда-то на галерею читалки. Скоро передо мной лежала толстая стопка подшивок. Вот, все-таки, что значит хороший частный университет! Даже "Украинская Правда" есть. С нее и начнем.

Более часа я просидел впустую, слонявя пальцы и перелистывая страницы, явно сделанные из вторсырья, и сами годные лишь в макулатуру. Складывалось впечатление, что в жизни только и есть, что похождения и интриги Тимошенко, Ющенко и компании. Но вдруг глаза зацепились за заголовок "Недопустимая халатность или умышленное преступление?".

"15 марта 2003 г.

В воинской части ВМС Украины в Крыму пропало пусковое устройство и два пенала с ракетами к переносному зенитно-ракетному комплексу "Стрела 3М". При осмотре хранилища выяснилось..." Так, не интересно, пропускаем. "Несмотря на свою компактность, эти ракеты эффективно поражают вертолёты и самолеты, следующие на малых высотах. Как сообщает управление пресс-службы министерства обороны Украины, для проверки наличия имущества... По данному факту проводится расследование... По имеющимся в редакции сведениям, увольнение грозит как минимум четырем офицерам части: капитанам Лазько, Стрешневу и Лаптеву, и майору Шепитько. На месте события работает комиссия Службы Безопасности Украины".

Мне стало жарко, захотелось пить. Я снял пиджак, переложил в карманы брюк документы и кошелек и на цыпочках вышел из зала. Стрелка "Тувалет" показывала вниз. Туалет оказался чистоты идеальной, дай бог нам в Израиле иметь такие. Я привел себя в порядок и приложился ртом к холодной струе над голубоватой раковиной. В следующий момент моя шея оказалась парализованной чьим-то стальным захватом сзади, ноги широко раздвинуты ударом, а обе руки разведены в стороны. Последнее, что я различил в сверкающем зеркале над раковиной, был шприц, занесенный над моим плечом. Укола я даже не почувствовал<sup>3</sup>.

\* \* \*

Я полулежал в глубоком кресле, откинувшись головой назад. Сознание возвращалось медленно, предметы вокруг меня изменялись в размерах, то теряли, а то вновь приобретали очертания, свет временами становился ярче, и затем тускнел. Тело

---

<sup>3</sup> Один из способов обездвиживания объекта при похищении включает в себя внутримышечную инъекцию нейролептика в смеси со спиртом. Укол вызывает мгновенное обессиливание жертвы вследствие резкого падения кровяного давления.

было тяжелым, мышцы ломило. Со временем восприятие стабилизировалось, и я смог оценить, что нахожусь один в комнате с плотно зашторенными окнами, скорее всего в каком-то офисе. Звуки извне сюда не проникали. По стенам висели невнятные литографии с подписями на турецком языке. Пахло приятно, каким-то освежителем воздуха с сосновым оттенком. Левый рукав моей рубашки оказался закатан. Я стал опускать его и наткнулся на маленькую ранку на вене – след от иглы. Неужели я прошел через наркодопрос? Ранка едва заметная, значит, пользовались тонкой инсулиновой иглой, а, следовательно, вводили что-то чрезвычайно медленно и в малых дозах. Судя по тому, что я ничего не помню, использовали для допроса фазу засыпания. С-с-уки!

Открылась дверь, и быстрой походкой вошли два человека. Один - пожилой, с обильной сединой в коротко стриженных волосах, хорошо, даже с некоторым шиком, одетый в серый костюм-тройку. Второй, видимо телохранитель, в черной рубашке навыпуск, молодой и крепко сбитый, с меланхолическим выражением лица. Охранник пододвинул стул к моему креслу, и его босс опустил на стул не глядя, видимо привык к подобному вниманию. Несколько долгих секунд мы молча смотрели друг на друга. Мой визави чем-то напоминал актера Джигарханяна.

- Ну, как вы себя чувствуете? - спросил он по-английски

- Бывает и лучше, - автоматически ответил я.

- Вы представляете себе, что с вами произошло?

- Меня похитили...

- Ну конечно! Есть у вас предположения о том, кто мы?

- Нет. Но вы не из MIT, и не похожи на араба.

- Правильно. Не буду вам устраивать экзамен на политграмотность, вы и так натерпелись. Мы из "ASALA"<sup>4</sup>. Вы, я вижу, удивлены?

- Честно говоря – да. Что нужно от меня армянской освободительной армии? Я в армянской резне не участвовал. Меня тогда еще на свете не было. И гору Арарат я вам вернуть не смогу...

- Ценю ваше чувство юмора. Надеюсь, что вы сохраните его и в будущем... Хотите коньяка?

- Нет, спасибо. Но скажите, разве ваша организация еще существует? Хотя, конечно... глупый вопрос, раз я здесь по вашей

---

<sup>4</sup> ASALA – Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia. Террористическая организация, активно действовавшая с 1975 по 1997 годы.

воле. Я спрошу по-другому: Армения свободна уже много лет, ваши мечты сбылись, так чего же вы хотите сегодня, за что сражаетесь?

- За что? Да все за то же. Мы собираем Армению по кусочкам, как склеивают любимое разбитое блюдо. И многих частей еще не хватает.

- Вы имеете в виду Карабах, Нахичевань?

- Не только, не только. Всю восточную Турцию и весь западный Азербайджан. Но главное – не территория, а идея, дух.

- Но каким краем я причастен к проблемам духовной реанимации Армении?

- Вы – никаким. Мы к вам лично ничего не имеем.

- Тогда что все это значит?

- Наивны, и никогда не занимались бизнесом, я прав?

- При чем здесь бизнес?

- При том, что каждый делает хорошо что-то одно, и это свое ноу-хау продает на рынке услуг. Какие-то организации наловчились убивать, другие – умеют заминировать самолет, третьи сильны в электронной разведке, ну, и так далее. Мы - похищаем на заказ, а иногда и просто, про запас..., и умеем допрашивать под действием наркотиков. Вот вы, например, много интересного порассказали...

- Что вы мне кололи? Небось "Пентотал"? Действительно, мастера. А не боитесь в моем случае иметь дело с государством Израиль?

- Помилуйте, кого здесь бояться?! Оно что, пошлет Heavu Metal<sup>5</sup> вам на выручку? Или вы возомнили себя героем Энтеббе?

- Вы воевали во Вьетнаме?

- Да, а откуда вы знаете?

- Лексика, она иногда выдает всех нас... Скажите, а Шепитько из "Альмины" тоже вы похитили?

- Оставьте, Шепитько вор и алкоголик, не способный даже продать то, что своровал.

- Но вы хоть знаете, что с ним случилось?

- Меня так забавляют люди... Вас что, ваша судьба не интересует, вам важнее этот тип? Ну, что ж, из уважения к вашему хладнокровию и догадливости я вам скажу, где он. Его брненное тело находится под слоем бетона в фундаменте соседнего с "Альминой" строящегося дома. Но сначала его немного покатали в бетономешалке.

- Господи, какой кошмар! Чем он вам не угодил?

---

<sup>5</sup> Авианосец (воен. сленг) – термин времен войны во Вьетнаме.

- Тем, что был пьян. Поясняю: его купили палестинцы, в качестве инструктора. Мы о нем понятия не имели. Подрядчик, который начал строительный проект рядом с отелем – прогорел. Мы перекупили дело. В Стамбуле недвижимость быстро растет в цене, стоит вкладывать. Хотели закончить дом как можно скорее, крановщики работали по ночам. Этот ваш Шепитько вылез на балкон вероятнее всего, чтобы оставить там на ночь охладиться сумку со спиртным. Крановщик не рассчитал в темноте и задел его поддоном с кирпичами. Ну, сами посудите, не сообщать же в полицию? Кому нужен этот геморрой? Так что закатали беднягу в бетон вместе с сумкой. Окно плотно прикрыли. И все.

- А я-то вообразил...

- А вы поменьше воображайте, и, мой вам совет, не мешайте наркотики со спиртным. Так и до беды недалеко, а вы нам нужны здоровым, пока мы вас не передали нашим покупателям, так сказать с рук на руки.

Сердце у меня заколотилось. Я со всей ясностью осознал, что эта вполне милая беседа имеет конец, и что вторая серия и все за ней последующие могут быть гораздо более болезненными. Надо было хотя бы встать, тем более что физически я более или менее пришел в себя.

- Разрешите я встану?

- Конечно, если только не будете делать глупостей.

Я сделал вид, что хочу вылезти из глубокого кресла, но мне это не удастся. Охранник вопросительно посмотрел на босса, и тот кивнул, мол – помоги. Телохранитель шагнул ко мне и нагнулся, чтобы обхватить. В ту же секунду указательный палец моей правой руки с силой уткнулся в нагрудную впадину на его горле. Парень обмяк и завалился на меня. Этот прием называется "выключение рубильника". Сколько ни качай мышцы, а впадинка, иногда лишь прикрытая узлом галстук, остается первобытно незащищенной.

- Да уберите же его, - закричал я – он меня задушит!

"Джигарханян" не успел сообразить, что произошло. Он бросился к нам, схватил охранника за рукав пиджака и тут же поплатился за поспешность. Читатель, запомни: никого и никогда не хватай "за грудки" и вообще за одежду, ибо тем самым ты фиксируешь свои пальцы и отдаешь их во владение противнику. Я обхватил его ладонь своей и с силой согнул внутрь большой палец его руки. Вообще-то люди реагируют на боль по-разному, но одно проявление болевого шока одинаково для всех, - расширенные зрачки. Его зрачки превратились в то самое блюдце, которое он так любовно клеивал. Я заставил его опуститься на колени возле

кресла и рывком выбрался из-под телохранителя, спихнув его ногой на пол.

Босс стоял в нелепой позе на карачках, с вывернутой назад и вверх правой рукой, которую я крепко держал. Мне не хотелось его убивать, поверьте. Калечить людей вообще не так просто. Но и медлить было нельзя. Я с силой ударил его стопой ноги сверху вниз по ахиллесову сухожилию. Оно хрустнуло, как ветка в лесу. От шока мой клиент потерял сознание и повалился на пол лицом вниз. Я обыскал тела. К счастью у обоих оказались пистолеты "Штайер", так что я взял лишь один из них, и оба магазина от второго. Скачком я оказался у завешенного шторой окна. Ранний вечер, низкий второй этаж, вид во двор, на почти пустую автостоянку. Из подъезда вышел мужчина в красной куртке, торопливо шаря по карманам, быстро подошел к голубому "Пассату", открыл дверцу, бросил внутрь портфель, и уже сел было в машину, но вдруг повернул обратно к офису, оставив автомобиль не запертым. Надо было решаться. Двойная алюминиевая рама отодвинулась неожиданно легко, и вот я уже сижу на подоконнике. В кино и романах в таких ситуациях всегда подворачивается внизу грузовик с брезентовым кузовом, или, на худой конец, телега с сеном, но в моем случае под окном был голый асфальт. Я сунул пистолет за рубашку и оттолкнулся от подоконника. При прыжке с относительно малой высоты главное - это хорошая обувь, и моя "Саламандра" тому доказательство. Боли в спине и коленях появятся значительно позже, когда я уже уйду на преподавательскую работу.

Спасибо производителям фольксвагенов "Пассат" - это одна из немногих машин, в которых не тесно сзади, и я относительно легко пристроил свои сто килограммов за спинкой водительского кресла. Заводить машины без ключей я категорически не умею, так что оставалось ждать... неизвестно чего. Я пошарил правой рукой под обоими передними сидениями и наткнулся на что-то шуршащее. Ну, правильно, - пластиковый пакет и довольно большой. В этот момент со стороны плохо прикрытой водительской двери послышались быстрые приближающиеся шаги, секундой позже грузное тело опустилось в кресло, дверь тихо захлопнулась, и почти бесшумно заработал мотор. Дальше медлить было нельзя. Я выпрямился и рывком надел пластиковый пакет на голову водителя, сжав его обеими руками у основания. Мужчина задергался, но он был не боец. Меньше чем через минуту его обмякшее тело лежало на асфальте, а я был на водительском месте. Заблокировав двери и окна, я резко рванул. От подъезда ко мне уже бежали два охранника в

камуфляже и черных беретах. Один из них на ходу расстегивал кобуру, а второй, видимо безоружный, размахивал портативным металлоискателем и что-то кричал напарнику. Кобура никак не расстегивалась - от кобуры на застежке мало проку - и я проскочил мимо застывшей в нелепой пантомиме пары.

\* \* \*

Движение на шоссе было не очень интенсивным, но я не ориентировался на местности и ехал, не сворачивая, все время прямо, по правой полосе. Я не знал, кто был покойник в красной куртке, и оповещены ли полиция и жандармерия, но в любом случае встреча с ними не входила в мои планы, ведь я был на тот момент легко, не по сезону одетый иностранец, без документов, на ворованной машине, с пистолетом за пазухой. Было уже темно, когда передо мной на шоссе появился указатель "Болгария - граница - 25 км". Рядом стрелка "направо" указывала на бензозаправку. Горючего в машине был полный бак, но я свернул в направлении стрелки и, не доезжая до колонки, затормозил на плохо освещенной стоянке у низкого здания какого-то склада. Нужно было, наконец, осмотреться, избавиться от оружия и решить, что делать. Я выключил двигатель и приоткрыл окно. В этот момент в машине зазвонил портативный телефон. Не нужно, конечно, было отвечать, не нужно... В свое оправдание могу лишь сказать, что я безумно устал. И я нажал на зеленую кнопку громкоговорителя.

Металлический голос в трубке произнес по-английски: "Уважаемый гость, вы просили разбудить вас в ... (пауза) шесть часов тридцать минут". И через несколько секунд снова: "Уважаемый гость, вы просили разбудить вас в ... шесть часов тридцать минут". "Уважаемый гость..."

\*\*\*

Уважаемый гость сидел на кровати, в мятых брюках и расстегнутой грязной белой рубашке, крепко сжимая в руке телефонную трубку. Телефон стоял на тумбочке, а возле него, под зажженной настольной лампой, лежали блокнот и ручка, оба с лого отеля "Стартон".

Сколько же мы вчера выпили? Извечный русско-еврейский вопрос... Или это было позавчера? Я с трудом встал и прошелся по номеру. На столе, под моим портативным диктофоном, белела записка, написанная по-русски, крупным, незнакомым мне почерком.

"Привет, я надеюсь, что не ошибался во времени и правильно просил тебя будить в шесть с половиной часов в воскресенье. Тебя здорово повело (зачеркнуто) развезло от всего,



что мы выпили и жевали. Сожалею, что дал тебе траву. И еще, ты все рвался поехать в Альмину, так я забыл тебе говорить, что ее сломали. Там теперь дыра. Самое последнее, ты, пожалуйста, снизь килограммов двадцать веса, а то я тебя трудно очень дотащил. В диктофоне кассета - мой подарок. Счастливо долететь. Исмаил".

Я надавил на клавишу диктофона. Мой несколько заглушенный помехами голос спросил: " Ну, и сколько на сегодня осталось рабочих версий?"

Я принял душ, оделся и собрал сумку. Рассовал по карманам пиджака документы, сигареты и деньги, в последний раз оглядел номер и спустился в вестибюль. У регистрационной стойки "Стартон" никого не было, но на диване, напротив входной двери, углубилась в журнал дама средних лет, в блеклого цвета юбке и серой куртке. Проходя мимо, я бросил взгляд на ее обувь, - спортивного типа туфли без каблуков - и холщевую емкую коричневатую сумку. Она словно почувствовала мой взгляд и на секунду оторвалась от глянцевого страниц. Наши глаза встретились. Женщина улыбнулась мне, как знакомому, и, честное слово, - подмигнула.

## **Когда линяют малиновые пиджаки**

Лион – город спокойный, светлый и приветливый. Он прекрасен в любое время года, но особенно – ранней весной, когда еще не жарко, и бродить пешком – одно удовольствие. Если выйти из здания Префектуры на улице Де Бонель и повернуть налево, к реке, то минут через двадцать неспешной ходьбы вдоль набережной Роны придешь к парку, в котором стоят рядом два здания: Интерпол и гостиница «Хилтон».

Эта история началась в роскошной сауне со светомузыкой, на седьмом этаже «Хилтона». Само словосочетание «сауна на седьмом этаже» требует пояснения, ибо мы привыкли к тому, что бассейны, спортзалы, сауны и джакузи, если таковые имеются в отелях, находятся внизу. Но не везде, читатель, не везде. Взять, например, тот же «Хилтон Лион». Если пересчитывать его этажи, глядя с улицы, то насчитаешь восемь, аходишь в лифт, - на панели кнопки лишь с первой по шестую. Как говорила моя покойная няня - «парадокс»? Вовсе нет. Просто - каждый сверчок знай свой шесток. Седьмой и восьмой уровни - это «бизнес-класс», и подняться туда можно лишь при помощи специальной магнитной карточки, которую опознает компьютер лифта. Из комнат бизнес-класса открывается зачаровывающий вид на Рону.

Но это еще не все. Там круглосуточно функционируют бесплатный бар, спортзал и эта самая сауна.

В день, о котором идет речь, я делал доклад в Интерполе, перенервничал, и решил снять напряжение в парилке. В раздевалке висели на крючках четыре халата. Я повесил рядом свой, пятый, и открыл деревянную дверь.

Чья-то фраза по-русски «...я еще в 88-м отстегивал пацанам...» повисла в горячем воздухе. Я сказал «Bon soire» и пристроился у самой печки. Напротив меня сидели два человека в возрасте под шестьдесят, в наброшенных на плечи махровых полотенцах, а чуть поодаль – вторая пара, значительно моложе первой. В течение нескольких секунд все они пристально изучали меня, затем один из тех, что сидели ближе ко мне, произнес «Bon soire» и прерванная беседа возобновилась.

- Так о чем я? Да, я их подкармливал еще пятнадцать лет назад, пацанов-то. Люсик с Кротом тогда еще на коммуняк в армии пахали, они, небось, и имени Петровича не слышали, а я уже большие дела двигал. А теперь, вишь, после смерти «самого» повылезали в командиры, ревизию, понимаешь, произвели... и меня – меня! – под ответ поставили! И это свои-то! А я им ничего не должен, ни копейки! Я ведь с Петровичем как работал? Идеи и раскрутка – мои, авторитет – его. У меня голова на плечах, а за ним – пацаны. Прибыль - пятьдесят на пятьдесят, ну, за вычетом расходов, разумеется. Но мы же партнеры были, мы же как братья... Я же не за «боюсь» ему платил.

- Да успокойся ты, Федь... Ну, есть трения... Так ведь без этого не бывает. Бизнес уж больно крутой. Мы ж не на рынке торгуем и не Мерсы ремонтируем. Думаю я, что Подольским их часть отдать все равно придется, и чем быстрее - тем лучше. А там разведешь края. Банк на Мальте, конечно, не удержишь, - надо продавать, иначе не выкрутишься.

- Вот, опять ты на меня давишь! Да пойми ты, старый мудака, что нет у меня такой суммы в наличке, ведь все в воздухе, все крутится... Восемь миллионов – большие деньги. А продам "Флориан" – и вовсе кранты! За счет чего я тогда все площадки держать буду? И холдинг, и завод в Норильске, и офисы в Москве и в Праге...

А реклама? Она одна сколько стоит...

В этот момент подал голос один из двух, тех, что помоложе:

- Федор Иванович, простите, что вмешиваюсь, но вы уже двадцать минут паритесь, а доктор больше четверти часа не велел. Пора.

- Спасибо Сережа, уже идем. Поднимайся, старый, погрел кости – и хватит. В душ и отдыхать. У нас еще большие планы на вечер.

Вся четверка гуськом вышла в раздевалку, синхронно кивнув мне на прощание. У меня было ощущение, что это не последняя наша встреча.

И действительно, мы столкнулись у стойки бара на восьмом этаже вечером следующего дня. Тот, кого звали Федором Ивановичем, рассматривал этикетки бутылок с вином, решая, что бы налить. Толстый ковер полностью заглушал шаги, так что он не слышал, как я подошел. Его друг сидел на кожаном диване спиной к нам и был погружен в чтение газеты. Оба охранника пили сок за угловым столиком, но, опознав меня, никак не прореагировали. Федор Иванович взял в руки бутылку «Бордо» 92 года и повернулся, чтобы рассмотреть ее на свет. Наши взгляды встретились.

- Здравствуйте, ну как, не перегрелись вчера - спросил он по-французски.

- Добрый вечер. Я в полном порядке. Выбираете вино?

- Да я бы, конечно, коньячку выпил, да врачи не велят. Но на красное вино ограничений пока, слава богу, нет.

- В таком случае рекомендую вот это, - я указал на бутылку «Эльзаса» 97 года. 92-й год для «Бордо» был, мягко говоря, не слишком удачным.

- Вы хорошо разбираетесь в винах? – в его глазах засветился интерес.

- Стараюсь быть в курсе, насколько время позволяет.

- Ну что ж, могу я вас пригласить к нам присоединиться? Разопьем эту бутылочку вместе, я вас представлю своему другу. Степа, проснись, старый, нам выходить, – это было сказано по-русски.

Степа интеллигентно протянул руку, и мы сели за столик. Неслышно подошел официант и открыл бутылку. Федор попробовал вино и кивнул, что, мол, можно разливать. «Salut!» - сказал Степан, «Sante!» - поднял свою рюмку Федор. И тут я членораздельно произнес по-русски: «Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган». Надо отдать должное ребятам, держать удар они умели! «Однако...» - сказал Федор, а Степан лишь приподнял брови. Выпили.

- Вы были правы, вино отменное. Так расскажите нам о себе, загадочный незнакомец. Кто вы и по какой части, какими судьбами в этой глуши? – вопросы задавал Федор.

- Зовут меня Дима. Я по части бизнеса. У меня в Израиле «свечной заводик» по производству майонеза и кетчупа. Маленький, а по вашим меркам так и вообще микроскопический, но прибыльный. Сюда приехал на конференцию производителей приправ и соусов. Она открывается завтра.

- Ну что ж, Дима так Дима. Вы знаете, Дима, вот я сейчас подумал: если что и дает представление о бесконечности, так это человеческая глупость, - Федор покрутил в руках рюмку. Я, конечно, боже упаси, не о вас, а так, вообще, философствую на закате дня.

- А чего тут философствовать, тут трясти надо – проронил Степан. Ну, до каких пор мен... пардон, правоохранительные органы всех стран будут считать себя умнее всех на свете!? Олег, - обратился он к одному из охранников, - дай сюда папку. Вот, - раскидывал он фотографии по столу, как будто метал банк, - вот вы, Дима, на входе в Интерпол, а вот – на выходе, вот вы в группе французских коллег у здания Префектуры, а вот фотокопия бланка, заполненного вами при регистрации в отеле. Вы не обижайтесь, никто за вами не охотится. Просто такие вещи наша служба информации делает автоматически, так сказать, рутинно. Единственное, чего мы знать не могли, так это того, что вы русский. Мы думали, что вы израильский, туземный мен..., простите, чекист. Ну да ладно, проехали. Федя, наливай.

- Завсегда, - отозвался Федя. И, поднимая стакан, добавил: от Лиона до Находки с водкой лучше, чем без водки.

- Эмблема серп и молот; коси и забивай, - наставительно произнес Степан. Останешься без работы – звони, - и он протянул мне свою визитную карточку.

Ну, а я? Что мог добавить к этому я? Я был красен лицом, как тот новый русский, у которого в парилке полинял малиновый пиджак.

«Ты не умеешь расслабляться..., ты не умеешь расслабляться...». Откуда это? И почему в ушах звон? Быстрее скоростного поезда бегут кадры... Вот я, в тренировочном костюме, лежу на спине на матах спортзала, а два жизнерадостных молодых жеребца молотят меня ногами, норовя попасть в голову и в пах. Моя задача – пропустить как можно меньше ударов. Это длится бесконечно долго – целую минуту. Затем тренер по фамилии Кац разбирает со мной бой. Сняв черную кипу и почесав лысину, он говорит мне с сильным американским акцентом: «Ты не умеешь расслабляться. Ты пропускаешь удар и страшно напрягаешься, а надо – наоборот. Я знаю, что это очень трудно,

что это противоестественно. Весь наш организм противится этому, но это - необходимо. Без этого ты не боец».

И я заставил себя расслабиться. Я вытащил из внутреннего кармана пиджака алюминиевый цилиндр, медленно вынул из него сигару «Боливар» ручной выделки, 75 долларов штука – подарок коллеги, начальника Кубинской таможни – обрезал перочинным ножиком кончик, чиркнул длинной спичкой, и, выпустив первое колечко дыма, сказал: «Спасибо за лестное предложение. Но, вроде, меня пока и моя нынешняя служба неплохо кормит». И протянул новым знакомым свои визитные карточки.

Давно это было. Смешно вспоминать. Я уже несколько лет живу на Мальте. Работаю начальником охраны банка "Флориан" в Валетте, городе спокойном, светлом и приветливом. Он прекрасен в любое время года, но особенно – ранней весной, когда еще не жарко, и бродить пешком – одно удовольствие.



# Мина Полянская Андреевская лента<sup>1</sup>

## Петербургская повесть

*И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,  
Своими криками преследуя тебя,  
Народ, таинственно спасаемый тобою,  
Ругался над твоей священной сединою.*

А. Пушкин. Полководец

*Ему казалось, что, если бы он держал покрепче сверток, он,  
верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.*

Н. Гоголь. Портрет



стория, казалось бы, не терпящая пустоты, время от времени все же прерывает свой поступательный ход - тогда теряется событийная связь, в результате чего и возникают лживые мифы. Увы, никто из смертных не знает целого, любая версия состоит из оторванного клочка. Я принадлежу к старинному шотландскому роду Barclay of Tolly, из которого произошли два выдающихся моих предка, участвовавших в сражениях против Наполеона. Обоим была присуща категория уникальности, однако судьбы их сложились по-разному. Моему англоязычному предку Александру Баркляю достались удача и признание во многих битвах, в том числе и при Ватерлоо. Вернувшись после военных походов в Лондон, генерал был обласкан военными почестями. Он поселился со своей семьей в особняке розового гранита на Паркстрит, где в благополучии и безопасности прожил до конца своих дней, задавая роскошные балы и окруженный восторженным поклонением.

Однако трагически сложилась судьба его кузена русского генерала Михаила Богдановича Баркляя де Толли, который был понижен в своем значении, став жертвой несправедного людского суда. Он во время нашествия Наполеона в 1812 году возглавлял русскую армию и по соглашению с императором завлек

---

<sup>1</sup>Рассказ - победитель Конкурса им. Короленко, учреждённого Союзом петербургских литераторов, 2012.

Опубликован в журналах Дети Ра" № 1 (87), 2012, «Мнемозина», январь 2014. Здесь представлена его новая, расширенная редакция.

неприятеля в недра отечества, истощив его силы. Но перед решительным сражением Александр I внезапно отстранил генерала от командования, назначив вместо него Михаила Голенищева-Кутузова. Узнав, что народ подозревает его в измене, Михаил Богданович был сражен, повержен. Подозрения в измене возникли в первую очередь в связи с его нерусским происхождением (хотя, согласитесь, роль полководца, взвалившего на себя бремя отступления, самая незавидная). Говорили, что он, дескать, немец. На самом деле Михаил Богданович, происходил из шотландского клана (что, впрочем, не меняло сути дела из-за рокового неславянского звучания его фамилии, вызывавшее недоверие у народа), сторонников обезглавленного короля Карла Стюарта, бежавших в XVII веке в Ригу от мести Кромвеля.

Лукавый император всё же не лишил Михаила Богдановича своего личного, но тайного доверия, предложив остаться в должности военного министра, в которой тот и раньше пребывал. Но Барклай, прикрыв рукой лицо, обветренное от непрерывной – ещё с детства – походной жизни, дабы не видно было, что по нему текут слёзы, ответил, что отказывается от какого-либо кабинета и останется на поле боя в любом звании и чине!

Не сразу открылись мне страницы истории, в цепи которой одно звено, похоже, затерялось, причем, не случайно, а при содействии выдающихся личностей, и, соответственно, средств массовой информации, процветавших, разумеется, и в XIX веке.

В годы отрочества я обнаружила в домашней библиотеке огромную, в коленкоровом переплёте книгу с названием «Война и мир». Помню, как поразил меня портрет писателя на титульном листе. Лицо графа (титул указывался), широконосое и скуластое, с огромной бородой не вполне отвечало моим представлениям о знатности рода. Автор романа был облачён в просторную серовато-синюю блузу с ниспадавшими многочисленными, напоминающими драпировку, складками. Впоследствии я узнала, что блуза, сшитая из дорогой ткани, названная «толстовкой», была стилизована под народные мотивы и сделалась символом свободы у либералов. Граф оказался ещё и первым представителем знатного сословия (послепетровской эпохи), отрастившим мужицкую бороду, и, вследствие своего эпохального авторитета, сумевшим зародить ещё одну «моду» - на бороды. Либеральные деятели, подражая писателю, носили «толстовки» и отращивали окладистые, а иной раз даже и с проседью, пророческие бороды.

Репродукции с известной картины, изображающие графа в таком вот виде, распространялись в России (и вне её) и доставили ему не меньше славы, чем романы.

Синие под кустистыми бровями глаза писателя смотрели на меня решительно и как будто бы к чему-то призывали.

Строгий, аскетический даже облик писателя-графа настолько поразил меня, что я, несмотря на устрашающие размеры книги, всё же углубилась в чтение, разумеется, выпуская многочисленные рассуждения и философские отступления. Внезапно я обнаружила среди действующих лиц своего предка Михаила Барклая, чуть ли не выброшенного «за борт» Бородинского сражения, в котором сыграл на самом деле решающую роль. Я потом узнала, что после выхода романа ветераны войны осыпали писателя оскорбительными письмами, обвиняя в преднамеренной лжи. Среди возмущенных героев оказался гусарский герой-полковник Денис Давыдов, командир партизанского отряда, владелец села Бородино, ещё и знаменитый поэт с небольшим вздернутым носом, белым локоном на лбу, неизменной трубкой в зубах и закрученными усами. Гусар-поэт, участвовавший в травле Барклая, в преклонных годах, потряхнув стариной - Ради Бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников сзывай с закрученными усами - поднялся на защиту Барклая.

Между тем, романский Кутузов, возглавивший армию, занимал ту же выжидательную тактику, что и отстранённый Барклай. Толстой как будто бы оправдывал фельдмаршала, оставившего Москву французам, рассказывая о «дубине народной войны», о русском духе, который умел постичь именно этот, исконно русского происхождения полководец.

Чтение романа возбудило интерес к стране, в которой морозы губили наполеоновскую армию, не имевшую тёплой одежды, огромные пространства поглощали её, а простой народ, невзирая на издевательства господ, отличался невиданным патриотизмом. Связать нити отдельных моментов мне позднее помог ещё и Стендаль, свидетель событий, оставивший поразительные письма о красоте Москвы до пожара. Этот апологет Наполеона, интендант его армии (не правда ли, завидная писательская биография?) между прочим, во время панического бегства французам из России умудрился пересечь обледеневшую речку Березину безукоризненно одетый и аккуратно выбритый, что, по его мнению, помогло ему выжить.

Чтобы приблизиться к истине, я изучила русскую филологию в Кембридже и, к слову сказать, этот рассказ я



самостоятельно написала на русском языке — лишь в некоторых местах его поправил известный беллетрист Михаил Кедрин, автор романа «Волосы Самсона». Признаюсь, мне трудно было его излагать, и я вполне солидарна с одним близким мне по духу писателем, для которого отказ от кровного языка явился едва ли не отречением от корней.

Оснащенная ещё и знанием языка, я занялась поисками доступных фактов, чтобы по возможности восстановить хронологию событий. И я узнала, что в августе 1812 года деревня Царево-Займище для решающего сражения была заменена селом Бородино, и что униженный в своём значении полководец, командовавший правым крылом и центром, во время битвы намеренно искал смерти и что пули и картечь со свистом пролетали мимо него, не оставляя ни царапины, меж тем как под ним убито было пять лошадей. И что всюду и везде был виден его расшитый золотом мундир в орденах и лентах и нелепый, огромный плюмаж на шляпе - из бело-жёлто-чёрных перьев. И что солдаты, до того не верившие ему, то и дело приветствовали его громовым «Ура!», а смертельно раненый Багратион просил прощения за участие в интригах против него. И что после боя Барклай признался лично императору в том, что, увы, - не удалось ему умереть: 26 августа не сбылось моё пламеннейшее желание: Провидение пощадило жизнь, которая меня тяготит.

Быть может, Наполеон, исповедовавший честь круговой поруки военного ремесла и уважавший достойного противника, дал приказ оставить Барклая живым? Может быть, Наполеон, игравший в шахматы, оторвавшись от игры, посмотрел в подзорную трубу и воскликнул: «О! Да это сам Барклай-де-Толли! Разжалованный главнокомандующий! Отличный генерал! Он восхитил меня своим искусством ещё при Прейсиш-Эйлау. А в российских переделках озадачил своей тактикой». Здесь, после слов «озадачил своей тактикой» - узлом в пункте судьбы Наполеона, когда вполне уже мог явиться ему в виде миража в облаках пушечного дыма символ одинокого острова в океане, на котором бесславно завершит он дни свои в возрасте всего лишь 52 лет - должен был бы он спохватиться и умолкнуть. Ибо ещё свежи были воспоминания о несостоявшихся из-за Барклая де Толли сражениях в России, когда безвозвратно и навсегда у корсиканца-воителя потеряна была связь с неумолимым ходом времени. Однако сей мрачный гений войны, пламенно её любивший, вполне мог с иронией произнести: «Гуманный полководец, этот Барклай! Как странно он себя ведёт? Так он - желает смерти? Так не бывать этому!»

Что-то такое в этом роде могло быть. Да, так оно и было! И Кутузову, который, согласно роману, ел во время судьбоносного сражения курицу, невозможно было вмешаться и в это стихийное событие так же, как и в разрушительную, самодовлеющую силу глубины народной войны.

В семейных архивах отыскалось довольно документов об Александре Барклае и ничтожно мало о Михаиле. Но всё же я обнаружила два старинных конверта с письмами, свидетельствами интриг зависти вокруг полководца, а также копию его письма, в котором он сообщил жене о значении его собственных действий во время сражения: ...Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита — это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни.

Это письмо, искреннее и душевное (как впрочем, и другие письма Барклая, с которыми я позже ознакомилась), окончательно убедило меня в невероятном искажении его трогательного, лирического образа.

Вскоре я узнала, что русский поэт Пушкин, угадавший нежную, чувствительную натуру полководца, назвал Барклая высоко поэтическим лицом. Тогда как он прослыл человеком обдуманных (чрезмерно!) поступков, лишенным живости и шутовности, свойственных русскому офицеру, не умевшим произносить зажигательные речи перед солдатами. Пушкин, спустя много лет после смерти Барклая, посвятил ему стихотворение «Полководец», которое поразило меня не только страстностью и благородством, но и шекспировским проникновением в самую суть трагедии личности. Поэт гневно обращался ко всему роду человеческому: О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха!

Я ещё узнала, что поэт получил порицание из-за стихотворения, вынужден был даже оправдываться и писать некое «Объяснение». И ещё я узнала, что (почти) не осталось русских потомков Барклая де Толли в России. Суровая участь настигла их в сталинские времена (роковая неславянская фамилия продолжала привлекать внимание злобного режима). В тридцать седьмом русские потомки Барклая были расстреляны, один из них погиб на войне. Правда, я все же обнаружила одного из них, опубликовавшего грустную семейную быль «Конфеты от Барклая», побочного потомка, но и я - родственница далеко не близкая. Надеюсь, что после публикации этого повествования уцелевший потомок с другой фамилией, но, увы, тоже

неславянской, отыщет меня и присоединится к нашему дружественному роду Барклаев.

В мае 2009 года, когда завершилась учеба в Кембридже, я получила приглашение в Оксфорд, где в течение всего учебного года преподавала русскую литературу, а летом я отправилась в Петербург с тем, чтобы увидеть портрет Барклая де Толли в оригинале.

Вы спрашиваете - зачем мне нужен был оригинал? Начиталась ли книг о «живых», или оживающих портретах у Эдгара По, Генри Джеймса, Уайльда, Гоголя и таким образом стала жертвой излишней книжности? На самом деле мои сказочные видения русских сокровищ неизменно оказывались декорацией великому предку Михаилу Барклаю. Стоило только подумать о чём-то, имеющем хотя бы косвенное отношение к России, как тут же возникал передо мною его трагический чёрный силуэт с рукой на перевязи, известный мне по репродукции с картины Доу, которая висела у меня над письменным столом. То был портрет полководца в полный рост с рукой на перевязи (он был ранен в правую руку в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году) - со спокойным как будто бы лицом и великой грустью в глазах.

Я до сих пор объяснить не могу, зачем так уж необходимо было рассматривать «лицом к лицу» портрет работы Джорджа Доу, сотворившего, как выяснилось, вначале серию портретов участников сражения при Ватерлоо и затем получившего приглашение Александра I писать портреты русских героев. Судьба художника, между прочим, на первый взгляд завидная, сложилась трагически: он умер вскоре по завершении работы над портретами, факт, безусловно вызвавший во мне иррациональный интерес, меж тем как я отнюдь не забывала предостережение одного опытного в портретных тайнах писателя об опасности стремления проникнуть глубже поверхности портрета.

—

В Петербурге, расположенном в пространстве и времени ближе к интересующим меня событиям, я поселилась в гостинице «Рахманинов» за Казанским собором на Казанской улице, упирающейся в главную улицу города Невский проспект. Два окна доставшейся мне комнаты номер 12, между которыми вытянулось длинное, чуть ли не до самого пола венецианское зеркало, выходили во двор, который я ещё не успела разглядеть – я вошла через парадный вход с улицы. Справа от входной двери стоял камин, а рядом у стены возвышалась кровать, над изголовьем которой висела живописная репродукция, в контрастных красках

изображающая русского императора Александра Павловича на вздыбленном белом коне. Государь был в треугольной шляпе с плюмажем и в мундире капитана, пересеченном, как португесей, голубой Андреевской лентой.

В других комнатах гостиницы, как выяснилось, размещались картины, преспокойно отражающие быт русской дворянской жизни XIX века, и только в моей красовалось полотно с изображением всадника-царя, напоминающее о бурной эпохе наполеоновского нашествия. Неудивительно, что внезапное явление портрета, отвечающее тревожным настроениям моего приезда, я восприняла не случайным совпадением, а как настораживающий знак.

К тому же ещё и собор, за которым располагалась гостиница, к моему изумлению оказался единственной во всём мире православной церковью, через которую проходил Пулковский меридиан. Этот меридиан – надо же! – пересекал и мою гостиницу. Что это могло означать с точки зрения вечности, я не знала, однако в этом пересечении тридцатого меридиана с церковным зданием также скрывался некий таинственный священный символизм.

Собор напоминал храм Святого Петра в Риме и впечатлял грандиозной колоннадой, обращённой полукругом к Невскому проспекту. По обеим сторонам колоннады возвышались памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Фигура Барклая - ближе к Казанской улице - изображена была в некоем весьма условном робком ожидании – жезл с этой целью был скульптором идеологически и фактически приспущен, тогда как Кутузов с поднятым жезлом как бы призывал к наступлению.

Мой приезд совпал с празднованием дня рождения города. В честь этого события вокруг памятника Кутузову была сооружена деревянная сцена, напоминающая скомороший помост, и на нём молодежь плясала рок-н-ролл - с ритмичным подпрыгиванием, перебрасыванием партнерши через голову и вращением в разные стороны - и Кутузов своим жезлом потечески благословлял седьмое поколение танцующих потомков. За памятником Барклаю был отчего-то сооружен именно тир, и посетители – так уж получалось - стреляли полководцу почти в спину, причем, без злого намерения, так что я вполне могла убедиться в равнодушном отторжении народонаселения от полководца.

Я была подготовлена к изначальным свойствам города - прямой однозначности перспектив – и без особого труда научилась ориентироваться в центральной части города и шагала

по проспекту, наблюдая город как бы со стороны, извне, пытаюсь постичь его с точки зрения временной метафоры, надеясь, что и мне откроются его индивидуальные черты. Петербуржцы показались мне на удивление учтивыми - на все вопросы с готовностью отвечали, впрочем, без энтузиазма и любопытства, меж тем как в роскошном Доме книги, что на углу канала Грибоедова, толпилось множество таких с виду равнодушных петербуржцев, сосредоточенно и неторопливо выбиравших и покупавших книги всевозможных жанров.

Я внимательно вслушивалась в русскую речь, стараясь уловить незнакомые мне выражения и фразы, и бесконечно радовалась, что повезло с погодой, поскольку помнила, что в «Белых ночах» Достоевского она на протяжении всего романа была беспросветно дождливой и пасмурной. В самом лучезарном настроении шагала я в сторону Невы, чтобы, не откладывая, посетить Военную галерею Зимнего дворца – главную цель моего заграничного похода. Я в последующие дни – не сегодня - намеревалась ознакомиться с эрмитажными сокровищами, а сейчас - решительно направилась к длинному залу галереи с аркообразной, вытянутой крышей с врезанными в ней окнами мелкой расстекловки, обращёнными к безоблачным небесам.

Военная галерея сразила меня обилием портретов мужчин в регалиях. Такого количества генералов, собранных в одном месте, я ещё нигде не встречала. Исключением явился портрет императора, помещавшийся над торцовым входом. Лишь императору дозволено здесь было находиться в капитанском чине на галопирующей белой лошади, подаренной ему Наполеоном в 1808 году, когда, казалось, ничто не предвещало коварного похода на Россию. То был роскошный оригинал репродукции из моего гостиничного номера и единственная работа, представленная в галерее не Доу, а берлинским придворным художником, страстным любителем и знатоком лошадей Францем Крюгером, прозванного «Pferde Krüger».

О, нет, я отнюдь не феминистка, но смутилась от подобного мужского натиска и принялась искать глазами портрет женщины-воительницы Надежды Дуровой, участницы Отечественной войны, но не обнаружила его. Здесь торжествовали романтические героини-красавицы, генералы, воспетые другой женщиной-поэтом - вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса – похороненной в Елабуге на том же кладбище, что и Дурова, но, увы, в затерянной безымянной братской могиле.

Барклай-де-Толли был помещён среди парадных портретов в центральной части галереи. Он писан во весь рост, согласно свидетельству поэта, на фоне лагеря войск у Парижа, окружённого высотами, взятыми русскими войсками под его командованием весной 1814 года. И был он изображён с наградами за победы в заграничных походах.

А также с памятной серебряной медалью участника Отечественной войны и Бородинского сражения, созданной специально для всех участников судьбоносного сражения. На всех окружавших (обрамлявших) его портретах красовалась такая же медаль на голубой Андреевской ленте на самом почётном месте: под изысканно красивым, напоминающим мальтийский, крестом Святого Георгия второй степени, полученным также за победу в Бородинском сражении.

Медаль участника я изучила ещё до посещения галереи, и Всевидящее Око в середине рельефного треугольника напоминали масонские символы, тогда как считались и христианскими, поскольку на оборотной стороне её высечены были слова из Библии: «Не нам, не нам, имени Твоему». Такой же внимательный глаз в треугольнике изображён был внутри фронтона над центральным входом Казанского собора, задуманного магистром Мальтийского ордена Павлом I, убитым при невыясненных обстоятельствах, так что даже распространился слух о молчаливом согласии сына Александра I на убийство отца. Сын же возглавлял по слухам в православной Греции общество «Гетерия филикеров». Кому из них - отцу или сыну - принадлежала идея глаза, если учесть, что знаки (и в особенности глаз, помещенный в треугольник) большинства тайных обществ неожиданным образом совпадают?

Глаза Баклая де Толли, в которых я сразу увидела оскорбленное достоинство, пронзившее моё сердце, как будто бы даже преднамеренно отведены были художником от зрителя, а в углах рта залегла скорбная складка. Без сомнения, это был один из лучших портретов галереи! Душа ли природы, или другая благая весть явились художнику и принесли ему вдохновение и прозорливость? Всё, что изобразил Доу на портрете, награды и оружие и в особенности медаль... не ордена, а серебряная медаль УЧАСТНИКА Бородинского сражения, выстраивали драму, нет - трагедию человека, ставшего жертвой толпы слепого и буйного века.

Вдруг показалось мне, что глаза полководца наблюдают за мной из-под нервно подрагивающих век, так что я даже отвернулась от портрета. Дневной свет, проникающий сквозь

стекла на крыше, казалось, оживлял всю картину и в особенности фигуру генерала, окружённого густой мглой, мерцающей таинственным светом. Живые глаза полководца конечно же померещились мне. Тем не менее, захотелось уйти от всего этого великолепного, парадного разноцветия, которое, словно завораживающие романтические полутени, вытесняли истину, так что на мгновение показалось даже, что никогда не увижу настоящего, непреломлённого в стекле, дневного света. И я поспешила покинуть галерею.

—  
Я устроилась в сквере на скамейке позади памятников у Казанского собора, в котором захоронен был Кутузов, скончавшийся вскоре по завершении высокой миссии - изгнания французов из России - в прусском городе Брунцлау. А Михаилу Богдановичу суждено было взять Париж и получить фельдмаршальский жезл. После смерти в 1818 году прах полководца увезён был подальше от двух столиц и предан земле в местечке жены – лифляндском Бекгофе.

Собор за моей спиной был задуман отцом-мальтийцем Павлом I, а строился его сыном Александром I. Кому из них - отцу или сыну - принадлежала идея глаза на фронте собора, если учесть, что знаки (и в особенности глаз, помещенный в треугольник) большинства тайных обществ неожиданным образом совпадают? Позднее я осмелилась ознакомиться со знаковой системой обществ и орденов и обнаружила, что треугольники и их композиции, ставшие у нынешних нацистов «доказательством» теории всемирного еврейского и прочих заговоров, обозначают многие тройственные понятия и у христиан, и у алхимиков, и у всевозможных конфессий, неизбежно связанных с ритуалами. Погрузившись с изумлением в многотысячные эти версии, я решила, что лучше вовремя остановиться. В особенности шокировала меня «орденомания» образца двадцать первого века, поскольку некоторые личности, авторы объемных книг, чуть ли не насильно пытались нравственно облагораживать меня, способствовать моему счастью, короче, навязывали мне своё собственное понимание добра и зла, откровенно с моим не совпадающее.

Надвигалась пора белых ночей, и прозрачные сумерки незаметно и ненадолго опускались на город, шпили и башни гордо вонзались в небо, и таинственной вырисовывались из полумрака очертания зданий с высокими тёмными окнами, а фигуры людей на их фоне выглядели призрачными и недолговечными. Казалось, время со скрежетом заводило свой часовой механизм вечности, и

потому здесь и скрывалась тайна незыблемости времени. Почему-то вспомнились стихи Державина, пронизанные страстью пророка, восемь строк, написанные на грифельной доске за два дня до смерти:

Река времён в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остаётся  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрётся  
И общей не уйдет судьбы.

Странным образом стихи русского поэта о том, что ничто не пощажено временем, даже искусство – всё «вечности жерлом пожрется» - были сейчас созвучны Петербургу. Тысячелетний образ, созданный Гераклитом, метафора Времени – река, вливающаяся в океан Вечности. Время – река, Вечность – бездна.

Воздух посвежел, и на землю вокруг монумента Баркляю легли лёгкие, едва заметные тени, тени белых ночей. Тени удлинялись неторопливо, и вокруг царил покой, несмотря на приглушённый шум проспекта. Я подошла к памятнику, едва приподняла голову, мельком на него взглянула – он, разумеется, оставался неподвижен. Мохнатая пчела – как она здесь очутилась? - с жужжанием кружилась вокруг него, потом стала путешествовать по приспущенному жезлу, знаку нерешительности полководца, представленному здесь для всеобщего обозрения сменяющихся поколений. Я наблюдала за пчелой с тем напряженным интересом, с каким иной раз фиксируешь внимание на незначительных мелочах, когда страшно думать о главном, или, когда волнует новое непонятное чувство, или какая-нибудь ужасающая мысль вдруг пронзает мозг. Пчела вскоре улетела в сторону сквера педагогического университета, растворилась во мраке деревьев.

Я отчего-то вспомнила пушкинского Дона Гуана, неудачно пошутившего, вступившего в контакт с темной силой, явившейся к нему в виде Каменного гостя. И медного всадника, пустившегося вскачь, когда ему угрожал Евгений: «Ужо тебе!» О, не следует тревожить памятники! Я и сейчас чувствую, с каким усилием давалось мне решение не поднимать глаз выше жезла, поскольку решила: достаточно потревоженных теней.

Однако почему такие благоразумные мысли не приходили ко мне в галерее, когда я так настойчиво искала портрет Баркляя де Толли? Теперь, когда доверяю свои воспоминания бумаге, я



прихожу к неизбежному выводу: какой же незрелой была я со своими взглядами, и главное – умеющая обо всём судить. И о тайнах жизни тоже. Я мечтала попасть в трудные обстоятельства, чтобы иметь удовольствие проявить подобающий героизм. Вот он – мой женский портрет: своевольная девушка с легко воспламеняющейся душой, скудным опытом, надуманными идеалами, наивными и категоричными убеждениями, с желанием всё испытать, всё познать.

Мысль о том, что он, мой полководец, безмерно одинок именно здесь, у собора, в самом центре города, среди равнодушной толпы, «жрецов минутного», пронзила меня. Я вспомнила его глаза на портрете, чрезмерной живостью чуть ли не разрушающие гармонию искусства. И сейчас ещё чувствую, с каким усилием давалось мне решение не тревожить тени и не поднимать глаз выше жезла. Отчего я боялась? И зачем вспомнила «Медного всадника» – и все другие когда-либо оживавшие памятники?

Я вспоминаю мою петербургскую историю как ряд взлётов и падений, как лёгкое качание между верным и ошибочным.

—

Я не способна строить визуальный образ и, как правило, никакие видения не встречают меня на пороге сна, а усилием воли я могу вызвать весьма слабое изображение того, что произошло вчера. Каким образом ночью (когда страдала бессонницей, ощущая полное отрезвление, без дремоты) произошёл этот внезапный сдвиг реальности в сон, каким образом возник затем в моей комнате ОБРАЗ, я не могу сказать.

Всё началось с того, что я, войдя в свою комнату, увенчанную, как вы помните, портретом Александра Павловича, вдруг отчего-то решила не раздеваться, и легла под одеяло в джинсах и свитере, свернувшись клубочком в целях самозащиты, готовая вскочить в любую минуту. Я не заснула, но как будто бы проснулась, включила свет и увидела Барклая -де- Толли. Полководец сидел в кресле у зеркала с ласковым, озабоченным выражением лица, в плаще, накинутом на фельдмаршальский мундир, и с чёрной повязкой, поддерживающей правую, раненую в битве при Прейсиш-Эйлау, руку. Он выглядел объёмным, вполне осязаемым, «овеществлённым» - до неправдоподобия. И отражался в зеркале. «Странные нынче пошли привидения, - подумала я, - и в зеркале отражаются, и отбрасывают прекрасную, густую, сочную тень». Однако в зеркале над затылком полководца ещё что-то маячило, призывая внимание. Сомнений быть не

могло: над затылком полководца нависал - отражение картины над изголовьем! – всадник в чёрных сапогах, белых лосинах и на белом же наполеоновском коне!

Мысли мои были непоследовательны, отчего можно подозревать, что это был сон, а не видение ещё я почему-то вспомнила рассказ Гофмана, в котором один из его главных героев, продавший дьяволу собственное отражение в зеркале, то есть душу, ночевал в гостинице с занавешенным зеркалом. Персонажа, занавешивавшего зеркало из-за отсутствия у него отражения, прозвали господином Суворовым в честь русского полководца, который из-за маленького роста не любил своего отражения, и в его присутствии повсюду занавешивались зеркала.

Михаил Богданович выглядел в точности так, как описал его поэт: чело, как череп голый, высоко лоснится. Пространство комнаты, разделяющее нас, оставалось; но оно утратило своё господство. Мой ум был занят не местоположениями, а значением происходящего. Я ещё почувствовала, что времени много, но было неважно, сколько его, и не было смысла смотреть на часы. Что-то мешает тебе, мой Барклай, уйти в небеса и обрести покой? Нависающий всадник? О, да, если не бояться затертых сравнений, он и в самом деле висит, как дамоклов меч.

Любимый Михаил Богданович, тебя нужно освободить от обиды на всадника, уступившем, возможно и по необходимости, инстинктам толпы. И тогда ты обретёшь покой. Эта мысль, как озарение, пронзила меня. Нужно ему сказать, что все это уже неважно! Я резко села, попыталась встать, и тогда - видение исчезло, и дальше уже я не помню ничего, поскольку забылась без сновидений.

Проснулась я от шума воды за окнами, выходящим, как я уже говорила, в замкнутый дворик. Я выглянула в окно (впервые) и с удивлением обнаружила, что двор-колодец, в который едва проникали лучи солнца, на удивление зелёный, да ещё с кустами алых роз у глухой стены, увитой ещё плотным плющом. В обозримом мною пространстве не было ни одной двери во двор. По-видимому, она где-то обреталась, иначе, как бы хозяин мог оказаться в замкнутом пространстве. Человек в серовато-синей косоворотке, напоминающую «толстовку», ещё и с окладистой пророческой бородой, украшенной благородной проседью, из шланга поливал покрытый ярко-зелёным дёрном двор, пересекаемый несколькими дорожками, выложенными из мелкой красной плитки. Вид цветущего двора-колодца с декоративным человеком стиля «а ля Толстой» поразил меня не меньше, чем, если бы я увидела деревья с лианами и висящими на них

обезьянами. На мгновение статичная сцена придвинулась ко мне, как будто бы я навела на неё телескоп, а затем - отодвинулась. Я заподозрила, что ещё нахожусь в состоянии сна или видений, поскольку яркая зелень и розы в известных мне из старых петербургских романов мрачных дворах смотрелись здесь не то чтобы курьёзом, но даже издевательством над петербургской традицией, так же, как и классически трудолюбивый «Лев Толстой». Я распахнула окно и крикнула: «Лев Николаевич!», но хозяин - дворник не обернулся на мой крик, хотя его вполне можно было услышать со второго этажа. «Ах, Боже мой, Лев Николаевич, ты ничего не слушаешь», - проговорила я, а на самом деле процитировала строчку из романа «Идиот».

Не трудно с ума сойти приезжому поклоннику Достоевского, который, как известно, с невероятным упорством и настойчивостью изображал петербургские дворы как замкнутые, безвыходные пространства, провоцирующие преступления. Вдруг я вспомнила, что хозяин, а я с ним познакомилась в первый день, был весьма элегантным господином довольно высокого роста в белоснежной рубашке с воротником апаш, столь редким в наши дни, и он вовсе не сутулился, как этот дворник.

Идея превратить непосещаемый, закрытый, застывший в мертвенной неподвижности, без единой скамеечки двор-колодец в цветник казалась изощрённой игрой ума даже и в таком городе, как Петербург - городе, заявляющем о своём первородстве и диктующим поведение. Увы, не было у меня в Петербурге друзей и знакомых, способных расшифровать несуразности, сказав, например: это всего лишь влияние Пулковского меридиана, пересекающего гостиницу (а заодно и гробницу Аменхотепа), или же северных белых ночей, искажающих видения, или ещё что-то логически объясняющее происходящее.

«Я вполне могу справиться с навязывающим кошмары «петербургским текстом», - постановила я с преждевременной самоуверенностью. Ибо, как только я решила, что одолею активность петербургского пространства, то сразу увидела ЭТО. На каминной доске лежал голубой бант, напоминавший нарядную бабочку. О, я хорошо помнила Андреевскую ленту на портрете. Ленту на камине мог оставить кто-нибудь из прежних жильцов этой комнаты. Я обнаружила в Петербурге моду на Георгиевскую ленту – ею даже украшали дверцы автомобилей и окна домов - знак патриотизма, но Андреевской пока ещё нигде не встречала и, возможно, это и была первая с нею встреча в петербургской бытовой жизни. Я стояла некоторое время в неподвижности, но

потом дотронулась до ленты – она была старинной выделки. Я аккуратно спрятала её в потайной карман сумочки.

Мне нужно было уяснить, что уход, или же бегство (в данном случае созревающее во мне желание панического реального бегства из Петербурга) от традиции – не есть победа, а, наоборот, – поражение. Я вновь подошла к окну. Никого! «Толстовец» исчез вместе со своим «рабочим инструментом». Я спустилась в вестибюль и с усилием принялась завтракать там же, в маленьком ресторанчике. Хозяина не было, его заменяла дама в летнем шелковом платье в алых розах на зелёном поле. Я подошла к стойке и сказала:

- У вас очень интересный двор.

- Да, - ответила она, - жаль только, что он такой маленький. А сегодня к нам «толстовец» приходил ухаживать за ним. Он часто помогает нам из любви к композитору Рахманинову, который жил в нашем доме.

- Настоящий толстовец?

- Настоящий! У нас существует настоящее, вполне законное, зарегистрированное толстовское общество.

- О, я не знала! Это делает честь традициям, поскольку толстовцев, насколько мне известно, уничтожали беспощадно.

- Так это когда было! Сейчас другие времена. Не советские! И мы с традициями - не хуже других.

- Я заметила, что некоторые окна и фасады домов украшены жёлто-чёрной Георгиевской лентой.

- Мы в последнее время часто украшаем ею. Это - наше русское достоинство, которое никто не смеет оскорбить.

- А разве его оскорбляют?»

- У нас много врагов, - ответила женщина, как мне показалось, даже и с гордостью.

- А как насчет Андреевской ленты? Украшается ли ею народ?

- Андреевская? Зачем она?

- Да это я так, к слову пришлось.

С видимым спокойствием, которого отнюдь не ощущала, я вышла из гостиницы, почему-то зашла в сквер педагогического университета, настолько обширный, что его вполне можно было бы назвать парком, прошла мимо центрального здания, некогда дворца графа Разумовского, одного из любимцев Екатерины Великой. Старинный парк и дворец навевали странную грусть и словно затаили в себе некое воспоминание, видение моей души. Я шла неторопливо с ощущением, будто когда-то бывала здесь и всё это видела.

Я мучительно думала о только что виденном мною толстовце – как будто бы не камуфляжном - заодно и о Толстом, его загадочном отказе от творчества в преклонные годы. Сочинительство греховно, объяснял он, поскольку основано на воображении, лжи, подтасовке. Я размышляла о границах свободы творческого воображения, о праве менять реальность по своему произволу. И не могла понять, как мог Толстой поместить Барклая на задний план Бородинского сражения, да ещё и как антагониста Кутузова, ради какой такой художественной правды? Неужели и он совершил литературную провокацию, неужели ради утверждения своей идеи вмешивался в ход романа, вопреки объективности?

Парк оказался сквозным, и я вскоре оказалась на набережной Мойки, повернула направо к Невскому и отправилась к Зимнему дворцу.

Я вновь поднялась по лестнице дворца, дабы на сей раз душой (которая на самом деле утомилась и требовала отдохновения) насытиться сокровищами Эрмитажа. Ещё часа два бродила я по залам прославленного музея, разумеется, восхищаясь им. А затем и направилась, наконец, в свой зал, на сей раз со стороны его торца. Я медлила подойти к портрету. «Успеется», - думала я и, вспомнив (впрочем, я его и не забывала) пушкинского «Полководца», и, стоя посреди почти безлюдного сегодня зала, я, как молитву прошептала строки:

...Толпою тесною художник поместил  
Сюда начальников народных наших сил,  
Покрытых славою чудесного похода  
И вечной памятью двенадцатого года.

Наконец, я подошла к моему портрету. Под высоким красным с блеском воротом с золотым крестом Святого Георгия произошёл некий легкий сдвиг вправо, выводящий «систему» из равновесия. Отсутствие маркированного центра лишало происходящее смысла. Я ошеломленно взирала на медаль: она была без необходимой ленты! Между тем, мундиры на портретах соратников вокруг Барклая все были при ярких голубых пятнышках. Где лента? Я спросила у стоящей рядом девушки, видит ли она под крестом у полководца голубую ленту? Девушка в недоумении уставилась в указанное мной место на картине – и тоже не увидела её. «Никакой ленты нет, - проговорила она. - Зачем вам лента?» Однако все – все герои были при лентах! Разве что Остерман-Толстой оказался без этой небесной лазури, да и то, вероятно, потому, что был в роскошном плаще, прикрывающим,

кроме Георгиевского креста, все другие награды (а также отсутствие левой руки, которую он потерял в битве при Кульме). Читатель может представить моё состояние? О, я никогда не забуду этого момента опрокинутого бытия!

Барклай дарит мне ленту? Но какую? Ту, которая на портрете, или ту, которая была на ночном госте, или же некую третью? Если она – доказательство реальности ночного гостя, то почему её нет на портрете? Я ещё раз заглянула в потайной карман моей сумочки: лента безмятежно и уютно, как обласканный котенок, покоилась там, а затем усталилась на портрет и прошептала: «И да возьмет тебя Всевышний под своё покровительство».

Лицо Барклая показалось мне более умиротворенным, приветливым, на какой-то момент мне даже почудилось, что полководец мне улыбнулся.

—  
Галерею я больше не посещала, не решила проверить, вернулась ли лента на место, однако в потайном кармане моей сумочки таинственная лента всё же покоилась. Я через несколько дней благополучно вернулась в отчий дом без препятствий, неожиданных встреч, реминисценций и прочих литературных фактов и узнала вскоре, что «портретная» лента находилась на своём месте. То есть исчезновения либо не было, либо, кроме меня, его никто не заметил.

Я заказала серебряную миниатюру с портретом Барклая-де-Толли внутри, сделанную на фарфоре. На внешней поверхности миниатюры изображено Всевидящее Око внутри треугольника, точная копия медали участника Отечественной войны и Бородинского сражения – знак моего тайного союза с полководцем. Я ношу на груди медальон круглой формы, надетый на цепочку, а 27 августа, в день Бородина, изящно прикрепляю к нему как бы невзначай ленту, посланную мне Барклаем, в виде банта. Иные мои знакомые интересуются символами медальона и порой, рассчитывая на шуточный ответ, спрашивают, не принадлежу ли я, случайно, к некоему тайному обществу? Я серьёзно отвечаю, что принадлежу – к обществу «Бородино». Получив такой «конкретный» ответ, молодые люди не переспрашивают. Молчат в недоумении.

Однако меня не покидают головоломные мысли о реальности происшедшего, поскольку замкнулся круг между художественным вымыслом и так называемой правдой жизни.

И, кроме того, смогу ли я найти ключ к восстановлению исторического единства, к разгадке и развенчания ложного мифа о

Барклае? Я размышляю об Александре Павловиче, прозванного Благословенным за победы в наполеоновских войнах, вокруг которого и сегодня витают-вьются легенды, в особенности из-за внезапности его смерти. Собственно, а почему бы в контексте столь многочисленной таинственной символики не предположить, что царь исчез с «жизненного плана» при помощи философской смерти - с последующей реинкарнацией - подобно лорду Фрэнсису Бэкону или графу Сен-Жермену?

Согласно одной из легенд, царь как будто бы не умер в Таганроге в 1825 году, а под именем Фёдор Кузмич, терзаемый душевными муками, подверг себя наказанию: отправился пешком бродить с посохом по Руси вплоть до Сибири, подвергаясь наказаниям за бродяжничество - били плетью жестоко. Царь полагал, вероятно, что лучше жить и умереть в тайных покаянных страданиях, чем, находясь на троне помазанником Божьим, исправлять и устранять совершённые ошибки, заодно открывая своему народу историческую истину. Царские предписания и регламенты не позволяют (кажется!) ошибки оглашать, ибо при оглашении возникает риск дискредитации авторитета и святости власти.

Побывал ли сказочный Федор Кузмич в Лифляндии у могилы Барклая, просил ли прощения за исторические подтасовки? Для меня такое предположение, подобно очищающему сну.

Однако некий факт, разрушающий образ «сказочного царя», не укладывается в моем сознании. Аура красивой легенды утрачивается, как только вспомню, что поэта Пушкина Александр Павлович сделал чуть ли не первой жертвой своих немногочисленных репрессий. Нити этой паутины ещё никто не распутал. Не познал ли поэт некую истину целиком, без оторванного клочка? И, страшась своего пророческого видения, зачем-то и зашифровал стихи о царе, так что вначале последующего века учёным с трудом доводилось их расшифровывать:

Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щёголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами царствовал тогда.

Однако меня не покидают головоломные мысли о реальности происшедшего, и я постоянно задаю себе древний вопрос: отражает ли искусство жизнь? Я вынуждена согласится с Франсуазой Саган, записавшей в тетрадке, что жизнь – аморфна, а искусство эту аморфность облекает в самые разные замысловатые

формы. Да, но каковы мои следующие действия? Как вернуть образ подлинного Баркляя из неистребимого мифа, согласно цветаяевской формуле «ибо чара – старше опыта, ибо сказка – старше были»?

Я готова, несмотря на то, что очарована сказочной этой фразой, вступить с любимым поэтом в дискуссию. Наступили новые времена, рассуждаю я, произошел новый зигзагообразный скачок в истории человечества, и вошли в свои права другие средства для распространения истины и лжи.

Страх, что не сумею преодолеть силу фольклора, сказки, чары, а стало быть, некоей великой тайны, остался во мне. Я даже задумала повесть о том, как Фёдор Кузмич все же совершил паломничество к могиле Баркляя де Толли. Вначале я принялась «выстраивать» повесть о том, как в конце своей жизни Лев Толстой, написавший (но недописавший) «Посмертные записки старца Фёдора Кузмича», намеревался совершить такое же паломничество – то есть к могиле Баркляя - и поэтому оправился из дому в последний необратимый путь. Однако неумолимые факты его подлинной жизни настолько грозно вставали на пути, мешая сочинять, что пришлось отказаться от явной литературной провокации - безумной затеи ложных показаний и произвола.

Но, как это ни странно, я не испытываю уныния, скорее наоборот, полна одушевления. А для начала я, «частный человек», что называется «privatier», в отличие от демонического героя Достоевского, всё же «оглашаю свои листки», всё же предлагаю мою петербургскую историю читательскому суду, надеясь на доверие и понимание.





## Шуламит Шалит Голуби



Я не со всяким зверьем за руку здороваюсь, но некоторым могу иногда лапу пожать. Джинджер, например. Придумать же такую кличку собаке (ginger – имбирь). Прежнюю звали Рая, тоже веселенькое имя, и тоже долго привыкали. За пасхальным столом сидела у нас гостя – девушка Рая, а под столом лежала ее тезка. Кто-то произнес: "Рая, передайте, пожалуйста, хрен!", так первой встрепенулась та, другая. Вытянула свою прекрасную морду над столом и ждет! Ну, посмеялись, но какая-то неловкость в воздухе витала. Скучаем все по Рае. А та, другая, говорящая Рая, исчезла, не попрощавшись. С кем? Куда? Может, обидели тебя чем? Ау, Рая, где ты?



Надежная охрана. Фото Гр. Фридберга

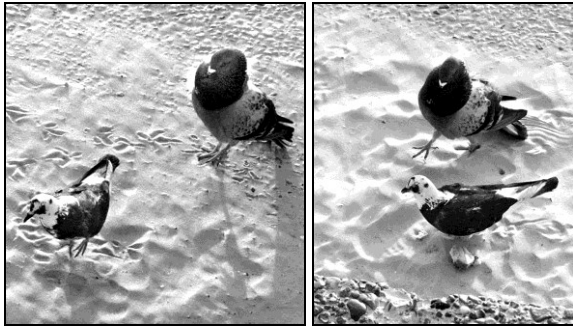
Сейчас в семьях сына и дочери четыре собаки, и о каждой можно говорить отдельно, потому что ни один из иерусалимских псов не похож на брата своего. Их подбросили к дворовой калитке одинаковыми малышами. В свете фар сверкнули три пары глаз, и убежать от них стало невозможным, а разделить – немислимым. Росли как на дрожжах, менялись ошеломительно.

Робин огромный, темно-рыжий, безразличный, Гамади – черный, гладкий, непредсказуемый, и только Оливер, как тель-авивская Джинджер, зазывно так в глаза посмотрит, а потом доверчиво и очень красиво лапу подает. Сердце мое тает... Но я не о собаках сегодня. Они только гости, их привозят и увозят...

А вот голуби – не гости, а почти члены семьи. С этими пернатыми меня связывают особые переживания. Понимают ли они меня, не знаю, но я с ними разговариваю, и иногда они взглядом своим внимательным как будто слушают.

Давно дело было. Повадились ко мне два голубя прилетать.

Выхожу на балкон. Они взмывают, как будто их кто-то сдунул с вазона, а я ведь и не дышала вовсе, а потом, перелетев на соседскую крышу, они тут же – на моих глазах – заводят свои любовные игры. Или на асфальте, или на песке...



Не беги так быстро...

Ну, привет!

Фото Гр.Фридберга

Шуму – на весь квартал. А так, казалось бы, какое нам дело: у них можно и на виду... Времени прошло немного, и самка забеременела.

Откуда я это знаю?

Во-первых, все игры прекратились. Во-вторых, вот уже третий день я выбрасываю сухие стебельки и веточки из третьего по счету цветочного горшка. Они стоят рядком на моем балконе, точнее, балкончике, потому что двоим там не разойтись. Раньше, когда мы еще оба курили, а дома мой господин не разрешал, бывало, он на балкон, и я за ним, так и курили, дыша свежим воздухом, можно сказать, почти прижавшись друг к другу.

Правды ради, он из тех, что на людях нежности не проявит, не покажет – мы не голуби, и это личное! И вообще он человек с правилами. Почти железными. Вот если я первая выйду на балкон (ты столько куришь! – это он мне), то он подождет и только, когда я вернусь в дом, сам выйдет покурить... Впрочем, я уже давно не курю, но помню, что от дыма не своей сигареты страдала всегда. Сейчас страдаю из-за него, нельзя ему, а он курит. Говорит, выкуривает по полсигареты. Уважая мои переживания,

старается курить тайком, чтобы я не видела и не слышала. Но я выхожу на балкончик, к цветам, к своей сосенке, и вижу сбоку, на громадной коробке кондиционера, полную до краев пепельницу. Совсем уж не маяться в семейной жизни нельзя...

А мои голуби уже до алоэ добрались. Все просветы между колючими ростками заполнили разной трухой. Выбираю веточки медленно, осторожно, алоэ колется. Пинцетом, что ли, попробовать? Бережно очистила растение и ушла. И забыла. Через час приоткрыла жалюзи – они тут как тут. Снова – стебельки и тонкие веточки, но на них уже голубица сидит, а голубок рядом, на краешке другого вазона, с фиалками, и на меня одним глазом косит, робко и тревожно... Я его понимаю, но и он меня, кажется...

– Ох, милый, не могу я вам этого позволить, понимаешь? Топайте-ка отсюда, пока до греха не дошло. Не вашего, ваш-то уже позади, а моего. Вы снесете у меня свои яйца, из них вылупятся птенцы. А птенцов как выбросишь? Не смогу...

Даже во сне они ко мне приходят, стаями, тучами...



Голубиные сны. Фотоколлаж Гр. Фридберга

Лет десять назад вот так же вились вокруг нас другие голуби, может, именно ваши предки, а потом случилась беда. Мы все начали чесаться. Нас кусала какая-то мелкая мошкара. Неграмотные, неопытные, мы терпели, боролись всякими спреями-дезодорантами, пока мой рыжий дядька не объяснил, что напасть эта от вашего брата – голубей.

И что же оказалось? А то, что голубь бросил свою больную подружку в нише между нашим этажом и верхним, соседским. Из-за болезни, скорее всего, и бросил. Знала я одного поэта, с моей подружкой жил-дружил, а когда заболела, сказал: «извини, роман наш исчерпан». Какая пошлость, но кого предавали – о боли помнит...

Ладно, про голубицу. Как отрубил – ни друзей у нее, ни родных – никто не подлетал к ней больше. По наивности я была счастлива – голуби больше не шумели, в пять утра не будили. Но

каково же было ей? Она терпела в одиночку, молча. И вот ее мучения кончились, но начались наши... Пришлось дезинфицировать все подряд – и голубку, вашу родственницу, и себя, и все, что в нише хранилось. Муж очень решительно все из ниши повыкидывал. Я должна была под домом, внизу и сбоку, стоять, чтобы какая-нибудь ложка-плошка-деревяшка не упала на случайного ребенка или взрослого. Это первая часть эпопеи. Вторая: кое-что из выброшенного собрав, приношу обратно, например, длинную кавказскую ложку – размешивать мамалыгу. Хоть раз мы эту мамалыгу дома готовили? Нет! Но ложка-то какая – в полметра длиной! Часть третья: подобранное мною из выброшенного им – жаровня для шашлыков, резервные полки из шкафа и другие совершенно замечательные и ненужные предметы, поскольку едва ли когда-нибудь пригодились бы в хозяйстве, мой господин снова, уверенно и окончательно, выбросил на помойку. И четвертая, последняя, серия. Чистка и мойка! Настоящая симфония в 4-х частях! Специально шланг купили, чтоб из кухни до балкона, через всю квартиру, до ниши доставал. Мыли и скребли. Потом себя... Ни разу за десять лет не ела мамалыги, ни с подливой из алычи, ни с сыром, но ложку-то можно было оставить? Себя ведь отмыли, и вещи можно было отмыть. Там еще палочки такие из детской кроватки были, крашенные... Детской кроватки давно нет, это правда. Ну и что? Может, будет? Если тебе такая палочка мало ли для чего потребуется, где ее достанешь? Изящную вещь и без особой надобности приятно иногда взять в руки. А там, глядишь, когда-нибудь на что-нибудь сгодится.

Пока мы приходили в себя, а я тихонечко ругалась, раздумывая, не сходить ли мне на помойку снова или не стоит, время ушло. Даже не сомневаюсь, что наше добро кто-то уже в свою берлогу унес. У людей ведь как у вас, голубей. Только отвернешься – они тут как тут. А потом - с головой, что ли, в помойку лезть?

Впрочем, бывало и такое, вспомнить смешно. А тогда смешно не было. Я вам, голуби, про нас самих расскажу. Воспоминания это всегда цепочка получается, потянешь за одно колечко, а к нему другое прицепится, и еще что-то выловишь. Подруга у меня мистики всякой начитается, потом поучает. Мысли, говорит, набегают, мучают, спать не дают. А ты не борись, дорогая, скажи им: мысли вы непрошенные, сядьте вон туда, на низкую скамеечку, и посидите, нужно будет, позову...

Такая история. Дети выбросили старую телефонную книгу. А в ней были доллары. Все наши доллары, около тысячи.

Однажды мы объявили, что родители тоже люди и устают не меньше детей, и что теперь каждый из них будет помогать в хозяйстве, хотят вместе, хотят врозь, и они таки стали каждую пятницу после уроков убирать квартиру. Но убирать не значит выбрасывать без спросу! Появилась новая телефонная книга? Ну и что? И старая на что-нибудь сгодится. Не помню, как это получилось, но они в тот же вечер и признались, наверное, хотели похвалы, вон как хорошо поработали... Могли ведь и не сказать. Дочь особенно – всё готова выбросить. Если хочешь, говорит, я наведу дома порядок, но уговор: все лишнее выбрасываю, ты не вмешиваешься, тебя нет дома, и тогда вместо двух шкафов в одной комнате останется один на две комнаты. А твоя комната перестанет напоминать гроб. Так и сказала. И зачем мне столько книг? Но я не решилась – ладно, поживу с двумя шкафами...



Набережная в Тель-Авиве. Фото Ноа Рудник

А тогда все мы побежали к мусорке, кто уж там думал, как мы выглядим, и видят ли нас соседи... Нет-нет, простите за неточность, наш папа, знакомый уже вам господин, остался дома. Интеллигент! Да вы с ним уже знакомы, в очках, курит по полсигаретки, в комнате – никогда, ну, никогда, только на балконе. Деньги не главное, ради них не роются в мусоре. Раздражает? Ничуть. Не лирик – физик. Умный. В юности его кумиром, по понятной причине, был Эйнштейн. Мне нравится такой анекдот. Сидят в тюремной камере двое – Эйнштейн и еще кто-то. Первый молчит, второй ходит из угла в угол, останавливается, просит объяснить ему теорию относительности. Эйнштейн задумчиво: вот ты ходишь-ходишь, а все равно ведь сидишь... Мне анекдот нравится, а мой физик может теорию

относительности объяснить! Что в семье главное? Уважение. В канун субботы непременно цветы. И так – со своих шестнадцати лет. Правда, тогда мог розы и в музейном сквере срезать, а как повзрослел – ни веточки не сорвет, за каждый аленький цветочек заплатит. Поверьте, девицы-голубицы, с предсказуемым человеком жить легче.

Выудили мы ту телефонную книгу и спасли нашу тысячу долларов. Ну, не полную тысячу. «Тоже мне сумма, – сказал он, – я-то думал – деньги! Это наша мамочка насобирала за десять лет?! Деньги держат в банке!».

А моя мамочка на это сказала бы: «Фаршпорер лучше, чем фардинер», то есть, от того, кто экономит, больше пользы для дома, чем от того, кто зарабатывает. Скажите это на каком-нибудь языке так же коротко, ловко и точно, как на идише? А ведь и правда: я эту тысячу по шекелю собирала. Хотите новое колечко на цепочке?

Наберу до ста долларов – по обменному курсу черного рынка, как в газете сообщается (тогда сообщалось), – и к дядьке рыжему, меняться. А он всегда чуть-чуть больше просит. Я ему говорю, я же твоя племянница, и потом в газете написано, какой сегодня курс. «Вот с газетой и меняйся», – отвечает и даже рыжей своей бровью не ведеет. Клиентка я – и все тут. А как племяннице, назавтра мог и сухофруктов принести (я очень груши тогда сушеные любила), и курицу мороженую, и конфеты «Коровка» (польские хуже бывших рижских, но он их все равно покупал, по вкусовой памяти), и даже икру красную в баночке... На это ему не жалко, а когда дело касается "профессии" менялы, как леший в него вселяется – ни копейки, ни шекеля не уступит, что уж о долларах говорить. Это святое. Третий храм! Но как не стало его, рыжего, а обменных пунктов еще не открыли, так все соседи застонали, что не у кого доллары покупать, чтобы с доверием, потому что он хоть и дороже чуток брал, да фальшивых у него не бывало.

Получается, честный "валютчик" был мой дядька. И мне его не хватает, потому что иногда просыпалось в нем что-то такое, совсем другое, романтическое... Он знал названия всех звезд и планет, показывал их на небе и называл по именам, будто друзей представлял. И еще брови, помню, пышные, густые, как у моего отца. Однажды рассказал мне, что Израиль кормит не только голодных в Африке, но даже пролетающих журавлей.

И ведь не выдумал, вскоре в журнале сама прочла, что журавли из Финляндии прилетают к нам по дороге в Нигерию, причем они являются исключительно отдохнуть и подзаправиться,

и тогда, сытые, летят дальше. Но я не государство, я частный человек, всех прокормить не могу. Вот вам крошки – клюйте на здоровье. Ах, вам этого мало? А что насчет гречневой каши? И как можно столько есть, не понимаю.

А вы понимаете, почему я вас, голубей, боюсь? И ваши веточки и палочки выбрасываю и не даю вам вывести голубят именно на моем балконе? Плодитесь и размножайтесь, но в другом месте, например, в центре прекрасного испанского города Севилья или на площади святого Марка в Венеции – бывали? Хотите у нас тоже? Ну, так в парке, на набережной...

Где хотите, там и плодитесь, но не на моем балконе. Вы что, не видите, он всего-то размером 80 на 80, не метров – сантиметров!

И не смотри на меня своим грустным оком.

Сумерки. Запираю балконную дверь, закрываю окна. Иду на кухню.

Они за стеклом. Хичкок!



Голуби в окне. Фото Ш.Ш.

Джинджер, ты меня понимаешь?

Ну, давай лапу!



# Егор Черлак Катили апельсину по городу Берлину

## Правдоподобная небыль в двух действиях

### Действующие лица:

- ФИЛИН
- УЖИН
- ПЛАСТИЛИН пионеры конца 60-х
- ВАГИНА
- ОКАЛИНА
- АЖ ДВА О (Ольга Ольгердовна) - их бывшая пионервожатая.

### Действие первое



Н еприглядна, скучна и уныла поздняя осень в небольшом городке. Да и что может быть пригожего в стылых лужах, которые целыми днями морщат лоб под порывами холодного ветра, в сонном шелесте высохших стеблей полыни, давным-давно позабывших, каким оно может быть - ласковое прикосновение встающего над горизонтом июньского солнышка?..

Такими вот побуревшими до черноты неживыми стеблями полон городской парк. Когда-то в этом парке по субботам и воскресеньям из репродукторов бубнил "Маяк", скрипели незамысловатые аттракционы, а скачущие у своих тележек краснолицые тётеньки подавали вам тёплые пирожки с повидлом, прихваченные с двух сторон жёстким серым бумажным листком размером с промокашку. А теперь...

Теперь здесь трава в половину человеческого роста, разросшиеся карагачи и тополя да вставшие стеной кусты одичавшей акации. Кое-где ещё видны остовы скамеек с выдранными рейками, контуры когда-то асфальтовых дорожек - но их разглядят разве что беспробудные энтузиасты, рискнувшие забрести в старый заброшенный парк. Что могут ещё увидеть здесь эти отважные исследователи? Да, да, они, конечно, не



пройдут мимо облупившейся стелы, десятки лет назад игравшей роль главной достопримечательности этого города. Однако мало, очень мало найдётся таких смельчаков - особенно поздним ноябрьским вечером.

Темнота, окутавшая сцену, постепенно отступает, и мы начинаем различать в центральной части невысокую каменную стелу. От побелки, от надписей на фронтальной её части мало что осталось, штукатурка на боках памятника во многих местах отпала, обнажив выщербленные рёбра то ли кирпичей, то ли шлакоблоков. С обеих сторон к стеле тянутся ветви давным-давно не стриженных кустов, добрая половина листьев на них уже облетела.

Слышите? Это зашелестели ветки справа. Кто бы это мог быть? Ага - из кустов не спеша вылезает пожилой мужчина с ломом в руках. Это Филин. Осторожно озираясь, Филин в полумраке крадётся к стеле.

Секунду спустя из тех кустов, что слева, выбирается другой человек, он примерно такого же возраста. Фамилия его Ужин, под мышкой у него зажата кирка. С не меньшими предосторожностями Ужин приближается к стеле, но с другой стороны. Темнота и завывания ветра пока не позволяют мужчинам догадываться о присутствии друг друга.

Вот они уже рядом с памятным знаком. И тот, и другой внимательно разглядывают боковину стелы (каждый свою), тщательно ощупывают её - словно оценивают. Вот один берёт в руки лом, другой кирку, вот они замахиваются и одновременно наносят удар.

Шум с противоположной стороны памятника заставляет мужчин выронить инструмент и в испуге отскочить в сторону.

ФИЛИН. Едрит-мадрид-архимандрит! Кто это?.. Кто там?

УЖИН. Дед Пихто! А ты-то сам... Ты чего здесь?

ФИЛИН. Я, вроде, первый спросил... Тебе чего тут надо, а? Здесь вообще-то парк городской, сквер как бы... Общественное место... Здесь по ночам не шастают.

УЖИН. Вот именно - общественное! Кто хочет, тот и ходит... И когда хочет.

ФИЛИН. Ага, и с чем хочет...

*(кивает на лежащую кирку)*

Особенно, с киркой наперевес... Ты на кого это такой дурындой запася?

УЖИН *(угрюмо)*. На медведя...

*(смотрит на валяющийся лом)*

А ты, небось, на лося, а? Или на зубра?..

ФИЛИН *(сплёвывает)*. На мамонта!

*(подозрительно оглядывает незнакомца)*

Вообще-то ночь уже почти... Двенадцать доходит... Тебе чего не спится? Чего тебе в парке понадобилось?

УЖИН. Вот и я тоже... Тоже хотел поинтересоваться... Чего ты здесь, на ночь глядя, потерял?

ФИЛИН *(закуривает)*. А гуляю! Не спится - вот и гуляю. Бессонница, понимаешь... Ты ЗОЖ выписываешь? Нет? Выпиши обязательно! Там статья была: прогулки на свежем воздухе - лучшее лекарство от бессонницы.

УЖИН. Ну-ну... Тем более, с ломом...

ФИЛИН. А хотя бы... Когда с физической нагрузкой - оно ещё полезнее!

УЖИН. О! Значит, и я тоже - для нагрузки, от бессонницы...

*(поднимает свою кирку)*

Ладно, хватит Ваньку валять. Колись, Филин, чего здесь потерял?

ФИЛИН *(аж сигарета изо рта выпала от удивления)*. Ничёсе, едрит-мадрид... Ты это как вообще?.. Мы с тобой что... Мы знакомы разве?

*(приблизился вплотную, глядит в лицо собеседника)*

Точно, точно, где-то мы... Никак Ужин? Вправду, что ли, ты?.. Вот это номер! А я всё соображаю, допетрить не могу - голос-то знакомый...

УЖИН. Ещё бы не знакомый, столько лет за одной партией!.. И в лагерь вместе сколько раз... И на соревнования...

ФИЛИН. Точно! Смотрю, а не пойму...

УЖИН *(усмехнулся)*. Да ты и в школе такой же был непонятливый - тугодум. Тормоз.

*(добродушно смеётся)*

ФИЛИН. Но-но-но! Сейчас как дам - за тормоза-то... Забыл, как в школе огребал?

*(озадаченно чешет поросль на кадыке)*

Это ж сколько лет, а?.. Сколько - не виделась?

УЖИН. А сам посчитай. С выпускного и не виделась. Сорок лет, с гаком...

ФИЛИН. Ещё с каким гаком-то!.. Аж подумать страшно.

УЖИН. А про годы лучше не думать совсем... Ну их - считать ещё... Как ты? Где?

ФИЛИН. Да на пенсии, три месяца уже на пенсии. Как 60 долбануло - так и выставили с завода. Почётную грамотку в зубы - и на заслуженный, как говорится... Ходил первое время, будто с похмелья, всё привыкнуть не мог... Всю жизнь оно как было? В

6.30 подъём, завтрак, потом на работу. В 17.00 - станок выключил и домой. На выходных - сад, рыбалка, с друзьями там иной раз в гаражах побарагозишь... Всё своим чередом, всё размеренно... А тут херакс тебе - и пенсия, как обухом! Первые недели вообще волком выл, хотел назад бежать, в цех проситься... Теперь попривык уж... А ты? У тебя как?

УЖИН. А что у меня... Нормально у меня... Тоже на пенсии - правда, давно. Я ведь это... Я по линии МВД, а у нас на пенсию рано... Выслуга, то да сё...

ФИЛИН. Погодь, погодь... Какое МВД? Я пару лет назад Клофелина в гастрономе встретил, помнишь Клофелина? Ну, дылда такой, он ещё правофланговым в нашем отряде стоял... Так он сказал - ты в оркестре был... На дудке, мол, играл.

УЖИН (*наставительно*). Не на дудке, а на гобое... Ну, правильно - в оркестре! В сводном оркестре областного управления внутренних дел - 20 лет почти... Благодарность от министерства, две медали, звание залуженного деятеля...

ФИЛИН (*хмыкнул*). Деятеля! Вот уж точно... Деятель, блин - с киркой по парку тёмной ночью!.. Слушай, а ты ведь и в школе тоже того... Ну, на трубе, на горне... Ну, в нашем пионерском отряде... Я хорошо помню! Тебя ещё Композитором дразнили.

УЖИН. Было дело... Отрядный горнист, должность не из последних... Ух, какой горн у меня был, какой горн!.. А звук у него!.. Я свой горн никому в руки не давал, сам его чистил, сам мундштук к нему подбирал и обтачивал... Но зато он и играл у меня!.. Представляешь, он мне до сих пор иногда снится - мой горн. Точнее, не горн, а звук его... Ох, что за звук!.. Как янтарная бусинка по хрустальной рюмке катается – во какой... Всё бы отдал, чтоб хоть разок ещё на нём сыграть.

Ужин закрывает глаза и изображает, как он играет на горне.

УЖИН. Из всех горнистов нашей дружины только мне одному разрешали горн домой брать. Он у меня на тумбочке перед кроватью всегда лежал.

ФИЛИН. Да-а... Времена были... Вот такие шкеты были мелкие, от горшка два вершка, а у каждого уже что-то за душой - своё, персональное... Характер, отличие какое-то... Ты вот с горном своим носился, Никотин, ботаник-то наш, лобзиком всё выпиливал, про него даже в районке заметка была. А Курятина - та стихи сочиняла, могла целую стенгазету из стихотворений составить...

УЖИН. А у тебя - марки. Помню: ты марки собирал... И как? До сих пор коллекционируешь?

ФИЛИН. Да как тебе сказать... Что-то раздарил, что-то потерял, что-то дети с внуками порастаскали... Но ту коллекцию, что с космонавтами - помнишь, у меня была с первыми космонавтами? - храню. Там, правда, одной не хватает, гэдээровской, специального гашения, с Германом Титовым. Нигде не мог достать... Но с космонавтами храню. Её - никому и никогда... Дома альбом лежит, иногда достаю, смотрю, вспоминаю...

*(снова закуривает - видимо, расчувствовался)*

УЖИН. А что... И правильно... Есть, что вспомнить... А разве нечего?

ФИЛИН. Как это нечего? У нас такой отряд был - самый боевой во всей дружине! Да что там в дружине - во всём районе!.. На смотре пионерской песни, на конкурсе речёвок, на "Весёлых стартах" - всё мы... Всегда первые места!

УЖИН. А почему? Всё благодаря вожатке нашей... Как её? Э-э-э...

ФИЛИН. Аж Два О.

УЖИН. Точно - Аж Два О, Ольга Ольгердовна! Ей эту кликуху из-за химии ведь дали?

ФИЛИН. Угу, она химию у старшаков вела... Так, часы какие-то... А в основном, всё с нами, с мальками красногалстучными.

УЖИН. Сейчас вспоминаешь - и диву даёшься. Откуда у вожатых только время на нас находилось? У той же Ольгердовны... Весь же день с нами: то маршируем, то "Взвейтесь кострами" ко Дню пионерии разучиваем, то под её руководством плакаты против сионизма, империализма и всякого там ревизионизма рисуем...

ФИЛИН. Да, вообще... Мировая была тётка...

УЖИН. Это нам тогда казалось, что тётка, а на самом деле... Какой она тёткой была? Лет на 15 всего нас старше... Нам тогда по десять было, а ей, значит...

ФИЛИН. Лет 25-26... Интересно, жива ли?..

Молчат, думают, вспоминают.

ФИЛИН *(бросает окурок под ноги)*. Слушай, а ведь и в караул... В караул почётный, к юбилею революции, нас тоже из-за неё взяли. У кого быстрее всех построение? У нас быстрее. У кого салют чёткий и синхронный? У нас опять же...

УЖИН. А галстуки! Галстуки у нас всегда свеженькие, отглаженные - Ольга Ольгердовна жёстко за этим следила. Если не

понравится ей - ни слова не говоря, снимет с тебя галстук, отутюжит и опять повяжет. Узел у неё ещё такой был... Такой, особый... Красиво умела завязывать.

ФИЛИН (*кивает на стелу*). Здесь вот тогда и стояли... В карауле - здесь, на этом самом месте, когда капсулу времени закладывали. Помнишь?

УЖИН. А то... Конечно, как будто вчера...

ФИЛИН. А ведь воды утекло... Когда это было? Какой год? 67-й ведь?

УЖИН. Ноябрь 67-го... 7 ноября, ровно 50 лет назад... Тогда тоже зябко было.

ФИЛИН. Даже ещё зябчее... Зябчее... Холодней, короче. Снег уже летел... То дождь, то снег...

УЖИН. Помню, помню... Снег падает - и тает сразу, на лице прямо тает... Вода стекает по щекам, а ты всё равно стой ровненько, не шевелись - почётный караул как-никак... Словно у кремлёвской стены!

ФИЛИН. Куртки расстёгнуты, чтобы белые рубашки и галстуки видны были, на головах пилоточки, ноги мокрые, девки вообще в туфлях и гольфах... А ты знай, тянись в струнку и не шелохнись.

УЖИН. Ага... У Аж Два О не очень-то шелохнёшься! Если плохо стоял - маршировкой потом замучает, в стенгазете пропесочит, а то ещё и галстука на месяц лишит!

ФИЛИН. Это самое страшное считалось - когда галстук отбирали...

УЖИН. У-у-у, не дай Бог! Слёз было...

И снова мужчины на какое-то время умолкли.

УЖИН (*отходит чуть-чуть в сторону*). Да, да, вот тут я - с горном своим тогда... Деревьев этих не было, потом их посадили, кусты маленькие ещё... Зато, кажется, клумба была?

ФИЛИН. Да, точно, клумба вот на этом месте!

(*показывает*)

Здоровенная такая, красным кирпичом со всех сторон обложенная. И на ней слова прямо из цветов: "50 лет Октябрю". Я ещё помню - мешала мне эта клумба здорово. Я ведь разводящим был - одних с поста снимал, других ставил... Ты маршируешь такой, носок тянешь - а тут, блин, лютики-цветочки на пути...

В это время с противоположной стороны шумно раздвигаются кусты, из которых выбираются Окалина и Вагина. Они не замечают мужчин, потому что заняты непростым делом - женщины вызывают запутавшиеся в густых ветках лопаты. Ужин и Филлин едва успевают укрыться в тени стелы.

ОКАЛИНА. Фу-у, наконец... Это джунгли какие-то, а не парк. Битый час плутали!

ВАГИНА (*стряхивая с куртки приставшие листья*). А чего ты хочешь, если все фонари гопота раскокала... Темнота - как у афроамериканца в этой самой... В смысле, как в лесу.

ОКАЛИНА. Лес настоящий и есть. Тайга!

ВАГИНА. Сейчас ещё ничего, сейчас трава завяла. А летом приди - чертополох с меня ростом, лопухи, крапива... Пропадёшь на раз-два, заблудишься и ни до кого в жись не доаукаешься.

ОКАЛИНА (*с подозрением*). А что, часто здесь бываешь?

ВАГИНА (*уклончиво*). Часто, не часто... Заезжала как-то в августе.

ОКАЛИНА (*в голосе её недоверие*). Примерялась уже? Приценивалась? Может, ты её без меня хотела - капсулу-то?..

ВАГИНА. Окстись, подруга! Чеканулась на склоне лет? Вообще уже... Ты что, забыла, о чём мы договорились? А я вот помню: вдвоём, вместе только - и ровнёхонько 7 ноября!

(*пытается взглянуть на часы*)

Да и бесполезно в другой какой день - всё равно не сбудется. Только в столетие, тютелька в тютельку, сама знаешь.

ОКАЛИНА. Знаю... И что не сбудется в другой день - тоже знаю... А всё равно боязно, вдруг обманешь? Ты ведь такая, ты ещё в школе такой была... Пронырой... Помнишь, мы дежурили, а ты сказала, что у тебя понос, живот, мол, прихватило? Сама домой ускакала, а я весь кабинет одна мыла. А девчонки потом сказали, что ты с Говядиной в кино пошла на "Внимание, черепаха!"

ВАГИНА. Ну, ты меня до смертной доски будешь этой черепахой попрекать, дежурством этим... Маленькие были, глупые... Ты лучше время посмотри, а то я на своих не вижу ни черта: может, наступило уже?

ОКАЛИНА. Как я посмотрю? Где? Не взяла ни часов, ни телефона...

ВАГИНА. Картина Репина "Приплыли"! А голову дома не забыла?

ОКАЛИНА. Ну, чего ты всё ругаешься? Чего?.. И так понятно, что скоро уже... Вышли в 11, пока по парку шарохались - вот уже и полночь... Так где-то...

(*подходит к стеле*)

Скорей бы уж! Смерть как хочется узнать - сбудется, не сбудется...

ВАГИНА. Конечно, сбудется! Ольга Ольгердовна говорила же, что обязательно сбудется. Зачем ей было врать?

ОКАЛИНА. Да понятно, понятно... Она нас никогда не обманывала... А всё равно беспокойно. Вот тут - беспокойно как-то... Жмёт...

*(показывает на грудь)*

ВАГИНА. Лифчик на размер больше купи - и жать не будет. Жмёт ей... Вечно ты... Одной мне надо было идти, одной!

*(с досадой машет рукой)*

ОКАЛИНА. Ты что! И ты смогла бы - без меня? Договаривались же вместе.

ВАГИНА. Да шучу я...

*(после паузы)*

Хотя... Желание-то всего одно... В смысле, сбудется - одно только.

ОКАЛИНА. Вот именно! Поэтому и уговорились с тобой заранее, что жребий бросим. Монетку - орёл или решка.

ВАГИНА *(вздыхает)*. Ну, ладно. Монетку так монетку. Доставай.

Окалина начинает лихорадочно рыться в карманах.

ОКАЛИНА *(испуганно)*. Нету! Потеряла, наверно... Был пятак, вот здесь вот лежал, а сейчас нету... Может, выронила?

ВАГИНА *(от злости аж лопатой о землю стукнула)*. Да ты издеваешься? Во тютюндра!

ОКАЛИНА. А мы тогда это... Мы без монетки жребий...

ВАГИНА. Ну, и как?

ОКАЛИНА. Спички будем тянуть - короткую и длинную... *(спохватилась)*

Спичек тоже нет... А мы тогда - веточки! Точно - две веточки возьмём - длинную и покорооче. Кто короткую вытянет, тот и загадывает желание.

ВАГИНА. Нет, лучше - кто длинную.

ОКАЛИНА. Ладно, только тянуть я буду.

ВАГИНА. Почему это ты?

ОКАЛИНА. Потому что ты опять сжульничаешь. Помнишь, как мы в седьмом классе дежурили, и ты сказала, что у тебя понос?..

ВАГИНА *(поспешно)*. Хорошо, хорошо, ты будешь тянуть. Не зуди только...

*(присматривается к лопате подруги)*

А это что? Ты вообще, да?.. Ты что такое сюда притащила?

ОКАЛИНА (*обхватывает черенок своей лопаты*). Лопату... Ты сказала, что надо лопату - я и взяла. У дворничихи нашей, у Ссадиной выпросила.

ВАГИНА (*забирает у неё лопату*). И это, по-твоему, лопата?

ОКАЛИНА. А что ж ещё? Конечно, лопата!

ВАГИНА. Это ГМО на палочке, а не лопата! Это же совковая!

ОКАЛИНА. Ну, и что? Какая разница?

ВАГИНА. Большая! Совковой же - грузить только... А нам долбить сейчас придётся, долбить! А ты - совковую... Ты как этой лопатой каменную кладку собираешься ломать? Ты бы ещё для снега лопату прихватила... Штыковую надо было!

(*потрясает своей штыковой лопатой*)

ОКАЛИНА (*обиженно*). Ты сказала лопату - я и взяла лопату... Откуда же я знала, что штыковую надо?

ВАГИНА. А сама дотумкать не могла?

(*вертит в руках лопату подруги*)

Вот что теперь делать? С одной лопатой - мы так до утра провозимся... А если вдруг моя сломается?..

В этот момент из своего укрытия выступает Филин.

ФИЛИН. Не беда, если сломается. На этот случай другой инструмент найдётся, понадежнее!

Женщины в ужасе отшатываются. Окалина прячется за спину Вагиной.

ВАГИНА. Это ещё что за явление? Ты кто? Ты зачем здесь?..

(*оправилась от первого испуга*)

А-а-а, понятно. Праздник ещё не начался, а он уж того... Отмечает... Налил шары!

ОКАЛИНА (*выглядывает*). Ага... Алкаш, натуральный алкаш!

ВАГИНА (*грозно*). Для того вам парк, чтобы квасить тут? А?.. Чтобы людей по ночам пугать?

ОКАЛИНА. А мы сейчас это... Мы полицию позовём.

Филин смеётся и за рукав вытаскивает из-за стелы Ужина.

ФИЛИН. Не-е, девчонки, не надо полицию. У нас здесь свой полисмен имеется. Вот. Совсем настоящий - из самых что ни на есть внутренних органов...

ВАГИНА. Ну, что ты несёшь, что несёшь? Он же без формы.

ОКАЛИНА. Знаем мы таких полицейских! Повидали... Небось, собутыльник твой? Такой же сникяк?



*(выходит из-за спины подруги)*

Дома пить нужно! Или на скамейке у подъезда, в крайнем случае.

УЖИН. Дома, точно! И на скамейке... А вам, девоньки, что дома не сидится? Смотрели бы сейчас по телевизору какую-нибудь чувствительную мелодрамку, чай с вареньем попивали бы... Нет, в парк их понесло!

ФИЛИН. Да ещё ночью, да ещё в таком возрасте...

ВАГИНА *(всплеснула руками)*. Совсем алкотронщики распоясались! Какие мы вам девоньки?.. Ещё и на возраст намекают, собаки сутулые...

УЖИН. Конечно, девоньки! А кто же ещё? Девоньки-санитарочки...

*(смотрит на Вагину)*

Ты вот в первом звене санитаркой была...

*(переводит взгляд на Окалину)*

А ты - в третьем... Так?

Женщины некоторое время растерянно молчат. Вагина полезла в карман за очками.

ВАГИНА *(надевает очки)* Погоди-ка...

*(приглядывается)*

Филин? Ты ли, что ли?.. Ой, мать моя женщина!

ФИЛИН. Ну, наконец... Так, теперь проверка на вшивость: его узнаете?

*(хлопает Ужина по спине)*

ВАГИНА и ОКАЛИНА *(в один голос)*. Ужин!

УЖИН *(манерный поклон)*. Собственной персоной...

ОКАЛИНА *(трясёт Ужина за плечи, вертит его)*. Он, он это!.. И уши те же - лопухами, и нос всё такой же...

ВАГИНА *(хихикает)*. Ага - грушей.

ФИЛИН. Узнали? Вот так-то... Ох, сколько вы нам в младших классах кровушки попили...

ВАГИНА. В смысле? Это как? Чего это мы вам попили?

ФИЛИН. Забыли уже? Вы ж тогда санитарками обе числились, на чистоту нас проверяли. Ну, и жучили пацанов за грязные ногти, за уши невымытые!.. Стоят, главное, такие у двери в класс - и досмотр нам устраивают.

*(подмигивает)*

Когда беспорядок какой замечали - хрена с два в класс пропускали. Да ещё Аж Два О потом ябедничали.

ОКАЛИНА. Ольге Ольгердовне, что ли? Ага...

ВАГИНА *(строго)*. И не ябедничали, не ябедничали мы... Просто докладывали - как полагается, в журнал записывали... А

чего с грязнулями цацкаться? Занесли бы в школу заразу какую-нибудь...

ОКАЛИНА. А я, к тому же, ещё и причёску всегда проверяла. Смотрела, чтобы мальчишки аккуратно пострижены были.

УЖИН. Во-во... Мне постоянно за лохмы мои доставалось, у меня же во все стороны торчали... Зато сейчас...

*(снимает кепку - под ней лысина)*

Зато сейчас - не придерёшься.

Все смеются.

ФИЛИН. А у меня, когда ногти или шея того, не очень были- я конфетами откупался. "Гусиными лапками"... Помнишь, Окалина? Твои любимые.

ОКАЛИНА. И не "Лапки" вовсе, а "Белочка"! На крайний случай - "Красный мак".

ВАГИНА. Что, правда? Так ты взятки брала? Конфетами?.. Вот уж никогда не подумала бы!

Снова общий смех.

ВАГИНА. Ладно, нам тоже от вас прилетало - будь здоров! Забыли, как вы нас за косички?.. А?

ОКАЛИНА. А как юбки нам поднимали?! Один задерёт - и отбежит, а остальные стоят, ржут, как ненормальные. Будто трусов никогда не видели...

УЖИН. Ой-ой-ой, какие мы были нежные, беззащитные!.. Вы когда кучей собирались, с любым пацаном могли справиться.

ФИЛИН. Я и говорю... Помните, как на картошку в шестом классе ездили? Ну, в колхоз какой-то - "Ни свет, ни заря коммунизма"... Сахалин тогда лягушку на поле поймал и кому-то из вас - в карман...

ОКАЛИНА. Мне, мне он её сунул. Только не в карман, а за шиворот. Дебил вообще...

ФИЛИН. И что вы с ним сделали? Не забыли? Вечером возле тубзика подловили, скрутили - и прямо в очко башкой... Ох и орал тогда Сахалин... Как потерпевший орал, на всю деревню!

ВАГИНА. Так вопил, что Ольга Ольгердовна прибежала. Она ведь с нами тогда на уборочную ездила.

УЖИН. Она... У классной-то нашей всю дорогу откосы: то она на больничном, то ребёнок у неё, то курсы переподготовки... А аж Два О всегда на подхвате, всегда рядом с нами. Настоящая вожатая!

ОКАЛИНА. Да она, бывало, и классные часы с нами проводила. Я уж о всяких там концертах, субботниках и днях

рождения не говорю... Да, здоровская вожатка была! Но и строгая тоже...

ВАГИНА (*назидательно*). Строгая, но справедливая. Помните, как Жадина нас без обеда оставила? Ну, когда её по столовке дежурной назначили... Короче, её поставили котлеты по порциям раскладывать, а она все котлеты взяла и сожрала. Мы приходим, а там...

ФИЛИН. А-а, точно... Было, было что-то, припоминаю...

ВАГИНА. Другая на месте Ольгердовны раздула бы из этого такую эпопею... А она - нет. Знала, из какой Жадина семьи. Их у матери шестеро было, Жадина - старшая. Я разок к ним домой заходила, там такой караул... Вообще...

УЖИН. Да все это знали. Все! Она и одевалась-то всегда... Ремок ремком.

ОКАЛИНА. Ага! Платье мешком, колготки штопанные-перештопанные, сумка хозяйственная вместо портфеля... Про галстук уж и не говорю - Аж Два О ей всегда свой отдавала.

ФИЛИН. А спросят её на уроке - встанет и стоит столбом. Молчит, словно партизанка на допросе... Заторможенная какая-то...

УЖИН (*усмехнулся*). Заторможенная, а 20 котлет - того... Как корова языком... А?

ВАГИНА. Да нет, не совсем так... Что-то, может, и слопала, но... Домой она их унесла. Жили-то бедно, на макаронах да на крупе... А там братишки... Ольга Ольгердовна знала об этом, конечно.

ФИЛИН. Мда-а... Дела...

Некоторое время наши герои задумчиво молчат.

ВАГИНА. А всё равно хорошее было время... Тёплое такое, душевное...

УЖИН. Главное - насыщенное! Интересовались вечно чем-то, стремились к чему-то...

ОКАЛИНА. Благодаря ей и стремились. Благодаря вожатой нашей!

ВАГИНА. Как сейчас её вижу: блузка отбеленная, накрахмаленная - аж хрустит. Волосы вот так здесь невидимками... (*демонстрирует на собственной причёске*)

Не идёт по коридору - летит!.. Галстук у неё всегда узлом особенным завязан, развевается... И значок вот тут...

(*показала, где был значок*)

Ух, и нравился мне этот значок! Он же не простой был, не обычный, редкий - артековской серии: нашего побольше, эмаль на нём поярче и "Всегда готов!" - другим шрифтом... Как мне такой же тогда хотелось, ребцы, если б вы знали! И вообще... Так

хотелось на неё похожей быть... Я, может, только из-за Ольги Ольгердовны в педагогический и пошла.

ФИЛИН. Серьёзно? Во, едрит-мадрид-архимандрит!.. Ты что, в самом деле училка?

ВАГИНА. Была. Пять лет уж как пенсионерка. Ветеран труда, между прочим.

ФИЛИН. И что, тоже химия?

ВАГИНА. Какая там химия... С химией у меня не того... Матфак я закончила. Алгебра и геометрия.

УЖИН. Тоже неплохо... Алгебра - она же вообще... А геометрия-то тем более!

*(повернулся к Окалиной)*

Ну, а ты? Ты, наверно, по гуманитарной части? Я же помню: ты вечно с книжками... Все на переменке во двор выскакивают - мяч попинать, подурковать, за углом подымить, а ты - прямиком в школьную библиотеку...

ОКАЛИНА. Да нет, как-то не срослось у меня с гуманитарными...

*(вздыхает)*

Но насчёт книжек верно, читала тогда просто запоем... А самая любимая книга знаете какая была? Про пионеров-героев, из-за неё и бегала в библиотеку. Я их всех наизусть знала, этих пионеров: кто где родился, где воевал, кто какой подвиг совершил...

УЖИН. Ну, вот и поступала бы после 10-го на филфак. Или там в библиотечный...

ОКАЛИНА. Я в железнодорожный документы отнесла, родители настояли... Инженер дистанции пути... Закончила, а работать толком не работала. Замуж вышла, дети потом один за другим... Так вот и осталась в домохозяйках.

ВАГИНА *(не без доли сарказма)*. Ага... Скажи уж как есть - в домработницах! Стирка, глажка, по полдня у плиты...

ФИЛИН. Ну, и что? И что с того?.. Если семейный бюджет позволяет... Если муж прилично зарабатывает... Почему бы и нет?

*(взгляд его падает на лопаты, принесённые женщинами)*

Только вот что... Я это... Не пойму я вас, девочки... Как вас мужа-то отпустили? Поздним вечером, в такую непогоду, в парк заброшенный...

ВАГИНА. У меня встречный вопрос: а что ваши супружницы? Как это они вас - одних да без присмотра?..

УЖИН. Да так... Мы особо и не отпрашивались.

ФИЛИН. А что, мужик уже и отпраздновать не может по своему усмотрению? Праздник как-никак! Юбилей!

ВАГИНА. Точно, юбилей... Он самый... Столетие... Скоро крейсер "Аврора" залп даст... Матросы, наверно, заряжают уже.

Вагина поднимает с земли кирку. Взвешивает её на ладони.

ВАГИНА. Миленько, миленько вы отпраздновать решили. Славненько...

*(кидает кирку обратно на землю)*

Со вкусом, с размахом...

УЖИН *(кивает на лопаты)*. Да и вы тоже, гляжу, не растерялись... В стороне от юбилея решили не оставаться. Да?

ОКАЛИНА. А хотя бы... И что?

ФИЛИН. Вот и я говорю... То есть, мы говорим: и что? Что дальше-то?

*(тянет на себя лопату Вагиной)*

Это вам зачем? Что задумали?

ВАГИНА *(тоже тянет лопату на себя)*. Что задумали - то задумали, вам-то какая разница?... Наше это дело, личное... Мы вас сюда не звали!

УЖИН. А мы вас и подавно...

*(смущённо покашливает)*

Ладно, девчонки, давайте начистоту... Капсула времени? Да? Тоже за ней пришли?

Договорить Ужин не успевает. Темноту парка разрезает рёв мощного двигателя. По сцене начинает метаться сноп света. Становится понятно: к стеле стремительно и неудержимо приближается какая-то техника с включенными фарами.

ФИЛИН. Атас! Это облава...

ОКАЛИНА. Ребята, ребята, что делать? Они же накроют нас сейчас, а тут инструменты...

ВАГИНА. Полиция, это точно полиция... Настучал кто-то...

УЖИН. Как пить дать - парк прочёсывают, токсикоманов с бомжами ищут...

Наши герои в панике мечутся по сцене, они явно не знают, что им делать. В последний момент знакомая нам четвёрка всё-таки успевает укрыться за стелой.

Рёв мотора усиливается, очевидно, машина уже где-то совсем рядом. И вот, подмяв под себя пару кустов, на сцену задним ходом выезжает огромный джип. Выезжает и останавливается - мы можем наблюдать только кормовую его часть. Звук двигателя смолкает. Хлопает дверца - и спустя

мгновение показывается одетый в камуфляж Пластилин. У него на ремне через плечо висит большая круглая фляжка. Он подходит к багажнику, открывает его и начинает сгружать на землю привезённое снаряжение: кувалду, фомку, лопату, отбойный молоток, болгарку, перфоратор, домкрат, набор тросов, рюкзак... За машиной быстро вырастает внушительная горка инструментов.

Пока Пластилин работает, сзади к нему тихонько приближаются Филин, Вагина, Окалина и Ужин.

ФИЛИН. Всё выгрузил или помочь надо?

Пластилин резко оборачивается.

УЖИН (*кивает на снаряжение*). Экспедиция целая... Сафари!

ВАГИНА. А мы-то тут... Врассыпную все, как тараканы ошпаренные...

ОКАЛИНА. Думали, что полиция. Думали, загребут сейчас... А тут...

ПЛАСТИЛИН (*отступает в сторону*). А что - тут? Что?.. Ну, я тут... А вы что за персоны?

Пластилин достаёт из кармана фонарик, направляет пучок света на тех, кто ближе.

ФИЛИН (*отгораживается ладонью*). Ты это... Ты брось свой светильник... Ни к чему это... Что, без фонарика старых друзей признать уже не можешь?

ПЛАСТИЛИН. В смысле - признать? Мы знакомы разве?.. (*приглядывается к Филину*)

Стоп, стоп, стоп... Минуточку... А мы с тобой не промышленной выставке пересекались? Потом фуршет... Нет? Тогда, может, в Карловых Варах?..

ФИЛИН. Нет, не в Варах и не на выставке... Я вообще ни в каких Варах не был... Зато в 19-й школе учился. С тобой, балбесом, в одном классе вообще-то!

ПЛАСТИЛИН (*после короткой паузы*). Филин, ты? Неужто и вправду ты?.. Вот так номер, не ожидал... Во дела!..

(*смотрит на Ужину*)

А это... Это Ужин, гадам буду - Ужин! Только лысый и зубов того... Куда зубы-то дел?.. А волосы?.. Сто лет, парни, сто зим!

Мужчины радостно обнимаются.

ФИЛИН. А мы тебя сразу раскусили. Только из машины выпрыгнул - сразу поняли: Пластилин... Вон ты какой стал - на крутом джипаре, по полной выкладке...

УЖИН. Не удивительно. Он и в школе такой же был, самый деловой. У всех дермантиновые портфели, у него кожаный

ранец. У всех на физре лямбда-линейные хэбэшные майки, у него футболка с "Битлами"- мадэ ин не наша. У всех "Школьники", у него "Орлёнок"...

ПЛАСТИЛИН. Ишь, запомнил... А велик - да... Знатный велик был, жаль только без катафотов. Помните, мода у нас такая была - на спицы катафоты разноцветные прикручивать? Колёса вертятся, катафоты на солнце сверкают... Красота!

*(приглядывается к женщинам)*

А это, простите, кто? Может, представите милым дамам?

ВАГИНА *(фыркает)*. Милым дамам!.. А ты не забыл, как одной из этих милых дам майского жука в дневник засунул? А потом бац кулаком по обложке... Пятно на весь вторник, и на пятницу ещё... А там - пятёрка по рисованию!

ОКАЛИНА. А другой даме ты кнопку на стул подложил. Думаешь приятно, когда со всего маху - задницей на кнопку?

ПЛАСТИЛИН. Окалина, гад буду - Окалина! Ну и ну.. А это... Это же Вагина!

*(смеётся)*

Ё-моё! У вас здесь что, вечер встречи выпускников? А? Или уж ночер, скорее... А вы всё такие же, девчонки, не изменились почти...

ВАГИНА. Ага, говори, говори... Свистеть - не мешки ворочать... То-то и узнать не мог - так мы не изменились.

ПЛАСТИЛИН. Узнаешь тут... Я-то думал, что один здесь... А вы из-за спины, всей оравой... Я чуть револьвер не выхватил.

*(похлопал по кобуре на боку)*

Травматика, не бойтесь.

УЖИН. А мы и не боимся... Чего нам бояться?.. Скажешь тоже...

Возникает неловкая пауза. Никто не знает, как поступать, что говорить.

ФИЛИН *(полез в карман)*. Ты это самое... Дымишь?.. Как насчёт перекурить?

ПЛАСТИЛИН *(с усмешкой)*. Как в школе, в пятом?.. За кочегаркой?

Филин и Пластилин закуривают. Снова напряжённое молчание.

ПЛАСТИЛИН *(щурит глаза)*. А вы, ребята, не за ней, случаем? Не за капсулой времени?

ВАГИНА. А ты? Судя по снаряжению - так и есть...

*(кивает на выгруженные из машины инструменты)*

Даже отбойный молоток не поленился... Предусмотрительный!

ОКАЛИНА. Чего только нет... С таким снаряжением гробницу фараона в два счёта вскрыть можно, не то что стелу.

ПЛАСТИЛИН. А я и не собираюсь тут зависать. Не знаю, как вы, а мне вошкаться некогда.

*(поправляет ногой бухту с тросом)*

Думаете, я с кондачка сюда? Да я здесь уже раз десять был. Всё промерил, продумал, просчитал - чего и сколько с собой взять. Посмотрел, с какой стороны на памятнике кладка потоньше, откуда можно трос завести, если придётся лебёдкой стелу валить... Короче, целый бизнес-проект... Так что, минут за 15, думаю, управлюсь.

УЖИН. Управимся... Мы управимся, хочешь сказать?

ОКАЛИНА. Вот именно! Ты о нас-то хоть подумал? Мы тоже здесь, вроде, не сбоку припёка...

ПЛАСТИЛИН. А это ваше дело, с какого вы бока. Мне, если честно, глубоко насрать. Я тут всё подготовил, всё просчитал... Я, понимаете? Я один... Столько раз сюда приезжал, и что-то ни одного из вас не видел. А сейчас, пожалуйста - на готовенькое... Так что попрошу освободить площадку!

ФИЛИН *(возмущённо швыряет окурок на землю)*. Ничёсе заявленьице... Как это освободить, едрит-мадрит? С какой такой радости?

ПЛАСТИЛИН. А так, очень просто... Как говорится, вас здесь не стояло!

ВАГИНА. А харизма у тебя не треснет, а, паря? Вообще-то мы здесь первые... Мы сюда сегодня первыми пришли.

ПЛАСТИЛИН. И что? Подумаешь, сегодня явились на полчаса пораньше... И вообще...

ВАГИНА. Что вообще? Что?

ПЛАСТИЛИН. А то... Желание... Заветное желание - у одного только исполниться может. Не забыли? Из нас пятерых - у одного... Так ведь Аж Два О говорила?

ВАГИНА *(мрачно)*. Для кого Аж Два О, а для кого Ольга Ольгердовна... Тебе, Пластилин, она, между прочим, ничего не говорила.

УЖИН. Конечно, не говорила! Тебя же с нами в тот день не было - когда мы в почётном карауле тут стояли. Слил куда-то в очередной раз...

ПЛАСТИЛИН. Ну, не было и не было... Разве в этом дело?... Да, не было - заболел я тогда. С простудой дома сидел... У меня справка была...

*(похлопал по карману, словно та справка до сих пор при нём)*



Мне про капсулу и про заветное желание пацаны потом рассказали.

ФИЛИН. Ну, и что они тебе рассказали?

ПЛАСТИЛИН. Да всё рассказали, всё, как было... Ведь с чего началось? Райком комсомола решил послание потомкам отправить. Ну, в 21-й век: из 67-го года - в 2017-й. Написали письмо: приветствия там, пожелания, напутствия, ля-ля, три рубля... Положили его в специальную капсулу, капсулу в стелу замуровали.

*(кивок в сторону стелы)*

А условие такое: вскрыть капсулу 7 ноября 2017-го, ровно в столетнюю годовщину революции. Так?

УЖИН. Ну, примерно...

ПЛАСТИЛИН. А на церемонию закладки нас пригласили... То есть, вас... Короче, наш отряд, но без меня, потому что болел я...

ОКАЛИНА. Что-то часто ты тогда болел, Пластилин. Особенно, когда внеклассное мероприятие какое-нибудь... Воспаление хитрости - вот как это называется!

ФИЛИН. Ага. Шланговал ты, земля, а не болел!

ПЛАСТИЛИН. Ой, да бросьте вы, бросьте... Моральный кодекс они мне тут втирать собрались... Говорю же - простудился!

*(ловким щелчком отбросил в сторону бычок)*

Ну, так вот. Торжественное построение, речи, оркестр... Письмо зачитали, потом в капсулу его. Капсулу положили в особый железный ящик, а уж ящик - в нишу в стеле. Ну, а после всё это дело кирпичами замуровали, табличку сверху пришпандорили... Так?

ФИЛИН. Всё верно. Так оно и было. Правильно тебе пацаны рассказали.

ПЛАСТИЛИН. А после линейки вы с Ольгердовной по парку гулять пошли. Было? Было... Ну, тут кто-то её и спросил: а зачем всё это - ну, с капсулой, с письмом?..

ВАГИНА. Я, я её спросила...

ПЛАСТИЛИН. ...Зачем, мол, вся эта канитель? Зачем написали, зачем замуровали?.. Она и сказала...

ОКАЛИНА *(поспешно)*. Да, сказала... Как вчера было - помню... Это, говорит, ребятки, для того, чтобы самое заветное желание исполнилось!

УЖИН. Точно. Через 50 лет, говорит, кто-то из вас придёт сюда, вскроет нишу, достанет капсулу времени, и тогда...

ФИЛИН. Тогда, говорит, у этого человека исполнится его самая заветная мечта. Понимаете? Самая-пресамая! Но одна... И только у одного человека...

ПЛАСТИЛИН. То-то и оно... Одно желание... Одно-единственное...

УЖИН. Зато - заветное.

ОКАЛИНА. Сокровенное, можно сказать...

Некоторое время наши герои молчат.

ПЛАСТИЛИН. Нет, дорогие мои однокласснички... Вы, как хотите, а это будет моё желание, моя мечта... Как хотите...

ФИЛИН. Уверен?.. А чем это твоя мечта наших лучше? А?

ПЛАСТИЛИН. Может, и не лучше, зато... Важнее - вот... У меня от этой мечты много чего зависит. Судьба зависит, жизнь зависит... Если мне это желание не достанется, - всё, трындец!

*(резко проводит ладонью по горлу)*

ВАГИНА. То есть? Прикончат тебя, что ли? Или это... Как бы сам?..

ПЛАСТИЛИН. Типун тебе... Что уж сразу-то... Обанкротиться могу - вот что. Тоже радости мало. На моей оошке знаешь, сколько кредитов! Четыре объекта в стадии строительства - и все незавершёнка. Чем мне кредиты гасить? А проценты капают, капают... У меня чуть ли не каждый день - в арбитраж повестки... Если хоть половину не погашу, то всё!

*(вздыхает)*

У меня только на капсулу и надежда...

ФИЛИН. Здравсьте-пожалуйста! Кредиты у него... И это - заветное желание?

ПЛАСТИЛИН. Представь себе! У тебя что, заветнее?

ФИЛИН. Это кому как... Мы, как говорится, не из тех, кто хлеб берёт пинцетом... Я объекты всякие не строю, кредиты миллионные не беру...

*(переводит дыхание)*

А вот за границей побывать хочу! Хоть раз в жизни съездить. На башню там, как её, на Эльфовую залезть, по Лондону - на автобусе двухэтажном... По Венеции, опять же, - на этой самой...

ПЛАСТИЛИН. На гондоле, что ли? Да брось ты, ничего там интересного и тиной воняет... Ещё чего не хватало - заветную мечту на какую-то гондолу штопанную тратить!

ВАГИНА. И в самом деле... Ты, Филин, вообще, того... Капсулу времени на турпутёвку разменивать... Вон, на городской пруд пойдй, лодку возьми да греби, сколько влезет - даже лучше, чем в Венеции.

ФИЛИН *(озлобленно)*. Не нравится моя мечта, о своей расскажи.

ВАГИНА. А я давно всё придумала, ещё в начале года. На квартиру желание потрачу. Трёхкомнатную закажу... Нет - пятикомнатную!

ОКАЛИНА. Что, в самом деле?

ВАГИНА. А что ты такие глаза круглые делаешь? Устала я в малосемейке ютиться, тошнѣхонько уже... Мы когда с моим разбежались, то разменялись сразу. Ему однокомнатная досталась, правда, в пригороде, мне - общага, но в центре, со школой рядом. Думаете, шибко здорово, когда общий коридор и колдыри вокруг? А утром выходишь из подъезда и шприцы под ногами хрусь-хрусь, хрусь-хрусь...

УЖИН (*насмешливо*). Ой, разжалобила! Слезу выжала, сейчас разрыдаются все... Ты в своём уме? Желание-то самым-самым должно быть. Необычным, единственным! Некоторые, может, от болезни избавиться хотят, излечиться мечтают, а у тебя квадратные метры на уме...

ВАГИНА. Это ты про себя, что ли? И что за недуг такой у тебя? На вид - бугай здоровый, хоть воду вози...

УЖИН. Разве судят по внешнему виду? Внешность - она обманчива...

ФИЛИН. А ведь и верно... Что у тебя? Сердце? Поджелудочная?.. А, может, рак?

УЖИН (*машет руками*). Да ты что! Сказал - как в лужу пёрнул...

(*многозначительная пауза*)

Не рак, но тоже... Того... Малоутешительно... Серьёзное дело...

(*глазами таинственно показывает на нижнюю часть тела*)

ФИЛИН. Триппер, что ли? Ну, ты даёшь, едрит-мадрит-архимандрит!.. Ходок ты у нас, оказывается, а по фасаду и не скажешь... Как на том плакате: "Случайная связь промелькнёт, как зарница, а после, быть может, болезнь и больница"?

(*хохочет*)

УЖИН (*с обидой*). Да что ты такое мелешь? Да ещё при девчонках... Триппер... Геморрой у меня! Хронический, между прочим... Ты вот ржёшь, а мне ни днём, ни ночью покоя... Жжёт и жжёт, прямо как буравчиком - зудит... А когда обострение - хоть в аптеку за прокладками беги!

Начинается общее бурное обсуждение. Кто-то возмущается, кто-то смеётся, кто-то спорит... Наши герои галдят, машут руками, каждый доказывает своё. Внезапно они смолкают и оглядываются на Окалину.

ФИЛИН. Стойте, братцы... А она? А Окалина?.. Она ведь нам о своём желании ничего не рассказала.

ПЛАСТИЛИН (*к Окалиной*). Ну, чего молчишь, как рыба в пироге? Ты-то на кой ляд сюда приехала? Тебе чего от капсулы надо? Чего хочешь?

ОКАЛИНА (*тихо*). Тайну разгадать.

(*после паузы – ещё тише*)

Тайну века.

ПЛАСТИЛИН. Чего, чего?

ОКАЛИНА. Хочу узнать, как на самом деле Мэрилин Монро умерла - вот чего. Ну, в действительности, а не по официальной версии... Я кучу статей про неё прочитала. Одни пишут: наркотики, другие - что из-за ихнего президента её кокнули. Третьи - что инопланетяне к себе забрали... Вот и хочу узнать, как дело было.

ВАГИНА. Вот это да! А ты мне про Монро ничего не говорила.

ОКАЛИНА. А я никому не говорила. Просто для себя решила - и всё.

ФИЛИН. И ради этого?.. Ради этой хрени - единственное желание использовать? На всех - единственное...

ОКАЛИНА. Конечно! Это же самая большая загадка XX века. Сотни журналистов и писателей всяких голову ломают, а тут я: пожалуйста, вот она - настоящая причина!

ПЛАСТИЛИН (*крутит у виска*). Совсем ку-ку, да? Ладно бы что путное загадать... Ну, где клад Чингисхана зарыт, например. Или, скажем, дату следующего дефолта... А ты... У меня слов нет, одни выражения!

УЖИН. Да хотя бы, где Янтарная комната спрятана или там библиотека Ивана Грозного - и то бы больше пользы! А тут какая-то Мэрилин Монро... Про эту историю все давным-давно уже забыли.

ФИЛИН (*к остальным*). А что? Хочет про Монро - пускай про Монро. Её личное дело. Вы же помните, Окалина - она же всегда такая была... Макулатуру насобираем, сложим в кучу - и в буфет за газировкой. А она роется, роется в пачках, всё книжки там выискивает, журналы. Потом сядет, читает... Вот и дочиталась!

УЖИН. А берёзовые почки когда собирали...

(*к Окалиной*)

Помнишь, когда ты с дерева-то?..

(*к остальным*)

Норма - один стакан, ну, и собираем потихоньку. А Окалина наша - она же не такая, как все, ей выпендриться надо. Я, говорит, три стакана наберу. Попёрлась на берёзу, на самый верх - туда, где почек больше. Ну, и звезданулась - метров с пяти...

ОКАЛИНА. Да не с пяти... Там метра три было, от силы четыре... Ветка подломилась.

УЖИН. Не знаю, ветка или фиетка, но спикировала ты со свистом! Месяц потом ходила как Чинганчгук на тропе войны, вся в зелёной раскраске.

*(пальцем чертит на своём лице линии, где у Окалиной были царапины)*

Чудом тогда шею не свернула.

ОКАЛИНА. Да ладно тебе... Скажешь тоже... Да и не собиралась я ни перед кем выпендриваться!

Остальные смеются, галдят, вспоминают подробности давнего происшествия.

ВАГИНА. Почки, макулатура... Металлолом опять же... Чудно было! Чудно и чудесно...

ФИЛИН. Ещё бы! Одна "Зарница" чего стоила... Бежишь с деревянным автоматом по полю, в снегу по пояс. А там, на опушке, тебя на позициях такие же охломоны поджидают. И тебе надо их с позиций выбить...

УЖИН. А походы! Мы же в походы, на сплавы всякие, в основном, с ней ходили, с Ольгой Ольгердовной. На два, на три дня, с ночевками - и хоть бы хны. Ни клещ не брал, ни простуда! Помните, как на Круглое озеро она нас повела?... Ну, на майские... Дождина тогда такой начался, мы палатки едва поставить успели...

ОКАЛИНА. Ну! Дождь хлещет и хлещет, а мы никак растяжки натянуть не можем. Верёвки скользкие, вырываются из рук... Треники, ветровки, кеды - всё насквозь...

ВАГИНА. Да мы тогда этого и не замечали. Значения не придавали. Дождь кончился - мы давай по поляне носиться, козлить. А вечером - у костра...

ФИЛИН *(нетерпеливо перебивает)*. О! У костра - это вообще... Сидишь такой на бревне и палочку к огню тянешь. А на палочке - кусочек хлеба. Пожаришь его над костром, сунешь в рот... А он горячий, вкуснячий такой, дымом пахнет, лесом пахнет... Даже если обгорит ненароком, всё равно объедение!

ПЛАСТИЛИН. А картошка, картошка какая в костре очумительная получалась!

*(замечает укоризненные взгляды остальных)*

Ну, чего так смотрите? Нечего пялиться... Я тоже с вами один раз в поход ходил. То ли в пятом, то ли в седьмом...

Помните?.. Выгребешь картофелину из-под углей, покидаешь её с ладони на ладонь, чтобы остыла, разломишь, посолишь... А из неё - пар! И запах!.. Какой от неё запах, ребчики!.. А вкус!..

ОКАЛИНА (*запевает*). Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,

Пионеров идеал-ал-ал!

Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья,

Кто картошки не едал-дал-дал...

Народ подхватывает. После песни все весело и оживлённо гудят.

ВАГИНА. Точно, пели эту песенку про картошку... И другие всякие пели... Много разных...

УЖИН. Ещё как пели! Аж Два О с нами столько песен разучивала... Вот эту помните?

(*напевает*)

Эх, хорошо в стране советской жить!

Эх, хорошо страной любимым быть!

Эх, хорошо стране полезным быть,

Красный галстук с гордостью носить, эх, носить!..

ВАГИНА. Классная песня, только её на два голоса надо...

А эту не забыли?

(*напевает*)

Ровесники, ровесницы,

Девчонки и мальчишки!

Одни поём мы песенки,

Одни читаем книжки...

ФИЛИН. А вот с этой мы первое место на областном смотре заняли...

(*напевает*)

Спой песню, как бывало,

Отрядный запевала,

А я её тихонько подхватчу.

И молоды мы снова,

И к подвигу готовы,

И нам любое дело по плечу!..

В очередной раз возникает весёлый гвалт. Кто-то запекает невпопад, кто-то оспаривает правильность слов в куплете...

ОКАЛИНА (*к Пластину*). Ну, а ты чего? У тебя какая песня самая любимая была?

ФИЛИН. Да что ты его спрашиваешь? Он же с нами на конкурсы не ездил.

УЖИН (*подмигнул Пластину*). Не ездил, но петь тоже любил... Ну-ка, давай свои садистские...

ПЛАСТИЛИН. Да ладно тебе... Вспомнил тоже, ни к селу ни к городу...

ВАГИНА. Это вы про садистские куплеты? А что, мы их тоже знали - дофига и больше... Прикольные такие... Про октябрят что-то такое...

ПЛАСТИЛИН. Звёздочки, шортики, гольфики в ряд -  
Трамвай переехал отряд октябрят.

ОКАЛИНА. Точно! А ещё?

ПЛАСТИЛИН. Пожалуйста...

*(вспоминает)*

Мальчик на поле нашёл пулемёт,

Больше в деревне никто не живёт.

*(ещё подумал)*

Голые бабы по небу летят,

В баню попал реактивный снаряд.

*(немного поразмыслил)*

Дети в подвале играли в гестапо,

Зверски замучен сантехник Потапов.

ФИЛИН *(гогот)*. Ага... Только мне другой вариант больше нравился...

*(декламирует)*

Дети в подвале играли в больницу,

Умер от родов сантехник Сеницын.

Общий смех.

УЖИН. Смотрите-ка, не забыли ещё... Помнит голова. Столько лет прошло, а ведь помнит... И песни пионерские, и чепуху эту...

ФИЛИН. И не только голова... А руки-ноги разве не помнят? Все движения, все повороты помнят!

Филин отделяется от группы, выходит на импровизированный плац, начинает маршировать, изображая развод почётного караула. Остальные приветствуют его возгласами, затем тоже включаются в происходящее. Маршировке - не разберёшь, шуточной или серьёзной - активно помогает Ужин. Он снял с плеча Пластилина круглую фляжку, и умело отбивает на ней, как на барабане, бодрую дробь.

ФИЛИН.левой,левой,раз,два,три... Носок тяните, с ритма не сбивайтесь... Равнение на правофлангового!.. На месте марш... Стой,раз,два.

ВАГИНА *(протирая очки)*. А ничего... Могём ещё...

ОКАЛИНА. Ещё как!..

*(кивает на стелу)*

И когда капсулу закладывали, мы тоже здорово прошли...  
Ровненко, в ногу...

УЖИН. Ещё бы... Ведь понимали, какое доверие оказано: единственный пионерский отряд из всего города на мероприятие пригласили!

ФИЛИН. Потому и гордости было - полные штаны. Я тогда речёвку так орал, что голос сорвал... Вот там я стоял...

*(показывает)*

УЖИН. А я вот здесь - с горном.

*(кивает)*

А вожатая наша где? Где Ольга Ольгердовна стояла?

ВАГИНА. Рядом с трибуной, где всё начальство. Вместе с ними капсулу закладывала. Помню, как она письмо взяла, в трубочку вот так его свернула, в капсулу сунула...

*(изображает, как всё происходило)*

ОКАЛИНА. А ещё в эту капсулу она пионерские галстуки положила. Ну, как бы тоже послание будущим пионерам.

ФИЛИН. Точняк... А потом капсулу закрутили - там же резба- и в ящик положили. А ящик - в нишу на памятнике.

*(проводит ладонью по лицевой части стелы)*

Сюда куда-то.

УЖИН. На это место потом табличку прикрутили, только нету её...

ВАГИНА *(вздыхает)*. Да тут много чего уже нет... Многое не так...

ФИЛИН. Ничего теперь никому не нужно - вот и не так... Даже памятник стал ненужным, послание наше... Про капсулу времени, блин, забыли!

ПЛАСТИЛИН. Я не забыл. Мне вот капсула нужна.

УЖИН. А другим не нужна, нет? Вот ему, ей, ей?... А мне?... У каждого мечта.

ПЛАСТИЛИН. Мечта у каждого, а исполнится одна только...

*(смотрит на экран мобильного)*

Вообще-то полночь скоро, 7-е скоро... Давайте уж решать что-то.

ОКАЛИНА. Жребий бросать надо. Кому выпадет, тому и капсула достанется.

ВАГИНА. Можно на спичках разыграть... На бумажках написать... Или посчитаться можно...

ФИЛИН. Как это - посчитаться?



ВАГИНА. Как, как... Как в детстве считались, когда решали, кому в учительскую за мелом бежать: "Эники-беники ели вареники..."

*(замолчала)*

УЖИН. Ну, а дальше?

ВАГИНА. Не помню... Забыла.

ПЛАСТИЛИН. Может, другую какую-нибудь знаешь?

Вагина не ответила, только плечами передёрнула.

ПЛАСТИЛИН. И я не знаю... Хотя одну считалку кто-нибудь помнит?

ОКАЛИНА. Я помню. Давайте, я посчитаю... Становитесь.

Наши герои выстраиваются полукругом. Окалина становится перед ними.

ОКАЛИНА. Катили апельсину

По городу Берлину

Лошадь, зебра, тигра, слон.

Кто поверил, вышел вон!

Палец Окалиной упирается в грудь Пластилину.

ПЛАСТИЛИН *(расправил плечи)*. Ну, что я вам говорил... Мне капсула нужнее всего, вот на меня и выпало. Получается, я её вскрываю.

ФИЛИН. Сфигали? С чего бы это?.. Ты выходишь, а мы начинаем по новой пересчитываться. Это на выбывание считалка.

ПЛАСТИЛИН *(возмущённо)*. Ничего подобного! Она на меня показала, значит, мой жребий, я выиграл.

УЖИН. Ты глухой? Она же сказала: вышел вон. Вот и выходи!

ПЛАСТИЛИН. Предупреждать тогда надо, заранее договариваться... Ерундень какая-то, а не считалка. Нечестно получилось. Другую давайте.

Снова возникает галдёжь. На этот раз герои яростно спорят: оставить в силе результат или же посчитаться заново.

ОКАЛИНА. Ладно, ладно, не спорьте, ребята. У меня другая считалка есть.

*(расставляет всех полукругом)*

Ехал барин тёмным лесом

За каким-то интересом.

Инте-инте-интерес,

Выходи на букву эс.

Окалина указывает на Филина.

ОКАЛИНА. Всё, Филин, ты выбываешь.

ФИЛИН. Как это выбываю? Ничего я не выбываю... Ты же сказала на букву эс, а я на какую? Я на фэ.

ПЛАСТИЛИН. Ты тупой, да? По всему периметру тупой?.. Это считалка такая, это для рифмы так говорится - на эс. Интерес - на эс. Понял?

ФИЛИН. Бред какой-то! Если выбывает тот, у кого фамилия на фэ, то так и надо говорить: выходи на букву фэ... Между прочим, у нас тут вообще никого на эс нету. Не въезжаю, зачем надо людям голову морочить?.. Другую давайте!

После непродолжительных препирательств наши герои вновь выстраиваются пред Окалиной.

ОКАЛИНА. Шёл крокодил,

Трубку курил.

Трубка упала и написала:

"Эни-бэни-рики-таки,

Уба-губа-синтибряки,

Деос-деос-краснодеос,

Бац!"

Счёт останавливается на Вагиной. Все молчат.

ПЛАСТИЛИН. Что бац? Ну, что - бац?.. Выходит она или как?

ВАГИНА. Наоборот! Если бы она сказала "выходи", я бы вышла, а так совсем наоборот...

ФИЛИН. Что наоборот?

ВАГИНА (*безапелляционно*). Жребий на меня выпал. Ясно вам?

УЖИН. А в тех считалках не так было. На кого показывали, тот выходил.

ВАГИНА. Так это в тех. А это другая совсем.

(*к Окалиной*)

Правда ведь?

В очередной раз возникает горячий спор.

ОКАЛИНА. Ну, хватит, хватит вам собачиться! Давайте ещё, но теперь точно в последний раз. И сразу на берегу договоримся: на кого покажу, тот выходит. Выбывает из розыгрыша желания. Остальные продолжают считаться, пока последний не останется. А кто остался, тому и капсулу вскрывать.

Недовольно ворча, народ в очередной раз выстраивается пред Окалиной.

ОКАЛИНА. Мальчик-с-Пальчик

Нашёл стаканчик,

Стакан разбился,

Лимон покатился.

Стакан, лимон - выйди вон!

На этот раз её палец останавливается на Ужине.

ВАГИНА. Всё, Ужин, выходи. Свободен.

УЖИН. Ага, разбежался... Сейчас... Честно считать надо!

ОКАЛИНА. А я нечестно, что ли? Ты же сам всё видел...

УЖИН. То-то и оно, что видел. И слышал - как ты не по слогам считала... В считалке как должно быть? Один слог - один счёт. В слове "мальчик" сколько слогов? Правильно, два. А ты один раз только показала... Сжутьничала ты, Окалина!

И вновь вспыхивает спор. На этот раз он совсем нешуточный, бурное обсуждение готово перерасти в драку.

Внезапно раздаётся звонок. Это сработал будильник на мобильном телефоне Пластилина. Он достаёт трубку, смотрит на дисплей.

ПЛАСТИЛИН. Всё, девочки и мальчики... 7-е наступило... Срок...

Решительным движением Пластилин прячет телефон в карман и столь же решительно отступает от остальных на несколько шагов.

ПЛАСТИЛИН. Пора, пора... Погундели, отношения выяснили - и хватит. Самое время делом заняться.

*(внимательно оглядывает сложенные на земле инструменты, словно решает, какой из них в первую очередь взять)*

Вы, братцы, можете здесь хоть до посинения спорить, а мне некогда. У меня дело нешуточное и желание серьёзное... Так что, извините...

Мгновение-другое наши герои стоят в оцепенении. Но вот они опомнились, загалдели, замахали руками, двинулись на Пластилина.

Однако тот оказался готовым к подобному развитию событий: Пластилин быстрым движением расстёгивает кобуру, выхватывает револьвер, целится в наступающих на него людей.

ПЛАСТИЛИН. Эй, вы! Даже не думайте... Даже не рыпайтесь!.. Я с вами шутить не собираюсь.

Но разгорячённый народ продолжает напирать. Пластилин медленно отступает к стеле и продолжает целиться.

ПЛАСТИЛИН *(в его голосе металл)*. Говорю же!.. Так влеплю, что мало не покажется. Он хоть и травматический, но месяц больничного обеспечит. А то и инвалидность...

Но его никто не слушает. Ужин, Вагина, Окалина и Филин наваливаются на Пластилина, пытаются вырвать у него оружие. Звучит выстрел, пуля уходит в небо.

Пластилин падает на землю, получает несколько тумачков, но о нём быстро забывают. Похватав первый подвернувшийся под

руку инструмент - кому что ближе - наши герои бросаются к стеле и начинают яростно ломать её. К бывшим одноклассникам, не долго думая, присоединяется и поднявшийся с земли Пластилин. Крики, удары кувалдой по камню, ругательства, пыль от отбитой штукатурки - всё смешалось в один фантазмагорический клубок.

Не выдержав такого напора, старый памятник шатается, медленно, словно нехотя, кренится - и падает, рассыпаясь на множество бесформенных фрагментов. Сцену заволакивает клубами пыли. Участники поиска капсулы останавливаются в растерянности.

ОКАЛИНА. Что же вы наделали!.. Мы наделали...

УЖИН. Кто же знал?.. Мы-то думали... А тут ударили пару раз - она и того...

ФИЛИН. Кладка дерьмовая... Руки бы этому каменщику...  
(пинает обломки кирпичей)

Что это за раствор? Песок один...

ВАГИНА. Да и времени сколько прошло... Ответшало всё за полвека...

ПЛАСТИЛИН (*копаясь в развалинах*). А капсулы-то нету! Здесь ведь она должна быть... Нету капсулы, ребята...

Герои подходят к останкам стелы, роются в обломках.

ФИЛИН. Вот тут ниша была - куда ящик с капсулой сунули. По идее, здесь искать надо...

ПЛАСТИЛИН (*почти истерично*). Надо, надо! Сам знаю, что надо... А где она? Ниша - вот она, а ящика нету. И капсулы тоже!

УЖИН. Покопаться, порыться нужно... Наверно, кирпичами завалило...

ВАГИНА. Конечно! Тут она, где же ей ещё быть?

ОКАЛИНА. Давайте внимательно всё переберём, ребята. Каждый кусочек. Здесь капсула, здесь где-то, только повнимательнее надо...

Герои принимаются перебирать обломки рухнувшей стелы. Они так увлечены, что не замечают, как откуда-то сзади и сбоку в пелене пыли к ним приближается фигура человека. На человеке - бесформенный балахон, так что с первого взгляда и не определишь, мужчина это или женщина.

ЧЕЛОВЕК В БАЛАХОНЕ. Не надо, ребятки, не надо. Оставьте, не ищите... Нету там капсулы. Давно уже нету.

Затемнение

## Действие второе

На сцене - всё та же площадка в заброшенном парке. На заднем плане смутно угадываются контуры полуразрушенной стелы, а в центре мы видим костёр, вокруг которого сгрудились наши герои. Кто-то из них кутается в куртку, пытаясь защититься от порывов осеннего ветра, который принёс с собой первые снежинки, кто-то тянет озябшие ладони к огню, а кто-то просто сидит и молча всматривается в замысловатый танец языков пламени.

Аж Два О (человеком в балахоне оказалась она) тоже находится у костра, только немного в стороне от остальных. У её ног мы можем заметить объёмную сумку из грубой синтетической мешковины. Длинной палкой Аж Два О ворошит чёрно-багровые угли костра.

ОКАЛИНА (*щурясь от дыма*). Даже не верится... Не верится, Ольга Ольгердовна, что всё вот так вот... Как будто во сне, как будто приснилось... Ведь только что, буквально вот говорили о вас, вспоминали, и тут - раз!.. В голове не укладывается...

ФИЛИН. Ну... Как раз ведь вспоминали про тот поход, когда вы с нами на Круглое... Вот так же все вместе у костра сидели... В каком это классе было? В шестом?

АЖ ДВА О. В пятом. Вы тогда совсем салажата были, но так хорохорились... Каждому надо было показать, что он самый храбрый, самый опытный, что всё ему нипочём... И куда только ваша храбрость испарилась, когда я вам вечером страшилку про чёрный троллейбус рассказала...

*(хриплый смех)*

УЖИН. А-а, это там, где мама девочку одну в магазин отправила и наказала ей в чёрный троллейбус не садиться?

АЖ ДВА О. Её самую... Я ещё до середины не дошла, смотрю: жмутся мои пионерята ко мне всё теснее и теснее, попритихли все... А потом Вагина такая: "Ольга Ольгердовна, а можно я в вашей палатке сегодня переночую?"

*Общий сдержанный смех.*

ВАГИНА (*очень убеждённо*). Ага, конечно!.. Действительно же страшно было... Вокруг ночь, деревья шумят, звуки из леса какие-то непонятные, а вы про этот троллейбус... Я как представила тогда: стоит маленькая девочка вечером на остановке, вокруг ни души. Подходит один троллейбус, девочка смотрит - чёрный. Нет, думает, мама в чёрный строго настрого запретила... Походит второй, тоже чёрный... Третий, четвёртый... Девочка ждала, ждала, а потом всё-таки решилась... Жуть!

ПЛАСТИЛИН. Знаю, знаю я эту историю. В детстве, когда друг другу её рассказывали, действительно мороз по коже!.. Заходит девочка в троллейбус, а там никого. Пустой салон. И в нём черные сидения, чёрные поручни, чёрные окна, чёрные эти... Ну, что там ещё бывает в троллейбусах?

ФИЛИН. Да какая разница, едрит-мадрид? Всё чёрное...

ПЛАСТИЛИН. Я и говорю... Заходит такая, а двери за её спиной - щёлк! И закрылись. И троллейбус поехал...

УЖИН. Едет, едет, и всё быстрее... И на остановках не останавливается, даже не притормаживает...

ОКАЛИНА. Одну проехал, вторую, третью... Девочке уже сходить надо, а троллейбус только скорость набирает! Она кричит, плачет, кулаками по двери колотит... Вообще! Даже сейчас мурашки, как вспомнишь...

АЖ ДВА О. Ишь ты, не забыли...

УЖИН. Забудешь, ага! Вы ведь нам тогда так рассказывали!.. В красках, в подробностях... Я полночи уснуть не мог.

ВАГИНА. А ночь почти такая же была... Тёмная, безлунная...

ФИЛИН. Да, один в один. И ветер, ветер... Кольхнёт порыв палатку, а у тебя уже сердце в пятках. Думаешь: ничёсе, кто это там, снаружи? Кто по твою душу пришёл?..

АЖ ДВА О (*задумчиво*). А снаружи - никого... Никогошеньки... Только ветер - как у нас здесь сейчас...

Некоторое время сидящие у костра люди молчат, они смотрят на огонь и думают - каждый о своём.

УЖИН. Ольга Ольгердовна, а давно вы тут? Ну, в парке... Это... Ну, живёте?

АЖ ДВА О. Да лет шесть, наверно... Или семь даже... А до этого в корпусах старой птицефабрики обитала. Но оттуда меня быстро вытурили. Вернее, я сама ушла, там нарकोши обосновались, с ними опасно... А до птицефабрики - при садах жила, что за Северным посёлком. Там много заброшенных домиков...

ОКАЛИНА. Так вы и зимой здесь?

АЖ ДВА О. Нет, зимой - нет... Холодно тут зимой. Зимой я на теплотрассу ухожу, к ТЭЦ. Там таких как я в коллекторной знаете сколько... Иной раз человек по двадцать собирается. А что - тепло, не тесно, менты не тревожат - лень им в такую даль ездить... Благодать!.. Ночь перемогнёшься - и на работу. У каждого ведь своё: кто по контейнерам шарить, кто за цветниной, кто банки пустые собирать... Все при деле.

ПЛАСТИЛИН. А у вас что? У вас какое... Какая работа?

АЖ ДВА О. Я, ребята, всё больше по общественному питанию. По столовкам, по кафе разным хожу - меня там все знают. Кому картошку почищу, кому кастрюли отмою, кому мусор вынесу... Ну, и накормят старуху. А ещё - с собой дадут, чтобы на всю нашу ораву хватило. Не обижают, грех жаловаться.

ФИЛИН. А мы тут вспоминаем о вас и ещё говорим такие: где она, как она?.. А вы, оказывается, вот...

*(неопределённый жест в сторону кустов)*

АЖ ДВА О. А что - вот? Я нормально... Пенсия есть? Есть? Здоровье, какое-никакое? Тоже есть... А главное, людей вокруг хороших много! Чего ещё надо?

ПЛАСТИЛИН *(передразнивает)*. Люди, люди... Эти хорошие люди у вас квартиру отобрали, без угла оставили, а вы - не жалуясь!.. Вас же, как собаку последнюю на улицу выгнали!

АЖ ДВА О. Ну, чего ж теперь... Сама виновата. Жила одна, выпивала... Не скрою - закладывала... От одиночества и закладывала...

*(выразительный щелчок по горлу)*

Только на учительскую пенсию много ли выпьешь? Вот и решила на финт ушами: задумала, дурёха, поменять свою двушку на однокомнатную с доплатой... Порасспросила знакомых, объявления почитала, позвонила... Ну, и нашлись доброхоты, помогли. Так помогли, что все документы на них оказались оформлены... Прихожу к этим мальчишкам-колокольчикам в контору, а они мне: чеши-ка ты, бабуля, лесом, на все четыре стороны!.. Вот так, ребята...

ВАГИНА. А мы и не знали... Вообще про вас ничего не знали...

*(с упрёком)*

Почему не нашли кого-нибудь из нас, не позвонили, когда у вас всё это?.. Неужели мы не помогли бы?

АЖ ДВА О. А зачем? Говорю же: всё у меня хорошо, всё нормально... Везде же люди, живые люди... Да и стыдно было, если честно... За всё это - стыдно...

*(низко опускает голову и при этом сильно ворошит палкой костёр - аж искры во все стороны полетели. Словно брызги разноцветные)*

А вы... Конечно, помогли бы, я нисколько и не сомневаюсь, ребята... Только надо ли? Я здесь привыкла уже, мне поздно опять жизнь свою перелицовывать, на 180 разворачивать... Да и времени уже сколько прошло с тех пор, как мы с вами отрядом маршировали, в кино все вместе ходили,

лекарственные травы собирали... Вы уже вон какие... У каждого своя судьба, своя жизнь, свои мечты...

ПЛАСТИЛИН. Да уж, мечты... Мечт, как говорится, выше крыши, хоть соли их... Потому сюда и пришли...

*(кивает на бывших одноклассников)*

Этой вот квартиру надо хрен знает сколько комнатную, этому по заграницам на старости лет помотаться приспичило... Эта судьбой Мэрилин Монро озабочена, а этот - от застарелого геморроя избавляться задумал... Вот такие мечты.

АЖ ДВА О *(негромко)*. А у тебя? У тебя тоже есть мечта? Какая она?

ПЛАСТИЛИН. Нормальная... Серьёзная... С кредитами хочу разобраться, покончить с ними - раз и навсегда. Запутался я, Ольга Ольгердовна, с банками этими, прессуют они меня со всех сторон, понимаете?... Не рассчитаюсь - всё, вилы!..

АЖ ДВА О. Понимаю, отлично понимаю... И про кредиты, и про квартиру, и про поездки, и про остальное тоже... Ой, как понимаю, ребятки...

Аж Два О поднимается со своего места, делает несколько шагов. Останавливается.

АЖ ДВА О. А я ведь знала, что вы придёте... Именно сюда, именно 7 ноября, как раз к столетию... Знала, поэтому весь день и не уходила от парка далеко, у старой карусели с обеда сидела... Услыхала выстрел - и сюда... Ну, думаю: есть у революции начало, нет у революции конца... И точно: вы уже здесь!

ВАГИНА. Ага, залп по Зимнему... Имеется у нас тут один... Морячок с крейсера "Аврора" - контуженный на всю голову.

*(косится на Пластину)*

ФИЛИН. Конечно, мы здесь, Ольга Ольгердовна. Конечно, пришли... Не могли не прийти, ведь вы нам сами про желание говорили... Про самое заветное, которое только тут сбудется и только в этот день... Так ведь?

АЖ ДВА О. Так, так... Самое заветное... Говорила, да...

УЖИН. Ну, вот мы и здесь. Только... Собрались мы желание загадывать, а капсула-то того... Тю-тю капсула!

ПЛАСТИЛИН. Где капсула времени, Ольга Ольгердовна? Мы же видим, что вы что-то знаете... Где она?

ВАГИНА. Кто памятник вскрыл?... Куда послание делось?..

АЖ ДВА О. Нету послания в стеле, ребятки. С позапрошлой зимы уже нету...

*(после паузы)*



Помните, какая погода тогда в январе была? Днём мороз под 30, а ночью и до 40 доходило. Пруд до дна промёрз, машин в городе не видно было - не заводились... Мы из своего коллектора почти не выходили, сидели там в обнимку с трубами... Переждали бы мы этот мороз, да магистраль не выдержала, лопнула где-то... Остывать стали наши трубы... Ночью лежим такие, прижались друг к другу и чувствуем, как околеваем в своей бетонной коробке... Утром и вправду одного деда не досчитались, другой пальцы на ногах отморозил... Посмотрела я, посмотрела и поняла: ещё одной ночи мы не выдержим, все тут останемся... Братская могила...

*(невесело усмехается)*

Тут мне наша стела и вспомнилась. Послание наше, капсула... Капсула-то латунная была, там одного цветмета - килограммов пять. Плюс стальной ящик, он из нержавеющей стали... Не покупались наши шефы с механического - ни на латунь, ни на сталь... Вот такой примерно ящикек...

*(показывает размеры футляра для капсулы)*

Короче, вылезла я из нашего коллектора и потёпала потихонечку в парк. По пути железяку какую-то прихватила, чтобы кладку долбить... Ну, чтобы ящик с капсулой доставать - заветное желание загадывать.

ПЛАСТИЛИН. Что, правда? Так это вы, получается, нашу капсулу достали?.. Заранее достали, а нам ничего... Ничего не сказали... Мы же сюда с мечтой ехали, каждый со своей... А вы...

ОКАЛИНА. Почему вы о нас не подумали, а? Почему? Знали же, что мы придём... А в школе вы нас не тому учили, Ольга Ольгердовна, вы нас тогда считаться с мнением товарищей учили... А сами... Сами...

*(защмыгала носом)*

УЖИН *(чесет плешивую макушку)*. Не ожидал я, честно скажу, не ожидал... Мы же столько лет думали об этом дне, представляли его, верили... Вашим словам, Ольга Ольгердовна, свято верили: мол, придём сюда в день столетия, и сбудется всё... Самое-самое у нас сбудется...

ВАГИНА. Вообще-то да... Я даже не знаю, как всё это и назвать... Предательство это, Ольга Ольгердовна! Настоящее предательство с вашей стороны.

ФИЛИН. А я не верю! Не верю - и всё. Она разыгрывает нас...

*(резко развернулся к бывшей возжатой)*

Разыгрываете ведь, Ольга Ольгердовна?.. Проверяете нас?.. Зачем вам было капсулу раньше времени трогать? Вы ведь

сами нам сказали, что желание только 7 ноября 17-го года исполниться может. А если раньше прийти - то бесполезно...

АЖ ДВА О (*ответила не сразу*). Бывает, что и не бесполезно, Филин... Бывают, оказывается, и такие мечты, что не в какой-то определённый день сбываются, а когда это очень-очень нужно... Край как нужно! Понимаешь?

ФИЛИН. Не очень, если честно... Вы же сами тогда говорили нам, четвероклашкам... Помните?..

АЖ ДВА О. Говорила, да. Я тогда и сама не знала, что бывает и по-другому... Это я не сразу поняла... В ту зиму только поняла...

ПЛАСТИЛИН. Это когда вы по морозу - в парк? С железкой в руках?..

(*кривая усмешка*)

Ольга Ольгердовна, не надо ля-ля! Думаете, я поверю, что дряхлая старушка в одиночку могла сломать кирпичную кладку? Что вы нам тут плетёте?

АЖ ДВА О (*ответила не сразу*). Да, Пластилин, ты прав, это было непросто... Трудно было, правда... Камень есть камень, а в мороз к нему вообще не подступиться... Но справилась... Долго долбила, полдня долбила, на руках потом такие волдыри были... К обеду сбита штукатурку, проковыряла дыру в нише, а там уж полегче пошло... Когда железный ящик вытащила, сил вообще не осталось. Села на него такая, сижу... Морозище поджигает, а я как парализованная, ни рукой, ни ногой, вообще шелохнуться не могу... Но заставила себя...

(*качает головой*)

Как я этот сундук до приёмного пункта доволокла, ума не приложу... Спасибо санкам, на санки поставила и... А в приёмном парни быстро разобрались: латунь в одну сторону, нержавейку в другую... И заплатили хорошо, не обидели старуху.

УЖИН. И что? И куда вы это?.. Деньги от металла - куда?

АЖ ДВА О (*негромко*). На благое дело, ребятки. На самое благое.

(*обвела собеседников внимательным взглядом*)

Водки на все купила. На полтора ящика хватило... Благодаря этой водочке в ту зиму и спаслись, продержались, выжили. Если надо было - растирались, но в основном - внутрь... Ни одного больше в тот январь не схоронили... Вот такая получилась история, милые мои пионерятки.

Долгое молчание, все переваривают услышанное.

ОКАЛИНА. А сейчас что с ними?.. Ну, с теми, кого вы спасли, на кого вы желание истратили? Где они все?

АЖ ДВА О. Да разве важно это?.. Кого-то уже нет, кто-то уехал, другие сели... Разве в этом суть?

ПЛАСТИЛИН (*повышенным тоном*). А в чём тогда, чёрт возьми? В чём? Можете мне объяснить?

АЖ ДВА О. Главное, что в ту зиму они живыми остались. Была у меня возможность не дать им умереть, замёрзнуть... Только у меня одной... У других не было, а у меня была - и я эту возможность использовала...

ПЛАСТИЛИН. Всё равно не врубаюсь... Там бомжи какие-то, помойщики, доходяги, а тут...

ФИЛИН (*резко*). Заткнись, а? Не понимаешь, так хоть помолчи...

Снова герои безмолвно сидят у костра, глядят на огонь - словно что-то пытаются разглядеть в его жёлто-пунцовых языках.

АЖ ДВА О. Ага, чуть не забыла!.. Я же вас угостить хотела, ребятки. Специально в честь праздника запаслась...

(*роется в своей сумке*)

Вот, картошка, сама в садах накопила. Сейчас мы её в костерок - как вы любили... В детстве любили...

Аж Два О достаёт из сумки картофелины, бросает их в костёр, засыпает сверху горячими углями.

ВАГИНА. Да, картошечку мы тогда... Вообще... Самое классное лакомство!

УЖИН. Особенно, в походе. Находишься за день с рюкзаком, вечером живот к рёбрам прилипает. А тут тебе картофанчик - с пылу, с жару...

ФИЛИН. Вы её получше углями-то... Побольше сверху нагребите... Картошка, она открытого огня не любит...

ОКАЛИНА (*смеётся*). Не учи учёную! У Ольги Ольгердовны всегда самая зеканская картошка получалась...

Народ оживляется, начинает шумно обсуждать рецепты приготовления картофеля в костре. Самые нетерпеливые уже ковыряются в углях, подкатывают к себе дымящиеся картофелины, разламывают их, и, обжигаясь, пробуют.

ОКАЛИНА (*дуя на картофелину*). Ольга Ольгердовна, а письмо? Письмо, которое в капсуле было, ну, послание потомкам... Вы его куда? Выбросили?

АЖ ДВА О. Обижаетесь... Сберегла я его, для вас сберегла... Вот оно.

Аж Два О долго копается в складках своей бесформенной одежды. Наконец, достаёт сложенный вчетверо листок. Подаёт его Окалиной.

ОКАЛИНА (*разворачивает листок, читает*). Ага... Вот...  
"Мы, молодые ленинцы 60-х..." Тэк-тэк-тэк... "В этот торжественный и знаменательный день..." Тэк-тэк-тэк...

(*передает листок Ужину*)

УЖИН. "В день, когда весь мир, всё прогрессивное человечество отмечает 50-летие великого события, положившего начало..." Тэк-тэк-тэк...

(*передает Вагиной*)

ВАГИНА. "Как эстафету, как яркий факел передаём мы вам вместе с этим письмом свою преданность идеалам, ради которых..." Тэк-тэк-тэк... "Пусть этот факел освещает ваш путь, по которому..." Тэк-тэк-тэк...

(*передает письмо Филину*)

ФИЛИН. "Мы верим, что вы подхватите наше знамя и с гордостью будете нести это алое полотнище, которое нам вручили наши отцы и деды..." Тэк-тэк-тэк...

(*передает Пластилину*)

ПЛАСТИЛИН. "Признаюсь, что мы немного завидуем вам, молодёжи 21-го века, потому что светлое будущее, в которое мы верим в своём 1967-м году, уже стало для вас в 2017-м счастливым настоящим..." Тэк-тэк-тэк...

Пластилин опускает руку с письмом, молчит. Потом задирает голову и глядит куда-то вверх - туда, откуда всё гуще и гуще падают снежинки.

ПЛАСТИЛИН (*глухо*). Факел... Идеалы... Знамя... Неужели это всё мы?.. Неужто мы такими были? А?

(*берёт свою флягу, скручивает с неё колпачок*)

За это и выпить можно... Нужно даже... Так ведь?.. Тем более, праздник, юбилей.

Пластилин стирает с лица растаявшие на щеках снежинки. Потом аккуратно наливает содержимое фляжки в колпачок, пускает колпачок по кругу. Наши герои по очереди выпивают, закусывают печёной картошкой.

Аж Два О снова берёт в руки свою бездонную сумку, роется в ней.

АЖ ДВА О. Праздник, да... Ещё какой праздник, ребятки!.. А к празднику что полагается? Правильно, подарки полагаются... Ну-ка, примите-ка от бывшей своей вожатки, от вашей Аж Два О...

(*достаёт из сумки конверт*)

Ты, Филин, как я помню, филателистом заядлым был. Твою коллекцию марок во всём районе знали, она даже на специальном стенде в ДК выставлялась... Так?

ФИЛИН. Точно, Ольга Ольгердовна. Я эти марки где только не доставал... И в киосках "Союзпечати" покупал, и у ребят выменивал, и по барахолкам искал... Серия "Первые советские космонавты" у меня самая полная была.

АЖ ДВА О (*хитро прищурилась*). Полная, да не совсем... Верно?

ФИЛИН. Ага... Германа Титова в ней не было. Точнее, он был - и на наших марках, и на монгольских, и на польских... Только гэдээровской я нигде не мог достать, где Титов на фоне Бранденбургских ворот.

АЖ ДВА О (*протягивает конверт*). Теперь она у тебя будет. Держи.

ФИЛИН (*вынимает из конверта марку*). Та самая! Точно, она... Спасибо, Ольга Ольгердовна! Вот это да... Не верится даже...

Тем временем Аж Два О достаёт из сумки очередной подарок.

АЖ ДВА О (*к Вагиной*). А это тебе. Ты же у нас самой активной была, в Совете дружины постоянно... На слётах речи толкала... Тебе и подарок особенный.

(*прикрепляет на куртку Вагиной значок*)

Пионерский значок. Но он не простой, это значок особенный - артековской серии. Его только вожатым полагался... Это мой личный... Знаю, что он тебе нравился. Так что носи на здоровье!

ВАГИНА (*даже в ладоши захлопала от восторга*). Ой, как здорово!

(*бережно трогает значок*)

Я же мечтала о таком... На нём эмаль какая-то необыкновенная, яркая такая... Таких значков - днём с огнём... Они вообще наперечёт - такие значки, они как медали... Спасибо, Ольга Ольгердовна!

Аж Два О снова сунула руку в сумку, но пока ничего не извлекает оттуда.

АЖ ДВА О. Пластилин, для тебя у меня тоже кое-что... Может, угадаешь?

ПЛАСТИЛИН (*пожимает плечами*). Да зачем, Ольга Ольгердовна?.. Ни к чему это... У меня и так всё есть.

АЖ ДВА О. Этого точно нет... Ну, давай, давай, думай... Вспоминай, чего тебе в четвёртом классе больше всего хотелось.

ПЛАСТИЛИН. Ну, вы даёте, Ольга Ольгердовна! Разве ж теперь вспомнить, о чём полвека назад мечтал?

АЖ ДВА О. А ты попробуй.

ПЛАСТИЛИН. Да много чего хотелось тогда... Компас хотел, чтоб свой собственный, и чтобы стрелка светилась в темноте... Хотел, чтобы мы у 4-Г в футбол, наконец, выиграли... О велосипеде мечтал...

АЖ ДВА О (*поощрительно кивает*). Ну, ну...

ПЛАСТИЛИН. Так велосипед мне батя тогда купил. Да ещё какой! У всех пацанов "Школьники" задрипанные были, а у меня "Орлёнок"! Блестящий такой, хромированный, со звонком громким, с ручным тормозом, с багажником даже... Я на нём за один день кататься научился, гонял по улицам как наскипидаренный... Об одном только жалел: катафотов на колёсах не было - это штуки такие светоотражательные. У Вазелина из 6-А классные катафоты стояли, разноцветные такие - синие, красные, зелёные. Вот и мне хотелось...

АЖ ДВА О (*достает из сумки свёрток*). Хотелось - получай.

ПЛАСТИЛИН (*разворачивает бумагу, смеётся*). Они! Они самые, точь-в-точь прямо... Не ожидал... Спасибочки!

АЖ ДВА О (*из своей сумки она извлекает книгу*). Принимай, Окалина. Это тебе в честь великого праздника. Книга про пионеров-героев, самое полное издание... Извини, что не новая.

ОКАЛИНА. Неужели та самая, из библиотеки? Вот это подарок так подарок...

(*листает*)

Точно, она! С иллюстрациями, с подробными комментариями... Я же их всех наперечёт тогда знала, этих пионеров: и Зину Портнову, и Лёню Голикова, и Валю Котика, и Володю Дубинина... Я вам так благодарна, Ольга Ольгердовна!

(*прижимает книгу к груди*)

Аж Два О снова роется в своей сумке, из которой появляется пионерский горн.

АЖ ДВА О. Ну, а это тебе, Ужин. Думаю, ты порадуешься.  
(*улыбается*)

Не шурься, не шурься... Тот самый! Твой, персональный, с которым ты на все смотри, на все построения... Не знаю, чем ты его тогда драил, но сверкал он у тебя всегда... Ни у кого во всей дружке так не сверкал! А уж играл ты на нём... У-у-у...

(*протягивает горн Ужину*)

УЖИН. Спасибо, огромное спасибо!.. Вот это подарок... Всем подаркам подарок... Вот уж чего не ожидал, того не ожидал!

Ужин поднимается со своего места, подносит горн к губам. Несколько раз он осторожно, словно не веря в его реальное

существование, трогает мундштук, в волнении облизывает губы... И вот над ночным парком уже льётся чистый и звонкий звук пионерского горна.

ПЛАСТИЛИН (*смеётся*). Во как! Уже и музыка у нас своя... Дискотека...

ФИЛИН. Даёшь дискотеку 60-х!

ВАГИНА. Не дискотеку, а смотр... Смотри самодеятельности...

ОКАЛИНА. Нет, не самодеятельности. Смотри пионерской песни!

АЖ ДВА О. Неужели помните? Все наши песни помните?

УЖИН. Может, и не все, но кое-что помним... Эту, например...

(*напевает*)

Мы шли под грохот канонады,

Мы смерти смотрели в лицо...

ФИЛИН. И эту тоже...

(*напевает*)

Слышишь, товарищ,

Гроза надвигается?

С белыми наши

Отряды сражаются...

ВАГИНА. А у меня вот эта самая любимая была...

(*напевает*)

Знает север, знает юг:

Пионер – хороший друг...

ПЛАСТИЛИН. А мне другая с детства запомнилась. Я её чуть ли на каждое утро по "Пионерской зорьке" слышал. Проснёшься, умоешься, завтракать сядишься, радио включаешь, а там...

(*напевает*)

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой...

ОКАЛИНА. Ребята, ребята, а знаете что? Давайте про вожатого споём? Помните песенку про вожатого? Ну, должны вы помнить: "Замечательный вожатый есть, друзья у нас..." Пусть это будет наш подарок Ольге Ольгердовне. Она нам вон сколько всего подарила, а мы ей - песню!

Окалина затягивает песенку про вожатого. Песню очень быстро подхватывают остальные, Ужин аккомпанирует на горне.

БЫВШИЕ ПИОНЕРЫ. Замечательный вожатый

Есть, друзья, у нас,

После смены вечерами

Он спешит к нам в класс.  
Ах, как хочется, ребята,  
Стать таким же, как вожатый!  
Замечательный вожатый  
Есть, друзья, у нас...

Аж Два О сначала слушает песню, топает ногой в такт, размахивает палкой - словно дирижирует, а потом снова тянется к своей сумке. Через мгновение из её недр появляются несколько пионерских галстуков.

Вожатая обходит всех поющих и по очереди повязывает каждому красный галстук. Песня смолкает.

УЖИН. Это те, Ольга Ольгердовна? Те самые галстуки, из капсулы?

АЖ ДВА О. Ну, конечно... Они вместе с письмом лежали, это я их туда в 67-м... А теперь забрала. Как новые...

ФИЛИН. Да, жаль, жаль, что так... Что наше послание ненужным оказалось...

ОКАЛИНА. А может, ещё пригодится?

ПЛАСТИЛИН. Кому? Здесь нафиг никому не нужно, сама видишь...

ОКАЛИНА. Ну, не сейчас, так в будущем кому-нибудь пригодится... Потомкам...

ВАГИНА (*очень уверенно*). А что, очень даже может быть! Сейчас это никому не надо, а лет через 50 или через 100 всё, может, совсем по-другому будет... Нам знаете, что нужно? Нам нужно новую капсулу заложить!

ФИЛИН. Так ведь это... Капсула уже того... И ящик тоже...

ПЛАСТИЛИН. А мы вот сюда письмо...

(*трясёт пустой флягой*)

Чем не капсула? В трубочку письмо - и сюда...

(*показывает на горловину фляги*)

А потом фляжку - в стелу... Что она в таком состоянии, не беда. Я на следующей неделе бригаду каменщиков с гастронома сниму, сюда подгоню. Будет стела лучше новой.

АЖ ДВА О. А что, это мысль! Молодец, Пластилин, исправляешься... И полвека не прошло... Ну, так что, прямо сейчас и заложим свою капсулу?

УЖИН. Конечно, сейчас! Чего тянуть-то?

ОКАЛИНА. Только надо всё сделать, как тогда... В ноябре 67-го... Чтобы торжественно...

АЖ ДВА О. Само собой! Ведь момент-то такой... Не каждый день капсула закладывается.

(*отходит в сторонку, приосанивается*)



Отряд, к торжественному построению... Ужин, давай!

Ужин берётся за горн, играет построение.

АЖ ДВА О. Отряд, смирно! Равнение на звеньевых... К выносу знамени и торжественному маршу... Правое плечо вперёд... Марш!

Вновь звучит горн. Немногочисленный отряд начинает маршировать у костра. Бывшие пионеры в точности повторяют те движения, которым их научила вожатая полвека назад. Одни закладывают в обломки стелы импровизированную капсулу, другие в это время стоят в торжественном карауле.

Но вот торжественная церемония подошла к концу. Наши герои приближаются к краю сцены.

ОКАЛИНА. Ольга Ольгердовна, а как же мечта? Заветное желание?

АЖ ДВА О. Что - мечта?

ВАГИНА. Ну, у тех, кто эту капсулу вскроет... Кто прочитает письмо через 50 или 100 лет... У них тоже желание исполнится? Самое заветное?

АЖ ДВА О. Конечно, исполнится. Даже не сомневаюсь, что исполнится... Найдут они нашу капсулу, достанут письмо, прочитают - и исполнится желание. У всех.

ФИЛИН. У всех сразу? Не у одного только?

АЖ ДВА О. У всех, у всех, ребятаки. У каждого, кто придёт сюда, у каждого исполнится... А как иначе? Они же вон когда жить будут - через полвека, через век после нас. Тогда же всё, совершенно всё иначе будет... Разумеется, исполнится!

*(взгляд на Ужина)*

Так ведь, Ужин?

Вместо ответа Ужин вновь подносит к губам горн. Над тёмным осенним парком, накрытым всё усиливающимся снегопадом, плывёт хрупкая, чистая и очень знакомая мелодия.

Что это за мелодия? Сходу и не вспомнить. Мы её, конечно, слышали, но давно... Очень давно...

Так давно, что почти забыли.

Затемнение

Челябинск 2014 г.



**Александр Ситницкий**  
**Переводы**  
**Хаим Плучек**  
**Царь Гайский**



ни повесили Царя Гая на закате  
На высоком дереве у ворот выпотрошенного города,

И дым поднимался из руин города  
Где кричали лютые вожди на закате.

Веревка на дереве отяжелела на закате  
Когда разбитые боги легли под пепел города.

Еще раз он поглядел на помятую плоть города  
И голова качнулась к солнцу на закате.

О, запах цветов на закате,  
С миндальных деревьев за воротами города,

Но тугая веревка на дереве у ворот города  
И призрак раскачивающийся на закате.

Бог, Бог, ибо зло содеяно на закате,  
Ибо кровь на ноже и факел обреченного города,

И кричали девушки на песке у ворот города,  
С чуждым семенем в чреве на закате,

О Бог будь милосерд на закате:  
Помни его ты проклятый пламенем города,

Где лежит он под грудой камней у ворот города,  
И стервятники кружат в небе на закате<sup>1</sup>.

**Философ на горе в Скифии**

Мы вернемся, наконец, ко Владыке Снегу

---

<sup>1</sup> Книга Йеёшуа, 8:29 (Иисуса Навина), Глава 8, стих 2

Когда Владыка Огонь погаснет, наконец.  
Его серая, древняя мантия укроет плотно  
Пучеглазый кошмар оттенков и различий.  
Белое станет черным под властью Снега,  
Под его покровом верша последнее завоевание.  
Владыка, рана от клейма Огня, Владыки,  
Горяча, как сердце, глубока, как семьдесят лет.  
Исцели! Касание его кротких пальцев – мир

*Череда тёмных чешуек, остов звездного неба  
Снисходит в унисон согласию.  
Посвящается Т.С.Э. и только*

Ты обозвал меня тогда то и тогда то –  
Помнишь? – ты говорил о Блейштейне, нашем брате,  
Варваре с чёрной сигарой, и с карманами  
Звенящими серебром, с очами, обращенными к  
Иерусалиму,  
Подозревающими, что их дурачат. Приди, брат Томас,  
Мы, все трое, должны оплакивать наше изгнание.  
Я вижу затравленный взгляд, протест,  
Отчаянные поиски, скрытность, вижу дерзость  
Законодателя тем, кто поклоняется тельцу.  
Временами ты говоришь так, словно слова, это стены,  
Но твои стены падают вместе с моими от факела  
Тита.  
Приди, давай втроем оплатим наше изгнание.  
Мы с тобой, без сомнения, можем примириться,  
Мы оба читали Данте и оба не любим Чикаго.

### **Томас Гарди Бартелемон из Вухолла**

*Франсуа Ипполит Бартелемон - первый скрипач в  
Вухолл Гарденс сочинил, возможно самую популярную  
мелодию заутрени, когда-либо написанную. Позднее  
она была гармонизована, и гимн на слова Епископа  
Кена исполнялся в большинстве приходов каждое  
воскресенье. Сейчас ее редко услышишь.*

И молвил он: «Отмерь мне от щедрот...»,  
Взглянув туда, где, разгоняя тени,  
Как в полном облачении священник,  
Прекрасный диск уже венчал восход,  
Светя тому, кто ночи напролет,  
Пока гуляк не умолкали крики,

Поил в садах окрестных струны скрипки  
Напитком из созревших, нежных нот.

Он брел под возникающий мотив,  
И бормотал: «День начался толково.  
Кен будет рад мелодии, простив,  
Что заявлюсь к нему под мухой снова».

Он был прощен. И - эхом лир и хора –  
Плыла заутреня под куполом собора.

### **Когда я уйду**

Когда черным ходом уйду я, оставив мой робкий  
постой,

И крыльями листьев хлопает май, хлопоча,  
Шелк выпрядая, то спросит ли кто-то весной:  
«А он был из тех, кто такое всегда замечал»?

Когда во мгновение ока беззвучно пронзая закат,  
Ястреб рванется туда, где ветрами прибита листва,  
Может быть скажет прохожий: «А вот, говорят,  
Он часто заглядывал в этикие места»?

Если в ночи мотыльковой уйти мне в пределы,  
откуда незрим  
Еж, семенящий по лугу, сам ростом чуть ниже травы,  
Скажет ли кто: «А невинным созданьям таким  
Он вреда не чинил, и помочь не сумел им, увы»?

Так ли зимою подумают те, кто будут стоять у дверей,  
Весть получив обо мне, и на миг посмотрев в небеса,  
Полные россыпей звезд: «А ведь он был из редких  
людей,  
Кто еще верил в подобные чудеса»?

Когда отзвенит по мне колокол и леденящая мгла  
Ветру застыть повелит до явления новых начал,  
Скажут ли те, кто услышит иные колокола:  
«Он не слышит их звон, но такое всегда замечал»?

### **Дрозд в сумерках**

Глядел я, стоя у плетня,

Как хлад грядущей тьмы,  
Затмить пытался око дня  
Опивками зимы.  
И, словно струны ветхих лир,  
Стегали стебли твердь,  
И мне казалось, что весь мир  
Не мог себя согреть.

И свод небес - могильный сруб,  
Ветр – плач за упокой.  
Казалось, века стылый труп,  
Лежит передо мной,  
И древний пульс едва в нем тлел -  
Зачатий и начал -  
И будто каждый на земле,  
Как я, бездушным стал.

Вдруг, сверху, там, где висла мгла,  
Где нет ни гнезд, ни птиц,  
Раздался гимн – и то была  
Песнь счастья без границ.  
Там старый дрозд, костляв и мал,  
С взъерошенным крылом,  
Отважный дух свой воспевал  
В растущем мраке том.

Ничтожный повод, право, днесь  
Для помыслов благих,  
Начертан был вдали и здесь  
На всех вещах земных,  
И чтоб Надежды некий знак  
Подать, наметив срок,  
Который дрозд, наверно, знал,  
Мне ж было невдомек.

## **А. Хаусмен**

### **Псалом на Страстную**

Если спишь в саду, убивая века,  
Ты, не зная, что умер зря, и пока  
Ни сном, ни духом – как светом и злом  
Возносится с дымом, ночью и днем  
То, что гасил ты, но раздуть лишь смог,  
Спи беззаботно, человекобог.

Если ж разверзлась могила и с нею мрак,  
И сидишь ты одесную и, сидя так,  
Все еще помнишь, века напролет,  
Слезы свои, муки, кровавый пот,  
Страсти свои, жертву свою, свой крест,  
Спаси нас, склонившись с твоих небес.

### **Эпитафия армии наемников**

В час, когда твердь дрожала земная  
И содрогалась небесная твердь,  
Эти наемники, плату взимая,  
Следуя долгу, встретили смерть.

Плечи под небо подставив, стояли -  
И устояли устои земли,  
Бог пренебрег - а они удержали,  
И мирозданье за деньги спасли.

### **Р. Вилбур**

#### **Зачарованный Мерлин**

Они восставали и мчались без цели,  
Чаши пустые оставив на круглом столе.  
Сердца их кричали, Мерлин, где ты на самом деле?  
Ни звука волшебного не было на земле.  
Тайна их видела, скачущих по косогору,  
Темной - они ее, из-под кустистых бровей;  
Листьями был ее голос и странную ссору  
Белки вели, срываясь с дремучих ветвей.

Как-то у озера стали – но чего ради?  
Там только – шлепанье жаб, да ил на дне.  
Букашки скользили по водной глади,  
Водоросли отбеливались на бревне.  
И казалось Гавейну, будто слышат они  
Белорогий вздох «Нимуэ». То Сирены дочка  
Проснулась в крепости снов, и сказала: «Усни»,  
Звуча темней взбаламученного источника.

И Мерлин уснул, придумав ее, как встарь,  
Из звуков воды и беззвучных глубинных зыбей,  
Чтобы кудесника околдовала тварь,  
И в страшном заклятии был заключен чародей.

Уже и следы людей и коней простыли,  
А Мерлин спал на ложе высоком в высокой траве.  
История умерла, он вобрал в себя ее силы.  
Туманы времён выпадали росой в его голове  
Пока его разум, прозрачней иного источника,  
Не вполз в этот сон, накрывая людей и коней.  
Сон повелел ему спать, и тотчас Сирены дочечка  
Его вобрала, как море вбирает ручей.

Судьба предсказуема, сны желают заснуть.  
Этого не поймет забытый во сне на века.  
Заплакал Артур, продолжая путь  
И молвил Гавейну: «Ты помнишь, как эта рука

Меч извлекла из камня? И мощь не ушла из рук,  
Но и во сне не приснится свершить это во сне».  
Истончались доспехи, копыт затихал перестук.  
И небо застыло в придуманной голубизне.

### **Матфей 8.28**

Мы не аскеты, Равви, другая  
У нас, гадаринцев, к спасенью стезя,  
Любовь, как Ты зовешь ее, этого мы избегаем,  
Всплеск агрессивности не гася.

Собственность – это наши скрижали.  
Скоро, надеемся, продукт валовой  
Приведет к расцвету, а милосердье – едва ли,  
Если увяжемся за Тобой.

А то, что мы потеряли совесть  
И одержимы бесами, знаем без Твоих слов,  
И, что страдаем, хотя у нас все есть,  
То, чего нет у рабов.

И, возможно, Тебе видней,  
Но наша вера – отрубей корыто, да в яствах стол.  
Если не можешь нас исцелить, не убивая свиней,  
То лучше бы Ты ушел.

**Эмили Дикинсон**

**566**

Тигр умиравший - пить просил -

Я, разыскав в песке -  
На камне, пригоршню воды  
Несла ему в руке.  
И в смерти – ятра – что за мощь!  
А в глубине зрачка  
Видение меня самой,  
Прозрение глотка.  
И не моя вина – я шла -  
И не ему в укор -  
Пока я медлила, спеша –  
Так вышло. Он был мёртв.

## 712

Не я ждала с оглядкой Смерть,  
Учтиво, за углом  
Ждала она в карете, но  
С Бессмертием – вдвоем.

Ей любо ехать не спеша,  
Да и меня везти.  
И что труды мои в виду  
Такой любезности!

Мы миновали школьный двор,  
И детство без забот,  
И поле, где глазела рожь,  
И солнечный закат.

Но, может, он нас миновал;  
Дрожал озябший плющ,  
Ведь капюшон мой – тонкий тюль  
Из паутины плащ.

Дом, где мы встали на ночлег  
Был словно вспухший холм,  
На кровле, видимой едва,  
Карниз, поросший льдом.

Века летели, словно дни -  
И глазом не моргнуть,  
Но первой приоткрылось мне,  
Что это в Вечность путь.



**Сильвия Платт**  
**Ариэль**

Стаз в темноте.  
И - бестелесная голубая  
Льется с вершин и расстояний.  
Божья львица,  
О, как мы срастемся в одно,  
Точка опоры коленей и пят!- Борозда  
Раздваивается и уходит, сестра  
Изворотливой арки  
Шеи, которую не поймать,  
Негроглазые  
Ягоды выбрасывают темные  
Крючки –  
Черной, нежной кровью полон рот,  
Тени.  
Что-то еще  
Волочит меня в пространстве -  
Бедра, волосы,  
Чешуйки с пяток.  
Белая  
Годива, я отдираюсь -  
Мертвые руки, мертвые несостоятельности.  
И теперь я  
Пеной - пшенице, сверканье морей.  
Детский плач  
Плавится в стене.  
И я  
Стрела,  
Роса, что летит  
Гибельно, к тому, кто врывается  
В красное  
Око, в провал утра.

## Эзра Паунд

### Сестина: Альтафорте По Бертрану де Борну

*Loquitur: Бертран де Борн*

*Данте Алигьери поместил этого человека в Ад  
ибо тот подстрекал на брань.*

*Essovi!*

*Судите сами!*

*Не выкопал ли я его опять?*

*Место действия – замок Бертрана, Альтафорте.*

*Папьюль – его менестрель,*

*«Леопард» – боевой клич Ричарда Львиное Сердце.*

*Essovi! – вот вам! (ит.).*

#### I

Проклятье! Этот Юг несет вонючий мир.  
Собака подлая Папьюль, иди сюда! И с песней!  
Мне жизнь не дорога, когда мой меч звенит  
Когда я вижу в золоте штандарты, горностаи и  
пурпур в битве  
Как заливаются поля под ними алым,  
Тогда вопит истошно сердце, но ликуя.

#### II

И лето жаркое я провожу ликуя  
Когда уничтожает ураган бесчестный мир  
И молнии с небес сверкают алым  
И гром неистово ревет мне ратной песней  
И ветер пронзает злобно облака в смертельной битве  
И в небесах расколотых Господень меч звенит.

#### III

Клянусь я адом, скоро мы услышим меч!  
Как кони ржут пронзительно, ликуя,  
Пронзая грудью грудь в смертельной битве.  
Уж лучше в битве час, чем на год мир,  
С обильной пищей, своднями и песней.

#### IV

И я люблю рассвет кроваво-алым  
И зрю я как копьё его пронзая мрак звенит  
И сердце звоном полнится ликуя.  
И разрывает рот победной песней  
Когда я солнце зрю презревшим гнусный мир  
Оно одно с ним совладеет в битве.

#### V

Вам кто войны боится и засады в битве  
С моею песней, не покрытым алым

Вам, гнили, приносящей бабий мир  
Вдали от воинов поднявших славный меч  
За смерть таких блядей я и умру ликуя  
Да, мир наполнив ратной песней.

#### VI

Папьюль, Папьюль, Мы этой песней  
Меча с мечом ведомы в славной битве  
Нет лучше песни и поем ликуя  
Когда клинки и локти истекают алым  
И клич «смерть Леопарду» поднимает меч.  
Пусть проклянет Господь всех кто лопочет – "Мир"!

#### VII

Пусть песнь мечей окрасит всех их алым!  
И адом я клянусь, услышим звонкий меч!  
И ад поглотит всех кому любезен «Мир!».

### De Ægypto

Аз даже Аз, есмь он кому все ведомы пути  
Там в небесах и значит ветер - плоть моя.  
Хозяйку Жизни лицезрел и зрю,  
Аз даже Аз, и ласточкам вдогон лечу.  
Зелёно – серый плащ ее  
Струится на ветру.  
Аз даже Аз, есмь он кому все ведомы пути  
Там в небесах и, значит, ветер - плоть моя.  
*Manus animam pinxit,*  
В руке моей перо  
Чтоб слово верное мне начертать...  
Уста - чтоб безупречно песнь спеть.  
Но кто обрел уста, чтобы внимать ей -  
Той песни Лотоса из Кума?  
Аз даже аз, есмь он кому все ведомы пути  
Там в небесах и значит ветер - плоть моя.  
Я – в солнце зародившийся огонь,  
Аз даже Аз, кто ласточкам вдогон летит.  
Луна венчает там мое чело  
И под губами – ветер.  
Луна - жемчужиной в сапфировой воде,  
И воды холодны моим перстам.  
Аз даже аз, есмь он кому все ведомы пути  
Там в небесах и значит ветер - плоть моя.

## У. Оден Блюз беженцев

Проснутся здесь тысячи душ на заре,  
Но кто во дворце, а кто—то в норе.  
А нам нет места, милый. А нам нет места.

Прекрасной казалась нам эта страна,  
Ты в атлас взгляни - не исчезла она.  
И нет нам туда дороги, милый, и нет нам туда дороги.

На сельском погосте растет старый тис  
И расцветает весною без виз.  
На что паспорта не способны, милый, на что  
паспорта не способны.

Сам консул изрек, не подняв головы:  
«Раз нет паспортов, все равно, что мертвы».  
Но мы еще живы, милый, мы еще живы.

Пошел в комитет, а там вежливый клерк  
Сказал: « После дождика, может, в четверг».  
А куда нам сегодня, милый, куда нам сегодня?

На митинг забрел – глас толпы был таков:  
«Их пустишь, так сами уйдем без штанов».  
Это о нас с тобой, милый, это о нас с тобой.

Гром слышался с неба, и пела там медь,  
Но голосом Гитлера: «Смерть всем им, смерть»!  
И это про нас, милый, и это про нас.

Я пуделя видел в жилетке зимой,  
Я видел, как кошку звали домой.  
Вот так бы немецких евреев, милый, вот так бы  
немецких евреев.

Хожу я к причалу – считаю там дни,  
На рыбок гляжу, свободны ль они?  
Всего в трех шагах, милый, всего в трех шагах.

Вороны слетелись в заснеженный парк.  
Живут без политиков, карр, себе, карр...

Потому что они не люди, милый, потому что они не люди.

Приснился мне дом, и в нем тьма этажей,  
И сотни там окон, и сотни дверей.  
Но где же там наши, милый, где же там наши?

Стоял на равнине, сияла звезда,  
И сотни солдат – туда и сюда....  
Это по наши души, милый, это по наши души.

### **ПОГРЕБАЛЬНЫЙ БЛЮЗ**

Часы останови, пусть телефон молчит,  
Дворняга пусть над костью не урчит,  
Дробь барабанов приглушили чтоб,  
Дай плакальщицам знак, и пусть выносят гроб.

Пусть банты черные повяжут голубям,  
Аэроплан кружа пусть накопает нам  
Со стоном - Мертв, и, умножая грусть,  
Регулировщики в перчатках черных пусть.

Он был мой Запад, Север, Юг, Восток,  
Воскресный отдых, будних дней итог.  
Мой полдень, полночь, песня, болтовня.  
Я думал - навсегда. Ты опроверг меня.

Не нужно звезд, гаси их по одной,  
С луной покончи, солнце- с глаз долой!  
И, выплеснув моря, смети, как мусор, лес.  
Добра теперь не жди, смотря на нас с небес.

### **ПАДЕНИЕ РИМА**

Волны пирс таранят лбом,  
В поле брошенный обоз  
Ливнем смят, шибает в нос  
Из окрестных катакомб.

Тога нынче, что твой фрак,  
Фиск гоняет, как клопов,  
Неплательщиков долгов  
В недрах городских клоак.

Проституткам надоел  
В храме тайный ритуал,  
И поэтов идеал  
Оказался не у дел.

Заторможенный Катон  
Славит Древних Истин свод -  
Но в ответ бунтует Флот:  
"Денег, жрачку и закон"!  
Цезаря постель тепла,  
Пишет он, как раб-писец,  
"Ох, когда ж всему конец"!?  
Легким росчерком стила.

Озирает взором споро  
Стая красноногих птиц  
С кучи крапчатых яиц  
Зараженный гриппом город.

Ну, а где-то далеко  
Мчат олени - кой век -  
Золотого мха поверх,  
Молча, быстро и легко.

### **ДИАСПОРА**

Как он их пережил - понять никто не мог:  
Ведь умоляли же его, чтоб доказал -  
Что им не жить без их страны и догм.

Что мир, откуда изгнан он, неизмеримо мал.  
И может ли быть место без границ,  
Коль *Это* требует изгнать любовь менял.

Приняв страх на себя, он ужас стер с их лиц,  
Уже спасая провиденьем вдали,  
Чтоб те, кто сир и наг, не упали ниц.

Пока и места не осталось гнать в пыли  
Народ изгнания, куда он был гоним.  
И в том завидуя ему, они вошли  
В страну зеркал, где горизонт не зрим,  
Где смертных бить - все, что осталось им.

## П. Райн

### Боевая песня Райна

Этим утром я достиг Эквинокса,  
Претерпевая шантаж и позор, допросы и трепку,  
Обучаясь у Джерми,  
Который уже у меня в печенках.  
И это было так « Я не позволю врагам диктовать  
условия».  
И я был сыт по горло.  
Я врезал Джерми.  
Эндорфины, мофо—  
Прелестно.  
Кто такой Пол Райн?  
Он выжимает штангу в три своих веса,  
Окочинко шлакоблок ладонью,  
Меняет курс рек,  
Гнет подковы.  
И тащит грузовики зубами.  
Пол Райн.  
Каменные мышцы живота,  
Накачанные дельтовидные,  
Сияющие грудные.  
Но не гомик.

Эн Рэнд писала:  
«Вопрос не в том, кто позволит мне, а в том, кто  
остановит».  
Это написано обо мне,  
О Поле Припезденном Райне.  
Я больше не читаю Эн Рэнд.  
Я отрекаюсь от ее атеизма.  
Я просто знаю это высказывание,  
Потому что оно вытатуировано на моей левой косой  
мышце.  
Так что идите за мной  
В Америку Пола Райна,  
Где герои странствуют свободно  
И где трусы и шагу не ступят.  
Где малыш из Висконсина  
Может стать воином наравне с владельцем казино,  
Чтоб врезать Ирану по яйцам,  
И избавить Америку от моих врагов.  
Где старикам и немощным

Доступна еда и лекарство и всякая всячина.  
Пока я здесь,  
Потому что я Пол Райн,  
Пол Припезденный Райн.  
Отожмись двадцать раз, Америка,  
Время битвы.





# Михаил Юдсон Бес Божества

**Елена Минкина-Тайчер. Эффект Ребиндера.  
– Москва: Время, 2014**



итаю я обычно несколько книг сразу, питаюсь разными текстами регулярно, по кусочкам – но тут, признаюсь, нарушил режим, проглотил не разжевывая. Исключительно увлекательно, трудно оторваться! Настоящий роман, стоящий сопереживания, в старом добром смысле – с множеством персонажей, любовь-разлукою, преданностью-предательством, низким-высоким, семьей-изменой – причем, пред нами не мыльная опера, а отменная проза крепкого пера.



Да лучше аннотации не оценишь: «Этот роман – «собрание пестрых глав», где каждая глава названа строкой из Пушкина и являет собой самостоятельный рассказ об одном из героев. А героев в романе немало – одаренный музыкант послевоенного времени, «милый бабник», и невзрачная примерная школьница середины 50-х, в душе которой горят невидимые миру страсти – зависть, ревность, запретная любовь; детдомовский парень, физик-атомщик, сын репрессированного комиссара и

деревенская «погорелица», свидетельница ГУЛАГа, и многие, многие другие».

Все они при погружении в книгу обретают реальность, плоть и кровь, пол и характер, имена и облики – и незаурядный музыкант Лева Краснопольский, и его великий учитель Ямпольский (уж то ли Илья Абрамыч, то ли Абрам Ильич – суть та же!), и неразлучные подруги Татьяна Левина и Ольга Попова, и аллитерационно-печальный «репрессированный комиссар» оказывается Леонардом Шапиро, а деревенская баба-страдалица прозывается Дусей Булгиной – и живые они все, живые души, благодаря писательскому таланту автора, пусть жизнь корежит их и неустанно испытывает на разрыв. Елена Минкина-Тайчер сумела выстроить под обложкой свой мир – в нем падают дожди и листья, идут снег и время – и существуют люди, эти странные существа, знающие заведомо, что на свете счастья нет, а есть покой и воля, но все-таки упрямо стремящиеся к счастью.

Ну, кто о чем, а я про аннотацию: «Частные истории разрастаются в картину российской истории XX века, но роман не историческое полотно, а скорее многоплановая семейная сага, и чем дальше развивается повествование, тем более сплетаются судьбы героев вокруг загадочной семьи Катениных, потомков «того самого Катенина», друга Пушкина. Роман полон загадок и тайн, страстей и обид, любви и горьких потерь».

Тут очень точно отмечено, что судьбы – сплетаются. Текст напоминает мне то клубок, то на диво тонко связанный узор – и незримые спицы мелькают в авторских руках, образуя сложные узлы сюжетных нитей. Порой мне даже хотелось на своей книжной закладке изобразить этакое генеалогическое древо сего романа. Во первых строках это, так сказать, познание добра и зла, а во-вторых, занимательная этнография – ветвистые евреи, раскидисто врастающие в русский ствол, проникающие под кору книги, все 352 страницы вместе. А корневая система вроде бы незамысловата, как старинная фотография – три еврейских кишиневских девушки в Париже начала прошлого века. Таков зачин – три провинциальные Евы на одного русского добрыню Дмитрия Катенина, молодого ученого-биолога. И было, и так далее...

Вдобавок, написано-то как хорошо! Вот один из героев «заметил, что в книгах существует некая тайна и гармония слов, немного похожая на гармонию математики, но даже более загадочная и затягивающая. И в зависимости от умения автора расставить слова, растянуть и уложить мирной описательной цепочкой или, наоборот, выстрелить короткой жесткой фразой,

душа его тоже плавно парила или мучительно сжималась». Елена Минкина-Тайчер явно умеет расставить слова, словно силки на читателя – и я, к примеру, с удовольствием попадаюсь и не отползаю от текста подолгу, чего и вам желаю.

Однако по долгу рецензента вернусь к полюбившейся аннотации: «В романе все чаще возникает аналогия с узко научным понятием «эффект Ребиндера» – как капля олова ломает гибкую стальную пластинку, так незначительное, на первый взгляд, событие полностью меняет и ломает конкретную человеческую жизнь». Когда пиитичнейшие Татьяна с Ольгой поступают на химфак МГУ, с романом происходит алхимическое превращение – он обретает свой главный символ, краеугольный философский камень, являя нам «завкафедрой коллоидной химии профессора Ребиндера, очаровательного старорежимного Петра Александровича». Происходит он вроде как из семьи обрусевших шведских баронов, но по слухам «питает слабость к евреям, более того, многие предполагали, учитывая фамилию, что он и сам еврей».

Истинно говорю вам: и поучает научно он, и советы бытия дает – Реб Индер! Короче, «слава мудрому Ребиндеру!» Ох, недаром в романе девятнадцать глав – восемнадцать плюс один, как считал Тевье-молочник, то есть гематрия слова «жизнь» (восемнадцать) и Единый Жизнь и Бог, любовь и смерть, бесы революции (в достоевском охвостье) и люди добрые – сошлись-разговорились в этом романе. Сказано автором о понравившемся фильме: «Обычные люди задумчиво смотрели с экрана прямо тебе в глаза, ошибались, влюблялись, спорили». Эффект Минкиной-Тайчер заключается в том, что ее проза не просто показывает нам действие, а буквально погружает читателя в книгу, влечет его в некий исход от начала к концу – и я послушно передвигаюсь по тексту, жуя эмоциональную мацу.

Особенно по сердцу пришлось мне вечно-женственные Кира и Катя, словно намазанные кремом Азazelло, мастерски пропитанные маргаритовой чертовщинкой: «Да, она успешно притворялась благовоспитанной красивой дамой, и только Лева знал хитрого чертенка, обожавшего любые безумства». Или вот: «А эта чертовка так и сияла Кириными распахнутыми глазами». А неподалеку: «И тут же рассмеялась, в глазах мелькнули знакомые чертики». И дальше: «А она все слушала его болтовню, преданно сияла чертовскими хитрыми глазами, крепко сжимала коньячную рюмку...» Тут я облизнулся, вздохну и, скажем так, закончу: «Кто еще мог так смеяться, просто чертенята выпрыгивали из глаз!» Да-а, доложу вдохновенно, вот это персонаж – бес божества!

Кстати, понравились и стихи, коими удачно инкрустирован роман, за что «Низкий поклон поэту, публицисту, математику, профессору Питтсбургского университета Борису Кушнеру»: «Брамс смущался диссонансом,/ Странной смелостью своей, –/ Но уже кружил над Брамсом/ Атональный сухойей...»

Ей-ей, славная книга – совсем не хочется расставаться с героями. Конечно, читатель может подать челобитную – продолжения бы, следующей жизни!.. Но это уже всецело зависит от авторского Провидения.



# Козаровецкий Владимир К вопросу о Пушкинском авторстве сказки «Конёк-Горбунок»

*Памяти Александра Лациса*



Поскольку мистификаторы не оставляют прямых (документальных) свидетельств мистификации – только косвенные, пушкинское авторство сказки «Конек-горбунок», казалось бы, формально «доказать невозможно»: так утверждая, именно это отсутствие прямых, документальных «улик» имел в виду В.С.Непомнящий, комментируя мою статью в «Новой газете»<sup>1</sup>. Между тем для анализа литературных мистификаций и доказательства авторства мистификаторов существует несколько апробированных наукой методов, о которых мне уже приходилось писать. Здесь я коснусь только одного способа, связанного с трактовкой и пониманием **игры слов**, что, как мы увидим, в нашем случае имеет решающее значение.

Существует достаточно простое и логичное доказательство пушкинского авторства сказки, основанное на трёх документально зафиксированных фразах Пушкина, имеющих отношение к Ершову или к «Коньку-горбунку». Поскольку все три фразы **двусмысленны** (а Пушкин был остроумцем, то есть **мастером двусмысленностей**), ни одну из них нельзя считать прямым подтверждением пушкинского авторства; однако простым сопоставлением этих трех фраз оно выводится неопровержимо. При этом необходимо принять во внимание, что:

1) в каждом случае Пушкин понимал, что произносимая им фраза двусмысленна;

2) при анализе пушкинских (как и любых других) двусмысленностей необходимо рассматривать оба варианта их понимания.

---

<sup>1</sup> Комментарий В.С.Непомнящего к моей статье ««Конька-горбунка» написал Пушкин!» в «Новой газете» от 08.06.2009 г.

При всей простоте и очевидности этих двух постулатов мы считали необходимым их обозначить, поскольку именно на них основана и держится вся дальнейшая логика доказательства.

Первая фраза – из рассказа Ершова о встрече с Пушкиным, записанного с его слов художником М.С.Знаменским:

«...Я был страшно обидчив. Мне всё казалось, что надо мной он смеётся, например: раз я сказал, что предпочитаю свою родину. Он и говорит:

– **Да вам и нельзя не любить Сибири, – во-первых, – это ваша родина, во-вторых, – это страна умных людей.**

Мне показалось, что он смеётся. Потом уж понял, что он о декабристах напоминает»<sup>2</sup>.

Сам факт, что Ершов поначалу не понял намёка на декабристов (*«страна умных людей»*), свидетельствует, что он не понимал «собственной сказки», где «Кит державный» *«за то несет мученье, Что без Божия веленья Проглотил он средь морей Три десятка кораблей»*.<sup>3</sup> Однако у этой пушкинской фразы есть и второй смысл, который, по причине отдаленности исторического контекста не бросается в глаза: *«Сибирь... – страна умных людей»* еще и потому, что населению Сибири удалось избежать **крепостничества** – в массе своей оно оставалось лично свободным. Этот факт упоминался чуть ли не в каждом политическом разговоре, когда эта проблема обсуждалась, и Пушкин просто не мог этого не знать и не иметь это в виду, когда произносил двусмысленность, – что и подтверждается его второй известной нам фразой.

Ее записал в свою записную книжку (откуда она и попала в «Русский архив» П.И.Бартенева) лейб-гусар граф А.В.Васильев. Он жил в Царском Селе, ранним утром ехал на учење, Пушкин подзвал его и сказал только одну фразу: **«Этот Ершов владеет Русским стихом, точно своим крепостным мужиком»**.<sup>4</sup> Ершоведы трактуют эту метафорическую фразу в смысле: «Этот Ершов свободно владеет русским стихом». Между тем, вопреки этому кажущемуся очевидным первому смыслу, Пушкиным заложен в нее прямо противоположный второй, поскольку он знал, что Ершов сибиряк и что крепостных мужиков у него не было. Таким образом, метафорический смысл

---

<sup>2</sup> «Сибирские огни», №4-5, с. 239.

<sup>3</sup> А.Пушкин, «Конек-горбунок»; М., ИД КАЗАРОВ, 2011, с. 192..

<sup>4</sup> «Русский архив», 1899, 36, с.355.

**второй пушкинской фразы** таков: «*Этот Ершов не владеет русским стихом и никогда им не владел*».

Но это не все. Вторая пушкинская фраза построена таким образом, что в ней первое слово «этот» делает ее максималистской, вынуждая ершоведов трактовать ее в смысле: «Этот Ершов *совершенно свободно* владеет русским стихом». Между тем и по первым стихам Ершова, появившимся в «Библиотеке для чтения» рядом с пушкинскими, очевидно, что такое прочтение невозможно и что Пушкин скрыто оставил нам лишь один-единственный возможный вариант ее понимания: «Этот Ершов *абсолютно не владеет* русским стихом и никогда им не владел». (В противном случае нам пришлось бы предположить, что Пушкин мог дать какую бы то ни было общую оценку поэзии Ершова, *не заглянув* в его стихи.)

Но как только мы принимаем этот смысл **второй фразы**, становится понятным скрытый смысл и **третьей двусмысленной фразы**, брошенной Пушкиным после чтения Ершовым «Конька-горбунка» в присутствии барона Е.Розена. Эту фразу со слов Розена записал друг и биограф Ершова А.К.Ярославцов: «**Теперь этот род сочинений можно мне и оставить**»<sup>5</sup>. Ее привыкли трактовать так: «Теперь, *после того, как Ершов написал такую замечательную сказку*, этот род сочинений можно мне и оставить»; но теперь, когда, в соответствии со сказанным выше, мы понимаем, что Пушкин такое сказать не мог, мы понимаем и то, что на самом деле он сказал, **подтверждая свое авторство для потомков**: «Теперь, *после того, как мне удалось написать такую сказку*, этот род сочинений можно мне и оставить».

Пушкинские двусмысленности, которые он продуманно создавал и «разбрасывал» в расчёте на запись и передачу нам, потомкам (мы уверены, таких фраз было больше, просто не все до нас дошли), свидетельствуют, что Пушкин безвозвратно сказку отдавать не хотел и сделал всё возможное, чтобы, с одной стороны, своё авторство спрятать, а с другой – чтобы мы когда-нибудь догадались об истинном авторе и восстановили его имя на сказке. С этой же целью он оставил А.Ф.Смирдину свой автограф первой строфы сказки, а в свободное место черновика стихотворения «Андрей Шенья», в надежде на догадливость потомков, врисовал композицию, где изобразил себя в виде конька-горбунка между двух лошадей. Первым, кто не только

---

<sup>5</sup> А.К.Ярославцов, «Петр Павлович Ершов, автор сказки “Конек-горбунок”»; СПб., 1872, с. 2.

догадался, но и написал о пушкинском авторстве сказки убедительную статью, и был выдающийся пушкинист Александр Лацис (1914 – 1999).

Продолжая его дело, нам удалось найти и это логическое доказательство правоты пушкиниста. Теперь мы можем реконструировать историю этой пушкинской литературной мистификации, заодно ответив и на напрашивающийся вопрос: зачем она понадобилась Пушкину? Частично на него ответил Лацис, процитировав уже приводившиеся строки о проглоченных кораблях с еще двумя строчками:

Если даст он им свободу,  
Снимет Бог с него невзгону...<sup>6</sup>

Слова Анны Ахматовой о пушкинском «Золотом петушке» («*Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла*»<sup>7</sup>) к «Коньку-горбунку» относятся в неизмеримо большей степени. Да, Пушкин призывал царя к милосердию по отношению к декабристам и в других произведениях и по этой причине имел право сказать, что он «*милость к падшим призывал*», – но в этой сказке он пошел как никто и никогда далеко: он открыто заявил, что государство обречено, пока декабристы не прощены и не отпущены на волю. «Остаётся признать очевидное, – писал Лацис. – Никакие власти не разрешили бы прославленному певцу вольности обнародовать его сокровенные думы»<sup>8</sup>.

В таком виде сказку под своим именем Пушкину не то чтобы «обнародовать» – её нельзя было даже показать ни Бенкендорфу, через которого осуществлялась передача пушкинских рукописей на цензуру царю, ни самому императору, объявившему себя его личным цензором. После петербургского издания 1834 года сказка даже под именем Ершова продержалась всего 13 лет и была запрещена под предлогом «несоответствия современным понятиям и образованности» – до самой смерти Николая I в 1855 году. Первым указом Александра II была амнистия декабристам, «Кит державный» стал «*из челюстей бросать Корабли за кораблями С парусами и гребцами*»<sup>9</sup>, и в 1856 году был снят цензурный запрет на сказку.

---

<sup>6</sup> А.Пушкин, «Конек-горбунок»; М., ИД КАЗАРОВ, 2011, с. 192.

<sup>7</sup> А.А.Ахматова, «Собрание сочинений в 6 томах», М., 1999-2002; т. 6, с. 30.

<sup>8</sup> А.А.Лацис, «Верните лошадь!» М., 2003, с. 115.

<sup>9</sup> А.Пушкин, «Конек-горбунок»; М., ИД КАЗАРОВ, 2011, с. 194..



Но была и другая причина, по которой сказку невозможно было подписать Пушкину. Если «Ершовым» удалось на время обмануть бдительную цензуру, то, даже не будь там этих строк с *«державным»* Китом, изображение *«хитрого Спальника»* Пушкину с рук не сошло бы ни при каких условиях. Если царь в сказке (как, впрочем, и в других русских сказках) самодур, любит подхалимаж и, главное, очень хочет жениться на молоденькой, так то автору не в упрёк: цари ведь и в сказках влюбляются; а вот Спальник – явный подлец, на котором пробы негде ставить. В кого же метила эта пушкинская «развёрнутая эпиграмма» на царского прислужника? Кто должен был увидеть себя в этом негодяе с таким необычным для русской сказки именем? Уж если признать пушкинское авторство, то не может быть сомнения и в том, что у эпиграммы был точный адрес. Полагаю, в ответе на этот вопрос содержится ещё один важный мотив, которым руководствовался Пушкин, создавая «Конька-горбунка», – но понять это можно только в контексте жизненной ситуации, в которой он оказался в 1833 году.

Этот год в жизни Пушкина стал переломным, и ломалась его жизнь далеко не в лучшую сторону – хотя внешне всё выглядело как заслуженное признание властью и успех. Сразу после знакомства царской четы с женой поэта летом 1831 года царь начинает осыпать Пушкина милостями: восстанавливает его в прежней должности и назначает оклад, в семь раз больше причитающегося по званию, – без обязанности бывать на службе; ему дано разрешение писать Историю Петра, он допущен к секретным архивам. Пушкин рад и одновременно в тревоге: ему ли, знающему все тайны двора, все скрытые мотивы поведения в свете как царствующих особ, так и придворных, – ему ли не понимать, что милостями осыпается не он сам, а его жена, первая красавица Петербурга, Наталья Николаевна Пушкина, а ему дают понять, что её муж должен быть благодарен императору именно за проявленное к ней «внимание».

Пушкин сам говорил Нащокину, что царь, *«как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у неё всегда шторы опущены»*.<sup>10</sup> Как раз на 1833 год и приходится пик усилий императора по «приручению» поэта и его жены, которые в конце декабря завершились

<sup>10</sup> П.И.Бартенев, «О Пушкине»; М., 1992, с.361.

производством Пушкина в камер-юнкеры. 1 января 1834 года Пушкин с горечью записывает в дневник: *«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору (“читай: государю”<sup>11</sup> – комментировал П.Е.Щеголев) хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничковом. (А следующая же фраза свидетельствует, что именно Пушкин подразумевал под “танцами”. – В.К.) Так я же сделаюсь русским Dangeau»*.<sup>12</sup>

«Маркиз де Данжо, адъютант Людовика XIV, вёл дневник и заносил туда все подробности и интимности частной жизни короля изо дня в день. Но отместка, которую собирался сделать Пушкин, лишь в малой степени могла удовлетворить оскорблённую честь – в текущих обстоятельствах, – справедливо отмечал Щёголев. – Несомненно, Пушкин с крайней напряжённостью следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдёт, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдёт к активным действиям»<sup>13</sup>.

«...Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора – не только ласкали высочайшие взоры, – писал Щёголев в той же статье “Анонимный пасквиль и враги Пушкина”, – но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл. Фаворитизм крепко привился в закрытом заведении, каким был русский двор».<sup>14</sup>

В начале октября 1833 года приехав в Болдино и получив сразу два письма от жены, которая рассказывала о своих успехах на балах, Пушкин, увидевший в том, как ведёт себя Наталья Николаевна, грозную опасность, начинает из письма в письмо, да не по одному разу, требовать, чтобы жена не кокетничала с царём, вплоть до откровенной грубости.<sup>15</sup>

8 октября: *«Не стражай меня, жёнка, не говори, что ты искокетничалась...»*

11 октября: *«...Не кокетничай с царём...»*

30 октября: *«Ты, кажется, не путём искокетничалась... Ты радуешься, что за тобою, как за*

---

<sup>11</sup> П.Е.Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина»; М., 1987, с. 372.

<sup>12</sup> А.С.Пушкин, Полное собрание сочинений (ПСС) в 19 тт., М., Воскресенье, 1995 – 1999; т. 12, с. 318.

<sup>13</sup> П.Е.Щеголев, «Дуэль и смерть Пушкина»; М., 1987, с. 372 – 373.

<sup>14</sup> Там же, с. 369.

<sup>15</sup> ПСС, переписка; т. XV, с. 85-93.

*сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться!»*

*Там же: «...не кормите селёдкой, если не хотите пить давать...»*

*Там же: «Гуляй, жёнка: только не загуливайся...»*

*Там же: «Да, ангел мой, пожалуйста не кокетничай...»*

*6 ноября: «Повторю тебе..., что кокетство ни к чему добром не ведёт...»*

*Там же: «Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc. etc.»*

Не это ли поведение императора и Натальи Николаевны подтолкнуло Пушкина к созданию «Конька-горбунка», где он не случайно подобрал подлому царскому прислужнику очевидно двусмысленное имя – *Спальник*? Полагаю, мы уже можем назвать время и место написания – октябрь 1833 года, Болдино. Сказка была пушкинским предупредительным выстрелом в адрес Николая, открыто укладывавшего к себе в постель его жену, и скрытой эпиграммой на «наперсника разврата» – Бенкендорфа, участие которого в «Аничковых» забавах царя было общеизвестным.

Последнее делало сказку особо опасной для Пушкина, долго она лежать «в столе» не могла. Ничем из сказанного в ней Пушкин жертвовать не хотел. Из Болдина он ехал в Петербург, зная, что сказку придется публиковать быстро и под чужим именем, скрыв ее и от жены.

Плетнева сообщение о том, что Пушкин привез три сказки («Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне» и «Конька-горбунка»), не обрадовало: «общественное мнение» к первым сказкам Пушкина отнеслось прохладно, и даже Белинский сокрушался по их поводу: «...судя по его сказкам, ...мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю».<sup>16</sup> Плетнев предложил «Конька-горбунка» издать под псевдонимом, и Пушкин, спровоцировавший это предложение тем, что уже отдал «Библиотеке для чтения» первые две сказки, сделал вид, что вынужденно «соглашается», тем самым вовлекая в мистификацию и Плетнева, не подозревавшего о нацеленности «Горбунка».

Плетнев приводит к Пушкину своего студента, 18-летнего Ершова. Летом 1833 года у него умер отец, он с матерью остался без средств к существованию, окончив только

---

<sup>16</sup> В.Г.Белинский, Собрание сочинений в 3 тт., М., 1948; т. 1, с. 59.

два курса петербургского университета. Пушкин видит, что и по возрасту, и по недалекости тот подходит для мистификации и для того, чтобы со временем выявилось несоответствие между личностью автора и сказкой. Для начала ему дают – не бесплатно – перебелить сказку, обеспечив таким образом наличие беловика, написанного подставным автором. Затем ему, также за плату, предлагают поставить свое имя под пушкинской сказкой, и он соглашается. На эти 500 рублей Ершов с матерью два года снимает квартиру и доучивается в университете, а по окончании уезжает в Тобольск, где ему с помощью О.И.Сенковского подыскали место преподавателя в гимназии.

Сенковский прочел сказку и согласился опубликовать только первую, самую безобидную часть, пожертвовав возможностью приумножить успех журнала публикациями второй и третьей частей: он увидел их подводные камни, а преувеличенное внимание цензурного кабинета к «Библиотеке для чтения» не позволяло рисковать. Тем не менее А.В.Никитенко, цензор и «Библиотеки», и издательства А.Ф.Смирдина, в октябре 1834 года выпустившего полное издание сказки, в обоих случаях подписал цензурное разрешение, для создания видимости работы цензора, например, в первой части вычеркнув только три строки:

Только чур со мной не драться  
И давать мне высыпаться,  
А не то я был таков<sup>17</sup>.

Если учесть, что Никитенко в своих «Дневниках» слово «державный» употреблял исключительно в негативном смысле, его цензурное разрешение полному изданию было гражданским поступком и свидетельствовало, что он, как и Сенковский, участвовал в мистификации.

Смирдин оставил в своих бумагах, среди списка автографов, такую запись: «Пушкин Александр Сергеевич. <...> Заглавие и посвящение “Конька-горбунка”»<sup>18</sup>. Говоря о «Коньке-Горбунке», П.В.Анненков писал: «Первые четыре стиха этой сказки, по свидетельству г-на Смирдина, принадлежат Пушкину, удостоившему ее тщательного пересмотра»<sup>19</sup>. Из сопоставления этих двух сообщений видно,

---

<sup>17</sup> А.Пушкин, «Конек-горбунок»; М., ИД КАЗАРОВ, 2011, с. 153.

<sup>18</sup> А.Толстяков: «Пушкин и “Конек-горбунок” Ершова». Цит. по книге: П.Ершов, «Конек-горбунок»; М., Совпадение – Сампо, 1997, с. 240.

<sup>19</sup> П.В.Анненков, «Материалы для биографии А.С.Пушкина»; М., 1984,

что Пушкин оставил Смирдину автограф начальной строфы сказки и что вследствие этого Смирдин считал Пушкина автором этой строфы, но не всего остального текста, то есть не подозревал о мистификации. Следовательно, расплачивался с Ершовым он не по пушкинским расценкам. Видимо, Ершов выстраивал свои отношения с издателями после смерти Пушкина по образцу тех, какие у него формально были при первом издании сказки, и Пушкин через Ершова получил от Смирдина по рублю с книги при тираже 1200 экземпляров.

Сказка под именем Ершова адресатами еще долго оставалась незамеченной, и пушкинский «предупредительный выстрел» в тот момент не был услышан. Понимая это, Пушкин осенью 1834 г. пишет еще одну, политически нейтральную сказку, «О золотом петушке», в которой царь опять-таки хочет жениться на молоденькой и тоже за это наказан. На этот раз он отдает сказку на цензуру Николаю. Тот прочел ее внимательно, адрес и намеки разглядел и пропустил сказку в печать, подчеркнуто заставив исправить только одно место: «*Но с [Царем] накладно спорить*»<sup>20</sup>.

«...Мы и сейчас... пребываем в убеждении, что болдинская осень – нечто из ряда вон выходящее, – писал Лацис в 1996 году. – И только когда Пушкину вернут права на все им созданное, начнем привыкать к мысли, что болдинское изобилие было скорее правилом, чем исключением»<sup>21</sup>.



---

с. 164.

<sup>20</sup> ПСС, т. III, с. 562, 1118.

<sup>21</sup> А.А.Лацис, «Верните лошадь!» М., 2003, с. 106.

## Виктор Захаров Футбол по-чешски



футбол играют повсюду, "от Москвы до самых до окраин", от мыса Горн до Исландии и Фарерских островов. Миллионы людей во всем мире теряют из-за него голову. Футбол – это и спорт, и бизнес, и политика. Но прежде всего это игра.

Это Игра с большой буквы, нечто противостоящее обыденной жизни. Не жизнь, а бытие. Это огромный труд, но не труд в поте лица, ради добывания куска хлеба. Это и сражение, но все же не битва, где решается вопрос жизни и смерти. *Ното ludens*, человек играющий, уподобляется античным богам и героям. В игре мы, как боги: забываем и время, и все заботы, и свое "я". В игре мир каждый раз как бы рождается заново, как в первый день творения. И может, не случайно футбольный мяч с его совершенной сферической формой напоминает земной шар. А стадион – это античный амфитеатр... Но Платон пошел еще дальше – он земной шар сравнивает с футбольным мячом (предвосхищая его появление много веков спустя): "...Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и пестро расписанный разными цветами" (диалог "Федон").

Много людей играет в футбол, но еще больше им "болеет". И болельщики на время матча тоже погружаются в другой мир и забывают все "земное". Увы, подчас забывается не только скучная повседневность, но и нормы человеческого общежития. И тогда цивилизованные люди превращаются в диких варваров, сокрушающих все на своем пути. Эта двойственность природы болельщиков хорошо отражается в разных языках во внутренней форме слов, их называющих. По-русски это люди больные, от слова "болезнь", то есть ненормальные, чокнутые. В Болгарии их называют "запаянковци" – те, кто пылает пламенем. А в целом ряде языков слово "болельщик" образуется от корня *fan*. Это и английское *fan*, и немецкое *Fußballfan*, и чешское *fanda*, *fanoušek*, и русское *фанат*. *Fanaticus* – так называли религиозных фанатиков, то есть людей страстных, одержимых, вне себя, вне

рацио. И при этом, однако, не стоит забывать, что происходит-то это слово от лат. *fanum* – святиня.



Для "малых народов" победы на футбольных полях особенно почетны, они становятся предметом гордости, феноменом национального сознания. Есть чем гордиться и чехам. Чешская (ранее чехословацкая) сборная участвовала в 8 из 17 чемпионатов мира и дважды завоевывала серебряные медали (1934, 1962). Неоднократно становилась призером чемпионатов Европы (1976 – 1 место, 1996 – 2 место, 1960, 1980 – 3 место) и олимпийских игр (1920 – недоигранный финал, 1964 – 2 место, 1980 – 1 место).

Чехи шутят, что вскрытие сердца среднего чешского гражданина показывает, что половина его принадлежит футболу, четверть – хоккею, а остальное – другим видам спорта. Как говорится, в каждой шутке есть доля истины. В Чехии с ее 10-миллионным населением Чешско-Моравский футбольный союз насчитывает 535 тыс. членов (первое место среди общественных объединений; на втором месте – члены добровольных пожарных дружин, 330 тысяч, еще на сто тысяч меньше в союзе садоводов).

Футбол в Чехии, без сомнения, феномен национальной культуры. Точно так же, как пиво, как хоккей, как музыка. Но как пиво для чеха – не средство напиться, а повод для хорошего времяпрепровождения, так и футбол не только спорт, но и часть народной жизни.

Я бывал на лучших чешских стадионах, но больше всего мне по душе стадиончики в маленьких городках и деревнях, уютные, ухоженные, являющиеся неотъемлемой частью чешского жилого пейзажа, как вокзал, "господа", кладбище. Между прочим,

соседство футбольного поля и кладбища очень типично для провинциальной жизни, да и жизни вообще: футбол – игра, и жизнь – тоже игра... заканчивающаяся двумя шагами дальше.

В футбол, как известно, играют ногами. Поэтому футбол по-чешски называется *kopaná* (от *kopat* – бить ногой, пинать). Однако в последнее время все больше используется заимствованное *fotbal*. Так статистический анализ чешской периодики за первые 14 дней марта 2002 г. показал, что слово *kopaná* было употреблено всего 317 раз, в то время как *fotbal* – 3064 раза. Этому есть и лингвистическое объяснение: словообразовательная парадигма слова *fotbal* несравненно продуктивнее (*fotbalista* – футболист, *fotbalový* – футбольный), чем у слова *kopaná* (*kopačky* – футбольные бутсы). Сегодня чехи, видя плохой футбол, язвят: *Dnesto není fotbal, pánové, ale kopaná* (сегодня, господа, не футбол, а сплошные пинки).

Футбол появился в Чехии в конце 19-го века. Первый публичный футбольный матч был сыгран 15 августа 1892 г. в *Roudnici nad Labem* между местными командами *CAC* и *Sokol*. В том же году были переведены с английского и изданы футбольные правила. Автором перевода был учитель физкультуры из средней Чехии *Josef Klerika* (1853–1932), деятель "Сокола", значительная фигура чешской спортивной истории.

Нужно сказать, что поначалу большинство педагогов запрещало своим ученикам играть в футбол, считая это чем-то вроде хулиганства, и нередко студенты и школьники играли с приклеенными усами, чтобы сделаться неузнаваемыми.

Краеугольной датой "древней истории" чешского футбола считается 29 марта 1896 г., когда впервые сошлись на Императорском лугу в Праге (*Císařská louka*) вечные соперники, два "S" – пражские *Sparta* (основана в 1893 г. как *Athletic Club (AC) Královské Vinohrady*) и *Slavia* (основана в 1895 г.). Весной 2002 г. они сыграли между собой уже 251-й матч, или, как говорят в футболе, дерби (встреча традиционных соперников, обычно из одного и того же города). К началу 20-го века относится появление еще двух знаменитых пражских команд – *Viktoria Žižkov* и *Bohemians Praha* (1903 и 1905 гг.).

19 октября 1901 г. в бурных дебатах за столом пражского кабака *U Zlaté váhy* на улице *Karolíny Světlé* возник Чешский футбольный союз. А через 4 года в клубе *Slavia* появился первый футбольный тренер. Это был шотландец Джон Мэдден (*John Madden*). Он первым ввел систематические тренировки и был отцом так называемой "чешской уловки", когда мяч остроумно и



неожиданно переадресовывается вдоль поля на ход партнеру. Мэдден проработал в Чехии до 1930 г.

Футбол неожиданно проник и на политическую арену. Когда в 1905 г. чехи подали заявление о вступлении в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА), то власти Австро-Венгрии приложили все усилия, чтобы этому воспрепятствовать. И в результате только в 1923 г. созданная на обломках Австро-Венгерской империи независимая Чехословакия становится членом этой организации.

Однако противодействие официальной Вены не могло воспрепятствовать успехам чехов на футбольных полях – так, например, в 1920 г. они дошли до финала олимпиады в Антверпене (правда, в официальной статистике этот успех не значится – в финальном матче с Бельгией чехословацкие футболисты в знак протеста против необъективного судейства ушли с поля, за что были дисквалифицированы). Внутри страны долго царствовавшую на футбольном троне "Славию" (легендарный бомбардир *Koš ek*) сменила "железная" "Спарта" (*Káďa, Pilát, Janda-Očko*). Последний, кстати, является автором курьезного гола в матче со сборной Швеции в Праге в 1921 г. Вратарь гостей поймал мяч буквально на самой линии ворот, зрители же криками требовали засчитать гол. Швед оставил мяч лежать там, где он его остановил, и позвал судью. Вместе с ним подбежал и чешский нападающий *Antonín Janda-Očko*, подбежал и ... ударил по мячу. А поскольку свистка об остановке игры не было, то гол пришлось засчитать. Воистину, швейковская простота!

Футбол становится настоящим общественным феноменом. Об этом свидетельствует и появление классических произведений на футбольную тему, вошедших в золотой фонд чешской литературы – "Команда Клапзуба" Э. Басса (*Eduard Bass. Klapzubova jedenáctka*, 1922) (о победоносной деревенской команде, составленной из 11 сыновей пана Клапзуба, и об упоении общества футболом) и "Мужчины в офсайде" К. Полачека (*Karel Poláček. Muž v offsidu*, 1931) (о болельщиках и "болении" (*fandovství*), о соперничестве между пражскими футбольными клубами, все это с большим юмором и любовью к простому болельщику).

30-е годы прошлого века можно назвать самой успешной эрой в истории чехословацкого футбола, о чем свидетельствует титул вице-чемпиона мира в Риме в 1934 г. (в упорнейшем поединке чехи проиграли хозяевам в дополнительное время) и победы "Спарты" (1935) и "Славии" (1938) в Среднеевропейском

кубке. Имена футболистов, завоевавших серебряные медали в 1934 г.: *Plánička, Nejedlý, Ženíšek, Čtyřoký, Puč* и др. – навсегда вошли в сознание всех последующих поколений чехов. Я не случайно написал – чехов: первоначально футбол развивался именно в Чехии – первый клуб из Словакии (*1. CsSK Bratislava*) в республиканском чемпионате появился только в 1935 г.

В это же время возшла звезда Йозефа Бицана (*Josef Bican*), одного из лучших игроков мирового футбола. Сын венских чехов, успешно выступавший в австрийском чемпионате и за сборную Австрии, в 1937 г. он перешел в пражскую "Славию", после чего "Славия" сокрушила в Среднеевропейском кубке "Амброзиану" (сегодняшний "Интер" Милан) со счетом 9:0 (Бицан забил 4 гола). Всего же в матчах внутренних чемпионатов (австрийского и чехословацкого) он забил 643 гола, что можно считать мировым рекордом. Судьба Бицана полна символов и парадоксов. Вот один из них. После войны итальянцы, по достоинству оценившие мастерство чешского форварда, пригласили его играть в Италию (миллион крон за подписание договора, вилла), однако Бицан, из опасений, что в Италии к власти придут коммунисты, отказался. И что же? Через 3 года он дождался власти коммунистов у себя на родине и вкусил ее сполна. Министр *A. Čepička* в газете *Rudé právo* обозвал его "буржуазной звездой", которой "никто не позволит портить нашу спортивную молодежь". Со всеми вытекающими из этого для футболиста и гражданина Бицана последствиями ... Между тем, болельщики до конца жизни слали Пепи Бицану, как прозвали его друзья-товарищи, письма любви и признания. А 4 года назад международная ассоциация футбольных историков и статистиков провозгласила его вместе с бразильцем Пеле и немцем Уве Зеелером лучшим бомбардиром 20-го века. Легендарный футболист скончался 12 декабря 2001 г. в возрасте 88 лет.

После войны политика господствовала в чешском футболе, как никогда. Клубы начали делить на рабочие (*Sparta*) и интеллигентские (*Slavia*). У последней отняли стадион, название и традиционную красно-белую полосатую форму. Все команды распределили между министерствами и переименовали, "лишних" же исключили из участия в чемпионате. "Спарта" стала именоваться "Братство", затем "Спартак-Соколово", "Богемиянс" – "Железнодорожник", затем "Спартак-Сталинград", и т.д.

Если можно усмотреть что-либо положительное в футбольной жизни 50-х годов, так это создание и становление армейской команды *ATK* (1948), позднее *Dukla Praha*, принесшей славу чехословацкому футболу. В профессиональных условиях

армии в ней выросли игроки экстра-класса (*Masopust, Novák, Pluskal*), заложившие основу команды вице-чемпионов мира 1962 г. Велика заслуга в этом спехе и лучшего чехословацкого тренера Рудольфа Вытлачила (*Rudolf Vytlačil, 1912–1977*), также уроженца Вены.

Среди футболистов 60-70-х годов также было немало выдающихся игроков. Это и упомянутый выше *Josef Masopust*, капитан "Дуклы" и сборной, отличавшийся филигранной техникой и прекрасным видением поля, и *Antonín Panenka* из *Bohemians*, особо отличившийся в финале чемпионата Европы 1976 г. Финальный матч с ФРГ тогда закончился вничью, и победителя определяли по серии пенальти. Решающий удар предстояло произвести А. Паненке. И удар его оказался настолько оригинальным и неожиданным, что сам Пеле заявил, что так может бить только гений или сумасшедший. Это и *Ivo Viktor*, признанный лучшим вратарем чемпионата 1976 г., и футбольный "философ" *Tomáš Pospíchal*, игравший в знаменитой команде Вытлачила, а впоследствии ставший не менее знаменитым тренером, и многие другие.

Есть кем и чем гордиться и новому поколению чешских футболистов. Достаточно вспомнить имена игроков, выступающих за рубежом: *Pavel Nedvěd* ("Ювентус" Турин), *Karel Poborský* (последний заграничный клуб "Лацио" Рим, осенью 2002 г. *Poborský* вернулся домой и стал играть за пражскую "Спарту"), *Patrik Berger*, *Vladimír Šmicer* (оба из "Ливерпуля"), *Jan Koller* ("Боруссия" Дортмунд), *Tomáš Rosický*, новая многообещающая звезда чешского футбола (там же), и многие другие. Еще не забылось второе место Чехии на чемпионате Европы 1996 г. Пражская "Спарта" за последние годы несколько раз блеснула в Лиге чемпионов.

Кстати, в сезоне 2001/2002 гг. произошло знаменательное событие во внутреннем чемпионате: *Sparta*, многолетний бессменный чемпион, уступила пальму первенства клубу *FC Slovan* из города *Liberec*. Вот полный список команд, которые будут играть в новом сезоне 2002/2003 гг. в высшей лиге (называется она *Gambrinus liga*, а *Gambrinus* ... совершенно верно, как вы правильно догадались, марка пива, и весьма приличного): *Chmel Blšany, FK Bohemians, 1.FC Brno, SK Č.Budějovice, SK Hradec Králové, FK Jablonec 97, FC Slovan Liberec, SK Sigma Olomouc, FC Baník Ostrava, FK Marila Příbram, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FC Synot, FK Teplice, FK Tescoma Zlín, FK Viktoria Žižkov.*

У всех название клуба включает и название города, кроме клуба FC Synot из Моравии, из городка Staré Město, фактически являющего пригородом Uherského Hradiště. Обычно же клубы называют просто по имени города. Стоит еще обратить внимание на FK Marila Příbram – это не кто иной, как бывший армейский клуб *Dukla Praha*, сменивший хозяина и, говоря по-военному, место дислокации.



И это хорошо, что у "Спарты" появился конкурент, и не один; как известно, конкуренция – двигатель прогресса. Особенно, если это конкуренция на зеленом поле стадиона. К сожалению, в современном футболе много всего, не имеющего с игрой ничего общего. В Чехословакии после падения социализма политика ушла из футбола, уступив место предпринимательству. А предпринимателей больше интересует не футбол, а деньги, прибыль, право на землю, где расположены стадионы, и т.п. В 90-е годы чешский футбол сотрясают финансовые махинации и связанные с этим судебные процессы. В результате многие футбольные боссы и деятели встречаются теперь не в ложе для почетных гостей на стадионах, а в судебных коридорах и в кабинетах следователей.

Кстати, что касается стадионов. Часто они получают свое название по тому месту, где расположены: *Slavia Praha – v Edenу, Dukla Praha – na Julisce, Liberec – u Nivy, Jablonec – Strělnice, Brno – za Lužá nkami, Opava – v Mě stský ch sadech, České Budějovice – Štřelecký ostrov, Ostrava – na Bazalech, Viktoria Plzeň – v Štruncových sadech, Teplice – na Stí nadlech, Hradec Krá lové – pod Lí zá nky, Olomouc – Andrův stadion.*

Самый большой футбольный стадион находится в Брно и вмещает 50 тысяч зрителей. Самый большие стадионы в Праге – Страговский (*Strahovský stadion Evžena Roš ické ho, Diskařská, 100, Praha 6*) и стадион "Спарты" на Летné (*ul. Milady Horá kové, 98, Praha 7*). Оба имеют чуть более 20 тысяч сидячих мест. Страговский стадион, правда, не является чисто футбольным. Он был построен в 1938 г. для проведения слетов общества *Sokol*, а в социалистическое время там проводились общереспубликанские спартакиады. В настоящее время в связи с ремонтом своего стадиона (*Vladivostocká, 1460/2, Praha 10*) на нем играет *Slavia*. Стадион "Спарты" является также местом встреч национальной сборной (цвет экипировки сборной, естественно, красно-белоголубой).

Небольшой стадион клуба *Bohemians (Vršovická třída, 31, Praha 10)* пражане ласково называют *Dolíček* (ямка, луза) или *u Botiče* (по названию одноименной речушки). Между прочим, этот клуб со времен своего австралийского турне 1927 г. (с тех пор и сегодняшнее название) носит эмблему кенгуру (по-чешски *klokan*), и команду часто так и называют – *klokani*. Стадион одного из старейших чешских клубов *Viktoria Žižkov*, также намеченный к реконструкции, находится на улице, с недавних пор носящей имя своего самого знаменитого болельщика – нобелевского лауреата по литературе Ярослава Сейферта (*Seifertova třída (býv. Kalininova), Praha 3*).

Тема "футбол и чешская литература" вообще необычайно богата. Причем литература часто отражает футбол именно как специфический феномен народного духа. Так, герой романа К. Полачека утром после свадебной ночи тестирует свою молодую жену, насколько хорошо она знает составы футбольных команд. В том же романе глава семейства, верующий еврей, вместо того, чтобы в субботу вечером зажигать свечи и соблюдать шаббат, отправляется на футбол.

Мы уже упоминали о классических произведениях на футбольную тему Э. Басса и К. Полачека. Однако этими именами перечень авторов, воздавших должное народной игре, далеко не исчерпывается. У Я. Гашека в одном из рассказов невеста

футболиста расходитя со своим женихом после того, как прочла в газете, что он забил гол из офсайда (что на самом деле было журналистской уткой). Перу известного поэта В. Дыка (*Viktor Dyk*) принадлежит поэма о футбольном вратаре. Забытый ныне *Václav Lacina* в пародии на "Левый марш" Маяковского также обыгрывает футбольную тему: "*Která noha střílí gól? – Levá!*" (Какая нога забивает гол? – Левая!). В 60-е годы огромной популярностью пользовались репортажи одного из лучших чешских прозаиков О. Павла (*Ota Pavel*) "Дукла среди небоскребов" (*Dukla mezi mrakodrapy*), "Кубок для господ Бога" (*Pohár pro Pánaboha*) и др.

А вот история о том, как литература продолжается в реальной жизни. Журналист *Pavel Kovář* пошел по следам повести Э. Басса и отыскал множество официально зарегистрированных деревенских команд, за которые выступают родные братья. Среди них был и клуб *TJ Sokol Hrádek* (900 жителей, *okr. Znojmo*), за который играли 6 братьев Гоцовых (*Hocovi*). Редакция журнала *Stadion* организовала встречу клуба с ветеранами "Спарты". *Braši* (братаны), как себя называли Гоцовы, выиграли со счетом 3:2.

Ярым болельщиком был не только Я. Сейферт, но и многие другие литераторы и люди искусства. Например, Б. Грабал (*Bohumil Hrabal*) всю жизнь болел за интеллигентскую "Славию", а поэт Й. Коларж (*Jiří Kolář*) – за пролетарскую "Спарту". И не только болели. Грабал играл за юношеский состав "Арсенала" (*Nymburk*), пока ему во второй раз не сломали ногу. Та же судьба постигла и прозаика Р. Тресслера (*Rene Edgar Tressler*), игравшего за дубль "Спарты" и дважды выходившего на поле в основном составе. После травмы он переквалифицировался во вратаря и еще поиграл за клуб *Vyšehrad Praha*. Известный чешский комик *Vlasta Burian* защищал ворота "Спарты" не в одном десятке матчей, в том числе целых пять раз в пражском дерби против "Славии". И этот список можно продолжать очень долго.

Закончу тем, с чего начал.

Я бывал на лучших чешских стадионах, но больше всего мне по душе неторопливая жизнь на футбольных полях в провинции (и вокруг них). И в Праге мое любимое футбольное убежище – не *Strahov*, не *Letná*, не *Eden*, а маленький стадион *Aritma (Vokovice, Praha 6)*. Советую посетить. Там хороший газон, совсем немного зрителей, там течет неторопливая жизнь, льется неспешная речь, а в буфете льется и пенится пиво... Я читал замечательные произведения чешской литературы, посвященные футболу, но милее всего – поговорить с истинными любителями

этой игры на стоячих трибунах (*místa k stání*) или в "гóсподе" за кружкой пива.

Потому что футбол – это не только игра, но и феномен народного духа; в Чехии, по крайней мере, точно. И познавать его (народный дух) лучше всего в гуще народной...



## Об авторах

**Евгений Беркович** – главный редактор журналов «Заметки по еврейской истории» и «Семь искусств», издатель альманаха «Еврейская Старина».

**Михаил Севрюк** – российский математик, доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Российской академии наук.

**Павел Нерлер** – историк, географ, литератор.

**Соломон Воложин** – литературовед.

**Эдуард Гетманский** - историк экслибриса, библиофил, коллекционер

**Артур Штильман** – скрипач, автор книг о музыкантах.

**Эммануэль Борок** – американский скрипач российского происхождения, Работал в Израильском камерном оркестре, затем более 10 лет – в Бостонском симфоническом оркестре и, наконец, 25 лет – первым концертмейстером оркестра в Далласе. Профессор Далласского университета.

**Галина Подольская**, академик Израильской независимой академии развития наук, доктор филологических наук, искусствовед

**Григорий Подольский** – врач психиатр, публицист.

**Ефим Курганов** – доктор философии, доцент русской литературы Хельсинкского университета.

**Андрей Масевич** – преподаватель университета культуры и искусств и факультета социологии СПбГУ.

**Виктор Гопман** – переводчик.

**Дмитрий Бобышев** – поэт, эссеист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

**Игорь Рейф** – журналист, литератор

**Николай Овсянников** – журналист и музыковед.

**Оскар Рохлин** – доктор биологических наук, специалист по иммунологии.

**Марина Вирта** – поэт и переводчик.

**Ян Пробштейн** – поэт, переводчик, редактор.

**Марк Троицкий** – поэт и художник.

**Галина Гампер** – поэт, литературовед, переводчик. Член Союза писателей СПб и СПб ПЕН-клуба. Автор десяти книг.



**Александр Танков** – поэт и прозаик.

**Елена Аксельрод** – поэт.

**Виктор Каган** – доктор медицинских наук. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга.

**Виктор Леденев** – литератор.

**Александр Бабушкин** – поэт, писатель.

**Борис Геллер** – писатель и переводчик.

**Мина Полянская** – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.

**Шуламит Шалит** – литератор и журналист. Автор книг «На круги свои...», Иерусалим, 2005., Печать любви, Ганновер, 2012.

**Егор Черлак** – Геннадий Геннадьевич ГРИГОРЬЕВ (творческие псевдонимы Егор ЧЕРЛАК, Григорий ЕГОРКИН). Журналист, драматург, писатель и поэт.

**Александр Ситницкий** – поэт–переводчик и эссеист.

**Михаил Юдсон** – писатель, литературный критик.

**Владимир Козаровецкий** – критик, прозаик, переводчик, издатель.

**Виктор Захаров** – кандидат филологических наук, доцент кафедры математической лингвистики СПб университета.

Журнал «Семь искусств», июль 2014  
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой  
612 стр. 27,7 а. л.

ISBN 978-1-291-98669-3



Семь искусств  
Ганновер 2014